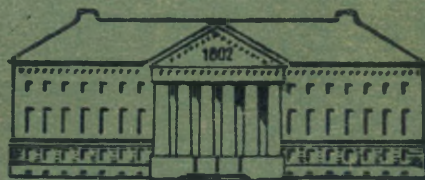




Peri.
IS 1169-358
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕННЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS
ALUSTATUD 1893. a. VIINIK 358 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
XXIV

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ



ТАРТУ 1975

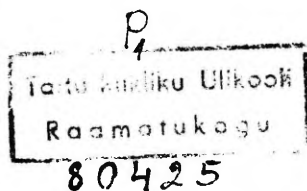
Peit
A-1169-358
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI TOIMETISED
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS
ALUSTATUD 1893. a. VIINIK 358 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ в 1893 г.

**ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И
СЛАВЯНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
XXIV**

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ТАРТУ 1975

Редколлегия: Б. Егоров (председатель редколлегии), П. Рейфман,
Ю. Лотман, В. Адамс, ответственный редактор Б. Гаспаров.



«МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 1860-х ГОДОВ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ КРУГИ РОССИИ

П. С. Рейфман

Значительную и весьма мрачную роль в журналистике 1860-х гг. играл М. Н. Катков. Как раз в начале рассматриваемого периода, во время первого демократического подъема в России, он, по словам В. И. Ленина, повернул от умеренного либерализма «к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству»¹. К 1863 г. Каткову удалось сосредоточить в своих руках три периодических издания: ежемесячный «Русский вестник», еженедельную «Современную летопись» и ежедневные «Московские ведомости». Это была реакционная сила, но сила значительная. Большое влияние, которым пользовался Катков, не вызывает сомнения. Очевидно и то, что московский редактор вел свои журналы и газету по избранному им пути умелой и твердой рукой. Он добился того, что власти с ним считались, определял во многом правительственную политику, позволял себе то, что не разрешили бы любому другому журналисту.

В первые годы издания «Русского вестника» с именем Каткова связывались значительные надежды прогрессивных кругов. У него была хорошая репутация. Достаточно напомнить, что в 1852 г. в некрасовском «Современнике» (№ 7) опубликованы очерки А. А. Потехина «Забавы и удовольствия в городке», посвященные Каткову, что Чернышевский в статье «О сродстве языка славянского с санскритским...» («Современник», 1854, № 10) упоминал «превосходное сочинение» Каткова «Об элементах и формах славяно-русского языка»².

Человек, лично знавший Белинского, сотрудничавший вместе с ним в «Московском наблюдателе» и «Отечественных записках», хорошо образованный либеральный профессор должен был, казалось, создать интересный и далеко не реакционный

¹ В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 22, с. 43—44.

² Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. Т. II. М., 1939—1953, с. 414. В дальнейшем: Чернышевский.

журнал. На первых порах эти надежды начали как будто осуществляться. Катков привлек к изданию «Русского вестника» многих видных литераторов отнюдь не консервативного направления. В списке сотрудников нового журнала значились имена М. Л. Михайлова, Н. П. Огарева, А. Н. Островского, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, И. А. Гончарова и др.

Особенное значение имела публикация на страницах «Русского вестника» «Губернских очерков» Щедрина. Они пользовались огромным успехом и в значительной степени укрепили авторитет издания Каткова. Не случайно, позднее, полемизируя с Катковым, его противники отмечали, что именно благодаря «Губернским очеркам» многим показалось, что редактор «Русского вестника» открыл не только Англию, но и Россию³.

«Русский вестник» воспринимался читателями чуть ли не как основное издание обличительного направления, критикующее порядки дореформенной России. Такое восприятие было характерно не только для людей умеренно-либерального образа мыслей. Вспомним, что тенденции нового журнала весьма высоко оценивал в «Современнике» Чернышевский. В «Заметках о журналах» за декабрь 1855 г. и январь 1856 г. («Современник», 1856, № 2), давая обзор первых книжек «Русского вестника», Чернышевский желал ему всяческого успеха, добавляя, что, по всей вероятности, «успех его будет и оправдан и упрочен его благородным направлением и литературными достоинствами»⁴.

Аналогичный отзыв помещен в «Заметках о журналах» за апрель 1856 г. («Современник», 1856, № 5): «От «Русского вестника» публика ожидала хороших ученых статей и не ошиблась в этом предположении»⁵. В «Заметках о журналах» за апрель 1857 г., останавливаясь на полемике «Русского вестника» со славянофилами, Чернышевский защищает безусловную правоту первого («Современник», 1857, № 6).

Но к 1863 году, к началу издания Катковым «Московских ведомостей», время либеральных тенденций «Русского вестника» осталось далеко позади. В 1860—1861 гг. все отчетливее намечается поворот Каткова вправо, к реакции. Лето 1862 г., период после майских пожаров, прокламаций, отделило особенно резкой гранью новое направление изданий Каткова, ранее только намечавшееся, от прежнего, либерального. В № 6 «Русского вестника» была помещена статья, направленная против Герцена. Той же теме посвящено выступление редакции в № 33 «Современной летописи». В № 7 «Русского вестника» напеча-

³ См. статью «Взгляд на современное значение русской журналистики» — «Русский инвалид», 1861, № 269.

⁴ Чернышевский, т. III, с. 633. О «Русском вестнике» 1850-х гг. см. М. А. Шмигельская. Отражение политической борьбы в русской либеральной журналистике конца 50-х — начала 60-х гг. XIX в. Саратов, 1974.

⁵ Там же, с. 642.

тана статья «О нашем нигилизме», полная грубой брани в адрес революционеров.

С 1863 г. Катков стал редактировать «Московские ведомости», с первых дней превратив их в воинствующий орган нового реакционного направления, нашедшего отражение и в «Современной летописи»⁶. Специализируясь на травле восставших поляков, на ругани революционеров, восхваляя действия «царя-освободителя», Катков, естественно, имел основание рассчитывать на поддержку властей. Тем не менее отношения редактора «Московских ведомостей» с цензурой, с правительственными кругами были далеко не всегда идиллическими.

Попытаемся рассмотреть эти отношения, не останавливаясь подробно на анализе всех материалов, напечатанных в «Московских ведомостях» и вызвавших недовольство цензуры, на причинах публикации таких материалов.

Выступления «Московских ведомостей» в 1863 г. по польскому вопросу, отражающие в целом стремления правительства, настроения значительной части общества, одурманенной шовинистическим угаром, завоевали газете особого рода авторитет уже в первый год после перехода ее в руки новой редакции. Имя Каткова становится чрезвычайно популярным. Ему посылают телеграммы с выражением верноподданнических чувств. В честь его провозглашаются тосты на «патриотических» обедах. В архиве Каткова сохранилось множество писем, прославляющих издателя «Московских ведомостей» чуть ли не как спасителя России⁷.

Цензура также крайне благожелательно отзывалась о «Московских ведомостях» 1863 г., давая газете такие хвалебные характеристики, каких не удостоивалась даже официальная печать. По мнению цензуры, «Московские ведомости» «пробудили патриотическое чувство во всех слоях»⁸, «возбудили к себе небывалое сочувствие в публике»⁹.

Подобные восторженные оценки вовсе не значили, что в 1863 г. у редакции «Московских ведомостей» не было столкновений с цензурой. В отчете за 1863 г. Совета по делам книгопечатания министру внутренних дел, наряду с горячими похвалами Каткову, содержались и упреки за то, что его газета, «с недозволительно нередко запальчивостью», нападала на всю петербург-

⁶ Последняя стала с 1863 г. приложением к «Московским ведомостям». Что же касается «Русского вестника», то он постепенно утратил свое значение, превратился скорее в сборник статей, чем в журнал.

⁷ См., например, ГБЛ, ф. 120 (архив Каткова), папка 1, №№ 21, 29, 65, папка 42, лл. 2, 4, 5, 6 и др. Под некоторыми из писем до 600 подписей (например, письмо от ярославских дворян, папка 42, л. 2 об).

⁸ ЦГИАЛ, ф. 774 (Совет министра по делам книгопечатания), оп. 1, 1864, № 12, л. 43 об.

⁹ Там же, л. 62.

скую журналистику, находя ее «не патриотическою, вредною и даже преступною»¹⁰.

С чрезмерно «горячей» защитой «патриотизма» связаны и столкновения Каткова с московскими цензорами. К моменту перехода «Московских ведомостей» в руки Каткова председатель московского цензурного комитета М. П. Щербинин относился к нему весьма благосклонно. Давая обзор содержания «Русского вестника» за 1862 г., Щербинин писал, что тот «конечно может быть признан одним из самых лучших в России журналов», что полемика Каткова с эмигрантами (т. е. с Герценом) «есть не только заслуга, но и подвиг гражданского мужества»¹¹. По поводу перехода с будущего года «Московских ведомостей» в руки Каткова и Леонтьева Щербинин высказывал самые радужные надежды.¹²

Да и не только Щербинин, но и лица гораздо более влиятельные относились к Каткову с самым дружеским участием, а иногда и заискивали перед ним. В 1863 г. великий князь Константин и Муравьев специально приглашают Каткова послать корреспондентов в Варшаву и Вильно для освещения польских дел. По дороге этих корреспондентов принял министр внутренних дел Валуев и напутствовал их¹³. По поручению Муравьева в «Московские ведомости» посылаются статьи о восстании, в которые Каткову предлагают по его усмотрению вносить любые изменения¹⁴. Позднее, когда результаты следствия по делу Каракозова вызвали недовольство Каткова Муравьевым, последний писал редактору «Московских ведомостей», что преисполнен «глубоким уважением к столь полезной Вашей деятельности»¹⁵, просил Каткова помочь в борьбе с революционными силами: «высоко ценя оказанные Вами услуги отечеству, в тяжкую для него годину, я решаюсь обратиться к Вам <...> с просьбою не отказать своим всегда теплым и радушным содействием <...> для окончательного поборения той нравственной заразы, которая так сильна»¹⁶. В таком тоне лица, обладающие властью, с представителями журналистики, обычно, не говорили. Катков был один из немногих, если не единственный, завоевавший право на подобное обращение.

Весьма предупредительно ведет себя в отношении Каткова

¹⁰ ЦГИАЛ, ф. 774 (Совет министра по делам книгопечатанья), оп. 1, 1864, № 12, л. 63.

¹¹ Там же, ф. 1282 (Канцелярия министра внутренних дел), оп. 2, 1862, № 1939, л. 144 об., 145 об.

¹² Там же, л. 147 об.

¹³ ЦГИА г. Москвы, ф. 31 (Московский цензурный комитет), оп. 5, 1863, № 492, л. 3, 3 об. Об этом Катков пишет Валуеву. См. ИРЛИ, ф. 559 (П. А. Валуева), № 41, л. 20.

¹⁴ ГБЛ, ф. 120, папка 6, № 24.

¹⁵ Там же, папка 42, л. 72.

¹⁶ Там же.

и Валуев. В 1863—1864 гг. между ними поддерживается оживленная переписка, инициатором которой был министр внутренних дел. Вскоре после начала польского восстания, 29 марта, он предлагал заключить с ним «договор, *«ratiun»*, на счет дальнейшего обмена мыслей и мнений». Валуев обязуется давать **«конфиденциально»** ответ на каждый Вами мне предложенный вопрос». В свою очередь он хочет «иметь возможность обращаться к Вам, **конфиденциально** же, для осведомления о Вашем взгляде на те вопросы, по которым мне хотелось бы узнать Ваше мнение»¹⁷.

Переписка состоялась. Валуев вел ее в подчеркнуто любезном тоне. В то же время министр внутренних дел пытается превратить «Московские ведомости» в рупор своих идей, подсаживая Каткову темы, выражая готовность снабжать его материалом¹⁸.

Иногда Валуев в своих конфиденциальных письмах пробует сдерживать Каткова. Он предостерегает его, например, от полемики по остзейскому вопросу, от чрезмерных похвал Муравьеву¹⁹.

С крайним пиететом относится к Каткову Д. А. Толстой, с 1865 г. ставший обер-прокурором Синода и сделанный Катковым в 1866 г. министром народного просвещения. Уже осенью 1863 г., посылая Каткову свое сочинение о католической церкви в России, Толстой сопровождает книгу весьма почтительным письмом, радуясь возможности «выразить Вам то глубокое уважение, которым я, как и все русские, проникнут к Вашей деятельности и тем политическим принципам, коими Вы завоевали общественное мнение»²⁰.

Толстой пишет Каткову и позднее, благодарит издателя «Московских ведомостей» за понимание роли духовенства в образовании народа, просит от имени Синода совета по поводу проекта преобразования духовных училищ²¹.

Став министром просвещения, Толстой продолжает обращаться к Каткову за поддержкой. Так, например, 3 ноября 1867 г. он спрашивает о мнении Каткова о новом уставе гимназий: «Знаем мы очень хорошо, что Вы завалены работою, но знаем также, что Вы не отказывались никогда и не отказы-

¹⁷ ГБЛ, ф. 120, папка 1, И 58, письмо 1. См. В. Мустафин. Михаил Никифорович Катков и граф Петр Александрович Валуев в их переписке. — «Русская старина», 1915, № 8, с. 295. Далее: Мустафин (с указанием № «Русской старины» и страницы).

¹⁸ Там же, письмо 2. Мустафин № 8, с. 296; письмо № 3, Мустафин, № 9, с. 404; письмо 5, Мустафин, № 9, с. 407; письмо 6, Мустафин, № 9, с. 408 и др.

¹⁹ Там же, письма 22, 16, 9.

²⁰ Там же, папка 19, л. 71.

²¹ Там же, л. 72.

ваются работать для общего дела, и в этой надежде не перестаем беспокоить Вас разными просьбами»²².

О деятельности Каткова в 1863 г. весьма сочувственно, хотя, возможно, и не совсем искренно, отзывается и А. В. Головнин, бывший в то время министром просвещения. Катков был представлен К. С. Веселовским Головнину в 1862 г., когда шли переговоры о новых редакциях «С.-Петербургских ведомостей» и «Московских ведомостей». По словам Веселовского, Головнин Каткову уже в то время, видимо, не понравился.²³ В архиве Каткова сохранился ряд писем Головнина от 1862 г. В одном из них (от 1/XI) сообщается, в частности, что царь распорядился передать Каткову и Леонтьеву издание «Московских ведомостей», хотя другие претенденты предлагали большую сумму за аренду²⁴.

4 июня 1863 г. Головнин благодарил Каткова за то, что он послал корреспондентов в Варшаву и Вильно. Он выражал надежду, что «Московские ведомости» дождутся переиздания, служа «лучшим материалом для истории нашей эпохи»²⁵.

В конфиденциальном письме от 7 июня 1863 г. Головнин делал попытку подкупить Каткова, предлагая ему издать особой брошюрой большим тиражом статьи «Московских ведомостей» о Польше и беря на себя обязанность распространить эту брошюру²⁶. Катков был достаточно умен, чтобы не клюнуть на такую приманку. Он отклонил предложение Головнина и позднее широко использовал упомянутый эпизод в полемике с министром народного просвещения.

Б. Н. Чичерин вспоминает, что к статьям «Московских ведомостей» о польском восстании с живым сочувствием относился наследник престола и С. Г. Строганов, попечитель наследника²⁷. Камер-фрейлина А. Д. Блудова, дочь видного государственного деятеля Д. Н. Блудова, председателя Комитета министров, Государственного совета, писала Каткову 31 января 1863 г.: «Мы все, в том числе государыня, читали с величайшим удовольствием Ваши три первые статьи о польских делах»²⁸. Блудова сообщала, что одну из этих статей прочитал и расхвалил министр иностранных дел А. М. Горчаков. В письме от 28 февраля 1863 г. Блудова заявляла, что одна из статей Каткова о

²² ГБЛ, ф. 120, папка 19, л. 82.

²³ К. С. Веселовский. Воспоминания. — «Русская старина», 1901, № 12, с. 523.

²⁴ ГБЛ, ф. 120, папка 2, № 29. Письмо от 1/XI 1862.

²⁵ Там же. Письмо от 4/VI <1863>.

²⁶ Там же. Письмо от 7/VI 1863.

²⁷ Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Московский университет. М., 1929, с. 82.

²⁸ ГБЛ, ф. 120, папка 20, л. 176.

Польше «прекрасна, полезна и своевременна», что все так считают, «начиная с высочайших особ»²⁹.

После подобных хвалебных оценок, которых можно было бы привести значительно больше, следует принимать всерьез, а не как комплимент, уверение Б. М. Маркевича, что публикация материала на страницах «Московских ведомостей» принимает в глазах «сильных мира сего совсем другое значение, чем какие хотите обличения какого-нибудь «Голоса»»³⁰.

Аналогичную оценку роли «Московских ведомостей» и деятельности Каткова дает Е. М. Феоктистов: «у него был целый сонм пламенных приверженцев, которые чуть не клялись его именем, и множество иступленных врагов, которым хотелось бы стереть его с лица земли. Правительство боялось его и вместе с тем заискивало в нем»³¹. При всей субъективности этой характеристики, идеализации Феоктистовым роли Каткова, влияние редактора «Московских ведомостей» отражено в ней верно.

Тем не менее уже в 1863 г. начались постоянные столкновения Каткова с цензурой. 22 февраля Щербинин извещал Валуева о том, что московская цензура отказалась пропустить статью, предназначенную для «Московских ведомостей», в которой цитировалось письмо французского публициста Жирандена Александру II. Он посылал и саму статью, выдержанную в антипольском духе, полемизирующую с Жиранденом, но все же приводящую его мнения³². Цензура считала, что русских читателей вообще не стоит знакомить с подобными материалами, отражающими недовольство европейского общественного мнения политикой царизма в Польше, хотя бы такие материалы приводились с целью их опровержения. Катков же отказался печатать статью без письма Жирандена и усмотрел в поступках цензуры противодействие.

Задержав статью, Щербинин чувствовал себя явно не спокойно. Уже в приведенном письме он высказывает опасение, что запрет «может быть употреблен как средство к обвинению московской цензуры»³³. 24-го февраля Щербинин извещал Валуева, что все же разрешил публиковать статью, но не в «Московских ведомостях», а в январской книжке «Русского вестника»³⁴. Опасения Щербинина были небезосновательны. Его «придирки» к Каткову вызвали недовольство ряда высокопоставленных лиц. А. Д. Блудова, извещая об этом редактора «Московских

²⁹ ГБЛ, ф. 120, папка 20, л. 177.

³⁰ Там же, папка 7, № 27, письмо от 11/XI 1863.

³¹ Е. М. Феоктистов. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. Л., 1929, с. 137.

³² ЦГИАЛ, ф. 908 (П. А. Валуева), оп 1, № 676, л. 1 об.

³³ Там же.

³⁴ Там же, л. 6.

ведомостей», выражала надежду, что «шум, поднятый теперь при сем случае, будет тем полезен, что отрезвит Щербинина и Петрова и что они не будут запрещать у Вас статей впредь»³⁵. Валуев же счел наилучшим выходом откреститься от ответственности. Он заявил Д. Н. Блудову, что сам одобряет статью, «а это в Москве виноваты»³⁶.

Естественно, что после подобных столкновений Щербинин старался быть особенно осторожным. Когда статья о «петербургской атмосфере» (1863, № 281), обвинявшая чиновников в воровстве документов, в разглашении секретных сведений, ставших известными Герцену и опубликованных в «Колоколе», вызвала недовольство Валуева, Щербинин берет ее под защиту, старается доказать, что в ней не имеются в виду правительственные сферы. Мимоходом он заявляет, что считает своим долгом покровительствовать тем изданиям, которые являлись выражением «живых инстинктивных чувств русского народа»³⁷. Совершенно очевидно, что прежде всего здесь подразумеваются «Московские ведомости».

Тем не менее, цензурные столкновения продолжались. В начале марта 1863 г. Валуев признает правильным запрещение московским цензурным комитетом заметки об аресте воспитанника одной из гимназий³⁸. Недовольство Валуева вызывают и предложения Каткова о создании городской стражи на военный лад, критика им финансовых мероприятий правительства³⁹. Местную администрацию и министерство внутренних дел раздражали ложные известия, печатавшиеся в «Московских ведомостях», о злоупотреблениях поляков, о преступлениях, якобы совершаемых ими (такие известия объективно свидетельствовали о нераспорядительности властей)⁴⁰.

Валуев сообщил о своих претензиях по всем упомянутым вопросам в московский цензурный комитет. Узнав об этом, Катков начал в довольно резком тоне упрекать министра за нарушение им соглашения, за то, что замечания переданы не ему лично, а официальным путем, через цензуру. Уже здесь Катков прибегает к угрозе, которой он постоянно пользовался и позднее: хорошо зная о прочности своего положения, о своей популярности, он грозит отказаться от редактирования «Московских ведомостей», если его «образ мыслей или действий кажется правительству вредным»⁴¹.

³⁵ ГБЛ, ф. 120, папка 20, л. 177.

³⁶ Там же.

³⁷ ЦГИАЛ, ф. 908, оп. 1, № 676, л. 54, 55.

³⁸ ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, № 491, л. 9.

³⁹ ГБЛ, ф. 120, папка 1, № 58, письма 3, 4.

⁴⁰ ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, № 494, л. 35 об. ЦГИАЛ ф. 775 (Центральное управление по цензурному ведомству), оп. 1, 1863, № 125, л. 6.

⁴¹ ИРЛИ, ф. 559, № 41, л. 16.

Возражает Катков и против замечания, полученного цензором за пропуск в «Московских ведомостях» ложных известий. Он соглашается, что такие известия могли быть ошибочными, но не видит в этом особой беды: цензура дескать должна следить, нет ли в статьях «неблагонамеренных искажений»; если же цель «благонамеренная», то «стоит ли придавать важность случайной неверности того или другого известия»⁴². Это была своего рода концепция, оправдывающая любую фальсификацию задачами укрепления «благонамеренности».

Редактор «Московских ведомостей» продолжал и далее непрерывно жаловаться Валуеву на придирки цензуры, угрожая своей отставкой⁴³. Министр пытался урезонить капризного журналиста, почти оправдываясь перед ним: «Вы очень хорошо знаете, что Ваше независимое, но благородно-полезное направление одинаково признается и публикою и правительством; но доколе есть цензура, нельзя же с нею никогда не встречаться»; «не думаю я, что М. П. Щербинин не был искренно расположен давать Вашим изданиям наибольший, до последних пределов возможности, простор»^{43а}. Валуев заверяет Каткова, что он всегда рад идти навстречу пожеланиям редактора «Московских ведомостей», что его упрекают в пристрастии к этой газете, в несправедливом послаблении ей⁴⁴. Министр внутренних дел дружески уговаривает Каткова отбросить мысли об отставке: «Не хочу и думать, чтобы Вы прекратили Вашу общепользную деятельность»⁴⁵.

Трудно, однако, сказать, насколько искренними были такие уговоры. Катков к этому времени в достаточной степени надоел Валуеву, но с ним приходилось считаться, ему необходимо было льстить.

Не легкой оказывалась в подобной ситуации задача и цензора А. Г. Петрова, надзору которого были поручены «Московские ведомости». Катков не желал сдерживаться. Он считал, что издание такого направления, как его газета, завоевало право касаться любой темы, критиковать любое лицо и учреждение, если оно найдет это нужным для блага родины и престола. Каткова поддерживали весьма влиятельные круги. Связываться с ним было небезопасно. Но опасно было и пропускать многие материалы, предназначенные для «Московских ведомостей», навлекать на себя недовольство министров внутренних дел, просвещения, финансов, видных провинциальных администраторов и т. п. В результате, по рассказам, Петров дрожал от страха, разрешая в 1863 г. статьи для катковской

⁴² ИРЛИ, ф. 559, № 41, л. 26 об.

⁴³ Там же, л. 42, 42 об.

^{43а} ГБЛ, ф. 120, папка 1, № 58, письмо № 4, от 4/VII 1863.

⁴⁴ Там же, письмо № 7, от 23/VIII 1863.

⁴⁵ Там же, письмо № 17, от 6/II 1864.

газеты⁴⁶. Сам Катков писал в конце ноября о переживаниях Петрова следующее: «Я более всего трепещу за цензора. Он уже и теперь чуть не слег в постель»⁴⁷.

В 1864 г. столкновения с цензурой продолжались. Многие статьи «Московских ведомостей» привлекли к себе неблагоприятное внимание цензурного ведомства.⁴⁸ Особенно обострились отношения Каткова с администрацией осенью 1864 г. в связи с его нападками на министерство народного просвещения. Одним из поводов обострения послужили сочинения Шедо-Ферроти о «польском вопросе», инспирированные и распространяемые Головным. Агент русского правительства в Бельгии, автор пасквильных брошюр, направленных против Герцена, вызвавших гневную отповедь Писарева, барон Фиркс, печатавшийся под псевдонимом Шедо-Ферроти, взял на себя неблагоприятную задачу оправдания перед европейским общественным мнением действий русского царизма в Польше. С этой целью Шедо-Ферроти издает за границей несколько сочинений.⁴⁹ Они были отнюдь не прогрессивными, но предназначались для европейского читателя, с которым не следовало беседовать в стиле Каткова; кроме того, они и по сути отражали взгляды тех правительственных кругов, которым действия Муравьева и Каткова относительно Польши казались слишком топорными, чреватými опасными последствиями. Шедо-Ферроти защищал систему гибких мер, проводившуюся бывшим наместником Царства Польского князем Константином. Его доводы ориентированы на раскол польского освободительного движения, на отрыв от восставших колеблющихся слоев.

Катков выступил с резкой критикой Шедо-Ферроти, обвиняя его в разжигании мятежа, в потворстве восставшим⁵⁰. Попутно редактор «Московских ведомостей» позволял себе довольно пасквильные выпады в адрес министра народного просвещения. Он недвусмысленно обвинял Головнина в поддержке Шедо-Ферроти, в распространении его сочинений, в пропаганде антиправительственных идей⁵¹. Цензура с неодобрением отмечает публикацию таких материалов, объясняя их появление личными целями, оскорбленным самолюбием Каткова⁵². Но запретить их она не решается.

⁴⁶ С. Неведенский. Катков и его время. СПб., 1888, с. 227.

⁴⁷ ИРЛИ, ф. 559, № 41, л. 42 об.

⁴⁸ См., например, ЦГИАЛ, ф. 774, сп. 1, 1864, № 2, л. 5, 11, № 2, л. 31—33, № 3, л. 39 об., 94, 103. 226 об., 253, 257, 363 об., 402 об., 421, 423 об.

и др.

⁴⁹ «Lettre d'un patriote polonais au gouvernement national de la Pologne» (1863), «Que fera-t-on de la Pologne?» «Etudes sur l'avenir de la Russie» (1864).

⁵⁰ См. передовые 195, 196, 216 номеров (1864), № 9 (1865) и др.

⁵¹ Передовая № 196 (1864).

⁵² ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, 1864, № 3, л. 532 об.

Катков, в свою очередь, нажимает на нужные пружины. Спор о сочинениях Шедо-Ферроти превращается в несомненную победу редактора «Московских ведомостей» над Головниным. Мобилизуется общественное мнение. Московский университет демонстративно возвращает присланные ему министерством просвещения сочинения Шедо-Ферроти. Киевский университет с нарочитым недоумением запрашивает министерство, с какой целью направлены для его библиотеки эти сочинения. В министерство пересылается письмо попечителя тверской гимназии, где речь шла о вредном влиянии произведений Шедо-Ферроти⁵³.

11 сентября 1864 г. государственный секретарь В. П. Бутков, ссылаясь на повеление царя, просит министерство просвещения уведомить его, справедливы ли слухи о том, что брошюра Шедо-Ферроти «Что нам делать с Польшей?» рассылается в учебные заведения, с какой целью делается это, знает ли о такой рассылке Головнин⁵⁴. Позднее Бутков запрашивал Головнина, правда ли, что Шедо-Ферроти осматривает учебные заведения России, получив для этого пособие от министерства народного просвещения. Раздраженный Головнин сделал приписку на отношении Буткова: «следовало сказать: до сведения <...> через Москов<ские> вед<омости> дошло»⁵⁵.

Попытки Головнина оправдаться не увенчались успехом. Большая статья в защиту Шедо-Ферроти не появилась в печати⁵⁶. Сам Головнин позднее не рекомендует Шедо-Ферроти выступать с опровержением Каткова⁵⁷. На всеподданнейшей записке министра народного просвещения царь наложил резолюцию: «Книгу эту не следовало рассылать, ибо хотя она во многом благонамеренна, но окончательные ее выводы вовсе не согласны с видами правительства»⁵⁸. Сам Головнин в письмах к А. П. Николаю сообщал, что царь выразил ему недовольство историей с Шедо-Ферроти, шумом, поднятым ею⁵⁹. Не поблагодарил Головнина и князь Константин, в защиту политики которого была направлена брошюра «Что нам делать с Польшей?» Он признавал добрые намерения своего приверженца, неприличие и подлость доносительных статей Каткова, но выражал сожаление, что Головнин сделал «пренеловкую штуку», от которой «пользы не вышло никакой, а большой вред»⁶⁰.

⁵³ ЦГИАЛ, ф. 733 (Министерство народного просвещения), оп. 193, 1864, № 135, л. 74, 81, 85.

⁵⁴ ГПБ, ф. 208 (А. В. Головнина), № 225, л. 1.

⁵⁵ Там же, л. 3.

⁵⁶ Там же, № 226, л. 8. См. также ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 193, 1864, № 135.

⁵⁷ ЦГИАЛ, ф. 851 (А. В. Головнина), оп. 1, № 11, л. 62.

⁵⁸ ГПБ, ф. 208, № 226, л. 2.

⁵⁹ ЦГИАЛ, ф. 851, оп. 1, № 11, л. 30.

⁶⁰ ГПБ, ф. 208, № 57, л. 22, 23.

Не слишком благоприятной для Головнина оказалась и полемика вокруг «Учебной книги географии» Даниеля, обвиненной «Московскими ведомостями» в антипатриотических тенденциях⁶¹. Статьей московской газеты заинтересовался Начальник III Отделения В. А. Долгоруков и приказал собрать сведения по этому делу. Головнину пришлось писать объяснение, посылать в III Отделение подробное обоснование полезности книги, рекомендованной как пособие Ученым комитетом министерства народного просвещения.⁶²

Довольно большой шум вызвала и статья М. В. Юзефовича «Возможен ли мир с нами польской шляхты?», напечатанная в № 203 «Московских ведомостей» за 1864 г., наполненная пасквильными выпадами в адрес не только украинофилов, «польской интриги» в Юго-Западном крае, но и администрации Одесского учебного округа, якобы поддерживавшей «сепаратистов». Попечитель округа обратился к начальнику III Отделения, прося защиты от клеветы. К его жалобам присоединился новороссийский и бессарабский генерал-губернатор П. Е. Коцебу, который не мог примириться с характеристикой в «Московских ведомостях» Одессы как главного оплота польской пропаганды, центра связи с революционными пунктами Европы. Начальнику III Отделения показались убедительными доводы Арцимовича и Коцебу. Обращаясь к Валуеву, он писал, что статья «Московских ведомостей» «не должна была бы появляться в печати в настоящем ее виде», что следовало бы заставить Каткова поместить опровержение⁶³. Валуев согласился с таким мнением⁶⁴. Но на этот раз Головнин, имевший уже печальный опыт борьбы с Катковым, решил более разумным не возвращаться к вопросу о статье Юзефовича, мотивируя свое решение тем, что не следует привлекать внимания читателей к этой статье, что на нее уже дан ответ в «Голосе»⁶⁵.

Становилось все яснее, что справиться с Катковым не так-то просто. А. В. Никитенко записывал в своем дневнике, что Каткова спустили с цепи, а ныне не знают как унять⁶⁶. На одном из докладов члена Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания В. М. Ведрова о статье «Московских ведомостей», в которой шла речь о «сепаратизме», о невозможности «государства в государстве», карандашом приписано: «Госу-

⁶¹ «Московские ведомости», 1864, № 241.

⁶² ЦГАОР, ф. 109 (III Отделения), 1 эксп., оп. 8, 1864, № 217.

⁶³ ЦГИАЛ, ф. 775, оп. 1, 1864, № 179, л. 27 об. См. также ф. 733. оп. 193, 1864, № 170, ф. 774, оп. 1, 1864, № 3, л. 550 об.

⁶⁴ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., оп. 8, 1864, № 214.

⁶⁵ Там же. Ответ см. в «Голосе», 1864, № 273.

⁶⁶ А. В. Никитенко. Дневник. Т. II. 1955, с. 395.

дарство в государстве есть газета Моск<овские> вед<омости>, не признающая над собой никакой власти»⁶⁷.

На рубеже 1864—1865 гг. столкновения между «Московскими ведомостями» и администрацией приобрели форму скандала. В № 267 «Московских ведомостей» (1864) была напечатана передовая с резкой критикой цензурной политики, с упоминаниями о штрафах, наложенных на редакцию. Статья появилась без одобрения цензуры. Валуев обращает на эту статью внимание Щербинина, выражая надежду, что она не останется без последствий, прося уведомить о принятых мерах. Щербинин пригрозил типографии, что она, печатая не подписанный цензором материал, подвергнется не только штрафам, но и суду. В ответ Катков заявил, что он прекращает издание газеты, подготовил об этом редакционную статью и послал телеграмму Валуеву. 31 декабря Щербинин по телеграфу докладывал Валуеву, что ему удалось предотвратить появление в печати статьи об отставке Каткова. В тот же день Валуев довел телеграмму Щербинина до сведения царя, реагировавшего на доклад несколько двусмысленной резолюцией: «весьма рад»⁶⁸. Не совсем ясно, что одобрял царь: меры ли, предпринятые против Каткова, или то, что удалось предотвратить его отказ от редактирования. Видимо, Александр II давал понять Валуеву, что устранение Каткова было бы нежелательным.

Впрочем, издатель «Московских ведомостей» не столько собирался всерьез покинуть журнальное поприще, сколько шантажировал власти такой возможностью. В начале января 1865 г., угрожая Совету московского университета прекращением издания «Московских ведомостей», Катков заставил ходатайствовать об освобождении его газеты от предварительной цензуры. Совет просил передать «Московские ведомости» под ответственность университета. По всеподданнейшему докладу Головкина царь велел рассмотреть дело в Комитете министров. Оно слушалось там 12 и 19 января 1865 г.⁶⁹

Противники Каткова хорошо подготовились к борьбе. Еще осенью 1864 г. Валуев поручил члену Совета министра внутренних дел по делам книгопечатания О. А. Пржецлавскому собрать материал о «Московских ведомостях» за все время издания газеты Катковым. Конечно, отношение Валуева к Каткову для Пржецлавского не было тайной. Возможно, не случайно и то, что министр поручил подбор материала о «Московских ведомостях» именно Пржецлавскому, поляку по национальности. Тот представил совершенно разгромный обзор. Он указывал

⁶⁷ ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, 1864, № 3, л. 728.

⁶⁸ ИРЛИ, ф. 559 (П. А. Валуева), № 21, л. 22. См. также ЦГИАЛ, ф. 1282, оп. 2, 1864, № 1950, л. 1, 4 об., 6, 7, 8.

⁶⁹ См. ЦГИАЛ, ф. 1263 (Комитет министров), оп. 1, № 3140; П. А. Валуев т. II, с. 443.

на благотворную роль газеты в год польского восстания, на заслуженную популярность ее. Но далее, по словам Пржецлавского, редакция начала искать популярности искусственной и в погоне за ней далеко выходит за пределы, дозволенные для русской журналистики, «свободно и даже необыкновенно развязно трактует предметы высшей дипломатии, оценивает и комментирует по-своему акты нашего правительства, позволяя себе даже давать советы и собственные указания», «прямо осуждает деятельность высших должностных лиц». Автор записки приходил к выводу, что «Московские ведомости» подают дурной пример другим периодическим изданиям, что их характер и направление — «явление ненормальное, не согласное с существующими коренными основами государственного устройства»⁷⁰.

Записка была составлена в конце октября 1864 г. Видимо, она выражала и точку зрения Валуева. Но выводы ее не встретили поддержки даже в высших цензурных инстанциях. Подробное мнение о ней, изложенное на 10 листах, высказал член Совета А. Н. Тихомандрицкий, указывавший на заслуги Каткова в борьбе с «нигилизмом», на благотворную роль, которую газета играла во время польского восстания. В отзыве Тихомандрицкого признавалось, что «увлечения» могли иногда приводить к тому, что «Московские ведомости» выходили за пределы сдержанности и приличия, но подобные «увлечения» признавались вполне извинительными «для публициста — пламенного патриота — в борьбе со множеством врагов, восстающих тайно и явно против самых драгоценных и возвышенных русских интересов — государственных и народных»⁷¹.

С аналогичными мнениями, хотя и более мягко высказанными, выступили и другие члены Совета (Н. В. Варадинов, И. А. Гончаров, А. В. Никитенко)⁷². В сущности, обвинений Пржецлавского никто не поддержал. И объяснялось это не только симпатиями к Каткову, но и ощущением его силы. Тем не менее записка Пржецлавского фигурировала в качестве документа, обвиняющего Каткова, во время разбора дела в Комитете министров, куда она была передана Валуевым⁷³.

Готовясь дать бой Каткову, министр внутренних дел приказывает подвести итог всем нарушениям цензурных постановлений «Московскими ведомостями» и всем мерам, которые приняла цензура по поводу таких нарушений⁷⁴. Этот перечень должен был доказать, что цензура оказывала Каткову всяческое

⁷⁰ ЦГИАЛ, ф. 774, оп. 1, 1864, № 57, л. 1, 5, 8 об.

⁷¹ Там же, л. 19.

⁷² Там же, л. 20—29, 32—45.

⁷³ Там же, ф. 1263, оп. 1, № 3140, л. 235.

⁷⁴ Там же, ф. 1282, оп. 2, 1864, № 1950, л. 39—63, ф. 774, оп. 1, 1864, № 59, л. 20—34.

содействие, что ограничения касались лишь частных случаев, не имеющих отношения к общему направлению газеты.

5 января 1865 г. Валуев сообщает Щербинину о скором рассмотрении просьбы Совета московского университета. Он указывает, что эта просьба, в сущности, является жалобой на действия московского цензурного комитета, и предлагает Щербинину подготовить ответ, обосновывающий правомерность поступков цензуры⁷⁵.

12 января вопрос о «Московских ведомостях» слушался в Комитете министров. Письмо Головнина А. П. Николаи, отправленное в тот же день, под живым впечатлением от происходящего, позволяет довольно живо представить картину обсуждения. Катков оказался отнюдь не в роли безответного подсудимого. Его горячо поддерживали многие члены Комитета. Докладывал о деле Головнин, так как разбиралось прошение университета, т. е. учреждения ведомства народного образования. Вражда Головнина и Каткова была всем хорошо известна. Это связывало Головнину руки. Он сам писал Николаи о своем трудном положении, о том, что всякое его выступление против Каткова будет иметь вид личной мести. Поэтому Головнин ограничился докладом о просьбе Совета университета, никак ее не комментируя. Затем о заслугах Каткова в «преувеличенных выражениях» стали говорить главноуправляющий II отделением собственной е. и. в. канцелярии, председатель департамента законов Государственного совета М. А. Корф, военный министр Д. А. Милютин, министр иностранных дел А. М. Горчаков, министр государственных имуществ А. А. Зеленой. Горчаков сообщил мнение наместника Царства Польского Ф. Ф. Берга, что отставка Каткова будет воспринята как большая победа польской партии, что она вызовет затруднения в управлении Польшей. Милютин выразил удивление по поводу того, что цензура своими придирками сделала невыносимым положение «столь благонамеренного писателя»; «Валуев не выдержал и отвечал очень резко»⁷⁶. Затем министр внутренних дел познакомил комитет с подробным донесением Щербинина и долго говорил о снисходительности, которая оказывалась «Московским ведомостям», о том, «как требовательность и грубость Каткова» росла по мере увеличения его популярности «...» так что он не только не исполнял просьб Валуева, но даже не отвечал ему на собственноручные письма»⁷⁷.

Валуева поддержал министр финансов М. Х. Рейтерн, указавший на вред статей Каткова по финансовым вопросам, на нежелание редакции печатать опровержения, присылаемые из

⁷⁵ ЦГИАЛ, ф. 774, № 59, л. 19—19 об. Объяснения Щербинина посланы 10 января.

⁷⁶ Там же, ф. 851, оп. 1, № 11, л. 111.

⁷⁷ Там же, л. 112.

министерства. На стороне Валуева выступил, хотя и не очень решительно, начальник III Отделения В. А. Долгоруков, говоривший, что закон никому нарушать не позволено. Председатель Комитета министров П. П. Гагарин предложил компромиссное решение, на котором все сошлись: в просьбе университета отказали, отметив, что скоро будет введен в действие новый цензурный устав, пока же, до введения нового устава, министеру внутренних дел было поручено оказывать Каткову всевозможные облегчения в издании «Московских ведомостей»⁷⁸.

19 января Комитет утвердил окончательно резолюцию по делу Каткова. Головин, сообщая об этом Николаю, писал, что он оказался вынужден «протестовать против пышных выражений» насчет заслуг Каткова, «которые можно бы употребить разве говоря о Минине и Пожарском»⁷⁹. Но и в итоговом тексте решения шла речь о том, что Комитет «не мог не принять во внимание благонамеренности и патриотического направления издателей «Московских ведомостей», а равно оказанных им весьма важных заслуг как по учебному ведомству, так и вообще перед Россией»; отмечалась большая роль газеты в борьбе с противоправительственной пропагандой, в поддержке «патриотического чувства русской народности»⁸⁰. 22 января решение Комитета министров было утверждено царем. Фактически оно означало победу Каткова над своими противниками.

Издатель «Московских ведомостей» почувствовал себя еще более уверенно. В 1865 г. он публикует ряд резких выпадов против администрации и цензуры⁸¹. Но все же материалов такого рода в газете в 1865 г. напечатано не так уж много. Цензура, в свою очередь, относилась к «Московским ведомостям» довольно терпимо. Московский цензурный комитет, видимо, в достаточной степени напуганный, почти не упоминает о материалах для газеты Каткова либо делает это не по собственному почину. Комитет даже вступает за Каткова. Когда цензор С. П. Загребин предложил комитету возбудить судебное преследование против «Московских ведомостей» за передовую № 235, полную намеков на министра народного просвещения, было решено не делать этого, а лишь сообщить о статье в Главное управление по делам печати, объяснив, что подобные статьи печатались в «Московских ведомостях» и прежде, не вызывая нареканий начальства. Московский цензурный комитет не хочет, чтобы его упрекнули в потере бдительности, но он не желает и вступать в борьбу с Катковым; он указывает на полезность общего направления газеты, на то, что министерство народного

⁷⁸ ЦГИАЛ, ф. 851, оп. 1, № 11, л. 112.

⁷⁹ Там же, л. 122.

⁸⁰ Там же, ф. 1282, оп. 2, 1864, № 1950, л. 65 об., 66.

⁸¹ «Московские ведомости», 1865, №№ 12, 13, 44, 208, 235, передовые.

просвещения отчасти дало повод для подобных статей⁸². После громкого скандала наступило некоторое затишье. Возможно, оно вызвано отчасти тем, что с сентября 1865 г. вступало в действие новое положение о печати, согласно которому предварительная цензура была отменена: в ожидании близкой «свободы» Каткову вряд ли имело смысл идти на осложнения.

В первую половину 1866 г. положение меняется. Между редакцией «Московских ведомостей» и цензурным ведомством вновь закипает ожесточенная борьба. Катков, воспользовавшись уничтожением предварительной цензуры, усиливает нападки на администрацию. Осложнения оказались вызванными, в частности, откликами «Московских ведомостей» о положении в Прибалтике. Дело заключалось в следующем. Ратуя против всякого рода «сепаратизмов», Катков вел непрекращающуюся полемику с прибалтийскими изданиями, защищавшими привилегии остзейского дворянства. В данном случае он во многом был прав, хотя его обвинения определялись общей реакционной шовинистической позицией. Власти решили прекратить обсуждение «шкелотливого» вопроса. Начальник Главного управления по делам печати в особом циркуляре потребовал не пропускать полемических статей о Прибалтике, указывая на односторонность высказываний и русских и прибалтийских газет. «Московские ведомости» перепечатали циркуляр в № 277 (1865), превратив рассуждения о нем в продолжение полемики, заявляя, что «сепаратистские» тенденции в Прибалтике находят «официальную поддержку» в определенных правительственных сферах.

Сообщая в передовой № 45 (1866) о письме рижского цензора, защищавшего прибалтийские газеты, и об ответе ему начальника Главного управления, редакция «Московских ведомостей» недоумевает, зачем названная переписка опубликована в «Северной почте», утверждает, что подобные материалы могут лишь приободрить партию антирусских патриотов в прибалтийском крае.

Еще более резкие обвинения выдвигаются в передовой № 50, в которой говорилось, что «сепаратизм» — «результат действий власти, результат ошибочной или лженаправленной политики». В статье содержатся весьма недвусмысленные намеки, что в такой политике виновны весьма высокопоставленные лица, в том числе министры. Печатаая подобные намеки, «Московские ведомости» вступают в спор с Главным управлением по делам печати, с руководителями министерств народного просвещения и внутренних дел.

В газете Каткова усиливается критика действий администрации, касающихся и внутренних губерний России. Так, например, в № 47 шла речь о необходимости усилить роль дво-

⁸² ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, № 509, л. 54—55.

рянских и земских собраний при рассмотрении их просьб администрацией. Значение последней, по мнению редакции, следовало бы ограничить. В передовой № 49 «Московских ведомостей» рассказывалось о деле рязанского исправника Д. Левашова, рассматривавшемся в Сенате. Левашов, во время исполнения своих обязанностей, совершил ряд преступлений. Он истязал людей, сек их, рвал бороды и т. п. В № 217 «Колокола» (1866) была помещена статья о Левашове «Несовершеннолетний злодей и совершеннолетние злодеи, судившие его». В ней с негодованием говорилось и о преступлениях Левашова и о мягкости приговора, вынесенного ему (полторы недели домашнего ареста). Дело Левашова для издателей «Колокола» — еще одно свидетельство дикого и безнаказанного произвола, порождаемого самодержавием.

Для Каткова преступление Левашова имеет совсем другой смысл. В «Московских ведомостях» приводятся те же факты, что и в «Колоколе», так же критикуется мягкость приговора. Но негодование редакции направлено не против системы общественных отношений, порождающих дела, подобные истории Левашова, а против старых судов, против чрезмерной роли администрации, которой противопоставляется земское самоуправление, возглавляемое дворянством. В статье содержатся намеки на то, что назначаемые, а не избираемые чиновники, не зависящие от общества, могут даже оказаться зависимыми от «подземного правительства», т. е. от революционеров. Ни о каком отрицании общих принципов здесь, конечно, речь не шла, но в статье допускались довольно резкие выпады в адрес администрации.

Аналогичные выпады встречались и в передовой № 50, автор которой уверял, что «в бюрократии, действительно, есть склонность к демократическим тенденциям в дурном смысле». Он приветствовал действия администрации в западных губерниях и царстве Польском, направленные против польских помещиков, но призывал «противодействовать демократическим стремлениям бюрократии в губерниях внутренних». Автор обвинял администрацию в поддержке «нигилизма», иногда неосознанной, а иногда и сознательной.

В передовой № 61 шла речь о помощи, которую бюрократия, по мнению редакции «Московских ведомостей», оказывает «сепаратизму»: такая помощь была бы закономерна со стороны врагов России, но «в порядке ли вещей, что эти планы встречают сочувствие и поддержку в некоторых правительственных сферах?»

Передовая № 61 послужила поводом к первому предупреж-

дению, вынесенному «Московским ведомостям»⁸³. Катков отказался печатать его, предпочел платить штраф за каждый день выпуска газеты без публикации предупреждения, вступил в полемику с цензурным ведомством и министерством внутренних дел⁸⁴. В передовой № 69 он обосновывал право не помещать предостережений, ссылаясь на решение Комитета министров, на высокую оценку в этом решении деятельности редакции. Статья вновь напоминала о «пропольских» брошюрах Шедо-Ферроти, о том, что они встретили «сочувствие и поддержку в некоторых правительственных сферах». Катков вовсе не обескуражен цензурным взысканием, не думает прекращать нападки на неугодных ему высокопоставленных сановников. Он дословно повторяет формулы передовой № 61, добавляя при этом, что такие «сферы», отдельные лица и правительство, верховная власть — вещи совершенно разные.

Полемика о предостережении, о правомерности действий цензуры продолжалась в передовых №№ 81, 95. В последней, в частности, упоминались псевдо-прогрессисты, которые нередко занимают уютное казенное место. Автор передовой, Е. Феоктистов, позднее вспоминал: «Писавши это, я имел в виду многих и между прочим Салтыкова (Щедрина), который прямо из редакции «Современника» пересел на место председателя казенной палаты в Пензе»⁸⁵.

Подобные выступления сильно раздражали Валуева. В них содержалась неприкрытая критика действий подчиненных ему учреждений. Да и вообще неповиновение цензурным постановлениям, осуждение их не должно было проходить безнаказанно, служа «пагубным» примером для других изданий». Весной 1866 г. в докладах членов Совета Главного управления по делам печати, в протоколах заседаний Совета постоянно с неодобрением упоминаются «Московские ведомости». Так, например, 3 марта Совет слушал сообщение М. Н. Турунова о передовой № 45. Турунов усмотрел в ней прямое нарушение законов, выраженное «в форме неприличного отзыва о действиях Главного управления по делам печати», «стремление превратно истолковать официальный документ, напечатанный в «Северной почте»»⁸⁶. В Совете возник спор, следует ли выносить за передовую

⁸³ «Северная почта», 1866, № 66. В предостережении указывалось, что в передовой № 61 «правительственным лицам приписуются стремления, свойственные врагам России». См. Валуев, т. II, с. 463.

⁸⁴ Катков всячески подчеркивал свою принципиальность, готовность нести материальные потери, но не поступиться убеждениями. На самом же деле издатели «Московских ведомостей» сделали все возможное, чтобы не уплатить штраф (см. ЦГИА г. Москвы, ф. 131, Московская судебная палата, оп. 8, 1866, № 7, л. 1—2).

⁸⁵ ГБЛ, ф. 120, папка 35, л. 30.

⁸⁶ ЦГИАЛ, ф. 776 (Главное управление по делам печати), оп. 2, 1866, № 2, л. 165.

№ 45 предостережение. Мнения разделились. В итоге было решено, что, хотя статья и заслуживает предостережения, можно его не давать, а ограничиться опровержением в «Северной почте».

Обсуждается в Совете и статья № 47, в которой цензура обнаружила антиадминистративные тенденции, но и в этом случае карательных мер не последовало⁸⁷. Видимо, связываться с Катковым без крайней нужды Совет не хотел.

23 марта Главное управление по делам печати рассматривало сообщение о передовой № 61⁸⁸. Мнения вновь разделились, но, в конечном итоге, как уже говорилось выше, за передовую № 61 редакции «Московских ведомостей» было вынесено первое предостережение. Нежелание Каткова его печатать, спор о правомерности действий цензуры еще более накалили атмосферу. Совет обсуждает возможность вынесения второго предостережения за передовую № 69, которая оценивается как противодействие власти, оскорбление министров внутренних дел и народного просвещения⁸⁹. На этот раз давать предостережение сочли неудобным. Тем не менее цензура серьезно готовит переход «Московских ведомостей» в руки новой редакции в конце июня, когда истечет трехмесячный срок, в течение которого разрешалось не публиковать предостережения и ограничиваться уплатой штрафа. Делалось это по инициативе Валуева. Уже в конце апреля министр внутренних дел во всеподданнейшем докладе весьма неодобрительно характеризовал направление «Московских ведомостей», которые обнаруживают сочувствие политике правительства «только по делам Западного края. По другим предметам постоянно преобладает дух резкой критики»^{89а}.

2 мая в Совете Главного управления по делам печати рассматривалось специальное предложение министра внутренних дел, посвященное этому переходу, вызванное наличием «очевидного стремления «Московских ведомостей» быть судьей в собственном деле, не подчиняться закону о предостережениях»⁹⁰. О том же шла речь на заседании Совета 12 мая⁹¹.

6 и 7 мая газета Каткова получила второе и третье предостережения за передовые №№ 81 и 95 и была на два месяца приостановлена⁹². Планировалось, что она возобновится уже под новой редакцией. Казалось, Валуев мог торжествовать по-

⁸⁷ ЦГИА.Л. ф. 776 (Главное управление по делам печати), оп. 2, 1866, № 2, л. 170 об. — 171 об.

⁸⁸ Там же, л. 184—190 об.

⁸⁹ Там же, л. 197—201.

^{89а} Там же, ф. 908, оп. 1, 1866, № 270, л. 3—3 об.

⁹⁰ Там же, л. 251.

⁹¹ Там же, л. 294—296 об.

⁹² Там же, л. 262—265 об.; ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, 1866, № 515, л. 40, 40 об.

беду. 10 мая московский генерал-губернатор шифрованной телеграммой сообщал в III Отделение: «Все исполнено точно. Третье предостережение вручено. Подписка взята. Отправлена по почте. Должные меры приняты. Пока все благополучно»⁹³. О приостановке «Московских ведомостей» докладывалось так, как будто речь шла о серьезной военной операции.

Однако Катков не собирался складывать оружия. Московский университет просил о разрешении издавать «Московские ведомости» под временной редакцией, чтобы не потерпеть материального урона. Такое разрешение было дано, видимо, не без вмешательства свыше. Во всяком случае 13 мая Валуев докладывал о нем непосредственно царю⁹⁴. 18 мая, после десятидневного перерыва, вышел № 99 «Московских ведомостей». Мотивов покаяния в нем отнюдь не ощущалось. Напротив, временный редактор, Н. А. Любимов, соратник и единомышленник Каткова, провозглашал свое желание следовать прежнему направлению. В заметке же «От издателей» вновь звучало неприкрытое осуждение и самого принципа предостережений, приостановок, и конкретного применения его к «Московским ведомостям». Повторялись здесь и обвинения в адрес цензуры, которая, дескать, запрещала благонамеренные статьи в газете Каткова, но разрешила роман Чернышевского «Что делать?» Издатели выражали радость по поводу того, что временное редактирование переходит в руки человека, близкого им по направлению. Разыгрывалась чувствительная сцена прощания с читателями, с которыми редакторам приходится расстаться из-за верности своим убеждениям.

Естественно, номер обратил на себя внимание цензуры. По словам цензора Ф. И. Рахманинова в заявлении Любимова выражается преданность тому направлению, «за которое, по объяснению самих Каткова и Леонтьева, они уже подверглись трем предостережениям и временной приостановке»⁹⁵; заметка же «От издателей» содержит критику действий «высшего цензурного управления»; эти действия «выставляются покровительствующими самым вредным направлениям печати, а в то же время стесняющими вопреки указаниям правительства <...> те органы печати, которые посвящены благонамеренной борьбе с этими вредными направлениями»⁹⁶.

Московский цензурный комитет с осуждением отмечает

⁹³ ЦГАОР, ф. 109, 1 экзп., оп. 8, 1865, № 103, л. 7.

⁹⁴ ИРЛИ, ф. 559, № 21, л. 30. Знаменательно, что вопрос о временном возобновлении «Московских ведомостей» решался П. А. Валуевым, Д. А. Толстым и С. Г. Строгановым. Два последние были ярыми защитниками Каткова. Видимо, уже в это время создавались предпосылки для его близкого триумфа.

⁹⁵ ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, 1866, № 515, л. 44 об.

⁹⁶ Там же.

большое число статей и заметок, напечатанных в газете во время редактирования ее Любимовым⁹⁷. Особенный шум вызвала статья «К вопросу о Западном крае», опубликованная в № 112. Комитет оценил ее как «резкое порицание, хотя и в интересах государственных, образа действий высшей администрации в Западном крае, оскорбительное для тамошних властей и подрывающее уважение к правительству», как возбуждение одного сословия против другого и одной национальности против другой»⁹⁸.

Казалось, все идет к тому, чтобы у Каткова и Леонтьева окончательно отобрали право редактирования и издания «Московских ведомостей». 18 июня московский цензурный комитет слушал предложение Главного управления по делам печати начать преследование редакции газеты за уклонение от публикации предостережений. Комитету было дано распоряжение передать материал прокурору московского окружного суда⁹⁹.

Доброжелатели предостерегают Каткова, призывают его к большей осторожности. С. Г. Строганов в письме от 22 апреля умоляет редактора «Московских ведомостей» прекратить опасную борьбу, намекая «на серьезные последствия крайнего Вашего упорства», указывая на резкость статей, направленных против цензуры: «Я умоляю Вас, ради прошедшего Вашего и моего, принесите в жертву общественному делу личный Ваш взгляд на выходку министра внутренних дел»¹⁰⁰. Строганов сообщает о возможности прекращения «Московских ведомостей», о том, что «враги России только того и желают»¹⁰¹. Из письма видно, что аналогичное предостережение по совету Строганова послано Каткову в начале апреля Гезеном¹⁰². В другом письме, отправленном в тот же день (5 апреля), Гезен информировал Каткова о следующем: «Сегодня же вечером я узнал из **верного** источника, что Главное Упр<авление> Цензурою намерено при первом случае дать Вам второе, а затем и третье предостережение, чтобы закрыть Моск<овские> Вед<омости> еще до истечения трех месяцев»^{102а}. Предостережения Гезена имели основание. Цензура следовала упоминанию в письме плану, неуклонно проводила его в жизнь.

Но активность проявляли не только противники Каткова. В его защиту были мобилизованы весьма влиятельные силы.

⁹⁷ ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, 1866, № 515, л. 47, 50, 55—56 об., 59.

⁹⁸ Там же, л. 53—53 об. О статьях, вызвавших недовольство, см. также ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 2, 1866, № 2, л. 357 об. — 359, 360—361 об., 375 об. — 376 и др.

⁹⁹ ЦГИА г. Москвы, ф. 31, № 515, л. 61.

¹⁰⁰ ГБЛ, ф. 120, папка 42, л. 1—1 об. «Выходка министра» — видимо, первое предостережение редакции «Московских ведомостей».

¹⁰¹ Там же.

¹⁰² Там же, папка 20, л. 154 об.

^{102а} Там же, л. 155.

Да и сам редактор «Московских ведомостей» не сидел сложа руки. Покушение Каракозова сильно укрепило его позицию. В свете этого события становилась особенно ясна ценность для правительства направления газеты Каткова. Статьи «Московских ведомостей» о покушении, о верноподданных заявлениях, которые якобы оно вызвало в народе и обществе, с удовольствием читают при дворе. 25 мая 1866 г. в Москву прибыл Александр II. Катков встречается с приближенными царя, ведет с ними продолжительные беседы. Знаменательно, что в этих беседах, по поручению царя, принял участие П. А. Шувалов, назначенный после покушения начальником III Отделения. Позднее, осенью 1866 г., мягко укоряя Каткова за настроения, враждебные администрации, Шувалов упоминал о прошлых встречах, о своей симпатии к редактору «Московских ведомостей»: «Я всегда с удовольствием вспоминаю проведенное в беседах с Вами время»¹⁰³.

Катков просит царя, чтобы тот видел в издателях «Московских ведомостей» «своих»¹⁰⁴. В пространной записке Александру II от 14 июня он заверяет, что его газета всегда выражала интересы правительства, верховной власти, ходатайствует, чтобы ему разрешили возобновить журнальную деятельность¹⁰⁵.

Доводы Каткова произвели впечатление. 20 июня царь принял его. Александр II, по словам Каткова, сказал, что постоянно читает «Московские ведомости», внимательно следит за ними; «верю тебе — считаю своим», — добавил он¹⁰⁶. 11 января 1867 г., по поводу новых осложнений с цензурой, Катков напомнил о своей встрече с царем, о том, что тот одобрил его деятельность «и выразил желание, чтоб мы продолжали ее в том же смысле как прежде и сохраняли уверенность, что в нем самом будем иметь поддержку, которая даст нам возможность действовать по совести»¹⁰⁷.

22 июня московский цензурный комитет получил извещение московского генерал-губернатора, основанное на телеграмме министра внутренних дел от 22 июня. В извещении говорилось о возвращении Каткову и Леонтьеву права редактировать «Московские ведомости», что мотивировалось изменением условий контракта издателей с московским университетом¹⁰⁸.

¹⁰³ ГБЛ, ф. 120, папка 19, л. 27.

¹⁰⁴ Н. А. Любимов. Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга. СПб., 1889, с. 342. В дальнейшем: Любимов.

¹⁰⁵ ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., оп. 8, 1865, № 103.

¹⁰⁶ Любимов, с. 343.

¹⁰⁷ ЦГИАЛ, ф. 908, оп. 1, № 282, л. 1.

¹⁰⁸ ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 5, 1866, № 515, л. 66—66 об. В контракт был внесен пункт, согласно которому Катков и Леонтьев при первом предостережении могли отказаться от издания газеты.

Но всем было ясно, что дело не в контракте. Катков и не скрывал этого. В передовой № 132 от 25 июня редакция с торжеством сообщала о своей победе, весьма недвусмысленно упоминая о встрече с царем. В словословиях Александру II скрывались и намеки на его покровительство, и противопоставление царя администрации, враждебной Каткову. Те же мотивы слышались в передовой № 134. Не случайно цензор обратил на нее внимание, а московский цензурный комитет решил сообщить о ней Главному управлению, усмотрев в статье желание заявить, что и в будущем редакция собирается действовать «вне подчинения административным распоряжениям»¹⁰⁹.

Такие заявления Каткова не были пустыми словами; опасения цензуры имели основания. После июня 1866 г. в «Московских ведомостях» количество нападок на администрацию существенно не уменьшилось (см., например, передовые №№ 154, 205 за 1866 г., передовые №№ 151, 167 за 1867 г.).¹¹⁰

По-прежнему чуть ли не каждый номер катковской газеты привлекал к себе внимание цензуры¹¹¹. Но редакция могла с этим не считаться. Взысканий ей не выносилось. Сообщения московского цензора, видимо, имели в виду не реальное воздействие на Каткова, а демонстрацию перед вышестоящим начальством своей бдительности. Да и что мог сделать редактору «Московских ведомостей» цензурный комитет, когда сам министр внутренних дел оказался перед ним бессильным. Как правило, комитет ставил в известность о той или иной статье Главного управления по делам печати, и этим дело ограничивалось.

Когда же московский цензурный комитет, выполняя распоряжение Главного управления, обратился в окружной суд с жалобой на нежелание редакции «Московских ведомостей» публиковать предостережения (см. с. 24), прокурор потребовал ответить, по чьей инициативе возбуждено преследование и по какой причине вернули Каткову право редактировать газету, по собственной ли его просьбе или, «как гласит общественная молва, была на то воля государя императора»¹¹². Позднее прокурор сообщил, что он «не признает возможным по имеющимся в деле сведениям начать судебное преследование «Московских ведомостей» за ненапечатание данных им г. министром внутренних дел трех предостережений»¹¹³.

¹⁰⁹ ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 2, 1866, № 3, л. 4.

¹¹⁰ Видимо, играло здесь роль и желание продемонстрировать, что временное прекращение газеты не заставило редакцию ни в чем изменить прежнее направление, поступиться своими взглядами.

¹¹¹ ЦГИА г. Москвы, ф. 31, № 515, л. 77—79, 81, 86 об., 93, 95, 97, 99, 103, 110 и др.

¹¹² Там же, л. 91.

¹¹³ Там же, л. 115 об. — 116. См. там же, ф. 131, оп. 8, 1866, № 7, л. 5—6; там же, 1867, № 38, л. 5—10.

Как итог анализа отношений Каткова с правительственными кругами в 1860-х гг. можно отметить следующее. Редактор «Московских ведомостей» очень любил подчеркивать свою независимость, самостоятельность, принципиальность, противопоставлять издаваемую им газету официозной печати, получающей субсидии. Его выступления против администрации, цензурных притеснений как будто подтверждают такую независимость. Катков не боялся бороться против весьма влиятельных лиц, против министров, рискуя, казалось, потерять все из-за нежелания поступиться принципами. Он отнюдь не являлся журналистом типа Булгарина, раболепно пресмыкающимся перед властями. Наоборот, он нередко нарочито громко заявлял о несогласии с ними. Тем не менее, было бы еще более неверным, чем отождествление Каткова с Булгариным, видеть в нем честного и принципиального журналиста, пусть и крайне консервативного толка, такого деятеля печати, каким старались его изобразить многочисленные панегиристы. В воспоминаниях Г. К. Градовского правильно отмечается, что, при всей видимости независимости, «Московские ведомости», «не погрешая против силы слога и доводов, умели ладить с бюрократизмом, знали, в какой час надо промолчать, кому следует воскурить фамиамом восхвалений и кого можно задеть больно и смело»¹¹⁴. Нападки Каткова на тех или других лиц, часто занимавших весьма высокое положение, отражали невидимые для читателей подводные течения, внутриправительственную борьбу различных тенденций. Лишь ориентируясь на определенные из таких тенденций, служа им и одновременно используя их в своих интересах, Катков мог приобрести влияние, разрешать себе то, что он разрешал. Редактор «Московских ведомостей» вел сложную, подчас опасную, игру, вел ее весьма умело и относительно смело. Он не боялся рисковать. Но это дела не меняло, не превращало Каткова в журналиста честного и принципиального.

¹¹⁴ Г. К. Градовский. Из минувшего. — «Русская старина», 1908, № 1, с. 79.

ТВОРЧЕСТВО ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА В ЭСТОНИИ

В. И. Беззубов, С. Г. Исаков

В начале нынешнего столетия Леонид Андреев был необыкновенно популярным писателем как у себя на родине, так и во многих странах Западной Европы. Достаточно хорошо знали его и в Америке.

Огромный интерес читателей, писателей, критиков и переводчиков к творчеству Л. Андреева обусловлен прежде всего тем, что он поднимал в своих произведениях острые проблемы современности. Л. Андреев живо откликался на крупные события общественной жизни России. Его творчество было предельно социально актуальным. Наряду с этим, еще более важной он считал постановку больших и сложных философско-этических проблем — «проблем бытия». Именно в слиянии актуальной социальной тематики, «злобы дня», раскрываемой в соответствии с общественными настроениями переживаемого момента, и «вечных вопросов» кроется причина литературного успеха Л. Андреева. Кроме того, немалую роль в этом успехе сыграли его напряженные и настойчивые поиски «новых форм», новаторская сущность многих его произведений.

Чрезвычайно любопытно и важно исследовать процесс рецепции творчества Л. Андреева как в России, так и в других странах. И такие исследования уже появляются. Следует отметить статьи польских литературоведов З. Жакевича и Ф. Шелицкого¹, а также докторскую диссертацию немецкого ученого М. Беверниса «Рецепция творчества Л. Н. Андреева в Германии»², защищенную в 1964 году в университете им. А. Гумболь-

¹ Zbigniew Żakiewicz. Leonid Andrejew w Polsce. — *Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Filologia rosyjska* II, 1963; Franciszek Sielicki. Leonid Andrejew w Polsce międzywojennej. — *«Studia Rossica Posnaniensia»*, zes. I. Poznań 1970.

² Martin Bevernis. Die Rezeption der Werke L. N. Andrejews in Deutschland. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, 1964. M. Bevernis. Zur Aufnahme Leonid Andrejews in Deutschland. — *«Zeitschrift für Slavistik»*, 1966, Nr. 1, S. 75—92.

дта в Берлине. К сожалению, подобных работ еще мало. В частности, не исследовано восприятие творчества Л. Андреева в Эстонии.

1

Между тем, Л. Андреев в начале XX века был широко известен и популярен в Эстонии. Можно сказать, что лишь немногие русские писатели его поколения были столь известны и читаемы, как Л. Андреев. Во всяком случае, мало кому из тогдашних русских писателей посвящались в эстонской печати юбилейные статьи да еще по поводу сорока лет со дня рождения. Такая статья была напечатана в 1911 г. в журнале «Ээсти Коду» и написал ее крупнейший эстонский писатель XX века А. Х. Таммсааре. «Уже добрый десяток лет раздается его голос, и едва ли у какого-нибудь другого молодого русского писателя нашлось так много слушателей, как у него, — писал А. Х. Таммсааре в этой статье об Л. Андрееве. — Некоторые его работы были встречены с таким бурным восторгом, что они в этом отношении оставили позади произведения крупнейших представителей русской духовной жизни. Вероятно, никого столь бурно не хвалили, как его, и в то же время вряд ли кто-либо другой слышал такие ожесточенные нападки, насмешки, издевательский смех и глумление»³.

Эстонские литераторы да и вообще сравнительно широкие круги интеллигенции читали произведения Л. Андреева, в основном, в оригинале. Так, А. Х. Таммсааре в цитированной статье приводит даже все названия его произведений по-русски. Следует тут же добавить, что в статье названы почти все значительные произведения Л. Андреева, написанные к этому времени, и чувствуется, что А. Х. Таммсааре читал их очень внимательно.

Рядовой читатель знакомился с творчеством Л. Андреева, конечно, по переводам, которых было довольно много. Первый известный нам перевод появился в конце 1902 г. в наиболее крупной и имевшей широкое распространение эстонской газете «Постимээс». Это был «Рассказ о Сергее Петровиче», в пере-

³ А. Н. Т<аммсааре>. Leonid Andrejev (Tema 40. sünnipäev: puhul). — «Eesti Kodu» 1911, nr. 5, lk. 98.

воде названный просто «Sergei Petrovitsh»⁴. Переводчик почему-то предпочел скрыть свое имя и подписался криптонимом С. Т. Несмотря на отдельные незначительные погрешности⁵, перевод этот в целом выполнен старательно и по тем временам может быть признан даже хорошим. Чувствуется, что переводил человек, которому произведение нравилось. И выбор пал на «Рассказ о Сергее Петровиче», видимо, совсем не случайно.

Сам Л. Андреев считал этот «рассказ о нитшеньянце» одним из наиболее значительных произведений своего раннего творчества (рассказ был впервые опубликован в 1900 г. в известном демократическом журнале «Жизнь»). В нем писатель начинает исследование настроений и психики «срединного» «российского интеллигента», в нем уже достаточно отчетливо проявились некоторые любимые темы и проблемы зрелого Л. Андреева: одиночество человека, некоммуникабельность людей, «ужас жизни и страх смерти», крах индивидуалистического сознания.

Рассказ начинается с фразы: «В учении Ницше Сергея Петровича больше всего поразила идея сверхчеловека и все то, что говорил Ницше о сильных, свободных и смелых духом»⁶. В эстонском переводе к этой фразе дано пространное примечание о Ф. Ницше и его идее сверхчеловека. Опубликованный в 1901 г. в газете «Олевик» перевод «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше вызвал, как известно, живой интерес к учению немецкого философа у части молодой эстонской интеллигенции. Уже этим мог привлечь внимание рассказ Л. Андреева. Вместе с тем эстонской интеллигенции, еще тесно связанной с крестьянским демократизмом, могла импонировать в рассказе ясно выраженная ирония по отношению к сверхчеловеку Ницше, критика индивидуализма с демократических позиций.

Публикация рассказа Л. Андреева связана также с происшедшей на рубеже веков «переориентацией» в выборе произведений русской литературы для перевода. Если до конца XIX в. доминировал «школьный» подход, т. е. преимущественно переводились произведения классиков, входивших в программу ру-

⁴ Sergei Petrovitsh. Leonid Andrejevi jutustus. Eesti keelde S. T. — «Postimees» 1902, nr. nr. 268—275, 279.

⁵ В переводе еще очень хорошо видна недостаточная развитость эстонского языка того времени, крайне затруднявшая выражение философских понятий и сложных душевных состояний. «Основной тезис индивидуализма» переводится как «rõhja ranev õpetus iseloomust», а затем дается в скобках немецкое «Individualität». Нечто аналогичное можно наблюдать еще и в некоторых других переводах произведений Л. Андреева, но после революции 1905 г. подобные явления встречаются все реже и реже.

⁶ Леонид Андреев. Повести и рассказы в двух томах. Т. I, М., 1971, с. 157. В дальнейшем все цитаты из прозаических произведений Л. Андреева даются по этому изданию с указанием тома и страницы прямо в тексте.

сифицированной школы, то с самого начала XX в. начинают преобладать переводы произведений современных русских писателей. А в связи с ростом оппозиционных настроений во всех слоях общества перед революцией 1905 г. особый интерес стали вызывать произведения М. Горького и демократических писателей его группы, в состав которой входил и Л. Андреев. Этим общим настроениям поддавалась в какой-то мере и газета «Постимэс», в целом находившаяся на буржуазно-националистических позициях. Кроме того, надо учесть, что в состав редакции газеты в это время входили и некоторые радикально настроенные люди.

В объявлении о подписке на 1903 год «Постимэс» обещала напечатать «из русской литературы новые рассказы Горького, Чехова и Андреева, которые появятся в течение наступающего года»⁷. Однако ни одного произведения Л. Андреева на страницах газеты в 1903 г. не появилось, как не было опубликовано и ни одного произведения М. Горького⁸. Лишь в 1910 г. в «Постимэс» снова был напечатан один рассказ Л. Андреева — «Ложь»⁹, а затем, уже в 1918 г., рассказ «Покой»¹⁰.

В 1903—1910 гг. переводы произведений Л. Андреева появлялись почти исключительно на страницах радикальной демократической печати. Правда, радикализм многих изданий был неустойчив и тут могли быть значительные колебания, но это не меняет дела. Если же переводы произведений Л. Андреева публиковались в изданиях буржуазно-либерального толка, то обычно этому так или иначе содействовали радикально настроенные люди.

Для прогрессивной эстонской интеллигенции Л. Андреев был «выдающимся русским писателем, товарищем Максима Горького»¹¹, как это было объявлено в календаре «Аэг» на 1907-й год в связи с публикацией нескольких отрывков из «Красного смеха». Л. Андреев воспринимался ею как представитель молодой русской литературы, которая была рождена революционным подъемом в стране и которая, в свою очередь, немало способствовала развитию революционного движения.

И естественно, что молодой и революционно настроенный Ф. Туглас с воодушевлением и пафосом писал в 1905 г. об этих

⁷ «Postimees» 30. XII 1902, nr. 288, lk. 4.

⁸ См. Nigol Andresen. Maksim Gorki ja Eesti. Tähelepanekuid M. Gorki osast eesti kirjanduses ja elus (1899—1907). — «Looming» 1959, nr. 7, lk. 1083.

⁹ Vale! Andrejevi järelle A. Soop. — «Postimees» 26.—28. VII 1910, nr. nr. 164—166.

¹⁰ L. Andrejev. Rahu. Tõlkinud Peeter Blaubrück. — «Postimees» 30. X 1918, nr. 203.

¹¹ Aeg. Kalender 1907. aasta kohta. K. Sööti trükikoja trükk, Tartus (Jurvis), lk. 115.

писателях: «Вся жизнь как бы охвачена пламенем и пришла в движение... Вместе с ним рождаются и таланты, отображающие этот великий период в истории, борьбу народа против устаревших форм жизни. В России появилась целая школа «молодых» писателей, к которым можно отнести Горького, Куприна, Бунина, Андреева, Чирикова, Гусева-Оренбургского, Юшкевича, Скитальца, Яблоновского и многих других. Писатели борющегося пролетариата с воодушевлением взялись за работу. Они видят исполненные внутренней мощи, яркие события наших дней, живут теми вопросами, которые теперь так остро поставлены на повестку дня, и развиваются в напряженной атмосфере тех могучих молодых идей, которые наполняют сейчас воздух. Оживление великих дней борьбы вторглось и в их души и вызвало естественное желание в широких обобщающих образах отобразить это новое. Отблески великого движения видны в каждом их образе и в каждой картине — изображают ли они гниение старого мира или зарождение и развитие новых могучих сил. Такие эпохи оставляют характерные следы в искусстве и литературе»¹².

Все перечисленные Ф. Тугласом писатели, кроме А. Яблоновского, составляли в те годы более или менее единую группу, связанную не только идейно и творчески, но и личными дружескими отношениями. Позже их назовут писателями — «знаньевцами».

После первого перевода в «Постимээс» несколько переводов андреевских произведений опубликовала левая, сравнительно радикальная газета той поры «Тэатая» — по рассказу в год. В ноябре 1903 г. в этой газете был напечатан рассказ «Книга» в переводе К. Румора¹³, известного в то время своими революционными убеждениями. Видимо, этот рассказ пришелся по вкусу, так как затем он в новых переводах появляется еще трижды¹⁴. Включен он и в изданный уже в советское время сборник рассказов Л. Андреева на эстонском языке «Баргамот и Гараська» (1959).

Весь небольшой рассказ Л. Андреева пронизывает горькая ирония. Написанная с самыми добрыми побуждениями книга «В защиту обездоленных» приводит в мире социальной несправедливости к совершенно обратным результатам: набирая книги, портят глаза, кашляют от свинцовой пыли наборщики, 12-

¹² Fr. Mihkelson. Uhe luuletuste-kogu puhul. — «Võitluse päevil», «Noor-Eesti» väljaanne, Tartus 1905, lk. 71.

¹³ Raamat. Leonid Andrejevi järel K. Rumor. — «Teataja» 8. IX 1903, nr. 250.

¹⁴ Raamat. L. Andrejevi järel Al. Vallner. — «Päevaleht» 26. III 1907, nr. 70; Raamat. Leonid Andrejevi järel Alma Soop. — «Uue Virulase» lisa 1907, nr. 12, lk. 75—76; L. Andrejev. Raamat. — «Perekonnaleht» 1913, nr. 30, lk. 233—234.

летний мальчик Мишка из книжного магазина надрывается под непосильной ношей — пакетом с экземплярами все той же книги. А написавший книгу писатель отдал ей свое сердце и скоро должен умереть.

В раннем творчестве Л. Андреева довольно много таких иронических рассказов, в которых с демократических позиций разоблачается социальное зло и раскрывается механизм действия Добра, Справедливости, Правды, Любви к ближнему. Поэтому и рассказ «Книга» никак нельзя назвать нехарактерным для Л. Андреева. И все же прославился он не такими рассказами и не в них проявились его оригинальность и новаторство.

Зато сугубо «андреевскими» являются следующие рассказы — «Стена» и «Молчание», опубликованные в «Тэатажа».¹⁵ Первый перевод, к сожалению, не очень удачен. В нем видно буквалистское следование синтаксису оригинала, убираются необычные эпитеты, в ряде случаев русский текст просто неверно понят. «Так страшно было и весело!», например, переводится «*Meie olime nii hirmus rõmsad!*»¹⁶. Характерное для андреевского стиля повторение «и» в начале предложений и его частей, создающее библейскую торжественность речи, не передается и ничем не компенсируется. Следует сказать, что перевод второго рассказа — «Молчание» — намного лучше.

«Стена» (1901) является, если можно так сказать, программным произведением Л. Андреева как в мировоззренческом, так и в литературно-творческом плане. «Стена» как символ в разнообразных своих проявлениях будет в дальнейшем встречаться во многих его произведениях. Есть он и в рассказе «Молчание», в котором своеобразно представлены проблемы отчуждения и некоммуникабельности людей.

«Стена» была одним из первых рассказов Л. Андреева, в котором он столь резко и определенно порывал со старой, господствовавшей в русской литературе традицией, требовавшей непременно отображения конкретной действительности, «живой жизни» в ее типических проявлениях. Конечно, и Л. Андреев писал о жизни, но он хотел представить существо ее в абстрагированном, «вневременном», конденсированном выражении.

Это было ново и необычно, это было непохоже на старый реализм, и этим Л. Андреев привлек к себе внимание как в России, так и в Эстонии. Обозначившийся в первое десятилетие XX века у части передовой эстонской интеллигенции интерес к новым течениям в литературе, к модернизму в самом широком смысле этого слова определил и интерес к Л. Андрееву. При этом следует указать, что в сознании многих именно модернизм

¹⁵ Määr. Leonid Andrejevi järele Jul. K. — «Teataja» 5. ja 7. V 1904, nr. nr. 100—101; Vaikimine. Leonid Andrejevi järele Julius K. — «Teataja» 10.—11. VI 1905, nr. nr. 121—122.

¹⁶ «Teataja» 7. V 1904, nr. 101.

и был настоящим проявлением революционности в искусстве, подлинным революционным искусством. У Л. Андреева к тому же, как, впрочем, у многих представителей искусства XX века, новые тенденции сочетались с революционно-острой социальной и общественной проблематикой, с постановкой «проклятых», «вечных» вопросов. И так же, как Ф. Туглас включил имя Андреева в ряд представителей молодой революционной русской литературы, его имя (еще чаще) включалось в ряд представителей модернистской литературы. «Утонченные переливы чувств, преклонение перед Красотой аристократов духа и вместе с тем подчеркивание ужасного и рокового в жизни, провидение божественного или сатанинского начала в женщине, природе или инстинктах — такого рода вкусы прививали у нас тогдашние законодатели литературной моды от О. Уайльда до С. Пшибышевского, от Д'Аннунцио до Метерлинка, от Андреева до Сологуба — имена, которые почти ничего не говорят современному читателю. Альбом «Молодая Эстония» III был у нас образцовым отложением такого вкуса», — писал позже Йоханнес Семпер¹⁷.

Рассматривая творчество молодых поэтов Й. Семпера, Й. Барбаруса, Х. Виснапуу, М. Ундер, А. Алле и других, выступивших в 1917—1919 гг. с отдельными сборниками, Х. Пээп отмечает: «Всевозможные воспоминания, переписка, как и круг интересов, нашедший выражение в самом творчестве, подтверждают, что литературную эрудицию наших молодых лириков определяли такие имена, как С. Пшибышевский, М. Арцыбашев, Г. Д'Аннунцио, О. Уайльд, М. Метерлинк, К. Бальмонт, А. Блок, А. Белый, Л. Андреев, Ф. Сологуб и др. С ними знакомились уже в гимназиях, в ученических кружках, позже общественный вкус и реклама способствовали утверждению несколько одностороннего эстетского подхода к искусству слова»¹⁸.

Показательно, что «Стена» в 1907 г. появилась в новом и неплохом переводе А. Ваарика¹⁹. Еще более популярными становятся «Ложь» и «Смех» — и тот, и другой рассказ появляется в четырех переводах²⁰.

¹⁷ J. S e m p e r. Visnapuud üle lugedes. — «Looming» 1939, nr. 10, lk. 1093.

¹⁸ Harald P e e p. Eesti lüürika arenguteedelt aastail 1917—1919. — «Keel ja Kirjandus» 1964, nr. 12, lk. 724.

¹⁹ Sein. L. Andrejevi järele Alex Vaarik. — «Kirjandus ja Teadus». «Oiguse» hinnata kaasanne 1907, nr. 23, lk. 177—180.

²⁰ Vale. Leonid Andrejevi järele A. Kask. — «Sõnumed» 15. VII 1906, nr. 9; Vale. Leonid Andrejevi järele V. Soopan. — «Meie Elu» kirjanduse lisa 1909, nr. nr. 7—9; Vale. Leonid Andrejevi järele A. V. — Isamaa Kalender 1910. aasta jaoks. Tartus 1909, lk. 177—184; Vale! Andrejevi järele A. Soop. — «Postimees» 26.—28. VII 1910, nr. nr. 164—166; Naer. L. Andrejevi järele tõlkinud A. K. — «Perekonnaleht» 1909, nr. 52; Naer. L. Andrejevi järele P. L. — «Kosjaleht» 1919, nr. 7, lk. 33—34; Naer. Leonid Andrejev'i järele Vene keelest D. T. — «Agu» 1924, nr. 4, lk. 123—125; Naer. Leonid Andrejev. Tõlkinud Eerika Jurgens. — «Nädal». «Päevalehe» piltidega erileht 20. IV 1925, nr. 15.

Задолго до представления на сцене Драматического театра в 1921 г. достаточно широко была известна в Эстонии и «Жизнь человека». В приложении к газете «Вильянди Тэатая» в 1910 г. был напечатан перевод пролога этой пьесы²¹. И. Семпер вспоминал о том, как была встречена пьеса в их ученическом кружке: «Когда до нас дошла «Жизнь человека» Л. Андреева, мы были восхищены этой символистско-аллегорической пьесой и у нас возникло намерение где-нибудь представить ее собственными силами. Мы собирались, обсуждали этот вопрос и репетировали пьесу»²². Постановка ее не была осуществлена, но увлечение «Жизнью человека» было настолько сильным, что нашло отражение и в отпечатанном на шапирографе первом и единственном номере журнала «Молодая жизнь». Журнал попал в руки полиции, и при расследовании произошел анекдотический случай, связанный с Л. Андреевым. Расследовать «дело» о нелегальном журнале в январе 1909 г. прибыл сам куратор Рижского учебного округа Прутченко. Он вызвал к себе трех учеников, чье участие в журнале было доказано: «Обращаясь к Барбарусу <в будущем видному эстонскому поэту и государственному деятелю — В. Б., С. И.>, он воскликнул: «Как вы смаете писать: «Поблестим мечами, позвенним щитами!» Это же призыв к вооруженному бунту!»

Барбарус в ответ: «Это цитата из Леонида Андреева».

«Кто это такой — ваш Андреев? Я такого не знаю.»²³

«Жизнь человека» рассматривали в своих статьях А. Х. Таммсааре, Эд. Хубель (известный эстонский писатель, обычно выступавший под псевдонимом Майт Метсанурк) и Б. Линде. Эд. Хубель при этом выразил мнение, что «Жизнь человека» — «самая типичная работа Андреева»²⁴.

2

Если в 1902—1904 гг. появлялось по одному переводу небольших по объему рассказов Л. Андреева, то с 1905 г. количество переводов начинает быстро возрастать. В 1905 г. опубликовано уже 3 перевода, в 1906 — 4, в 1907 — 11, в 1908 — 4 (но среди них два произведения вышли отдельными книгами), в 1909 и 1910 — 9. К 1909 г. относятся и первые известные нам сведения о популярности Л. Андреева у сельских читателей. В деревнях Коеравере и Кехала, в глухой местности, где серьезная художественная литература еще почти не имела распространения, в это время были созданы так называемые «кружки чте-

²¹ Inimese elu... Leonid Andrejevi viiejärgulisest näitemängust «Inimese elu» tõlkinud Ed. Schönberg. — «Tõtt ja Nalja» 1910, nr. 1, lk. 1—2.

²² Johannes Semper. Matk minevikku. I. Tln., 1969, lk. 168.

²³ Там же, с. 142.

²⁴ Ed. H<ubel>. «Meie elupäevad», Leonid Andrejev. — «Tallinna Teataja» 19. IX 1913, nr. 214.

ния», объединявшие сельскую молодежь. Как явствует из одного газетного сообщения, они особенно охотно приобретали произведения Э. Петерсона, Э. Вильде, А. Х. Таммсааре, М. Метсанурка, Э. Золя, Л. Андреева и Л. Толстого, которые пользовались наибольшим спросом у членов кружка.^{24a} С 1911 г. количество переводов опять резко снижается (в 1911 — 2, в 1912 — ни одного). Эта сухая статистика тоже достаточно выразительна.

Свидетельством популярности Л. Андреева в Эстонии в числе прочего может служить и сравнительно большое число хроникальных заметок о нем на страницах эстонских газет после 1905 г. Они касались всевозможных подробностей его жизни, его новых или задуманных им произведений, постановок его пьес, всякого рода скандалов вокруг имени писателя, иногда критических отзывов о нем современников и т. д. Вряд ли есть смысл приводить здесь эти газетные сообщения, тем более, что некоторые из них носили столь любимый буржуазной печатью «сенсационный» характер и мало что давали читателю.

С 1905 г. наряду с маленькими рассказами начинают переводиться и крупные произведения Л. Андреева. Первым был перевод «Красного смеха» в газете «Уус Аэг»²⁵.

«Красный смех» произвел на современников оглушительное впечатление. Непопулярная, бессмысленная, с самого начала обреченная на поражение Русско-японская война предстала у Л. Андреева как «безумие и ужас» в кошмарных гротескных картинах. Такой войны, как у Л. Андреева, в русской литературе, пожалуй, еще не было. После, когда XX век выдал многое пострашнее, андреевские гиперболизированные ужасы поблекли, пронзительные истерические вопли стали казаться наивной риторикой, но тогда, когда шла эта бессмысленная война, андреевские картины ее в духе Гойи²⁶ и будущего экспрессионизма вызывали необыкновенно сильное «потрясение».

Нет сомнения, что резкое антивоенное произведение Л. Андреева вызывало и в Эстонии сильнейшую реакцию. Эпиграфом к уже упомянутой нами публикации нескольких отрывков «Красного смеха» в календаре «Аэг» были взяты слова из повести Л. Андреева: «Я узнал его, этот красный смех. Теперь я понял, что было во всех этих изуродованных, разорванных, странных телах. Это был красный смех. Он в небе, он в солнце, и скоро он разольется по всей земле, этот красный смех!»²⁷

^{24a} F Viru-Jakobist. Lugeseringid. — «Rahva Päevaleht» 2. II 1909, nr. 24.

²⁵ Punane naer. Katked ühest leitud käsikirjast. L. Andrejevi kirjatöö. — «Uus Aeg» 1905, nr. nr. 96—109.

²⁶ Как известно, Л. Андреев хотел выпустить «Красный смех» отдельным изданием с офортами Гойи «Бедствия войны».

²⁷ Aeg. Kalender 1907. aasta kohta. K. Sööti trükikoja trükk, Tartus (Jurjevis), lk. 115.

(I, 481). Внизу в пояснительном примечании было напечатано: «Видный русский писатель, друг Максима Горького, Л. Андреев под влиянием кровавой Манджурской войны опубликовал под названием «Красный смех» девятнадцать фрагментов, где он с мастерством серьезного художника изображает ужасы и тяготы войны, как это умеет только один Андреев. «Красный смех» привлек к себе живое внимание не только в России, но и во всем образованном мире»²⁸.

Перевод «Красного смеха» в «Уус Аэг», выполненный анонимным переводчиком довольно хорошо (встречаются лишь незначительные пропуски и искажения смысла), стал печататься через два дня после окончания войны — 19 августа 1905 г. Видимо, совсем не случайно в 99-м номере рядом с продолжением повести Л. Андреева напечатано сообщение о том, сколько денег, материальных ресурсов и человеческих жизней потребовала эта война. Приводились, естественно, официальные данные, хотя в заметке как будто невзначай было обронено: «Наконец, нет отчета и о том, много ли военных погибло от болезней». «Красный смех» в газете очень хорошо вписывался в контекст сообщений о ходе мирных переговоров в Портсмуте и заметок, подводивших итоги войны. Как только было закончено печатание «Красного смеха», в следующем номере появилась статья «Уроки Русско-японской войны на море». В революционный 1905-й год повесть Л. Андреева в таком контексте играла, несомненно, революционизирующую роль. Тот же смысл должен был иметь и небольшой рассказ Л. Андреева «На станции», напечатанный в том же году в «Отечественном календаре на 1906-й год» в переводе Бернхарда Линде²⁹.

В 1906—1907 гг. активно популяризирует творчество Л. Андреева в Эстонии радикально-демократическая газета «Сынумед». Уже в девятом номере в июле 1906 г. на ее страницах был опубликован рассказ «Ложь»³⁰. В 1907 г. «Сынумед» смогли просуществовать лишь полгода, до июня месяца, когда власти ее закрыли, но и за это короткое время в газете было напечатано три крупных произведения Л. Андреева: в январе

²⁸ Aeg. Kalender 1907 aasta kohta. K. Sööti trükikoja trükk, Tartus (Jurjev), lk. 115. Кстати, в обзоре новых книг рецензент журнала «Ээсти Кирындус», отметив выход календаря «Аэг», писал о нем: «Прежде всего здесь следует назвать два перевода с русского: знаменитый «Красный смех» Л. Андреева (правда, из него переведено лишь несколько глав) и «Красный флаг» видного русского писателя В. Гаршина <под этим названием был опубликован его рассказ «Сигнал» — В. Б., С. И.> («Eesti Kirjandus» 1907, lk. 46).

²⁹ Vaksalis. L. N. Andrejevi järel Bernhard Linde. — Isamaa Kalender 1906. aasta jaoks. <Tartu>, 1905, lk. 111—115.

³⁰ Vale. Leonid Andrejevi järel A. Kask. — «Sõnumed» 15. VII 1906, nr. 9.

«Мысль», в марте — «В темную даль», в мае — «В тумане»³¹. «В темную даль» вошло и в выпущенный в 1907 г. издательством «Сынумед» сборник, в котором были также опубликованы рассказ А. Х. Таммсааре «На расследовании», произведения В. Вересаева, И. Франко и других.

Необходимо еще отметить, что рассказу «В темную даль», написанному в декабре 1900 г., придавал большое общественное значение М. Горький, который видел в герое рассказа Николае, решительно и бескомпромиссно порывающем с богатым отцовским домом, с семейными привязанностями, с сытой и спокойной жизнью, «нового человека», «орлёнка»³².

Может быть, еще более активно печатались в эти годы произведения Л. Андреева на страницах весьма смелых и резких по тону, хотя и сравнительно умеренных по своей общественно-политической программе газет Я. Ярва, один за другим запрещавшихся властями, но вновь возобновлявшихся под другими названиями («Тяхт», «Вирулане», «Сяде», «Уус Вирулане», «Лайне») ³³. Не лишено любопытства, что в рекламном объявлении о подписке на газету Я. Ярва «Уус Вирулане» на 1907 год рядом были помещены сверху портреты М. Горького и Л. Андреева, а внизу портреты Э. Золя и Ф. Ницше.

В 1906 г. в приложении к газете «Сяде» (№ 8, стр. 58) появился портрет Л. Андреева с подписью: «Выдающийся русский писатель нового времени. В ближайшем номере приложения будет опубликован один его рассказ и его биография». И, действительно, уже в следующем номере мы находим начало нового перевода рассказа «Молчание»³⁴. Переводчик К. Р. Пуста, в то время еще активный участник революционного движения, поместил в том же номере первый на эстонском языке развернутый критический отзыв об Л. Андрееве.

В начале своей статьи он приводит некоторые биографические данные, почерпнутые из автобиографии писателя, напечатанной в 1903 г. в «Журнале для всех». Далее автор заметки останавливается на публикуемом рассказе, интересно сопоставляя его с «Красным смехом»: «Рассказ, который мы выбрали, не сделал писателя знаменитым, его редко называют рядом с

³¹ Mõte. Leonid Andrejevi järele J. Varja. — «Sõnumed» 1907, nr. nr. 12—21; Tundmata kaugusesse. Leonid Andrejevi jutt, eesti keelde A. Sch-ll. — «Sõnumed» 1907, nr. nr. 65—68; Udu sees. L. Andrejevi järele O. V. — «Sõnumed» 1907, nr. nr. 110—115.

³² См. «Литературное наследство», т. 72, М., 1965, с. 82—83.

³³ См. об этом: С. Исаков. Из истории издательской деятельности Я. Ярва (По неизданным архивным материалам). — Fakt, sõna, pilt. IV. Tartu, 1969, lk. 30—49.

³⁴ Vaikimine. Leonid Andrejevi järele K. R. P<usta>. — «Säde» lisa 1906, nr. nr. 9—10.

«Красным смехом», «Стеной», «Бездной» и другими прославленными произведениями. По нашему мнению, «Красный смех» все же можно сравнить с «Молчанием» в том отношении, что они одинаково вызывают в душе читателя страх, ужас и отчаяние. «Красный смех» порождает неодолимый, безумный страх перед кровожадностью человека, перед той темной властью, которая заставляет людей уничтожать и мучить друг друга. В «Молчании» ужасает другая, менее бросающаяся в глаза, но тем более влиятельная причина — *далекость*, которая разъединяет человеческие души»³⁵.

В статье К. Р. Пусты чувствуется знание кое-каких работ русских критиков, но в целом она оригинальна. Интересно, по-новому — даже сравнительно с тем, что писалось по этому вопросу в России, — проводится сравнение Л. Андреева с А. Чеховым: «Если мы отправились бы искать у какого-либо другого писателя тот «страх» перед жизнью, который ощущает Андреев и его читатели, то прежде всего должны были бы остановиться на Чехове. Чеховская тоска — это андреевский «страх». В «Молчании» Андреев в такой мере приближается к Чехову, что лишь более смелый, свежий стиль молодого писателя спасает его от подозрения в рабском подражании или в списывании. Другие более известные вещи — «Красный смех», «Стена», «Бездна» — и последние творения — «Губернатор», «К звездам» и «Савва» — уже в полной мере раскрывают оригинальность Леонида Андреева. По нашему мнению, Андреев значительнее Чехова, в том смысле, что нынешняя жизнь, которую изображает Андреев, мощнее, красочнее и *страшнее* жизни времен Чехова. Так и рассказы Андреева страшнее. От них у читателя волосы встают дыбом, они заставляют его выть; боль, которую порождает в нас писатель, столь невыносима, что она заставляет спасаться бежать — хоть головой об стену. Лишь изредка писатель идет по стопам своего великого предшественника Антона Чехова, живописует вместо красного и черного цвета серым, вместо плетки бьет кулаком и удары, которые он раздает, не возбуждают тогда гнева, боли возмущения, но они одурманивают, усыпляют»³⁶.

Сопоставление творчества двух писателей, как мы видим, перерастает в сопоставление двух эпох — серой неревolutionной и революционной. И андреевский «страх жизни», о котором уже много писала к тому времени критика, интерпретируется К. Р. Пусты в революционном смысле, как возбуждающий «гнев» и «боль возмущения». И «стена» как символ получает у него своеобразное значение, довольно близкое к андреевскому. Такое понимание беспокойного, трагического творчества Л. Анд-

³⁵ К. Р. P<usta>. Leonid Andrejev. — «Säde» lisa 1906, nr. 9, lk. 71.

³⁶ Там же.

реева было свойственно в то время многим, особенно передовой молодежи, хотя в критике и не нашло особенно широкого распространения.

В следующем году К. Р. Пуста поместил в газете «Уус Вирулане» перевод повести Л. Андреева «Иуда Искарriot»³⁷. Вызывает удивление оперативность, с которой была переведена и напечатана эта повесть. Л. Андреев закончил работу над ней на острове Капри 24 февраля 1907 г. (напечатана в 16-м сборнике «Знания»), и уже 19 мая в «Уус Вирулане» появляется начало перевода. На печатание «Иуды Искарiota» на русском языке и перевод на эстонский язык потребовалось меньше трех месяцев.

К публикации перевода К. Р. Пуста написал «Предисловие». Поставив вопрос: «Чего же хотел Иуда, когда предал своего учителя? Нельзя же считать, будто цена раба, 30 сребрянников (на наши деньги 18—20 рублей), могла соблазнить его на этот шаг?» — К. Р. Пуста приводит разные объяснения предательства Иуды, существующие в мировой литературе (Штраус, Ренан). «Нечто совершенно новое на фоне этих попыток предлагает нам приведенная ниже повесть Андреева»³⁸, — находит автор вступления. И далее дает свою интерпретацию сложного произведения Л. Андреева, интерпретацию интересную и оригинальную, хотя и сильно упрощающую, на наш взгляд, его проблематику.

Проблемы веры, религии, христианской этики занимали значительное место в творчестве Л. Андреева. С большим искусством они представлены и в «Жизни Василия Фивейского» (1903) — наиболее значительном произведении первого периода творчества Л. Андреева. В ней автор показывает крах религиозного сознания и выступает против христианских идей смирения, терпения и непротивления.

Повесть эта была в декабре 1907 г. напечатана в газете «Вааде» в очень хорошем переводе Н. Солль³⁹. Этот перевод «Жизни Василия Фивейского» вышел в 1908 г. также отдельной книгой. Перевод Н. Солль, если осовременить слегка его язык и тщательно отредактировать, устранив незначительные ошибки, искажения и пропуски, мог бы быть перепечатан и в настоящее время.

Иронический и остро социальный аспект темы христианства дан Л. Андреевым в рассказе «Христиане» (1905), разоблачаю-

³⁷ Judas Iskariot ja teised. Leonid Andrejevi järele K. R. P<usta>. — «Uus Virulane» 1907, nr. nr. 111—129.

³⁸ K. R. P<usta>. Sissejuhatusesks. — «Uus Virulane» 19. V 1907. nr. 111.

³⁹ Vassili Thebeiski elulugu. L. Andrejevi jutustus. Eesti keelde N. Soll. — «Vaade» 1907, nr. nr. 72—87.

щем ложь и лицемерие современных христиан. Для приложения к газете «Вирулане» этот рассказ Л. Андреева перевел известный эстонский писатель Майт Метсанурк⁴⁰.

Религиозно-этическая и философская, «библейская» проблематика, если судить по выпускам связанного с социал-демократией издательства Ю. Лилиенбаха «Мыте» («Жизнь Иисуса» Э. Ренана, «Эстонская религия» и «Словарь научной библии» А. Гераклидеса (псевдоним А. Треймана), «Противоречия в библии» Р. Г. Ингерсолла), а затем и по произведениям А. Х. Таммсааре, могла быть в то время актуальной и в Эстонии. Во всяком случае, она должна была находить здесь определенный резонанс.

3

С июля 1907 г. резко меняется общественная ситуация — начинается наступление реакции. В необыкновенно трудной обстановке реакции в идейной жизни, литературе и культуре в целом заметны глубокие изменения. Опыт истории показывает, что наиболее беспощадно и болезненно действует реакция на души и сознание интеллигенции. Многие деятели культуры стали меняться буквально на глазах. Изменился (не очень сильно) и Л. Андреев. И очень сильно изменилось отношение к нему.

Прежде всего и резче всего изменилось отношение к Л. Андрееву в революционном лагере, отчасти и в более широком демократическом. А. Луначарский, который в статьях 1905—1907 гг. считал Л. Андреева одним из самых выдающихся русских писателей-современников, открывающим новые пути, который даже в 1908 г. назвал его «колоссом», «великаном», вдруг в необычайно резкой статье, опубликованной весной 1908 г. в сборнике «Литературный распад», причислил его безоговорочно к «их литературе», т. е. буржуазной, реакционной. В. Воровский зачислил Л. Андреева в «литературные мародеры», которые «в ночь после битвы» обирают погибших⁴¹. Порвал с Л. Андреевым и М. Горький. При этом интересно отметить, что сам Л. Андреев расценил статью Луначарского как удар «по своим»⁴².

Однако не все представители революционного лагеря стали относиться в этот период отрицательно к Л. Андрееву. Многие,

⁴⁰ Kristlased. Leonid Andrejevi järele Mait Metsanurk. — «Virulase» lisa 1906, nr. nr. 6—8.

⁴¹ См. В. В. Воровский. Литературно-критические статьи. М., 1956, с. 160—168.

⁴² Об отношении А. Луначарского и М. Горького к Л. Андрееву в 1907—1908 гг. см.: В. И. Веззубов. Леонид Андреев и Максим Горький. — Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 217. Тарту, 1968, с. 148—155.

как, например, С. Киров, продолжали считать его крупным писателем, смело и глубоко вскрывающим социальные и общественные язвы и, что еще важнее, ставящим большие общесоциальные философские «проклятые вопросы»⁴³.

Характерно и положительное отношение к Л. Андрееву виднейшего латышского революционного критика и крупного деятеля латышской социал-демократии Я. Янсона-Брауна, который в статьях 1908—1909 гг. очень высоко оценивал его творчество, назвав Л. Андреева самой яркой звездой на небосклоне современной русской литературы⁴⁴.

Примерно такой же «раскол» произошел в отношении к Л. Андрееву и в эстонском революционном лагере. Ю. Лилленбах переводит и издает в декабре 1908 г. отдельной книгой «Рассказ о семи повешенных» двухтысячным тиражом⁴⁵. В своеобразном вступлении, напечатанном на оборотной стороне обложки, он пишет об Л. Андрееве и его рассказе вполне сочувственно.

В то же время Отто Минор (псевдоним известного пролетарского критика О. Мюнтера) в статье «Неоромантизм и «Ноор-Ээсти», резко критикуя неоромантизм за мистицизм и отсутствие общественных идеалов, задел и Л. Андреева, причислив и его заодно к модернистам и символистам, которым нет дела до общественного прогресса. «Находим ли мы это у нынешних модернистов и символистов? — спрашивал он. — Недавно Леонид Андреев написал пьесу «Анатэма», которая должна была стать русским «Фаустом» или чем-то еще более великим. Но теперь многие критики показывают, что Андреев — разлагающийся писатель. Гордясь своим талантом, он считает себя выше других и не верит ни в какую правду. У него есть своя правда и это делает его беспомощным. В «Анатэме» вся эта беспомощность проявляется в спекулятивных мыслях и нагромождении громких слов»⁴⁶.

Сборник «В пламени горна», где была опубликована статья О. Минора, вышел в Петербурге, и в нем, естественно, сильнее проявилось влияние русской революционной печати. В самой Эстонии более влиятельной, по-видимому, была точка зрения Ю. Лилленбаха. Мы продолжаем встречать переводы произведений Л. Андреева в прогрессивных изданиях, пытающихся противодействовать реакции.

⁴³ См. Черт возьми! Хорошо все-таки жить на свете! Письма Сергея Мироновича Кирова из царской тюрьмы. — «Неделя», 1961, № 46.

⁴⁴ См. об этом: В. А. Вавере, Г. М. Мацков. Латышско-русские литературные связи. Рига, 1965, с. 264—268.

⁴⁵ Leonid Andrejev. Jutt seitsmest ülespoost. Eesti keelde toimetanud J. Lilienbach. Tallinnas, «Mõte» väljaanne, 1908.

⁴⁶ Otto Minor. Uusromantismus ja «Noor-Eesti». — Aäsi tules. II. Peterburis 1910, lk. 139.

Из этих произведений в период массовых казней прежде всего надо отметить перевод «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева — гуманистического протеста писателя против «стоыпинских галстуков»⁴⁷.

Характерно, что в сборнике «Мыттед. I» («Мысли. I») Ю. Лилиенбах помещает перевод статьи А. Смоленского «На первом чтении «Рассказа о семи повешенных»», а также письма Л. Андреева о рассказе.⁴⁸ Эти материалы — особенно выступления шлиссельбуржцев Н. Морозова и Стародворского, в свое время также приговоренных к смертной казни и признавших психологическую достоверность показанных Л. Андреевым переживаний смертников, письмо Л. Андреева к английскому переводчику с очень резкой характеристикой совершающегося в России и его же слова, что побудили написать «Рассказ» газетные сообщения: «Семеро приговорены в Риге», «четверо в Ревеле», — служили не только хорошим комментарием к произведению, но и усиливали гневное осуждение правительственной реакции.

«Рассказ о семи повешенных» был единственным произведением Л. Андреева, вызвавшим специальные критические отзывы, хотя отдельными изданиями вышли также «Жизнь Василия Фивейского» и «Тьма».⁴⁹

В опубликованной в газете «Вирулане» заметке «О литературе», где рекламировались книги, выпущенные издательством «Мыте», отмечалось: ««Рассказ о семи повешенных» виднейшего русского писателя нового времени Андреева является одной из лучших его работ. Глубокое раскрытие душевной жизни и тонко обрисованные характеры могут полностью удовлетворить и самого взыскательного читателя. Перевод сделан довольно хорошо, так что красота могучего языка Андреева не исчезла. Для эстонцев «Рассказ» делает особенно интересным то, что в нем в числе других приговоренных к повешению показан и один эстонец, хотя его характер и не очень типичен да и удался он писателю хуже, чем шесть других».⁵⁰

⁴⁷ В том же 1908 г. этот рассказ Л. Андреева вышел и на латышском языке. Под его впечатлением Я. Янсон-Браун написал свою известную статью «Из новейшей русской литературы» (1908), где он назвал «Рассказ о семи повешенных» «не только прославлением русских борцов за свободу, но еще пламенным протестом против их вешателей и душителей» (цит. по книге: В. А. Вавере, Г. М. Мацков. Ук. соч., с. 267).

⁴⁸ L. Andrejevi «Jutt seitsmest ülespoodust». Jutu esimine lugemine A. Smolenski Tõlkinud M. Aru. — Mõtted. Esimene raamat. J. Lilienbach'i toimetusel. Tallinnas 1909, lk. 211—217; Leonid Andrejevi kirjad jutu kohta. — Sealsamas, lk. 217—219.

⁴⁹ Pimedus. Leonid Andrejevi järele — k. «Teaduse» kirjastus, <Tallinn 1909>.

⁵⁰ «Virulane» 2. I 1909, nr. 1.

Довольно большие критические отзывы были напечатаны также в газете «Постимээс» и в журнале «Ээсти Кирьяндус» (кстати, первом эстонском филологическом журнале). В обеих рецензиях перевод Ю. Лилиенбаха оценивался как плохой. Особенно резко характеризует перевод рецензент «Постимээс»: «В переводе, даже если он был бы самым лучшим, невозможно сохранить все тонкости, которые даны Андреевым. К сожалению, мы здесь имеем дело с плохим переводом — даже очень прохим <...> Не говоря уже о том, что искажены обороты речи, страшно хромает также стиль изложения, даже имена собственные не переведены на эстонский язык <...> Это произведение можно рекомендовать для чтения, но, по возможности, не в этом переводе».⁵¹

Рассмотрев перевод Ю. Лилиенбаха и сопоставив его с оригиналом, мы можем сказать, что он совсем не плох. Во всяком случае, он по своему уровню отнюдь не ниже тех переводов, которые нам пришлось изучить, а даже несколько выше. Отдельные ошибки и неудачи не меняют дела. Можно добавить, что в некоторых случаях перевод Ю. Лилиенбаха лучше, чем перевод Ф. Кылли в сборнике 1959 г. «Баргамот и Гараська». Например, в рифмованной поговорке, в которой дана оценка Орла и близлежащих городов в иерархии воровского мира, Ю. Лилиенбахом сохранена и рифма, и удалость.⁵² У Ф. Кылли же все пропадает, и его перевод этой поговорки попросту невыразителен и скучен. Видимо, в оценке перевода Ю. Лилиенбаха рецензентом «Постимээс», а также «Ээсти Кирьяндус» сказались групповая партийная пристрастность. Не следует забывать, что «Постимээс» Я. Тыниссона был органом буржуазно-националистических кругов эстонского общества.

Между тем, даже рецензент «Постимээс» признал политическую актуальность андреевского произведения: «У эстонской читающей публики есть, в известной мере, особые права на эту одну из последних работ Л. Андреева. Политический момент, который хотел отобразить Андреев, здесь тот же, что и во всей России.»⁵³

Статья Бернхарда Линде в «Ээсти Кирьяндус» является, по существу, попыткой обобщающей характеристики творчества Л. Андреева, хотя конкретным поводом для ее написания послужил выход «Рассказа о семи повешенных». Б. Линде основывается при этом главным образом на работах русских критиков Д. Мережковского, Д. Философова, К. Чуковского, А. Горн-

⁵¹ L. Leonid Andrejev. Jutt seitsmest ülespoodust. — «Postimees» 28. III 1909, nr. 70.

⁵² См. Leonid Andrejev. Jutt seitsmest ülespoodust. Eesti keelde toimetanud J. Lilienbach. Tallinnas, «Mõtte» väljaanne, 1908, lk. 38.

⁵³ «Postimees» 28. III 1909, nr. 70.

фельда и других, которых он прямо называет в своей статье, а Д. Мережковского и цитирует.

Объявив с самого начала, что «Леонид Андреев пророк смерти с большой буквы», Б. Линде рассматривает и «Жизнь Василия Фивейского», и «Жизнь человека», и, наконец, «Рассказ о семи повешенных» именно под этим углом зрения. Правда, он отмечает, что в раннем творчестве Л. Андреев «во многих произведениях изображал жизнь мещанства». Критик отрицательно отнесся к «неореалистическим» пьесам Л. Андреева «Жизнь человека» и «Царь Голод», находя в них из-за мистики и отказа от психологизма «признаки регресса в писательской эволюции». А в «Рассказе о семи повешенных» Б. Линде увидел возвращение Л. Андреева на верный путь. «Полное расхождение с предшествующими произведениями последнего периода можно заметить в повести «Рассказ о семи повешенных», — писал он. — В нем писатель уже не предстает перед нами таким мистиком <...> а больше становится заметным автор «Жизни Василия Фивейского». В названном выше произведении (т. е. в «Рассказе о семи повешенных» — В. Б., С. И.) уже выступает на первый план психологическое понимание явлений жизни, ненужная или, вернее, искусственная мистика попусту не мешает читателям. Хотя в основных линиях этой работы и заметен легкий мистический флер, но он, скорее, способствует повышению художественной ценности рассказа».⁵⁴

Однако, проводя вслед за Д. Мережковским резкую границу между «что» и «как», Б. Линде видит ценность и значение андреевской повести лишь в злободневности содержания. Рассматривая художественную сторону произведения, он находит в повести много погрешностей: признаки пошлости, безвкусицы, бульварщины.

В этом Б. Линде был отчасти прав: «Рассказ о семи повешенных», действительно, не написан так «плотно», как лучшие произведения Л. Андреева.

Статья Б. Линде в целом, хотя общая характеристика творчества Л. Андреева и концепция его развития не являются оригинальными, заслуживает внимания и, несомненно, оказала воздействие на рецепцию творчества Л. Андреева в Эстонии. Сразу же можно отметить, что и А. Х. Таммсааре в 1911 г. объявляет смерть главным героем произведений Л. Андреева: «Андреев дошел до того предела, где читатель может сказать: из представленных ему героев смерть является единственной живой душой».⁵⁵

Достоин внимания и следующий факт. В феврале 1913 г. вер-

⁵⁴ Bernhard Linde. Leonid Andrejev. Jutt seitsmest ülespoodust. Eesti keelde toimetanud L. Lilienbach... — «Eesti Kirjandus» 1909, nr. 5, lk. 220

⁵⁵ A. H. Tammsaare. Leonid Andrejev (Tema 40. sünnipäeva puhul). — «Eesti Kodu» 1911, nr. 5, lk. 98.

ховный орган цензуры — Главное управление по делам печати разослало всем инспекторам секретный циркуляр. В нем содержалось требование составить списки книг, «которые, хотя и не поддаются инкриминированию на почве уголовных законов, тем не менее, по содержанию своему являются крайне тенденциозными и вредными, как с религиозной и государственной точек зрения, так и в нравственном отношении, — с тем, чтобы произведения этого рода не были допускаемы к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях». Таллинский цензор Х. Янзен включил в требуемый список в числе прочих «вредных» книг и эстонский перевод «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева.^{55a}

Ту же функцию противодействия реакции, что и «Рассказ о семи повешенных», должен был выполнять «Календарь Кийр на 1911-й год», помещенные в котором стихи — «Добровольные рабы» Гофмана фон Фаллерслебена, «Почему» Г. Гейне и «Утренние песни» Ю. Либлиенбаха — и проза — «Такое время» В. Грюнштамма, «Оплот правительства» А. Чехова (так был назван в переводе «Унтер Пришибеев») и «Марсельеза» Л. Андреева⁵⁶ — в совокупности имели ярко выраженный революционный смысл.

Революционным по содержанию было и опубликованное в 1910 г. в литературном приложении к газетам «Сакала» и «Мейе Кодумаа» произведение Л. Андреева «Из рассказа, который никогда не будет окончен» (под названием «Когда не было времени...»).⁵⁷ Герой рассказа идет сражаться на баррикады. На другой день, после того как устроит детей, должна последовать за ним и его жена. Революция здесь — праздник, во время которого меняются все обычные представления.

К сожалению, переводчик Адам Соон, указав в подзаголовке на вольный характер переложения, исключил очень важный эпизод, в котором 9-летний сын говорит отцу, где спрятано ружье. По неясным соображениям переводчик отказался и от андреевского названия — «Из рассказа, который никогда не будет окончен...» А в этом названии весьма ясно проявляется андреевская концепция революции: независимо от победы или поражения этой революции люди снова и снова будут подниматься на борьбу за свободу. «Потом пусть снова рабство, — писал Л. Андреев сестре о замысле рассказа, — что угодно, важно одно — баррикады. Важен — момент» (II, 414).

Очень важным и, несомненно, связанным с указанными пуб-

^{55a} ЦГИА ЭССР, ф. 52, оп. 1, ед. хр. 553, л. 12.

⁵⁶ Marsseljese. L. Andrejevi järele V. Grünstamm. — Kiir Kalender 1911. aasta jaoks. Tartus <1910>, lk. 73—75.

⁵⁷ Kui aega ei olnud... Leonid Andrejevi ainetel vabalt Aadam Soon. — «Sakala» ja «Meie Kodumaa» Ilukirjandus ja teadus 1910, nr. 34, lk. 133—134.

ликациями был факт постановки драматическим кружком Народного дома К. Лютера пьесы Л. Андреева «Дни нашей жизни». Этот театралный коллектив, возглавляемый Юлиусом Россфельдтом, членом РСДРП с 1905 г., не без основания считается первым эстонским пролетарским театром.

Премьера «Дней нашей жизни» в постановке Ю. Россфельдта состоялась 1 ноября 1909 г.⁵⁸ Один из рецензентов писал после спектакля: «Что можно сказать об этой пьесе? Скажем только, что собрание пьес на эстонском языке опять пополнилось одним из лучших русских драматических произведений. Представление ее было во всех отношениях старательно подготовленным и оказало воздействие на зрителей. Особенно прочувствованно исполнили свои роли г-жа Анэtte Россфельдт (Евдокия Антонова) и г-жа Майму Анто (Ольга Николаевна, ее дочь), также и г-да Ю. Россфельдт (Онуфрий) и А. Куускманн (Глуховцев) от начала до конца играли успешно, неизменно придерживаясь верного и впечатляющего тона. Зал был полон».⁵⁹

Выбор именно этой пьесы для постановки вряд ли был случаен. Демократический, даже революционно настроенный коллектив Народного дома Лютера могла привлечь критическая направленность драмы, яркие картины «свинцовых мерзостей» русской жизни.

Сам Л. Андреев считал эту пьесу незначительной в идейно-художественном отношении. Его даже удивило и огорчило, что она стала самой «ходовой» пьесой — шла повсеместно по всей России. По всей вероятности, он не сумел разглядеть в ней ее хорошего сценического нерва.

Пьеса в постановке Народного дома Лютера пользовалась, видимо, большим успехом: она продержалась в репертуаре несколько сезонов и в апреле 1911 г. была показана даже в помещении театра «Эстония».⁶⁰

По этим фактам можно судить, что и в период реакции определенные круги продолжали использовать произведения Л. Андреева в целях возбуждения общественной активности. Но так как имя Л. Андреева стало известным, его шире стали печатать и другого типа издания — буржуазные и чисто коммерческие. И все же на страницах подобных газет и литературных приложений переводы произведений Л. Андреева были единичны, носили случайный характер. Это особенно станет явным в

⁵⁸ В книге A. Vaarman, J. Kross. Tallinna proletariaate teatri ajaloo. I (Eesti NSV Teatriühingu väljaanne, 1957, lk. 27) представление пьесы ошибочно отнесено к сезону 1910/11 гг. Авторам книги остались, видимо, неизвестными рецензии на премьеру («Virulane» 3. XI 1909, nr. 251; «Näitelava» 1909, nr. 14).

⁵⁹ Paide Hans. Tallinnast. — «Näitelava» 1909, nr. 14, lk. 5—6.

⁶⁰ См. объявления: «Tallinna Teataja» 16. IV 1911, nr. 84, lk. 4; «Päevaleht» 16. IV 1911, nr. 84, lk. 4.

1910-е гг., а затем и в период диктатуры буржуазии в Эстонии — в 1920—1930-е гг. Произведения Л. Андреева стали появляться даже в альбомах, посвященных церковным праздникам. В 1911 г., например, «Прекрасна жизнь для воскресших» Л. Андреева была напечатана в одном пасхальном альбоме, а в 1923 г. рассказ «Ангелочек» — в рождественском.⁶¹

Из изданий, в которых сравнительно часто появлялось имя Л. Андреева, следует отметить еще журналы «Коду» и «Ээсти Коду», где были напечатаны «Набат», «Ангелочек», «Прекрасна жизнь для воскресших» и получивший наиболее скандальную известность из всех произведений Л. Андреева рассказ «Бездна».⁶²

В «Ээсти Коду» выступил с юбилейной и обобщающей статьей об Л. Андрееве и А. Х. Таммсааре. Мы уже несколько раз называли ее и, пожалуй, пришла пора рассмотреть ее полностью. А. Х. Таммсааре представил довольно обстоятельный обзор творчества Л. Андреева. Отметив в немногих словах основное идейное содержание большинства значительных произведений писателя, он подытоживает: «Во всей современной жизни Андреев видит что-то непостижимое, разрушающее личность человека, лишające его свободы, и из уст писателя слышится <...> проклятье».⁶³ Однако А. Х. Таммсааре, как и многие русские критики, считает, что разрушительная работа Л. Андреева лишена возможной убедительности и силы, потому что он не облакает свои мысли и чувства в живые индивидуализированные образы. Можно сказать, что А. Х. Таммсааре критикует Л. Андреева с позиций реалистического искусства. Он пишет: «Типы исчезают, их место занимает изначальный человек с известными желаниями и страстями, человек без индивидуальной окраски. <...> Остается лишь мысль, которая в искусстве никогда не может заменить образов. <...> Поэтому нет ничего удивительного, что отрицание и разрушительная работа Андреева не оказывают того воздействия на читателя, которого можно было бы ожидать. Это коротко и ясно отметил Лев Толстой: «Он пугает, а нам не страшно»».⁶⁴

⁶¹ L. Andrejev. Ilus on elu ülestõusnutele. — Pühade Album Ülestõusmise pühadeks. Tallinn 1911, lk. 4—6; L. Andrejev. Ingliseke. Jõulujutt. — Rõõmsaid pühi. Jõulu album, <1923>, lk. 3—8.

⁶² Hädakell. Vene kirjaniku Leonid Andrejevi järele A. Tarto. — «Eesti Kodu» 1909, nr. 12, lk. 230—232; Ingliseke. Vene kirjaniku Leonid Andrejevi järele A. K. — «Eesti Kodu» 1909, nr. 24, lk. 461—467; Põhjata kuristik. Vene kirjaniku Leonid Andrejevi järele A. V. — «Eesti Kodu» 1910, nr. 15, lk. 301—304, nr. 16, lk. 317—320; Ilus on elu surnuist ülestõusnutele. — «Eesti Kodu» 1911, nr. 21, lk. 385—386.

⁶³ «Eesti Kodu» 1911, nr. 5, lk. 99.

⁶⁴ Там же, с. 100.

Однако многое в творчестве Л. Андреева привлекает А. Х. Таммсааре, иначе, думается, он не стал бы писать о нем юбилейную статью. И он стремится к объективной оценке: «Но попытаемся остаться справедливыми. Забудем издевательства, саркастические замечания и унижающие писателя отзывы, которые в огромном количестве сыплются на голову Андреева, и посмотрим на проделанную им работу. Вдруг среди бесцветных образов отдельные картины, герои, их действия предстают живыми». ⁶⁵ И далее А. Х. Таммсааре приводит много примеров образов и ситуаций из разных произведений Л. Андреева, запомнившихся ему своей яркой и живой характерностью, верностью жизни и психологической правдой.

Вообще мастерство Л. Андреева — писателя А. Х. Таммсааре оценивает очень высоко. Приведя несколько примеров из «Анатэмы» он заключает: «В нескольких штрихах, проведенных рукою мастера, больше жизни, красок и души, чем иногда в целой картине». И в конце: «Кроме того, нельзя отрицать, что Андреев почти всегда является интересным и захватывающим. Он умеет подчинить читателя своей власти. Его язык нередко красочен, образен, слова и выражения затрагивают скрытые струны души». ⁶⁶

А. Х. Таммсааре находит, что Л. Андреев закончил определенный этап творчества, что он «прошел длинную, темную дорогу» и должен куда-то повернуть, искать чего-то нового, конструктивного. «До сих пор он отрицал, проклинал жизнь, пел гимны смерти. Может быть, теперь он, как Метерлинк, придет к убеждению, что необходимо сузить границы царства смерти, а границы жизни и счастья — расширить». ⁶⁷

Мы привели так много выдержек из статьи А. Х. Таммсааре потому, что она является самой большой, основательной и значительной работой об Л. Андрееве на эстонском языке. Кроме того, А. Х. Таммсааре в ней, на наш взгляд, высказал точку зрения, которая в основных чертах была близка большой группе эстонских литераторов, тяготевших к реализму. Старый, «девятнадцативечный», реализм для них был уже не совсем приемлем, они искали новых путей его развития. И, естественно, что их заинтересовал Л. Андреев, выросший из русского реализма, считавший себя одно время искренне «продолжателем Чехова», но под влиянием новых веяний стремившийся развить и модернизировать реализм, создать «неореализм».

Для этой группы писателей, как правило, ближе и ценнее было раннее творчество Л. Андреева, в котором еще не обор-

⁶⁵ «Eesti Kodu» 1911, nr. 5, lk. 100.

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Там же.

вались связи с реализмом А. Чехова, Л. Толстого и В. Гаршина.

К взглядам этой условно выделенной нами группы стали приближаться и отдельные представители эстонского неоромантического объединения «Ноор Ээсти». Мы уже говорили о Б. Линде, который оценивал раннее творчество Л. Андреева с точки зрения «психологической разработки темы». С некоторыми оттенками примерно те же мысли выражал Йоханнес Аавик. В опубликованном в альбоме «Ноор Ээсти» III произведении «Рутх», приводя имена тех русских писателей, кто были по вкусу его героине, Й. Аавик с характерными оговорками называет и Л. Андреева. «Андреев, который ей нравился в своих первых рассказах, стал после скучным и противным своим пошлым, гонящимся за эффектом символизмом, а особенно своей излишней плодovitостью», — писал он.⁶⁸ Правда, здесь можно усмотреть и упрек Л. Андрееву за то, что он недостаточно глубокий, не «настоящий» символист.

Кстати, Й. Аавику принадлежит один из наиболее интересных переводов из Л. Андреева 1910-х гг. Для серии изданий, пропагандировавших его теорию «обновления» эстонского языка (эти издания печатались по новой, предложенной Й. Аавиком орфографии), он перевел рассказ Л. Андреева «Набат».⁶⁹ Несмотря на отдельные неоправданные пропуски, это замечательный перевод. Й. Аавику удалось вжиться в андреевский стиль этого рассказа — судорожный, зловещий. Перевод можно было бы перепечатать и сегодня. Не потребуется даже пояснений для новых слов, потому что все те слова, которые Й. Аавик снабжает еще пояснениями, вошли теперь в эстонский литературный язык.

Интерес А. Х. Таммсааре к Л. Андрееву не прекращается и после 1911 г. Начавшееся в университетские годы увлечение творчеством Л. Андреева⁷⁰ оказалось устойчивым. Во многих статьях 1907—1917 гг. он упоминает Л. Андреева,⁷¹ считая его

⁶⁸ J. Randvere. Ruth. — «Noor-Eesti» III, 1909, lk. 52.

⁶⁹ Leonid Andrejev. Hädakell. Tõlkinud Joh. Aavik. — Hirmu ja õuduse jutud. V, Järjevis 1915, lk. 80—86.

⁷⁰ Исследователь творчества А. Х. Таммсааре К. Михкла отмечает, что в университетские годы «его глубоко захватили произведения Фридриха Ницше, Оскара Уайльда, Бернхарда Шоу и Леонида Андреева» (Karl Mikhkla. A. H. Tammsaare elutee ja looming. Tartu, 1938, lk. 71).

⁷¹ См. Vaatlaja. Pilguke kirjandusesse. — Kirjandus. «Sõnumete» ja «Maa» hinnata kaasanne 1907, mai, lk. 14; Vaatlaja. Meie «noortest» kirjanduses («Noor-Eesti» II ilmumise puhul). — Kirjandus. «Sõnumete» ja «Maa» hinnata kaasanne 1907, juuni, lk. 10; A. H. T. Muljendid ja mõtted. — «Päevaleht» 24. XII 1909, nr. 296; A. H. T. Kunst ja arvustus. — «Päevaleht» 27. VI 1910, nr. 131; Anton Hansen. Keelest ja luulest. — «Tallinna Kaja» 13. VI 1915, nr. 23; A. H. T. Sõjaluuile. — «Sakala» 30. III 1916, nr. 37; A. H. T. Mõni sõjaaegne raamat. Kirjandusline veste. — «Päevaleht» 13. I 1917, nr. 10; A. H. T. Mõtted ja mälestused. — «Uus Päevaleht» 8. XI 1917, nr. 265.

неизменно ведущим русским писателем-современником. В статье 1917 г. «О некоторых книгах военных лет. Литературная беседа», говоря о страшной бедности литературы периода I Мировой войны, А. Х. Таммсааре выделяет в ней лишь «Иго войны». Л. Андреева и одну повесть Ю. Ахо. Подробно пересказав повесть Л. Андреева, А. Х. Таммсааре заключает: «Простая обычная книга, возможно, даже книга, которая будет быстро забыта, но в настоящий момент все же очень интересная, жизненная и тяжелая. Исполненная слез книга о беспомощности общественной жизни нашего отечества».⁷²

Несколько иную позицию по отношению к Л. Андрееву занимал Майт Метсанурк, хотя он и повторил некоторые основные положения Б. Линде и А. Х. Таммсааре в своей статье, предпосланной постановке пьесы «Дни нашей жизни» в 1913 г. в театре «Эстония». Он также находил, что «основным мотивом всех произведений Андреева — рассказов и драм — является смерть и бессмысленность жизни». Но несмотря на этот «основной мотив» Л. Андреев, по мнению М. Метсанурка, «не становится монотонным и не повторяет себя. Он находит все новые средства выражения; его произведения то реалистические, то фантастические, то аллегорически-мистические, то символические».⁷³ Именно этим совмещением разных творческих подходов он и интересен для М. Метсанурка. Но еще более тем, что в творчестве Л. Андреева нашло продолжение характерное для русской литературы обращение к «проклятым» или «вечным вопросам».

«В русской литературе после Достоевского, примерно в восьмидесятые годы прошлого столетия, был период, когда «вечные вопросы» все более отодвигались в сторону и выдвигались земные, а именно «общественно-нравственные» вопросы. Постепенно «вечные вопросы» (вопросы философские и религиозные, если говорить более определенными терминами) снова встали на повестку дня. Литература повернула «назад к Достоевскому», и одним из наиболее значительных выразителей этого поворота стал Леонид Андреев.

Он снова страстно начал искать цели и смысл жизни как отдельного человека, так и всего человечества».⁷⁴

Не видя у эстонских литераторов интереса к «вечным вопросам», М. Метсанурк по принципу — «чего у нас нет» — и считает Л. Андреева любопытным для эстонцев писателем и предлагает ознакомиться с «Днями нашей жизни».

⁷² A. H. Tammisaare. Mõni sõjaaegne raamat. Kirjandusline veste. — «Päevaleht» 13. I 1917, nr. 10.

⁷³ Ed. H. Ubel. «Meie elupäevad», Leonid Andrejev. — «Tallinna Teataja» 19. IX 1913, nr. 214.

⁷⁴ Там же.

Подводя некоторые итоги, можно сказать, что почти весь цвет тогдашней эстонской литературы в той или иной мере проявлял интерес к творчеству Л. Андреева.

И, естественно, в связи с этим возникает вопрос о влиянии Л. Андреева на творчество некоторых эстонских писателей. К тому же мы знаем, что «старики» из круга «Постимээс» и «Ээсти Кирьяндус» обвиняли «молодых» из круга «Ноор Ээсти» в прямом подражании русской литературе, причем чаще всего в этой связи упоминалось как раз имя Л. Андреева. «Молодые» же на словах всеми силами открещивались от каких бы то ни было русских влияний. «Старики» ругали «молодых» за «болезненные явления» в творчестве, воспринятые, по их мнению, у чужих «молодых», которые тоже «больны», о чем свидетельствуют «беспокойные» художественные искания последних. Очень интересно выступил в защиту «молодых» А. Х. Таммсааре: «Здоровый человек спокоен, ест, натягивает одеяло через голову и храпит. Но можно ли сказать то же о Ницше, Толстом, Андрееве, Стриндберге, Метерлинке и др.? Нет, никак нельзя! Даже Кант с присущей ему силой мысли явление нездоровое. О Марксе нечего и говорить. Беспокойство, поиск, исследование, самоанализ, стремление дойти до сути вещей, додумать вопросы до конца, как будто бессмысленное расширение знаний, вообще вся культура — признак болезненного состояния, свидетельство того, что с человеком не все в порядке».⁷⁵

Чаще всего шла речь о влиянии Л. Андреева на творчество Ф. Тугласа (Михкельсона). Причем на это указывали представители разных общественных лагерей и литературных группировок.

Известный пролетарский критик О. Мюнтер, говоря об апогетах формы, писал: «Михкельсон является ведь верным подражателем и сторонником Верхарна и Андреева. В некоторых его рассказах довольно сильно чувствуется влияние Л. Андреева».⁷⁶

Критик и публицист буржуазно-националистического лагеря Ю. Луйга утверждал со своей стороны: «В манере изображения у Фр. Михкельсона проявляется влияние русских писателей, особенно Леонида Андреева и Горького. Безымянные герои «отец», «он», девушка» и др., вероятнее всего, позаимствованы через Андреева у Метерлинка».⁷⁷

⁷⁵ А. Н. Т<а м м с а а р е>. Kunst ja arvustus. — «Päevaleht» 27. VI 1910, nr. 131.

⁷⁶ Aäsi tules. II. Peterburis 1910, lk. 154.

⁷⁷ «Eesti Kirjandus» 1908, lk. 26.

О влиянии Л. Андреева на молодого Ф. Тугласа говорили и сами «младоэстонцы», в частности Бернхард Линде в статье «Русское влияние в эстонской литературе»: «У Фр. Тугласа, когда он предстает перед нами как автор «К своему солнцу», «Мидии» и «Моря», есть что-то напоминающее «Красный смех» Леонида Андреева».⁷⁸

Наконец, можно сослаться на мнение другого «младоэстонца», виднейшего эстонского поэта XX в. Густава Суйтса: «Сам Туглас в предисловии ко второму изданию «Песочных часов» называет Фр. Ницше, О. Уайльда, Й. П. Якобсена как авторов, оказавших на него влияние. Говоря о его раннем периоде творчества, можно было бы добавить еще по крайней мере Л. Андреева и В. Брюсова».⁷⁹ Это утверждение тем более заслуживает доверия, что Г. Суйтс отнюдь не склонен был преувеличивать русского влияния на эстонскую литературу нового времени.

И, наконец, сам Ф. Туглас признается в «Воспоминаниях», что на него какое-то влияние оказал Л. Андреев, правда, лишь при написании рассказа «Смерть».⁸⁰

Действительно, читая рассказ «Смерть», можно обнаружить в изображении пьяниц в трактире, машин на заводе и т. п. близость к Л. Андрееву. В других произведениях молодого Ф. Тугласа, указанных и не указанных критиками, такой близости в образной системе не наблюдается. Что же касается утверждения Ю. Луйга, будто Ф. Туглас перенял у Л. Андреева «безымянных героев» типа «отец», «он» и т. д., то они столь широко начинают встречаться в литературе XX в., что приписать их исключительно влиянию Л. Андреева или даже М. Метерлинка было бы слишком смело.

Видимо, более прав автор отзыва о сборнике «В дни борьбы» в журнале «Ээсти Кирьяндус», который писал: «Трудно сказать, сколько в рассказике «К своему солнцу» Ф. Тугласа своего и сколько позаимствовано. Конечно, писатель не только переводил и не подписал своим именем перевод, но рассказ является плодом чтения. Автор рассказа много читал молодых русских писателей и бессознательно выдал за свое то, что у него осталось в памяти от этого чтения».⁸¹

Отрицать, что Ф. Туглас много читал современных русских писателей, в том числе Л. Андреева, трудно. Несомненно и то, что чтение это откладывалось в его сознании и очень опосредствованно могло сказываться на собственном творчестве. Не следует забывать и того, что Ф. Туглас быстро «переболел» увлечением андреевским творчеством.

⁷⁸ «Eesti Kirjandus» 1911, lk. 179.

⁷⁹ Friedebert Tuglas sõnas ja pildis. Tln., 1966, lk. 9.

⁸⁰ См. Friedebert Tuglas. Mälestused. Tln., 1960, lk. 299.

⁸¹ «Eesti Kirjandus» 1906, lk. 50.

Вообще определение влияний — занятие сложное, трудно доказуемое и неблагоприятное.

Видимо, более плодотворным было бы исследование типологического сходства, потому что многие явления в развитии эстонской и русской литературы первых десятилетий XX в. определялись одинаковым источниками, причинами.

5

Особый вопрос — о сценической судьбе замечательной драматургии Л. Андреева в Эстонии. Его пьесы занимали далеко не последнее место в репертуаре эстонских драматических коллективов первой трети XX столетия. На основе сохранившихся материалов можно даже сказать, что они сыграли определенную роль в развитии эстонского театра в это время.

Мы уже говорили о постановке «Дней нашей жизни» коллективом Народного дома Лютера, которая и является первой известной постановкой андреевской пьесы на эстонском языке. Но еще до этой постановки эстонские зрители могли познакомиться с драматургией Л. Андреева по представлениям как местных, так и приезжих русских трупп, рекламные объявления о которых нередко печатались и в эстонских газетах.

Уже в ноябре 1907 г. таллинские любители показали в Русском общественном собрании «Жизнь человека». В газете «Вааде» (28 ноября 1907 г., № 69) появился отзыв об этой постановке, в котором подробно было изложено содержание пьесы. В начале 1909 г. гастролировавшая в Таллине труппа, в составе которой были и артисты Петербургского драматического театра В. Ф. Комиссаржевской, показала «Дни нашей жизни». В октябре того же года Прибалтийский передвижной театр представил «Анфису» Л. Андреева. Рецензент газеты «Вирулане» отметил удачное исполнение как основных, так и второстепенных ролей, слаженный ансамбль, большое число зрителей.⁸²

В 1910 г. уже знакомая нам петербургская труппа при участии актеров театра В. Ф. Комиссаржевской показала «Анфису» в Тарту на сцене «Ванемуйне».⁸³ Там же в феврале 1911 г. гастролировавшей драматической труппой при участии неизвестной русской актрисы О. Голубевой была представлена пьеса Л. Андреева «Gaudeamus». 2 февраля 1913 г. русский Юрьевский студенческий драматический кружок показал в «Ванемуйне» драму Л. Андреева «Профессор Сторицын», а 12 марта 1913 г. драматическая труппа А. Тейфеля — ту же

⁸² t. Balti Vene Liikuv Teater. — «Virulane» 2. XI 1909, nr. 250. Отметим, кстати, что в «Театральной энциклопедии» (т. I, М., 1961, стлб. 204) первым представлением «Анфисы» на сцене названа постановка пьесы в Театре Незлобина в Москве в 1910 г.

⁸³ «Näitelava» 1910, nr. 13/14, lk. 198.

пьесу под названием «Нетленное». В конце 1914 г. Русский театр в Таллине осуществил постановку пьес «Король, закон и свобода» и «Анфиса». И т. д., и т. д.

Это перечисление можно было бы продолжить. Впрочем, хотя и известно, что на эти представления ходили и эстонцы, они все же предназначались прежде всего для русской публики.

Любопытно, что первоначально и некоторые эстонские театральные коллективы ставили пьесы Л. Андреева на языке оригинала. Так, сохранились сведения, что 13 марта 1910 г. «Дни нашей жизни» на русском языке показал драматический коллектив Нарвского Эстонского общества.⁸⁴

На профессиональной эстонской сцене «Дни нашей жизни» впервые были поставлены Т. Альтерманном в театре «Эстония» 19 сентября 1913 г. Эта постановка, наряду с «Гамлетом» и «Неуловимым чудом» Э. Вильде, заслуженно считалась лучшей постановкой сезона 1913/14 гг. в «Эстонии». Напомним, что этот сезон был своего рода вершиной в развитии дореволюционной «Эстонии», когда на ее сцене блистали Т. Альтерманн и П. Пинна, самые великие актеры в истории эстонского театра вообще.

Критика той поры, вероятно, не без основания обратила внимание на ряд недочетов постановки: отсутствие ансамбля, разрыв между игрой исполнителей основных и второстепенных ролей, недостаточное воссоздание русской национальной специфики, русского «колорита». Все это были старые «беда» «Эстонии». Но эти недостатки с лихвой перекрывались бесспорными достоинствами постановки и прежде всего блестящей игрой Т. Альтерманна, Э. Вильмер и Б. Куусманн, создавших незабываемое трио, которое запечатлелось в памяти зрителей на многие годы.

«Главные роли исполняли Теодор Альтерманн (студент Глуховцев), Эрна Вильмер (молодая девушка Ольга) и Бетти Куусманн (ее мать Евдокия Антоновна), — вспоминала через много лет замечательная эстонская актриса Л. Рейман. — Незабываема была одна трагическая сцена с участием Глуховцева и Ольги, где бедный студент узнает, что его любимая на самом деле проститутка, которой торгует ее опустившаяся мамаша. Эту трагическую сцену Альтерманн и Вильмер исполняли с таким юношеским пламенем и темпераментом, так глубоко и потрясающе, что при воспоминании о ней меня и сейчас пробивает дрожь. Они были неотделимы в тот момент друг от друга, их нельзя было разлучить. В то время Альтерманн был уже болен и голос его хриповат. Но тем больше души он вкладывал в свою игру. Оба они сверкали и блистали».⁸⁵

⁸⁴ «Päevaleht» 17. III 1910, nr. 62.

⁸⁵ Liina Reiman. Rambivalgus süttib. Mälestusi minu lavateekonnalt. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, <Lund, 1956>, lk. 206.

Превосходна была и Б. Куускманн. «Г-жа Куускманн изумила своей Евдокией Антоновной, — писал в рецензии на спектакль Х. Раудсепп, известный эстонский драматург и театральный критик. — Не акцентируя внимания на внешних, «бытовых» чертах, она добилась в роли этой своеобразной, часто возбуждающей антипатию матери глубокой человеческой правды и зрелой, не переступающей необходимых границ комики. Евдокию Б. Куускманн можно отнести к числу наиболее удавшихся образов, созданных нашими лучшими актерами».⁸⁶

Удачи были и среди исполнителей других ролей. Критики отметили в целом удачное исполнение роли подпоручика Мирнова К. Юнгхольцем и роли Блохина А. Михельсоном.

Т. Альтерманн поставил «Дни нашей жизни» как психологическую драму. Хотя постановщику и не удалось добиться законченной ансамблевости спектакля, все же он сумел создать в нем определенное «настроение», которое передавалось и зрителям. «Некоторые сцены оставляли такое впечатление, к которому публика «Эстонии», где доминируют немецкие драмы, еще не привыкла. Зрители получили глубокое и конкретное представление о драме «настроения», о том, чем можно объяснить победное шествие пьес Чехова, Горького и Андреева в России и за границей, — писал уже знакомый нам Эд. Хубель. — «Дни нашей жизни» — это драма, которую как мелодию, создающую глубокое настроение, можно смотреть по несколько раз».⁸⁷

Весной 1914 г. театр отправился в гастрольную поездку по городам Эстонии. В программу гастролей были включены и «Дни нашей жизни». Гастроли «Эстонии» прошли с триумфальным успехом, причем особое восхищение вызвал Т. Альтерманн в роли Глуховцева.

«Это была потрясающая и кошмарная драма, которую представила нам вчера вечером в «Ванемуйне» драматическая труппа таллинской «Эстонии», — писал Йох. Аавик. — Да, страшная, исполненная боли и безумия драма, полная страстей, нищеты, отчаяния, жалости и мерзости... и все же оригинальное, могучее и увлекательное произведение, содержащее много литературно-технических тонкостей... и все это без традиционной катастрофы в финале (которую напрасно ждет зритель), оставляющем в результате тем более сильное ощущение неизбежности и безысходности судьбы человека. Это, вместе с тем, и подлинно русская драма».⁸⁸

⁸⁶ H. Raudsepp. Andrejevi «Meie elupäevad». Teine etendus. — «Päevaleht» 28. IX 1913, nr. 222.

⁸⁷ Ed. Hübeler. «Meie elupäevad», Leonid Andrejev. — «Tallinna Teataja» 28. IX 1913, nr. 222.

⁸⁸ Joh. Aavik. «Estonia» külaskäigu-etendused. Leonid Andrejevi «Meie elupäevad». — «Postimees» 17. V 1914, nr. 110.

Отметив превосходную игру актеров, Йох. Аавик пришел к заключению, которое не может не удивить, если принять во внимание хорошо известный нам высокий художественный уровень «Ванемуйне», достигнутый в тот период под руководством К. Меннинга: «Вообще вчерашнее представление — как сама пьеса, так и ее исполнение, — оставило впечатление чего-то освежающего на сцене «Ванемуйне»: наконец-то, после длительного перерыва мы могли получить истинное удовольствие от пьесы, представленной на эстонском языке, и, вероятно, все зрители унесли с собой из зрительного зала ощущение, что им было предложено нечто выходящее из рамок обыкновенного».⁸⁹

Больше эстонский театр в дореволюционный период к драматургии Л. Андреева не обращался.

После Октябрьской революции интерес к драматургии Л. Андреева в Эстонии не только не понизился, но значительно повысился. Характерно, например, что созданный Нарвским Советом рабочих и солдатских депутатов Народный театр (руководитель — Николай Карпов) открылся 26 декабря 1917 г. постановкой «Дней нашей жизни». Эта же пьеса была поставлена 21 ноября 1920 г. в вильяндиском театре «Угала». Сохранились сведения, что постановка пользовалась успехом у зрителей и осталась в репертуаре театра и в следующем сезоне.

Однако принципиальное значение, если так можно сказать, получает на эстонской сцене драматургия Л. Андреева в начале 1920-х гг. И связано это с новыми и сложными процессами, которые начинаются в то время в эстонском театре. В театре наступило время новаторских исканий, экспериментов, поисков новых, современных форм. В театре этот процесс начался несколько позже, чем в литературе, но проходил он не менее бурно.

Дореволюционный эстонский театр целиком и полностью вырос на немецких традициях: они были основополагающими не только для старого «Ванемуйне» и А. Вийры, но и для реформатора эстонского театра К. Меннинга. Хотя последний и был знаком с системой К. Станиславского, но она оставалась для него, как верно замечает Л. Рейман,⁹⁰ лишь чистой теорией; на практике же К. Меннинг исходил из того, что получил от М. Рейнгардта. В Германии учился режиссуре и Т. Альтерманн.

В начале 1920-х гг. положение меняется. Наряду со значительным интересом к драматургии немецкого экспрессионизма, эстонские театральные деятели открывают для себя русский

⁸⁹ Joh. Aavik. «Estonia» külaskäigu-etendused. L. Andrejevi «Meie elupäevad». — «Postimes» 17. V 1914, nr. 110.

⁹⁰ Liina Reiman. Lava võlus. Eesti Kirjanike Kooperatiiv, <Lund, 1960>, lk. 169.

Новый театр и увлекаются творческими идеями его крупнейших представителей — К. Станиславского, В. Мейерхольда, А. Таирова и Е. Вахтангова.

Проводником идей русского Нового театра становится Пауль Сепп, который в 1920 г. оптировался из Советской России в Эстонию и стал режиссером Драматического театра. Деятельность этого замечательного режиссера и театрального педагога до сих пор должным образом не оценена. И Л. Рейман имела полное основание писать в своих воспоминаниях: «С этим человеком, по моему мнению, поступили несправедливо. Его заслуги, его вклад в развитие нашего сценического искусства — и именно в тот период (имеются в виду 1920-е гг. — В. Б., С. И.) — на самом деле заслуживают большего почтения и уважения, нежели то, что до сих пор выпадало на его долю... Он принес с собой свежие ветры и всколыхнул стоячую воду, он встряхнул нас, расшевелил в нас что-то новое, такое, что и нас самих стало живо интересовать. Заслугой Сеппа, конечно, было и то, что он, приехав из России, привез с собой хороший «багаж»».⁹¹

П. Сепп как актер и режиссер вырос на почве русского театра, которому он отдал почти 20 лет своей жизни. Он работал в знаменитых русских драматических коллективах — в суворинском Малом театре и в Театре В. Ф. Комиссаржевской, учился в театральной школе выдающегося русского актера Ю. Юрьева и сам называл своими учителями Н. Арбатова, А. Петровского и В. Мейерхольда.

Из русского театра П. Сепп, действительно, принес в эстонский много нового: и широкое использование музыки и световых эффектов для создания особого «настроения», и кое-какие принципы «условного театра» в актерской игре, и невиданное до тех пор в Эстонии мастерство в создании массовых сцен. Воспоминания современников доносят до нас яркие черты незаурядной личности П. Сеппа. Однако, как это ни странно, у нас до сих пор нет ясного представления о творческой системе П. Сеппа. Его называли создателем романтического или неоромантического театра в Эстонии (Я. Перт)⁹². Другие считали его безусловным сторонником системы К. Станиславского (Л. Рейман, Р. Кангро-Пооль)⁹³. Кстати, и сам П. Сепп субъективно считал себя учеником Станиславского и проводником его системы на эстонской сцене, хотя все, что мы знаем о методе работы П. Сеппа, заставляет усомниться в этом. Третьи вообще называют его эклектиком, который под видом «импрессионизма»

⁹¹ Liina Reiman. Lava võlus, lk. 165, 169.

⁹² См. Jaan Pert. Paul Sepp. Essee. <Tallinn>, 1931, lk. 10—11, 13—14.

⁹³ Liina Reiman. Lava võlus, lk. 169; Rasmus Kangro-Pool. Paul Sepp. — «Teater» 1935, nr. 7, lk. 257—258.

К. Станиславского давал, в сущности, «смесь мистицизма и метафизики, Евреинова и Мейерхольда»⁹⁴.

По-видимому, ближе всего П. Сеппу были искания В. Мейерхольда и Е. Вахтангова. Первого из них, как мы видели, П. Сепп сам называл своим учителем. О его симпатии к Е. Вахтангову свидетельствует тот восторг, с которым П. Сепп и его студийцы приняли гастроль в 1923 г. в Таллине Третьей студии МХТ с ее программным спектаклем «Принцесса Турандот». В литературе уже отмечалось, что постановки Е. Вахтангова П. Сепп считал едва ли не вершиной режиссерского мастерства и образцом для подражания⁹⁵.

Именно П. Сепп возбудил на эстонской сцене серьезный интерес к Л. Андрееву. 15 апреля 1921 г. он поставил на сцене Драматического театра «Жизнь человека» в переводе А. Адсона. Это был новаторский спектакль, справедливо оцененный современниками, как одна из лучших постановок Драматического театра вообще и П. Сеппа в частности.

Как можно предположить, известным образцом для П. Сеппа послужила постановка «Жизни человека» В. Мейерхольдом в петербургском Театре В. Ф. Комиссаржевской в 1907 г. При режиссерском прочтении пьесы П. Сепп учитывал, естественно, и требования самого автора, очень подробно изложенные в больших по объему и частых ремарках. «Главные достоинства этой пьесы — независимость от быта, национальности, времени, ее «нагруженность» мыслью и общечеловеческая идея, — отмечалось в объявлении «Театрального бюро», отражавшем точку зрения самого театра и, следовательно, постановщика. — «Жизнь человека» есть жизнь человека, которою играет и управляет судьба, все действующие лица здесь выступают только как люди, как носители идеи человека в плохом и в хорошем — и в первую очередь в человеческой мысли». В этой пьесе «гнетущее перемежается с гротеском, скорбь с идиллией, смешное с удручающим, трагическое с ироническим и комическим и т. д.»⁹⁶.

Любопытно, что в представлении П. Сеппа «Жизнь человека» Л. Андреева была близка к немецкой экспрессионистской драме, которая в те годы расценивалась как последнее слово театрального искусства, как наиболее полное проявление новейших тенденций в драматургии. «Как в современных модных пьесах («Газ», «Вечный человек», «Сын» и многих других) прямо отражается дух исканий нынешней эпохи, который хочет переделать мир в соответствии с желаниями человека и пока-

⁹⁴ P. Põldroos. Stanislavski ja eesti teater. Märkmeid minevikust ja tänapäevast. — «Sirp ja Vasar» 26. I 1952, nr. 4.

⁹⁵ Там же.

⁹⁶ Andrejevi «Inimese elu» esietendus Draamateatris. — «Päevaleht» 12. IV 1921, nr. 94.

зывает, куда мы должны стремиться придти, так и в «Жизни человека» отражается дух отчаяния предыдущей эпохи, который страждет под гнетом произвола судьбы, не находит выхода и показывает, куда мы пришли. И как первые, так и вторые представляют постановщику широкие возможности»⁹⁷.

Правда, рецензенты не согласились с этим. В. Меттус, который вообще отрицательно отнесся к пьесе, считал «Жизнь человека» не драмой, а лишь драматизированной кинолентой, где обрисованы только отдельные симптомы жизни человека⁹⁸. Х. Раудсепп также находил, что Л. Андреев не сумел раскрыть в пьесе глубинные тайны человеческого бытия и больше скользит по поверхности жизни. К тому же он считал художественным просчетом автора неожиданную смену сцен, выдержанных в символическом плане, реалистическими картинами⁹⁹. Но постановка П. Сеппа показалась всем рецензентам очень интересной.

И, действительно, это был спектакль, каких эстонский театр еще не знал. Он готовился долго и тщательно. Еще до начала спектакля зрители были предупреждены, что после первого удара гонга двери в зал будут закрыты — ход представления ничем не должен нарушаться. Поражало внешнее оформление спектакля: почти полное отсутствие декораций и обычных аксессуаров театральных подмостков, сцена обита однообразной черновато-серой материей, слабое освещение. «Рампы нет. Свет — блеклый, призрачный свет падает сверху, из одного только источника, — писал один из рецензентов. — На сцене полумрак, блик светового пятна, игра теней, вмещающая в себе жизненность и фантастичность <...> «Жизнь человека» идет в «полусукнах», в жутких, тускло освещенных сценических пространствах, так выпукло подчеркивающих своей почти мистической мертвенностью жизненность сценического действия»¹⁰⁰.

⁹⁷ Andrejevi «Inimese elu» esietendus Draamateatris. — «Päevaleht» 12. IV 1921, nr. 94. Между прочим, в начале 1920-х гг. в нашей критике и исследовательской литературе неоднократно сопоставлялись пьесы Л. Андреева с произведениями немецкого экспрессионизма — с «Газом» Г. Кайзера, с Э. Толлером и др. См. Б. В. Гиммельфарб. Георг Кайзер. — В кн.: Г. Кайзер. Коралл. Пьеса в 5 действиях. М., 1923, с. 3—9; Б. В. Гиммельфарб. Экспрессионизм. — «Красная нива», 1923, № 2, с. 29—30; К. В. Дрягин. Экспрессионизм в России (Драматургия Леонида Андреева). Вятка, 1928 [Труды Вятского пед. ин-та, т. 3, вып. 4], с. 51—52; А. И. Пиотровский. Эрнст Толлер и германский экспрессионизм. — В кн.: Э. Толлер. Человек — масса. Драма на тему социальной революции XX столетия. М.—П., 1923, с. 8.

⁹⁸ V. Mettus. L. Andrejevi «Inimese elu» Draamateatris. — «Päevaleht» 20. IV 1921, nr. 102.

⁹⁹ H. Raudsepp. Andrejevi «Inimese elu» Draamateatris. — «Vaba Maa» 27.—28. IV 1921, nr. nr. 108—109.

¹⁰⁰ А. Г. Эстонский театр. «Жизнь человека». — «Свободное слово», 28. IV 1921, № 10.

Причем все это не было самоцелью, а служило созданию определенного настроения, которое в свою очередь должно было помочь воспринять основную идею — трагическую неотвратимость судьбы. «Серыми холстами и световыми эффектами в серии многочисленных картин достигалось сверхсильное воздействие, — вспоминала Л. Рейман. — В наших условиях это в ту пору было редкостью, по крайней мере в столь удавшемся осуществлении»¹⁰¹.

«Вызывало интерес уже с самого начала появление из темноты Некто в сером. Он не отделялся от стены, как это обычно делается, а просто неожиданно оказывался там. Создавалось впечатление, будто его и не было и в то же время он был везде <...> Полной гнетущего настроения была сцена со старухами в первой картине», — писал В. Меттус¹⁰².

Во всем этом видна близость постановки П. Сепла к работе В. Мейерхольда. Она заметна (хотя и в меньшей степени) и в манере актерской игры, где тоже господствовало своего рода «оголение» и схематизация, контурность, преувеличение и заостренность, доведенные до гротеска. Это, впрочем, соответствовало авторскому замыслу. Л. Андреев писал К. Станиславскому: «В связи с тем, что здесь не жизнь, а только отражение жизни, рассказ о жизни, представление как живут — в известных местах должны быть подчеркивания, преувеличение, доведение определенного типа, свойства до крайнего его развития. Нет положительной, спокойной степени, а только превосходная. Если добр, то как ангел; если глуп, то как министр; если безобразен, то так, чтобы дети боялись. Резкие контрасты... Гости должны быть похожи на деревянных говорящих кукол, резко раскрашенных»¹⁰³.

По этому пути и стремились идти В. Мейерхольд и, видимо, П. Сепп. Любопытно однако, что это сознательное стремление постановщика к «оголенному» схематизму, «бездушию», преувеличению не всегда находило понимание даже таких опытных театральных критиков, как Х. Раудсепп и В. Меттус. Отсюда характерное недоумение В. Меттуса: «На этот раз, по моему мнению, в игре актеров — даже исполнителей главных ролей — нехватало главного, а именно — души, что, однако, удивительным образом почти вовсе не мешало»¹⁰⁴. Х. Раудсепп, справедливо отметив, что в игре актеров было заметно сознательное стремление к монотонности, гротеску, «неестественному преувеличению», все же хотел бы видеть большую индивидуализированность и детальность в обрисовке образа у исполнителей ролей «соседей», «наследников» и «родственников».

¹⁰¹ L. Reiman. Lava võlus, lk. 185.

¹⁰² «Päevaleht» 20. IV 1921, nr. 102.

¹⁰³ Ученые записки ТГУ, вып. 119, 1962, с. 382—383.

¹⁰⁴ «Päevaleht» 20. IV 1921, nr. 102.

В спектакле были заняты крупные актеры: роль Человека играл П. Пинна и Жены человека — Л. Рейман. «Оба были по-настоящему интересны, — писал Х. Раудсепп, — г-н Пинна больше привлекал своими артистическими способностями, г-жа Рейман интимностью чувств. Лучшее они показали в сценах второго акта, тонко отработанных»¹⁰⁵. И П. Пинна, и Л. Рейман были увлечены своими ролями. «Я редко видела Пинну столь вдохновенным как при исполнении роли Человека, в особенности во втором акте, — вспоминала Л. Рейман. — Он был так увлечен и воодушевлен, что <...> и мне прямо-таки хотелось подняться ввысь вместе с ним, полететь!»¹⁰⁶

Роль Некто в сером исполнял Э. Тюрк. В блестяще поставленных массовых сценах были заняты ученики Драматической студии — любимого детища П. Сеппа. Кстати, почти все критики единодушно отметили изумительную сыгранность и отточенность жестов, движений, мимики студийцев в этих сценах.

Любопытна оценка постановки П. Сеппа, данная рецензентом таллинской русской газеты «Свободное слово»: «Когда смотришь на постановки русского театра, забываешь, что ведь и в театре была революция, что и в театре поколеблены старые, уже давно сгнившие устои, что и театр тоже получил свою долгожданную свободу <...> А в «Жизни человека» видна умственная работа, не стесненная рамками закоснелых шаблонов, видно желание настоящего творчества, свободного творчества, не оглядывающегося назад, а все смотрящего вперед <...> П. Сепп пошел вразрез всем старым, свившим себе в Эстонии прочное гнездо театральным убеждениям <...>

Уже уходя из театра нам подумалось — да вот это настоящее русское искусство <...> Такое искусство ценно всегда и везде. Только такое искусство может иметь воспитательное значение, может оказать решающее влияние на развитие культурной жизни страны»¹⁰⁷.

Сохранились сведения, что в следующем театральном сезоне П. Сепп поставил «Жизнь человека» и в тартуском Русском театре¹⁰⁸.

Вслед за «Жизнью человека» П. Сепп в сезоне 1921/22 г. осуществил в Драматическом театре постановку еще двух пьес Л. Андреева — «Царь Голод» и «Океан». Они не вызвали столь большого резонанса, как первая постановка, хотя в них также было немало интересного.

Постановка «Царя Голода», показанная зрителям в конце 1921 г., была решена П. Сеппом примерно в том же ключе, что

¹⁰⁵ «Vaba Maa» 28. IV 1921, nr. 109.

¹⁰⁶ L. Reiman. Lava võlus, lk. 186.

¹⁰⁷ «Свободное слово», 28. IV 1921, № 10.

¹⁰⁸ Jaan Pert. Paul Sepp, lk. 23.

и «Жизнь человека». Это, конечно, связано с тем, что «Царь Голод» по своей художественной структуре близок к «Жизни человека», хотя в этой драме Л. Андреев идет еще дальше по пути абстрактной схематизации. «Царь Голод» Андреева — это серия аллегорических картин современного капиталистического общества. Драматизированная классовая борьба масс, которые состоят не из людей, а из «представителей» и персонифицированных идей: рабочие, голодные, буржуа, Голод, Время, Смерть. Людей нет, есть только силуэты. Драматического действия мало, вместо него показ сменяющих друг друга ситуаций, — писал Х. Раудсепп в рецензии на постановку, характеризуя пьесу в целом как малоудачную. — В конечном счете идея пьесы интересна и актуальна, есть отдельные интересные ситуации, детали, оптические иллюзии, но по своему содержанию эта пьеса — вещь очень механическая, для постановки ее больше необходим ремесленник, нежели художник»¹⁰⁹.

П. Сепп в этой постановке, умело используя музыку Б. Нэрэпа и прекрасные декорации А. Тууранда, вновь показал себя превосходным режиссером. По словам Х. Раудсеппа, он даже пытался вложить душу в спектакль. Как обычно, особенно удались постановщику массовые сцены, тем более, что для них пьеса давала благодатный материал. Как и при постановке «Жизни человека», П. Сепп много внимания уделил внешней стороне спектакля, его, так сказать, «театральности» — свету, гриму, маскам, костюмам актеров, — хотя, еще раз повторяем, это и не было для него самоцелью. Не случайно и рецензенты прежде всего обращали внимание на эти стороны постановки. Об исполнителе главной роли Царя Голода Юлиусе Пыдере один критик писал, что «артист всеми силами пытался вжиться в роль. В этом образе чувствовалось нечто сатанинское — и таков Царь Голод в действительности. Его черное одеяние с белой подкладкой имело символический смысл. И парик Мефистофеля (или я ошибаюсь?), и грим тоже оказывали воздействие на зрителя. Назовем еще г-на Э. Тюрка в роли Смерти, у которого была точно схвачена маска»¹¹⁰. Хорош был в роли Времени Вольд. Тоффер.

Однако в целом спектакль оказался слабее «Жизни человека» и не получил особого признания критики.

По двум известным нам рецензиям (из которых одна к тому же очень невелика по объему) трудно судить о постановке «Океана». Х. Раудсепп склонен был считать ее неудачной, хотя вину за это возлагал, в первую очередь, на автора драмы, а не на постановщика: «Своеобразие пьесы «Океан» в том, что

¹⁰⁹ H. Raudsepp. Leonid Andrejevi «Kuningas Nälga». — «Vaba Maa» 23. XII 1921, nr. 343.

¹¹⁰ H. J. «Kuningas Nälga» Draamateatris. — «Tallinna Teataja» 23. XII 1921, nr. 298.

по своим образам и содержанию она всячески стремится быть реалистической: здесь нет ни одного аллегорического образа, который должен был бы воплощать абстрактные идеи. Символичен в ней фон <...> Задача искусства здесь состоит в том, чтобы дать внешне убедительную реалистическую картину жизни, сущность которой, однако, наполнена глубоким мистическим содержанием. В «Океане» эта мистическая атмосфера местами очень плотна и впечатляюща, но реалистический фасад не в состоянии ее поддержать. В этом главная слабость пьесы. Она заставляет зрителя несколько раз менять «угол зрения» на протяжении спектакля, что дробит и ослабляет общее впечатление»¹¹¹. Разрешить это противоречие П. Сеппу, по мнению Х. Раудсеппа, не удалось, как не удалось добиться и стиливого единства в спектакле, хотя отдельные сцены и были впечатляющими да и игра многих актеров (Э. Тюрк—Хаггарт, А. Лийк — Хорре, Х. Вакс — аббат и др.) не вызывала нареканий.

В то же время рецензент местной немецкой газеты отзывался о спектакле вполне положительно и даже считал, что сам выбор пьесы театром удачен, ибо основная ее проблема — столкновение двух миров: вольных обитателей океана и мелочных ограниченных жителей приморья — очень интересно представлена Л. Андреевым. Рецензенту также понравилась игра Э. Тюрка и А. Лийка.^{111a}

Нельзя не отметить, что зрителями, собравшимися на премьеру 12 мая 1922 г., постановка была встречена если не восторженно, то, по крайней мере, в высшей степени одобрительно: как признавали и рецензенты, рукоплескания зрителей, высоко оценивших работу постановщика, были очень искренними и живыми. Это же заставляет несколько усомниться в полной справедливости той критической оценки, которую дал спектаклю Х. Раудсепп.

Вообще следует сказать, что с 1922 г. ведущие эстонские театральные критики очень сурово относятся к пьесам Л. Андреева, считая их устарелыми и находя в них множество недостатков. Но это не мешает театрам вновь и вновь обращаться к драматургии Л. Андреева, и, судя по всему, она пользуется успехом у зрителей. Достаточно, например, сказать, что спектакль «Тот, кто получает пощечины», поставленный А. Лаутером в 1922 г. в «Эстонии», выдержал 10 представлений. Пьесы Л. Андреева ставили и маленькие провинциальные театры, крайне редко обращавшиеся к русской драматургии. Так, на сцене вырусского «Каннэль» за весь буржуазный период было

¹¹¹ H. R(audsepp). Draamateater. Leonid Andrejevi «Ookean». — «Vaba Maa» 15. V 1922, nr. 110.

^{111a} -rr. Estnisches Drama-Theater. «Der Ozean» von Leonid Andrejew. — Beilage des «Revaler Boten», 20. V 1922, Nr. 111.

поставлено всего 3 пьесы русских авторов. Из них самым примечательным спектаклем было представление в 1928 г. «Жизни человека» Л. Андреева.

Постановка «Того, кто получает пощечины» в «Эстонии» в декабре 1922 г. не была чем-то выдающимся, но это был хороший, добротный сделанный спектакль, который пользовался успехом у зрителей. Этому способствовала и пьеса. «Сегодня в первый раз на эстонской сцене ставится «Тот, кто получает пощечины», — отмечалось в объявлении «Театрального бюро». — Это наиболее сценичное произведение Леонида Андреева, интересное от начала до конца благодаря живому действию и хорошо обрисованным образам. Они привлекут внимание даже тех зрителей, которые пройдут мимо психологического подтекста пьесы и не поймут ее идейного содержания»¹¹².

«В постановке А. Лаутера удачно найден основной тон. Реальному с легким налетом символизации миру пьесы, которому цирковое окружение придает гротескный комизм и легкую фантастику, что и делает этот трагикомический мир особенно близким атмосфере театра, — всему этому в постановке нашлась надлежащая выразительность и динамичная живая игра», — писал Х. Раудсепп¹¹³.

Удачно справились со своими ролями и исполнители, хотя опять же выдающихся достижений в их игре не было. А. Лаутер выступал «в заглавной роли вполне корректно, часто хорошо, изобретательно, но порою слишком чувствовалась игра, <...> было много внешнего, а хотелось бы видеть большее живяние в роль, меньше внешних деталей», — отмечал А. Адсон¹¹⁴. Эрне Вильмер, пожалуй, нехватало наивности, хотя в целом роль Консуэллы была исполнена ею хорошо. Особенно же удачны были Х. Лаур — директор цирка и Х. Парис — граф Манчини.

25 февраля 1923 г. эту же драму Л. Андреева в нарвском театре «Выйтлея» поставил Эд. Лемберг, кстати, в свое время — правда, недолго — входивший в труппу МХТ. Он же исполнял роль Тота. Судя по отзывам рецензентов, постановка оказалась малоудачной, хотя чувствовалось, что режиссером была проделана большая работа.^{114а}

В феврале 1924 г. пярнуский театр «Эндла» поставил драму

¹¹² «Estonia» teater. Täna esietendus. — «Päevaleht» 12. XII 1922, nr. 308.

¹¹³ H. Raudsepp. Andrejevi «Too, kes saab kõrvahoope». — «Vaba Maa» 15. XII 1922, nr. 293.

¹¹⁴ A. Adson. «Too, kes saab kõrvahoope». Leonid Andrejevi näidend 4as vaatuses. — «Päevaleht» 14. XII 1922, nr. 310.

^{114а} J. K. «Too, kes saab kõrvahoope». «Võitleja» näitejuhi hra Ed. Lembergi tuluõhtu puhul. — «Põhja Kodu» 1. III 1923, nr. 24; A. G. «Too, kes saab kõrvahoope» «Võitlejas». — «Uus Põhja Kodu» 1. III 1923, nr. 12.

Л. Андреева «Океан» (постановщик — А. Лийк, он же исполнял роль Хорре). «Во всяком случае постановка «Океана» Л. Андреева вносит интересное разнообразие в серию легких комедий в репертуаре нашего театра», — писал рецензент местной газеты¹¹⁵.

В том же году валгаский любительский театр «Сяде» поставил под руководством К. Треумундта «Дни нашей жизни» Л. Андреева. И опять же спектакль встретил понимание и признание зрителей¹¹⁶. Менее удачной была постановка «Жизни человека» в апреле 1924 г. в нарвском Эстонском театре (постановщик — Й. Ханзинг). Но отдельные сцены — в частности сцена смерти Человека, как и вообще последний акт, — и здесь были представлены интересно¹¹⁷.

В марте 1928 г. Эд. Лемберг вновь поставил на этот раз в вильяндиском театре «Угала» драму Л. Андреева «Тот, кто получает пощечины». Постановщик исполнял в спектакле и роль главного героя — клоуна Тота. Критика отмечала удачную игру ряда актеров (А. Фельдманн — Консуэлла, А. Тамм — Зиннида, А. Мяльтон — граф Манчини и др.), оригинальные декорации художника Х. Тамма¹¹⁸. «Представление в целом получилось... Вечер в театре запомнился», — писал один из рецензентов¹¹⁹.

Как мы уже отмечали, в 1928 г. вырусский любительский театр «Каннэль» поставил «Жизнь человека». Это была еще невиданная в театральной жизни Выру постановка — в ней участвовало 50 любителей, на роль Человека был приглашен актер Передвижного театра К. Ясмин. Артисты под руководством Э. Бергманна как никогда до этого тщательно готовились к премьере и спектакль получился по провинциальным меркам впечатляющим¹²⁰.

В марте 1930 г. театр «Эндла» показал драму Л. Андреева «Тот, кто получает пощечины» (постановщик и исполнитель роли Тота — В. Лаасон, Консуэлла — Нымтак, граф Манчини — Ал. Тээтсов, Зиннида — Х. Соопер)¹²¹.

¹¹⁵ M. L. Leonid Andrejevi «Ookean» Endlas. — «Pärnu Postimees» 14. II 1924, nr. 38.

¹¹⁶ См. -er. «Meie elupäevad» «Säde» teatri ettekandel. — «Lõuna Eesti» 26. IV 1924, nr. 31.

¹¹⁷ См. L. Andrejevi «Inimese elu» Eesti teatris. — «Põhja Kodu» 24. IV 1924, nr. 47.

¹¹⁸ J. K. Lembergi tuluõhtu «Ugalas». «Too, kes saab kõrvahoope». — «Sakala» 27. III 1928, nr. 40.

¹¹⁹ Ed. Lembergi auõhtu. — «Oma Maa» 27. III 1928, nr. 38.

¹²⁰ Suurem lavastus «Kandles». — «Võru Teataja» 21. IV 1928, nr. 44; Leonid Andrejevi «Inimese elu». Esietendus «Kandle» laval. — «Võru Teataja» 24. IV 1928, nr. 45.

¹²¹ Об этом спектакле см.: K. N. Too, kes saab kõrvahoope. L. Andrejevi näidend V. Laasoni tuluõhtul «Endlas». — «Pärnu Päevaleht» 18. III 1930, nr. 63; K. «Endla» teater. V. Laasoni lavategevuse 15 a. juubel. — «Vaba Maa» Pärnu väljaanne 18. III 1930, nr. 64.

Конечно, все эти постановки скромных провинциальных коллективов не были чем-то выдающимся в театральной жизни Эстонии тех лет. Но все же тот факт, что из дореволюционных русских драматургов именно Л. Андреев вышел на первое место по количеству постановок на эстонской сцене, более чем показателен.

Любопытно, что в эти годы к пьесам Л. Андреева часто обращались и рабочие театры. Так, в 1928 г. возглавляемый А. Сяревом Пярнуский рабочий театр осуществил постановку «Жизни человека» и «Царя Голода». Этот, по существу, любительский театр работал в очень тяжелых условиях. Тем более достойны внимания и уважения его усилия: обе пьесы Л. Андреева, как известно, весьма сложные для постановки, были представлены вполне удовлетворительно. Это признавал даже театральный критик буржуазной газеты «Ваба Маа», рецензировавший «Жизнь человека». Он отмечал удачное исполнение целого ряда ролей в спектакле (Отец Человека, Жена Человека; да и в исполнении роли самого Человека были моменты, способные доставить зрителю истинное удовольствие).^{121a}

Еще более любопытна была постановка «Царя Голода». Постановщик А. Сярев трактовал пьесу как трагедию масс, революционную по своему смыслу: в андреевской драме он увидел прежде всего яркую, резкую по тону картину нищеты и страданий трудящихся масс, их стремление революционным путем завоевать потерянные права, которое невозможно уничтожить. Эту основную идею, если верить рецензенту,^{121b} А. Сярев сумел донести до зрителя.

В спектакле особенно поражало сценическое оформление: художник Хантсов использовал и декорации для того, чтобы более рельефно подчеркнуть идею спектакля. Он смело вынес на сцену в качестве деталей оформления настоящие машины и моторы.

Из исполнителей рецензент выделил Сильдера в роли Смерти. Удачны были и А. Сярев — Царь Голод, Ялас — Первый рабочий, Пааль — Поэт из рабочих. Наибольшее впечатление в спектакле оставляло третье действие — сцена суда над голодными, полная ядовитой иронии. Зрители с большим интересом следили за ходом спектакля.

В сезоне 1928/29 г. на специальных утренних представлениях Таллинского Рабочего театра 4 раза ставился отрывок из «Жизни человека» Л. Андреева. Второе действие «Жизни человека» под названием «Любовь и бедность» включалось в программу

^{121a} Leonid Andrejevi «Inimese elu» Pärnu Töölisteris 30 apr. — «Vaba Маа» Pärnu väljaanne 3. V 1928, nr. 94.

^{121b} N. A. «Kuningas Nälg». L. Andrejevi näidend 5 pildis proloogiga Pärnu Töölisteris esietendusel. — «Rahva Sõna» Pärnu väljaanne 26. X 1928, nr. 22.

утренних спектаклей и Тартуского рабочего театра в начале 1929 г. Некоторые из них шли в помещении «Ванемуйне». Этот несколько неожиданный интерес рабочих театров к драматургии Л. Андреева еще раз показывает, что она не воспринималась и в послереволюционную пору как реакционная.

Серьезное освоение драматургического наследия Л. Андреева эстонским театром в 1920-е гг. начал и завершил все тот же П. Сепп. В 1930 г. он поставил в театре «Драматическая студия» пьесу Л. Андреева «Мысль», которая еще не шла на эстонской сцене. Для создания «настроения» П. Сепп опять широко применил в этой постановке световые эффекты. На сцене господствовала темнота. Луч прожектора, установленного на балконе, освещал лишь говорящего и следовал за его передвижениями по сцене, в то время как все окружающее тонуло во мраке. Время от времени темноту сцены пронизывали еще лучи других прожекторов, установленных прямо на потолке, они то вспыхивали, то погасали. «Это беспрестанно передвигающееся, беспокойное освещение создает до известной степени впечатление мелькающей киноленты, и резкие переходы от света к тени своеобразно подчеркивают патологичность хода мысли в болезненно-воспаленном мозгу Керженцева», — писал один рецензент¹²².

Что касается игры актеров, то она была выдержана в духе углубленного психологизма. Критика единодушно выделили в постановке исполнителя центральной роли доктора Керженцева Рудольфа Клейна (Р. Тармо), «сильного в выражении страданий своего героя и той таинственности, с которой его мысль вынашивала великое преступление. Особенно мастерски, мощно, художественно убедительно и правдиво, до боли захватывающе играл он в двух последних картинах, где исполненный глубоких сомнений герой пытается выяснить, здоров он или сошел с ума, — писал известный эстонский театральный критик Р. Кангро-Пооль. — В отображении кричаще глубокой, убийственной душевной драмы Клейн большой мастер, и это-то было крупнейшим плюсом спектакля»¹²³.

В целом удачен был А. Мяги в роли Савелова. Ли Ласнер в роли Татьяны Николаевны сумела передать ту внутреннюю настороженность, которая не покидает героиню, предчувствующую неизбежную катастрофу.

Столичные критики очень холодно отнеслись к постановке П. Сеппа. Причем их, в первую очередь, не удовлетворила сама пьеса, казавшаяся безнадежно устаревшей. «Л. Андреев — один

¹²² Е. Г. <ригорьева>. Драматическая студия. «Мысль» Л. Андреева. — «Вести дня», 8. I 1931, № 7.

¹²³ R. Kangro-Pool. «Mõte» Draamastuudios. — «Päevaleht» 8. I 1931, nr. 7; Ср.: R. J. «Mõte». Leonid Andrejevi draama 5 pildis. Draamastudio külastäguetendus «Vanemuises». — «Postimees» 30. XI 1930, nr. 326.

из тех писателей, который со всей своей символикой и мистикой сегодня должен быть сдан в архив историков литературы, вытаскивать его оттуда вряд ли стоит — это не пойдет на пользу автору», — прямо писал А. Адсон¹²⁴. Р. Кангро-Пооль тоже находил выбор пьесы неудачным: болезненно-символистский дух андреевской «Мысли», ее идея, далекая от конкретных запросов современной жизни, все эти переходы от психологии к патологии, считал он, чужды и далеки. «Наша жизнь ищет четко очерченных контуров, которые привлекают своей простотой. Символизм и болезненное ковыряние в темных уголках души чуждо сегодняшнему дню. Лишь немногие способны вдаваться во все тонкости этих проблем, но и они, как и массы людей, не хотят сейчас заниматься ими, — утверждал Р. Кангро-Пооль. — Поэтому когда смотришь пьесу, остается привкус чего-то чуждого... Нудная болтовня-расследование в темноте — и только»¹²⁵.

А. Адсона, Р. Кангро-Пооля и О. Курмисте не удовлетворила и постановка, к игре со светом режиссера они отнеслись иронически. И тут тоже была своя закономерность: еще лет десять тому назад всё это казалось новинкой, теперь же стало привычным, как и многое другое. *Temproga altri...*

Впрочем, критики — представители элиты, любившие пооригинальничать и идти впереди прогресса, ошиблись, ожидая полного провала пьесы. Их иронический скепсис относительно того, как необычная постановка П. Сеппа будет встречена в провинции, оказался необоснованным. «Драматическая студия», бывшая в это время передвижным театром, вначале показала «Мысль» в провинции во время гастролей в конце 1930 г. И там постановка пользовалась большим успехом, о чем свидетельствовали единодушные отзывы провинциальной печати.

1 декабря 1930 г. «Драматическая студия» представила «Мысль» в Выру. Рецензент местной газеты «Элу» Э. Бергман высоко отозвался как о постановке П. Сеппа, так и о самой пьесе. Э. Бергман писал: «Андреев — глубокий мыслитель, и он не может успокоиться до тех пор, пока не найдет ответа на мучающие его «проклятые» вопросы. Большие беспокойные вопросы душевной жизни нашли в Андрееве своего выразителя во всей их полноте. Над самыми страшными религиозными, политическими и общественными вопросами размышляет Андреев,

¹²⁴ Ar. Adsony. «Mõte». — «Vaba Maa» 8. I 1931, nr. 6. Ср. отзыв О. Курмисте, который назвал пьесу бессмыслицей и иронически спрашивал, зачем театру вздумалось ставить именно эту — слабейшую пьесу Л. Андреева: «Вероятно, директор театра нашел в ней средство хоть в какой-то мере удовлетворить свою страсть к символизму, но стоит ли ради этого наказывать публику?» (Oskar Kurmiste. «Mõte» või mõttetud? Leonid Andrejev Paul Seps käes. — «Rahva sõna» 8. I. 1931, nr. 4).

¹²⁵ «Päevaleht» 8. I 1931, nr. 7.

каждый вопрос мучает его, вызывает в нем возражения, поражает его с той стороны, мимо которой другие спокойно проходят мимо <...> Не потому ли так сильно привлекают нас его пьесы, вызывая восхищение одних, презрение других». ^{125a}

«Но те, кто, может быть, не были удовлетворены самым произведением, могли наслаждаться интересной постановкой и мастерской продуманной игрой актеров. Очень интересно и изобретательно использовались на сцене, например, световые эффекты, — писал рецензент раковерской газеты «Вирумаа Тэатая». — Некоторые моменты в этой постановке (сцена с зеркалом и пр.) вызывали самое чистое театральное наслаждение, которое так быстро не забывается <...> В общем, исполненный настоящего искусства и богатый впечатлениями вечер. Много публики. Живые аплодисменты» ¹²⁶. Так воспринимала постановку провинциальная публика.

Эстонские зрители 1920-х — начала 1930-х гг. могли знакомиться с пьесами Л. Андреева и по многочисленным спектаклям таллинского Русского театра и, в особенности, по гастрольным представлениям других коллективов. Особо надо отметить ежегодные гастроли Рижского театра, в ту пору одного из лучших русских театральных коллективов за границей, блиставшего сильным актерским составом. Представления Рижского театра охотно посещались эстонскими зрителями и, по утверждению знатоков, даже оказали влияние на развитие эстонского театрального искусства ¹²⁷. Между тем, в его репертуаре были почти все пьесы Л. Андреева.

Приведенные факты дают нам полное основание повторить, что в сложном процессе развития эстонского театра в 1920-е гг. драматургия Л. Андреева сыграла определенную роль.

6

В 1920-е гг. Л. Андреева знали почти исключительно как драматурга. Переводы прозаических произведений были единичны и случайны. Появилось несколько переводов маленьких произведений («Смех», «Ангелочек»), ранее уже многократно напечатанных; сатирический журнал «Кратт» дважды под разными названиями публикует сценку из раннего фельетона Л. Андреева «Русский человек и железная дорога» ¹²⁸. Из новых

^{125a} E. Bergman. «Mõte». — «Elu» 3. XII 1930, nr. 95. Cp. более сдержанный отзыв: -п. «Mõte». — «Võru Teataja» 4. XII 1930, nr. 138.

¹²⁶ «Virumaa Teataja» 16. XII 1930, nr. 142. Cp.: -um. «Mõte». Paul Sepa lavastusel. — «Virulane» 16. XII 1930, nr. 143.

¹²⁷ Cm. Artur Adson. Riia Vene teatri osa Eestis. — «Teater» 1935, nr. 1, lk. 25—26.

¹²⁸ L. Andrejev. Vagunis. Vene keelest. — «Krat» 1927, nr. 20, lk. 159; Raudteerongil. Leonid Andrejevi järgi E. J. — «Krat» 1931, nr. 24, lk. 189—191.

переложений рассказов можно лишь отметить напечатанный в журнале «Коду» хороший перевод «Бен—Товита»¹²⁹.

Зато отдельными изданиями в очень хороших переводах вышли две его пьесы: в 1923 г. «Океан» в переводе Юхана Цейгера и в 1927 г. «Жизнь человека» в переводе Артура Адсона. К этому можно добавить перевод одноактной сатирической пьесы Л. Андреева «Конь в сенате», напечатанный в 1924 г. в приложении к газете «Пяэвалехт»¹³⁰.

В 1930-е гг. появилось лишь три незначительных перевода¹³¹.

И в Советской Эстонии творчество Л. Андреева долгое время было в забвении. Лишь в 1959 г. в Таллине был издан небольшой сборник, в который вошли, в основном, ранние реалистические рассказы писателя.

В самое последнее время можно отметить некоторое усиление интереса к творчеству Л. Андреева в Эстонии. Эстонское телевидение показало две его сатирические миниатюры «Прекрасные сабинянки» и «Любовь к ближнему». В сезоне 1970/71 гг. Русский драматический театр Эстонской ССР в Таллине поставил пьесу «Тот, кто получает пощечины». В ноябре 1971 г. тартуский театр «Ванемуйне» создал своеобразный спектакль по мотивам пьесы Л. Андреева «Тот, кто получает пощечины». Это представление, осуществленное группой молодых артистов театра под руководством режиссера Э. Хермакюла, имело ясно выраженный экспериментальный характер. В 1973 г. издательство «Ээсти раамат» выпустило в новых переводах сборник рассказов и повестей Л. Андреева.

Таков в самых общих чертах процесс рецепции творчества Л. Андреева в Эстонии.

¹²⁹ L. Andrejev. Ben Tovit. — «Kodu» 1923, nr. 13, lk. 405—406.

¹³⁰ Hobune senatis. Leonid Andrejevi vaudeville Rooma elust ühes vaatuses. — «Nädal». «Päevalehe» piltidega erileht 26. V 1924, nr. 7, lk. 3, 7.

¹³¹ Leonid Andrejev. Ettevaatamatus. — «Romaan» 1934, nr. 19, lk. 577—579; L. Andrejev. Hiiglane. — «Eesti Noorus» 1936, nr. 4, lk. 110—111; Kaks kirja. Leonid Andrejevi seni ilmutata teosest. — «Nädal pildis» 1940, nr. 7, lk. 173—174; nr. 8, lk. 201—202.

ПЛЕХАНОВ И ТЭН

(по материалам плехановских трудов 1890-х гг.)

М. И. Марди

Идеи французского ученого-позитивиста Ипполита Тэна оказали значительное воздействие на всю европейскую эстетическую науку XIX века. Однако в обширной исследовательской литературе, посвященной научным взглядам Тэна¹, мы не находим специальных работ, освещающих рецепцию его теоретической системы русской литературно-эстетической мыслью. В частности, не подвергалась до настоящего времени детальному рассмотрению проблема «Плеханов и Тэн». Несмотря на то, что в исследованиях об эстетике Г. В. Плеханова названная проблема ставилась неоднократно², о сколь-либо удовлетвори-

¹ См.: M. Reymond. L'esthétique de Taine. P., 1883; de A. Margerie. H. Taine. P., 1894; E. Droz. Trois leçons sur l'Histoire de la littérature anglaise. — «Revue des Cours et Conférences.» P., 1895; V. Giraud. Essai sur Taine, son oeuvre et son influence. P., 1901; F. Brunetière. L'oeuvre critique de Taine. — «Revue des deux monde», septembre, 1902; P. Lacombe. La psychologie des individus et des sociétés chez Taine, historien des littératures. P., 1906; R. J. Desthieux. Taine, son oeuvre. P., 1923; J. M. Guyaux. L'art au point de vue sociologique. P., 1923; V. Giraud. Hippolyte Taine. Etudes et documents. P., 1928; D. D. Rosca. L'influence de Hegel sur Taine, theorien de la connaissance et de l'art. P., 1928; A. Chevrillon. Taine, formation de sa pensée. P., 1932; A. Chevrillon. Portrait de Taine. P., 1958; J. Zeitler. Die Kunstphilosophie von Taine. Lpz., 1901; J. Schlaf. Kritik der Taineschen Kunsttheorie. Wien, 1906 и др. См. также на русском языке: В. И. Герье. Метод Тэна в литературной и художественной критике. — «Вестник Европы», 1889, № 9; В. Арсеньев. Тэн. — «Вестник Европы», 1894, № 4; Ив. Иванов. Тэн. — «Русское богатство», 1895, № 1—4; Л. Зивельчинская. Опыт марксистского анализа истории эстетики. М., 1928; Анри Барбюс. Ипполит Тэн и литература XIX века. — «Интернациональная литература», 1940, № 1; С. Моравский. Концепция искусства Тэна и буржуазная эстетика. — В сб.: О современной буржуазной эстетике. М., 1965.

² См.: Л. Зивельчинская. Опыт марксистского анализа истории эстетики. М., 1928, с. 262—263; М. А. Яковлев. Плеханов как методолог литературы. Л.—М., 1928, с. 97—123; В. А. Фомина. Философские взгляды Г. В. Плеханова. М., 1953, с. 212, 337; Б. И. Бурсов. Плеханов. — В кн.: История русской критики. Т. II, М.—Л., 1958, с. 522; П. А. Николаев. Эстетика и литературные теории Г. В. Плеханова. М., 1968; с. 29—30, 51; его же. Возникновение марксистского литературоведения в России. М., 1970, с. 88—89 и ряд др. работ.

тельном решении даже частных ее аспектов говорить пока нельзя. Всем без исключения работам, в той или иной мере затрагивающим ее, присущи два момента, во многом снижающие научную ценность исследования. Во-первых, принципы эстетики Тэна рассматриваются в них безотносительно к соответствующему научно-историческому контексту: подчеркивается, как правило, философская ограниченность французского ученого, обусловленная домарксистской эпохой, и замалчивается тот значительный вклад, который он внес в научную мысль своего времени. Вследствие этого эстетика Тэна предстает в виде сплошной цепи идеалистических заблуждений, оказавших как на Плеханова, так и на других представителей ранней марксистской литературной критики и эстетики исключительно негативное воздействие. При этом рациональность усматривается только в критическом аспекте обращения Плеханова к Тэну. Во-вторых, исследователи, освещая проблему «Плеханов и Тэн», рассматривают плехановские труды суммарно, игнорируя тем самым эволюцию решения данного вопроса в работах разных периодов. Последнее лишает как постановку, так и решение проблемы должной определенности.

В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть рецепцию теоретической системы Ипполита Тэна Плехановым на первом этапе этой рецепции — в 1890-е гг., а также проследить ее влияние на плехановские поиски в области историко-материалистической методологии критики и науки об искусстве. Попутно будет кратко освещен вопрос о рецепции воззрений Тэна в русской критике и эстетике последних десятилетий прошлого века.

В 1890-е гг. Г. В. Плеханов пишет ряд работ, посвященных пропаганде и популяризации учения Карла Маркса. Здесь, наряду с другими важными теоретическими проблемами, он детально анализирует такие узловые моменты исторического материализма, как соотношение общественного бытия и общественного сознания, сущность и взаимодействие различных форм общественного сознания: искусства, морали, религии и пр.³ Некоторые частные аспекты названных проблем решаются Плехановым на материале литературы и искусства, трактуемые им как конкретные формы общественного сознания. Определяющее значение имело то обстоятельство, что в эти годы Плеханов

³ См.: Очерки по истории материализма, 1892—1893, опубликовано впервые на немецком языке, см.: G. Plekhanov. Beiträge zur Geschichte des Materialismus. Stuttgart, 1896; К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. СПб., 1894; Несколько слов в защиту экономического материализма. — «Русская мысль», 1897, № 9; О материалистическом понимании истории. — «Новое слово», 1897, № 12; К вопросу о роли личности в истории. — «Научное обозрение», 1898, № 3—4; Письма без адреса. — «Научное обозрение», 1899, № 11 и 1900, № 3, 6.

приступает к решению проблем методологии критики и эстетики, опирающейся на исторический материализм. Значительную роль играла также активизация в 1890-х гг. идеалистической литературно-эстетической мысли, задачам борьбы с которой подчинены некоторые важные методологические работы Плеханова.

Ученица и соратница Г. В. Плеханова, философ и литературовед Л. И. Аксельрод (1868—1946) пишет в своих воспоминаниях: «Занимаясь искусством и разработкой художественных течений в русской литературе, Георгий Валентинович носился с мыслью подвергнуть исследованию эту великую отрасль человеческой культуры с материалистической точки зрения. Приступил же он к этой работе с полной определенностью в начале 1890-х годов»⁴. В эти годы Плеханов расходует много сил и времени на изучение взглядов всех наиболее выдающихся представителей науки об искусстве. Однако «отвлеченная метафизическая эстетика, ставящая проблему о красоте в себе, мало что могла дать теоретику исторического материализма»⁵, поэтому особое внимание Плеханова привлекают эстетические теории, содержащие идеи материализма. Среди последних, как известно, культурно-историческая эстетика Ипполита Тэна занимает в домарксистской науке одно из наиболее значительных мест.

Впервые Плеханов обращается к воззрениям Тэна в 1892—1893 гг. в работе «Очерки по истории материализма» (опубликовано в 1896 г. на немецком языке). До этого времени имени Тэна мы в плехановских трудах не встречаем. На протяжении 1890-х гг. Плеханов не дает развернутого философского анализа теории и сочинений Тэна, идеи его не соотносятся с позитивизмом в целом, не уделяется внимания также социально-политическим взглядам французского ученого. Однако как общественно-философские, так и теоретико-эстетические труды Плеханова 1890-х гг. обнаруживают хорошее знание идей Тэна, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на его теоретические положения, подкрепляемые зачастую цитатами из его сочинений.

Об объеме обращения Плеханова в 1890-е гг. к идеям и сочинениям Тэна мы получим наглядное представление, если рассмотрим ряд количественных показателей по тексту двух плехановских работ — «Очерков по истории материализма» и «Писем без адреса». Наш выбор обусловлен тем обстоятельством, что в творчестве Плеханова рассматриваемого периода теоретические воззрения Тэна получили наибольшее отражение именно в этих произведениях. Так, в «Очерках по истории мате-

⁴ Л. И. Аксельрод. Об отношении Г. В. Плеханова к искусству, по личным воспоминаниям. — «Под знаменем марксизма», 1922, № 5, с. 19.

⁵ Там же.

риализма» (III. «Маркс», в первых двух очерках Плеханов не обращается к Тэну) Плеханов упоминает имя Ипполита Тэна 20 раз, в том числе 16 раз в тексте и 4 раза в подстрочных замечаниях. В этой работе Плеханов 5 раз цитирует текст сочинений Тэна: 4 раза в тексте и 1 раз под строкой. В «Очерках по истории материализма» цитируются исключительно «История английской литературы»⁶ и «Философия искусства»⁷: первая из них дважды⁸, вторая — трижды⁹. Среди цитат имеется весьма пространная выписка из «Философии искусства», занимающая во французском оригинале три страницы¹⁰. В «Письмах без адреса» (речь идет о Первом письме, написанном в 1899 г., в следующем письме мы имени Тэна не встречаем) Плеханов упоминает имя Тэна 25 раз, в том числе 20 раз в тексте и 5 раз под строкой. Сочинения французского ученого цитируются здесь 5 раз: один раз — «Путешествие по Пиренеям» (приводится весьма пространная выписка)¹¹, дважды — «Философия искусства»¹² и дважды — «Путешествие по Италии»¹³. В других произведениях 1890-х гг. Плеханов обращается к воззрениям Тэна в меньшей мере.

Для Плеханова самое главное в трудах Тэна — материалистическая идея — «история искусства определяется историей общества». В плехановских работах — «Очерках по истории материализма», «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «В защиту экономического материализма», «К вопросу о роли личности в истории» — освещаются общие контуры идеи социальной детерминированности искусства в важнейших трудах Тэна «История английской литературы» и «Философия искусства». При этом, с одной стороны, тэновская концепция социальной обусловленности искусства сопоставляется Плехановым с аналогичными идеями его предшественников

⁶ См.: H. Taine. Histoire de la littérature anglaise. I ed. -P., 1864.

⁷ См.: H. Taine. Philosophie de l'art. I ed. — P., 1882. — Основой этого произведения являются лекции, прочитанные II. Тэном в École Beaux-arts и изданные ранее пятью отдельными книгами: De la nature de l'oeuvre. P., 1866; La philosophie de l'art en Italie. P., 1867; De l'idéal dans l'art. P., 1868; Philosophie de l'art dans les Pays-Bas. P., 1868; Philosophie de l'art en Grèce. P., 1869.

⁸ См.: Г. В. Плеханов. Собрание сочинений (в дальнейшем: СС). Т. VIII, М., 1923, с. 164 и 165. В этой работе Плеханов пользовался 8-м изданием «Histoire de la littérature anglaise». P., 1889.

⁹ См.: Г. В. Плеханов. СС. Т. VIII, с. 157, 162, 162—163. В этой работе Плеханов пользовался 5-м изданием «Philosophie de l'art». P., 1890.

¹⁰ См.: Г. В. Плеханов. СС. Т. VIII, с. 162—163.

¹¹ См.: Г. В. Плеханов. Литература и искусство. (в дальнейшем: ЛИ). Т. I, М., 1958, с. 21. См. также: H. Taine. Voyage aux eaux des Pyrénées. I. ed. — P., 1855. Начиная со второго издания, название этого произведения изменилось. Плеханов пользуется пятым изданием «Путешествия по Пиренеям». См.: H. Taine. Voyage aux Pyrénées. P., 1873.

¹² См.: Г. В. Плеханов. ЛИ. Т. I, с. 34.

¹³ См.: там же, с. 35—36 (подстрочная цитата) и 36. См. также: H. Taine. Voyage en Italie. P., 1872.

(Гизо, m-me де Сталь, Сент-Бев и др.): «В 1800 году появилась книга госпожи де Сталь-Гольштейн: *De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales*. При реставрации и при Луи-Филиппе Вильмен, Сен-Бев и многие другие во всеуслышание заявили, что *литературные революции* (здесь и далее курсив Г. В. Плеханова — М. М.) возникают только вследствие *социальной революции*. <...> Наконец, чтобы чрезмерно не увеличивать этих примеров, укажем еще только, что выдающийся критик и историк литературы И. Тэн, в качестве основного принципа своей научной эстетики, выставил следующее правило: *«Крупные изменения, происходящие в отношениях между людьми, постепенно производят соответствующие изменения и в человеческих мыслях.»* Казалось бы этим совершенно разрешен вопрос и указан путь для научной истории литературы и изящных искусств.»¹⁴ С другой же стороны, Плеханов сравнивает материализм тэновской концепции искусства с историко-материалистическим взглядом на развитие и взаимодействие общественного бытия и общественного сознания: «Со всем этим безусловно согласится любой последователь Маркса: да, именно всякое художественное произведение, как и любую философскую систему, можно объяснить состоянием умов и нравов данного времени. Но чем объясняется это общее состояние умов и нравов? Последователи Маркса думают, что оно объясняется общественным строем, свойствами социальной среды. «Всякое изменение в положении людей ведет к изменению в их психике», — говорит все тот же Тэн. И это справедливо. Спрашивается только, чем же вызываются изменения в положении общественного человека, т. е. в общественном строе? Только по этому вопросу «экономические материалисты» расходятся с Тэном.»¹⁵

В статьях цикла «Судьбы нашей критики» («А. Л. Волынский. Русские критики», «Литературные взгляды В. Г. Белинского», 1897 г.) и в «Письмах без адреса» (1899—1900) наблюдается более глубокое проникновение Плеханова в собственно эстетические концепции Тэна, уделяется внимание конкретным методологическим принципам культурно-исторической эстетики. В «Письмах без адреса», посвященных материалистическому обоснованию происхождения и общественной роли искусства, Плеханов ссылается на Тэна при рассмотрении ряда частных аспектов социально-экономической детерминированности искусства. Так, например, он опирается на тэновское сочинение «Путешествием по Пиренеям» при анализе начала антитезы (стрем-

¹⁴ Г. В. Плеханов. СС. Т. VIII, с. 161—162. См.: там же, с. 165 (сопоставление Плехановым тэновской концепции «природы человека» и аналогичных воззрений французских материалистов XVIII века и m-me де Сталь).

¹⁵ Г. В. Плеханов. СС. Т. VII, с. 209.

ления к противоречию в общественной психологии) в истории культуры и искусства разных народов¹⁶. Четко прослеживается в 1890-х гг. расширение круга трудов Тэна, к которым обращается Плеханов: если на страницах «Очерков по истории материализма» цитируются только «История английской литературы», «Философия искусства» и упоминается небольшой очерк о Расине¹⁷, то в «Письмах без адреса», написанных уже на рубеже столетий, использованы и другие значительные исследования этого ученого — «Путешествие по Пиренеям» и «Путешествие по Италии». Примечательно, что Плеханов, отдавая должное блестящему проведению Тэном идеи социальной детерминированности, неоднократно обращается к сочинениям этого ученого как к ценному источнику фактического материала по истории литературы и искусства разных стран. — «Что на почве известных отношений людей является известная «психика», это как нельзя более понятно. А что на почве данной «психики» вырастают известные течения философской мысли и художественного творчества, это тоже нетрудно показать. Припомните французскую философию XVIII века, и вы увидите, до какой степени вся она, во всех своих частностях, создана психикой третьего сословия, боровшегося с духовенством и дворянством. Об искусстве я не хочу распространяться здесь: я ограничусь указанием на «Философию искусства» Тэна».¹⁸

Научные взгляды Ипполита Тэна¹⁹ складывались в эпоху исключительного преобладания духа естественных наук, подчинивших своему влиянию все прогрессивное мышление в Европе. В сфере гуманитарных наук это проявилось в стремлении достигнуть естественно-научной точности и объективности путем последовательного соотнесения каждого явления с другим. Тэновская концепция методологии искусства и эстетики, заложенная в «Истории английской литературы» и получившая дальнейшее развитие в «Философии искусства», опиралась на положение об объективной закономерности явлений окружающего мира. В своей конкретной философской основе она восходит к контовской линии позитивизма.

Тэн в своей концепции искусства исходит из того, что все

¹⁶ См.: Г. В. Плеханов. ЛН, Т. I, с. 16—28.

¹⁷ См.: Г. В. Плеханов. СС. Т. VIII, с. 164. См. также: H. Taine. *Essais de critique et d'histoire*. P., 1858

¹⁸ Г. В. Плеханов. СС. Т. VIII, с. 208. См. также: там же, с. 300—301.

¹⁹ См. детальное изложение взглядов Ипполита Тэна в следующих исследованиях: R. J. Desthieux. *Taine, son oeuvre*. P., 1923; J. M. Guyaux. *L'art au point de vue sociologique*. P., 1923; A. Chevrillon. *Taine, formation de sa pensée*. P., 1932; A. Chevrillon. *Portrait de Taine*. P., 1958, а также: С. Моравский. Концепция искусства Тэна и буржуазная эстетика. — В сб.: О современной буржуазной эстетике. М., 1965.

явления, включая творения человеческого духа, есть факты, а задача науки — указать на зависимость между ними, т. е. определить причины их возникновения и свойства, характеризующие их. Ученый подчеркивает, что между художником и современной ему социальной жизнью существует теснейшая связь: состояние развития общества обуславливает характер таланта художника, идеи, чувства и образы его произведений. Следовательно, ключ к пониманию художественного произведения находится, по теории Тэна, в состоянии общественных нравов и господствующих чувств и идей данной нации в ту или иную эпоху. Конкретизируя причины, определяющие внутреннее состояние художника в различные социально-исторические эпохи, Тэн выдвигает три фактора: «раса, среда, момент». Понятие «расы» определяло у Тэна духовные свойства народа. «Средой» ученый обозначал климатические условия его жизни, а также различные политические и социальные обстоятельства времени. Последнее понятие в этой цепи — «момент» — подразумевало конкретную историческую эпоху, переживаемую художником. По концепции Тэна, эти факторы могли объяснить любое произведение литературы и искусства. Однако для большей точности в понимании художественного явления ученый вводит еще ряд дополнительных факторов: «общее положение», «потребности современников», «господствующая личность» т. е. идеал. Последнему из них Тэн придавал весьма большое значение в создании произведения искусства. Важнейший принцип тэновской методологии эстетики — идея изучения художественного произведения как объективного явления, строго детерминированного окружающей социальной средой. Ученый резко отвергает в науке об искусстве субъективизм и догматизм. Соответственно с этим Тэн отводит в своей методологии искусствоведения исключительно большую роль эмпирическому, фактическому материалу из сферы социальной жизни. В его собственных трудах описание «господствующих чувств и нравов» занимает весьма большое место. Особенно наглядно это проявилось в «Философии искусства», в которой теоретические искусствоведческие идеи ученого развертываются перед читателем на фоне богатого, увлекательно изложенного материала по истории многих стран и народов.

Прогрессивное значение социологической эстетики Тэна было в свое время чрезвычайно велико. Прогрессивность ее заключалась, прежде всего, в соотношении истории искусства с объективным ходом социальной эволюции человечества. Тэн указал на объективные факторы, воздействующие на художника. Это было большим шагом к тому, чтобы оградить художественную критику и эстетику от произвольных субъективных оценок и субъективно-исторических концепций, к тому, чтобы сделать искусство объектом подлинно научного исследования.

Однако Тэн не мог не разделять уровня философской мысли своей — домарксистской — эпохи. Поэтому, утверждая, что социальное и политическое устройство общества является продуктом определенного образа мышления, он впадал в серьезные противоречия. Идеалистическое понимание исторического процесса не позволило ему видеть классовую структуру общества. Отсюда у Тэна представление о едином для всех социальных слоев психическом состоянии: общественная среда у него — самоопределяющаяся субстанция.

В России идеи Тэна получают распространение уже в 1860-е гг., т. е. вскоре после выхода его важнейших трудов.²⁰ Тогда же начинают появляться переводы его сочинений²¹, публикуются первые отклики русской критики на них.²²

И все же подлинную популярность эстетика Тэна завоевывает в России лишь в последние десятилетия прошлого века. Весьма яркую характеристику авторитетности Тэна в среде деятелей русской культуры мы встречаем в 1896 году на страницах «Русского богатства»: «Тэн у нас не только «властитель дум» — оригинальный в философских основах своей работы и лишь изредка погрешивший в критике и истории. Его взгляды излагаются с ученическим благоговением и доверчивостью...»²³

Социологический метод анализа художественного произведения, предлагаемый Тэном, привлекал внимание и симпатии многих деятелей русской литературной и общественной мысли возможностью точных выводов, т. е. тем, чего не могла дать апелляция к культурной жизни общества как к результату иррациональной деятельности человеческого духа. Заманчивым представлялся и метод объективного изучения фактов и точных обобщений, по образцам, выдвигаемым естественными

²⁰ См. следующие произведения И. Тэна: *Essai sur les fables de la Fontaine*. P., 1853; *Voyage aux eaux des Pyrénées*. P., 1855; *Essai sur Tité Live*. P., 1856; *Essais de critique et d'histoire*. P., 1858; *Histoire de la littérature anglaise*. P., 1863; *De la nature de l'oeuvre d'art*. P., 1865; *Philosophie de l'art en Italie*. P., 1867; *De l'idéal dans l'art*. P., 1867; *Philosophie de l'art dans les Pays-Bas*. P., 1868; *Philosophie de l'art en Grèce*. P., 1869; *Voyage en Italie*. P., 1866. Библиографию произведений Ипполита Тэна см.: Н. Тэне. *Sa vie et sa correspondance*. P., 1903—1907; V. Giraud. *Bibliographie des oeuvres de Taine*. — «Revue d'histoire littéraire de la France», juillet, octobre, 1902; Н. Р. Тиэме. *Bibliographie de la littérature française de 1800 à 1930*, II, P., 1933.

²¹ См.: И. Тэн. *Философия искусства*. — «Заграничный вестник», 1865, №№ 10—11 (См. также: П. С. Рейфман. *Журнал «Заграничный вестник»*. Статья 2. — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 184. Тарту, 1966.); И. Тэн. Лекции об искусстве, читанные в парижской школе изящных искусств в 1865 г. СПб., 1866; И. Тэн. *Критические опыты*. СПб., 1868.

²² См.: Н. К. Михайловский. Рецензия на книгу И. Тэна — Лекции об искусстве... СПб., 1866. — «Книжный вестник», 1866, № 12; А. Веселовский. Новая книга И. Тэна — «*Philosophie de l'art dans les Pays-Bas*». — «Санкт-Петербургский вестник», 1868, № 342.

²³ Ив. Иванов. Тэн. — «Русское богатство», 1896, № 1, с. 131.

науками, а также причинная точка зрения в объяснении художественного явления. Однако идеи Тэна принимались русскими демократическими и либеральными литературно-общественными деятелями не всегда безоговорочно.

Наиболее детальный анализ концепций Тэна в России 1890-х гг. содержался в статьях, принадлежащих перу либерального историка, профессора Московского университета В. И. Герье.²⁴ В тэновских трудах Герье подчеркивает теснейшую связь метода с естественными науками, особенно с теорией Ч. Дарвина. Он расценивает культурно-исторические принципы эстетики Тэна как «самобытную и талантливую попытку <...> разрешить великую проблему — объединить в познании и понимании физическую природу и мир человеческого творчества, перекинуть мост из области естественных наук в мир духовных интересов.»²⁵ Однако глубоко позитивное отношение Герье к тэновским идеям в целом не помешало ему отметить известную их ограниченность: теория Тэна, по его мнению, имеет большее значение для изучения культуры вообще, чем для истории и теории искусства, т. к. в тэновских трудах уделяется больше внимания среде, окружающей художника, чем создаваемым им произведениям.²⁶

В более узком аспекте методологии литературной критики рассматривают воззрения Тэна либеральные критики В. Арсеньев и В. Гольцев. Они оба, высоко оценивая объективные основы изучения литературного произведения, выдвинутые Тэном, указывают на некоторую половинчатость социологической эстетики. Так, В. Арсеньев, признавая, что эстетика Тэна открывает путь к объективной оценке произведений искусства, подчеркивает, однако, что она оставляет как бы за пределами рассмотрения их эмоциональную сторону. — «Метод, изобретенный Тэном <...>, составляет большой шаг вперед в области критики; не следует только считать его единственным, упраздняющим все остальные.»²⁷ В. Гольцев, в свою очередь, считает культурно-исторический метод лишь подготовительным этапом труда литературного критика. Тэн, отдавая большую дань изучению социальной среды, окружающей художника, сделал, по мнению Гольцева, лишь часть дела: критик должен изучать не только социально-историческую эпоху, вызвавшую к жизни то или иное творение художника, но и само произведение искусства. Только

²⁴ См.: В. И. Герье. Метод Тэна в литературной и художественной критике. — «Вестник Европы», 1889, № 9; его же. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. — Там же, 1890, № 6.

²⁵ В. И. Герье. Ипполит Тэн и его значение в исторической науке. — «Вестник Европы», 1890, № 6, с. 143.

²⁶ См.: В. И. Герье. Метод Тэна в литературной и художественной критике. — «Вестник Европы», 1889, № 9, с. 87.

²⁷ В. Арсеньев. Тэн. — «Вестник Европы», 1894, № 4, с. 894.

органическое влияние публицистической и эстетической сторон анализа поможет, по убеждению Гольцева, выполнить критике свой долг перед обществом: «Задача критики состоит в том, чтобы разъяснить и подкрепить действие таких особенностей художественного произведения, которые не всякому заметны.»²⁸

Народническая литературная мысль, как известно, обращалась к проблемам собственно эстетическим чрезвычайно мало. Несмотря на приверженность к позитивизму контовской линии, ни разу не выступил с подробным анализом идей Тэна Н. К. Михайловский.²⁹ В этом отразилась, по-видимому, особая научно-методологическая позиция критика, заключавшаяся в глубоко негативном отношении к академической кастовости в официальной науке.³⁰ И все же на страницах «Русского богатства» и других демократических журналов того периода печаталось множество материалов, в той или иной мере затрагивающих эстетические взгляды Тэна. Как правило, отношение к ней было в целом весьма позитивным.³¹ Исключением следует считать статью И. Иванова, в которой содержалось категорическое отрицание оригинальности и значительности тэновских концепций.³²

Если коснуться вопроса об академическом литературоведении последних десятилетий прошлого века, то здесь, как мы знаем, интересную и малоизученную проблему представляет «Веселовский и Тэн».³³

Идеалистическая литературно-эстетическая мысль, естественно, не могла превозносить идеи культурно-исторической школы, стремившейся к объективным и точным критериям изучения художественного творчества и отвергавшей субъективизм в оценках критики. Тем не менее, широкая популярность имени Тэна сыграла и здесь свою роль. Так, в статьях одного из на-

²⁸ В. А. Гольцев. О художниках и критиках. М., 1899. с. 25.

²⁹ Небольшая рецензия Н. К. Михайловского на книгу И. Тэна «Лекции об искусстве...», написанная в 1866 году, опирается на очень небольшой материал и, естественно, не может содержать серьезных обобщений о тэновской теоретической системе в целом.

³⁰ См.: Н. К. Михайловский. Всперемежку. — Н. К. Михайловский. Сочинения. т. IV, СПб., 1897. См. также: Г. А. Бялый. Н. К. Михайловский. — В кн.: История русской критики. т. II, М., 1958, с. 332—333.

³¹ См.: Л. Оболенский. Основные ошибки позитивизма и материализма. — «Русское богатство», 1890, № 2—3; В. Голосов. Незыблемые основы. — «Новое слово», 1894, № 4; К. Р-дов (И. Келтуяла). Старые и новые слова. — «Новое слово», 1894, № 4; В. Л. Лесевич. Философское наследие XIX века. — «Русское богатство», 1896, № 12; А. В. Горнфельд. Критика и лирика. — «Русское богатство», 1897, № 3; Французская критика. — «Русское богатство», 1897, № 11 и ряд др. материалов.

³² См.: Ив. Иванов. Тэн. — «Русское богатство», 1896, № 1—4.

³³ См. об этом: Л. Якобсон. Александр Веселовский и социологическая эстетика. — «Марксизм и литература», 1928, № 1.

и более активных приверженцев «искусства для искусства» того периода, П. Боборыкина, имеется немало позитивных высказываний о Тэне. Боборыкин превозносит Ипполита Тэна как «чистого ученого», отдававшего все силы на решение исключительно научных задач, и противопоставляет его русским революционным демократам — Чернышевскому и Добролюбову, сочетавшим литературно-критическую и научно-эстетическую деятельность с публицистическими выступлениями. Таким образом, Боборыкин, провозглашая внесоциальность, «антиутилитарность» науки об искусстве, выражает враждебность к общественным идеям эстетики революционных демократов.³⁴ Характерно, что в системе тэновских воззрений он подчеркивает один из субъективных моментов творческого процесса — идею зависимости творчества от душевного настроения,³⁵ упуская при этом полностью из вида положение Тэна о тесной связи последней с объективной социальной реальностью.

Таковы основные черты рецепции тэновской культурно-исторической эстетики в России в годы, когда к ее изучению приступает Г. В. Плеханов.

Обращаясь к проблеме «Плеханов и Тэн в 1890-е гг.», четко можно различить два ее аспекта. Это, во-первых, отношение Плеханова к тэновской концепции социальной детерминированности искусства в целом. С этим аспектом, как уже указывалось, мы соприкасаемся преимущественно в общественно-философских трудах Плеханова 1890-х гг., значительное место он занимает также в «Письмах без адреса». Второй аспект, органически соотносящийся с первым, связан с разработкой Плехановым конкретных историко-материалистических принципов методологии эстетики и критики. Наиболее отчетливое выражение он получает в статье. «А. Л. Волынский. Русские критики».

Что побудило Плеханова в 1890-е гг. обратиться к воззрениям позитивиста Ипполита Тэна, внимательно изучать его сочинения? В тэновской методологии искусства Плеханова привлекают, прежде всего, сильные элементы материализма. Соотнесение Тэном искусства с социальной жизнью эпохи служило указанием на существование объективных законов его эволюции. Идея детерминированности искусства общественной средой давала ясную установку на точное и подлинное научное познание закономерностей его развития. Как пишет Плеханов, Тэн дал в ряде «замечательных произведений множество блестящих иллюстраций <...> тезиса: состояние умов и нравов определяется социальной средой.»³⁶ По убеждению Плеханова, это

³⁴ См.: П. Боборыкин. Красота, жизнь, творчество. — «Вопросы философии и психологии», 1893, № 1, с. 77.

³⁵ См.: П. Боборыкин. Формулы и термины в области прекрасного. — «Вопросы философии и психологии», 1894, № 3, с. 120.

³⁶ Г. В. Плеханов. СС. Т. VII, с. 209.

позволило французскому ученому достигнуть значительных успехов в изучении истории литературы и искусства.

Плеханов подчеркивал, что Тэн в своих сочинениях дает наилучшие в домарксистской общественной науке решения проблемы социальной детерминированности искусства. В плехановских работах 1890-х гг. уделяется весьма существенное место взглядам предшественников Тэна, ученых и литературных деятелей (Гизо, Гельвеций, де Сталь и др.), также выдвинувших идею социальной обусловленности литературы и искусства. Однако, Плеханов, рассмотрев ряд соответствующих эстетических теорий, приходит к выводу о значительном научном превосходстве тэновской методологии искусства над учениями его предшественников: «...формула Тэна значительно продвигает нас вперед в понимании искусства, и говорит нам бесконечно больше, чем расплывчатое определение: «литература есть выражение общества»». ³⁷ В частности, Плеханов невысоко оценивает популярную книгу французской писательницы m-me де Сталь «О литературе в ее отношении к общественным учреждениям». ³⁸ По его мнению, ценность представляла только задача, которую автор перед собой поставила: «Задача, которую поставила себе г-жа Сталь, была разрешена очень неудовлетворительно: она далеко превышала силы этой знаменитой, но, в сущности, поверхностной писательницы, едва ли даже вполне понимавшей все ее огромное значение. Но задача была поставлена, и это было уже чрезвычайно важно.» ³⁹

Для зарождающейся марксистской критики и эстетики, отво-
дившей литературе и искусству чрезвычайно большую роль в политической борьбе, тэновские поиски постоянных законов, управляющих художественной деятельностью общества, его установка на социально-значительное искусство представляли очень большой интерес.

В 1890-е гг. культурно-историческая эстетика Ипполита Тэна как учение, наиболее последовательно отразившее стремления найти объективные критерии для изучения искусства, сыграло весьма плодотворную роль при решении Плехановым конкретных проблем историко-материалистической методологии литературной критики и эстетики. В 1899 году Плеханов писал: «Я

³⁷ Г. В. Плеханов. СС. Т. VIII, с. 164.

³⁸ См.: m-me de Staël. De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales. P., 1800. См. также: A. Sorel. Madame de Staël. P., 1890; D. G. L'arg. Madame de Staël, la Vie dans l'oeuvre. P., 1924.

³⁹ Г. В. Плеханов. ЛИ. Т. I, с. 569. Интересно отметить в данной связи, что один из представителей ранней марксистской литературно-критической мысли Поль Лафарг относился к концепциям m-me де Сталь с большим энтузиазмом. См.: П. Лафарг. Литературно-критические статьи. М., 1936, с. 56, 126. См. также: В. Гоффеншефер. Из истории марксистской критики (П. Лафарг и его борьба за реализм). М., 1962, с. 124—125.

глубоко убежден, что отныне критика (точнее: научная теория эстетики) в состоянии будет продвигаться вперед, лишь опираясь на материалистическое понимание истории. Я думаю также, что в прошлом своем развитии критика приобретала тем более прочную основу, чем более приближались ее представители к отстаиваемому мною историческому методу.»⁴⁰ В числе самых выдающихся представителей французской художественно-критической мысли, наиболее последовательно проводивших идею социальной детерминированности искусства, Плеханов выделяет Ипполита Тэна: «Этот новый взгляд, согласно которому литература есть продукт общественного строя <...>, находит себе полное и блестящее выражение в трудах Тэна.

Тэн твердо держался того убеждения, что «всякое изменение в положении людей ведет к изменению в их психике».

Но литература всякого данного общества и его искусство объясняются именно его психикой, потому что «произведения человеческого духа, как и произведения живой природы, объясняются только средой». Стало быть, для того чтобы понять историю искусства и литературы той или иной страны, надо изучить историю тех изменений, которые произошли в положении ее жителей. Это — несомненная истина. И достаточно прочитать «*Philosophie de l'art*», «*Histoire de la littérature anglaise*» или «*Voyage en Italie*», чтобы найти множество самых ярких и талантливых ее иллюстраций.»⁴¹ Так Плеханов, указывая на историчность тэновских исследований, подчеркивал преемственность между историко-материалистической методологией критики и эстетики и культурно-исторической школой. Правда, следует сразу уточнить (что подтверждает и приведенная выше цитата), что Плеханов в те годы не проводил четких границ между критикой в собственном смысле слова и эстетической наукой.

Впервые с наибольшей определенностью Плеханов формулирует концепцию историко-материалистической методологии литературно-художественной критики в статье из цикла «Судьбы нашей критики» — «А. Л. Волынский. Русские критики». В ней рассматривается ряд аспектов проблемы социальной детерминированности искусства: связь художника с общественной средой, социальная функция искусства и художественной критики и др.

Более пристальное рассмотрение плехановских методологических формулировок 1890-х гг. позволяет говорить не только об актуальности традиций культурно-исторической эстетики для ранней марксистской литературно-эстетической мысли, но и прямом воздействии частных ее идей и определений на соответ-

⁴⁰ Г. В. Плеханов, ЛН. Т. I, с. 31.

⁴¹ Там же, с. 34—35.

ствующие решения Плеханова. Так, в статье «А. Л. Вольтер. Русские критики» Плеханов формулирует задачи историко-материалистической эстетики следующим образом: «Научная эстетика не дает искусству никаких предписаний; она не говорит ему: ты должен держаться таких-то и таких-то правил и приемов. Она ограничивается наблюдением над тем, *как возникают* (здесь и далее курсив Г. В. Плеханова. — М. М.) различные правила и приемы, господствующие в различные исторические эпохи. Она не провозглашает *вечных законов искусства*; она старается изучить *те вечные законы, действием которых обуславливается его историческое развитие*. Она не говорит: «французская классическая трагедия хороша, а романтическая драма никуда не годится.» У нее все хорошо в свое время; у нее нет пристрастий именно к тем, а не к другим школам в искусстве»⁴² В «Философии искусства» Тэна читаем: «Современная эстетика отличается от старой своим историзмом и отсутствием догматизма, т. е. тем, что она не навязывает правил, а констатирует законы. Старая эстетика начинала с того, что давала определение прекрасного и говорила, например, что прекрасное — выражение невидимого, или же, что прекрасное — выражение человеческих страстей; затем, отправляясь от этого определения <...>, она оправдывала, журила и руководила.» И далее, «Современный метод состоит в том, что рассматривает творения человеческого духа и в частности искусства как факты, характерные черты которых надо установить, как следствия определенных причин, которые надо найти, этим исчерпывается наша задача. Понятая таким образом наука не отлучает от церкви и не отпускает грехи. Она не говорит вам: «голландское искусство не заслуживает внимания, оно слишком грубо; наслаждайтесь одним итальянским искусством.» Она не говорит также: «Относитесь с пренебрежением к готическому искусству, оно нездорово; довольствуйтесь одним греческим искусством.»⁴³ Философское различие приведенных отрывков, безусловно, очевидно: с одной стороны, историко-материалистическая точка зрения Плеханова на искусство как на конкретную форму общественного сознания, с другой — механистический материализм Тэна, его позитивистская концепция искусства как факта, определяемого внешней причинностью. Тем не менее, сходство в ходе рассуждений, близость приводимых примеров и даже композиции высказывания очевидны. В данном случае Плеханова привлекало в методологии эстетики Тэна стремление установить причинность явлений, а также категорическое отрицание абсолютности художественных критериев, мысль о конкретно-исто-

⁴² Г. В. Плеханов. ЛИ. Т. 1, с. 581.

⁴³ Ипполит Тэн. Философия искусства. М., 1933, с. 8.

рическом описании эстетических норм эпохи как задаче истории искусства.

В связи с этим интересно отметить, что одним из первых, уже в 1885 году, наметил общие контуры методологии марксистской критики искусства Поль Лафарг. Сущность его исходного тезиса, сформулированного в статье «Легенда о Викторе Гюго», сводилась к следующему: «Марксистская критика не хвалит и не осуждает, а пытается все объяснить.»⁴⁴ Аналогичные идеи развивались П. Лафаргом и в другой статье — «Происхождение романтизма», увидевшей свет в 1895 году. И в ней ход рассуждений и даже некоторые формулировки весьма близки к тэновским.⁴⁵ Вряд ли стоит подчеркивать факт воздействия идей П. Лафарга на методологические решения Плеханова в 1890-е гг., хотя и такую возможность нельзя исключить. В любом случае очевидно, что культурно-историческая эстетика Тэна являлась общим источником, откуда многое черпали в своих методологических поисках представители ранней марксистской литературно-эстетической мысли.

Обращение Г. В. Плеханова к культурно-исторической эстетике Тэна имело и другое, не менее важное для передовой общественной мысли того периода значение.

1890-е годы ознаменовались значительным оживлением идеалистической критики и эстетики в России. Одним из виднейших представителей идеалистической литературно-эстетической мысли того десятилетия являлся редактор журнала «Северный вестник» А. Л. Волюнский (Флексер).⁴⁶ Эклектичная в своей основе система философско-эстетических взглядов Волюнского в наибольшей мере тяготела к кантианству. Опираясь в концепции методологии искусства на субъективный идеализм Канта, А. Волюнский, как и ряд других теоретиков современной идеалистической эстетики (П. Боборыкин,⁴⁷ С. Волконский⁴⁸), усмат-

⁴⁴ П. Лафарг. Литературно-критические статьи. М., 1936, с. 192.

⁴⁵ Ср.: «Литературная критика, — перестав быть бесплодным риторическим украшением, в котором распределяется хвала и хула, выдаются награды за композицию и превозносятся красота в себе, это сияние истины, — превращается в материалистическое изучение исторических фактов». (Там же, с. 150).

⁴⁶ О деятельности А. Л. Волюнского см.: Н. Г. Молоствов. Борьба за идеализм. Рига, 1902; Л. Гуревич. История «Северного вестника». — В кн.: Русская литература XX века. т. I, кн. 3, под ред. С. А. Венгерова, М., 1914; Д. Е. Максимов. «Северный вестник» и символисты. — В кн.: В. Евгеньев-Максимов и Д. Максимов. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930; П. В. Куприяновский. Из истории раннего символизма (Символисты и журнал «Северный вестник»). — В кн.: Русская литература XX века. Калуга, 1968; его же. Из литературно-журнальной полемики 90-х гг. — В кн.: Русская литература XX века (дооктябрьский период). Калуга, 1971.

⁴⁷ См.: П. Боборыкин. Красота, жизнь, творчество. — «Вопросы философии и психологии», 1893, № 1; его же. Формулы и термины в области прекрасного. — Там же, 1894, № 3.

⁴⁸ См.: С. Волконский. Художественное наслаждение и художест-

ривал основной источник художественного творчества во внутреннем опыте личности.⁴⁹ По его убеждению, основная функция искусства — воспроизведение субъективного мира личности, его психических переживаний, нравственных устремлений идеального порядка. Позитивный смысл объективных социально-исторических факторов в развитии искусства Волюнский отвергал. Социально-политические идеи как идеи преходящего момента критик относил к идеям низшего свойства, которые, выражая более или менее случайные исторические обстоятельства, не могут оставить глубоких следов в эволюции духовной жизни человека. Искусство, отражающее социально-политические идеи, т. е. так называемое тенденциозное искусство, Волюнский относил к низшему его виду.⁵⁰ В своей концепции методологии критики Волюнский исходил из того, что критика искусства, основная функция которой заключается в отображении замкнутого внутреннего мира художника, «должна быть не публицистическою, а философскою, должна опираться на твердую систему философских понятий идеалистического типа.»⁵¹ Важнейшая задача «философской критики» Волюнского — правильно оценивать отвлеченные поэтические идеи и внутренний творческий процесс. Это обусловило у него превалирование эстетических критериев оценки художественного произведения, требование интуитивных, субъективистских путей познания искусства. Существенный интерес представляет социально-политическая концепция Волюнского.⁵² Отстаивая идею политического либерализма, Волюнский жестоко осуждает крепостнические устремления царского правительства, направленные на подавление нравственной свободы личности. Однако его социально-политический протест был лишен конкретно-исторического содержания. Отвергая реальную партийно-политическую борьбу, Волюнский противопоставляет угнетению личности искусство как явление идеального порядка. В качестве философской основы прогресса он выдвигает идеализм. Материализм

венное творчество. — «Вестник Европы». 1892. № 6; его же. Искусство и нравственность. — Там же, 1893, № 4.

⁴⁹ См.: А. Волюнский. Вражда и борьба партий. — «Северный вестник», 1894, № 5; его же. О символизме и символистах. — Там же, 1898, № 10—12; его же. Литературные заметки. — Там же, 1895—1898, ежемесячно. См. также: А. Волюнский. Русские критики. СПб., 1896.

⁵⁰ См.: А. Волюнский. Русские критики. СПб., 1896, с. 742.

⁵¹ Там же, с. 11.

⁵² См.: А. Волюнский. Вражда и борьба партий. — «Северный вестник», 1894, № 5; его же. Идеализм и буржуазность. — Там же, 1896, № 1. См. также: П. В. Куприяновский. Из литературно-журнальной полемики 90-х гг. — В кн.: Русская литература XX века (дооктябрьский период). Калуга, 1971.

Волинский, подобно Достоевскому и Вл. Соловьеву, соотносит с буржуазностью, денежностью, торжеством желаний среднего обывателя. Парадоксальность идей Волинского, сочетавших идеализм с критикой буржуазности, нравственного подавления личности, сильно осложняла борьбу передовой общественной мысли с ними.

Однако в идеалистической эстетике 1890-х гг., представлявшей собой весьма сложное явление, существовало и «антикантианское» направление, отвергавшее «чистое, самодовлеющее искусство», «эстетический сепаратизм». Так, философ-идеалист Вл. Соловьев отстаивал искусство тенденциозное, подчиненное мистическим целям служения вечной красоте, абстрактной идее добра.⁵³ К его идеям в определенной мере примыкает литературно-эстетическая концепция Д. Мережковского, наиболее яркого представителя струи мистицизма и «старшего символизма» в русской критике 1890-х гг.⁵⁴

Теоретическая система Тэна с ее историзмом, идеей необходимости объективных критериев изучения художественного творчества и отрицанием субъективизма оценок критики служила для Плеханова серьезной опорой в борьбе с русской идеалистической эстетикой, противостоящей материализму, научному мировоззрению. Полемический аспект обращения к Тэну выражен наиболее отчетливо в статье «А. Л. Волинский. Русские критики». Статья была вызвана одним из нашумевших событий в истории русской идеалистической литературно-эстетической мысли 1890-х гг. — появлением книги А. Волинского «Русские критики». Плеханов подверг идеалистические концепции Волинского уничтожающей критике, противопоставив им социально-исторический подход как основной при изучении художественного произведения. Антинаучность методологии основателя «новой философской критики» раскрывается Плехановым путем сопоставления ее с концепциями искусства, выдвинутыми Гизо, де Сталь, Тэном и др. При этом Плеханов ссылается на Тэна как ученого, наиболее талантливо проводившего материалистические идеи в своих исследованиях. — «История искусства объясняется историей общества, а некоторые, — например, Тэн, — развивали эту мысль в высшей степени талантливо. Этой мысли мало для того, чтобы всесторонне понять

⁵³ См.: Вл. Соловьев. Общий смысл искусства. — «Вопросы философии и психологии», 1890, № 5; его же. Первый шаг к положительной эстетике. — «Вестник Европы», 1894, № 1. См. также: Е. Трубецкой. Мирозерцание Владимира Соловьева. М., 1913; К. В. Мочульский. Владимир Соловьев. Париж, 1936; З. Г. Минц. Из истории полемики вокруг Льва Толстого (Л. Толстой и Вл. Соловьев). — Уч. зап. Тартуского ун-та., вып. 184. Тарту, 1966.

⁵⁴ См.: Д. Мережковский. О причинах упадка и новых течений современной русской литературы. СПб., 1893; См. также: П. Коган. Очерки по истории новейшей русской литературы. Т. VI, М., 1929.

историю искусства, но ее совершенно достаточно для того, чтобы, занимаясь этой историей, даже и не вспоминать об абсолютной идее. <...> Почему школа Буше уступила место школе Давида, а школу Давида сменила романтическая школа?

«Так нужно было по законам абсолютной идеи», — скажет нам г. Вольтинский. Но мы, не ожидая ничего дельного из Назарета, г. Вольтинского слушать не станем, а постараемся решить вопрос с помощью защищаемой нами теории.»⁵⁵

В 1890-е гг. полемический аспект обращения Плеханова к воззрениям Тэна имел и другую сторону, выраженную, правда, не столь конкретно, но постоянно присутствующую в плехановских трудах того периода. Этот, так называемый «антинароднический» аспект обращения Плеханова к Тэну связан, главным образом, с критикой идеализма тэновской концепции социального развития человечества. Критика исторического идеализма в идеях Тэна, сочетавшаяся с пропагандой учения Маркса, применения диалектического метода к познанию общественной жизни, являлась в 1890-е гг. органической частью борьбы Плеханова против субъективистских социологических теорий народничества.

И, действительно, несмотря на все то большое уважение, с которым Плеханов относился к концепциям Ипполита Тэна, он не воспринимал их не критически. Критический подход ощутим в каждом его обращении к идеям и сочинениям этого ученого.

Характерно, что в 1890-е гг., когда Плеханов активно занимался пропагандой историко-материалистической философии, в тэновских воззрениях его внимание привлекает, прежде всего, гносеологический аспект концепции исторического процесса, лежащей в основе методологии искусства культурно-исторической эстетики. Исходя из положения, что материалистическое понимание исторического развития определяет научность анализа всех исторически изменяющихся видов общественного сознания, Плеханов подвергает критическому освещению одно из опорных понятий тэновской эстетики — «среда». При этом он подчеркивает, что от подлинно материалистического понимания исторического развития человеческого общества зависит и научный уровень теории и истории искусства. Анализируя тэновский тезис: любое художественное произведение, как и любую философскую систему, можно объяснить состоянием умов и нравов данной эпохи, Плеханов сравнивает концепцию исторического процесса Тэна с соответствующими взглядами Маркса. При некотором внешнем сходстве, формула Тэна отличается от марксовской принципиально: «Для Тэна задача истории как науки — в последнем счете *«психологическая задача»* (здесь и далее курсив Г. В. Плеханова. — М. М.). Общее состояние умов

⁵⁵ Г. В. Плеханов. ЛН. Т. 1, с. 574.

и нравов создает у него не только различные виды искусства и философии, но и *промышленность данного народа*, все его общественные учреждения. А это значит, что социальная среда имеет свою последнюю причину в «состоянии умов и нравов».

Таким образом выходит, что *психика* общественного человека определяется его *положением*, а его *положение* определяется его *психикой*.»⁵⁶

Так Плеханов уже в первой половине 1890-х гг. («Очерки по истории материализма», «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю») подчеркивает идеалистический характер тэновской концепции исторического развития: Тэн не сумел разрешить антиномии, присущей просветителям XVIII столетия, — идеи зависят от среды — среда определяется идеями.

Идеалистическое понимание исторического процесса не позволило французскому ученому, по мнению Плеханова, с должной глубиной проникнуть в историю развития искусства того или иного народа. Эта мысль лежит в основе плехановской оценки важнейших философско-эстетических сочинений Тэна. Плеханов подчеркивает, что только исторический идеализм помещал Тэну создать труды, последовательно излагающие историю искусства и литературы: «Несмотря на весь его талант, несмотря на все бесспорные преимущества его метода, автор дает нам только *наброски* (курсив Г. В. Плеханова — М. М.), <...>. «История английской литературы» представляет собой скорее ряд блестящих характеристик, чем историю. То, что Тэн рассказывает нам о древней Греции, об Италии эпохи Ренессанса, о Нидерландах, знакомит нас с главными чертами искусства каждой из этих стран, но ничуть не объясняет нам их исторического происхождения или объясняет их лишь в очень незначительной степени. И следует заметить, что в данном случае виноват не автор, а его точка зрения, его понимание истории.»⁵⁷

В 1890-е гг. Плеханов подвергает критике и ряд других положений теоретической системы Тэна. Так, он неоднократно останавливает внимание на одном из ее антропологических факторов — понятии «раса». Тэновская апелляция к «человеческой природе» сопоставляется Плехановым с идеями французских материалистов XVIII века и m-me де Сталь, приравнивавших литературную историю народа к эволюции человеческого индивидуума (эпос — детство, красноречие и драма — юность и т. д.). В отличие от своих предшественников Тэн не проводил подобных параллелей. Однако и он весьма часто ссылаясь на врожденные свойства человека, т. е. «расу» как на причину различных явлений социальной жизни. Плеханов подчеркивает антиматериалистический характер тэновской апелляции к «при-

⁵⁶ Г. В. Плеханов. СС. Т. VII, с. 209.

⁵⁷ Г. В. Плеханов. СС. Т. VIII, с. 164.

роде человека», игнорирование в ней момента исторического развития народа: ««Историческая» эстетика Тэна не помешала ему пользоваться «человеческой природой», как ключом для открытия всех дверей, не открывающихся для анализа при первом натиске. <...> Нет ничего легче, как избавиться от всяких затруднений, приписывая любое сложное явление деятельности этих врожденных и унаследованных свойств. Но от этого весьма страдает историческая эстетика.»⁵⁸ Таким образом, критикуя Тэна, Плеханов объединяет его с мыслителями, связанными с идеей французской революции, т. е., в известном смысле, ставит его в **один ряд** и с шестидесятниками, и с народниками, со всей домарксистской демократической общественной мыслью. Всех их объединяла идея «природы человека» с ее метафизичностью, внеисторизмом, идеализм в вопросах истории.

Одним из важнейших понятий в тэновской методологии искусства было, как известно, понятие «господствующей личности». В «Философии искусства» Тэн определяет «господствующую личность» как идеал, «который окружен поклонением и вниманием современников, в Греции — это юноша с нагим и породистым телом <...>; в средние века — экзальтированный монах и влюбленный рыцарь; в XVII столетии — изысканный придворный; в наши дни — вечно ищущий и печальный — Фауст или Вертер. И так как это является самым интересным, значительным и заметным, то художники изображают его...»⁵⁹ Плеханов, рассматривая содержание идеи «господствующей личности» в эстетике Тэна, подчеркивает, что она несет в себе упрощенное и идеалистическое представление о социальной структуре общества: последняя настолько сложна, что и речи быть не может о какой-либо единой «господствующей личности» для всего народа.⁶⁰ Не удовлетворяют Плеханова и характеристики «господствующих личностей» различных эпох. В частности, возражения у него вызывают, как всеобщие идеалы своей эпохи, средневековые «экзальтированный монах и влюбленный рыцарь» и современные «вечно ищущий и печальный Фауст или Вертер».⁶¹ Однако следует отметить, что в плехановской критике «господствующей личности», в его словах о том, что «...«личность», являющаяся «господствующей» в представлении одного какого-либо класса, отнюдь не господствует в другом»,⁶² явственно ощутимы не только марксистское стремление к исторической конкретности, но и идея классовой замкнутости художественного идеала, лежавшая в основе его вульгарно-социологических

⁵⁸ Г. В. Плеханов. СС. Т. VIII, с. 165.

⁵⁹ Ипполит Тэн. Философия искусства. М., 1933, с. 55.

⁶⁰ См.: Г. В. Плеханов. СС. Т. VIII. с. 170.

⁶¹ См.: там же, с. 164.

⁶² Там же, с. 170.

оценок русских классиков (Пушкин, Некрасов) в 1880-е гг.⁶³ (как и, вообще, в основе всей вульгарно-социологической методологии).

Сказанное позволяет сделать следующие выводы. Позитивистская эстетика Ипполита Тэна, указывавшая на причинную связь между явлениями и отвергавшая абсолютность художественных критериев оценки искусства, служила для Г. В. Плеханова, как и для других представителей ранней марксистской литературно-эстетической мысли в Западной Европе (Поль Лафарг), важным источником при определении принципов историко-материалистической методологии критики и эстетики. В условиях идейно-общественной ситуации России обращение Плеханова к концепциям Тэна преследовало также существенные полемические цели в борьбе с субъективно-идеалистической эстетикой русских неокантианцев (А. Вольнский). При рассмотрении этих аспектов проблемы мы можем говорить об отношении Плеханова к воззрениям Тэна только в позитивном плане. Следует подчеркнуть, что эта позитивная сторона являлась в 1890-е гг. в плехановской рецепции теоретической системы Ипполита Тэна доминирующей.

Однако уже в 1890-е гг. Плеханов раскрывает противоречивость культурно-исторической эстетики Тэна, с одной стороны, следовавшей идее социальной детерминированности художественного творчества, с другой же, не нашедшей выхода из антиномии французских материалистов XVIII века. Плехановская критика Тэна — это, прежде всего, критическое освещение гносеологических основ тэновской концепции исторического процесса. Во многие узловые понятия тэновской эстетики (среда, раса, господствующая личность) Плеханов вносит конкретное социально-экономическое содержание.

В 1890-е гг. главное внимание Плеханова было сосредоточено на распространении метода исторического материализма в сферу эстетики и литературной критики. Литература и искусство рассматриваются им как конкретные формы общественного сознания, подчиненные общему закону социально-экономической детерминированности идеологических надстроек. Собственно эстетические проблемы в этот период ставятся Плехановым сравнительно редко, что было в большой мере продиктовано политическими задачами научного обоснования социализма. Однако марксистская эстетика в России 1890-х гг. еще только начинала формироваться. Это обусловило и некоторую односторонность в подходе Плеханова к наследию культурно-исторической школы: его интересовал только социологизм эстетики Тэна, возможностей же ее применения при решении критикой художественных задач он не искал.

⁶³ См., например, статью, Г. В. Плеханова «Два слова читателям-рабочим», (1885), (Г. В. Плеханов. ЛИ. Т. 2).

МЕТРИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР НЕКРАСОВА

Введение

П. А. Руднев

Тема «метрический репертуар Некрасова», представляющая собой частный аспект более широкой проблемы «стих Некрасова», имеет первостепенное значение в деле исследования творчества великого русского поэта. Как бы глубоко ни изучалась творческая деятельность художника слова, как бы обстоятельно ни решались вопросы, связанные с высшими, содержательными уровнями структуры его произведений, это изучение остается неполным и даже односторонним в том случае, если его предметом не окажутся специфические закономерности художественно-речевой фактуры созданных этим художником произведений. Ведь далеко не все равно, писал ли он прозой или стихом; каков характер его прозы — определенным образом организованной словесной структуры; каков характер его стиха — метрики, фоники, ритмики, рифмы, строфики, метрической композиции. Характерно, что сам Некрасов в стихах и прозе, в статьях и письмах настойчиво обращал внимание своих читателей и корреспондентов на вопросы поэтической техники (в том числе — и на вопросы стихосложения¹). Правда, то, как Некрасов определил однажды специфику своего стиха («Нет в тебе поэзии свободной, // Мой тяжелый, неуклюжий стих»²), породило ряд досадных недоразумений, введя в заблуждение даже такого серьезного и глубокого ценителя его поэзии, как Г. В. Плеханов.³ Вместе с тем, как раз последнее лишний раз

¹ См.: В. С. Баевский. Некрасов о стихе. — В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. Тезисы докладов и сообщений межвузовской научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Н. А. Некрасова, Кострома, 1971 (далее — сокращенно: Некрасов и русская литература).

² Н. А. Некрасов. Полное собрание стихотворений в трех тт. Л., 1967, т. 1, с. 187. (Далее — ссылки на это издание в скобках основного текста: первая цифра указывает том, вторая — страницу).

³ См.: Г. В. Плеханов. Искусство и литература. М., 1948, с. 624, 632. Ср.: Корней Чуковский. Мастерство Некрасова. М., 1955, глава «Щедрая дань».

и говорит о том, сколь важно для некрасоведения осуществить систематическое обследование структуры стиха великого поэта.

Познание индивидуального стиля поэта, реализуемое через сплошное описание его стиховой системы, окажется первым результатом решения поставленной проблемы, взятой в синхронно-типологическом аспекте.

Другая сторона того же вопроса, органически связанная с первой, обуславливается тем, что любая индивидуальная система стиха есть исторически движущийся феномен. При этом ее эволюция должна рассматриваться исследователем как в пределах творчества данного поэта — в соотношении с тенденциями его имманентного развития, — так и в качестве определенного звена общей цепи историко-литературного процесса. Ведь индивидуальный стиль и стиховая система данного поэта существуют только на фоне и в сопоставлении с индивидуальными стилями и стиховыми системами его предшественников и современников, только в широком контексте национальной поэтической культуры, которая в свою очередь рассматривается как единая система и также становится предметом синхронно-типологического и диахронического описания.

Отсюда — цель и задача предлагаемой работы: 1) дать полное, синхронно-типологическое и диахроническое описание метрического репертуара Некрасова; 2) использовать, где это возможно, в целях сопоставления с некрасовским, материал по метрике других крупнейших поэтов-предшественников и современников Некрасова (Пушкина, Катенина, Баратынского, Лермонтова, Никитина, Тютчева, Фета, А. Толстого);⁴ 3) попытаться поставить некоторые проблемы, связанные с содержанием низших уровней некрасовского стиха в аспекте соотношений метра и жанра и раскрытия экспрессивных ореолов тех или иных размеров, характерных для метрической системы Некрасова и сопоставляемых с ним поэтов. Весь справочный материал (таблицы, указатель стихотворных размеров, перечень условных обозначений) сосредоточен в специальном приложении к статье. В основном ее тексте приводятся лишь необходимые сопоставительные данные в % от всего материала оригинальных произведений и строк исследованных поэтов.

⁴ Материалы по метрике Пушкина и Лермонтова извлечены из работ: Н. В. Лапшина, И. К. Романович, Б. И. Ярхо: 1) Метрический справочник к стихотворениям А. С. Пушкина. М., 1934; 2) Из материалов «Метрического справочника к стихотворениям М. Ю. Лермонтова». — «Вопросы языкознания» (далее: ВЯ), 1966, № 2; по метрике Тютчева и Фета — из статьи: Л. П. Новинская. Роль Тютчева в истории русской метрики XIX — начала XX вв. — В кн.: Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969; по метрике других поэтов — из курсовых и дипломных работ студентов ТГУ Н. Катаевой, М. Лотмана, Х. Меус, Л. Сперанской, С. Шахвердова.

Подобная справочно-описательная работа, широко развернувшаяся в ряде университетов и пединститутов СССР, требует элементарной унификации стиховедческой терминологии и создания рабочей методики. «Всякое научное описание обязательно должно вестись в пределах определенной описывающей системы (в теории научного познания такая система называется метаязыком данной науки). Метаязык исполняет роль некоторой системы, масштабами и мерками которой мы измеряем изучаемый объект».⁵ Первым шагом к созданию такого метаязыка данного раздела стиховедения является «Инструкция по составлению метрических справочников»⁶. В принципе с основными положениями и рекомендациями Инструкции автор этих строк согласен вполне. Случаи некоторых расхождений будут оговорены специально по ходу изложения частных аспектов исследования. Общая теоретическая и терминологическая система взглядов, сторонником которой оказывается автор предлагаемой работы, достаточно подробно изложена в его статье о метрике А. Блока,⁷ к которой мы и отсылаем читателя. Сейчас же необходимо коротко остановиться на ряде деталей, связанных непосредственно с системой размеров Некрасова и требующих предварительных оговорок.

К числу последних относятся в первую очередь такие вопросы, как отбор текстов, их датировка, особая проблема отточий и «оборванных» строк и строф — как «эквивалентов текста»,⁸ проблема выделения эпических произведений (поэм, сказок, стихотворных повестей и т. п.) в общей совокупности сюжетно-фабульных вещей поэта. Без позитивного решения этих вопросов — хотя бы в предварительном, рабочем порядке — реализация основной цели предлагаемого исследования автору этих строк не представляется возможной.

1. Отбор текстов. Датировка

Академического издания сочинений Некрасова, как известно, к сожалению, не существует. Это обуславливает некоторые трудности при отборе текстов для изучения и систематизации метрического репертуара поэта. До 1967 года наиболее полным и текстологически авторитетным считалось Полное собрание

⁵ Ю. Лотман. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970, сс. 86—87.

⁶ См.: Л. Тимофеев. На пути к истории русского стихосложения. — Известия АН СССР. Серия литературы и языка (далее: ИАН СЛЯ), 1970, вып. 5.

⁷ См.: П. А. Руднев. Метрический репертуар А. Блока. — В кн.: Блоковский сборник, II. Тарту, 1972.

⁸ См. об этом: Ю. Тынянов. Проблема стихотворного языка. Статьи М., 1965, сс. 43—51; Ю. М. Лотман. Структура художественного текста. М., 1970, с. 363 и др.

сочинений и писем в 12 томах под общей редакцией В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и К. И. Чуковского (М., ГИХЛ, 1948—1953). (Это издание далее именуется ПСС). Однако последующие текстологические разыскания, находки новых, ранее не публиковавшихся (или не включавшихся в собрания сочинений) произведений поэта, установление более точных дат и т. п. — все это определило необходимость подготовки нового, более совершенного, чем ПСС, собрания стихотворений. Им и явилось Полное собрание стихотворений в трех томах под общей редакцией К. И. Чуковского (Л., изд. «Советский писатель», 1967). На современном этапе развития некрасоведения названный трехтомник можно считать текстологически образцовым изданием. Редакторами его томов являются советские литературоведы: Б. Я. Бухштаб, С. А. Рейсер, И. Г. Ямпольский. Составляющие корпус этого издания стихотворные тексты положены в основу нашего исследования, за пределами которого остались произведения, написанные Некрасовым совместно с другими авторами (см.: 1,515—520; раздел «Коллективное»), и стихотворения, приписываемые Некрасову (см.: 1,523—538).

В абсолютном большинстве случаев для метрической классификации нами использованы основные тексты произведений поэта.⁹ Однако, руководствуясь стремлением к возможно более полному охвату исследуемого материала, мы сочли иногда возможным отступить от этого принципа и ввести в состав основных ряд текстов, включенных в раздел «Другие редакции и варианты», который занимает весьма значительное место в каждом из томов трехтомного собрания стихотворений. Это требует специальных объяснений, обоснований и оговорок.

Прежде всего подчеркнем, что, как справедливо отметил М. Гин, «по какому-то странному недоразумению не попало в издание (1967 г. — *П. Р.*) весьма известное стихотворение «Человек сороковых годов» (1866—1867). Правда, в текст вариантов лирической комедии «Медвежья охота», из которой автор выделил это стихотворение, вошли строки его ранней редакции, близкой окончательному тексту (ср.: 2,539—540 и ПСС, 2,287 — *П. Р.*). Но вряд ли этим обстоятельством можно оправдать изъятие из основного текста окончательной редакции стихотворения, опубликованной самим автором».¹⁰ В соответствии с приведенными соображениями М. Гина, стихотворение

⁹ Термин «основной текст» употребляется в том значении, какое ему придается в кн.: С. А. Рейсер. Палеография и текстология нового времени. М., 1970, сс. 124—126.

¹⁰ М. Гин. Некрасов в «Библиотеке поэта». — «Вопросы литературы» (далее: ВЛ), 1968, № 11, с. 205.

«Человек сороковых годов» включено нами в состав исследуемых текстов.

Теперь обратимся к ряду стихотворений, у которых есть, помимо основного текста, первоначальные редакции, имеющие не отрывочный, фрагментарный вид, а законченную или, по крайней мере, достаточно законченную форму. Для того, чтобы решить, можно ли хотя бы некоторые из них учесть в рабочем порядке как отдельные произведения, надо путем тщательного сопоставления определить степень и характер трансформации этих текстов на пути их движения от первоначальной редакции к основной. При этом аргументами в пользу положительного решения вопроса будем считать такие обстоятельства, как: 1) существенные изменения содержания; 2) разные заглавия; 3) прижизненная публикация ранней редакции (публикация основного текста специально не оговаривается, кроме особых случаев); 4) изменение метрической и строфической формы; 5) уменьшение или увеличение строчного объема; 6) разные даты. Конечно, мы далеки от мысли чисто механически накладывать эти признаки на тексты (по принципу «+/-»): как показало осуществленное сопоставление, в одних случаях доминируют и определяют решение вопроса одни признаки, в других — другие.

Основной текст стихотворения «Буря» («Долго не сдавалась Любушка-соседка...» — 1, 157; 1853 г.) насчитывает 20 строк цезурованного шестистопного хорея (Х6ц) такой строфической композиции: АА бб. Его первоначальная редакция опубликована в «Современнике» (1850, № 9, с. 41; см.: 1,616). Она имеет 49 строк трехстопного анапеста (АнЗ: «Не любил я ни грому, ни бури...» — 1,550), строфические единицы не отделены пробелами, рифмовка парная (ААбб...), строки 43—45 дают тройную мужскую рифму: ббб. Текст «Современника» характеризуется достаточной законченностью и обработанностью (хотя в результате переделки стихотворение значительно выиграло) и вполне может быть использован в нашей работе как отдельное произведение.

Стихотворение «Признания труженика» («По моей громадной толщине...» — 1,172) состоит из 88 строк пятистопного хорея (Х5) преимущественно такой строфической формы: ААбб... (без графического вычленения четверостиший). Его основному тексту (1874) предшествуют две первоначальные редакции: редакция 1854 г. («Современник», 1854, № 11, с. 103) и редакция 1857 г. (сб. «Для легкого чтения», т. 5, СПб., 1857, с. 380; см.: 1,619—620). Две первоначальные редакции, что показал А. М. Гаркави в специальном исследовании,¹¹ мало

¹¹ См.: А. М. Гаркави. Разыскания о Н. А. Некрасове. — Уч. зап. Калининградского пединститута, вып. 9. Калининград, 1961.

отличаются друг от друга: в тексте сборника «Для легкого чтения» Некрасов только восстановил, по мнению А. М. Гаркави, цензурные купюры, имевшие место в журнальной публикации.¹² С другой стороны, основной текст стихотворения значительно трансформирует его вторую печатную редакцию прежде всего на содержательном уровне: «Здесь уже нет многих подробностей и личных намеков, потерявших к 70-м годам свою актуальность; зато сильнее зазвучали мотивы обличения тунеядства, как существенного явления той эпохи» (1,620). Помимо этого, редакция сборника «Для легкого чтения» обнаруживает и еще ряд особенностей, заметно отличающих ее от основного текста: другое заглавие — «Труженик. Признания новейшего Фальстафа» («Те, которых часто я встречаю...» — 1,552); гораздо больший объем (278 строк того же Х5); несколько иную строфическую композицию — 139 графически отчлененных двустушией парной рифмовки (АА бб). Все это дает нам известные основания использовать печатную редакцию стихотворения «Признания труженика» 1857 г. в качестве отдельного произведения.

Основной текст стихотворения «Из автобиографии генерал-лейтенанта Федора Илларионовича Рудометова 2-го, уволенного в числе прочих в 1857 году» («Убил ты точно на веку...» — 2,150) имеет 52 строки неравноstopного, позиционно урегулированного ямба (Я43) перекрестной рифмовки аБаБ... (без графического вычленения катренов). Ему предшествует первоначальная редакция с другим заглавием: «Мое желание (Романс господина, обиженного литературой)» («О, как желал бы я служить...» — 2,500), написанная и впервые опубликованная в том же 1863 году («Современник», 1863, № 4, «Свисток», № 9, с. 72; см.: 2,622). Ранняя редакция на сей раз значительно короче (20 строк того же метра); у нее несколько иная строфическая структура — 5 синтаксически замкнутых и графически отделенных катренов типа аБаБ. Помимо этого, основной текст представляет диалог двух персонажей, первоначальный — дан в чисто монологической форме. Оба текста фиксируются нами как тексты отдельных произведений.

Несколько больше, чем в приведенных выше случаях, текстуальных совпадений в двух редакциях стихотворения «Горящие письма» («Они горят!.. Их не напишешь вновь...» — 3,327). Основной его текст датируется 1877 годом, первоначальный — 1855 или 1856 (см.: 3,481). Ранний вариант впервые напечатан в издании 1856 года под заглавием «Письма» («Плачь, горько плачь! Их не напишешь вновь...» — 3,439),

¹² Ср., однако, другие соображения в новейшей статье: Б. Я. Бухштаб. К истории стихотворения Н. А. Некрасова «Признания труженика». — В кн.: О Некрасове. Статьи и материалы. Вып. III, Ярославль, 1971. Соображения Б. Я. Бухштаба отнюдь не препятствуют использованию нами редакции сб. «Для легкого чтения» в качестве отдельного произведения.

поздний — в посмертном издании стихотворений 1879 года. Столь же близкими оказываются объем этих текстов (16 строк в первой редакции и 13 — во второй), их метрическая форма (и там, и здесь Я5). Незначительные отличия обнаруживаются лишь в строфической композиции (в обоих случаях перекрестная рифмовка типа аБаБ со сплошным текстом в ранней редакции и графически отчлененными катренами — в основной; в заключительных строфах и той, и другой редакций есть отточия). Вместе с тем, необходимо учесть, сколь длительный промежуток времени отделяет первоначальную редакцию этого стихотворения от его основного текста. Вариант пятидесятых годов написан, очевидно, под впечатлением очередной размолвки с А. Я. Панаевой. На нем лежит явный отпечаток интимного чувства. Он является характерным образцом любовной лирики. В 70-е гг. отношения с Панаевой стали уделом далекого прошлого. Это было время подведения итогов, размышлений над минувшими событиями личной и общественной жизни, суровой их оценки. Отсюда — иная расстановка смысловых акцентов в редакции 1877 года, что, как кажется нам, определило и другую жанрово-стилистическую окраску всего стихотворения, экспрессия которого приобрела теперь скорее философско-медитативную направленность. Это и дает нам право (опять-таки в рабочем порядке!) рассматривать обе редакции как два самостоятельных произведения.

Этими четырьмя примерами исчерпываются случаи, когда в достаточной степени завершенные первоначальные редакции стихотворений публиковались Некрасовым при жизни.

Существует, однако, и ряд других текстов, первоначальные редакции которых, не напечатанные при жизни автора по тем или иным причинам, имеют, тем не менее, также вполне обработанный вид, являясь, по сути дела, самостоятельными произведениями. К их числу мы считаем возможным отнести следующие вещи: «Ужели должен я страдать?» (1,469). «Давно — отвергнутый тобою...» (1,181), «Я посетил твое кладбище...» (1,241).

Ранняя редакция первой из них — «Беда! Последняя беда!» (1,589) — входит в качестве стихотворной вставки в роман «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», опубликованный впервые К. И. Чуковским в 1931 году. Оба текста метрически и строфически тождественны (Я4, аБаБ...). Разница обнаруживается в объеме (в первой редакции 16 строк, в основной — 8) и содержании (полностью совпадают лишь заключительные строфы).

Первоначальный текст стихотворения «Давно — отвергнутый тобою...» написан другим размером — Я5 («Измученный бесплодно мольбою... — 1,564»), но имеет ту же строфическую композицию, что и основной текст (АБаБ...). Обе редакции

отличаются объемом (первая — 12 строк, вторая — 20) и содержанием.

Беловой автограф третьего из названных стихотворений («Среди моих трудов досадных...» — 1,586) находится в так называемой «Солдатенковской тетради», подготовленной Некрасовым к публикации весной 1855 года. Основной его текст, вероятно, оформился при отборе материала для издания 1856 года (см.: 1,636). Обе редакции полностью адекватны и по количеству строк (36), и по метрико-строфической структуре (Я4, А6Аб...). Тем знаменательней представляется явное их отличие на уровне содержания, несмотря на встречающиеся текстуальные совпадения. На наш взгляд, неодинаковость экспрессивной доминанты этих текстов обусловлена главным образом тем, что в основной редакции автор обращается к некогда близкой ему, но теперь умершей женщине, в то время как в первоначальном варианте реализована иная сюжетная ситуация разлуки лирических персонажей (ср., с одной стороны, — «Я посетил твое кладбище», «Ты умерла... Смирись грозы», «Забудусь, ты передо мною // Стоишь — жива и молода»; с другой: «Но скоро прерван был разлукой // Поток однообразных дней», «Стою один, как на кладбище // Прошедших невозвратных дней». Разрядка в цитатах моя. — П. Р.).

Теперь обратимся к крупным вещам Некрасова, среди первоначальных редакций которых тоже встречаются завершённые фрагменты, не вошедшие почему-либо в состав основного текста. Желая в рабочем порядке использовать такого рода завершённые фрагменты в качестве отдельных произведений, следует в первую очередь установить степень относительной самостоятельности их смысловой структуры в соотнесённости с контекстом той крупной вещи, откуда они вынуты автором при создании ее основной редакции. Так, негативным примером, пригодным для иллюстрации этого положения, вполне может послужить эпилог к поэме «Княгиня Трубецкая» («Кто помнит ту годину роковую...» — 2,561). При всей внешней обработанности данного фрагмента, написанного другим метром (Я5), чем основной текст «Княгини Трубецкой», он едва ли может восприниматься как самостоятельное целое, что, по нашему мнению, убедительно доказано в комментарии А. Максимовича (см.: ПСС, 3,385). С другой стороны, иной, противоположный подход допускает такие два фрагмента, отсутствующие в основном тексте поэмы «Кому на Руси жить хорошо», как «Умрет жена у пахаря...» (3,448; 86 строк нерифмованного ЯЗ) и «Пахомушка» («Есть у Пахомушки женка и детки...» — 3,400; 9 строк ДВ). Фрагмент «Умрет жена у пахаря...» находится среди материалов одной из ненаписанных глав поэмы (см.: 3,446—448). Текст «Пахомушки» изъят автором из главы «Горькое время — горькие песни». Думается, не будет особым

преувеличением утверждать, что оба этих фрагмента могут вполне самостоятельно функционировать вне контекста поэмы, будучи поставленными в один ряд с другими стихотворениями Некрасова из крестьянской жизни.

Патетический монолог Миши о Белинском и Грановском в «Сценах из лирической комедии «Медвежья охота» обрывается строкой отточий. Так кончается вся пьеса, в целом не завершенная Некрасовым, о чем свидетельствуют его собственные слова (см. об этом: 2,641). Сохранились две рукописных редакции продолжения монолога Миши («Я лучший перл с души моей достал...» — 2,543 и «Я лучший перл со дна души достал...» — 2,545), первый из которых является достаточно обработанным фрагментом объемом в 52 строки. Конечно, нельзя сказать, что смысл этого фрагмента оказывается вполне ясным без соотнесения с основной частью монолога Миши, введенной Некрасовым в состав опубликованного текста «Медвежьей охоты». Отдавая себе в этом полный отчет, мы, однако, решаемся в данном случае не принимать во внимание этого обстоятельства из-за чисто стиховедческого интереса, который имеет фрагмент «Я лучший перл с души моей достал...» для нашей работы. С точки зрения особенностей художественно-речевой структуры он представляет собой довольно редкую типологическую разновидность конструктивно разомкнутой полиметрической композиции в пределах ямба.¹³ Причем — мотив семантической обоснованности смены размера настойчиво подчеркивается Некрасовым в обеих редакциях (ср.: «Размер другой мне стоит только взять, // И дело мы окончим живо» и: «Четырехстопный ямб — игривой // Возьму — и стану продолжать»). Именно отмеченная причина побуждает нас (с гораздо большей степенью условности, чем это было выше в случаях с другими текстами) интерпретировать фрагмент «Я лучший перл с души моей достал...» в качестве текста отдельного стихотворения.

Специальных оговорок требует текст полиметрической поэмы «Современники», основной корпус которого до сих пор не считается вполне установленным исследователями. Это обстоятельство связано прежде всего с тем, что последняя прижизненная публикация поэмы в сборнике «Последние песни» (1877) осуществлена Некрасовым с целым рядом важных сокращений, по сравнению с текстом, впервые напечатанным в «Отечественных записках» (1875, № 8; 1876, № 1). Здесь мы сталкиваемся с прецедентом, когда так называемая «последняя воля» автора

¹³ Проблема описания конструктивно разомкнутой полиметрической композиции поставлена нами на материале поэзии А. Блока в статьях: «О стихе драмы А. Блока «Роза и Крест» (Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 251. Тарту, 1970); «Метрический репертуар А. Блока»; на материале поэзии Тютчева — в статье «Из истории метрического репертуара русских поэтов XIX — нач. XX вв.» (сб. «Теория стиха», Л., 1968).

не может послужить главным критерием выбора основного текста произведения. Как установлено М. В. Теплинским, эти сокращения были обусловлены желанием поэта во что бы то ни стало провести сб. «Последние песни» через цензуру с наименьшими потерями.¹⁴ Поэтому нам кажется совершенно правильным решение редакции III тома последнего трехтомника сочинений Некрасова (редактор тома — И. Г. Ямпольский) печатать текст «Современников» в более полном виде, чем это имело место в ПСС, — по журнальной публикации, а не по сб. «Последние песни». Вместе с тем, это наталкивает и на другое соображение — взять для метрического исследования в качестве отдельных текстов те девять вполне законченных фрагментов, которые Некрасов первоначально предполагал использовать в «Современниках» (3,474) и которые, по разным соображениям, оказались вынесенными поэтом за пределы основного текста произведения. Это — следующие фрагменты: «Заглянул я в залу эту...» (3,412; 32 строки Х4 такой строфической композиции: АБАБ); «Редакторам газеты!!!» (3,414; 8 строк ЯВ вольной рифмовки); «С богом, с богом! торопитесь!» (там же, 8 строк Х4 катральной композиции: АБАБ); «Были вы вчера студенты...» (3,416, 32 строки Х4 катральной структуры: АБАБ...); «Послушайте — не много ль...» (3,417, 16 строк ЯЗ; АБАБ); «Здравствуй, умная головка!» (там же, 16 строк Х4; АБАБ); «Начнем с недавних крепостных...» (3,424, 36 строк Я4; аБАБ...); «На платиновой тарелке...» (3,427, 19 строк Х4 вольной рифмовки); «Ба! угрюмая тихая личность!» (3,431, 16 строк АнЗ; АБАБ...).

Некоторые трудности обнаруживаются при решении вопроса о квалификации текста посвящения поэмы «Мороз, Красный нос» — учитывать ли его в качестве отдельного произведения или вводить в единый корпус текста поэмы. Стиховедчески это далеко не безразлично: в зависимости от того или иного решения вопроса, меняется типологическая интерпретация полиметрической композиции поэмы. Посвящение «Ты опять упрекнула меня...» написано анапестическим метром (ПМФ: АнЗ → → АнВ; 48 строк композиции: аБаБ...¹⁵). Поэма, как известно, посвящена сестре поэта А. А. Буткевич. Однако в прижизненных изданиях поэмы текст посвящения не печатался Некрасовым, будучи написанным в конце 60-х гг., т. е. позже, чем основной корпус текста поэмы. Помещение этих стихов перед текстом было в категорической форме указано А. А. Буткевич

¹⁴ См.: М. В. Теплинский. Творческая история поэмы Некрасова «Современники». — В кн.: Некрасовский сборник, вып. II. М.—Л., 1956, с. 335 след.

¹⁵ ПМФ — это переходная метрическая форма (см. об этом в моей статье «Метрический репертуар А. Блока», а также ниже — в соответствующей главе данной работы).

(2,615), что и сделано впервые в издании 1879 г. С. И. Пономаревым на основании письма сестры поэта к нему от 5 июня 1878 г. (см. там же). Это указание нельзя считать вполне бесспорным аргументом, и мы в целях метрической классификации предпочли выделить эти 48 строк в качестве текста отдельного произведения. Тем более, что анапестический метр в тексте поэмы больше не встречается ни разу. Помимо посвящения, есть еще один вполне законченный фрагмент, не опубликовавший Некрасовым в тексте поэмы. Это — «Эпилог» («Задумав счастливую повесть...» — 2,497; 48 строк АмЗ катренной композиции: АБАБ). Он также взят нами как отдельное произведение.

Большое сатирическое стихотворение Некрасова «Песня об «Аргусе» (2,146; 1863 г.) впервые было опубликовано в «Современнике» (1863, № 4; «Свисток», № 9) под заглавием «Песня об «Очерках» (Из лирической драмы «Видение на Неве»» (см.: 2,621). Основной его текст («Песня об «Аргусе») печатается по изд. 1873—1874 гг., ч. 4 (приложение «Юмористические стихотворения разных годов»). По неизвестному нам автографу в Изд. 1879 г. (т. 4, с. СXXX—СXXXI) напечатан набросок, относящийся, по предположению С. И. Пономарева, к «Песне об «Очерках» (2,621). Этот драматизированный отрывок, имеющий вполне обработанный вид и интересную полиметрическую структуру (см.: «Два издателя. Сцена первая» — 2,499), учтен нами для классификации метров как отдельное произведение.

Наконец, последняя проблема, связанная с отбором единиц текста для типологии метров, упирается в структуры ряда произведений Некрасова, в которых имеется по одной инометрической вставке. Как будет показано в специальной главе, такого рода структуры интерпретируются нами как формы, промежуточные между монометрическими и полиметрическими композициями (МК → Пк). Из произведений Некрасова сюда относятся «Коробейники», «Притча о Киселе», «Балет» «Медвежья охота». Из состава каждого из них в качестве отдельного произведения вычленяются инометрические вставки, соответственно: «Песня убогого странника» (30 строк размера неклассической структуры); «Вперед шли вдовицы преклонные...» (22 строки АнВ); «Я был престранных правил» (48 строк ЯЗ); «Диалектик обаятельный...» (40 строк Х4).

Итак, для исследования метрического репертуара Некрасова нами взято 484 произведения, т. е. все оригинальное наследие поэта в объеме трехтомного собрания его сочинений.

Что касается датировки произведений Некрасова, то здесь известные трудности возникают при диахроническом анализе его метрики. Ряд произведений поэта, как малых, так и больших, имеет дату, фиксирующую весь период работы над ними.

Здесь возможны такие варианты: 1) дата «через черточку» (напр., «Говорун»: 1843—1845); 2) «через запятую» (напр., «Деловой разговор»: 1851, 1874); 3) дата с «или» (напр., «Ах, были счастливые годы»: 1851 или 1852); 4) дата с «между» (напр., «Памяти Белинского»: между 1851 и 1853). Во всех этих случаях для диахронической таблицы нами берется вторая дата, несмотря на некоторую условность такого подхода. В том случае, когда учитываются обе редакции текста — первоначальная и основная, — тогда, естественно, каждая из этих редакций получает датировку, соответствующую году написания той и другой из них. Особый интерес в этом смысле представляет история текста поэмы «Кому на Руси жить хорошо». До сих пор, видимо, нельзя считать установленным, какова последовательность частей, соответствующая авторскому замыслу этого не вполне законченного произведения. Два наиболее авторитетных собрания сочинений Некрасова (ПСС и трехтомник 1967 г.) решают этот спорный вопрос по-разному. Мы присоединяемся к тому варианту (по датам написания и публикации), который принят в издании 1967 г. В соответствии с этим, каждая из частей по количеству строк диахронически фиксируется годом написания данной части (Часть первая — 1865; «Последыш» — 1872; «Крестьянка» — 1873; «Пир на весь мир» — 1877, т. к. Некрасов продолжал работать над поэмой до конца жизни). Все произведение в целом — как единица — фиксируется 1877 годом.

II. Проблема «оборванных» и «пропущенных» строк и строф как эквивалентов текста

Данная проблема имеет вполне самостоятельный теоретический интерес, обнаруживая, как кажется нам, одну из весьма характерных особенностей поэтики Некрасова в целом. В связи с конкретными целями предлагаемого исследования, вопрос о такого рода эквивалентах текста приобретает для нас чисто прикладное, так сказать, практическое значение, которое состоит в следующем. Необходимо дать рабочую классификацию этих эквивалентов текста, попытаться выяснить, в каком случае заменяющие текст отточия и обрывы следует включать в общий подсчет стихотворных строк, в каком считать их дефектными, в каком, быть может, не следует их учитывать вовсе. В зависимости от того или иного решения вопроса, мы получим далеко не одинаковые величины построчных показателей, а это, понятно, отнюдь не безразлично при выявлении частоты встречаемости тех или иных стихотворных строк.

Обратимся сначала к текстам крупных произведений. Здесь, очевидно, можно сразу же установить единый принцип, соответствующий тому, как в этом случае поступили текстологиче-

ские группы каждого из трех томов трехтомника 1967 г. Имено: имеющиеся в текстах отточия включены в общий подсчет строк. Напр., — в тексте поэмы «Мороз, Красный нос»:

Только ты милости к нам не явила!

• • • • •

Господи! сколько я дров нарубил!

Не увезешь на возу... (2,133)

Контекст и графика отточий, по протяженности соответствующих строке четырехстопного дактиля, отсутствие перебоев в композиции рифм — все это свидетельствует о том, что все строки отточий эквивалентны двум строкам четырехстопного дактиля и при подсчете мы их интерпретируем именно так. Ср. еще: 2,125 и т. п. Сюда же относятся яркие примеры автоцензуры. Таков строфический обрыв в «Княгине Трубецкой»:

Мне не забыть . . . Потом, потом

Расскажут нашу быль...

А ты будь проклят, мрачный дом,

Где первую кадрили

Я танцевала... Та рука

Досель мне руку жжет...

Ликуй

[illegible]

Здесь по причинам, полностью аналогичным предшествующему примеру, метрическая структура оборванных строк никаких сомнений не вызывает, и вся строфа учитывается как восьмистишие неравноstopного ямба (Я43).

Более сложными, требующими специальных оговорок кажутся нам следующие случаи обрывов и отточий, которые встречаются: а) в концовках крупных произведений, и б) в середине их текста.

К подтипу «а» отнесем концовку «Отрывков из путевых записок графа Гаранского»:

Жаль, дремлет русский ум. А то чего б верней?

Правительство казнит открытого злодея.

Сатира действует и шире и смелей.

Как пуля находить виновного умея.

Сатире уж не раз обязана была

Европа (кажется, отчасти и Россия)

Услугой важною (1,163).

Данная нами разрядкой строфа оборвана, действительно, больше, чем наполовину. При этом — здесь нарушена почти постоянная для всего контекста композиция рифм: две первые строки оказываются незарифмованными, третья представлена только первым полустушием (второе полустушие заменено отточиями), четвертая строка отсутствует вообще, не получая и графического эквивалента. В этом случае учитываются нами только две полные строки шестистопного ямба, полустушие с отточиями считается дефектным. Вариации подобных концовок можно встретить в поэме «Газетная» (2,194), в «Сценах из лирической комедии «Медвежья охота» (2,250), в финале III действия трагедии «Забракованные» (2,45). Причем — обрыв строки имеется только в «Забракованных»:

Еще беда! Сгорят... Мутится разум!
Авось снесу их разом!
Двух разом...
... (2,450).

Подчеркнутую часть строки считаем дефектной. В «Газетной» и «Медвежьей охоте» — строки вполне интерпретируются метрически, и лишь отсутствие рифм и наличие финального отточия указывают на «строфический», а не «строчный» обрыв. Поэтому строки принимаются во внимание при подсчете, отточия же во внимание не принимаются.

К подтипу «б» следует отнести совершенно аналогичные случаи, которые встречаются в текстах поэмы «Дедушка» и «Недавнее время» (2,297; 2,303). Оба текста дают одинаковую рифменную композицию: АБАБ... (с незначительными вариациями в тексте второй поэмы). Поэтому когда одна строка отточий вклинивается на границе соседних четверостиший, то возникает, так сказать, «мнимый пропуск» в тексте, пропуск, который, во всяком случае, не отражается на метрической структуре произведения. Поэтому такое отточие при подсчете строк может нами вполне не учитываться. Вот характерный пример:

Нынче полегче народу:
Стих, притаился в тени
Барин, прослышав свободу...
Ну, а как в наши-то дни!
...
Словно, как омут, усадьбу
Каждый мужик объезжал.
Помню ужасную свадьбу,
Поп уже кольца менял... (2,283).

Реже случаи, подобные тому, какой отмечен нами в концовке «Графа Гаранского», встречаются в середине текста

какой-либо поэмы, да и то такие обрывы имеют все-таки локально концовочный характер, сигнализируя границы не выделенных в главы фрагментов текста. Ср., например, в тексте лирической поэмы «Рыцарь на час»:

Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билось,
Что умел он любить...

.....
(Утром в постели)
О мечты! о волшебная власть
Возвышающей душу природы!
Пламя юности, мужество, страсть
И великое чувство свободы... (2,64).

Исходя из сказанного выше, ясно, что будет учтена как дефектная оборванная строчка, данная разрядкой, а следующая за ней строка отточий не учитывается вовсе. Ср. еще 2,108 (без обрыва строки) и т. п.

Гораздо сложнее и разнообразнее система эквивалентов в текстах произведений малых жанров. Здесь требуется более дифференцированный подход, по сравнению с тем, который был только что предложен нами.

Прежде всего выделяется группа текстов с концовочным отточием без обрыва строки и строфы, не принимаемым во внимание при подсчете строк («Признания труженика» — 1,174; «Перед зеркалом» — 2,276).

Второй случай — отточие в середине текста с наличием незарифмованных строк («Истинная мудрость» — 1,287; «Месяц бледный сквозь щели глядит...» — 1, 488, 489; «Но хоть сия российская таверна...» — 1,495; «Лето» — 1,503; «Угомонись, моя муза задорная...» — 3,339; «А дни летят... Слой пыли гуще, шире...» — 1,345).

Например:

Там шинель на бобровом меху
Он небрежно скидает с плеча...
«Заварить на шампанском уху
И зажарить в сметане леща!
Да живей!.. Я шутить не люблю!»
(И ногою значительно топ.)

.....
.....

Всех величием своим устранив,
На минуту вздремнуть захотел
И у зеркала (был он плешив)
Снял парик и... как смерть побледнел! (1,488).

Легко понять, что строки, замененные отточиями, метрически интерпретируются без труда и учитываются в подсчете как строки трехстопного анапеста (в соответствии с размером всего стихотворения «Месяц бледный сквозь щели глядит...»).

Третий (противоположный) прецедент — отточия в середине текста с отсутствием перебоев в рифменной композиции («Земляку» — 1,291; «Цветущие нивы, журчащий ручей...» — 1,472). Здесь отточия в качестве пропущенной строки нами не учитываются в подсчете (это, как уже отмечалось по другому поводу, также является «мнимым пропуском» в тексте; природу и функцию подобных приемов поэтики Некрасова предстоит еще выяснить в специальных исследованиях).

Четвертый случай — самый распространенный и имеющий, пожалуй, первостепенный семантический интерес, выяснение которого, впрочем, в нашу задачу на данном этапе исследования стиха Некрасова не входит. Это — обрыв строки или строфы в конце стихотворения с наличием или отсутствием отточий («Тяжелый год — сломил меня недуг...» — 1,226; «Ворон» — 1,308; «Труженик» — 1,335; «И он их не чуждался в годы оны...» — 1,470; «Цветущие нивы, журчащий ручей...» 1,472; «Месяц бледный сквозь щели глядит...» — 1,489; «О вы, герои биллиарда!» — 1,493; «И так за годом год... Конечно, не совсем...» — 1,506; «Еще скончался честный человек...» — 1,508; «Памяти Добролюбова» — 2,158; «Разбиты все привязанности, разум...» — 2,400; «Приятно встретиться в столице шумной с другом...» — 2,460). Здесь вполне возможен единый подход — незарифмованные, бесспорно интерпретируемые метрически строки (или их эквиваленты — отточия) учитываются при подсчете строк данного размера; строки же «оборванные» (в полном смысле этого, пусть условного, термина) расцениваются как дефектные.

Наиболее простой пример встречаем в тексте баллады «Ворон». Метр этого стихотворения — неравностоппный, строфически урегулированный амфибрахий (Ам4343434344), строфика — соответственно: аБаБвГвГдд. Последняя строфа дает вместо двух последних строк отточия, интерпретируемые без труда на основании всего контекста (здесь — обрыв строфы в чистом виде).

Однако среди обрывов в перечисленных текстах наиболее типичным является случай, подобный следующему:

... Такого сына не рождала ты
 И в недра не брала свои обратно:
 Сокровища душевной красоты
 Совмещены в нем были благодатно...
 Природа — мать! когда б таких людей
 Ты иногда не посылала миру,
 Заглохла б нива жизни...
 («Памяти Добролюбова» — 2,158).

Здесь очевидный обрыв строфы и строки: два незарифмованных стиха и последний, напечатанный нами в разрядку, оборванный стих, который считается дефектным, ибо его метрическая структура оказывается не вполне ясной из-за отсутствия рифмы и противопоставленности данного стиха всему пятистопнымбическому рифмованному тексту.

Четвертый случай строчного обрыва связан с текстами, метр которых — нерифмованный пятистопный ямб. Как кажется, здесь можно выделить два момента: а) если оборванная строка имеет дактилическое окончание, тогда она учитывается как дефектная, так как дактилическая клаузула по строгой традиции в белом пятистопном ямбе не встречается и Некрасов за рамки этой традиции не выходит; б) если оборванная строка дает мужское или женское окончание, тогда такая строка толкуется как иноstopная и вся метрическая структура будет представлять собою переходную метрическую форму (ПМФ: Я5 → ЯВ).

Пример «а»:

И было в их молчаньи больше муки
 И страшного значенья, чем в рыданиях,
 С которыми бросаем горсть земли
 На гроб того, что был нам дорог в жизни,
 Кто нас любил, быть может. У ворот
 Они кухарку встретили.

И долго изумленными глазами... (1,490).

Пример «б»:

И на меня, угрюмого, больного,
 Их добрые почтительные лица
 Глядят с таким глубоким сожаленьем,
 Что совестно становится. Ничем
 Я их любви не заслужил (1,511).

Ср. еще: «О пошлость и рутина — два гиганта» (1,511).

Пятый случай встречается в полиметрических композициях. Если на границе смежных разнометрических звеньев имеют место отточия без нарушения рифменной композиции, то их

функция, видимо, состоит в том, чтобы подчеркнуть смену метра, в какой-то степени ослабляя силу перебора установившейся ритмической инерции данного размера. Здесь мы опять сталкиваемся с «мнимым пропуском» в тексте. Это довольно ясно выражено в структурах стихотворений: «Мысль» (1,269); «Убогая и нарядная» (2,34). При таком условии отточия, не будучи эквивалентами пропущенных в тексте строк, нами при подсчете не учитываются.

Например:

Под солнцем нет цветка, дорожки,
Достойных быстролетной ножки.
.....
Пери, Пери! диво света,
Ненаглядная краса!
Ослепляешь, как комета,
Ты и чувства и глаза («Турчанка» — 1,296).

Наконец, отметим два особых прецедента, не поддающиеся классификации:

..... одинокий, потерянный,
Я как в пустыне стою,
Гордо не кличет мой голос уверенный
Душу родную мою (2,46).

Метр данного стихотворения — неравноостопный дактиль (Д43). Поэтому «оборванная» строка легко интерпретируется как строка, написанная Д4. Второй пример — из текста, аналогичного по метру:

Подле лица — молодого, прекрасного —
С саблей усач...
Брат, удаляемый с поста опасного,
Есть ли там смена? Прощай! (2,106).

Оборванная, вторая строка учитывается как стих Д3.

Итак, с учетом всего сказанного об отточиях и оборванных строках и строфах, можно заключить: для метрической классификации нами использовано 44337 строк по трехтомному собр. соч. Некрасова 1967 г.

III. Проблема выделения поэм в общей совокупности повествовательных произведений Некрасова

Как нетрудно понять, данный вопрос упирается в один из самых мало изученных аспектов исследования поэтической системы Некрасова — проблему жанровой структуры его произ-

ведений. Имеющаяся по этому вопросу литература, к сожалению, нас не может удовлетворить, ибо исследователи, за редчайшим, пожалуй, единичным исключением (о чем будет сказано ниже), пытаясь осуществить описание жанровой структуры поэзии Некрасова, довольно дружно обходят именно проблему выделения поэм и близких к поэме эпических вещей из общей совокупности повествовательных произведений Некрасова.¹⁶ Для стиховеда это далеко не безразлично: не решив — хотя бы в рабочем порядке — сформулированной проблемы, исследователь метрической системы Некрасова вынужден будет отказаться и от постановки темы «метр и жанр», сильно обедняя и ограничивая задачи своей работы. Между тем, на данном этапе развития науки о стихе отказ от интерпретации темы «метр и жанр» означает до известной степени признание теоретического бессилия и объективную компрометацию самих стиховедческих штудий — как одного из важнейших разделов теоретической поэтики в целом. Сложность поставленного вопроса обуславливается еще и таким важным обстоятельством: в определении жанровой природы своих произведений колебался подчас и сам

¹⁶ См. специальные работы, посвященные жанровой системе Некрасова: С. А. Червяковский. К проблеме жанров поэзии Некрасова. Автореферат. — Уч. зап. Горьковского пед. института, т. XIV. Горький, 1950; К. Н. Григорьян. К вопросу о жанрах в лирике Некрасова. — Некрасовский сборник, IV. Некрасов и русская литература. Л., 1967; З. Станкеева. Сюжетная лирика Некрасова. — Уч. зап. Пермского гос. ун-та, № 155. Пермь, 1967; Л. Г. Фризман. Элегии Некрасова. — ИАН СЛЯ, 1971, вып. 5, А. И. Груздев. Поэмы Н. А. Некрасова 1860—1870-х годов (Природа жанра). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филолог. наук. Л., 1971. Ни в одной из названных работ (в том числе в самой содержательной из них — статье Фризмана) даже не делается попытки дать более или менее однозначную классификацию жанров в поэзии Некрасова, выделить среди его повествовательных произведений те, которые могли бы быть названы поэмами в точном смысле этой жанровой характеристики. Не вносит ясности в этот вопрос и известная книга К. И. Чуковского «Мастерство Некрасова», хотя бы потому, что исследователь очень неопределенно в ряде случаев употребляет термин «стихотворная новелла», приравнивая ее к повести и рассказу в стихах и относя к числу последних такие разнородные в жанровом отношении вещи, как «Извозчик», «Прекрасная партия», «Саша», «Русские женщины», «Дедушка». Несколько лет назад была опубликована специальная монография: М. Н. Зубков. Русская поэма середины XIX века. М., 1967. В этой книге ряд глав посвящен поэмам Некрасова. Однако всю эту книгу пронизывает мало плодотворная попытка чисто механически разграничить романтическую и реалистическую поэму. При этом первая дается обычно под знаком «—», вторая — под знаком «+», — что, как кажется нам, ни мало не проясняет сложного вопроса о жанровой природе таких поэм Некрасова, как «Несчастные», «Тишина», «Рыцарь на час», «Уныние», декабристские поэмы, в стилиевой системе которых органически слиты романтические и реалистические жанровые тенденции. Таким образом, вопрос о жанровой специфике поэзии Некрасова продолжает оставаться в сущности открытым, давая возможность в аспекте стиховедческих исследований выдвижению рабочих гипотез, не претендующих, разумеется, на однозначное и окончательное решение этой сложной проблемы изучения поэтики Некрасова в целом.

Некрасов, с мнением которого исследователь его поэзии обязан, разумеется, считаться.

С нашей точки зрения, необходимо выделить какой-то единый рабочий критерий, связанный, с одной стороны, со строчным объемом произведения; с наличием в его жанровой структуре определенного сюжетно-фабульного, повествовательного начала — с другой.

В этом смысле в общей совокупности повествовательных произведений Некрасова можно выделить и группу таких, принадлежность которых к жанру эпической, лиро-эпической или сатирической поэмы сомнений как будто не вызывает. Вот их хронологический перечень с указанием, где это возможно, их авторской (разрядкой) или рабочей жанровой характеристики и строчного объема: 1) «Баба-Яга, Костяная нога. Русская народная сказка в стихах» (1840; 1961 строка); 2) «Сказка о царевне Ясновете» (1840; 780 строк); 3) «Провинциальный подьячий в Петербурге» (юмористическая поэма — сказ; 1840; 400 строк¹⁷); 4) «Говорун. Записки петербургского жителя А. Ф. Белопяткина» (1843—1845; 746 строк); 5) «Саша» (1854—1855; 508 строк); 6) «Несчастные» (Поэма в двух частях.¹⁸) 1856; 914 строк); 7) «На Волге (Детство Валежникова)» (1860; 296 строк¹⁹); 8) «Коробейники» (1861; 714 строк); 9) «Мороз, Красный нос» (1862—1863; 1016 строк без посвящения и эпилога); 10) «Газетная» (1863—1865; 340 строк; сатирическая поэма); 11) «Балет» (сатирическая поэма; 1865—1866; 398 строк); 12) «Суд. Современная повесть» (1866—1867; 393 строки); 13) «Недавнее время» (сатирическая поэма; 1863—1871; 761 стро-

¹⁷ Исследователь сатиры Некрасова 1840-х гг. подчеркивает жанровую синкретичность этого произведения: «Здесь соединены элементы водевиля, обозрения, нравоописательного фельетона <...> — все главки «Провинциального подьячего» и продолжающего его «Говоруна» имеют одинаковую структуру, принадлежат к одному и тому же особому жанру, в котором Некрасов <...> работает на всем протяжении начального периода своего сатирического творчества» (Б. Я. Бухштаб. Начальный период сатирической поэзии Некрасова 1840—1845. — Некрасовский сборник, II. М.—Л., 1956, с. 106. Этот жанр в рабочем порядке мы определяем как сказовую юмористическую поэму.

¹⁸ Об авторской квалификации «Несчастных» как поэмы см. I, 636—637; а также — письмо Некрасова Тургеневу от 7 дек. 1856 (см. ПСС, X, 300—301). Содержательный анализ жанрово-стилевой структуры «Саши» и «Несчастных» см. в новейшей работе: Ю. Лебедев. Н. А. Некрасов и русская поэма 1840—1850 годов. Ярославль, 1971, гл. II—III.

¹⁹ По первоначальному замыслу Некрасова, «На Волге» являлось первой частью поэмы «Рыцарь на час». Поэма написана не была; две ее части — первая и четвертая (<...> «Рыцарь на час») — печатались как самостоятельные произведения» (2,605). Ср. отзыв Достоевского, который назвал «На Волге» «одной из самых могучих и самых зовущих поэм» Некрасова (цит. по: 2,605; разрядка моя — П. Р.).

ка); 14) «Дедушка» (1870; 464 строки²⁰); 15) «Княгиня Трубецкая» (1871; 850 строк); 16) «Княгиня М. Н. Волконская (Бабушкины записки)» (1872; 1464 строки²¹); 17) «Горе старого Наума (Волжская быль)» (1874; 324²²); 18) «Современники» (сатирическая поэма-обозрение; 1875; 2219 строк²³); 19) Из поэмы «Мать» (1877; 315 строк); 20) «Кому на Руси жить хорошо» (1877; 8870 строк). Все перечисленные произведения имеют качественно-различные сюжетно-фабульные структуры (для нас главное — в бесспорном наличии твердых повествовательных доминант, характерных для жанрового строя этих эпических вещей поэта). Их строчный объем обладает довольно широким диапазоном колебания — от 296 строк («На Волге») до 8870 («Кому на Руси...»). Сразу же подчеркнем, что по строчному объему среди произведений Некрасова обнаруживаются еще три крупных вещи, отнесение которых к числу поэм едва ли правомерно. Это — «Кабинет восковых фигур» (1843; 525 строк; большое описательное стихотворение-афиша²⁴; «Деловой разговор» (1851, 1874; 307 строк) и «Поэт и Гражданин» (1856; 294 строки). Обе последних вещи в жанровом отношении следует интерпретировать как драматизированные философские диалоги.

Наряду с крупными повествовательными произведениями Некрасова, к числу его поэм, лирических по своей жанровой структуре, следует отнести такие три, как (нумерация общая): 21) «Тишина» (1857; 192 строки²⁵); 22) «Рыцарь на

²⁰ См. новейшее исследование: И. А. Груздев. Поэма Некрасова «Дедушка». — В кн.: О Некрасове. Статьи и материалы, вып. 3. Ярославль, 1971.

²¹ См.: М. М. Уманская. Поэма Н. А. Некрасова «Русские женщины» (Вопросы метода и стиля). — В кн.: О Некрасове... Ярославль, 1971. Автор пытается доказать, что «Княгиня Трубецкая» — поэма романтическая, «Кн. М. Н. Волконская» — реалистическая. Вот один из аргументов автора: «Излюбленный Пушкиным и Лермонтовым четырехстопный ямб романтической поэмы уступит место (в «Кн. М. Н. Волконской» — П. Р.) трехстопному амфибрахию с ямбом (! — П. Р.) в окончании каждой строки — емкому и гибкому поэтическому размеру» (Там же, с. 52 Разрядка моя. — П. Р.).

²² Анализ жанровой структуры «Горя старого Наума» см.: А. М. Гаркавин. Поэма об исторических судьбах России. — Там же.

²³ О жанре «Современников» см., помимо статьи М. В. Теплинского, указ. в примечании 14: В. Г. Прокшин. О стиле поэмы Н. А. Некрасова «Современники». — В кн.: Славянский филологический сборник. Уфа, 1962. На чисто стиховедческом аспекте работы Прокшина мы специально остановимся ниже.

²⁴ См. об этом произведении: В. Э. Боград. «Кабинет восковых фигур» (Неизвестные стихи молодого Некрасова). — Некрасовский сборник, II. М.—Л., 1956.

²⁵ См.: Ю. Лебедев. Н. А. Некрасов и русская поэма 1840—1850 годов, гл. IV.

час» (1860—1862; 221 строка²⁶); 23) «Уныние» (1874; 186 строк).

В поэтическом наследии Некрасова следует выделить группу произведений (их объем колеблется в среднем около 200 строк), жанровая принадлежность которых требует особого рассмотрения. Здесь уместно привести очень конструктивное соображение Б. Я. Бухштаба, выдвинувшего специфическую для поэзии Некрасова жанровую категорию «маленькой поэмы» применительно к «Псовой охоте». Однако это соображение исследователя имеет, как кажется нам, и более общий характер. Поэтому приведем его полностью: «Назвать «Псовую охоту» маленькой поэмой, помимо характера сюжета, чрезвычайной компактности эпической композиции, дает нам право следующее основание. Начиная. Здесь уместно привести очень конструктивное соображение 1845—1861 годов в двух частях (в дальнейшем они выходили как две первые книги собрания стихотворений Некрасова). В первой части Некрасов помещал стихотворения небольшого объема, во второй — стихотворения объемом от 175 строк. Это проведено довольно последовательно: в собрание 1861 года включено свыше восьмидесяти произведений, и лишь три из них нарушают указанный принцип: в первую часть попали стихотворения «Тишина» (192 строки), «На Волге» (296 строк), во вторую — стихотворение «Княгиня» (62 стиха). Вероятно, эти отступления сделаны по издательским соображениям — с целью уравнять листаж обеих частей, — но выбор перемещенных произведений показывает, очевидно, что Некрасов хотел подчеркнуть лирическую отрывочность «Тишины» и «На Волге» и эпичность «Княгини». Вообще смысл проведенного Некрасовым разделения, очевидно, в том, что во вторую часть выделяются стихи эпического характера, большие и небольшие поэмы. Это подчеркнуто особым шмугтитутлом для каждого произведения во второй части. Расположены эти произведения (в отличие от стихотворений первой части) в строго хронологическом порядке и открываются «Псовой охотой».²⁷ Думается, исследователь тонко уловил позицию самого Некрасова в определении жанровой специфики ряда его произведений, несмотря на то, что эта позиция выражена в достаточно косвенной форме. Конструктивность высказанного

²⁶ Ср. первую публикацию в «Современнике», 1863, №№ 1—2, с. 209 под заглавием «Бессонница. (Из поэмы «Рыцарь на час»...)» (см.: 2,603; разрядка моя — П. Р.).

²⁷ Б. Я. Бухштаб. Сатира Некрасова в 1846—1847 годах. — Некрасовский сборник, вып. III. М.—Л., 1960, с. 21, прим. 31 (разрядка моя — П. Р.).

Бухштабом соображения позволяет нам определить жанровую структуру следующих вещей Некрасова как «маленьких поэм»: 24) «Новости» (Газетный фельетон)» (1845; 227 строк); 25) «Псовая охота» (1846; 180 строк); 26) «Прекрасная партия» (1852; 232 строки); 27) «Филантроп» (сатирическая поэма-сказ²⁸; 1853; 176 строк); 28) «В. Г. Белинский» (1855; 194 строки); 29) «Труженик. Признания новейшего Фальстафа» (сатирическая поэма-сказ; 1857; 278 строк); 30) «Папаша» (1860; 185 строк); 31) «Крестьянские дети» (1861; 244 строки).

Определение жанровой принадлежности «Железной дороги», не оговоренное Некрасовым ни прямо, ни косвенно, по-разному, толкуется исследователями. Мы склонны присоединиться к мнению тех, которые предпочитают видеть в этом произведении поэму небольшого строчного объема. Наиболее основательно эта точка зрения аргументирована в последней книге М. Гинн «От факта к образу и сюжету. О поэзии Н. А. Некрасова»: полемизируя с Е. Н. Ананьевой, определяющей жанр «Железной дороги» как «промежуточное явление между поэмой и балладой»²⁹, исследователь пишет: «Железная дорога», конечно, поэма, поэмой ее делает величие проблематики, лиризм, которым она вся пропитана. Но это поэма бесфабульного типа <...>, ничего общего не имеющая ни с балладой, ни с каким-либо другим новеллистическим жанром».³⁰ Итак, 32) «Железная дорога» (лирическая поэма; 1864; 148 строк).

Наконец, к числу поэм Некрасова мы склонны отнести «Сказку о добром царе, злом воеводе и бедном крестьянине» (1876; 74 строки) на основании того, что и все другие сказки Некрасова мы рассматриваем в границах стихотворного эпоса. В пределы последнего внесем еще и два отрывка (жанровая квалификация самого поэма); 34) «Отрывки из путевых записок графа Гаранского» (1853; 120 строк; сатирическая поэма); 35) «Затворница. Сон» (сокращенная редакция незавершенной поэмы «Мать», представляющая, в сущности, самостоятельное произведение; 1877; 72 строки).

Итак, к числу поэм Некрасова мы относим 35 произведений.

²⁸ Иначе определена жанровая структура «Филантропа» в другой статье Б. Я. Бухштаба: «Филантроп» — новелла вполне в духе «натуральной школы» — по типам, по сюжетным ситуациям, по трагикомическому тону» (Б. Я. Бухштаб. Некрасов и петербургские филантропы. (К истории стихотворения Н. А. Некрасова «Филантроп»). — Уч. зап. Горьковского ун-та, вып. 72. Горький, 1964, с. 299).

²⁹ См.: Е. Н. Ананьева. Н. А. Некрасов — создатель народно-геронической поэмы. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1954, с. 2.

³⁰ М. Гинн. От факта к образу и сюжету. О поэзии Н. А. Некрасова. М., 1971, с. 204. Ср. также: К. И. Чуковский. Мастерство Некрасова, гл. «Железная дорога».

IV. Степень изученности стиха Некрасова

В весьма обширной русской и зарубежной научной литературе, посвященной исследованию творчества Некрасова, есть ряд работ, связанных с изучением тех или иных сторон его художественного мастерства.³¹ Среди них, в первую очередь, серьезного внимания заслуживают статьи Б. М. Эйхенбаума «Некрасов»³² и Ю. Н. Тынянова «Стиховые формы Некрасова»,³³ а также упоминавшаяся монография К. И. Чуковского «Мастерство Некрасова».

В сравнительно небольших работах Эйхенбаума и Тынянова поставлен целый ряд проблем, до сих пор ожидающих своего решения. Они касаются принципиально важных аспектов и граней поэтического стиля Некрасова, не минуя и специальных стиховедческих вопросов. В то же время систематическое описание и анализ метрико-ритмических и строфических форм некрасовского стиха в этих исследованиях отсутствуют. Последнее полностью относится и к книге Чуковского: чисто стиховедческий подход к анализу поэтических произведений вообще не занимал основного места в литературоведческих трудах этого выдающегося ученого.

В 1939 г. И. Н. Розанов сделал первую попытку статистической классификации метров Некрасова в сопоставлении с аналогичными материалами по стиху многих русских поэтов от эпохи Ломоносова до середины XIX века.³⁴ К сожалению, Розанов пользовался лишь прижизненными сборниками избранных авторов (да и то далеко не всеми) и давал подсчет только по произведениям (важные результаты построчной статистики остались за пределами его интересов³⁵), а также не выделял монометри-

³¹ См.: М. М. Гин, В. Е. Евгеньев-Максимов. Семинарий по Некрасову. Л., 1955 (раздел «Стих Некрасова»); Н. Степанов. Изучение поэтического мастерства Некрасова. — «Русская литература» (далее — РЛ), 1958, № 3; Р. Ю. Данилевский. Новые тенденции в зарубежных работах о Некрасове. — Некрасовский сборник, IV. Л., 1967; К. П. Дульнева. Г. М. Рудяков, Л. П. Новикова. Библиография литературы о Некрасове за 1953—1958 годы. — Некрасовский сборник, вып. III. Л., 1960; К. П. Дульнева. Библиография литературы о Некрасове за 1959—1969 гг. — В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. 1821—1971. М., 1971; В. И. Кулешов. Н. А. Некрасов (Заметки о тематике и проблематике изучения). — Вестник Московского ун-та, 1971, № 6.

³² См.: Б. Эйхенбаум. Некрасов. — В кн.: Его же. О поэзии. Л., 1969.

³³ См.: Ю. Тынянов. Стиховые формы Некрасова. — В кн.: Его же. Архаисты и новаторы. Л., 1929. Постановку вопроса об основных тенденциях стихотворного стиля Некрасова см. еще: И. Виноградов. Борьба за стиль. Л., 1937, с. 155—165.

³⁴ См.: И. Розанов. Стихотворные размеры в донекрасовской поэзии и у Некрасова. — В кн.: Творчество Некрасова. Сборник статей, вып. III. М., 1939.

³⁵ Ср.: В. Никонов. Стиховедение сегодня. — «Литературная учеба», 1941, № 2.

ческих конструкций той или иной стопности, вольных классических размеров и совершенно игнорировал проблему полиметрических композиций.³⁶

Другая специальная работа о стихе Некрасова принадлежит перу Б. В. Неймана.³⁷ Эта статья, интересная отдельными наблюдениями, методологически выглядела старомодно уже для 1960 года: Нейман — принципиальный противник всяких подсчетов, его работа перенасыщена рядом совершенно излишних терминов и понятий («отступление от метра», «пиррихий», «спондей», «трибрахий» и т. п.) и в изучении стиха Некрасова сыграла весьма незначительную роль.

В середине 1950-х гг. в Лейпциге было опубликовано фундаментальное исследование немецкого стиховеда Г. Дудека, в котором с использованием построчной статистики подвергнуты тщательному описанию метрика, окончание, ритмика, мелодика, строфика, рифма, фоника, композиция и стилистика стиха Некрасова.³⁸ Компактно сжатые в небольшую статью результаты исследования Дудека имеют первостепенный интерес для дальнейшего изучения поэтической системы Некрасова. При этом надо, однако, отметить: Дудек не делает подсчета размеров по произведению; отсутствует у него подробное диахроническое описание метрического репертуара, взятого и как целое, и особенно в аспекте соотношения монометрических и полиметрических композиций по периодам творчества поэта; внимания исследователя не привлекает важнейшая для стиха Некрасова проблема типологии полиметрических композиций, которые рассмотрены бегло, без необходимой детализации и тщательного описания каждой полиметрической структуры; наконец, справочный материал не сведен в специальные таблицы и индексы. К этому кратко охарактеризованному исследованию немецкого филолога нам придется еще возвращаться в дальнейшем, в связи с некоторыми частными вопросами некрасовской поэтики.

Работами Розанова, Неймана и Дудека исчерпывается библиография исследований, посвященных общей характеристике стиха Некрасова.

³⁶ См.: П. А. Руднев. Из истории метрического репертуара русских поэтов XIX — нач. XX вв. — В кн.: Теория стиха. Л., 1968, с. 113 (далее: Из истории метрического репертуара).

³⁷ См.: Б. В. Нейман. Стих Некрасова. — В кн.: Некрасов в школе. М., 1960; к числу работ, связанных с задачей общей характеристики стиха Некрасова, следует отнести и тезисы одной из новейших: А. Л. Жовтис. К характеристике «некрасовского голоса». — В кн.: Некрасов и русская литература.

³⁸ См.: G. Dudek. Intonation, Rhythmus und Versmaß in der frühen Lyrik Nekrassows. — Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität. Leipzig. Gesellschaft und sprach wissenschaftliche Reihe, 1955/56, Jg. 5, Heft 2.

Заметно лучше обстоит дело с изучением ритмики Некрасова. Специфика ритмики некрасовских ямбов и хореев на широком историко-литературном фоне эволюции русских двусложников исследована в известной монографии К. Ф. Тарановского, который довел до современного уровня дело изучения ритмики русского классического стиха, начатое Андреем Белым.³⁹ Конечно, статистика Тарановского, вскрывающая общие закономерности развития ритмики русских двусложников XVIII—XIX вв., нуждается в детализации применительно к описанию индивидуальной ритмической системы того или иного поэта, на чем справедливо настаивает Дудек и что превосходно показал сам Тарановский, давший диахронический анализ ритмических форм стиха Осипа Мандельштама.⁴⁰ Не надо и напоминать о том, сколь важную роль сыграл Некрасов в обогащении метрического репертуара русской поэзии трехсложными размерами. Между тем, первая специальная работа по данной проблеме, изложенная ее автором М. Л. Гаспаровым в тезисной форме, появилась только в 1971 году.⁴¹

Много писалось и пишется о ритмике отдельных произведений Некрасова. Это — либо специальные статьи, крайне неравноценные по своим научным качествам, либо многочисленные замечания, рассыпанные по страницам отдельных работ.⁴² Из специальных статей выделяются исследования С. А. Рейсера, выполненные на уровне лучших традиций современного стиховедения и далеко выходящие по своему общетеоретическому

³⁹ См.: А. Белый. Символизм. М., 1910 (статьи о четырехстопном ямбе); К. Тарановский. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953; см. еще: М. М. Гиршман. Стих Н. А. Некрасова и проблемы ритмической эволюции двусложных размеров в русской поэзии. — В кн.: Некрасов и русская литература; М. Г. Тарлинская. Акцентная дифференциация односложных слов и их структурная функция в русском ямбе. — Там же.

⁴⁰ См.: Кирилл Тарановский. Стихосложение Осипа Мандельштама. «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics», V, 1962, ждет своей публикации глубокое и оригинальное исследование: В. С. Баевский. Об эволюции стиха лирики Некрасова (пятистопный хорей), прочитанное в форме доклада на заседании кафедры русской литературы ТГУ, посвященном 150-летию со дня рождения Некрасова в декабре 1971 года. Методологию подхода Баевского к исследованию русского классического стиха см. в его работе «К изучению ритмики (акцентологии) русского стиха» (Уч. зап. Смоленского пед. ин-та, т. X, Брянск, 1970).

⁴¹ См.: М. Л. Гаспаров. Ритмика трехсложных размеров в русской поэзии. — В кн.: Некрасов и русская литература; см. еще: О. А. Орлова. Особенности трехсложных размеров в поэзии Некрасова и Полонского. — Там же. На упомянутом выше заседании кафедры русской литературы ТГУ были доложены новейшие исследования: В. Е. Холшевников. Слово-разделы в трехсложниках Некрасова и стопная теория русского стиха; М. Л. Гаспаров, М. Н. Тарлинская. Ритмика трехсложных метров Некрасова и позднейших поэтов.

⁴² См., напр., Н. Степанов. Н. А. Некрасов. Критико-биографический очерк. М., 1962, сс. 202—203; 237—238; 252—258 и др.

диапазону за пределы тем, вынесенных в их заглавия.⁴³ Особенно это касается статьи, посвященной исследованию словаря трехстопного ямба поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Здесь в результате тщательного описания ритмических форм, слово-раздельных вариаций, внеметрических отягчений, каталектики, слововместимости данного метра при умелом использовании вероятностно-статистических подсчетов Рейсером продемонстрировано на конкретном ритмико-словарном материале действие закона единства и тесноты стихового ряда, который в общем виде был сформулирован Ю. Н. Тыняновым еще в начале 1920-х годов.⁴⁴

Ряд чрезвычайно тонких и потенциально перспективных высказываний о стихе отдельных произведений разных жанров находим в исследованиях Б. Я. Бухштаба.⁴⁵

Сравнительно недавно, если не считать отдельных проницательных суждений Б. М. Эйхенбаума в статье «Некрасов», предметом специальных описаний и анализа стали полиметрические композиции Некрасова.⁴⁶ Это — тема, почти неисчерпаемая по своим возможностям.

⁴³ См.: С. А. Рейсер: 1) Словарь трехстопного ямба поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 236. Тарту, 1969; 2) Строфа в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — В кн.: Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969. О генезисе стиха поэмы см. еще: К. Д. Вишневский. Об истоках стиха поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». — В кн.: Некрасов и русская литература. По строфике Некрасова, помимо названной выше статьи Дудека, можно, кажется, указать только две специальные работы: М. А. Пейсахович. Двустипные формы в поэзии Некрасова. — «Филологические науки» (далее: ФН), 1971, № 6; В. С. Баевский. Типы строфической организации стихотворений Некрасова (в печати).

⁴⁴ См.: Ю. Тынянов. Проблемы стихотворного языка, с. 66—67 и др.

⁴⁵ См.: Б. Я. Бухштаб. 1) Начальный период сатирической поэзии Некрасова; 2) Сатира Некрасова в 1846—1847 годах; 3) Сатирическая поэзия Некрасова в годы «цензурного террора». — Некрасовский сборник, вып. IV. Л., 1967; 4) Некрасов и петербургские филантропы (К истории стихотворения Н. А. Некрасова «Филантроп»); 5) К истории стихотворения Некрасова «Катерина». — В кн.: Б. Я. Бухштаб. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. М., 1966, сс. 91, 100, 101, 107.

⁴⁶ См.: П. А. Руднев. 1) Из истории метрического репертуара, с. с. 117; 121; 122—126; 127; 2) Вопросы стилистики стиха. — Тезисы докладов IX Межвузовской научной конференции МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1968; 3) Метрика А. Блока. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филолог. наук. Тарту, 1969, сс. 9, 13, 17; 4) О соотношении монометрических и полиметрических конструкций в системе стихотворных размеров А. Блока. — В кн.: Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969, с. 227; 5) Опыт описания и семантической интерпретации полиметрической композиции поэмы А. Блока «Двенадцать». — Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 266. Тарту, 1971, сс. 213—221; 6) Метрический репертуар В. Брюсова. — В кн.: Брюсовские чтения 1971 года. Ереван, 1973 (в печати); В. А. Сапогов: 1) К проблеме типологии полиметрических композиций (О полиметрии у Н. А. Некрасова и К. К. Павловой). — В кн.: Некрасов и русская литература; 2) О композиции поэмы Н. А. Некрасова «Мороз, Красный нос» (в печати). Семантический анализ полиметрических композиций требует очень

Все чаще и чаще появляются статьи и заметки, посвященные описанию экспрессивных ореолов метров Некрасова и семантическому анализу текстов его стихотворений, выполненные в общепозитическом или специально стиховедческом аспектах на серьезном профессиональном уровне.⁴⁷

В связи с растущим в последние годы интересом к проблемам поэтической лексикографии, имеется несколько публикаций, связанных с изучением словаря поэзии Некрасова. Среди них — наибольшим методологическим значением обладает статья В. П. Григорьева.⁴⁸

Наконец, отметим новейшие работы, в которых ставятся и решаются проблемы традиции некрасовского стиха в поэзии XX века и советского периода.⁴⁹

Сделанный нами обзор состояния проблемы свидетельствует о том, что дело изучения стиха Некрасова заметно движется вперед; несмотря на печальные «издержки производства», к сожалению, имеющиеся здесь в достаточном количестве.⁵⁰ Отсюда

точного предварительного описания и весьма осторожного подхода к проблеме соотнесения метра и смысла. Примером прямолинейно-вульгаризаторского решения вопроса о стилевой системе полиметрической структуры поэмы Некрасова «Современники» является уже упоминавшаяся по другому поводу статья В. Г. Прокшина «Стиль поэмы Н. А. Некрасова «Современники» (см. примеч. 23).

⁴⁷ См.: И. Г. Ямпольский. Стихотворение Тургенева «Перед охотой» и «Псовая охота» Некрасова. — В кн.: Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева, V. JL, 1969, с. 209; см. также в кн.: Некрасов и русская литература: Л. М. Маллер. Семантика трехсложных размеров Некрасова; Е. Г. Эткинд. Элементы прозы в поэме Некрасова и проблемы симфонической композиции; С. И. Гиндин. Семантический анализ композиционной структуры лирических текстов Некрасова; М. Левин. Текст и сюжет (анализ одного стихотворения Некрасова); А. К. Байбурин, Г. А. Левинтон, П. А. Руднев. Некоторые аспекты описания и анализа поэтического текста; Г. М. Мучник. Ключевая интонация «Последних песен»; П. А. Руднев. Метр и смысл. — В кн.: *Metryka Słowiańska*. Wrocław, 1971; см. также большой материал, связанный с различными аспектами изучения лирики Некрасова в работах: Б. О. Корман: 1) Лирика Некрасова. Воронеж, 1964; 2) Лирическая система Некрасова. — В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. 1821—1971. М., 1971.

⁴⁸ См.: В. П. Григорьев. Словарь Некрасова в контексте проблем поэтической лексикографии. — ИАН СЛЯ, 1971, вып. 5; Г. Г. Мельниченко. О принципах составления словаря Н. А. Некрасова. — В кн.: Вопросы русского языка. Вып. III. Язык Некрасова. Ярославль, 1969.

⁴⁹ Из новейших работ см.: В. П. Гончаров. Некрасов и Маяковский (К проблеме традиций и новаторства в стихе). — В кн.: Некрасов и русская литература; Л. В. Вразовская. Место народного стиха в поэмах Н. А. Некрасова и современной русской поэме. — Там же.

⁵⁰ То, что названо мною «издержками производства» в изучении стиха Некрасова, связано с тем, что современный исследователь справедливо определяет как «кустарщину» в стиховедении (см.: В. Е. Холшевников. Стихосложение Пушкина. — В кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.—Л., 1966, с. 353). Ограничусь одним примером. В 1963 году на страницах журналов «Русская литература» и «Вопросы литературы» разыгралась поле-

ясно и то, сколь своевременно и научно актуально предпринятое автором предлагаемой работы полное (синхронное и диахроническое) описание метрического уровня системы Некрасовского стиха.⁵¹

мика о том, какими размерами написаны такие произведения Некрасова, как «Дешевая покупка», «Коробейники», «Орина, мать солдатская». Ф. Прийма полагает, что метр этих произведений — трехстопный анапест (см.: РЛ, 1963, № 1, с. 152). На это резонно откликнулся С. Рейсер, который внес ясность в этот достаточно элементарный вопрос: метры этих произведений (соответственно) — четырехстопный дактиль и два четырехстопных хоря (см.: ВЛ, 1963, № 8, с. 244). Однако Ф. Прийма упрекнул С. Рейсера в «догматизме» и стал доказывать, что «Коробейники», «Орина, мать солдатская» и «Рыцарь на час» написаны «своеобразным хореем», где «сильно обозначилась не только дактилическая тенденция, но и <...> элементы анапеста» (? — П. Р. См.: РЛ, 1963, № 4, с. 242). В позднейших работах Ф. Примы подобное описание метрической системы продолжается. По его мнению, четырехстопным хореем у Некрасова написано лишь одно стихотворение «Осень» (см.: Некрасовский сборник, вып. IV, с. 37, 38), в то время как — см. об этом в нижеследующих главах данной работы — только в монометрии Некрасова налицо 47 произведений Х4 и среди них такие важнейшие, как «Филантроп», «Перед дождем», «Влас», «Орина...», «Школьник», «Песня Еремушке», «Коробейники» и мн. др.

⁵¹ Настоящая статья сдана в производство в январе 1972 г. В течение 1972—1974 гг. был опубликован ряд исследований, посвященных стиху Некрасова. Укажу наиболее важные из них: К. Д. Вишневский. Метрика Некрасова и ее жанрово-экспрессивная характеристика. — В кн.: Проблемы жанрового развития в русской литературе XIX века. Рязань, 1972; В. С. Баевский: 1) Типы строфической организации стихотворений Некрасова; 2) Песенные структуры в некрасовском стихе. — В кн.: Некрасовский сборник. Калининград, 1972; М. Г. Тарлинская. Некоторые особенности ритмического стиля Некрасова. — «Филологические науки», 1972, № 5; М. А. Пейсахович. Строфика Некрасова. — Некрасовский сборник, V, Л., 1973; М. Л. Гаспаров. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974 (гл. IV). Непосредственным продолжением моей статьи, напечатанной в данном выпуске Уч. зап. ТГУ, явится работа «Полиметрические композиции Некрасова» (см. в кн.: Некрасовский сборник, вып. II, Кострома — в печати). В заключение приношу глубокую благодарность Б. Я. Бухштабу и С. А. Рейсеру, чьи дружеские советы в изучении стиха Некрасова мне всегда оказывают очень существенную помощь.

МЕТРИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР И. АННЕНСКОГО (МАТЕРИАЛЫ К МЕТРИЧЕСКОМУ СПРАВОЧНИКУ)

М. Ю. Лотман

Предлагаемый метрический справочник охватывает 327 оригинальных и переводных стихотворных произведений И. Анненского (12 015 строки), помещенных в однотомнике «Большой серии» библиотеки поэта.¹ Несмотря на то, что это издание — лучшее из всех до сих пор существовавших, оно является далеко не полным. В нем отсутствуют юношеские стихотворения, поэма «Магдалина» и многочисленные переводные драмы. Настоящий справочник, естественно, имеет те же пробелы, которые, однако, его автор надеется устранить в ходе дальнейшей работы по изучению поэтики Анненского. Стихотворное наследие Анненского стиховедчески следует разделить на 4 группы:

I Оригинальные МК.

II Переводные МК.

III Оригинальные ПК.

IV Переводные ПК (Группа IV, представленная переводными драмами, как уже было оговорено выше, в предлагаемом справочнике не учтена).

Поскольку большинство стихотворений Анненского не датировано и датировка их представляет самостоятельную сложную проблему, в предлагаемой работе дается только синхронное описание метрического наследия поэта.

I

В оригинальном творчестве Анненского МК и ПК занимают примерно одинаковое место (соотв. — 40,9 и 59,1% от общего числа строк).

¹ Иннокентий Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., 1959. Все цитаты даются по этому изданию с указанием в скобках страницы основного текста.

Этим метрический репертуар Анненского отличается от метрики большинства современных ему поэтов, у которых ПК занимают явно подчиненное положение, что видно из следующей сравнительной таблицы.²

Ф и г. 1.

		произвед.	строк
Анненский	МК	97,6	40,9
	ПК	2,4	59,1
Блок	МК	97,5	88,7
	ПК	2,5	11,3
Белый	МК	97,9	95,3
	ПК	2,1	4,7
Брюсов	МК	97,4	89,3
	ПК	2,6	10,7

Даже по сравнению с такими поэтами-полиметристами, как Некрасов и К. Павлова, ПК Анненского в системе его стиха обладают большим удельным весом:³

Некрасов: 3,4 35,4⁴

К. Павлова: 9,3 45,1⁵

На основании сравнительного анализа метрических систем А. Блока, В. Брюсова и А. Белого П. А. Руднев сделал «очень существенный вывод, касающийся метрических систем всех трех сопоставленных поэтов: классические и неклассические размеры дают резко неодинаковое соотношение в пределах каждой из двух метрико-композиционных структур, при этом — во всех

² Данные по стиху Блока, Брюсова и Белого извлечены из работ: П. А. Руднев: 1) Метрический репертуар А. Блока. В сб.: Блоковский сборник, П. Тарту, 1972, с. 218—267. 2) Метрический репертуар В. Брюсова В сб.: Брюсовские чтения 1971 года. Ереван, 1973, с. 309—349. Далее эти источники специально не оговариваются.

³ Сделанный вывод характерен только для показателя по числу строк. По числу произведений ПК занимают в поэтической системе Анненского примерно столько же места, сколько у Блока, Белого и Брюсова, и меньше, чем у Некрасова и К. Павловой. Это объясняется жанровой характеристикой ПК. ПК Анненского — преимущественно драма, в то время как у остальных поэтов это в основном произведения т. наз. «малых» и «средних» жанров.

⁴ П. А. Руднев. Метрический репертуар Некрасова (см. стр. 93 и след. настоящего сборника). Все показатели по метрике Некрасова приводятся далее по этой статье.

⁵ В. А. Сапогов. О полиметрических композициях Каролины Павловой. — В кн.: XXIII Герценовские чтения. Краткое содержание докладов. Л., 1970.

случаях — в пользу явного преобладания неклассики в системе ПК.»⁶

Проверим, насколько справедлив этот вывод для метрики Анненского. Табл. II дает прямо противоположные в этом смысле данные: и в МК, и в ПК преобладают КЛ, более того, в МК НКЛ несколько больше, чем в ПК (соотв. 10,8% и 10,1%). Однако, как мы в дальнейшем попытаемся показать, ПК Анненского совмещают в себе две традиции, характерные для русского драматического стиха: пятистопнымбическую и полиметрическую. Поэтому, чтобы получить «чистые» ПК, нужно из их общего строчного состава вычесть пятистопнымбические строки. Полученные в результате этой операции данные (Табл. III-а) вскрывают совершенно иную реальность. НКЛ занимают в ПК Анненского 47,2% (у Блока — 49,7, у Белого — 44,7, у Брюсова — 41,2). Однако, если по распределению КЛ и НКЛ ПК Анненского напоминают ПК Блока, Белого и Брюсова, то распределение двух- и трехсложников внутри КЛ в них совсем иное: в ПК Блока и Брюсова явное предпочтение отдается двусложникам, в ПК Анненского частота встречаемости этих метров дает примерно одинаковые показатели (соотв. — 26,6 и 26,2). При сопоставлении с данными табл. IV выясняется, что и для оригинальных МК Анненского характерен такой же высокий процент трехсложников — 26,5 (ср. у Некрасова — 27,5).

В итоге, Анненский-лирик оказался мало связан с русской полиметрической традицией, а Анненский-драматург, в той мере, в которой он к ней примыкает, развивает одну из её существенных особенностей — резкое возрастание роли НКЛ. Распределение двух- и трехсложников внутри КЛ позволяет более точно определить место метрики Анненского в истории русского стиха: она занимает положение, среднее между метрикой русских символистов (Блок, особенно, — Брюсов), ориентировавшейся преимущественно на «пушкинскую» традицию двухсложников, и «некрасовской» традицией трехсложного стиха.

II

Оригинальные ПК Анненского включают 6 произведений, 6052 строки (соотв. — 2,4 и 59,1%). Из них 4 произв., 5949 строк, приходится на трагедии и 2 произв., 103 строки, — на произведения малых жанров.

В развитии русского драматического стиха можно выделить «три ведущих тенденции: 1) пятистопнымбическую, 2) вольно-

⁶ П. А. Руднев. Метрический репертуар В. Брюсова.

ямбическую, 3) полиметрическую».⁷ Интересное явление с этой точки зрения представляют трагедии Анненского, соединяющие в себе пятистопноямбическую и полиметрическую тенденции. (Аналогично построены «Русалка» А. С. Пушкина, «Дон Жуан» А. К. Толстого, «Снегурочка» А. Н. Островского,⁸ «Манфред» И. А. Бунина⁹ и др.). Пятистопноямбическая тенденция в трагедиях Анненского при этом доминирует: 4752 строки — (78,4%) представляет Я5. Этим метром во всех трагедиях поэта (кроме «Фамиры-кифарэда») написаны диалогические сцены и монологи. Партии хора и диалоги хора с корифеем представляют собой инометрические вставки. Такое построение лишь дважды нарушается:

1) В «Царе Иксионе» (375):

Иксион (*в бреду*)

Гей... Лови их...

Пересчитай... Они сгорят... сгорят...

Их было двадцать семь,

Их было двадцать семь,

Их было двадцать семь!

2) В «Лаодамии» (505) со строками Я5 чередуются строки Я2 и Я4 цн 1.

В обоих случаях перебой метра ярко семантизирован.

В «Фамире-Кифарэде» Я5 свободнее чередуется с инометрическими вставками, и (по словам самого автора) «в одной сцене действующие лица отказываются говорить стихами, по крайней мере некоторые» (511).

Интересно проследить, как изменялось соотношение метров в ПК драм Анненского. В табл. III-6 ПК расположены в хронологическом порядке. Отметим некоторые тенденции в диахроническом изменении их метрического репертуара:

1) Трагедии Анненского становятся все «полиметричнее». В структуре «Меланиппы-философа» смена метра в среднем осуществляется через каждые 79 строк, в структуре «Царя Иксиона» — через 60, «Лаодамии» — через 49, «Фамиры-Кифарэда» — через 32 строки.

2) Одновременно, но значительно менее резко, падает процент Я5: соответственно — 83,5 — 83,4 — 76,3 — 75,9.

⁷ П. А. Руднев. О стихе драмы А. Блока «Роза и Крест». — Уч. записки Тартуского ун-та, вып. 251, Тарту, 1970, с. 295.

⁸ См.: П. А. Руднев. О стихе драмы А. Блока «Роза и Крест», с. 297.

⁹ См.: А. Белоусов. О метрическом репертуаре поэзии И. А. Бунина. — В кн.: Русская филология. Сборник научных студенческих работ. Тарту, 1971, с. 49.

3) С другой стороны, процент остальных ямбов увеличивается; если в «Меланиппе» его не было совсем, то в «Царе Иксионе» он составил 1,5%, в «Лаодамии» — 2,0% и в «Фамире» — 7,0%.

4) Имеет тенденцию увеличиваться и число типологических разновидностей различных размеров, встречающихся в трагедиях: в «Меланиппе» — 8, в «Царе Иксионе» — 12, в «Лаодамии» и в «Фамире» — по 15.

5) Резкий переход от «Лаодамии» к «Фамире» наблюдается в эволюции 3-сложников: если метрический репертуар первых трех трагедий дает общую тенденцию к увеличению количества 3-сложников, то стих «Фамиры» обнаруживает наименьший процент их встречаемости: 3,1—7,6—8,3—1,1.

6) Сложно изменяется удельный вес неклассических размеров: 9,0—4,4—13,4—13,1. Причем, если в «Меланиппе» и в «Царе Иксионе» наиболее часто встречается Дк (соответственно — 4,6 и 3,4) то в «Лаодамии» — Тк (7,2), а в «Фамире» — логэды (6,7).

Сравним метрический репертуар трагедий Анненского с метрическим репертуаром ПК драматургии Блока.¹⁰

Фиг. 2.

	Я5	проч. Я	Х	всего 2-сл.	3-сл.	НКЛ	Всего
Анненский	78,4	2,6	2,6	83,6	6,5	9,9	100
Блок	19,6	9,0	3,5	32,1	9,5	58,4	100

Основное различие в метрическом репертуаре ПК драматургии Анненского и Блока в том, что у Анненского *доминирующий метр* — Я5(78,4), а у Блока — ДкВ (в «Розе и Кресте» — 64,5; в «Незнакомке» — 82,1). Это различие имеет глубокие корни. Анненский ориентировался в своих драмах на античность (преимущественно на Еврипида), а Блок — на западноевропейскую культуру (сказанное в первую очередь относится к «Розе и Кресту»). Отсюда — и разница в выборе доминирующих метров. Белыми Я5 Анненский переводил Еврипида. Используя Я5 в качестве эквивалента античного ямбического триметра, Анненский приспособливал метр оригинала к традиции русского драматического стиха. В его оригинальных трагедиях Я5 также остался сигналом античного стиха. Белый ДкВ утвер-

¹⁰ Данные по метрике драм Блока взяты из статьи П. А. Руднева «О стихе драмы А. Блока «Роза и Крест», с. 330.

дился в русской стихотворной традиции того времени в качестве эквивалента *vers libre*. Он связан с общей ориентацией на западноевропейскую культуру, и в первую очередь, — через «романтическую иронию» — на русскую традицию передачи поэзии немецкого романтизма — Гейне, либретто опер Вагнера. Известно, что «Роза и Крест» вначале была задумана как оперное либретто.¹¹ Через призму русской метрики в трагедиях Анненского преломлялась метрическая система античности, а в драмах Блока — западноевропейская.

ПК так называемых «малых жанров» в поэзии Анненского представлены двумя произведениями: «Рождение и смерть поэта» (75 строк) и «Кэк-уок на цимбалах» (38 строк).

Кантата «Рождение и смерть поэта» рассчитана на исполнение различными голосами, причем большинство голосов имеют индивидуальную метрическую характеристику (например, ария Баяна передана трехиктным тактовиком, имитирующим народный стих; кантата завершается арией, написанной Я2 — метром, широко распространенным в качестве эквивалента античного адония в трагедиях Анненского и только один раз встречающегося в МК). Основное отличие кантаты от прочих ПК состоит в том, что ни один из входящих в нее метров не является доминирующим в пределах структуры текста.

«Кэк-уок на цимбалах» интересен в первую очередь тем, что его звенья имеют конструктивно разомкнутый характер.¹² Эта ПК состоит из двух логаядических метров, один из которых является доминирующим, и ХЗ. Разомкнутость звеньев обнаруживается не только на границе логоэдов, имеющих сходную структуру, но и на стыках логаядических звеньев с ХЗ.

В струнах, полных холода, холода
Пели волны молодо, молодо,
И буруном
Гул по струнам
Следом пролетал.

С звуками кэк-уока,
Ожидая мокка ... (176)

Последняя строка логаядического звена («Следом пролетал») в последующем хореическом контексте воспринимается как ХЗ.

В обоих случаях ПК малых жанров обнаруживают отчетливую связь с музыкальной структурой и имитируют смену мелодии.

¹¹ П. А. Руднев. О стихе драмы А. Блока «Роза и Крест» с. 301, 306.

¹² О разомкнутых ПК см.: П. А. Руднев: 1) Метрический репертуар А. Блока; 2) Метрический репертуар В. Брюсова; 3) Метрический репертуар Некрасова.

Рост удельного веса полиметрии в драмах Анненского — свидетельство осознания им жанровой специфики композиций этого типа.

III

На долю МК в поэзии Анненского приходится 321 произведение (из них 245 оригинальных и 76 переводных), 5963 строки (из них 4204 оригинальных и 1759 переводных), т. е. подавляющее большинство произведений и около половины строк, представленных в описываемом издании.

При сопоставлении метрики оригинальных произведений Анненского с его переводами выясняется ряд любопытных закономерностей. (Проблему соотношения метров переводов с их оригиналами на данном этапе исследования мы оставляем в стороне. Переводы здесь будут рассмотрены как другие тексты на русском языке).

В оригинальных произведениях Анненского НКЛ встречаются вдвое чаще (табл. IV и XI), чем в его переводах. По употреблению НКЛ в оригинальных произведениях Анненский приближается к Блоку, Белому и Брюсову. Ср.: 10,8 у Анненского, 13,9 у Блока, 11,0 у Белого и 13,2 у Брюсова (все данные — построчные).

Количество трехсложников в оригинальных произведениях также почти вдвое превышает число трехсложников в переводах (соотв. — 26,5 и 16,7 от общего числа строк в МК). Здесь Анненский превосходит Блока, Белого и Брюсова и может сравниться с Некрасовым — 27,5.

Все это свидетельствует о большей консервативности в области метрики Анненского-переводчика по сравнению с Анненским-автором оригинальных произведений.

Из классических метров наиболее употребителен ямб (44,5 произв., 41,2 строк — в оригинальных и 64,5 произв., 63,4 строк — в переводных). На втором месте — хорей (соответственно — 20,0; 21,7 и 10,5; 16,2). Далее по оригинальным и переводным текстам данные расходятся. В оригинальных на третьем месте Ан (15,9; 14,2), в переводах — Ам (7,9; 7,0); на четвертом месте в оригинальных текстах Ам (9,0; 8,6), а в переводах — Ан (6,6; 5,3). Наконец, наименьший процент встречаемости дает Д — (соответственно — 4,1; 3,5 и 3,9; 3,3). Таким образом, Анненский — поэт преимущественно ямбический, причем в оригинальном творчестве он предпочитает Я4, а в переводах — Я6 (см. табл. VI).

Сопоставление этих данных с некоторыми тенденциями метрического движения поэзии XIX в. подтверждает намеченный выше вывод, что Анненский в своем оригинальном творчестве продолжает одновременно и так называемую «пушкин-

скую» традицию (Пушкин — Баратынский — Вяземский — Тютчев), о чем свидетельствует преобладание двухсложников и в них ямбов, и так называемую «некрасовскую» традицию (Некрасов — А. Толстой — Фет), что выражается в довольно частом, для начала XX века, употреблении 3-сложников. Что касается переводов, то здесь сказывается только «пушкинская» традиция.

Согласно разработанной в указанных статьях П. А. Руднева типологии, классические метры делятся на: 1) равносложные, 2) неравносложные, строфически урегулированные, 3) ПМФ к вольным метрам, 4) вольные метры.

Автор предлагаемой работы отказывается от термина 2), предпочитая ему термин «позиционно урегулированные метры». Это решение мотивируется так. Метрический период¹³ не обусловлен строфой. Он может быть: 1) меньше строфы (Напр.: «Черная весна», стр. 143, — Я43 четверостишия этого стихотворения состоят из двух метрических периодов), 2) равен строфе (Например: «Если больше не плачешь, то слезы сотри...» — Ан443344), 3) больше строфы (например: «Декорация», стр. 82, — АН 43333. Метрический период здесь состоит из двух стрóf). Все это свидетельствует о том, что регулятором метра является не строфа, а позиция, занимаемая строкой. Если нам дана формула метра (напр. Я4342) и порядковый номер строки (напр. 12), то мы можем безошибочно определить размер этой строки (Я2) вне зависимости от положения этой строки в строфе.

Позиционно урегулированными могут быть и НКЛ (напр. «Impression fausse», стр. 271).

Дефиниция «ПМФ к вольным метрам» принята в рабочем порядке.

Таким образом, внутри системы КЛ выделяются четыре подсистемы:

- 1) равноиктные метры,
- 2) неравноиктные, позиционно урегулированные,
- 3) ПМФ к вольным,
- 4) вольные.

Посмотрим, как реализуются эти подсистемы классического стиха в оригинальных и переводных МК Анненского.

Сравнение таблиц показывает, что 1) Х, Я и Д дают одинаковую дистрибуцию встречаемости в оригинальном и переводном творчестве Анненского, причем ямб — единственный метр, дающий полную парадигму и в оригинальных, и в переводных произведениях. 2) Ан дает резко различающиеся картины: если в оригинальных произведениях он (вместе с ямбом) представляет

¹³ Под метрическим периодом подразумевается элементарное с точки зрения симметрии сочетание строк. В случае равноиктности метра метрический период равен одной строке; в вольном метре — всему тексту.

Оригинальные				Переводные			
р	п/у	ПМФ	В	р	п/у	ПМФ	В
Х	+	—	+	—	+	—	—
Я	+	+	+	+	+	+	+
Д	+	+	—	+	+	—	—
Ам	+	—	—	+	+	—	—
Ан	+	+	+	+	—	—	—
Всего: 13 типов стиха				Всего: 11 типов стиха.			

размеры, которые реализованы во всех подсистемах, то в переводах Ан встречается лишь в составе равноиктных метров.

3) Все размеры и в оригинальном творчестве, и в переводах представлены равноиктными метрами.

4) Х ни в оригинальных произведениях, ни в переводах не представлен в подсистемах позиционно урегулированных и вольных метров.

5) Д и Ам ни в оригинальных, ни в переводных произведениях не представлены в подсистемах ПМФ к вольным метрам и вольных метров.

Из всех подсистем в метрике Анненского чаще всех встречается подсистема равноиктных метров: 82,5 произв., 79,4 строк в оригинальных и 76,2 произв., 79,5 строк в переводах.

Распределение подсистемы равноиктных метров по классическим размерам дает следующие показатели: Х: 19,1 произв., 20,8 строк в оригинальных и 7,9; 13,2 в переводных; Я: 39,9; 36,8 и 52,4; 52,2; Д: 3,7; 3,1 и 2,6; 2,5; Ам: 9,1; 8,7 и 6,6; 6,3; Ан: 10,7; 10,0 и 5,3; 4,2 (ср. данные табл. VI).

По композиционной строгости классических метров и по проценту встречаемости 2-сложников (в оригинальных произведениях) Анненский близок к Брюсову, а по распределению 3-сложников — к Блоку.

В метрическом репертуаре Анненского 17 равноиктных метров (14 в оригинальных текстах и 11 — в переводных), что показывает сравнительную бедность репертуара равноиктных метров (ср.: у Брюсова — 36, у Белого — 20, у Блока — 19). То же можно сказать и про иктовый диапазон размеров.

Анненский:

Брюсов:

(в скобках данные по переводам)

Х: 3—6 (3,4,7)

3—8

Я: 2—6 (4—6)

2—8,12

Д: 3 (3)

2—7

Ам: 2,3 (3,6)

2—5,7

Ан: 2,3 (3,4)

2—5

Из сколько-нибудь редких метров встречаются только Х7 и Ам 6 (в переводах).

Все это указывает на малую оригинальность Анненского в области использования равноиктных метров.

Позиционно урегулированные метры занимают подчиненное место в метрике Анненского по сравнению с равноиктными (5,3; 4,7 — в оригинальных и 5,2; 3,5 — в переводных), что, впрочем, характерно для большинства современных ему поэтов.

В переводах наиболее употребительны ямбические формы (2,6; 2,0), в оригинальных по количеству строк ямбы тоже выходят на первое место (2,1; 2,4), но по числу произведений и типологических разновидностей первенство принадлежит анапестам 2,8; 1,9 и 5 типологических разновидностей из 7, встречающихся в оригинальных произведениях¹⁴.

ПМФ к вольным и собственно вольные метры сравнительно редки в оригинальной поэзии Анненского (соответственно, — 4,1 произв.; 3,6 строк и 1,6 произв., 1,5 строк) и несколько чаще встречаются в переводах (7,9; 6,8 и 4,0; 5,4). Как видно из фиг. 3, вольными метрами представлены только ямб и анапест, а ПМФ к В еще и хорей.

Интересно отметить, что по частоте употребления АнВ не уступает ЯВ в оригинальных произведениях, что противоречит «пушкинской» традиции вольных метров и предвосхищает во многом традицию Белого. В переводах вольные ямбы доминируют (см. табл. VIII и IX).

Если рассматривать вольные метры с точки зрения распределения в них разноиктных строк (табл. XII А и Б), то выясняется, что ЯВ, а особенно ПМФ к ЯВ строятся на базе Я6, а в АнВ такой доминантой является Ан3.

Заканчивая рассмотрение классических метров, отметим, что они дают в сумме **38 типологических разновидностей метрических форм (29 — в оригинальных текстах, 20 — в переводах)**.¹⁵

НКЛ и ПМФ, к ним стремящиеся, дают следующий процент встречаемости: 6,5 произведений, 10,8 строк в оригинальных и 6,6; 5,0 в переводных текстах и образуют 13 типологических разновидностей (10 в оригинальном, и 5 — в переводном творчестве).¹⁶ Подобно тому, как на стр. 129 были выделены подсистемы КЛ, можно выделить и подсистемы НКЛ: 1) равноиктные НКЛ, 2) позиционно урегулированные, 3) вольные.

За исключением логоэдов, которые по определению не могут быть вольными, и *vers libre*, для которого эти признаки вообще

¹⁴ Стихотворение «И от песни, что сердце лелеет...» (221) определено нами как Ан 3332 (?), но может быть охарактеризовано и как АнВ, т. к. оно однострофное.

¹⁵ У Брюсова — 87, у Блока — 82, у Белого — 64.

¹⁶ У Брюсова — 60, у Блока — 50, у Белого — 27.

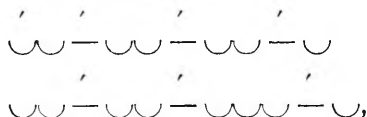
не релевантны, все НКЛ могут быть представлены во всех этих подсистемах стиха:

Ф и г. 4.

Оригинальные				Переводные			
	р	п/у	В		р	п/у	В
Лог	—	+	0		—	+	0
па2сл ¹⁷	—	+	—		—	—	—
па3сл	—	—	+		—	+	—
Дк	+	—	+		+	+	—
Тк	+ ¹⁸	—	+		+ ¹⁸	—	+
Всего: 7 типов стиха				Всего: 6 типов стиха.			

Характерной особенностью ПМФ→НКЛ Анненского является их «трехступенчатость» (Только стихотворение «Падает снег...», стр. 175 — ДВ→па3слВ имеет простую, двухступенчатую структуру).

Рассмотрим стихотворение «Вербная неделя» (103). Два первых четверостишия дают четкую ритмическую инерцию Х5556. Третье четверостишие начинается с Х6; за ней следует строка Х5, а затем две строки:



которые в общем хореическом контексте осмысляются как тактовыми. Таким образом, метр этого стихотворения следует определить как Х5556→ХВ→Тк3(?).

Наиболее спорный случай — стихотворение «Нервы» (163). Александрийский стих здесь перебивается инометрическими вставками, выделенными курсивом и рифмующимися с Я6. Напр.:

— «Не выйдешь ли к нему, мой друг? Я нездоров.»

... Ландышов, свежих ландышов

Большинство этих вставок имеют ямбическую структуру, хотя заметно их тяготение к раешнику. Таким образом, метр этого стихотворения — Я6→ЯВ→свр. (?).¹⁹

Особое и чрезвычайно важное место в стихосложении Анненского²⁰ занимают логаяды. Можно предположить, что на путях

¹⁷ па2сл встречаются только в оригинальных произведениях.

¹⁸ Встречаются только в ПМФ→НКЛ.

¹⁹ Возможна также интерпретация текста как ПК.

²⁰ Особенно в рассмотренных выше ПК.

отхода от русской стихотворной традиции XIX века логаяды Анненского играют ту же роль, что и дольники Блока, вольные трехсложники Белого, экзотические размеры Брюсова.

Логаяд, как метрическое образование, находится на границе КЛ и НКЛ. Логаяд родственен вообще всем позиционно урегулированным метрам и отличается от них тем, что в нем позицией определяется не только количество сильных мест в строке, но и порядок анакруз, междуиктовые интервалы и порядок клаузул.

Элементарная повторяющаяся часть логаяда — это метрический период. Метрический период логаяда, как и вообще метрический период (см. стр. 129), не обусловлен строфой, что побудило нас отказаться от терминов строчный и строфический логаяд, предпочитая им равноиктный и неравноиктный. Подобно тому, как равноиктные метры являются частным случаем неравноиктных, позиционно урегулированных метров, равноиктные логаяды являются частным случаем неравноиктных, т. к. их метрический период равен одной строке.

В метрике Анненского (как в оригинальной, так и в переводной) встречаются только неравноиктные логаяды, причем наиболее часты комбинации из Я4цн1 и Я2. Напр.: «Призраки», стр. 143 — Я4цн1 Я2:

○—○—○ || ○—○—○
○—○—○

«Когда б измена красу губила...» стр. 229
Я4цн1 Я4цн1 Я4цн1 Я2:

○—○—○ || ○—○—○
○—○—○ || ○—○—○
○—○—○ || ○—○—○
○—○—○

Из других НКЛ Анненского внимания заслуживают довольно редкий па2сл3 ($a = 0,1,1$): «Тоска отшумевшей грозы...» (119) и ТкВ. К последним относятся «Träumelei» (107), «Прерывистые строки» (168), «Колокольчики» (208). Первые два написаны, очевидно, под влиянием гейневских vers ilbres.

IV

Остановимся еще на одном аспекте изучения творчества поэта на уровне метрики — на изменении средней длины его произведений.

В виду того, что подавляющее большинство стихотворного наследия Анненского не датировано, мы не можем, как это сде-

лал П. А. Руднев для лирики Блока, привести таблицу диахронии средней длины стихотворений. Мы ограничиваемся указанием средней длины лирических стихотворений, характерной для того или иного метра (см. табл. XII). Это — синхрония средней длины стихотворений. Из-за отсутствия соответствующих данных по стихосложению других поэтов, ограничимся лишь самыми общими замечаниями:

- 1) С увеличением длины строки уменьшается длина стихотворения.
- 2) Средняя длина стихотворений, написанных НКЛ, больше средней длины стихотворений, написанных ПМФ, к ним тяготеющими, а средняя длина текстов, относимых нами к ПМФ, стремящимся к НКЛ, больше средней длины текстов, написанных КЛ. Т. е. с ослаблением строгости метрических признаков стиха увеличивается средняя длина стихотворения.
- 3) Переводные стихотворения не подчиняются отмеченным закономерностям.

Автор пользуется случаем выразить глубокую признательность П. А. Рудневу и Л. П. Новинской за многочисленные консультации и С. П. Рейфману за помощь, оказанную при составлении таблиц.

апрель 1971.

Условные обозначения:

МК — монометрическая композиция; **ПК** — полиметрическая композиция; **КЛ** — классические метры; **НКЛ** — неклассические метры; **р** — равноиктные метры; **п/у** — позиционно урегулированные метры; **В** — вольные метры; **ПМФ** — переходные метрические формы; **ПМФ → В** — переходные формы, тяготеющие к вольным метрам; **ПМФ → НКЛ** — переходные формы, расположенные на границе КЛ и НКЛ; **2-сл.** — двусложные метры; **3-сл.** — трехсложные метры; **Х** — хорей; **Я** — ямб; **Д** — дактиль; **Ам** — амфибрахий; **Ан** — анапест; **Лог** — логаэд; **паЗсл** — трехсложник с переменной анакрузой; **Гк** — гекзаметр; **Дк** — дольник; **Тк** — тактовик; **Свр** — раешник; **Св** — vers libre; **Х4** — четырехиктный хорей и т. п.; **Я43** — ямб с правильно чередующимися трех — и четырехиктными строками; **АнВ** — вольный анапест; **а** — анакруза; **па2сл3 (а=0, 1, 1)** — двусложник с позиционно урегулированной анакрузой; **ДкВ → ТкВ** — переходная форма от вольного долника к вольному тактову; **Я4цн1** — четырехиктный ямб с цезурным наращением на один слог; **П** — число произведений; **С** — число строк; **||** — цезура.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Табл. I. Суммарное распределение МК и ПК.

	Оригинальные				Переводные			
	П	% %	С	% %	П	% %	С	% %
МК	245	97,6	4204	40,9	76	100,0	1759	100,0
ПК	6	2,4	6052	59,1	—	—	—	—
Всего	251	100,0	10256	100,0	76	100,0	1759	100,0

Табл. II. Соотношение КЛ и НКЛ в МК и ПК.

		Оригинальные		Переводные	
		С	% %	С	% %
МК	КЛ	3752	89,2	1677	96,0
	НКЛ	452	10,8	82	4,0
Всего МК		4204	100,0	1759	100,0
ПК	КЛ	5439	89,9	—	—
	НКЛ	613	10,1	—	—
Всего ПК		6052	100,0	—	—

Табл. III. Соотношение основных метров в ПК

	2-сложн.	3-сложн.	Всего КЛ	НКЛ	Всего
С	5100	339	5439	613	6052
% %	84,3	5,6	89,9	10,1	100,0

Т а б л. III-а. Соотношение основных метров в ПК (без Я5)

	2-сложн.	3-сложн.	Всего КЛ	НКЛ	Всего
С	348	339	687	613	1300
% %	26,6	26,2	52,8	47,2	100,0

Т а б л. IV. Соотношение основных метров в МК

		2-сложн.	3-сложн.	Всего КЛ	НКЛ	Всего
Ориг.	С	2640	1112	3752	452	4204
	% %	62,7	26,5	89,2	10,8	100,0
Перев.	С	1440	274	1714	82	1796
	% %	78,5	16,7	95,2	4,8	100,0

Табл. III-б. Основные метры в ПК

Назв. метра	К ²¹	Х	Я5	проч. Я	Всего 2сл.	Д	Ам	Ан	Всего 3сл.	Всего КЛ	лог.	па 3сл.	Дк	Тк	Св	Всего НКЛ	Всего
Назв. произв.																	
1. Рождение и смерть поэ- та	10,7	—	—	49,4	49,4	—	25,3	—	25,3	74,7	—	—	—	25,3	—	25,3	100,0
2. Меланиппа- философ	78,9	4,4	83,5	—	87,9	—	2,3	0,8	3,1	91,0	2,2	2,2	4,6	—	—	9,0	100,0
3. Царь Икси- он	60,4	3,1	83,4	1,5	88,0	0,9	1,9	4,8	7,6	95,6	1,0	—	3,4	—	—	4,4	100,0
4. Лаодамия	48,7	—	76,3	2,0	78,3	5,1	1,1	2,1	8,3	86,6	2,3	3,9	—	7,2	—	13,4	100,0
5. Кэк-уок на цимбалах	9,5	21,1	—	—	21,1	—	—	—	—	21,1	78,9	—	—	—	—	78,9	100,0
6. Фамира- кифред	32,0	2,9	75,9	7,0	85,8	—	1,1	—	1,1	86,9	6,7	—	4,2	1,8	0,4	13,1	100,0

²¹ К — отношение общего числа строк в ПК к числу стихотворных звеньев.

Т а б л. V. Соотношение классических размеров в МК

		Х		Я		Д		Ам		Ап		Всего	
		П	С	П	С	П	С	П	С	П	С	П	С
	Ориг.	49	915	109	1725	10	147	22	364	39	601	229	3752
	Перев.	8	286	49	1117	3	58	6	123	5	93	71	1677
%	Ориг. ²²	20,0	21,7	44,5	41,2	4,1	3,5	9,0	8,6	15,9	14,2	93,5	89,2
	Перев. ²³	10,5	16,2	64,5	63,4	3,9	3,3	7,9	7,0	6,6	5,3	93,4	95,2

²² За 100% принимается общее к-во оригинальных МК.

²³ За 100% принимается общее к-во переводных МК.

Табл. VI. Равноиктные классические метры

Метр		Ориг.		Перев.		Метр		Ориг.		Перев.	
		П	С	П	С			П	С	П	С
1. X3		4	117	1	20	10. Я6		25	347	31	720
	%	1,6	2,8	1,3	1,1		%	10,2	8,3	40,5	40,9
2. X4		36	658	4	191	11. ДЗ		9	131	2	44
	%	14,7	15,6	5,3	10,8		%	3,7	3,1	2,6	2,5
3. X5		5	68	—	—	12. Ам2		1	11	—	—
	%	2,0	1,6	—	—		%	0,4	0,3	—	—
4. X6		2	36	—	—	13. Ам3		21	353	4	90
	%	0,8	0,8	—	—		%	8,7	8,4	5,3	5,1
5. X7		—	—	1	22	14. Ам6		—	—	1	21
	%	—	—	1,3	1,3		%	—	—	1,3	1,2
6. Я2		1	13	—	—	15. Ан2		4	80	—	—
	%	0,4	0,3	—	—		%	1,6	1,9	—	—
7. Я3		6	210	—	—	16. Ан3		22	341	4	73
	%	2,4	5,0	—	—		%	9,1	8,1	5,3	4,2
8. Я4		54	787	5	143	17. Ан4		—	—	1	20
	%	22,0	18,7	6,6	8,1		%	—	—	1,3	1,1
9. Я5		12	188	4	56	Всего		202	3340	58	1400
	%	4,9	4,5	5,3	3,2		%	82,5	79,4	76,2	79,5

Т а б л. VII. Классические неравноитные, позиционно урегулированные метры

Метр	Ориг.		Перев.		Метр	Ориг.		Перев.	
	П	С	П	С		П	С	П	С
1. Я43	5	102	—	—	7. Ан223	1	18	—	—
	% 2,1	2,4	—	—		% 0,4	0,4	—	—
2. Я44443	—	—	1	25	8. Ан3332 (?)	1	4	—	—
	% —	—	1,3	1,3		% 0,4	0,1	—	—
3. Я6663	—	—	1	12	9. Ан43	3	35	—	—
	% —	—	1,3	0,7		% 1,2	0,9	—	—
4. Д43	1	16	—	—	10. Ан43333	1	10	—	—
	% 0,4	0,4	—	—		% 0,4	0,2	—	—
5. Д65	—	—	1	14	11. Ан443344	1	12	—	—
	% —	—	1,3	0,8		% 0,4	0,3	—	—
6. Ам43	—	—	1	12	Всего	13	197	4	63
	% —	—	1,3	0,7		% 5,3	4,7	5,2	3,5

Т а б л. VIII. ПМФ в пределах КЛ

Метр		Ориг.		Перев.	
		П	С	П	С
1. →ХВ		2	36	2	53
	%	0,8	0,8	2,6	3,0
2. →ЯВ		5	70	4	64
	%	2,1	1,7	5,3	3,8
3. →АнВ		3	45	—	—
	%	1,2	1,1	—	—
Всего		10	151	6	117
	%	4,1	3,6	7,9	6,8

Т а б л. IX. Вольные классические метры

Метр		Оригинальн.		Переводные	
		П	С	П	С
1. ЯВ		1	8	3	97
	%	0,4	0,2	4,0	5,4
2. АнВ		3	56	—	—
	%	1,2	1,3	—	—
Всего		4	64	3	9,7
	%	1,6	1,5	4,0	5,4

Табл. X. ПМФ к НКЛ

Метр		Ориг.		Перев.	
		П	С	П	С
1. ДВ→паЗслВ		1	24	—	—
	%	0,4	0,5	—	—
2. АнЗ→АнВ→ДкЗ		1	14	—	—
	%	0,4	0,1	—	—
3. Д4→Дк4→Тк4		—	—	1	12
	%	—	—	1,3	0,9
4. Х5556→ХВ→ТкЗ (?)		1	12	—	—
	%	0,4	0,3	—	—
5. Я6→ЯВ→Свр. (?)		1	40	—	—
	%	0,4	1,0	—	—
Всего		4	90	1	12
	%	1,6	2,2	1,3	0,9

Табл. XI. НКЛ

Метр		Оригиналь- ные		Переводные	
		П	С	П	С
1. Лог.		3	60	1	24
	%	1,3	1,3	1,3	1,5
2. па2сл3 (a=0 ,1, 1)		1	18	—	—
	%	0,4	0,5	—	—
3. Гк		1	9	—	—
	%	0,4	0,2	—	—
4. Дк3		3	75	—	—
	%	1,2	1,8	—	—
5. Дк34		—	—	1	24
	%	—	—	1,3	1,5
6. ТкВ		2	90	1	8
	%	0,8	2,3	1,3	0,5
7. Свр.		1	50	—	—
	%	0,4	1,2	—	—
8. ПМФ: Лог.→па3сл		—	—	1	14
	%	—	—	1,3	0,6
9. ДкВ→ТкВ		1	60	—	—
	%	0,4	1,3	—	—
Всего		12	362	4	70
	%	4,9	8,4	5,3	4,1

Т а б л. XII. Средняя длина МК

Метр	Ориг.	Перев.	Метр	Ориг.	Перев.	Метр	Ориг.	Перев.
X3	29,3	20,0	Д65	—	14,0	→Тк3	12,0	—
X4	18,0	47,8	В средн. Д	14,7	19,3	→Тк4	—	12,0
X5	13,6	—	Ам2	11,0	—	→Свр(?)	40,0	—
X6	18,0	—	Ам3	16,9	22,5	В ср. ПМФ к НКЛ	22,5	12,0
X7	—	22,0	Ам6	—	21,0	Лог	19,5	24,0
→XB	18,0	26,5	Ам43	—	12,0	Дк3	25,0	—
В средн. X	18,7	35,8	В ср. Ам	16,6	20,5	Дк34	—	24,0
Я2	13,0	—	Ан2	20,0	—	Гк	9,0	—
Я3	35,0	—	Ан3	15,5	18,2	ТкВ	45,0	8,0
Я4	14,6	28,6	Ан4	—	20	Свр	50	—
Я5	15,7	14,0	Ан223	18,0	—	Лог→ па Зсл	—	14
Я6	13,9	23,2	Ан3332	4,0	—	ДкВ→ →ТкВ	60	—
Я43	20,9	—	Ан43333	10,0	—	В ср. НКЛ	30,2	17,5
Я44443	—	25,0	Ан43	11,7	—	В ср. МК	17,2	23,1
Я6663	—	12,0	Ан443344	12,0	—			
→ЯВ	14,0	16,0	→АнВ	15,5	—			
ЯВ	8,0	32,3	АнВ	18,7	—			
В средн. Я	16,0	22,8	В ср. Ан	15,5	20,5			
Д3	14,6	22,0	→паЗслВ	24,0	—			
Д43	16,0	—	→Дк3	14,0	—			

**Табл. XIII. Распределение разнонктных строк в классических
вольных метрах**

А. Оригинальные:

К-во иктов в строке	1	2	3	4	5	6	Всего
Метр							
ЯВ	—	—	37,5	25,0	—	37,5	100,0
АнВ	7,1	28,6	48,3	16,0	—	—	100,0

Б. Переводные:

К-во иктов в строке	3	4	5	6	Всего
Метр					
ЯВ	1,0	22,7	30,9	45,4	100,0

УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРНЫХ РАЗМЕРОВ ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО

1. МК

А. Оригинальные:

Х3: 106, 131, 179, 192 (4 произв., 117 строк);

Х4: 63, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 92, 99, 113, 122, 127, 132, 134, 136, 142, 145, 159, 162, 165, 166, 170, 185, 186, 187, 187, 191, 193, 197, 200, 204, 214 (36 произв., 658 строк)

Х5: 102, 103, 149, 155, 160 (5 произв., 68 строк)

Х6: 97, 137 (2 произв., 36 строк)

ПМФ к ХВ:

Х5→ХВ: 118 (1 произв., 24 строки)

Х6→ХВ: 154 (1 произв., 12 строк)

Всего Х: 49 произв., 915 строк

Я2: 225 (1 произв., 13 строк)

Я3: 81, 101, 108, 123, 178, 223 (6 произв., 210 строк)

Я4: 65, 65, 68, 68, 68, 69, 69, 70, 72, 72, 73, 78, 79, 79, 83, 83, 84, 85, 87, 93, 100, 110, 123, 129, 129, 131, 145, 146, 157, 164, 183, 185, 185, 189, 190, 190, 192, 195, 196, 198, 202, 208, 209, 211, 213, 218, 218, 219, 221, 221, 221, 222, 222, 223 (Всего: 54 произв., 787 строк)

Я5: 110, 112, 115, 125, 156, 165, 166, 182, 188, 195, 202, 224 (Всего: 12 произв., 188 строк)

Я6: 66, 72, 73, 77, 92, 99, 104, 114, 125, 133, 134, 138, 139, 147, 162, 171, 182, 194, 195, 196, 197, 212, 215, 219, 222 (Всего: 25 произв., 347 строк)

Я43: 117, 143, 188, 193, 203 (Всего: 5 произв., 102 строки)

ПМФ к ЯВ:

Я6→ЯВ: 70, 91, 98, 138 (Всего: 4 произв., 54 строки)

Я664→ЯВ: 216 (Всего: 1 произв., 16 строк)

ЯВ: 219 (Всего: 1 произв., 8 строк)

Всего Я: 109 произв., 1725 строк

Всего 2-сложных метров: 158 произв., 2640 строк.

ДЗ: 111, 113, 116, 147, 159, 183, 184, 192, 201 (Всего: 9 произв., 131 строка)

Д43: 154 (Всего: 1 произв., 16 строк)

Всего Д: 10 произв., 147 строк

Ам2: 184 (Всего: 1 произв., 11 строк)

Ам3: 66, 67, 84, 92, 111, 114, 115, 121, 140, 149, 155, 161, 165, 167, 180, 181, 209, 210, 212, 212, 215

(Всего: 21 произв., 353 строки)

Всего Ам: 22 произв., 364 строки

Ан2: 120, 126, 128, 213 (Всего: 4 произв., 80 строк)

Ан3: 77, 81, 90, 90, 93, 98, 106, 116, 118, 120, 133, 144, 146, 158, 161, 169, 170, 176, 181, 191, 199, 216 (Всего: 22 произв., 341 строка)

Ан223: 214 (Всего: 1 произв., 18 строк)

Ан3332(?): 221 (Всего: 1 произв., 4 строки)

Ан43: 87, 122, 194 (Всего: 3 произв., 35 строк)

Ан43333: 82 (Всего: 1 произв., 10 строк)

Ан443344: 201 (Всего: 1 произв., 12 строк)

ПМФ к Ан В:

Ан3→АнВ: 151 (Всего: 1 произв., 24 строки)

Ан4342→АнВ: 100 (Всего: 1 произв., 13 строк)

Ан43→АнВ: 80 (Всего: 1 произв., 8 строк)

АнВ: 152, 153, 153 (Всего: 3 произв., 56 строк)

Всего Ан: 39 произв., 601 строка

Всего 3-сложников: 71 произв., 1112 строк

Всего КЛ: 229 произв., 3752 строк

ПМФ к НКЛ:

ДВ→па ЗслВ: 175 (Всего: 1 произв., 24 строки)

Ан3→АнВ→Дк3: 160 (Всего: 1 произв., 14 строк)


Х5556→ХВ→Тк3: 103 (Всего: 1 произв., 12 строк)

Я6→ЯВ→Свр(?): 163 (Всего: 1 произв., 40 строк)

Всего ПМФ к НКЛ: 4 произв., 90 строк.

Лог: Я4цн1Я2: 143, 200 (Всего: 2 произв., 44 строки)

па2сл3 (а=0,1,1): 119 (Всего: 1 произв., 18 строк)

Лог () : 148 (Всего: 1 произв., 16 строк)

Дк3: 86, 104, 109 (Всего: 3 произв., 75 строк)

Гк(?): 175 (Всего: 1 произв., 9 строк)

ТкВ: 107, 207 (Всего: 2 произв., 90 строк)

Свр: 141 (Всего: 1 произв., 50 строк)

ПМФ внутри НКЛ:

ДкВ→ТкВ: 168 (Всего: 1 произв., 60 строк)

Всего НКЛ: 12 произв., 362 строки

Всего оригинальных МК: 245 произв., 4204 строки.

Б. Переводные:

Х3: 233 (Всего: 1 произв., 20 строк)

Х4: 230, 236, 243, 248 (Всего: 4 произв., 191 строка)

Х7: 239 (Всего: 1 произв., 22 строки)

ПМФ к ХВ:

Х5666→ХВ: 238 (Всего: 1 произв., 16 строк)

Х6→ХВ: 299 (Всего: 1 произв., 37 строк)

Всего Х: 8 произв., 286 строк

Я4: 231, 255, 280, 282, 291 (Всего: 5 произв., 143 строки)

Я5: 234, 267, 279, 279 (Всего: 4 произв., 56 строк)

Я6: 238, 247, 249, 250, 252, 258, 259, 260, 262, 264, 264, 265, 266, 270, 270, 273, 274, 281, 281, 282, 285, 285, 286, 287, 287, 293, 296, 297, 298, 301.
 (Всего: 31 произв., 720 строк)
Я44443: 254 (Всего: 1 произв., 25 строк)
Я6663: 280 (Всего: 1 произв., 12 строк)
ПМФ к ЯВ:
Я5→ЯВ: 250 (Всего: 1 произв., 20 строк)
Я6→ЯВ: 258, 294 (Всего: 2 произв., 30 строк)
Я5→ЯВ: 268 (Всего: 1 произв., 14 строк)
ЯВ: 277, 283, 294(?) (Всего: 3 произв., 97 строк)
Всего Я: 49 произв., 1117 строк.
Всего 2-сложников: 57 произв., 1403 строки.
Д3: 263, 268 (Всего: 2 произв., 44 строки)
Д65: 266 (Всего: 1 произв., 14 строк)
Всего Д: 3 произв., 58 строк.
Ам3: 235, 240, 241, 248 (Всего: 4 произв., 90 строк)
Ам6: 289 (Всего: 1 произв., 21 строка)
Ам43: 234 (Всего: 1 произв., 12 строк)
Всего Ам: 6 произв., 123 строки
Ан3: 236, 249, 267, 290 (Всего: 4 произв., 73 строки)
Ан4: 269 (Всего: 1 произв., 20 строк)
Всего Ан: 5 произв., 93 строки.
Всего 3-сложников: 14 произв., 274 строки
Всего КЛ: 71 произв., 1677 строк
ПМФ к НКЛ:
Д4→Дк4→Тк4: 235 (Всего: 1 произв., 12 строк)
Всего: ПМФ к НКЛ: 1 произв., 12 строк
Лог (Я4цн1Я4цн1Я4цн1Я2): 229 (Всего: 1 произв., 24 строки)
Дк34: 277 (Всего: 1 произв., 24 строки)
ГкВ: 232 (Всего: 1 произв., 8 строк)
ПМФ внутри НКЛ
Лог→паЗсл: 274 (Всего: 1 произв., 14 строк)
Всего НКЛ: 4 произв., 70 строк
Всего переводов: 76 произв., 1759 строк.

2. ПК

ПК-КЛ, НКЛ (>3): 88, 305, 367, 441 (Всего: 4 произв., 4536 строк)
ПК-КЛ, НКЛ (Р,3): 176 (Всего: 1 произв., 38 строк)
ПК-ст, пр (>3): 509 (Всего: 1 произв., 1408 строк)
Всего ПК: 6 произв., 6052 строки

О ДВУЯЗЫЧНОЙ ПЕРЕПИСКЕ ПУШКИНСКОЙ ЭПОХИ

И. А. Паперно

«В мое с ним (Пушкиным) время умели писать и по-французски и по-русски, — писал Чаадаев в 1850 году, — не знаю как нынче?»¹ В пушкинское время французский и русский соседствовали друг с другом в собрании писем одного лица, в переписке двух корреспондентов², в одном письме. Между тем в этот период (когда быт и искусство перемешались) частное письмо, бытовой документ, стало фактом литературы,³ закономерности выбора и смены языка в переписке проясняют роль и место каждого из языков в системе двуязычной культуры начала XIX века.

Французский был языком этикетного, ритуализованного общения, а русский — свободного, ненормированного. Именно французский был языком женских писем и писем к женщинам — в начале XIX века поведение женщины значительно строже нормировано, чем мужское.

Ситуация обращения к женщине, очевидно, прочно ассоциировалась с языком французским. Так М. С. Воронцов, передавая в русском письме к мужчине привет женщине, переходит на французский; с тем же явлением встречаемся в письмах Раевских, братьев Булгаковых «*Mille choses aux charmantes princesses...*» приписывает А. Я. Булгаков к русскому письму отцу).⁴ В женских письмах (а особенно адресованных женщинам же) чаще

¹ П. Я. Чаадаев. Сочинения и письма. Т. I, М., 1913, с. 294 (Ниже: Чаадаев, т. . . , стр. . .).

² Так П. А. Вяземский писал к жене исключительно по-русски, а княгиня В. Ф. Вяземская отвечала ему по-французски.

³ См. Ю. Н. Тынянов. О литературном факте. — «Леф», 1924, № 2; Ю. Н. Тынянов. Вопрос о литературной эволюции. — «На литературном посту», 1927, № 10; Б. М. Эйхенбаум. Литература и литературный быт. — там же; Н. Л. Степанов. Дружеское письмо начала XIX века. В кн.: Русская проза, под ред. Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума. Л., 1926; Л. Я. Гинзбург. О психологической прозе, Л., 1971; Р. М. Лазарчук. Дружеское письмо XVIII века как факт литературы. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Л., ЛГПИ им. Герцена, 1972.

⁴ Русский Архив, 1889. Ч. 2, с. 252.

встречается беспорядочное смещение языков «... Je n'ose pas encore quitter mon lit, et je pense et parle bien souvent du temps où tu étais ma garde malade! О моя Дунька! Никогда не узнаешь, сколько я тебя люблю, да и не должна знать. Genug für mich dass ich es weis <нем.> — Un seul petit mot encore, чтоб все сбросить с сердца. Ma lettre á Hélène t'a fait du chagrin ...»⁵

Если для мужского языка французский и русский были двумя кодами бинарной системы, для женского, вероятно, — разными элементами одного языка. Такое дамское смещение языков в пределах одного письма, одного высказывания воспринималось с профессиональной точки зрения как небрежность или неграмотность. «Сперва хочу с тобой побраниться, — писал Пушкин брату Льву, — как тебе не стыдно, мой милый, писать полу-русское, полу-французское письмо, ты не московская кузина ...»⁶

Мужской язык был языком более серьезного образования и давал возможность профессионального подхода к употреблению языка, столь важную для писем Пушкина, Жуковского, А. И. Тургенева, Чаадаева, Вяземского⁷.

Чтобы облечь мысли в русскую форму, нужно было совершить некоторое творческое усилие, французскую они принимали автоматически. «Я опять забыл тебе писать по-русски, как хотел сперва, — пишет Александр Карамзин брату Андрею, — право стыдно, что когда забудешься, то всегда мысли надевают французский язык.»⁸

Л. Я. Гинзбург замечает, что французский язык писем Бакунина лишал их стилистику творческого начала (правда, это уже другой период, с иной функцией письма).⁹

⁵ Из письма М. А. Мойер к Е. А. Протасовой. В кн.: Письма В. А. Жуковского, М. А. Мойер, Е. А. Протасовой. М., 1904, с. 159.

⁶ Пушкин. Полное собрание сочинений. Т. 13. М.—Л., 1937—49, с. 35. (Ниже: Пушкин, т. ... , стр. ...)

⁷ Так, Вяземский всегда исправляет в ответных письмах ошибки, допущенные женой: «А в самом деле надобно тебе приняться за грамоту. Пора! Ты уж такие отпускаешь со мною выходки, что ужас. Ты пишешь мне, que le chapeau s'étire!! Господи Иисусе Христе! Это что такое? Ты уж не слишком ли сблизилась с Евреиновым?» (Остафьевский Архив. Т. 5, вып. I. СПб., 1909, с. 25). На это Вяземская отвечает: «Si la phrase le chapeau s'étire te paraît ridicule, je la tiens de M-r Bauer, negociant français, qui me l'a faite ainsi.» (там же, с. 126). Впрочем, Вяземский исправляет не только погрешности против орфографии. Вяземская сообщает мужу: «Canaris a brûlé la flotte turque» (с. 122). Тот осведомляется: «Какой Canaris сжег турецкий флот? Уж не твой ли это крестник? Есть у греков известный Bozzaris, а о том я и не слыхивал» (с. 37). На это Вяземская невозмутимо отвечает: «Я таки Танариса не так назвала, потому что он Канарис, а все не Батцарис, которого я не знаю» (с. 142).

⁸ В кн.: Пушкин в письмах Карамзиных 1836—37 гг. М.—Л., 1960, с. 118.

⁹ Л. Я. Гинзбург. О психологической прозе. Л., 1971, с. 55.

Степень автоматизации французского языка, языка зрелой культуры, выработавшей всеобъемлющий кодекс поведения, была очень велика. Французское языковое поведение давало набор клише, готовых к механическому воспроизведению.

Вяземский вспоминает, что когда у Пушкина спросили однажды, умна ли та собеседница, с которой он долго говорил, он ответил «очень строго и без желания поострить»: «Не знаю... ведь я с ней говорил по-французски».¹⁰

Французский, тонко разработанный язык мысли, давался при чтении хороших образцов легко, над русским еще предстояло работать, — «... просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись — метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* (курсив пушкинский) обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных; и ленность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны».¹¹

Русский язык современники упрямо считали неспособным еще стать языком серьезных размышлений. Пример тому — Чаадаев, написавший по-французски свои «Философические письма»¹².

Чаадаев имел твердые представления о месте каждого из языков в культурной жизни русского образованного круга, и о необходимости обоих. Он просил А. И. Тургенева писать ему по-французски: «Ваши циркуляры на родном языке — это, мой друг, не что иное, как газетные статьи...»¹³ Французский он считал естественным для Вяземского: «Сейчас прочел я Вяземского Пожар»¹⁴. (Я не представлял его себе ни таким отменным фран-

¹⁰ «Разговоры Пушкина», собрали С. Гессен и Л. Модзалевский. М., 1929.

¹¹ Пушкин, т. 11, с. 34. Вполне понятно засилье французского, языка «механических форм», именно в переписке. Писать родным, друзьям, знакомым требовал этикет, и действие это механизировалось: «Письмописание доведено у нас до такой степени совершенства, что, если примемся за перо, то напрасно будем искать новых выражений: все они ежедневно развезжают по губерниям, так, что иногда подумаешь, будто играешь в волан с тем, с кем имеешь переписку». (И. Н-в. Необходимость переписки между родными». — «Московский телеграф», 1827, ч. XV, с. 11, 116).

¹² «Ни на каком ином языке, — писал он Герцену уже в 1851 году, — современные предметы так складно не выговариваются» (как на французском). Чаадаев, т. 2, с. 272 (перевод). Впрочем первое письмо — 1829 года — было начато как реальное письмо к женщине — к Е. Д. Пановой, и французский объясняется еще и требованием бытовой ситуации.

¹³ Чаадаев, т. 2, с. 186 (перевод).

¹⁴ Французская статья Вяземского о пожаре в Зимнем дворце.

цузом, ни таким отменным русским.) Зачем он прежде не вздумал писать по-басурмански?»¹⁵

А вот от Пушкина Чаадаев требовал русских писем: «Пишите мне по-русски, вы должны говорить только на языке своего призвания.»¹⁶ Но Пушкин отвечал: «Я буду говорить с вами на языке Европы, он мне привычнее нашего...»¹⁷ Дело было не в том, конечно, что Пушкин не привык писать по-русски. Сам Чаадаев не смел обращаться к поэту на языке, менее послушном его перу и менее поддававшемся эпистолярному стилю; Пушкин не мог отвечать ему иначе, — он в письмах всегда старался попасть в тон собеседнику, и если французский был языком писем Чаадаева, да и «нерусского ума» Чаадаева вообще, — французский был обязательным костюмом Пушкина в общении с Чаадаевым, само воспоминание о котором заставляло его переходить на французский: «Не понимаю, за что Чаадаев с братией нападает на реформацию, *c'est à dire une fait de l'esprit Chrétien*...»¹⁸

Русских писем требовал Чаадаев от русского поэта, русский язык считал приличным при обращении к русскому царю. Высказав в 1833 году во французском письме к Николаю I свою критическую точку зрения на «несовершенство просвещения в России», Чаадаев, в записке к Бенкендорфу, оговаривается: «... писавши к Царю Русскому не по-русски, сам тому стыдился. Но я желал выразить Государю чувство полное убеждения, и не сумел бы его выразить на языке, на котором прежде не писал».¹⁹

Служебные письма к государю и высшим сановникам предписано было писать по-русски, на языке государственной службы. Французский в письме к государю выступал как знак неофициальности обращения, обращения к царю как к частному лицу.

Для официального заявления тон письма Чаадаева был чересчур резок, желание написать письмо по-русски становилось не только неуместным, но и вызывающим (Бенкендорф письма Николаю не передал).

Сам Бенкендорф, всегда писавший служебные письма по-русски, однажды, желая дать Вяземскому частный совет, инсирпировал французское письмо, автором которого, как мне любезно сообщил М. И. Гиллельсон, номинально выступил Блудов.

¹⁵ Чаадаев, т. 2, с. 212 (перевод; фраза, заключенная в скобки, написана по-русски).

¹⁶ Пушкин, т. 14, с. 428 (перевод).

¹⁷ Там же, с. 430 (перевод).

¹⁸ Там же, т. 14 с. 204, 205 (из письма к Вяземскому).

¹⁹ Чаадаев, т. 1, с. 12.

Французский был необходим, чтобы подчеркнуть неофициальность предписания.²⁰

При общении людей, стоявших на разных ступенях социальной или служебной лестницы, французский, переключая общение в иную систему отношений, где русская табель о рангах не играла никакой роли, — был знаком интимности. При общении равных по рангу, наоборот, интимным было обращение по-русски — на незкетном языке.²¹

Рассуждению о русской политике французский язык давал внешнюю, чужую точку зрения, смягчавшую любую вольность.

Французский в письме к государю позволял назвать царя Sire (рыцарское обращение к сюзерену) и говорить с ним с достоинством просвещенного европейца.

Французский как язык любви (любовное письмо — только французское) тянул за собой целый комплекс ассоциаций, связанных с французскими романами. Так отношения оказывались включенными в систему со своими правилами и традициями, становились почти ритуальными, легко предугадываемыми.

Штампованные типы поведения, ориентированные на норму, пользовались французским языком; творческие, ориентированные на исключение — русским. Французский язык сопровождал типовые роли, и ему позволено было многое — ласковые обращения, комплименты, любезности, дерзости и упреки, так же, как и политические вольности, звучали как общее место, безжизненное клише, безличный штамп — и ни к чему не обязывали.

Русский язык оставался языком индивидуальных ролей. И если невесте Пушкин и Вяземский писали по-французски (отношения с невестой подчинялись в начале XIX века строжайшим нормам этикета), то жене — интимные письма — по-русски. По-французски писали к родным (выступавшим в этом случае как носители социальной функции) письма, продиктованные долгом и приличием, по-русски — личные письма к близким людям.

Выбор определенного языка в письме, определяя точку зрения текста, предлагал ключ к пониманию характера отношений. Именно потому, что две точки зрения, которые дают два разных языка в системе двязычной культуры, были не смешаны, а диалогически сопоставлены, интерференция естественных язы-

²⁰ См. Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому, Публикация М. И. Гиллельсона. — Пушкин. Исследования и материалы, III, М., 1960.

²¹ Все это относится, однако, к дворянскому кругу. Недворянину говорить по-французски было неприлично. Французский — корпоративный язык, социальный знак — символ принадлежности к хорошему обществу (см. главу «Комильфо» в повести Л. Н. Толстого «Детство»). Французский язык Сперанского, может быть, и не такой уж дурной, вызывал многочисленные насмешки именно за попытку говорить на не своем, на «нашем» языке, выдавать себя за то, чем не являешься.

ков в практике их многолетнего сосуществования в одной области была ничтожной.

Смена языка на протяжении текста одного письма, при разносистемной («мужской») принадлежности языковых элементов, сопровождается: введением клише, фразеологизмов, афоризмов, бытовых реалий иного языка; цитацию иноязычного текста, а также связана с особенностями структуры письма.

Фразеологизмы и клише принадлежат системе только одного, определенного языка, непереводимы и употребляются автоматически: «Я глупею á vu d'oeil» (с. 24)²²; «я дал тебе полномочия и carte blanche» (с. 36); ты знаешь, что я при посторонних также глуп, как иные dans tête á tête» (с. 43) и т. д. Обычно они невелики по объему и часто кажутся незаметными, поглощенными иноязычным текстом, но это мысли на другом языке, структурированные иной системой, непринужденность, с какой они появляются в иноязычном окружении, не разрывая целостности текста, — свидетельствует о полиязычности как конструктивным принципом построения художественного текста.

Иное дело — иноязычные бытовые реалии. Они тоже не переводятся, но не потому, что принадлежат лишь системе одного языка, а потому, что универсальны, космоязычны, как и все термины. Иноязычный текст их поглощает, оформляя по законам грамматики своего языка. Так русские бытовые термины во французских текстах всегда сопровождаются артиклем:²³ «La P<rincesse> Volkonsky est partie le 16. Elle est un передовой» (с. 127); «— toutes la дворян» (с. 12); «trois partis de подтяжки для панталон под сапоги —» (с. 133); «un drochky ou телега» (с. 135); «ou la бричка et la voiture á deux places» (с. 138); «faites acheter par Настасья deux piéces entiéres de холстинки russe» (с. 119)²⁴.

Любопытно, что русские имена транскрибируются часто латинскими буквами. Вяземская всегда по-русски записывает имена слуг, дворовых; а вот фамилии Волковских, Орлова, Давыдова, Пушкина — последовательно по-французски (но почему-то остается непереодетым в европейский наряд трудное имя Кюхельбекера — «Parle á Troubetzkoy de Кюхельбекер» (с. 113).

Иноязычный текст всегда цитируется без перевода — двуязычие в переводе принципиально не нуждается. («Если имеешь сердечное убеждение, что одесское пребывание полезно для Ни-

²² Остафьевский Архив. 5. вып. I. Все примеры из писем Вяземского.

²³ Артикль, сопровождающий в таких случаях специфически русские слова, как бы ставит их в кавычки, отсылает к чужой позиции «ип передовой» — «так называемой передовой», несобственно прямой речи.

²⁴ Примеры из писем В. Я. Вяземской. Указаны страницы в т. 5, вып. 1.. Остафьевского Архива.

коленьки и Наденьки...» — пишет Вяземский (с. 35). Вяземская отвечает «Je n'ai point le сердечное убеждение, dont tu me parles, cher ami» (с. 140).

Цитирование — введение в свой текст отрезка чужого, равносильно введению иной точки зрения, точки зрения чужого текста. В письме часто используется этот прием. Письмо — это не только отдельная реплика диалога, который представляет собой переписка, но и одновременно модель всего диалога в целом, и строится оно диалогически — как воображаемый разговор с адресатом. Поэтому письмо постоянно сталкивается с необходимостью цитировать реплику собеседника — реальную или воображаемую (в прямой или косвенной форме) «Может быть вы также ко мне пишете, пишете, а ответа не получаете и так же горюете, как и я (воображаемая реплика собеседника, данная в косвенной форме). Pour moi, ma peine est si grande, que litteratement je ne saurai l'exprimer...»²⁵ (реплика автора). Чтобы оттенить диалогическую соотнесенность чужой и своей реплики, письмо и прибегает часто к смене языка, даже если цитируемый текст реален и написан на том же естественном языке: «Мой милый бесценный друг! последнее письмо твое к маменьке утешило меня гораздо более, чем нежели я сказать могу, и я решаюсь писать к тебе, просить у тебя совета, так как у самого лучшего друга после маменьки. (авторская реплика). Vous dites que vous voulez me servir lieu de père. (реплика адресата, вероятно, реальная и французская в оригинале) О мой добрый Жуковский, я принимаю эти слова...»²⁶

Переход на другой язык связан с переходом на иную точку зрения — точку зрения адресата. Этот пример можно объяснить еще и одновременным переходом на другой уровень — более торжественный. Книжную мысль или образ употребить от своего лица неловко и смешно.

Иноязычны обычно бывают ремарки, поясняющие, комментирующие повествовательный текст письма, но расположенные не на уровне описания текста, а в «тексте о тексте», т. е. на метатекстовом уровне: «Впрочем, делай, мой друг, что тебе угодно, на все имеешь мое согласие; я даже прошу тебя во всем поступать по собственному своему рассмотрению: ces détails étaient nécessaires pour vous éclairer»²⁷ /метатекст/ «Je te donne cet avis non pour changer ta resolution actuelle, mais pour que tu ayes cette ressource en cas que ton arrivée ici se trouve retardée par quelque cause imprévue: Понимаешь ли»⁹ /метатекст/ C'est un réserve, que je te donne...»²⁸

²⁵ Чаадаев, т. I, с. 19.

²⁶ Из письма М. А. Мойер. Письма В. А. Жуковского, с. 92.

²⁷ Чаадаев, т. I, с. 16.

В качестве метаязыка используется иной естественный язык, функционирующий в данной системе.

Очень часто в русских письмах встречаются французские *bon-mots* и афоризмы: «... эта потеря как ни чувствительна им (родным), а все посторонняя. Для одной матери она коренная, *et sa douleur deviendra pour elle l'affaire de sa vie...*»²⁹

«Знаешь ли, Дуняша, у меня выпал передний зуб, *cela me donne l'air si vieilli, que j'en suis enchantée...*»³⁰

Смена языка подчеркивает отмеченность малого текста в большом, а выбор именно французского — вызван принадлежностью к французской культуре создания *bon-mots*, изящных светских афоризмов.

Французские фразы часто проскакивают в русских текстах автоматически, вследствие привычки говорить и думать на двух языках, и иногда появление их необъяснимо, ни нормами культуры, ни языковыми закономерностями — связано с какими-то субъективными ассоциациями. Но еще чаще причины перехода с языка на язык просто не осознаются автором, для которого двуязычность совершенно естественна. Позже, когда структура культуры начнет меняться и французо-русское двуязычие отойдет на второй план, над этим станут задумываться.

«Дай бог, чтобы «Современник» не был совсем задавлен — *ce que je crains, entre nous soit dit*. Почему я эту фразу написал по-французски? — Неизвестно», — удивится себе И. С. Тургенев в 1857 году.³¹ — По-французски потому, что первая ее часть — *ce que je crains* — метатекстовая ремарка, а вторая — *entre nous soit dit* — еще и клише.

Также удивится своему французскому и герой повести Тургенева «Первая любовь» Владимир, когда, встретив в саду княжну Зину «... помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. *Que suis je pour elle?* — подумал я (бог знает почему) по-французски».³² По-французски потому, что подумал о женщине и о любви, да и прямо фразой из французского романа.

Не знание французского языка, а именно двуязычность была нормой для русского культурного человека начала XIX века, двуязычность стала синонимом культурности, знаком принадлежности к русской культуре.

Язык культуры, как показал М. М. Бахтин, — это не один язык, а диалог языков. В конце XVIII — начале XIX века национальный русский язык, оказался диалогически соотнесен с языком европейской образованности, языковое сознание разноре-

²⁹ Из письма Вяземского к жене, Остафьевский Архив, с. 33.

³⁰ Из письма М. А. Мойер. Письма В. А. Жуковского..., с. 147.

³¹ Из письма к А. Дружинину. И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28 тт. Письма в 13 тт. Т. I, М.—Л., 1961, с. 69, 70.

³² И. С. Тургенев. Собрание сочинений в 12 тт. Т. 6, М., 1955, с. 288.

чивой эпохи встретилось с необходимостью выбора языка — смены точки зрения, т. е. перехода в иную систему отношений, которую дает естественный язык. Но и в другие эпохи своего развития (начиная от славяно-русского двуязычия средневековья) русская культура была культурой двуязычной, двухголосой, диалогизированной. Так, среди словесных текстов русской культуры оказались тексты, написанные на ином (нерусском) естественном языке³³, в первой половине XIX века, в основном, — французском. Это французские статьи Вяземского и Тютчева, французские стихи Баратынского, Пушкина, Лермонтова, французские заметки Пушкина, «Философические письма» Чаадаева, повести А. К. Толстого, французские дневники, мемуары, альбомы и, среди прочего, — письма.

Что делать? повторяю вновь:
Доныне дамская любовь
Не изъяснялася по-русоки,
Доныне гордый наш язык
К почтовой прозе не привык.³⁴

³³ О соотношении текста на естественном языке и словесного текста культуры см. В. В. Иванов, Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, А. М. Пятигорский, Б. А. Успенский. Тезисы к семиотическому изучению культур. — *Semiotyka i struktura tekstu*, Warszawa, 1973.

Это явление полиязычности культуры любопытно сопоставить с поликультурностью — усвоением одной культурой текстов другой, как словесных (художественный перевод), так и несловесных (элементы иноземной моды). Усвоение всегда связано с адаптацией, которую мы и называем в случае со словесными текстами переводом.

³⁴ Пушкин, т. 6, с. 63.

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ» ИЗ ПРИЧУДЬЯ

А. Ф. Белоусов

По характеру своего бытования, по диапазону социальных функций, которые он обслуживает, и по заложенным в нем возможностям познания и осмысления окружающей действительности фольклор представляет собой выдающееся явление культуры. Для того, чтобы лучше понять специфику этого явления, есть смысл обратить внимание и на некоторые интересные особенности культуры тех социальных или религиозных общностей, которые не являлись хранителями традиционного фольклора и чье отношение к нему нередко носило характер явной враждебности.

В ряду противников традиционного фольклора видное место занимает русское старообрядчество, в полной мере унаследовавшее от времен «благочестия» и представление церковной иерархии о необходимости решительной борьбы с отклонениями от религиозно-бытового «благообразия» в народной жизни. По примеру Стоглава или постановлений церковных властей середины XVII века, ратовавших за прекращение народных празднеств и искоренение суеверий, многократные запрещения, вроде 18-й статьи федосеевского «Польского» Устава, принятого в 1751 году —

«Поющих песни бесовские, и играющих в карты, и в варганы, и в дуды, и бранящихся матерны, и пляшущих, и яицами катающихся и на качелях качающихся, и на масленой катающихся, да творят сии вси 500 поклонов до земли»¹,

непосредственно касались именно тех бытовых явлений, которые в наибольшей степени были проникнуты традиционным фольклором.

Известно, с какой тщательностью регламентировалось бытовое поведение приверженцев «старой веры» и как сурово нака-

¹ Цит. по: А. Иоаннов. Полное историческое известие о древних стригильниках и новых раскольниках, так называемых старообрядцах. Изд. 4. СПб., 1831, с. 139. См. и правило 9-е, запрещавшее молодежи в воскресенье и праздники ходить по кирмашам (ярмаркам), в лес за ягодами и в чужие деревни — там же, с. 136.

зывались малейшие отступления от многочисленных «правил», распространявшихся даже на частности повседневной жизни. Особенную творческую активность в этом отношении проявляли руководители федосеевского согласия (к которым, кстати сказать, принадлежали и предки нынешнего старообрядческого населения Причудья²), что прежде всего было следствием бытовавшего среди последователей Феодосия Васильева представления о возможности замены «по нужде» причастия постом, молитвами, личными добродетелями и правыми делами³ — «воздержницы, подвижницы и жизнью своею спасаемся». Именно поэтому федосеевские начетчики настойчиво и обстоятельно занимались составлением (применительно к тем возможностям, которыми располагало их общество) различных «уставов», не только фиксировавших состав и порядок молитв, но и определявших собой обширный круг домашнего «богослужения». В этом обществе, чьим жизненным идеалом был монастырь⁴ и которое действительно пыталось основать свой быт на монастырских началах, не оставалось места народной, как, впрочем, и всякой другой «мирской», песне даже в домашнем обиходе.

Заменить ее был призван духовный стих⁵, который не без оснований считается ведущим жанром старообрядческого фольклора. Отчасти заимствованный из древнерусской «околоцерковной» литературы, отчасти вышедший непосредственно из старообрядческой среды, широко распространенный в старообрядчестве, духовный стих если и интересовал исследователей, то, как правило, лишь в качестве материала для иллюстрации специфического умонастроения, которым было проникнуто старооб-

² Хорошее, а главное — доступное для широкого круга читателей, изложение истории причудского старообрядчества дается Ю. К. Бегуновым в его статье «Древнерусская книжно-рукописная традиция Причудья (обзор)». В сб.: *Рукописное наследие Древней Руси*. Л., 1972. Ю. К. Бегунов приводит и библиографию по истории заселения, быту, культуре и языку русского населения Западного Причудья (помимо прочего, в ней почему-то не указаны статьи видного историка федосеевского согласия П. Д. Иустинова, помещавшиеся в свое время в журналах «Христианское Чтение» и «Богословский Вестник»).

Разделение причудского старообрядчества на поморцев и федосеевцев сравнительно позднего происхождения (см.: К. А. Малышев. Краткая летопись Кикитовской общины в Причудском крае. — «Родная Старина», № 7, Рига, 1929) а не ведет свое начало еще от времени массового заселения старообрядцами западного берега Чудского озера, как это иногда считается.

³ В этом духе высказывался и сам Феодосий Васильев. См.: П. С. Смирнов. Споры и разделения в русском расколе в первой четверти XVIII века. СПб., 1909, с. 234.

⁴ Обстановка, в которой выработался этот идеал, и его идейные истоки обстоятельно освещены в книге С. Зеньковского «Русское старообрядчество. Духовные движения XVII века.» München, 1970. См. главы III и VI.

⁵ Ср.: В. Перетц. К истории древне-русской лирики («стихи умиленные»). — «Slavia», 1932, XI, в. 3—4, с. 474.

рядчество⁶. Со своей чисто литературной стороны, как и по особенностям бытового предназначения, старообрядческий духовный стих изучен совершенно недостаточно.

Что касается выяснения тех бытовых функций, которые в свое время обслуживались духовным стихом, то дело это сейчас, когда он почти не встречается в обиходе исчезающего старообрядчества, довольно трудное, но не совсем безнадежное, так как есть немало наблюдений и замечаний собирателей, сделанных еще во время его активного бытования. Зная их, нельзя согласиться с мнением известного знатока старообрядческого духовного пения В. З. Яксанова, который специально останавливаясь на роли духовных стихов в воспитании старообрядчества, писал о них, как только о «безобидном», хотя и «глубоко поучительном развлечении»⁷. Более верно, на наш взгляд, оценивал место и значение духовных стихов в «самом обиходе жизни старообрядчества» Я. А. Богатенко, говоривший о их бытовании не только в обстановке праздничного отдыха или семейных торжеств, например, свадьбы, но даже во время работы⁸. Указания на это можно найти и в публикациях старообрядческих стихов⁹. Как это довольно часто бывает с произведениями, проникавшими в крестьянский обиход из иной среды и которые прикреплялись к обряду на основе тематического соответствия их характеру обрядного «действия» (показательно в этой связи повсеместное бытование романсов «Зачем ты, безумная, губишь» или «Подул осенний ветер с поля» в роли свадебных песен), духовный стих, вытесняя «мирскую» песню, тоже как бы «дифференцируется» по бытовому употреблению, хотя, конечно, «возможности» у него для этого куда более ограничены, чем у «городского» фольклора. Тем не менее, духовный стих глубоко проник в повседневный обиход старообрядчества, обосновавшись и там, где бытовой «почвы» традиционного фольклора не коснулись разнообразные меры, предпринимавшиеся для поддержания религиозно-нравственного «порядка», пытаясь обслуживать те функции, которые, казалось бы, никак не относятся к сфере его «компетенции». Мы имеем в виду т. н. «биоло-

⁶ Весьма характерна в этом отношении статья Ник. Соколова «О поэзии раскола в курсе русской словесности» — Известия Пед. ин-та им. П. Г. Шеллапутнина в Москве, кн. II. М., 1913.

⁷ См.: В. Я. Духовное пение в христианской семье и школе. — «Щит Веры». 1912, январь, с. 87.

⁸ См.: Я. Богатенко. Русские духовные стихи, псалмы и канты. Краткая характеристика. — «Церковь», 1913, № 3, с. 66.

⁹ См.: примечания к №№ 6 и 23 в сборнике Т. С. Рождественского «Памятники старообрядческой поэзии» (Записки Моск. археологического ин-та, т. VI. М., 1910, с. 8 и 23) Ср. И. М. Крашенинников. Духовные стихи крестьян-старообрядцев Челябинского уезда. — «Этнографическое обозрение», 1908, № 1 и 2, с. 153.

гическую поэзию», как остроумно определил колыбельные песни один из их исследователей¹⁰.

В сборнике духовных стихов, полученном несколько лет тому назад проф. Ю. М. Лотманом из г. Муствез (б. посад Черный)¹¹, среди таких популярных в прошлом у старообрядцев произведений этого жанра, как «Плача преболезненна кафоликов», «Стих о смерти» («Взираи с прилежанием, тленный человеце»), «Стих о потопе» («Потоп страшный умножался»), «Стих о скончании света» («Егда приидет кончина всего света») и «Плач Адама», помещается любопытный и сравнительно мало известный «Стих колыбельный Иесу Христу»¹²:

Здравъ буди ѿ пре
красныи и пресла
дкѣи ісоусе,
люлі люлі люлі лю
лі люлі ѿ любеныи сыне;
Здрави боудетъ жсныи
ѿчи вы оуста млѧ
ды ѿтрочате, люлі
люлі люлі люлі люлі
ѿ любезныи сыне;

¹⁰ См.: Г. Добряков. О колыбельных песнях. — «Вестник воспитания», 1914, № 8, с. 149.

¹¹ Сборник второй половины XIX века, 18 см × 11 см., 21 лл., полуустав. Без обложки, начало и конец сборника не сохранились. Бумага без водяных знаков. Заставки, заглавия и инициалы написаны золотинном или теми же чернилами, что и текст стихов. В стихах «О смерти» и «О скончании света» распето по крюкам начало, «Плач Адама» распет целиком. На л. 7 об. надпись скорописью, вероятно, владельца сборника «Александр Григорьев Глубаков 1898»; На л. 10, об. такая же надпись «Люба Григорьевна Глубакова». К последнему слову «стиха колыбельного Иесу Христу» позднее добавлено еще раз «сыне».

¹² Варианты этого стиха публиковались уже дважды: П. А. Бессоновым — по рукописному сборнику (см.: П. Бессонов. Калики переходные, в IV. М., 1863, с. 95—96), и Е. Р. Романовым, который записал его у ветковских старообрядцев (см.: Е. Р. Романов. Белорусский сборник, в. V. Витебск, 1891, с. 440—441). Отличаются они друг от друга характером «припева» — если в «Каликах переходных» строчку «О любезный сыне» предваряет четырехкратное повторение колыбельного «люли», то у Е. Р. Романова вместо этого стоит «Ты мой рай, рай, раю». Вариант, помещенный в «Белорусском сборнике», по-видимому, является типичным образцом усвоения «Стиха колыбельного Иесу Христу» старообрядцами Ветки и Стародубья. Известен еще один «список» Стиха с припевом «Ты мой рай, рай, рай» — явно ветковско-стародубского происхождения — см.: М. И. Лилеев. Описание рукописей, хранящихся в библиотеке Черниговской духовной семинарии. СПб., 1880, с. 58. Остальные же варианты нашего Стиха в этом отношении сходны с Бессоновской публикацией — см. описания рукописных сборников псалм и кантов в: В. Перетц. Историко-литературные исследования и материалы. Т. I, ч. II. СПб., 1900, с. 90—91.

Иже ѿ небѣсъ соше^т
дыи вомирѣ истинный
прешеды люлі люлі люлі лю
лі люлі ѿ любезный сыне;^т
Ангели с небѣсъ градите, сонѣ
младенцѣ принесите, люлі люлі
люлі люлі люлі ѿ любеный сыне;^т
Спи ісоусе блгныи, оусни сно^т
блгопріѣтным, люлі люлі лю
лі люлі люлі, ѿ любеный сыне^т
Та хвалимага звѣздами
ѿ кормила своими сосцами,^т
люлі люлі люлі люлі люлі
ѿ любезный сыне;

Трудно сказать, использовался ли этот стих в Причудье в качестве колыбельной песни — данных о его бытовании у нас нет¹³, но то, что он вполне мог употребляться при убаюкивании ребенка, свидетельствуется сопроводительной заметкой к публикации того же текста Е. Р. Романова, который записал его у ветковских старообрядцев¹⁴.

Отличия «Стиха колыбельного Иисусу Христу» от весьма немногочисленных в русском крестьянском быту колыбельных, содержащих в себе какие-то определенные реалии христианского «мира», как, например, текст, приведенный в одной из своих статей В. Н. Харузиной сразу же бросаются в глаза:

Успения Мать
Уложи младеня спать
На тесову на кровать.
Уложи, усыпи
На всю темную ночь.
Как я байкала, качала
И Успенью завичала.
Богородица Мария,
Уложи дитя скорее
На всю темную ночь,

¹³ Публикуемый нами текст — кажется, единственный вариант «Стиха колыбельного Иисусу Христу» в книжно-рукописной традиции Причудья. Ср. Ю. К. Бегунов. Ук. соч., с. 384—385 (здесь приводится перечень духовных стихов по причудским рукописям, хранящимся в Пушкинском Доме).

¹⁴ См.: Е. Р. Романов. Ук. соч., с. 441.

На весь белый день
 Да на всю темную ночь.
 Как я байкаю, хожу,
 Да никому я не скажу;
 Как я байкала, качала
 Божьей милости начало ¹⁵ —

Если в народной колыбельной Богородица лишь заступила место таких типичных образов «материнской» поэзия, как Сон, Дрема, Угомон или Кот ¹⁶, которые призываются к ребенку для того, чтобы он заснул, то «Колыбельная Иисусу Христу» всем своим содержанием, оформленным в стилистике торжественного красноречия, принадлежит к жанру духовных стихов. Это не просто ряд обычных «колыбельных» мотивов, в котором отразилось религиозное настроение матери, а — собственно духовный стих, по своему тематическому «сходству» с бытовым контекстом колыбельных песен проникший и закрепившийся в их сфере. Способствовала этому и вполне ощутимая тенденция его ритмики к сближению с обычным размером колыбельных песен, кстати, разного происхождения — четырехстопным хореем, который, по сути дела, «задается» ритмическими особенностями «припевов», состоящих из разных вариаций слов «любли» или «бáю». Хотя и несомненно, что «Стих колыбельный Иисусу Христу» написан т. н. «вишневый» стихом.

Точнее, не написан, а переведен, вероятно, с латинского оригинала каким-нибудь южно-русским грамотеем XVII века. Еще П. А. Бессонов утверждал, что Стих этот — прямой перевод с латинского ¹⁷, и даже сопровождал его публикацию текстом на латыни, который якобы послужил источником для «колыбельной». Очень может быть однако, что латинский текст духовного стиха и составлен где-то на Украине: наличие в одном из рукописных сборников произведений «вишневой» поэзии вместе с русским вариантом «Стиха колыбельного Иисусу Христу» латинского и греческого ¹⁸ наводит на мысль о возможности его появления в результате версификаторских «экзерциций» какого-то православного (или униатского?) ученого монаха или одного из многочисленных в то время «школяров». Питомцы Киево-Могилянской Академии должны были упражняться в писании

¹⁵ См.: В. Н. Харузина. Несколько слов о родильных, крестинных обрядах и об уходе за детьми в Пудожском уезде, Олонецкой губернии. — «Этнографическое обозрение», 1906, в. 1—2, с. 95.

¹⁶ См.: О. И. Калита. Детский фольклор (песни, потешки, дразнилки, сказки, игры). Изучение. Собрание. Обзор материала. Л., 1928, с. 43 и 50.

¹⁷ См.: П. Бессонов. Ук. соч., с. 94 и сл. Отметим, что публикатор не указал то издание, по которому он процитировал латинский текст.

¹⁸ См.: В. Перетц. Историко-литературные исследования и материалы. Т. I, ч. II, с. 97—99.

стихотворений — на латыни и греческом языке¹⁹, и, естественно, приобретали определенный навык в этом занятии. Польско — же — католические образцы, под влиянием которых развивалась «школьная» гимнография, едва ли содержали в себе текст, аналогичный нашему «Стиху колыбельному Иисусу Христу»²⁰.

Конечно, не стоит совершенно исключать и возможность непосредственного перехода Стиха с латинского оригинала. Сомнения Е. Р. Романова в справедливости взгляда П. А. Бессонова на происхождение «колыбельной»²¹ кажутся неосновательными — тем не менее, в бывших у нас под рукой антологиях латинской средневековой гимнографии Х. А. Даниела, Ф. И. Монэ — просматривали мы и сборник латинско-немецкой религиозной поэзии Э. Э. Коха — подобный текст не зафиксирован.

Но даже если бы мы и не знали тех источников, из которых «Стих колыбельный Иисусу Христу» был заимствован старообрядческой средой, он всё равно заметно выделялся бы на общем фоне других духовных стихов своими особенностями, явно «несозвучными» характеру православной, в ее русской «редакции», религиозности, как народной, так и, разумеется, богословско-догматической. Прежде всего это касается характера обращения Богородицы к Христу, своею «интимностью» резко противоречащего традиционным для русского духовного стиха «плачам» и «молениям», с которыми Богородица только и выступает там в своем общении с Иисусом. Хотя на Руси и были известны апокрифические сочинения, более подробно, чем каноническая литература, повествовавшие о земной жизни Христа и о предшествовавшей его рождению жизни самой Богородицы²², но, по справедливому замечанию Г. П. Федотова, народное творчество,

¹⁹ См.: Н. И. Петров. Киевская Академия во второй половине XVII века. Киев, 1895, с. 76 и сл.

²⁰ Если судить по обстоятельному обзору произведений, близких по тематике нашей «колыбельной», в польской религиозно-литературной традиции — см.: Jerzy Zathej. Z badań nad chronologią koled. — «Pamiętnik Literacki» 1961, №1. Ни в авторитетном сборнике «Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI wieku» (Zebrał M. Bobowski), ни в массовых изданиях, вроде «Wybór Koled, śpiewanych w kościołach i w domach» или «Pieśni nabożne w Kościele Katolickim używane», нам не встречался текст, сходный со «Стихом колыбельным Иисусу Христу» по своим композиционным особенностям, хотя «славословия» или «убаюкивания» Христа Богородицей входят в состав многих песен, но вместе они не сочетаются.

²¹ См.: Е. Р. Романов. Ук. соч., с. 440.

²² Обзоры этой литературы, бытовавшей на русской почве, делались И. Я. Порфирьевым и В. Ф. Сахаровым. См.: И. Я. Порфирьев. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1890 (Сб. ОРЯС, т. 52, № 4); Владимир Сахаров. Апокрифические и легендарные сказания о Пресвятой Деве Марии, особенно распространенные в древней Руси. — «Христианское Чтение», 1888, март-апрель, сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь.

проявившееся в духовных стихах, «разрешило» себе обработку лишь темы «страстей»²³, отголоски которой проникли даже в описание младенчества Христа.

Совсем иной подход к этой теме свойственен обширному и детально разработанному циклу «рождественского» фольклора, бытовавшего в форме колядных песен на Украине — здесь грозные предзнаменования будущих «страстей» отступают на задний план в виду особенной важности самого события Рождества. В украинских колядках²⁴ встречается и описание той же самой ситуации, которая легла в основу нашего духовного стиха, например:

А Мария чиста
Сина пистуе
При своему сосци,
Ёго питає:
«Ой, сину мий, квите райський,
Посити мни, во-зраильский,
Утихо моя.»²⁵

Обращение Богоматери к Христу в украинских колядках редко связывается с темой «плача» младенца, предвидящего свои будущие «страдания», что в большей степени присуще польским

²³ См.: Г. Федотов. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). Paris, 1935, с. 29.

²⁴ Наше обращение к украинской колядке имеет вполне определенные основания — возможно, что именно в ней лучше всего сохранились какие-то существенные особенности тех религиозных песен, которые возникли на Украине под непосредственным влиянием католической культуры, ср. мнение И. С. Свенцицкого относительно украинских колядок на евангельскую тематику, как о фрагментах некогда единого духовного стиха — см.: Іларіон Свєніцький, Різдво Христове в поході віків (історія літературної теми й форми). Львів, с. 169—170. Судить же о старинных украинских «побожных» песнях по «Богогласнику» вряд ли правильно: тексты вошли в его состав переработанными и укороченными — отсюда и «бедность» их там «бытовым» элементом, что было отмечено в: С. А. Щеглова. Богогласник. Историко-литературное исследование. Киев, 1918, с. 45.

²⁵ См.: Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край. Материалы и исследования, собр. П. П. Чубинским. Т. III, СПб., 1872, с. 355—356. Более понятно обращение Богородицы к Христу в колядке, записанной Н. И. Коробкой:

Ой сину ж муй сину, ты цвітє
райський,
Потешь вєсь мир христьянский,
Потиха моя, —

см.: Н. Коробка. Колядки и щедровки. СПб., 1902, с. 3. Ср. Ал. Н. Малинка. Сборник материалов по малорусскому фольклору. Чернигов, 1902, с. 20—21. Эпизод этот вообще был очень популярен здесь — в предложенной И. С. Свенцицким систематике мотивов украинской колядки и щедровки вокруг темы «материнства» Богородицы группируется целый цикл легендарных сюжетов — см.: Іларіон Свєніцький. Ук. соч., с. 170—171.

религиозным песням. Здесь «материнство» Богородицы чаще выражается как бы само по себе, не осложняясь другими темами «рождественской» легенды. Еще ранее, чем были записаны колядки, старинный духовный стих представлял общение Богоматери с Христом совершенно в том же духе:

Марія Дѣва ся притуляєт,
Аби не змерзло, Дитя вкриваєт,
Притискаєт, притуляєт,
Пилюшками обвиваєт:
Лю, лю, лю, лю, лю, лю, лю, лю ²⁶

Заметим, что «убаюкивание» Христа Богородицей неизменно сопровождается в колядках указаниями на громкое пение ангельскими «хорами» вполне канонической молитвы «Слава в вышних Богу».

Подобное изображение Рождества, проникшее в самую толщу народных поверий и представлений, несомненно, могло способствовать созданию, не говоря уже о заимствовании из «латинской» поэзии, нашего Стиха, в котором сошлись воедино «славословие» богу и «колыбельная» младенцу. И все-таки «Стих колыбельный Иисусу Христу» уравнивал такие, казалось бы, несовместимые значения в своем культурном контексте, как «аллилуйя» и «люли» ²⁷ — для его создания требовалась уже известная «легкость» в обращении со «святынями», что вряд ли допускалось ортодоксальным православием. Киево-могилянская «братия» вполне была в состоянии «отважиться» на это ²⁸.

Правда, продукт киевской «учености» не нашел применения себе на родине — практической необходимости в нем, по сути дела, не было: ни украинский «вертеп», ни «школьная» драма не давали по ходу представления слова членам «святого семей-

²⁶ См.: Матеріяли до історії української пісні і вірші Тексти й замітки. Видане Михайло Возняк. III. Львів, 1925, с. 557.

²⁷ Наше утверждение о культурной «несовместимости» этих значений относится, в основном, ко взглядам тех кругов православного общества, которые ориентировались на «догматические» образцы религиозно-бытового поведения и осознания окружающей действительности. Стоит однако обратить внимание и на известную взаимозаменяемость припевов в народных песнях — по звуковому сходству: о близости «семейств» «люл-» и «лел-» (в связи с видоизменением «лелю» в колядках под влиянием христианского «аллилуйя») см.: А. А. Потебня. Объяснения малорусских и сродных народных песен. Варшава, 1883, с. 19 и сл.

²⁸ См.: Н. Петров. О словесных науках и литературных занятиях в Киевской академии от начала ея до преобразования в 1819 году. — «Труды Киевской Духовной Академии». 1867, январь. По своей композиции Стих не имеет аналогий в великорусском духовном стихе — «плачи» и «моления» Богородицы там заключены в повествовательную «рамку».

ства»²⁹. Почему же эта «псалма» была усвоена старообрядцами? Как видно из разысканий В. Н. Перетца в области песенного фольклора, малорусские «вирши» и «псалмы» вообще оказали сильное влияние на старообрядческие духовные стихи, причем значительная их часть непосредственно вошла в религиозно-бытовой обиход старообрядчества³⁰. Можно привести немало примеров заимствования произведений на религиозную тематику и из «светской» литературы.

Старообрядчество известно своей исключительной преданностью до-никоновскому религиозно-бытовому укладу жизни. Его доктрина настоятельно требует от своих приверженцев безоговорочно отрицательного отношения к «внешнему» миру, как к «царству еретических новшеств». Но в случае «нужды», которая по пословице «закона не знает, а через шагает», старообрядческие деятели не упускали возможности воспользоваться уже «готовым» решением каких-то проблем, неизбежно возникавших по ходу исторического существования старообрядчества. Когда же требовалось обосновать необходимость такого рода заимствования, то оно чаще всего лишалось своего самостоятельного культурного значения и объявлялось лишь «средством», с помощью которого достигаются цели, вполне соответствующие характеру данной культуры. Отбор «чужого» материала, когда в нем ощущалась определенная потребность, культурой — даже такой, как старообрядческая — регламентируется лишь самыми общими соображениями относительно его приемлемости — т. е. он не должен был содержать каких-нибудь «еретических» догматов.

Что же касается именно нашего текста, то на нем, возможно, лежала еще и некая «печать» «старины» — в том его списке, с которого началось «продвижение» «Стиха колыбельной Иисусу Христу» в старообрядческую среду, вместо «православной» формы имени Христа «Иисус» могло стоять и «Исус», употребительное в южно-русской письменности вплоть до середины XVIII века³¹.

Надолго обосноваться среди старообрядцев «колыбельной» Иисусу помогло утверждение её в сфере «женского» фольклора:

²⁹ Ср. замечание В. Н. Резанова о том, что в драме Богородица могла просто изображаться своей иконой — Вол. Резанов. Драма українська. І. Старовинний театр український. В. 4. Київ, 1927, с. 67.

³⁰ См.: В. Перетц. Историко-литературные исследования и материалы. Т. I, ч. I, с. 409 и сл. Укажем и на описание усть-цилемской рукописной традиции, сделанное В. И. Малышевым, которое в известной степени дополняет наблюдения В. Н. Перетца — См.: В. И. Малышев. Усть-цилемские рукописные сборники XVI—XX вв. Сыктывкар, 1960.

³¹ См.: Б. А. Успенский. Из истории русских канонических имен. М., 1969, с. 27, прим. 1. Значение украинской церковной литературы XVII в., находившейся под сильным церковным влиянием со стороны католического Запада, для старообрядческой письменности известно — см. Н. Ф. Сум-

здесь содержание Стиха вряд ли вызывало недоумение, соответствуя представлениям о Богородице, как о рожанице и т. п.³², в народных верованиях — вне зависимости от того, были их носители православными или старообрядцами.

Ориентировавшееся на «старую» книгу, старообрядчество отсюда же черпало не только образцы, но и материал для культивируемой у себя религиозной поэзии. Тексты тщательно записывались и сохранялись, что ставило их в один ряд с обращавшейся в старообрядческой среде церковной литературой времен «благочестия». Выполнять же они были призваны те функции, которые прежде в кругу людей, не причастных к церковной жизни, обслуживались лишь устной народной песней. Заменяя её, духовный стих — по характеру своего бытования и месту в повседневном обиходе — становился фольклором.

Материалом нашей статьи послужили, в основном, те явления старообрядческой культуры, которые можно охарактеризовать как один из результатов сознательных усилий, предпринимавшихся с целью воплотить в реально существующей культуре представления о ее идеальном состоянии³³. Старообрядчество, безусловно, стремилось организовать на основах присущего ему самосознания, представлявшего свое общество единственным и достойным хранителем «древлего благочестия». В этой связи, хотя и на единичном примере, было любопытно проследить, как и с помощью каких средств пытались изменить реальный быт в соответствии с требованиями его «модели»³⁴.

цов. О влиянии малорусской схоластической литературы XVII в. на великорусскую раскольниковую литературу XVIII в. и об отражении в раскольниковой литературе масонства. — «Киевская Старина», 1895, декабрь.

³² См.: В. И. Чичеров. Зимний период русского земледельческого календаря XVI—XIX вв. М., 1957, с. 43 и сл.

³³ См. Ю. М. Лотман. Проблема «обучения культуре» как ее типологическая характеристика. — «Труды по знаковым системам», т. V, Тарту, 1971, с. 170 и сл.

³⁴ О действительном состоянии фольклорной традиции среди старообрядческого населения Западного Причудья с конца XIX по середину XX вв. см. нашу статью «Фольклор русских старожилов Западного Причудья (обзор)» — в печати.

Памяти Ивана Никаноровича Розанова

СПОРЫ О ЯЗЫКЕ В НАЧАЛЕ XIX В. КАК ФАКТ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ («ПРОИСШЕСТВИЕ В ЦАРСТВЕ ТЕНЕЙ, ИЛИ СУДЬБИНА РОССИЙСКОГО ЯЗЫКА» — НЕИЗВЕСТНОЕ СОЧИНЕНИЕ СЕМЕНА БОБРОВА)

**Статья, публикация и комментарий
Ю. Лотмана и Б. Успенского**

1. Проблема языка в свете типологии культуры. Бобров и Макаров как участники языковой полемики.

То, что первое десятилетие XIX века в русской культуре — время ожесточенных дискуссий по вопросам языка, — факт не только хорошо известный и неоднократно изучавшийся, но и давно перешедший в разряд общих мест в учебниках и обзорных курсах. Вопрос этот много раз делался также предметом углубленного и серьезного научного рассмотрения¹. Такое положение имеет, как ни странно, и отрицательную сторону. Сам факт полемики представляется настолько знакомым и естественным, что мы не обращаем внимания на некоторую его странность: в период, когда Россия стояла перед сложнейшими и нерешенными проблемами, касавшимися коренных сторон ее общественного и политического быта, когда внутри страны решался вопрос, будут ли произведены хотя бы самые необходимые реформы, способные направить страну в сторону западноевропейского пути развития, или же победят силы, близоруко цепляющиеся за крепостническое *status quo*, когда за пределами России европейская карта непрерывно перекраивалась, а равнины Европы, казалось, превратились в одно огромное поле сражений, когда все чувствовали неотвратимую катастрофу столкновения с Наполеоном, — мыслящая часть России была охвачена дискуссией, по сути дела, чисто лингвистического характера. Странность этого положения, к которой мы уже как-то присмотрелись, отчетливо ощущалась авторами, которые сто с небольшим лет назад впервые занялись изучением вопроса. Было предложено

¹ См.: В. В. Виноградов, *Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.*, М., 1938, стр. 128—226; В. Д. Леви́н, *Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — нач. XIX в.* (Лексика), М., 1964; Л. А. Булаховский, *Русский литературный язык первой половины XIX века*, Киев, 1957; Н. И. Мордовченко, *Русская критика первой четверти XIX в.*, М.—Л., 1959, стр. 77—99; Н. Н. Булич, *Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века*, изд. 2-е, СПб., 1912, стр. 117—135.

два объяснения. Первое звучало так: русское общество той поры находилось на младенческой стадии развития гражданского самосознания. Не дозрев до решения коренных и существенных вопросов действительности, оно довольствовалось «игрушками словесности». Вряд ли кто-нибудь сейчас сможет серьезно отнестись к такому объяснению. Во-первых, оно — типичное порождение наивно-просветительского подхода к изучению прошлого. Накопленный за последующее столетие материал по истории русской общественной мысли никак не позволяет согласиться с представлением о, якобы, «младенческом» периоде, переживаемом ею в начале XIX столетия. Во-вторых, подобное объяснение пропитано историческим самодовольством, столь свойственным позитивистскому эволюционизму XIX в., для которого всякая прошедшая стадия — «отсталая» и «наивная», ценная лишь тем, что может рассматриваться как этап на пути к его собственному всезнанию.

Второе мнение может быть резюмировано следующим образом: споры о языке или художественной словесности были цензурным заменителем политических дискуссий, невозможных по внешним условиям. Это объяснение, восходящее, в конечном счете, к известному положению Герцена о роли русской литературы как единственной общественной трибуны в стране, лишенной политической жизни, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Однако, тем не менее, приходится признать ограниченность содержащейся в нем истины. Ведь нетрудно заметить, что обострение споров вокруг языковых проблем совпадает не со временем реакции, а с «дней александровых прекрасным началом», когда возможности для дискуссий на более актуальные, с общественно-политической точки зрения, темы существенно расширились, хотя, конечно, оставались далеко не идеальными. Ведь и в наполеоновской Франции в это время свирепствовала цензура, однако, никаких дискуссий по вопросам языка там в эти годы не происходило.

Если первые исследователи выдвинули, таким образом, объяснения, с которыми невозможно согласиться, то, тем не менее, они хотя бы видели самое проблему. В дальнейшем же она вообще оказалась снятой: дискуссию стали рассматривать как факт, полностью относящийся к истории языка и литературы и изолированно интерпретируемый в этом специальном контексте. Очевидно, что интересующая нас проблема, если к ней подходить с позиций частного исследовательского задания, поддается рассмотрению как с точки зрения лингвиста, так и историка общественной мысли. Однако не менее очевидно, что в каждом из этих случаев вопрос не раскроется перед нами столь полно, как если мы поставим перед собой задачу органической связи этих аспектов.

Дело в том, что, с одной стороны, национальная модель русской культуры оказывается теснейшим образом связанной — а в определенном отношении и обусловленной — резко специфической языковой ситуацией, сохраняющей типологическую константность на всем протяжении истории русской культуры; с другой же стороны — вне широкой историко-культурной перспективы факты развития языка и литературы не получают исчерпывающего объяснения. Это заставляет нас рассмотреть вопрос как бы в двух приближениях: сначала в общем историко-культурном аспекте, а затем — в более специальной историко-языковой и историко-литературной перспективе.

Рассматривая данную проблему в более широком общекультурном контексте, прежде всего следует отметить, что дискуссии по вопросам языка в истории русской культуры нового времени, по сути дела, никогда не затихали. Языковая проблема становится тем камертоном, который отвечает на звучание всех наиболее острых общественных проблем в России. Интересно наблюдать, как те самые общекультурные вопросы (например, проблемы романтизма, реализма, символизма и проч.), которые на Западе реализуются в дискуссиях вокруг жанровых запретов, допустимых сюжетов и т. п., в России, в первую очередь, активизируют языковую проблему. Обостренная чувствительность этой проблемы, постоянная борьба между «новаторством» и боязнью «порчи языка» позволяют, с одной стороны, видеть в этом некото-

рую специфическую черту именно русской культуры и исторических судеб русского литературного языка, а с другой, — связать ее с основами структуры и судьбы русского общественного сознания.

Для объяснения этой стороны дела придется обратиться к некоторой более глубинной исторической традиции. Культуре русского средневековья, как и многим средневековым культурам, был свойствен эсхатологизм, в котором для нас сейчас важна одна черта: катастрофический конец земного мира зла и воплощение вневременного царства добра представлялись как своего рода утопия. Всеобщее преображение, следующее за эсхатологическим актом, касается и сферы языка; утопический характер этого преображения проявлялся, между прочим, и в том, что в православной традиции не уточнялось, каким именно будет этот язык и как он относится к сакральному языку, реально существующему в литургической практике.

Последовавшая в дальнейшем секуляризация культуры, в ходе которой государство приняло на себя ответственность за конечное преображение мира и реализацию утопии на земле, привело к тому, что лингвистическая проблема из сферы утопии перешла в область государственной практики. Характерно принципиальное отождествление (начиная с Ивана IV и в особенности при Петре I) государственного управления с реформаторством, причем в само понятие «реформа» вкладывается эсхатологический смысл: «реформа» имеет целью не частичное улучшение конкретной сферы государственной практики, а конечное преображение всей системы жизни. В этом коренное отличие между пониманием реформы в западноевропейской и в русской культурных традициях соответствующих периодов: в частности, западноевропейская реформа подразумевала сохранение основных контуров сложившейся жизни и уважение к государственным деятелям предшествующего периода. Между тем, психология реформы в сознании Петра, как и ряда других государственных деятелей, включала в себя полный отказ от существующей традиции и от преемственности по отношению к непосредственным политическим предшественникам. Эсхатологическая подоплека представления такого рода психологически объясняла тот по сути дела странный факт, что реформа в России всегда ассоциировалась с началом и никогда — с продолжением определенного политического курса.

При всей разнице исторических условий, общественных задач, личной психологии и пр., в типе деятельности Ивана IV, Петра I, Павла, Александра I (отметим, что Екатерина II из этого ряда резко выпадает) есть нечто общее. Все они смотрят на исторически данное им положение государства с ужасом и отвращением (Иван Грозный начал свое самостоятельное правление с неслыханно резких обличений на Стоглавом соборе; казалось бы, столь далекий от него Александр I в начале царствования говорил в «Негласном комитете» о «безобразном здании империи») ². Свою деятельность они рассматривают как направленную не на улучшение исторически сложившегося порядка, а на разрушение его, полное и всеобщее уничтожение и создание на новом месте (для Петра эта метафора становится буквальной программой) и на новых основаниях нового и прекрасного мира. Это убеждение, что уничтожение порочного существующего мира и создание нового, идеального составляет естественную привилегию государственной власти, освещало ее как бы двойным светом. В терминах средневеково-мифологического сознания она облекалась полномо-

² В дружеском кругу молодого императора этот государственный орган именовался «Комитетом общественного спасения». Для самооценки правительства молодого Александра не лишено интереса то, что оно не побоялось, пусть даже в шутку, присвоить себе внушавшее всей монархической Европе ужас имя верховного органа якобинской диктатуры. Но еще более примечательно другое: шуточное название основывается на совсем не шуточном убеждении в том, что России надо «спасать» и что потребность эта столь же экстренна, как для Франции в дни Вальми.

чиями божества, умирающего, возрождающегося, судящего, уничтожающего и творящего; в терминах же общеевропейского политического мышления, тиранническая власть московских и петербургских царей вдруг неожиданно окрашивалась в тона революционности: не случайно Карамзин сопоставлял Павла с якобинцами, Пушкин называл Петра «революционной головой», а однажды огоршил великого князя Михаила на балу, сказав ему: «Все вы Романовы — революционеры»³.

При этом интересно отметить парадоксальное, с точки зрения европейских политических категорий, положение. Если власть, социально-политическая функция которой в глазах историка, бесспорно, реакционна (в смысле ге-а́́́́́́ — в качестве «чистого» примера здесь удобен Павел I), фактически менее всего стремится «сохранять», а уничтожает и создает, то народные движения, объективная сущность которых заключается в попытке разрушения существующего, действуют под лозунгами «сохранения», «защиты» (старой веры, «законного» царя, исконных обычаев и пр.). Именно эта парадоксальная непереводимость некоторых коренных черт русской культуры на язык общеевропейской политической терминологии начала XIX в. породила западную легенду о революционности правительства и консерватизме народа в России, — легенду, слишком упрощающую реальную ситуацию, чтобы служить ее объяснением.

В интересующем нас сейчас аспекте существенно подчеркнуть, что государственная власть брала на себя, как уже отмечалось выше, функцию переделки языка. Деление языка на «старый» и «новый», с высокой ценностной характеристикой второго, и стремление к переименованиям должностей, самого названия государства, титула его главы, географических и личных собственных имен начинают рассматриваться в качестве естественной функции государственной власти⁴. В полном согласии с эсхатологической мифологией акт разрушения — созидания (превращения «старого» мира в «новый») мыслится как переименование⁵. С поразительным постоянством в эпоху между Петром I и Александром I одно правительство за другим рассматривает

³ Н. М. Карамзин, Записка о древней и новой России, СПб., 1914, стр. 42; Пушкин, Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, т. XII, 1949, стр. 178 и 335.

⁴ Это особенно характерно для петровской и послепетровской России, но для понимания рассматриваемых процессов существенно иметь в виду, что соответствующие явления имели место и в более ранний период. Так, практика официального переименования топонимов наблюдается, в частности, в эпоху Алексея Михайловича; в 1656 г. города Дивноборк (Динбург) и Кукейнос (Кокенгаузен) после захвата русскими войсками получили новые имена — «Борисоглебов город» и «царевичев Дмитриев град» (см. изд.: «Письма русских государей и других особ царского семейства, V. Письма царя Алексея Михайловича», М., 1896, стр. 61—62). Есть основания полагать при этом, что данная практика имеет еще византийские истоки, ср. в этой связи: М. Н. Сперанский, Из старинной новгородской литературы XIV века, Л., 1934, стр. 36, примеч. 2; Н. П. Кондаков, Византийские церкви и памятники Константинополя, Одесса, 1887, стр. 82. Относительно официального переименования людей в допетровской Руси см.: Б. А. Успенский, Мена имен в России в исторической и семиотической перспективе, «Труды по знаковым системам», V (Уч. зап. ТГУ, вып. 284), Тарту, 1971, стр. 483.

⁵ Относительно связи практики переименования с мифологическим сознанием см. специально: Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, Миф — имя — культура, «Труды по знаковым системам», VI (Уч. зап. ТГУ, вып. 308), Тарту, 1973, стр. 297—298. Знаменательно в этой связи, что акт переименования в целом ряде случаев связывается с физической ликвидацией самого объекта и последующим возращением его в «очищенном» виде. Характерно, например, что Екатерина в 1774 г. распорядилась уничтожить не только дом Пугачева в Зимовейской станице на Дону (этот дом было велено публично

руководство стихийными языковыми процессами в качестве своей прямой функции. Не менее удивительна устойчивость, с которой цари в России стремились решать вопросы, входящие, казалось бы, только в компетенцию профессионального лингвиста: Петр I лично правил корректуру образов новой азбуки^{5а}; Екатерина II, плохо говорившая по-русски, была весьма озабочена чистотой русского языка; она же занималась специальными проблемами общего языкознания, руководя — по крайней мере номинально — созданием сравнительного словаря всех известных тогда языков мира⁶; Павел I, запрещая употребление тех или иных слов, стремился создать канон русской политической лексики⁷. К этому списку можно было бы добавить, например, такой факт, что Николай I считал себя компетентным реформировать традиционную графику польского языка⁸. Примеры эти можно было бы продолжить.

Рядом с этим бросается в глаза устойчивое стремление подлинных разрушителей существующего уклада в России к сохранению языковой традиции. Так, правительство XVIII века непрерывно измышляет новые чины и новые для них названия — Пугачев не выдумывает ни новых должностей, ни новых слов, возводя своих сподвижников в графское достоинство или назначая их «генералами». Специфическое мифологическое переживание этих слов как имен собственных проявляется, например, в том, что одного из своих приближенных он назначает не просто графом, а «графом Чернышевым».

Пестель, подготавливая будущую реформу армии, фактически выдумывает новую номенклатуру военных понятий и новые наименования для долж-

сечь, пепел рассеять рукою палача, а самое место огородить надолбами или рвом окопаты, оставя на вечные времена без поселения), но и название места его рождения: Зимовейская станица была перенесена на противоположный берег Дона и ее было приказано впредь именовать Потемкинской станицей. Ср. в этой связи предложение М. Л. Магницкого в известном отчете 1819 г. по ревизии Казанского университета: обвиняя Университет в безбожном направлении преподавания и в растрате казенных денег, Магницкий предлагал торжественно разрушить самое здание Университета. Акт разрушения призван иметь при этом подчеркнуто символический характер, выступая, по существу, как равнозначный акту переименования; оба акта эквивалентны по своей функции.

^{5а} См. изд.: *Азбука гражданская с нравоучениями*. Правлено рукою Петра Великого, СПб., 1877 (изд. «Общества любителей древней письменности», № 8).

⁶ См. изд.: *Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею Всевысочайшей Особы, чч. I—II*, СПб., 1787—1789. Екатерине приписывается иногда и составление «Российской азбуки... для общественных школ» (СПб., 1781 и последующие издания), см.: *Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800*, т. I, М., 1962, стр. 336—337.

⁷ См. «Русская старина», 1871, т. 3, стр. 531—532, или А. М. Скабинский, *Очерки истории русской цензуры (1700—1863)*, СПб., 1892, стр. 84. Ср. воспоминания П. А. Вяземского в «Старой записной книжке» (Л., 1929, стр. 79) и в статье «О злоупотреблении слов» (П. А. Вяземский, *Полное собрание сочинений*, т. I, СПб., 1878, стр. 285), а также воспоминания Массона (*Секретные записки о России*, т. I, М., 1918, стр. 102—103, цит. у В. В. Виноградова, *Очерки...*, стр. 103—104), Дмитриева («Взгляд на мою жизнь», в изд.: И. И. Дмитриев, *Сочинения*, т. II, СПб., 1893, стр. 86).

⁸ См. секретный циркуляр (без обозначения места и времени издания) под заглавием «О предположениях заменить в польском языке латинский алфавит русскою азбукою», где на стр. 15—18 приведены собственноручные замечания Николая на проекте этой предполагаемой реформы.

постных лиц^{8а}. Однако ему необходимо уверить себя и окружающих, что он лишь восстанавливает коренные, исконные русские названия. С этим можно сопоставить «архаизм» языковой позиции Грибоедова, Катенина и Кюхельбекера, столь содержательно проанализированный Ю. Н. Тыняновым.

Приведенные факты свидетельствуют о глубоко не случайной разнице в отношении к языковым спорам в России и на Западе, где острые столкновения по этому вопросу также сопутствовали историческому развитию культуры. Мифолого-эсхатологическая модель культуры, в принципе отвергающая частные улучшения и исходящая из необходимости полного и совершенного преобразования всего, противопоставляющая частным улучшениям формулу: «чем хуже, тем лучше», с этой точки зрения противостоит идее прогресса как постепенного и непрерывного улучшения. С одной стороны, система взрывов-катастроф, в промежутках между которыми неподвижность, а с другой — непрерывное поступательное развитие. Заманчивое отождествление одной модели с обобщенным обликом русской культуры, а другой — западной, к сожалению, более эффективно, чем точно, поскольку обе эти модели можно обнаружить и в России и на Западе. Так, даже в пределах такой сравнительно узкой сферы, как научная мысль Западной Европы в XVIII—XIX вв., мы сразу же наталкиваемся на концепцию Кювье, с одной стороны, и на Ламарка или Дарвина, — с другой, обнаруживая в них характерные признаки названных выше моделей развития. Точно также и в социальной мысли Запада мы найдем, наряду с типично эволюционистскими идеями, например, концепцию Руссо с ее принципиальным отрицанием прогресса и представлением о движении культуры как маятникообразном качании между исходным благом и конечной катастрофой. Следует ли говорить, что античная мысль знала концепции с циклическим понятием времени, которым идея прогресса вообще была чужда.

И все же определенная доля истины в противопоставлении именно по этому признаку русской и западной культур содержится. Исторические судьбы западной мысли (в особенности английской и французской) сложились так, что, начиная со средних веков и до новейшего времени, идея прогресса заняла доминантное положение и в научном, и в общественном мышлении, окрасив собой, для целых исторических периодов, культуру в целом. Напротив того, в истории русской общественной мысли на протяжении целых исторических периодов главенствовали концепции эсхатологического и максималистского типа. Они окрасили допетровское православие⁹, они же определили такое характерное преломление идей, как превращение мыслей Христа, Руссо, Конфуция или Будды в сознании Л. Толстого в мужичий анархизм

^{8а} См. ниже, стр. 246 наст. работы (примеч. 178).

⁹ Некоторые существенные различия в историческом облике западной и русской культур, видимо, сложились еще в эпоху раннего средневековья. Так, например, антитеза троичного членения («ад — чистилище — рай») и двоячного («ад — рай») отражала глубинные различия. При троичном делении между сферами греха и святости образовывалась (в пределах земной жизни) допустимая область среднего поведения. В нее вмещались государственная жизнь и обычное практическое мирское поведение людей. Правильное, в пределах своей мирской нормы, поведение обычного человека не закрывало перед ним дверей спасения. Двучленное деление объявляло все за пределами святости — грехом. В частности, государство трактовалось или как греховное, или как святое. Признание мира безусловно греховным вызвало или требование отказа (ухода), или идею заступничества: праведная жизнь и молитва святого искупают греховность «обычного» поведения людей в миру. Принципиальное отрицание возможности нейтрального поведения, приравнивание среднего к отрицательному станет характерным для ряда последующих культурных моделей, сыгравших активную роль в истории России. Ближайшее отношение к указанной проблеме имеет, по-видимому, вопрос о манихейском влиянии на русскую церковную (книжную) культуру.

или трансформацию таких, по сути дела, мирных идей, как дарвинизм или континанство, в нигилизм и «череванинщину» героев Тургенева и Помяловского или свирепо-бунтарскую проповедь позитивных знаний и мирного прогресса науки под пером Писарева. Когда молодой естествоиспытатель во Франции середины XIX в. резал лягушку, это означало желание сделать еще одно открытие или сдать еще один экзамен. Когда лягушку режет Базаров, это (совершенно неожиданно для западного читателя, но вполне очевидно для русского) означает отрицание всего.

При включении в одну из столь различно ориентированных культур лингвистическая проблема получала глубоко отличный смысл: в модели эволюционного типа она становилась одной из многих, в ряду целого комплекса других, часто уступая по степени общественной ценности тем, которые были более непосредственно связаны с актуальными задачами эпохи. Будучи включена в систему эсхатологических представлений, она отождествлялась с номинацией или переименованием мира, то есть с основными мифологическими категориями¹⁰, естественно становясь вопросом вопросов. Не столько цензурные затруднения, мешавшие обсуждать другие вопросы, сколько самая сущность традиционной ориентации русской культуры делали спор по вопросам языка средоточием общественных интересов и индикатором в распределении лагерей.

* *
*

Введенный в такой исторический и культурный контекст спор о языке, разрывавшийся в начале XIX столетия, получал несколько иной смысл. Вопрос о том, что лучше — «старый» или «новый» слог, является ли язык культурной константой или он постоянно эволюционирует, перестает казаться периферийным спором по узко специальной теме, свидетельством незрелости общества или цензурным заменителем подлинно существенных проблем. Сложность картины усугублялась тем, что для интересующей нас эпохи понятия «старый» и «новый», «движущийся вперед» и «отсталый» в общественно-политической сфере, с одной стороны, и в области идеологии и языка, — с другой, резко не совпадали. Поэтому один и те же слова зачастую употребляются современниками в сдвинутом, а, порой, и в противоположном смысле, даже в устах одного и того же человека. Это сбивало не только исследователей, но и самих участников культурной жизни эпохи.

Некоторый экскурс в область политической ситуации начала XIX в. представляется здесь тем более уместным, что и сами участники дискуссий, и исследователи их постоянно прибегали к политическим характеристикам языковой позиции шишковилов, карамзинистов, литераторов из декабристского круга и т. д. Определения «реакционный», «либеральный», «прогрессивный» встречаются при изложении этих вопросов несравненно чаще, чем в других разделах истории языка. А между тем без определения, какой реальный смысл имели эти понятия в историческом контексте эпохи, употребление их вряд ли может быть оправдано.

Прямым последствием европейских событий конца XVIII в. было исчезновение непосредственно-революционного лагеря в первые годы нового столетия. Освободительный рационализм просветителей XVIII века утратил значительную часть своего обаяния. Магические слова XVIII века: Разум, Закон, Природа — уступили место рассуждениям об Истории и Традиции. Если Руссо резко противопоставлял теорию и историю, подчеркивая правоту первой и гибельные заблуждения второй, то Гизо стремился к их примирению¹¹, а для деятелей реставрации, английских тори и немецких

¹⁰ Ср.: Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, ук. соч., *passim*.

¹¹ В очерке, посвященном Вашингтону, Гизо писал, что борьба американских колоний «основана на праве историческом и на фактах, на праве разума и на идеях» (*Histoire de Washington ... par Cornelis de Witt, précédée*

романтиков традиция сделалась и аргументом, и лозунгом. Это придало налет консерватизма не только правым, но и либеральным публицистам Европы тех лет.

При характеристике общественной жизни России начала XIX в. мы сталкиваемся с совершенно иной картиной: консервативного лагеря мы практически не находим, если не считать совершенно одинокого Карамзина конца 1810-х—1820-х гг., и либерально-консервативных — на английский манер — Мордвинова и С. М. Воронцова. Никакого общественного лагеря они не составляли.

Русская реакция была не консервативна (то есть не защищала какой-либо исторически сложившийся порядок), а максималистски утопична. Она совсем не была в восторге от наличной реальности русской жизни. Наоборот, из ее лагеря раздавались требования немедленных и решительных перемен. Правда, перемены эти должны были иметь реакционный, поворачивающий колесо истории вспять, характер. Ярким примером такого реакционного утопизма была деятельность Павла I. Противопоставляя новизне старину и делая эту последнюю своим знаменем и программой, Павел, однако, не имел в виду какой-либо реально сложившейся традиционной формы русской жизни. Рисовавшемуся его сознанию фантастическую старину с русским рыцарством, к тому же объединяющим в одном ордене православных и католиков, с государем-первосвященником, совершающим литургию, и государем-рыцарем, решающим дипломатические споры при помощи поединка, еще предстояло создать. Охранительная государственная машина призвалась охранять не столько реально сложившиеся традиционные институты (представление о государственной деятельности как о постоянной ломке в корне противоречило этому), сколько тот «исторический» порядок, который еще должен был возникнуть в результате чудесных коренных преобразований эсхатологического типа.

Сходные черты без труда усматриваются в «традиционализме» Шишкова. Шишков не был профессиональным лингвистом даже на уровне науки своего времени (недостатки его профессиональных знаний были впоследствии обнаружены такими филологами, как Востоков и Мерзляков). Его лингвистические концепции, как это бывало и в случаях с «высочайшим языкознанием», о котором говорилось выше, в известной мере определялись внелингвистическими соображениями общеидеологического типа. Последнее обстоятельство не мешало, как увидим, наличию в его концепциях не только здравых, но и проничительных идей.

Шишков был не традиционалистом, а утопистом. Реальная стихия церковного языка ему отнюдь не была органична; в церковнославянском он допускал ошибки. Даже подлинные архаизмы в его сочинениях часто играли роль неологизмов, поскольку их надо было искусственно вводить в современный реформатору язык. Парадоксально, что в полемике о языке именно карамзинисты ссылались на употребление, то есть на нечто, фактически узаконенное традицией, как на оправдание своей позиции, а Шишков доказывал, что «рассуждение», то есть абстрактно-теоретическое построение, в вопросах языка выше реальности. Так, в одном из полемических произведений Шишкова, написанном в диалогической форме как спор между «русским» и «славянином» (позицию автора выражает, конечно, второй), русский, отстаивая реальную традицию, говорит: «Употребление тирани: оно делает вкус, а против вкуса никто не пойдет». «Славянин» возражает: «Мы последовали употреблению там, где разум одобрял его, или по крайней мере не противился

d'une étude historique sur Washington par M. Guizot, Paris, 1855, стр. 1). Направивается сопоставление с известными словами Руссо в «Общественном договоре» о том, что Гроций «видит основания права в существовании соответствующего факта. Можно было бы применять методу более последовательную, но никак не более благоприятную для тиранов» (Жан-Жак Руссо, Трактаты, М., 1969, стр. 153).

оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них»¹². При этом, принимая идущее в русской филологической традиции еще от Адодурова и Тредиаковского разделение употребления на «общее» и «частное», Шишков пытается моделировать идеальное общее употребление, отнюдь не соответствующее реальной языковой практике. «Частное употребление» — это именно реальное говорение, которое, по мнению Шихкова, ни в коей мере законом не является. Между тем, «общее употребление», как Шишков его определяет, вовсе не является «употреблением» в непосредственном смысле, а может быть охарактеризовано как обобщенные свойства национальной структуры языка (на этой основе он вводит интересное противопоставление «наречия» — языковой реальности — и «языка» — его субстанциональной сути)¹³. Поскольку «общее употребление» в основе своей имеет «откровение», а частное — «навык», то и постигается первое дедуктивно, а второе — индуктивно. Первое, составляющее основу языковых рассуждений Шихкова, объявляется «плодом труда», а каразинское требование «писать как говорят» — плодом лениости¹⁴. Реальная языковая практика противопоставляется — идеальной.

Такое отношение Шихкова к проблеме традиции менее всего заставляет видеть в нем деятеля, реально обращенного к историческому прошлому. Это не отменяет субъективной ориентированности Шихкова на прошлое. Однако это интересовавшее его прошлое было на самом деле плодом фантазии основателя «Беседы».

Шихков видел в русском языке результат деградации языка церковнославянского. Соответственно, он заключал, что их отличие отражает разницу между идеальным — по его мнению, коренным, исконным — состоянием русского народа и его нынешним — искаженным и испорченным. Представление о том, что русские начала XIX в. —

...изнеженное племя
Переродившихся славян

(Рылеев) —

было широко распространено в романтической литературе.

¹² А. С. Шихков, Рассуждение о красноречии Священного Писания..., в кн.: Шихков, Собрание сочинений и переводов, ч. IV, СПб., 1825, стр. 86—87. Представление о старине, как о чем-то, что еще предстоит создать, в парадоксально-заостренной форме было высказано Ап. Григорьевым, отстаивавшим «архаические новаторство» молодой редакции «Москвитянина». Ап. Григорьев требовал разъяснения для читателей «новых сторон» славянофильской концепции, показав «в какой степени они *новы*, т. е. в какой степени они стары, как старокоренное русское воззрение». Рассуждение завершается парадоксом о том, что противники «Москвитянина» борются «с *новым*, т. е. со *старым*» (Ап. Григорьев, «Окружное послание...», публ. Б. Ф. Егорова, Уч. зап. ТГУ, вып. 98, Тарту, 1960, стр. 227; курсив везде Ап. Григорьева).

¹³ В этом разделении языка как эмпирической реальности и как глубинной конструкции и в мысли о том, что именно эта последняя и есть реальность подлинная, нетрудно было бы усмотреть аналогию с некоторыми новейшими лингвистическими концепциями. Вместе с тем, естественно провести параллель между этими построениями и социологической концепцией Руссо, например противопоставлением «воли всех» (реального волеизъявления народа), могущей отражать случайные обстоятельства, «общей воле» — идеальному и безошибочному изъятию внутренней структуры коллективной воли общества. Проницательный анализ этого аспекта воззрений Руссо дан В. С. Алексеевым-Поповым (см.: Ж.-Ж. Руссо, Трактаты, стр. 549—550); ср. также: Cl. Lévi-Strauss, Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme, в его кн.: «Anthropologie structurale deux», Plon, 1973.

¹⁴ Анализ этого требования, как и вообще тщательное рассмотрение этой проблемы, см.; В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 115 и далее.

Уже высказывалась мысль о связи поэтики «Беседы» с предромантизмом¹⁵. Сейчас можно было бы высказать предположение, что если искать в русской литературе какие-либо типологические параллели к католическому романтизму Шатобриана периода «Мучеников» и «Гения христианства», то наиболее близкие соответствия мы найдем в Шишкове и Шихматове-Ширинском: та же национально-романтическая идея, та же враждебность «философскому» XVIII столетию и его порождению — революции, тот же антиисторический «историзм» и стремление возродить национальный характер на основе ортодоксальной (католической или православной) церковности, та же ненависть к рационалистическому пиетизму и его основе — протестантизму, с одной стороны, масонству, — с другой. И, наконец, в эстетической области — то же тяготение к эпическим жанрам. Если дополнить эту параллель указанием на место в политической борьбе наполеоновской и посленаполеоновской эпохи, то станет очевидным, что сопоставление Шатобриана с Шишковым или Шихматовым-Ширинским имеет больший смысл, чем часто производившееся сближение его с либеральным в эти годы мистиком-пиетистом, тяготевшим к протестантизму, — Жуковским.

Этикетка «классицизм», приклеенная Вяземским из полемических соображений шишковистам (и принципиально оспоренная Пушкиным), смещает историческую картину. Именно национально-романтическая идея, сформулированная Шишковым резко-полемически (хотя и сочетавшаяся прискорбным образом с привычкой сводить литературный спор к политическим обвинениям), определила широту воздействия его концепции на младших современников: Катенина, Грибоедова, Кюхельбекера, а в определенной мере — также Рыльева, Пестеля и даже Н. Тургенева¹⁶. Сложным, хотя и бесспорным, было воздействие этих идей на Крылова. Остается открытым вопрос о мере влияния их на Карамзина периода «Истории».

Современники заметили отсутствие единства в позиции Шишкова (ср. ремарку в записной книжке Батюшкова. «Он прав, он виноват»^{16а}) и не ставили знака равенства между его общеидеологической и лингвистической позицией. Тем более примечательно, что некоторые наиболее интересные стороны лингвистической позиции Шишкова были связаны именно с его общей романтической установкой. Так, исходя из романтической идеи безусловной самобытности и культурной замкнутости каждого отдельного народа¹⁷, Шишстарческим бессилием государственностью эпохи Александра I, времени (по крайней мере, с точки зрения правительственной деятельности) кабинетных утопий и преобразований на бумаге, — параллелизм в обострении языковых

Какова бы ни была разница между полной юношеской энергии эпохой Петра I, эпохой дел и свершений, и отмеченной уже у колыбели каким-то старческим бессилием государственностью эпохи Александра I, времени (по крайней мере, с точки зрения правительственной деятельности) кабинетных утопий и преобразований на бумаге, — параллелизм в обострении языковых

¹⁵ Ю. Лотман, Поэзия 1790—1810-х годов, в кн.: Поэты 1790—1810-х годов Л., 1971, стр. 15—21. Ср. в этой связи также ниже, стр. 229 сл. наст. работы.

¹⁶ На собственно лингвистических предпосылках этого воздействия мы специально остановимся ниже, см. стр. 235, 246—247 наст. работы.

^{16а} К. Н. Батюшков, Чужое — мое сокровище (набросок сочинения о русской словесности 1817 г.), в изд.: К. Н. Батюшков, Сочинения, т. II, СПб., 1885, стр. 338.

¹⁷ О значении этой идеи для романтизма см.: Г. А. Гуковский, Пушкин и русские романтики, М., 1965.

^{17а} Подробнее, в частности, о влиянии этой идеи на поэтику басен Крылова см.: Ю. Лотман, Проблема народности и пути развития литературы преддекабристского периода, в сб.: О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы, М.—Л., 1960.

проблем не случаен. Французская революция XVIII века преподавала европейским мыслителям XIX столетия ряд уроков. В 1800-е гг. для России наиболее актуальными оказались два: 1) вера в то, что развитие — закон общественной жизни, и что, следовательно, любая попытка сохранить устарелый порядок, с одной стороны, бесперспективна, с другой — опасна, ибо может привести лишь к эксцессам наподобие французских; 2) отрицательное отношение к революционной тактике и непосредственной политической активности народа. Лозунг, казавшийся в XVIII веке азбучной истиной прогресса: «Все для народа, все при помощи народа», — трансформировался в «Для народа (для одних эта часть была искренним выражением святых убеждений, для других — лицемерным прикрытием политического эгоизма), но без народа». Так определились контуры русского либерализма начала XIX века.

Несмотря на ряд (особенно бросающихся в глаза современникам) черт сходства, правительственный и общественный либерализм начала XIX в. были явлениями глубоко отличными. Историки уже неоднократно отмечали, что, углубляясь в извивы тактики молодого Александра I, исследователь с изумлением обнаруживает многочисленные черты сходства между ним и его отцом. В данном случае имеет смысл остановиться лишь на одном аспекте их политического курса — утопизме. И реакционер Павел, и тяготеющий к реформам враг революции Александр I мечтали переделать все в России. Этот утопизм имел специфически свирепый характер: как бы само собой подразумевалось, что ради блистательных целей в будущем можно обречь современную Россию на любые страдания. Если естественная деятельность правительства делилась на заботы о каждодневном управлении страной и проекты, касающиеся отдаленного будущего, то в конце XVIII в. только Екатерина II неизменно ставила практицизм выше утопизма. Павел I довел до предела обе крайности утопизма. С одной стороны, он возвел в абсолют идею всеобщей регламентации, с другой — отводил себе роль того, кто вторгается в ход дел и нарушает их течение (как он считал, — с благой целью; в мифолого-эсхатологическом духе он предполагал, что благо есть нарушение обычного течения событий)¹⁸. Александр I много и увлеченно занимался бюрократической рутинной и, казалось бы, стремился утвердить постоянное и закономерное течение дел. Но, во-первых, такое упорядочение мыслилось как низшая, подготовительная деятельность, за которой должны воспоследовать блистательные и коренные реформы (сущность их и реальные формы император предпочитал не обсуждать, всячески оттягивая даже

¹⁸ Народное сознание, отраженное в русском фольклоре, также резко разграничивает эти две формы деятельности властей, отождествляя их с противоположной «регулярное ↔ эксцесс». Интересно отметить, что в былинах киевского цикла высшая государственная власть получает функцию, которую можно сопоставить, по характеристике М. Элиаде (см. М. Eliade, *Aspects du mythe*, Paris, 1963), с мифологической функцией бога-творца, который, сотворив мир, занимает по отношению к нему пассивную позицию созерцателя и в такой мере далек от вмешательства в установленное течение событий, что кажется не имеющим значения и может предаваться забвению. Таков Владимир-Красно Солнышко. Он, стоя во главе былинного мира, является благим и благодушным пассивным созерцателем, предоставляющим роль активных действующих лиц иерархически низким персонажам — богатырям. В сказках и исторических песнях позднейшего периода Иван Грозный и Петр I связываются с другой отмеченной Элиаде мифологической фигурой — бога-спасителя, который, являясь, нарушает регулярное (злое) течение дел и актом эсхатологического эксцесса утверждает конечное торжество правды. Регулярность государственного управления мыслится народным сознанием как источник зла и связывается с «боярами» — аппаратом. Верховная же власть мыслится как разрушитель регулярности (не случайно обычные сказочные союзники Ивана или Петра — разбойники, воры или пьяницы — люди, поставленные вне «правильной» государственной жизни). Именно в

обдумывание их, но их вечность и блистательность сомнению не подвергались и предвкушались с ранней юности). Во-вторых, любая только что утвержденная регулярность тотчас же нарушалась деспотическим вмешательством императора, желавшего, чтобы путь России к «славе и счастью» не лишил его не только полноты самодержавной власти, но и права на капризы в государственных масштабах.

С либералами начала XIX в. Александра I роднило убеждение, что поступательное движение лежит в природе вещей, что правление должно согласовываться с духом времени и что искусственные попытки остановить развитие или повернуть его вспять способны лишь спровоцировать разрушительные взрывы. Именно этими соображениями руководствовался русский император, формулируя свое отношение к порядку, который следует установить во Франции после удаления Наполеона¹⁹. Движение вперед мыслилось как система бюрократических постановлений, долженствующих подготовить окончательную реформу, которая будет носить эсхатологически-завершающий характер. Таким образом, если на Западе деятели охранительного лагеря стремились видеть в законах лишь юридическое оформление существующего положения (Жозеф де Местр утверждал: «Истинная конституция может быть только разрешением задачи — даны: население, нравы, религия, географическое положение, политические отношения, богатство, хорошие и дурные качества известной нации; требуется найти подходящие законы»²⁰), то в России и те, кто помещали желательный порядок в отдаленное прошлое, и те, кто видели его в будущем, в 1810-е годы стремились этот порядок сконструировать из некоторых абстрактных теоретических предпосылок. Известно, что когда практическая жизнь сопротивлялась кабинетным планам Александра, он предпочитал гнуть и ломать эту жизнь или, впадая в разочарованность,

союзе с ними царь разоблачает зло «бояр». Царь и разбойник, вообще, являясь в русском фольклоре функционально едиными (могущими в вариантах заменять друг друга) фигурами. Оба они выполняют роль неожиданных спасителей, что тонко почувствовал Пушкин в «Капитанской дочке», распределяя роли Пугачева и Екатерины II (ср.: И. П. Смирнов, От сказки к роману, ТОДРЛ, XXVII, Л., 1972). Именно эксцесс мыслится как признак истинно царского поведения. В этом смысле неслыханное, исключительное (то есть «первый раз совершаемое», иррегулярное) злодейство мыслится как «более правильное» (то есть более ожидаемое) царское поведение, чем, например, уклонение от действий, поскольку более укладывается в представление о том, что царь есть фигура эсхатологическая в принципе. Поразительно интересные данные в этом отношении приводит К. В. Чистов в работе, посвященной народному сознанию XVIII—XIX вв., показывая, что фольклорные тексты о казни Петром царевича Алексея возникли за десятилетие с лишним до реальной казни и наместно определили даже первые конфликты между царем и его сыном (см.: К. В. Чистов, Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв., М., 1967, стр. 91—120). Напомним также предположение В. Я. Проппа о том, что песня об убийстве Иваном Грозным сына возникли до этого трагического события (см.: В. Я. Пропп, Песня о гневе Грозного на сына, «Вестник ЛГУ», № 14, серия истории языка и литературы, вып. 3, Л., 1958). С этим можно сопоставить модель царского поведения в «Песне про купца Калашникова» Лермонтова. Странно было бы предположить, что стереотип народного ожидания не влиял на реальное поведение русских самодержцев, хотя бы и не как первостепенный фактор. Эти представления, с одной стороны, отражали политический мифологизм народного сознания, с другой — связаны были с реальным различием в позиции верховной власти в раннефеодальный период и в эпоху централизации.

¹⁹ См.: А. Н. Шебунин, Европейская контр-революция в первой половине XIX века, Л., 1923.

²⁰ Цит. по: А. Н. Шебунин, ук. соч., стр. 34.

говорить о неблагодарности и злости людей, непросвещенности России. Присвоенность императора к армейским порядкам, фрунту, параду и мундиромании в известной мере определялась именно тем, что это была область, в которой задуманное беспрепятственно воплощалось в реальность. Эта условная среда не оказывала сопротивления реформаторским усилиям (до тех пор, пока не возникал вопрос о том, что армия, кроме всего прочего, должна еще и быть в состоянии воевать).

Язык в этом отношении представлял прямую противоположность: по самой своей сущности он предполагает, что предписываемые ему законы должны быть обнаружены в его внутренней структуре, а не навязаны извне на основании априорных теоретических соображений. Тем более показательно, что и в области языка большинство участников спора опиралось на априорные тезисы.

Мы уже отмечали, что в сфере эсхатологического мышления проблема языка оказывается непосредственно связанной с наиболее существенными характеристиками реальности. Показательно, что забота о языке правительственных декретов и официальных бумаг представлялась в ту пору одной из существеннейших государственных задач. Реформа государственной машины была начата с реформы правительственного языка. Для подъячего старого типа, составляющего бумаги на канцелярском жаргоне XVIII в., путь в правительственные сферы был закрыт, между тем как в возвышении Сперанского, в карьере десятков преуспевающих молодых государственных деятелей, включая Уварова или Дашкова, владение изящным письменным языком «нового стиля» сыграло самую существенную роль^{20а}. В. Д. Левин замечает: «Среди лиц, язык которых уже в то время <в последнее десятилетие XVIII в. — Ю. Л., Б. У.> отличался чистотой слога, надо назвать М. М. Сперанского; написанный им в 1792 г. курс «Правил высшего красноречия» поражает близостью к языку Карамзина и его «школы»²¹. Достаточно характерно в этом смысле и специальное руководство М. Л. Магницкого, посвященное деловой и государственной словесности нового стиля²².

Показательно, что едва настал 1812 год и от правительственной бюрократии потребовалось перевести официальные декреты на чуждый для нее («не свой») язык, отмеченный не изяществом и чистотой, ясностью и терминологической гибкостью, которые ценились в бумагах дельцами александровской формации, а народностью, силой и торжественностью, пусть даже купленными ценой темноты и грубости слога, как должность государственного секретаря была передана Шишкову (кандидатура Карамзина, лично значительно более симпатичного императору, была отклонена)^{22а}. Одновременно это было торжеством церковнославянского языка и церковной традиции (из-

^{20а} В этом смысле парадоксальную антитезу представляет юридическая карьера Державина и Дмитриева: в обоих случаях правительство стремится использовать поэтов как государственных деятелей, но в первом залог способности к выполнению этих функций находят в творческом богатстве личности, во втором — во владении изящным слогом. Ср. в письме Карамзина Дмитриеву от 27 июля 1798 г. (последний занимал тогда место обер-прокурора сената и товарища министра): «Витовтов сказывал мне, что ты наш Д'Агессо, и приказной слог знакомишь с ясною краткостью, чистотой, приятностью. Vive le Procureur!» (см. изд.: «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», под ред. Я. Грота и П. Пекарского, СПб., 1866, стр. 97).

²¹ В. Д. Левин, Очерк..., стр. 115; ср.: М. Сперанский, Правила высшего красноречия, СПб., 1844.

²² См.: М. Магницкий, Краткое руководство к деловой и государственной словесности для чиновников, вступающих в службу, М., 1835.

^{22а} Если Пушкин, имея в виду шишковские манифесты, писал:

Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,

Он славен славою двенадцатого года

(«Второе послание к цензору», 1824 г.).

вестно отрицательное отношение Александра I к церковнославянскому языку дошедшее в годы «Библейского общества» до распоряжения перевести Библию на современный русский язык; распоряжение это сопровождалось переданными к общему сведению презрительными отзывами о церковнославянской традиции²³). Итак, обращение к языковой проблеме не было ни бегством от основных вопросов, ни вынужденной цензурной их заменой. Оно вытекало из разделявшейся всеми лагерями эсхатологической концепции, согласно которой Россия нуждается в коренной и окончательной перемене, создающей новый порядок и новый язык ценой совершенного удаления от старины или полного ее восстановления.

Мы видим, что борьба по вопросам языка захватывала всю толщу основных культурных проблем. Однако шишковисты и карамзинисты не были единственными ее участниками.

Шишков и Карамзин представляли лишь возможные полюсы культурной жизни, правда, наиболее значимые с точки зрения самоосознания данной эпохи. Между тем, более общее противопоставление «архаистов» и «новаторов» (если воспользоваться терминологией Ю. Н. Тынянова), заданное эпохой и обусловленное в конечном счете спецификой русской культурно-исторической — в том числе и языковой — ситуации, могло в принципе наполняться разным содержанием, то есть конкретизироваться различным образом. Так образовывались разные полярные противопоставления, которые осмыслились как реализации некоей более общей имманентной альтернативы. Одним из таких противопоставлений была антитеза, озаменованная именами Шишкова и Карамзина. Другим — о котором нам придется специально говорить ниже — было противопоставление Боброва и П. И. Макарова; будучи достаточно близко к первому, это последнее противопоставление не совпадало с ним в точности, представляя собой несколько иную реализацию той же самой общей антитезы: как позиция Боброва не совпадала с позицией Шишкова (что не мешало ему быть типичным «архаистом»), так и позиция Макарова не совпадала с позицией Карамзина (что не мешало ему оставаться ярким «новатором» — карамзинистом в партийном смысле этого термина).

Вместе с тем, пространство между различными полюсами «архаистов» и «новаторов» заполнено было литературными явлениями, тяготеющими к тому или иному полюсу, но не в чистом виде, а во всем богатстве разнообразных — порой типичных — проявлений.

Одним из актуальных вопросов литературно-идеологической борьбы нач. XIX в. было отношение к просветительской традиции XVIII столетия. И карамзинисты, и шишковисты далеко ушли от принципов философии XVIII в., относились к этой культуре критически и часто полемизировали с идеями энциклопедистов, Руссо или русских поклонников «Общественного договора». Вместе с тем, связи каждого из этих лагерей с названной традицией были одинаково глубокими, хотя и качественно различными. Карамзинизм усвоил гуманный пафос философии прошедшего века, хотя и окрасил ее в тона скепсиса и разочарования. Шишковизм сложно соотносился с идеями народной и национальной культуры, восходящими к Руссо и Гердеру. Не случайно оба направления в истоке своем восходили к московскому масонству 1780-х гг.²⁴, подобно тому как враждебные друг другу славянофильство и

то Вяземский сохранил другое воспоминание: «Я помню, что во время оно мы смеялись нелепости его манифестов; <...> но между тем большинство — народ, Россия — читали их с восторгом и умилением» (П. Вяземский, Старая записная книжка, Л., 1929, стр. 259).

²³ См.: А. Н. Пыпин, Религиозные движения при Александре I, Пг., 1916, стр. 38, 40, 41.

²⁴ Отрицательное отношение Шишкова в XIX в. к масонству (как и другим формам мистицизма и внецерковной религиозности) не следует переносить на 80-е гг. XVIII века. Предположение В. П. Семенникова об

западничество 1840-х гг. ввели общую колыбель — кружок Станкевича, московское шеллингианство и гегельянство 1830-х гг.

Как бы то ни было, и шишковисты, и карамзинисты сами осознавали себя как противники просветительской традиции. Между тем, в литературной жизни той поры существовала группа, субъективно ориентирующаяся на продолжение традиции просветительских идей XVIII столетия. Утратив философскую целостность позиции, отступив по ряду принципиальных вопросов социологического плана, все более приобретаая черты эклектизма, этот лагерь наследников просветительской идеологии XVIII в. сохранил, однако, ряд определяющих черт своей исходной позиции.

Прежде всего это было убеждение в доброте и социальности человеческой природы, в высокой нравственной и эстетической ценности естественной основы человека. Основной культурологической оппозицией оставалась «Природа — Цивилизация», причем первая оценивалась и как исходная, и как положительная форма. С подобной позиции путь человечества вперед оценивался как путь деградации.

Устойчивой чертой в идейном комплексе просветителей начала XIX в. было отрицательное отношение к дворянству и дворянской культуре. Это были люди, во многом чуждые новой литературной ситуации — литераторы-профессионалы, эрудиты, напитанные идеями природного равенства людей, презирующие дворянство как социальное явление и дилетантизм как факт культуры. Биографически часто поставленные вне тех корпоративных гарантий, которые единственно давали человеку той эпохи обеспеченную защиту личного достоинства, эти люди составляли основную массу в нижнем этаже деятелей культуры: университетские профессора, журналисты, переводчики, актеры, художники, граверы, библиографы и библиотекари (все они должны были служить не ради чинов и престижа, а для хлеба насущного) часто были одновременно и поэтами, критиками и публицистами. Этот пестрый лагерь соприкасался с недворянской интеллигенцией начала века, частично с ней сливаясь. Н. Сандунов и Мерзляков, Гнедич и Крылов, Нарезный и Милонов, Попугаев и Пнин, Востоков и Мартынов — при всем своеобразии каждого из этих деятелей русской культуры — были связаны с этим миром. В определенной мере к нему принадлежал и Бобров.

Люди эти принадлежали культуре вчерашнего и завтрашнего дня, но в окружавшей их современности вынуждены были самоопределяться, с известной долей искусственности «приписываясь» к группировкам, чьи позиции разделяли лишь частично. С этим связаны частые случаи колебаний, переходов из одного враждующего лагеря в другой, поисков «центристских» программ. Однако нельзя не заметить, что «арханizm», видимо, оказывался для них, в ряде случаев, более близкой теоретической концепцией.

участии его в «Обществе друзей словесных наук» — дочерней организации новиковского «Собрания университетских питомцев», руководимой ревностным масоном М. И. Антоновским, — представляется вполне убедительным (см.: В. П. Семенович, Литературно-общественный круг Радищева, в сб.: А. Н. Радищев. Материалы и исследования, М.—Л., 1936, стр. 238—241). Имя Шишкова значится в отнюдь не обширном списке подписчиков на «Беседующий гражданин». Отрицательное отношение к литературной деятельности Карамзина впервые проявилось в кругах московских масонов. Резкие критические выступления А. М. Кутузова в конце 1780-х — начале 1790-х гг. против Карамзина явились первыми нападениями такого рода и не только исторически предшествовали работам Шишкова, но и психологически их подготовили. Позиция арханста в вопросах языка была типична для позднего Хераскова, антикарамзинистом был издатель «Друга юношества» М. Невзоров, один из наиболее преданных учеников Новикова (характерное свидетельство отрицательного отношения карамзинистов к Невзорову — «Дом сумасшедших» Воейкова). Ср. также ярко арханстическую позицию М. А. Дмитриева-Мамонова.

Необходимо иметь в виду, что противопоставление «арханстов» и «новаторов» — если пользоваться этой условной терминологией — представляло в этот период как неизбежная альтернатива, по отношению к которой невозможно было оставаться нейтральным. Любая литературная позиция так или иначе вписывалась (в сознании эпохи) в эти рамки. В этих условиях наследники просветительской традиции XVIII в., в общем и целом, оказывались — в большей или меньшей степени — «арханстами». Едва ли не наиболее ярким примером этого может служить творчество Боброва, непосредственно связанное с эстетикой Радищева, с лингвистической программой Тредиаковского, с мистикой Новикова и с натурфилософией Ломоносова.

* * *

В ряду литературных манифестов просветителей 1800-х гг., вызванных полемикой по вопросам языка, может быть осмыслено и публикуемое сочинение С. Боброва «Происшествие в царстве теней, или Судбина российского языка». Произведение это известно было современникам и упоминалось в одном из некрологов автора²⁵, однако, в дальнейшем считалось утраченным. Рукопись произведения хранится в библиотеке Московского университета (под шифром 9Е08).

Публикуемый текст привлекал уже внимание ряда ученых — на него в свое время указывал Р. О. Якобсон в неопубликованном письме Д. Н. Ушакову²⁶, И. Н. Розанов обратил на него внимание Л. В. Крестовой, которая извлекла из него цитату, относящуюся к оценке карамзинского «Острова Борнгольм» (без указания места хранения документа и с неточным обозначением его названия)²⁷. У авторов настоящей публикации есть сведения, что И. Н. Розанов работал над текстом «Происшествия в царстве теней». Однако, к сожалению, труд его не получил должного завершения. Текст оставался неизданным и в специальной литературе, посвященной Боброву, продолжал фигурировать как неизвестный. Обнаруженный запово в 1969 г. одним из авторов настоящей работы, текст памфлета С. С. Боброва впервые публикуется ниже.

Хотя полемическая традиция, идущая от «Арзамаса», сопричислила Боброва — «Бибруса» — к лику «беседчиков», он им не являлся ни формально (Бобров умер за год до основания «Беседы»), ни по существу. В начале своей литературной деятельности Бобров был связан с «Обществом друзей словесных наук», где познакомился с Радищевым, сильное влияние воззрений которого на поэзию он испытал. Со своей стороны и Радищев, уже после ссылки, с большим уважением отзывался о поэтических опытах Боброва, ощущая близость их к своей эстетической программе^{27а}. Одновре-

²⁵ См. некролог Боброва в «Вестнике Европы», 1810, ч. LI, № 11, стр. 245—246, подписанный инициалами «С.С.» Среди произведений Боброва здесь упоминается (на стр. 246) «Суд в царстве теней, прозою». В «Критико-биографическом словаре» С. А. Венгера (т. IV, отд. 1, СПб., 1895, стр. 58; статья о Боброве написана М. Мазаевым), это сообщение цитируется с вопросительным знаком.

²⁶ ЦГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 372.

²⁷ Л. В. Крестова, Древнерусская повесть как один из источников повестей Н. М. Карамзина «Райская птичка», «Остров Борнгольм», «Марфа Посадница» (Из истории раннего русского романтизма), в кн.: «Исследования и материалы по древнерусской литературе», М., 1961, стр. 209.

^{27а} См.: В. П. Семеновиков, Радищев. Очерки и исследования, М.—Пг., 1923, стр. 243.

менно Бобров испытал воздействие масонской поэтики и высоко ценимых в кругах «Общества» Мильтона, Клопштока, Беняна, Геллерта. На значение для Боброва поэзии Ломоносова он сам указывал в своих стихах. Так создавалась та сложная поэтика, которую сам Бобров определил, как «игры важной Полигимнии», и которая была глубоко противоположна «легкой поэзии» и культу «безделок», полемически отстаиваемым Карамзиным в 1790-е гг. То, что Бобров и Карамзин вылетели, по сути, из одного гнезда — кружка Новикова—Кутузова—Шварца — и оба принадлежали к поколению, вступившему в литературу в 1780-е гг., лишь обостряло их отношения: видимо, по наследству от кружка московских «мартинистов» 1780-х гг. Бобров усвоил отношение к Карамзину как ренегату и проповеднику безнравственности. Со своей стороны, Карамзин, обычно чуждавшийся полемики (ср. его презрительный отказ от полемики с Крыловым и Клушиным в письме Дмитриеву от 18 июля 1792 г.²⁸), в предисловии ко второму тому (Аонид) резко отрицательно отзывался о поэзии Боброва, критикуя его космические и эсхатологические темы, хотя и не назвал его по имени²⁹. Таким образом, полемика между Карамзиным и Бобровым началась еще в 1797 г. по инициативе первого. Однако тогда она продолжения не получила: Бобров по не вполне ясным причинам (возможно, роль сыграли аресты Радищева и Новикова) покинул Петербург еще в 1792 г. и служил на Черном море. На длительный срок он оторвался от литературы. Да и Карамзин, после ряда героических попыток продолжать в обстановке надвигающейся реакции литературную деятельность, вынужден был признать в письмах к Дмитриеву (1798 г.), что русская литература лежит «под лавкою», «цензура как черной медведь стоит на дороге»³⁰. Павловское царствование не благоприятствовало литературной полемике.

В начале александровского царствования, в новых условиях, полемика возобновилась. Сигналом для ее возрождения послужило появление книги Шишкова, давшей антикарамзинским силам знания и программу.

Вернувшийся в столицу (около 1800 г.) Бобров был принят как заслуженный литератор. Его высоко ценили в кругах «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», его проklamировал весьма авторитетный в те годы журнал Мартынова «Северный вестник», который действительно был тогда одним из лучших изданий. Бобров сотрудничал в «Северном вестнике» и «Лицее». «Журнал российской словесности» писал о нем: «Щастлива страна, которая имеет таких Поэтов!»³¹. На страницах «Северного вестника» в 1804—1805 гг. завязалась полемика о поэзии Боброва: после очень высоких оценок ее в статьях Мартынова и Александровского (1804, № 4; 1805, № 3) на страницах того же журнала появилась критическая статья Неваховича (1805, № 8)³². В ходе полемики утвердилась

²⁸ «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», стр. 28 (ср. также стр. 17).

²⁹ Ср.: «Молодому питомцу муз лучше изображать в стихах первая впечатления любви, дружбы, нежных красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар натуры и прочее в сем роде...» («Аониды, или собрание разных новых стихотворений», кн. II, М., 1797, стр. VII—VIII).

Ср., вместе с тем, более ранний отзыв Карамзина о Боброве: публикуя в «Московском журнале» стихи Боброва, Карамзин спрашивает Дмитриева в письме от 6 сентября 1792 г.: Нет ли у вас чегонибудь нового в литературе? — В каком состоянии Бобров?» («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», стр. 30—31).

³⁰ «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», стр. 97 и 99.

³¹ «Журнал российской словесности», 1805, ч. I, № 2, стр. 120.

³² См. Н. И. Мордовченко. Русская критика первой четверти XIX в., М.—Л., 1959, стр. 116—117; П. Н. Берков, К истории русско-польских культурных отношений конца XVIII и начала XIX вв., I. И. Т. Александровский, профессор русского языка и словесности в Кременецком лицее, «Изв. АН СССР», 1934, № 9, стр. 703—742.

оценка поэзии Боброва как знаменательного явления русской литературы. Следует отметить, что журналы, поддерживавшие и пропагандировавшие Боброва, не принадлежали к лагерю шишковистов: «Журнал российской словесности» и «Лицей» тяготели к «Вольному обществу», а независимая позиция «Северного вестника» определялась воззрениями И. И. Мартынова, своеобразно связанными с просветительской традицией XVIII века.

Повод продолжить полемику, начатую Карамзиным еще в конце 1790-х гг., появился в конце 1803 г., когда издатель журнала «Московский Меркурий» П. И. Макаров выступил с обширной теоретической статьей «Критика на книгу под названием «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка», напечатанную в Петербурге...»³³.

Как известно, Карамзин демонстративно уклонялся от полемики, а те, кто в 1802—1803 гг. стояли под его литературным знаменем, не были способны достойно ответить на выступление Шишкова. Выступление П. И. Макарова сразу же поставило его в центр литературной борьбы. Статья Макарова была в высшей мере примечательной: он широко и последовательно, в полемически острой форме, логично и саркастически опровергая тезисы Шишкова, изложил основные положения учения о «новом слоге». В центре статьи Макарова — идеи непрерывности развития языка и общества: «Удерживать язык в одном состоянии невозможно: такого чуда не бывало от начала света», — писал он. «Придет время, когда и нынешний язык будет стар». Согласно Макарову, «язык следует всегда за науками, за художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями» (стр. 162—163). Заявив себя решительным сторонником европейского просвещения, Макаров проницательно отозвался о прадедовских нравах и выразил надежду, что Шишков не хочет для удобства восстановления архаического языка возратить своих современников с ним последним. «В отношении к обычаям и понятиям, мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следовательно хотим сочинять фразы и производить слова по своим понятиям, нынешним, умствуя как французы, как немцы, как все нынешние просвещенные народы» (стр. 169—170)³⁴. Именно этот тезис и касался основного вопроса полемики. Шишков считал, что тип национального «умствования» не может быть сопоставлен ни с чем; Крылов положил в основу своих басен своеобразие национально-самобытного взгляда на мир, выраженного в речевых формах «народного толка». Критики, связанные с просветительской традицией, согласились бы с сопоставлением духа русского народа с эллинским, как наиболее отразившим свободную сущность человеческой природы, — сопоставление с современными французами или немцами не удовлетворяло никого из них.

Сознательно обостряя полемическую ситуацию, Макаров пренебрежительно отозвался о церковнославянском языке как устаревшем и «темном» и потребовал писать, как говорят, и говорить, как пишут. Как славяно-русское единство, так и противопоставление письменного языка устной речи (на этих двух положениях настаивал Шишков) встретило в нем решительного противника.

Ставя в истории языка выше всего развитие, Макаров в качестве своего союзника и предшественника Карамзина назвал Ломоносова. Именно Ломоносов, по его мнению, начал создавать «новый слог» и очищать язык от темных архаизмов³⁵.

Статья Макарова, восторженно встреченная в карамзинском лагере³⁶ и

³³ «Московский Меркурий», ч. IV, декабрь, 1803.

³⁴ Разрядка в цитатах здесь и далее наша. Выделения в оригинале передаем курсивом.

³⁵ Подробный анализ статьи Макарова см.: В. Д. Левин, ук. соч., стр. 116—146.

³⁶ Кн. П. Шаликов писал: «Издатель «Московского Меркурия» знал, как должно писать рецензию, и в критике на книгу «О старом и новом

действительно, как позже отмечал Белинский, бывшая выдающимся явлением в истории русской критики, вызвала ожесточение не только со стороны пишущих. Рецензии Макарова в «Московском Меркурии» подверглись строгому рассмотрению в «Северном вестнике». «Установка Макарова на «любителей чтения», а не на писателей подверглась осуждению, равно как и осуждался субъективизм приговоров и оценок Макарова»³⁷. Статья «Северного вестника» была признана «Журналом российской словесности» «из лучших на нашем языке» и писанной так, «как должна быть писана критика имеющая благонамеренную цель»³⁸.

Выступление «Северного вестника» против Макарова тем более примечательно, что одновременно с выходом рецензии Макарова «Северный вестник» сам поместил «письмо от неизвестного» (написанное, видимо, Д. Языковым), автор которого, соглашаясь с Шишковым в его утверждении происхождения русского языка от церковнославянского, выдвигал идею языковой эволюции и утверждал, что современный язык не может не отличаться от древнего. То, что каждый язык неизбежно подвержен языковым влияниям, автор доказывал ссылкой на воздействие греческого на церковнославянский.

Осенью 1804 г. Макаров скончался, но это не привело к прекращению споров, вызванных его статьями. В 1805 г. Россия официально вступила в военный конфликт с Францией, и вопрос о французском воздействии на русский язык получил новый, уже чисто политический поворот³⁹.

Рост антифранцузских настроений в обществе привел к тому, что в 1807 г., после Тильзитского мира, даже «Вестник Европы», когда-то основанный Карамзиным и традиционно бывший цитаделью его поклонников (правда, журнал уже перешел в руки М. Т. Каченовского), опубликовал за подписью вымышленного Луки Говорова «Письмо в столицу», где полемизировал с покойным Макаровым и сочувственно цитировал Шишкова⁴⁰.

Такова была обстановка, в которой Бобров в 1805 г., уже после смерти Макарова, написал полемическую статью, где сатирически изобразил покойного литератора под кличкой Галлорусса. Замысел сатиры Боброва таков: поскольку Макаров торжественно заявил о превосходстве новой русской культуры над древней, надо свести обе эпохи на загробный суд, а судей назначить Ломоносова, которого Макаров (по мнению Боброва, без достаточных на то оснований) зачислил в предшественники Карамзина.

Сатирическая природа образа Галлорусса связана с одной из особенностей статей Макарова. Разойдясь с традицией критики XVIII века, Макаров не только не уклонялся от резких оценок, но, более того, провоцировал противников на полемику, судил безапелляционно, не скрывая чувства пре-

слоге» доказал, что он знал многое» («Вестник Европы», 1804, ч. 18, № 24, стр. 298).

³⁷ Н. И. Мордовченко, ук. соч., стр. 69.

³⁸ Нечто о критике, в кн.: Журнал российской словесности, 1805, ч. I, № 1, стр. 6.

³⁹ Зачатки такого отношения к французскому языку могут, впрочем, наблюдаться еще и в конце XVIII в. Как свидетельствует Греч, в петербургской юнкерской школе (основана в 1797 г., директор — О. П. Козодавлев) при Павле французскому языку не учили по причине развращения нравственности во Франции, см.: Н. И. Греч, Записки о моей жизни, М.—Л., 1930, стр. 215. Ср. отрицательное отношение молодого Павла к галлицизмам и к француженкам в его императорском величестве государя цесаревича и великого князя Павла Петровича, изд. 2-е, СПб., 1881, стр. 13, ср. В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 151).

⁴⁰ Это тем более знаменательно, что Макаров был непосредственным преемником Карамзина на посту редактора «Вестника Европы».

восходства над своими закоснелыми противниками⁴¹. Тон критики Макарова превосходил стиль арзамасской полемики, приводившей беседчиков в бешенство именно сочетанием высокомерия, язвительности со светской ловкостью и европейским лоском. Тон критики Макарова, как мы видели, крайне раздражил даже осторожного Мартынова. В сознании Боброва, мыслившего в значительной мере категориями новиковской сатиры, Макаров отождествился с петиметром и был наделен карикатурными чертами этого образа-маски.

Если отвлечься от условной сатирической формы «разговора в царстве мертвых», то основные контуры концепции Боброва окажутся весьма близкими к позиции «Северного вестника» и связанных с ним литературных кругов.

Бобров не отвергает идеи развития языка и не отождествляет его с «порчей»⁴². Так, главный антагонист Галлорусса, Боян, с одобрением отзываясь о языке Прокоповича, Кантемира и Ломоносова, следующим образом определяя допустимые пределы языковых изменений: «Правда; — и в их языке ощутил я многую перемену, но без преступления пределов, и в нем не забыты основания древняго слова». А Ломоносов, о котором Макаров писал: «Он собственным примером доказал обожателям древности, что старинное не всегда есть лучшее»; после которого «дорога проложена: оставалось только следовать по ней, то есть очищать, обогащать язык по числу новых понятий»⁴³, — у Боброва так определяет сущность своей языковой позиции: «Я стараясь очищать его <язык. — Ю. Л., Б. У.>, не только не опроверг оснований Славенского языка, но еще в опытах, как в органических законах, показал всю необходимость и существенность, и тем положил пределы всякому вводу иноязычных наречий, как примеси чужей крови. Но вы перелезли сии пределы, изказили язык, и сему изкажению дали еще имя: *новой вкус, чистое, блестящее, сладкое перо, утонченная кисть*»⁴⁴.

Кроме лингвистического аспекта, здесь затронут не менее существенный — общетеологический. Если Макаров считал утонченность, изящество, хороший вкус необходимыми и закономерными следствиями поступательного развития цивилизации (за этим утверждением стояла мысль о том, что единственный реальный прогресс — прогресс усовершенствования, обогащения человеческой души, развития ее тонкости и чувствительности), то для Боброва они — результат уклонения от путей Природы. Утонченность приравнивается слабости духа и противопоставляется грубой энергии, силе и мужеству. При этом первой приписывается признак аристократичности, элитарности, второй — народности. Эта концепция восходит к Руссо. У него ее усвоили немецкие штурмеры и молодой Шиллер. У русских писателей она находила самый широкий отклик: отзвуки ее мы находим и в главе «Едрово» «Путешествия из Петербурга в Москву», и в концепции античности Гнедича, и в той критике, которой Андрей Тургенев подверг Карамзина. У Боброва Боян упрекает карамзинистов в том, что

⁴¹ Ср. некролог Макарова в «Северном вестнике» (1804, ч. IV, № 12, стр. 333): «Говорят, кто знал его лично, что он был самого веселого свойства, остроумен в разговорах: сочинения его убеждают в том; имел свои слабости; но кто их не имеет? <...> Не спорно, что критика его была едка, не всегда справедлива и более сатира нежели критика <...> Он проиграл сим родом занятия, ибо нажил себе неприятелей...».

⁴² Сходные рассуждения относительно эволюции языка можно встретить позже у И. Борна в его «Кратком руководстве к российской словесности» (СПб., 1808, стр. 132).

⁴³ П. Макаров, Критика на книгу..., стр. 160—161. Курсив оригинала.

⁴⁴ См. комментарий к публикуемому ниже тексту (далее при ссылках — Комментарий), примеч. 2, 36, 221, 222.

«в новых книгах везде либо ложная блистательность, непомерная пестрота, напыщение и некая при том ухищренная гибкость пера, либо, напротив, излишняя разнеженность, — притворная какая то чувствительность, влюбчивость, слезливость, страшиливость — даже до обмороков». Прослушав отрывок из «Острова Борнгольм» Карамзина, Ломоносов восклицает: «Боян! Слыхал ли ты такие песни во времена мужественных, благородных и целомудренных современников своих? — Ей! для меня сноснее бы было видеть ошибки в слоге, нежели в красоте оного кроющиеся ложные правила и опасные умствования». Эти обвинения почти текстуально совпадают с теми, которые предъявлял Карамзину Андрей Тургенев в 1801 г., выступая в «дружеском литературном обществе»⁴⁵.

Совпадая в своей позиции с Мерзляковым, Бобров противопоставляет Карамзину народную поэзию. Ломоносов у него говорит: «Простота и естественность древних наших общенародных песней всегда пленяла меня; в них я не находил ни чужеземного щегольства, ни грубых погрешностей...»⁴⁶.

Все это, в конечном счете, сводится к идеалу певца — героического барда, вдохновленного Природой и влекущего современников к подвигам. Предромантический характер такого идеала очевиден, «Древние певцы, которые не столь к большому свету <ср. «Отчего в России мало авторских талантов» Карамзина и ряд рассуждений Макарова о пользе дамского и светского вкуса для литературы. — Ю. М., Б. У.>, сколь к природе ближе были, чрез сие одно училились дивными и очаровательными. Знай, что Омир, Оссиян, Боян и Природа всегда были между собою друзья!»

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. При высокой оценке Ломоносова — крайне уничижительный отзыв о Третьяковском, неожиданный в контексте общих воззрений Боброва и его единомышленников⁴⁷, в сопоставлении с которым негативная оценка Сумарокова выглядела бы более естественной. Шокирующее впечатление на современников должна была произвести и критическая оценка стихотворения Державина⁴⁸, безусловно положительные отзывы о котором были знакомы в печати тех лет для критиков всех лагерей. С этим можно сопоставить значительно более прохладные оценки современников в устных отзывах и переписке. Так, в кругах «Дружеского литературного общества» Державину не могли простить похвал и посвящений Павлу.

Свое сочинение Бобров посвятил М. Н. Муравьеву, и это тем более примечательно, что Муравьев по своей литературной ориентации был весьма близок к Карамзину и явился непосредственным предшественником «нового слога». Уже одно это свидетельствует об известных колебаниях в позиции Боброва и о том, что ему, лишь недавно вернувшемуся в круг столичной литературы, расстановка лагерей представлялась не совсем ясно.

Можно полагать, что именно в результате совета М. Н. Муравьева Бобров не опубликовал «Происшествия в царстве теней» в печати. Однако произведение это было известно современникам, и введение его в научный оборот разъясняет некоторые аспекты полемики 1800-х — 1810-х гг. Весьма возможно, что именно сатира Боброва явилась непосредственным импульсом

⁴⁵ См.: А. Фомин, Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. Новые данные о них по документам архива П. Н. Тургенева, СПб., 1912 (оттиск из «Русского библиофила», январь 1912 г.), стр. 27—28. Ср. стр. 229—235 наст. работы, а также Комментарий, примеч. 280.

⁴⁶ Ср. Комментарий, примеч. 60, 147.

⁴⁷ Ср. Комментарий, примеч. 243.

⁴⁸ Напротив, Державин в те же годы необычайно высоко отзывался о Боброве. Это отношение засвидетельствовано, между прочим, в записках Жихарева (см.: С. П. Жихарев. Записки современника, под ред. Б. М. Эйхенбаума, М.—Л., 1955, стр. 304, 308, 399, 421, 561).

для создания «Видения на берегах Леты» Батюшкова (1809 г.)⁴⁹, которое может рассматриваться в этом случае как своеобразный полемический отклик на данное сочинение⁵⁰; упоминание Боброва в первой же строке «Видения на берегах Леты» — написанного, кстати сказать, в том же жанре лukiановского разговора — могло сразу ориентировать осведомленного читателя (ср. также цитату из Боброва в середине этого произведения). Вероятно, с этим же связано устойчивое сопричисление арзамасцами Боброва к шишковистам и постоянные нападки на него.

Более или менее очевидна, вместе с тем, связь «Проншества в царстве теней» с безымянной сатирой «Галлоруссия» 1813 г. (также написанной в жанре разговора в царстве мертвых)⁵¹.

* * *

Непримиримый тон полемического выступления Боброва против уже умершего литератора был бы необъясним⁵², если бы мы не припомнили некоторые особенности позиции Макарова, которые, кстати сказать, существенно отличали его от Карамзина начала alexандровского царствования (учтя это, мы поймем, что безусловное отождествление позиции Макарова и Карамзина для одних имело полемический, для других — тактический характер).

Литературная позиция Макарова характеризовалась установкой на эпатирование: он сознательно утрировал свои воззрения, облекал высказывания в дерзкую и провоцирующую форму, демонстративно задевал нормы не только условных литературных приличий. Уже этим он резко отличался от Карамзина, для которого, если исключить краткий период «бури и натиска» золотая середина была законом литературного и личного поведения. Уклонение от полемики Карамзин возвел в жизненный принцип — Макаров сознательно утрировал свои мнения, чтобы вызвать полемику.

Можно полагать, что и в личном поведении Макарова имелись те же моменты эпатажа и провокации. Поза щеголя была для него, вероятно, своеобразной «желтой кофтой».

Макаров был откровенным бонапартистом. В «Московском Меркурии» он писал: «Взоры наши, устремленные на блистательного Бонапарте, что-то неохотно склоняются на лежащего в земле изверга-Робеспьера»⁵³. В другом месте, иронизируя по поводу анекдотического перевода кн. П. Шаликовым третьесортного французского романа и выписывая слова переводчика, именующего Наполеона «неустрасимый воин, мудрый властитель, надежда и любовь всей Франции», Макаров уже серьезно замечает: «Никто более нас, издателей «Меркурия», не имеет почтения к великим достоинствам Наполеоновым»⁵⁴.

В положительной оценке Наполеона в 1803 г. не было ничего не только шокирующего, но и исключительного. Такую же позицию занимал

⁴⁹ Батюшков мог ознакомиться с текстом «Проншества в царстве теней» как через того же Муравьева, так и по своим связям с кругами Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, к которым был близок и Бобров.

⁵⁰ В письме к Гнедичу от 1 ноября 1809 г. Батюшков писал о своем «Видении на берегах Леты»: «Бобров верно тебя разсмешит. Он тут у места». См.: К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 55.

⁵¹ Сатира «Галлоруссия» впервые опубликована в изд.: «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 781—790 (ср. примеч. на стр. 883—887).

⁵² Сатира Боброва начинается с откровенной — совершенно невозможной с точки зрения христианской нравственности — радости по поводу смерти ближнего!

⁵³ «Московский Меркурий», 1803, ч. I, январь, стр. 52.

⁵⁴ Там же, ч. I, март, стр. 215.

Карамзин в «Вестнике Европы». И даже известный «квасной» патриот 1807—1812 гг. С. Глинка писал об этой эпохе: «Кто в юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом»⁵⁵.

До отзыва русского посла из Франции в августе 1804 г. в связи с убийством герцога Энгенского отношения между Александром и Наполеоном вполне допускали открытое выражение симпатий к французскому диктатору. Бонапартизм в России этих лет имел двоякую природу. С ним могли связываться надежды на окончание «парижских ужасов» и на водворение во Франции порядка; в этом варианте бонапартизм был близок Карамзину эпохи «Вестника Европы». Однако он мог заполняться и другим содержанием: сближение с Наполеоном во внешнеполитической сфере подчас рассматривалось как путь к умиротворению Европы и, следовательно, как возможность сосредоточить внимание на внутренних проблемах. Такая ориентация подразумевала надежды на бонапартизм и как на путь решения внутрирусских политических проблем — сочетание сильной власти правительства с административной упорядоченностью управления и постепенным проведением основных буржуазных реформ. Таков был бонапартизм Сперанского. Можно полагать, что, карамзинист в вопросах языка, Макаров по своим политическим симпатиям был ближе ко второй позиции. На это намекают сочувственные отзывы о Мирабо и Фоксе, парламентском красноречии, мелькающие в «Московском Меркурии». Сентиментальное восклицание кн. Шаликова: «Ах! какое завидное состояние помещика! одним решительным, можно сказать, *желанием*, без всякого *исщипания*, он щастливит множество людей», — Макаров сопроводил многозначительным примечанием: «Для *щастия* поселян (и то для какого *бедного* щастия!) надобно, чтобы помещик был не только доброй, но еще *просвещенной* <...> чтобы прикащики, управляющие в отсутствие сего помещика, имели те же качества при совершенном безкорыстии!!.. Много ли таких помещиков? и где есть такие прикащики?»⁵⁶. Очевидно, что даже условия «бедного щастия» крестьян представлялись Макарову, в рамках существующего положения, неосуществимыми. О том же, что такое «счастье поселян» без уничижительного эпитета, он оставлял догадываться читателям.

В напряженной и книсящей противоречиями обстановке начала XIX века столкновение просветительской идеи единства человеческой цивилизации с романтическим представлением о взаимонепроницаемом своеобразии национальных культур приобретало драматический характер. «Московский Меркурий» вызывающе резко отстаивал идеи единства европейской культуры, пропагандировал стирание черт местного своеобразия, оправдывал все новое и иронизировал над стариной. Устойчивым объектом морализирующей сатиры были моды. Макаров не только дерзко взял моды под свою защиту, трактуя их как одну из форм цивилизаторского воздействия на общество, но и систематически информировал русского читателя обо всех новинках европейских мод. Он, конечно, прекрасно понимал, какую бурю вызовет такое объявление издателя «Меркурия»: «Каждой месяц выйдет одна книжка *Меркурия*; дня не назначаем: это будет зависеть от иностранных Журналов. Мы разположимся так, чтобы читатели *Меркурия* узнавали об Модах одною только неделю позже читателей *Парижского Журнала* — и следовательно 35 или 36 дней после того, как те Моды в первой раз покажутся во Франции. Не смеем обещать, но имеем все причины думать, что наш журнал упредит *Франкфуртской* <...>. — И так, *Моды* будут нашу *точкою зрения*, под которую (что касается до времени) станем подводить и прочия свои статьи»⁵⁷. Если уклонение от полемики составляло основу позиции Карамзина как литератора, то Макаров, публикуя такие признания, сознательно провоци-

⁵⁵ С. Н. Глинка. Записки. СПб., 1895, стр. 194.

⁵⁶ «Московский Меркурий», 1803, ч. III, сентябрь, стр. 141. Курсив везде оригинала.

⁵⁷ «Московский Меркурий», 1803, ч. I, январь, стр. 73. Курсив оригинала.

ровал литературный скандал. Карамзин (скрывшись под псевдонимом «В. Мулатов» и маской семидесятилетнего старца) в статье «Вестника Европы» «О легкой одежде модных красавиц девятаго-надесять века» (1802) резко осудил «молодых красавиц», которые «в публичных собраниях» служат «моделью для Венерина портрета во весь рост», и указал на политический подтекст своего отношения к этому вопросу: «Наши стыдливые девицы и супруги оскорбляют природную стыдливость свою, единственно для того, что Француженки не имеют ее, без сомнения те, которые прыгали контрдансы на могилах родителей, мужей и любовников! Мы гнушаемся ужасами Революции и перенимаем моды ее!»⁵⁸.

Макаров уже имел перед глазами эту статью, когда объявил парижские моды «точкою зрения» своего журнала. Заимствуя у Карамзина принцип построения целого раздела журнала как монтажа переводных материалов, он полемически ставит моду на то место, которое в «Вестнике Европы» занимала политика. Переводя парижские журналы, Макаров дает такие описания новинок моды: «Костюм требует, чтобы груди были совершенно нагую и чтобы руки, голыя до самых плеч, никогда не прятались. Словом сказать, видишь настоящую Венеру <...>. Что может быть прелестнее такой картины». Явно полемизируя с Карамзиным, Макаров снабдил этот отрывок редакторским примечанием, в котором утверждал, что ни легкие костюмы, ни обычай принимать гостей лежа в постели — не новости и были известны в той королевской Франции, которую Карамзин в цитированной выше статье назвал «столицею вкуса». Макаров писал: «Это не новое. Во Франции, в Мазариново правление, постеля прекрасной женщины была тронем <...>. Французские журналисты очень сердиты на нынешнее вольное обхождение женщин, и даже на их наряд! По счастью, мнение некоего числа людей не составляет мнения общего... (издатель Мерк<урья>»⁵⁹. Конечно, не «французские журналисты» беспокоили Макарова в первую очередь!

Мода как символ нового, актуального, сегодняшнего действительно становится у Макарова той «точкою зрения», с которой он оценивает окружающий мир. Он вызывающе подчеркивает условность тех или иных существующих норм и приличий. Он не упускает случая посмаковать изменение нравов в сторону большей свободы: все новое для него — лучшее, подобно тому, как для его литературных противников ценности принципиально связываются с прошлым, с традицией. Сознательно рассчитывая на шокирующее впечатление, он повествует, например, о том, как в свое время некто в обществе процитировал слова Аристенета, отнеся их к находящейся тут же даме: «в наряде — она прекрасна <...>, нагая — она живой образ Красоты», причем все тогда были фраппированы, «вкус» был «оскорблен»: но сейчас, — прибавляет Макаров, характеризуя эволюцию моды и нравов, — «легко станется, что <...> Аристенетова похвала была бы очень хорошо принята»⁶⁰.

Необходимо учесть, что и Наполеон, со своей стороны, смотрел на парижские моды как на важный рычаг русско-французского сближения. Личный посол первого консула в Петербурге Эдувиль получил от Талейрана письменную инструкцию, выражавшую желание Бонапарта использовать моды в политических целях: «Если бы вам удалось возбудить любопытство императрицы касательно французских мод, мы тотчас же преподнесли бы ей все, что нашлось бы здесь самого изящного»⁶¹.

⁵⁸ Карамзин. Сочинения, т. III СПб., 1848, стр. 522.

⁵⁹ «Московский Меркурий», 1803, ч. I, март, стр. 178.

⁶⁰ Там же, ч. I, февраль, стр. 139—140; ср. еще ч. III, июль, стр. 56, 64, 66.

⁶¹ Цит. по: С. Б. Окунь, История СССР. 1796—1825 гг., Л., 1948, стр. 131.

В этом же контексте находят себе объяснение новые вспышки сатир против модных лавок и французских мод. Тема эта была завещана XVIII веком, но резко оживилась с начала XIX столетия. «Модная лавка» и «Урок дочкам» Крылова (1807), гонения Ростопчина в 1812 г. на французских торговцев мод в Москве, монолог Фамусова против Кузнецкого моста дают разные аспекты этой темы.

В таком контексте становится понятной и резкость сатиры Боброва, и то, что приемом высмеивания он избрал отождествление Макарова со стереотипной маской петиметра⁶². Не следует забывать и того, что если в 1805 г. Карамзин своим личным обликом никак не ассоциировался с петиметром, в этом смысле выступая как антипод Макарова, то в кругах, связанных с масонами 1780-х гг. (т. е. в кругах, близких Боброву), жила память о Карамзине времени его возвращения из-за границы. Так, А. М. Кутузов — в прошлом друг Карамзина — написал в 1791 г. злой памфлет, где выведен некто Попугай Обезьянинов, соединяющий в своем облике стереотипные черты петиметра с деталями из биографии Карамзина⁶³.

Для понимания непримиримости, с которой Бобров преследовал над еще свежей могилой память недавно скончавшегося литератора, следует обратить внимание на дату, которая поставлена автором на титульном листе. Ноябрь 1805 г. был временем, когда политические страсти накалились до предела. 20 ноября (2 декабря) произошло Аустерлицкое сражение. Итоги его были восприняты в широких общественных кругах как катастрофа. Искали виновных, и накал общественного напряжения достиг предела. Обвинение, которое бросал Бобров уже покойному Макарову, предвосхищало те, с которыми обратился к своим литературным противникам Шишков после пожара Москвы: «Теперь их я ткнул бы в пепел Москвы и громко им сказал: «Вот чего вы хотели!»⁶⁴. Отношение противоположных группировок также было не более терпимым. Когда в 1806 г. неожиданно скончался от тифа, полученного в молдавской армии, кн. П. П. Долгорукий, «la chéville ouvrière du parti russe», как его именовал кн. Адам Чарторыйский, по словам П. В. Долгорукова, «ревностный отчизнолюбец», но одновременно именно тот, кто, соединяя дипломатическую и военную некомпетентность с крайним самомнением, вопреки настояниям Кутузова, уговорил Александра дать решительное сражение на равнинах Аустерлица, то Ланжерон сопроводил его в могилу словами: «Sa mort est un bienfait pour la Russie»⁶⁵.

⁶² О некоторых реальных основаниях для подобного образа мы говорим ниже, см. стр. 247—251 наст. изд.

⁶³ См. подробнее ниже, стр. 250—251 наст. изд.

⁶⁴ См.: Ив. Иванов. История русской критики, ч. I, СПб., 1898, стр. 195. — Не менее характерен следующий эпизод, сообщенный К. Полемому А. С. Пушкиным со слов самого Карамзина: «Накануне, или в самый день приближения французов к Москве, Карамзин выезжал из нее в одну из городских застав. Там неожиданно он увидел С. Н. Глинку, который подле заставы, на груде бревен сидел окруженный небольшою толпою, разрывал и ел арбуз, бывший у него в руках, и ораторствовал, обращаясь к окружающим его. Завидев Карамзина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой нож, закричал ему: — «Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюбленных! Ну, с богом! Добрый путь вам!» Карамзин прижался в уголок своей коляски...» (см. изд.: «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов», под ред. В. Н. Орлова, Л., 1934, стр. 251).

⁶⁵ Вел. кн. Николай Михайлович. Князь Долгорукие, сподвижники имп. Александра I в первые годы его царствования. Биографические очерки, СПб., 1901, стр. 35—36.

Учитывая ситуацию, в которой создавался публикуемый памятник, и ту связь чисто лингвистических проблем с общекультурными, политическими и социальными, которая, как мы старались показать, свойственна русскому типу культуры (как и вообще культурам, ориентированным на повышенную семiotичность), можно понять и специфический жанровый характер «Происшествия в царстве теней» С. Боброва — одновременно и лингвистического трактата, и памфлета на политические и общекультурные темы.

* *

*

Карамзин и Шишков были вождями и вдохновителями враждующих группировок. Однако и их творчество и та литературно-бытовая поза, через которую первое, в значительной мере, воспринималось современниками, были сложны и с трудом поддавались превращению в условную маску сатирического или апологетического свойства. Карамзин, отошедший от писательства, сделавшийся исследователем русской старины, которую он знал уже, не в пример Шишкову, профессионально, уклоняющийся от всякого участия в непосредственной литературной жизни, мало походил на «карамзиниста». Шишков также — и в жизни, и в творчестве порой отклонялся от правоверного арханзизма. Так, чтобы доказать, что он чужд ненависти ко всему французскому и не похож на карикатурный образ читателя «староверских книг», каким его изображали сатирики из враждебного лагеря, Шишков перевел Лагарпа. С. Т. Аксаков, в молодости страстный поклонник Шишкова, был шокирован, услышав в его доме французскую речь. Шишков, как и многие беседчики, не был свободен от той бытовой связи с французским языком, без которой трудно вообразить образованного дворянина его круга и эпохи⁹⁶.

Макаров и Бобров, в этом смысле, были людьми другого типа. Не будучи литературными вождями, они как бы воплотили в себе все, что соответствовало ходячим представлениям об их литературных группировках. Макаров с его утрированной позой щеголя, рвущийся в литературные бои с поднятым забралом и Бобров — угрюмый Бибрис, — погруженный в тяжелую ученость, напоминающий Тредиаковского умением облекать глубокие мысли в парадоксальную и вызывающую у противников смех, форму, были как бы созданы для того, чтобы превратиться в своеобразные живые маски

⁹⁶ Исключительно красноречивый факт в этом отношении сообщает С. Т. Аксаков: «Петр Андреевич Кикин был одним из самых горячих и резких тогдашних славянофилов; он сделался таким вдруг, по выходе книги Шишкова: «Рассуждение о старом и новом слоге». До того времени он считался блестящим остряком, французолобом и светским модным человеком <...> Книга Шишкова образумила и обратила его, и он написал на ней: «Mon Evangile» («Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове», в изд.: С. Т. Аксаков, Собрание сочинений в четырех томах, т. II, М., 1955, стр. 284, примеч.).

Что касается самого Шишкова, то очень характерна басня А. Е. Измайлова «Шут в парике» (1811 г.), в которой Шишков представлен в эксцентрическом сочетании русского и французского наряда. Комментируя эту басню, Д. И. Хвостов писал в своих «Записках» 1811 г.: «Замысел весь клонится на показание, что сам вице-адмирал Шишков смешивает часто неудачно с славянскими обороты и речения французские, и для того на голове у старика парик французский с пудрою». См. изд.: «Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в.», Л., 1959, стр. 330—331, 687; «Литературный архив», М.—Л., 1938, стр. 375.

карамзинизма и шишковизма, хотя, по сути дела, и тот и другой занимали весьма своеобразное место среди своих единомышленников.

Это делает публикуемый документ исполненным самого серьезного научного интереса.

II. Вопросы культуры в свете языковой проблемы. *Лингвистические аспекты внутрикультурных конфликтов.*

До сих пор речь шла главным образом о том историко-культурном контексте, к которому принадлежит обсуждаемое произведение и которое определяет, так сказать, его общий идеологический фон, придавая то или иное публицистическое звучание более или менее специальным вопросам языковой полемики. Остановимся теперь на относящейся сюда собственно лингвистической проблематике.

Сатира Боброва посвящена пуристическому протесту против иноязычного влияния на русский язык¹ и прежде всего борьбе с галломанией, столь характерной для второй половины XVIII — первой трети XIX в. В этом смысле она связана отношением преемственности с полемической литературой XVIII в., посвященной данной проблеме; не случайно Галлорусс облекается у Боброва в традиционную маску петиметра (о чем мы уже упоминали выше), и его речь в целом ряде случаев совпадает с образцами «щегольского наречия», как оно представлено, например, в но-

¹ Аналогичный протест содержится и в вышедшей годом раньше «Херсониде» Боброва. В предисловии к поэме Бобров осуждает «суежный ввод многих чужестранных слов без нужды, <...> также, как и странный перевод чужих речений при достатке и силе своих» («Предварительные мысли», в изд.: С. Бобров, Херсонида, СПб., 1804; несколько менее подробно об этом же говорится и в предисловии к первому изданию данной поэмы, см.: С. Бобров, Таврида, Николаев, 1798). Как уже отмечалось исследователями, в ряде случаев Бобров заменяет (в обоих изданиях поэмы) иноязычные выражения специально созданными словами или же описательными оборотами (последние помещены непосредственно в тексте, тогда как первые даются в глоссах); см.: М. Мазеев, Бобров, в изд.: С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь, т. IV, отд. I, СПб., 1895, З. М. Петрова, Заметки об образно-поэтической системе и языке поэмы С. С. Боброва «Херсонида», в сб.: «Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова», Л., 1971, стр. 80. Оправдывая практику словотворчества, Бобров ратует именно за «свежия, смелыя, и как бы с патриотическим старанием изобретенныя имена» («Предварительные мысли» в изд.: С. Бобров, Херсонида, СПб., 1804, стр. 11). По его словам, «Забывать вовсе коренный, матерный Славенский язык с неким горделивым небрежением есть то же, как своенравно подвергаться участи блудного сына, или безчувственности ослыга жребяти. Неблагодарность к родителю всегда гибельна. О! естлибы собственное святилище познания и вкуса поспешило открыться, а мера и осторожность только бы управляла!..» (см. там же, стр. 13).

Борьба с иноязычным влиянием вполне соответствует масонской идеологии Боброва. В 80-е годы, когда молодой Бобров вступал в литературу, подобные тенденции в общем характерны для русского масонства. Так, например, в предисловии к переводу «Естественного богословия» У. Дерема, изданного московскими масонами в 1784 г., переводчик (М. Завьялов) специально подчеркивал, что старался избегать при переводе иностранных слов. Тенденция к изгнанию иноязычных слов или к пояснению их русскими (в скобках) характерна и для журнала «Беседующий гражданин» (1789 г.) — журнала, очень близкого к масонству, в котором сотрудничал Бобров.

виковских журналах и в ряде других источников (совпадения такого рода отмечены в комментарии к публикуемому ниже тексту)². В принципе не исключено, таким образом, что в каких-то случаях подобные совпадения могут быть обусловлены не столько реальной речью галломанов конца XVIII — нач. XIX вв., сколько именно литературной преемственностью: петиметр стал своеобразным амплуа, которому соответствует и определенное речевое поведение. Однако, подобную возможность нельзя абсолютизировать, поскольку в других случаях мы явно вправе говорить об определенной речевой традиции³.

Уместно отметить в этой связи, что речи всех действующих лиц — не только Галлорусса, но также и Бояна, Ломоносова, Меркурия — дифференцированы стилистически в сатире Боброва; каждое из действующих лиц представляет определенную языковую позицию. Ср. нарочитые архаизмы в речи Бояна, явные коллоквиализмы в речи Меркурия и т. п.; что касается речи Ломоносова, то она выступает в качестве стилистического эталона. Перед нами как бы театр масок, где распределение ролей отражает распределение возможных речевых установок.

Вместе с тем — и это особенно важно подчеркнуть, — язык Галлорусса подан у Боброва как особый язык, который нуждается в переводе на обычный русский (ср., между прочим, такой же прием в новиковских журналах). Соответственно, в ряде случаев указываются словарные соответствия между языком Галлорусса и языком других действующих лиц, которые могут быть оформлены именно как иноязычно-русские переводы. Так, например, слово *серьёзность* у Галлорусса соответствует слову *степенность* в обычном языке, выражение *писать патетически* означает *писать страстным слогом*, слово *жени* соответствует слову *гений*; точно так же отмечается разное значение глагола *внушить* в «галлорусском» и в обычном русском языке и т. п.⁴.

Каково же место рассматриваемого произведения Боброва в ряду полемических сочинений, содержащих протест против иноязычного (западноевропейского) влияния на русский язык, и в чем специфика его языковой позиции? Какова, далее, связь между его языковой и его литературной позицией? Как вообще соотносится протест против иноязычного влияния с ориентацией на церковнославянский язык? Этот комплекс вопросов предполагает рассмотрение «Происшествия в царстве теней» Боброва в рамках истории русского литературного языка.

Необходимо сразу же указать, что иноязычное (западноевропейское) влияние тесно связано — пусть это не покажется парадоксом — с процес-

² Кстати сказать, как в журналах Новикова, так и у Боброва специфические «петиметрские» выражения специально выделены в тексте. Таким образом соответствующие тексты имеют и определенную педагогическую направленность, выступая именно в качестве образцов неправильного языка, своего рода «*grammaire des fautes*».

³ См. специально ниже, стр. 248—250 наст. работы.

⁴ Ср. Комментарий, примеч. 20, 235, 64, 116, 127, 173, 179, 192, 226, 128, ср. еще примеч. 94, 198, 209.

Любопытно отметить, что иногда соответствующие языковые позиции перепутаны — но сама противопоставленность их сохраняется. Так, Галлорусс называет арфу *сквозными гуслями* — при том, что в авторском тексте фигурирует название *арфа*. Точно так же в авторском тексте употреблено выражение: «*запрещение* или *амбарго*». Создается впечатление, что иностранные слова (такие, как *арфа*, *амбарго*, ср. также *гений*, *гармония* и др. — см. Комментарий, примеч. 3, 10, 97, 100, 116) в каких-то случаях более привычны, естественны для самого Боброва, и ему приходится искусственно перестраивать себя в соответствии с представлением о том, каким должен быть язык. См. специально ниже, стр. 217—219 наст. работы.

сом становления общерусского национального языка, отчетливо противопоставляющего себя языку церковнославянскому. Вместе с тем, на определенном этапе развития это влияние способствует «славянизации» русской литературной речи (постольку, поскольку она уже отделилась от церковнославянского языка), т. е. насыщению ее церковнославянскими и вообще консолидации церковнославянской и русской языковой стихии в пределах литературного языка. Иначе говоря, влияние со стороны западноевропейских языков, столь ощутимое на протяжении всего XVIII века, естественно и неизбежно накладывалось на существовавшую уже дихотомию церковнославянской и русской языковой стихии и должно было осмысляться именно в свете этой альтернативы.

Отсюда пуризм, связанный с протестом против иноязычного влияния, приобретает в России совершенно специфическую окраску, кардинальным образом отличающую его от соответствующего явления в других — в частности, западноевропейских — языках⁵.

Если в последних пуризм представляет собой по преимуществу социолингвистическое или даже вообще экстралингвистическое (идеологическое, националистическое, рационалистическое и т. п.) явление, то здесь пуризм может связываться и с чисто имманентными причинами развития литературного языка и рассматриваться в этом случае в сравнительно узких категориях стилистики — как явление, целиком вписывающееся в динамическое соотношение стилей, в частности, в соотношение церковнославянской и русской языковой стихии⁶.

Вместе с тем, и сами протесты против иноязычного влияния могут в известной мере отражать аналогичные протесты в западноевропейских странах. Иначе говоря, одновременно с заимствованием конкретных языко-

⁵ Эта специфика, между прочим, недооценивается в специальных работах, посвященных пуризму в России. См. Г. Винокур, *Культура языка*, М., 1925, глава «О пуризме» (стр. 31—53); R. Auty, *The Role of Purism in the Development of the Slavonic Literary Languages*, «The Slavonic and East European Review», vol. LI, 1973, N 124.

⁶ Именно поэтому Екатерина II может утверждать в письме к Фридриху Великому, что русский язык богаче немецкого (см.: П. Пекарский, *Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II*, СПб., 1863, стр. 74). Для Екатерины — которая пишет это письмо не по-немецки, а по-французки — русский язык по своим возможностям, видимо, скорее сопоставим с французским (впрочем, в одном из писем к Вольтеру Екатерина отдает предпочтение русскому языку и перед французским, см. изд.: «Переписка Екатерины Великой с господином Вольтером», ч. 2, М., 1803, стр. 190). Показательно, вообще, что именно Екатерина обнаруживает явные пуристические тенденции, которые, конечно, находятся в связи с характерной для нее националистической идеологией — психологически вполне естественной для иноземца, занимающего престол в чужой стране. Важно, однако, подчеркнуть, что эти тенденции могут реализоваться именно в обращении к церковнославянской языковой стихии. Не случайно, как отмечал в своих мемуарах П. И. Сумароков, императрица любила употреблять на письмо «древние изречения, как то: *аще, дондеже, понеже, якобы*» («Русский архив», 1870, стр. 2083); точно так же в разговоре, по свидетельству Грибовского, Екатерина «любила употреблять простые и коренные русские слова, которых она множество знала» (см. П. Пекарский, указ. соч., стр. 36). Не менее характерно, что Екатерина рекомендовала Российской Академии «в сочиняемом академическом словаре избежать всевозможным образом слов чужеземных, а наипаче речений, заменяя оныя словами или древними, или вновь составленными» (см. М. И. Сухомлинов, *История Российской Академии*, вып. VIII, СПб., 1888, стр. 129); ср. еще цитату из «Былей и небылиц», приводимую у В. Виноградова (*Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.*, М., 1938, стр. 137, примеч.).

вых элементов и конструкций заимствуется (в той или иной степени) и сама концепция языка, обуславливающая определенное отношение к подобным явлениям. Уместно отметить в этой связи, что и галломания русского дворянского общества второй половины XVIII в. с известным правом может рассматриваться как отражение языковой ситуации при немецких дворах: действительно, французско-русские макаронизмы русских дворян очень близко соответствуют французско-немецким макаронизмам немецкого языка «эпохи модников» (*à la mode-Zeit*). Если субъективно русские петиметры были ориентированы на французский язык и французскую культуру, то фактически они могли просто импортировать немецкую языковую ситуацию: немецкая языковая культура выполняла роль актуального посредника в русско-французских контактах⁷.

Совершенно так же «Происшествие в царстве теней» С. Боброва в принципе может отражать немецкие полемические сочинения, посвященные борьбе с галломанией. Отметим прежде всего — как, может быть, наиболее актуальный пример — разговор в царстве теней под заглавием «*Elysium*», принадлежащий перу Якоба Ленца и опубликованный им в журнале «*Für Leser und Leserinnen*», N. 18 (Mitau, November 1781, стр. 495 сл.)⁸.

В качестве действующих лиц здесь фигурируют Меркурий и Харон, причем Меркурий выступает в роли петиметра, речи которого изобилуют макаронизмами, а Харон, обращаясь к нему, говорит: «Заклинаю перунами Зевса! Скажи, ты совсем забыл немецкий язык, если постоянно шпигуешь свою речь французскими словами?» Нетрудно провести параллель между ленцевским Меркурием и бобровским Галлоруссом, с одной стороны, и ленцевским Хароном и бобровским Бояном, — с другой.

Предположение о возможном влиянии «*Elysium*'а» Ленца на «Происшествие в царстве теней» Боброва, кстати сказать, тем более вероятно, что Бобров в молодые годы, несомненно, встречался с Ленцем (оба автора принадлежали к кружку московских масонов, группировавшихся вокруг Шварца и Новикова)⁹; естественно ожидать, что начинающий автор испытал на себе влияние известного поэта и драматурга.

⁷ Следует иметь в виду, что целый ряд галлицизмов был усвоен в русском литературном языке именно через немецкое посредничество. Это обстоятельство подчеркнула не так давно Г. Хютль-Ворт в своей рецензии на монографию Ю. С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века» (ВЯ, 1966, № 3, стр. 107—108). Ср. еще Комментарий, примеч. 13, 116.

Характерно в этой связи, что при Екатерине II было обращено особое внимание на преподавание немецкого языка: императрица повела «в своем Государстве, яко имеющем великое число Немцов, преимущественнее другим Европейским языкам обучать Немецкому языку» [см. примечание переводчика (А. Мейера) в кн.: Иерусалемово творение о Немецком языке и учености..., СПб., 1783, стр. 11]. Это тем более знаменательно, что именно в екатерининский период начинается активное усвоение галлицизмов и вообще французское языковое влияние.

⁸ См.: М., Н. Розанов, Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц, его жизнь и произведения (Критическое исследование), М., 1901 (= «Ученые записки имп. Московского университета, историко-филологический факультет, т. XXIX»), стр. 459—460.

⁹ Я. Ленц приехал в Москву в конце лета 1781 г. и пребывал там до самой смерти, последовавшей в мае 1792 г. Бобров оставался в Москве, по всей видимости, до 1787 г. (см.: М. Г. Альтшуллер, С. С. Бобров и русская поэзия конца XVIII — начала XIX в., «Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма», М.—Л., стр. 227, примеч. 16). Боброва и Ленца мог свести, в частности, И. Е. Шварц (ум. в 1784), бывший профессором Московского университета, где Бобров учился в 1780—1785 гг. (с 1780 г. он

Важно, однако, иметь в виду, что с перенесением на русскую почву соответствующие (пуристические) тенденции приобретают существенно новое содержание. Оппозиция «свое — чужое» органически включается в антитезу церковнославянской и русской языковой стихии и осмысливается как частный случай этой более общей альтернативы. При этом на разных этапах эволюции русского литературного языка иноязычные вкрапления могут причисляться то к одному, то к другому полюсу, в одном случае приравниваясь по своей стилистической функции к элементам высокого слога, в другом — рассматриваясь как специфические явления разговорного языка. Можно сказать, что в перспективе собственно русской языковой стихии заимствования могли объединяться в языковом сознании носителя языка с церковнославянизмами, как чужие, гетерогенные явления, между тем, как в перспективе церковнославянского (высокого) языка они могли объединяться, напротив, с русизмами.

Для того, чтобы уяснить связь между отношением к заимствованиям (из западноевропейских языков) и отношением к церковнославянской языковой стихии и, в частности, связь между пуризмом и призывом к славянизации языка, необходимо вкратце охарактеризовать основные моменты эволюции русского литературного языка в XVIII в.

* * *

XVIII век занимает особое место в истории русского литературного языка. В течение сравнительно небольшого отрезка времени происходит коренная перестройка литературного языка, который радикально меняет свой тип — от языка с отчетливым противопоставлением книжной и разговорной речи к языку, в большой степени ориентированному на разговорное койне и подчиняющемуся ему в своем развитии. Перефразируя Карамзина, можно сказать, что русский литературный язык из языка, на котором (в идеальной ситуации) надобно было говорить как пишут, становится языком, на котором следует писать как говорят (разумеется, в качестве стандарта выступает при этом речь определенной части общества) ¹⁰.

В частности, кардинальным образом меняется соотношение собственно русской и церковнославянской языковой стихии, которое составляет вообще ключевой момент в истории русского литературного языка на самых разных этапах его развития. В специальных лингвистических терминах можно сказать, что церковнославянско-русская диглоссия превращается в церковнославянско-русское двуязычие. Под диглоссией понимается при этом особая языковая ситуация (типологически аналогичная, например, ситуации в современных арабских странах), характеризующаяся специфическим сосуществованием книжной и некнижной языковых систем, которые находятся как бы в функциональном балансе, распределяя свои функции в соответствии с иерархическим распределением контекстов¹¹. Важно отметить, что в субъективной перспективе носителя языка обе языковые системы воспринимаются при этом как один язык, причем живая речь воспринимается как отклонение от книжных языковых норм, усваиваемых путем формального обучения. Соответственно, в отличие от двуязычия, диглоссия характеризуется принципиальной неравноправностью сосуществующих языковых систем, когда обе

учится в гимназии при Московском университете, а в 1782 г. становится его студентом; см. биографическую справку в изд.: «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 68).

¹⁰ Ср. подробнее ниже, стр. 237—242 наст. работы.

¹¹ Общие типологические признаки диглоссии определяются (безотносительно к славянскому языковому материалу) в работе: Ch. A. Ferguson, Diglossia, «Word», vol. XV, 1959, N 2.

они иерархически объединяются в языковом сознании в один язык, и таким образом фактически составляют стили этого языка, причем литературным в собственном смысле признается исключительно высокий стиль¹². Так, в условиях церковнославянско-русской диглоссии живой русский язык фигурирует (в языковом сознании) именно как отклонение от книжного церковнославянского языка.

Легитимация русского «простого» языка и ограничение сферы функционирования церковнославянского языка приводит к ликвидации диглоссии как особой языковой ситуации в России: церковнославянско-русская диглоссия становится церковнославянско-русским двуязычием, когда оба языка воспринимаются как функционально равноправные. Отсюда следует дальнейшая ликвидация этого двуязычия как функционально неоправданного явления: следует иметь в виду, что, в отличие от диглоссии, характеризующейся принципиальной стабильностью и консервативностью, двуязычие, вообще говоря, представляет собой переходное, промежуточное явление.

Ликвидация церковнославянско-русской диглоссии имела кардинальные последствия для дальнейшей судьбы русского литературного языка; вместе с тем, с ликвидацией диглоссии те же стилистические отношения остаются внутри русского языка как наследие бывшей диглоссии (эта ситуация была кодифицирована в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова).

Можно сказать, что, исчезнув как таковая, диглоссия определила bipolarность русского языкового сознания, выразившуюся в противопоставлении «книжной» («литературной») и «некнижной» («нелитературной») языковой стихии. Это противопоставление может осмысляться на разных этапах эволюции русского литературного языка — и в разной перспективе — как «церковнославянское — русское», «письменное — устное», «литературное — разговорное», «искусственное — естественное», «сакральное — мирское (или: профаническое, inferнальное)», «церковное — гражданское», «поэтическое — повседневное», «архаическое — современное», «национальное — интернациональное (европейское)», «чужое — свое», «восточное — западное», «общенизвестное — эзотерическое», «демократическое — кастовое» и т. д. и т. п.¹³. С ликвидацией диглоссии процесс эволюции русского литературного языка предстает как чередующаяся смена ориентации на «книжную» и «некнижную» языковую стихию, причем понятия «книжного» и «некнижного» на каждом этапе наполняются конкретным лингвистическим содержанием в зависимости от того, какова исходная точка развития.

Процесс легитимации собственно русской (разговорной) языковой стихии, обусловившей как ликвидацию церковнославянско-русской диглоссии, так и последующую демократизацию русской литературной речи, тесно связан с западноевропейским влиянием.

С одной стороны, сама установка на разговорное койне (на «общее употребление») в значительной степени обусловлена сознательной ориентацией на западноевропейскую языковую ситуацию (Адодуров, ранний Тредиаковский, Кантемир; аналогичную позицию занимает в 30-е гг. и Ломоносов¹⁴).

¹² Ср. Г. О. Винокур, Русский литературный язык в первой половине XVIII века, в изд.: Г. О. Винокур, Избранные работы по русскому языку, М., 1959, стр. 111.

¹³ Некоторые из этих осмыслений будут специально рассмотрены ниже.

¹⁴ См. Б. А. Успенский, Первая грамматика русского языка на родном языке, ВЯ, 1972, № 6; его же, Доломоносовский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский, ВЯ, 1974, № 2. Для суждения о языковой позиции Ломоносова в этот период наглядный материал дают его маргиналии (1736—1739 гг.) на книге Тредиаковского о стихосложении (см. П. Н. Берков, Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765, М.—Л., 1936, а также комментарий М. И. Сухомлинова в изд.:

С другой стороны, церковнославянско-русская диглоссия, укоренившись в языковом сознании носителя языка, послужила моделью для создания аналогичной языковой ситуации в условиях реакции на церковнославянскую языковую стихию. В результате европеизмы выступают — на определенном этапе — как функциональный эквивалент церковнославянизмов, а иноязычно-русский билингвизм дворянского общества XVIII века в каком-то смысле может рассматриваться как субститут церковнославянско-русского билингвизма¹⁵. Знаменательны в этом смысле слова А. С. Кайсарова: «Французский и немецкий языки занимают у нас место латинского» — т. е. играют ту же роль, какую латынь играет в странах Западной Европы¹⁶.

Предпосылки этого более или менее очевидны.

Прежде всего специальные нормы собственно русского (не церковнославянского) литературного языка вырабатывались в основном в процессе переводческой деятельности, т. е. в процессе перевода с западноевропейских языков (ср. деятельность «Российского собрания» в первой половине XVIII столетия или «Собрания, старающегося о переводе российских книг» — во второй его половине). Переводы с западных языков на определенном этапе выступают как средство создания литературного языка того же типа, что западноевропейские. Естественно, что соответствующие западноевропейские языки приобретают в этих условиях специфический книжный характер по сравнению с живой ненормированной русской речью. Это отношение между иностранным языком и некнижной речью и накладывается на модель диглоссии: чужое функционирует как книжное. Поскольку создание текстов на своем языке (*Muttersprache*) происходит лингвистически бессознательно, постольку свои тексты имеют вообще тенденцию оцениваться как «неправильные», а чужие — как «правильные»¹⁷. Иными словами, поскольку антитеза книжного и некнижного начала могла восприниматься как противопоставление «своего» и «чужого», постольку — в перспективе родного языка, т. е. собственно русской разговорной стихии, — все «чужое» в принципе могло восприниматься как книжное, правильное: носитель языка привык отталкиваться от естественно усвоенных языковых навыков в конструировании правильных текстов.

В результате заимствованные и калькированные формы ассоциируются

М. В. Ломоносов, Сочинения, т. III, СПб., 1895, стр. 7 сл. второй пагинации). Между тем, для позиций Кантемира очень показательна авторская переработка сатиры III: если первоначальная редакция этой сатиры (1731 г.) написана славянизированным слогом, то во второй редакции (1738 г.) Кантемир более или менее последовательно заменяет славянизмы на соответствующие русские формы (см. И. З. Серман, Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира, Л., 1973, стр. 182; В. В. Веселитский, Антиох Кантемир и развитие русского литературного языка, М., 1974, стр. 52).

¹⁵ Это отнюдь не противоречит влиянию со стороны французско-немецкого двуязычия, о котором упоминалось выше. Можно сказать, что церковнославянско-русский билингвизм послужил тем фоном, на котором усваивались иноязычные элементы; в соответствии с превращением церковнославянско-русской диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие появляются условия для усвоения иноязычно-русского двуязычия. Актуальная роль на этом этапе принадлежит французско-немецкому двуязычию: оно выступает в качестве непосредственной модели, по которой строятся макарические тексты.

¹⁶ ЧОИДР, 1858, кн. III, стр. 143; ср. Ю. М. Лотман, Рукопись А. Кайсарова «Сравнительный словарь славянских наречий», «Уч. зап. ТГУ», вып. 65, Тарту, 1958, стр. 195.

¹⁷ См.: Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, К семиотической типологии русской культуры XVIII века, в сб.: «Художественная культура XVIII века. Материалы научной конференции 1973 г.», М., 1974, стр. 279–280.

с высоким (книжным) слогом, приравниваясь по своей стилистической функции к церковнославянизмам¹⁸.

Соответственно, кальки с французского, как, например, *владить жалкое существование* (= *traîner une misérable existence*) или *питать надежду* (= *pourrir l'espoir*) закономерно облекаются не в русскую, а в церковнославянскую форму¹⁹. То же наблюдается и при калькировании отдельных слов, которые также оформляются по церковнославянским образцам. Вообще — всевозможные неологизмы, создаваемые в качестве субститутів иностранных слов, закономерно оформляются именно как церковнославянизмы²⁰; это особенно заметно в научной терминологии, ср. здесь такие формы, как

¹⁸ Показательно употребление заимствованных слов, наряду с церковнославянизмами, в церковных проповедях в XVIII в. См. об этом: П. Н. Берков, Ломоносов и проблема литературного русского языка в 1740-х гг., «Известия АН СССР. Отд. обществ. наук», 1937, № 1, стр. 221—222; В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 99. Ср. любопытное свидетельство Вяземского о московском священнике, который в церкви обращался к прихожанам по-французски: «Когда проходил по церкви мимо барынь с кадилом в руке, говорил им: «Pardon, mesdames». См. П. Вяземский, Старая записная книжка, Л., 1929, стр. 76.

¹⁹ См. Б. О. Унбегаун, Язык русской литературы и проблемы его развития, «VI^e Congrès international des slavistes. Prague, 7—13, août 1968. Communications de la délégation française et de la délégation suisse», Paris, 1968, стр. 133.

Ср. в этой связи пародийное прилагательное *неудобо-разумо-и-духотделен* в новиковском «Живописце» (1772, ч. II, л. 8), преподносимое как «новое и высокое изобретение осьмагонадесят столетия» и представляющее собой, по-видимому, буквальный перевод соответствующего немецкого выражения (*unbequem-verstandes- und- Geistestätig*) — с характерной мобилизацией церковнославянских языковых ресурсов (показательно, что автор — им является, может быть, сам Н. И. Новиков — считает нужным «избавить всех строителей новороссийского языка от излишних и суетных трудов» и заверить их, что «оного слова не находится ни в славенских книгах, ни в старинных летоисчислениях, ниже и в самых едкоости древности обещалых рукописях», см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», под ред. П. Н. Беркова, М.—Л., 1951, стр. 405, 407, 409 сл. и 580 сл.). На то, что слово это могло восприниматься именно как славянизм, с очевидностью указывает то обстоятельство, что оно появляется в протоколах «Арзамаса» — в издательском некрологе, посвященном одному из «беседчиков» (С. С. Филатову), о сочинении которого здесь говорится буквально следующее: «Зачем или твоя скромность, о вечным сном на лоне Тредьяковского опочивый живой мертвец наш! или банкротство сего Ареопага Слова Русского не предало тсннению сего неудобно-разумо-духотделительного сочинения?» (см. изд.: «Арзамас и арзамасские протоколы», Л., 1933, стр. 178).

²⁰ О специальных предписаниях на этот счет см. ниже, стр. 209 наст. изд. Точно так же и Бобров, изобретая в «Херсониде» новые слова, которые призваны заменить иноязычные выражения, оформляет их по церковнославянской модели, ср. здесь такие примеры, как *звездоблюстилице* (обсерватория) и т. п.

Ср. слова Д. Дашкова: «вместо известного и значительного иностранного слова, везде употребляемого, мне вбивают в голову другое, славенорусское, или лучше сказать, славеноварварское...» («Цветник», 1810, № 11, стр. 296—297). Ср. более ранний протест такого рода в сочинении «Опыт о языке во обще, и о Российском языке» («Собрание новостей», 1775, октябрь) неизвестного автора, призывающего к обогащению русского языка заимствованными словами: «Некоторые <...> народы восхищенные художеству любовью к своему Отечеству, желали в собственном своем древнем языке

млекопитающее, пресмыкающееся и т. п.²¹ Отсюда, кстати сказать, в значительной степени объясняется то — парадоксальное, на первый взгляд, — обстоятельство, что в эпоху стремительной демократизации русского литературного языка появляется большое количество так называемых псевдостарославянизмов — иначе говоря, церковнославянизмов нового происхождения, неологизмов, оформленных на церковнославянский манер, — и происходит вообще определенная активизация церковнославянских элементов (и церковнославянских моделей) в литературном языке. Неологизмы такого рода возможны, между прочим, у приверженцев как «старого», так и «нового» слога. Так, карамзинский неологизм *законоведение* представляет собой кальку с немецкого *Gesetzeskunde* и лишь внешне похож на старославянское *законоположение* (которое, в свою очередь, соответствует греч. *νομοθεσία*)²². Совершенно аналогично слово *кругозор*, употребляемое Бобровым в «Херсониде» вместо европеизма *горизонт*²³, может рассматриваться как калька с немеч. *Gesichtskreis* или *Rundschau*.

Точно так же и фонетически слова, заимствованные из западноевропейских языков, оформляются по нормам церковнославянского произношения: вопреки широко распространенному мнению, можно утверждать, что специфическая орфоэпия иностранных слов (иноязычных заимствований) в обычном случае не отражала непосредственно исходной фонетической формы, а подчинялась именно нормам книжного — церковнославянского — произношения (ср. такие общие признаки особой фонетики иностранных слов и церковнославянской фонетики, как оканье, фрикативное *г*, твердость согласного перед *е* и т. п.)²⁴; отметим еще в этой связи сближение традиционной де-

найти названии тех вещей кои в малых их округах прежде несуществовали. От того произошли долгие, непонятные и грубые слова, которых в закоренелом обычае ни какое просвещение вдруг изтребить не может» (стр. 60). Эпитеты *долгий* и *грубый* — обычные характеристики церковнославянизмов в условиях полемических выступлений против церковнославянской языковой стихии [о эпитете *долгий* см., например, В. Д. Левин, Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика), М., 1964, стр. 69, В. В. Виноградов, Очерки..., стр. 177; относительно эпитета *грубый* см. специально стр. 224—228 наст. работы]. Аналогичный протест встречаем и у М. И. Плещеева в «Примечаниях» на переведенное им «Предложение о исправлении, распространении и установлении Англинского языка» («Опыт трудов Вольного Российского собрания», ч. III, 1776, стр. 35—36).

²¹ Характерно, что церковнославянизмы выступают в терминологической лексике наряду с заимствованиями (так в большой степени и в современном языке): и те и другие имеют одинаковую стилистическую функцию, т. е. относятся к книжной лексике.

²² См.: G. H<üttl> Worth. Thoughts on the turning point in the history of Literary Russian; the eighteenth century, «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics», vol. XIII, 1970, стр. 128.

²³ С. Бобров, Херсонида, СПб., 1804, стр. 258; ср. еще на стр. 179: *круго-зорно* — *горизонтально* (в качестве эквивалента слова *горизонт* здесь выступают также *обзор* и *глазоем*). Бобров мог заимствовать эту идею в письмовнике Курганова, который предлагал такую же замену: «Горизонт, озречь, кругозор» (см. Н. Курганов. Письмовник... ч. 2, СПб., 1790, стр. 228; ср.: В. В. Виноградов. Из истории русской лексики и фразеологии, 3: История слова *кругозор*, «Доклады и сообщения Ин-та языкознания АН СССР», VI, М., 1954, стр. 20). Ср. также предложение Е. Станевича (Рассуждение о русском языке..., ч. II, СПб., 1809, стр. 4) употреблять вместо *горизонт* — *обзор*.

²⁴ См. специально: Б. А. Успенский, Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования) (Докт. дис., машинопись), М., 1971, ч. I, гл. X, стр. 499—509. Показательно, в частности, что фрикативный

кламационной манеры и западноевропейской сценической декламации в этот же период.

С другой стороны, очень характерно изменение значений церковнославянизмов в русском литературном языке под влиянием западноевропейских языков²⁵; поскольку подобное изменение, естественно, не может иметь место при этом в самом церковнославянском языке, возникает характерное семантическое различие, иногда доходящее до антонимического противопоставления, между соответствующими по форме (церковнославянскими по происхождению) элементами церковнославянского и русского языков — что, между прочим, и оправдывает в какой-то мере рассмотрение их теперь в качестве разных языков, находящихся друг к другу в отношении переводимости (а не различных стилистических систем внутри одного языка, как это могло бы считаться для более раннего периода). Замечательно, что Карамзин не только оправдывал изменение значений славянизмов, но даже и настаивал на этом. Он прямо призывал «давать старым <словам> некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи», причем специально предупреждал писателей, что делать это надо «столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения»²⁶; это высказывание, несомненно, относится и к славянизмам.

Итак, такие процессы, как заимствование, калькирование и т. п. — в принципе способствуют активизации церковнославянских элементов в русском языке (оживлению словообразовательных суффиксов, которые становятся продуктивными, активизации словообразовательных моделей, и т. п.) и в конечном счете славянизации литературного языка²⁷.

[у], принятый в церковнославянском произношении, мог соответствовать в заимствованном слове как фриктивному, так и взрывному звуку исходной формы (см. там же, гл. IV, стр. 236).

²⁵ См., например: В.-О. Unbegaun, *Vulgarisation d'un terme liturgique: russe прохладжѣтся*, «Revue des études slaves», t. 27 (Mélanges André Mazon), Paris, 1951 (о слове *прохладжѣтся* и родственных выражениях), Г. Хюгль-Ворт, Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений, «American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists, Sofia, 1963», The Hague, 1963, стр. 145 (о словах семантического ряда: *обаятельный, очаровательный* и т. п., ср. об этих словах: Ю. М. Лотман, О соотношении поэтической лексики русского романтизма и церковнославянской традиции, «Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам 17—24 августа 1970 г.», Тарту, 1970, В. В. Виноградов, О некоторых вопросах русской исторической лексикологии, «Известия АН СССР», ОЛЯ, т. XII, 1953, вып. 3, стр. 208—209; ср. также Комментарий, примеч. 62 и 103), В. В. Виноградов, Лексикологические заметки, II. Очерки из истории русской лексики, «Уч. зап. Московского Гос. пед. дефектолог. ин-та», т. I, М., 1941, стр. 20—32 (о словах *витать, мерцать*). Ср. еще в этой связи: В. В. Виноградов, Очерки..., стр. 160—161, его же, Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка, М.—Л., 1935, стр. 264, В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 64.

²⁶ Н. М. Карамзин, Отчего в России мало авторских талантов? (1802), в изд.: Карамзин, Сочинения, т. III, М., 1848, стр. 528.

²⁷ Ярким примером может служить освоение причастий в живой русской речи. Как известно, еще Ломоносов настаивал в своей «Российской грамматике» (СПб., 1755, §§ 343, 440, 444, 453), что как действительные, так и страдательные причастия настоящего времени могут образовываться исключительно от глаголов «славянского происхождения», но ни в коем случае не «от простых российских»; соответствующие указания могут повторяться и в более поздних грамматических руководствах. (Вместе с тем, причастное, процессуальное значение может выражаться в языке прилагатель-

Вполне закономерно, в виду всего сказанного, что именно — и прежде всего — в переводной литературе наблюдается во второй пол. XVIII в. возрождение церковнославянского языкового наследия: переводы отличаются подчеркнуто славянизированным архаическим стилем²⁸. Не случайно Карамзин и Дмитриев, выделяя в своих ретроспективных обзорах русской литературы XVIII в. особый «славяно-русский» период письменности, имеют в виду как раз переводы (прежде всего Елагина, а также Фонвизина и

ными на -тельн — ср. в этой связи Комментарий, примеч. 27, 46, 134, 152). Если положение резко меняется уже к началу XIX ст., то причина этого лежит именно в освоении иноязычных форм, которые закономерно оформляются как церковнославянизмы. Так, если мы читаем, например, в «Трудовой пчеле» (1759, декабрь, стр. 752—753): «Пегиметер <...> есть как некоторой Французской Стихотворец говорит: животное критикованное, критикующее и критикуемое» («Из Гольберговых писем», перевод с датского Ивана Борисова), то совершенно ясно, что причастные формы в этом примере просто-напросто отражают исходный иностранный текст. Точно так же и в других случаях причастные формы могут появляться в русской речи как кальки с европейских языков: примером может служить хотя бы перевод фр. *touchant* в 70—80-е гг. как *трогающий* (с 80-х гг. появляется прилагательное *трогательный*, которое в конце концов и вытеснит причастную форму; см. Комментарий, примеч. 152); при этом глагол *трогать* представляет собой типичный случай «простого русского» глагола (а не славянского происхождения). Насколько причастные формы были характерны для переводных текстов, можно видеть, между прочим, и из перевода «Bourgeois-gentilhomme» Мольера как «Мещанин дворянствующий» (1758 г., ср. отсюда название комедии В. И. Кольчева «Дворянствующий купец» 1780 г. как русской переделки пьесы Мольера).

В результате причастия перестают быть исключительной монополией высокого слога и проникают в разговорную речь (ср. соответствующие формы в речи Галлорусса в рассматриваемом памфлете Боброва, см. Комментарий, примеч. 44, там же приводится и параллель из «щегольского наречия» второй пол. XVIII в.). Итак, причастные формы проникают в живой русский язык именно благодаря посредничеству западноевропейской языковой стихии. Вполне естественно, что карамзинист В. С. Подшивалов специально рекомендует в своем «Сокращенном курсе русского слога» (М., 1796) — «не избегать употребления причастий, которые более Российскому языку свойственны, нежели безпрестанное: *который, который*» (стр. 52—53, ср. еще стр. 27). Нетрудно усмотреть здесь полемику с Ломоносовым, причем сама возможность этой полемики обусловлена иноязычным влиянием на русский язык. Ср. также указание в цитированном уже соч. «Опыт о языке...» неизвестного автора-галломана («Собрание новостей», 1775, октябрь), что «причастии, в настоящем и прошедшем времени, могут быть производимы от всех глаголов» (стр. 72), — указание, вполне соответствующее общей ориентации данного сочинения на европейскую языковую стихию (правда, если судить по приводимым примерам, не исключено, что под «причастиями» автор имеет в виду деепричастные формы).

²⁸ Очень характерен следующий эпизод, о котором рассказывается в «Старой записной книжке» Вяземского: «В конце минувшего столетия сделано было распоряжение коллегией иностранных дел, чтобы впредь депеши наших заграничных министров писаны были исключительно на русском языке. Это переполошило многих из наших посланников, более знакомых с французским дипломатическим языком, нежели с русским. Один из них в разгар Французской революции писал: *гостиницы гозбят беситанниками*, что должно было соответствовать французской фразе: *les auberges abondent en sansculote*» (П. Вяземский, Старая записная книжка, Л., 1929, стр. 101—102). Итак, сама ситуация перевода естественно обуславливала использование церковнославянских языковых средств. Не менее показательны мнения Вязем-

их последователей)²⁹; в другом месте Карамзин, пародируя соответствующий стиль, иронически пишет о «моде, введенной в русской слог големами толковниками <...>, иже отрывают все, еже есть русское, и блещают ся блаженне снятием славяномудрия»³⁰. Итак, архаизация слога, насыщение его церковнославянизмами приписывается именно переводчикам с западно-европейских языков; к этому, действительно, имеются достаточно веские основания. Характеризуя фонвизинский перевод романа (прозаической поэмы) Битобе «Иосиф», современный исследователь констатирует: «Если в языке существовали русские и церковнославянские синонимические пары, — в «Иосифе» почти всегда безусловно господствуют славянизмы»³¹. Из предисловия Фонвизина при этом видно, что использование церковнославянских языковых средств обусловлено не высоким содержанием произведения, а собственно стилистическими задачами: перевод с европейского языка предполагал «важность» слога³². Даже сентименталиста Стерна переводят в этот период «славяно-русским» языком, что совсем уже не соответствует ни содержанию оригинала, ни его стилистическим характеристикам³³. М. И. Попов в предисловии к своему переводу (с французского) «Освобожденного Иерусалима» специально обосновывал необходимость использования церковно-

ского, что Александр I подписывал манифесты, составленные Шишковым только по недостаточному знакомству с русским (литературным) языком: «... император Александр, если не по литературному, то по врожденному чувству вкуса и приличия никогда не согласился бы подписывать такой сумбур, предложенный ему на французском языке. Но малое поверхностное знакомство с русским языком — тогда еще не читал он Истории Карамзина — вовлекали его в заблуждение: он думал, что, видно, надобно говорить таким языком, что иначе нельзя говорить по-русски...» (там же, стр. 260). Вяземский, конечно, говорит о незнакомстве Александра с русским литературным языком, причем для карамзиниста Вяземского литературный язык — это язык «нового слога», который не завоевал еще окончательно свои позиции (и к тому же имел слишком очевидную связь с политически одиозным в этот период французским языком). Славянизированный русский язык выступал, видимо, для Александра на тех же правах, что и французский, т. е. именно на правах языка литературного (книжного): и тот и другой противостоял русской разговорной речи.

Совершенно так же, когда кн. Д. В. Голицын, готовя речь при выборах в Московском дворянском собрании, хотел «высказать французское значение: la conscience est un juge inexorable и сказать *неумолимый* судья, <...> Мерзляков не одобрил этого слова и предложил *неумытный*», то есть церковнославянский вариант (см. П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VIII, СПб., 1883, стр. 190).

Очень характерно в этом плане замечание рецензента «Сына отечества», относительно перевода комедии «Притворная неверность», осуществленного Грибоедовым и Жандром: «Смело можем рекомендовать перевод сей любителям поэзии <...> Известно, сколь трудно переводить с *разговорного* французского языка на *книжную русскую*» («Сын отечества», 1818, № 19, стр. 263; курсив оригинала).

²⁹ Н. М. Карамзин, Пантеон российских авторов. Князь Кантемир (1802 г.), в изд.: Карамзин, Сочинения, т. I, СПб., 1848, стр. 577; И. И. Дмитриев, Взгляд на мою жизнь, в изд.: И. И. Дмитриев, Сочинения, т. II, СПб., 1893, стр. 59—61.

³⁰ «Московский журнал», 1791, ч. IV, кн. 1, стр. 112. Непосредственным поводом для этого замечания послужила фраза: *Колико для тебя чувствительно* в русском переводе «Клариссы» Ричардсона.

³¹ В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 24—25.

³² См. изд.: Д. И. Фонвизин, Собрание сочинений, т. I, М.—Л., 1959, стр. 444; ср. В. Д. Левин, указ. соч., стр. 17—18, а также стр. 55.

³³ В. Д. Левин, указ. соч., стр. 31, 60.

славянских средств при переводах: он замечал, что «при переводе толь превосходного и трудного творения, какова во своем роде есть Поема, непременно должны встретиться многия речения, коих на нашем языке или совсем нет, либо мы оных еще не знаем; потому что не рачим вникать во обширный и богатый Славенский Язык, который есть источник и красота Российскаго»; соответственно, при переводе поэмы Тассо он занимался «приискиванием в *духовных книгах*, или в *новопереведенных*, равносильных речений тем, каковыя попадалися <...> во французском»³⁴. При этом переводимым оригиналам, как правило, был совершенно чужд тот архаический, высокий стиль, который наблюдается в соответствующих русских переводах, т. е. обилие церковнославянизмов и архаизмов в переводах обычно никак не определяется характером лексики переводимых текстов: поэтому русские переводы обычно выглядят намного более книжными, чем их европейские оригиналы³⁵. Следует иметь в виду, что европейские языки вообще не располагают таким обилием архаических элементов и языковых средств; переводчики хотели передать не специально архаический, но именно литературный (в широком смысле) стиль переводимых текстов: они стремились избежать проникновения элементов разговорного языка (просторечия). В результате чужое (европейское) соответствовало специфически книжному.

В свою очередь, указанный процесс постепенно распространяется на оригинальную литературу³⁶ и стимулирует вообще словотворчество, продукцию нео-славянизмов и в конечном счете архаизацию литературного языка уже безотносительно к контакту с иностранными языками: поскольку западно-европейское культурное влияние расширяет жанровый диапазон, постольку переводные произведения играют как бы нормализующую роль в отношении литературного языка, т. е. сочинители оригинальных текстов в той или иной степени ориентируются на стиль переводных книг. И. И. Дмитриев имел все основания заметить, что «наши светские писатели просятся в духовные»³⁷. Соответственно, архаизированный язык переводной литературы оказывался у истоков новых тенденций в развитии литературного языка.

Таким образом, западноевропейское влияние объективно имело, может быть, не меньшее значение для «архаистов» (Шишкова, Боброва и т. п.), чем для «новаторов»-карамзинистов, хотя субъективно одни выступали как противники этого влияния, а другие — как его сторонники. Разница между

³⁴ «Известие» (от переводчика), в изд.: «Освобожденный Иерусалим, ироческая поема, италиянскаго стихотворца Тасса, переведена с Французскаго Михайлом Поповым», ч. I, СПб., 1772, стр. 10. Ср. рассмотрение языка этого перевода у В. Д. Левина, указ. соч., стр. 32—34. См. также аналогичные высказывания М. Попова в «предъизвещении» к переводу дидактической поэмы Дора «На феатральное провозглашение», см. В. В. Виноградов, Очерки..., стр. 159.

³⁵ См.: В. Д. Левин, указ. соч., стр. 59, 61.

³⁶ Ср. отзыв А. Т. Болотова о языке романа П. Львова «Российская Памела...» (СПб., 1789): «...что касается до отваги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие совсем вновь испеченные и нимало еще необихованные слова, как например: *себялюбие, себялюбивый, белодышная борода, флейтоигральщик, челопреклонцы, великодушцы, щедротохищники* и другие тому подобные; так в сем случае он совсем уже неизвинителен, и ему-б было слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед акредитоваться поболее в сочинениях» (А. Болотов, Мысли и беспристрастные суждения о романах как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных языков, ч. I, 1791 г., в изд.: «Литературное наследство», 9—10, М., 1933, стр. 217). Показательно, вместе с тем, что речь идет в данном случае о произведении, хотя и оригинальном, но явно ориентирующемся на западноевропейский литературный источник («Памелу» Ричардсона).

³⁷ См. П. Вяземский, Старая записная книжка, Л., 1929, стр. 76.

обоими направлениями в действительности была обусловлена скорее различными путями, по которым осуществлялось данное влияние — книжным (через собственно письменную традицию) или разговорным (через разговорную речь многоязычного дворянского общества); но об этом подробнее будет сказано ниже.

* *
*

Итак, западноевропейское влияние в XVIII в. тесно связано с процессом легитимации русской (точнее сказать, не-церковнославянской) языковой стихии, отчетливо противопоставляющей себя церковнославянскому языку. Следует при этом иметь в виду, что первоначально заимствованные формы закономерно относились в языковом сознании именно к русскому языку. Иначе говоря, европеизмы воспринимались в свете заданной уже альтернативы: «церковнославянское vs. русское»: соответственно, все, что не является церковнославянским, автоматически относилось к компетенции «русского» (в широком смысле) языка³⁸.

Можно сказать, таким образом, что при этом сохранялась перспектива церковнославянского языка, усвоенная еще при диглоссии и от нее унаследованная: именно церковнославянский язык служит точкой отсчета и выступает критерием в определении того, что есть русский язык³⁹. Границы церковнославянского языка строго определены, границы языка русского — расплывчаты и неопределенны; соответственно, русский язык можно получить путем вычитания церковнославянского из того «целого», которое определяет реально существующий корпус текстов. В какой-то степени указанному пониманию способствует еще и то обстоятельство, что заимствованные формы, так же как и макаронизмы, становятся присущи разговорной речи (определенных слоев дворянского социума): «русское» может осмысляться как «разговорное»⁴⁰.

Уже Тредиаковский отмечал, что одно из основных отличий между «славянским» (церковнославянским) и «славенороссийским» (русским литературным) языком состоит именно «в нововводных словах, воспрятых от чужих языков»⁴¹. Итак, «нововводные» иноязычные элементы и конструкции —

³⁸ Ср., между прочим, характеристику калькированных выражений или заимствованных слов как *нежных* — при том, что этим эпитетом с 30-х гг. XVIII в. характеризуются вообще собственно русские формы, в отличие от церковнославянизмов, которые расценивались, напротив, как *жест(о)кие*. См. специально об этом ниже, стр. 224 и сл. наст. изд.

³⁹ В ситуации церковнославяно-русской диглоссии заимствуемые формы (за исключением грецизмов), как правило, относились к «русской» языковой стихии, т. е. к тому полюсу, который противостоял в языковом сознании книжному церковнославянскому языку.

⁴⁰ Ср. ниже, стр. 237 и сл. наст. изд.

⁴¹ В. К. Тредиаковский, Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем что принадлежит к сей материи, в изд.: Тредиаковский, Сочинения, т. III, СПб., 1849, стр. 203. В другом месте Тредиаковский писал, что «язык наш стал славенороссийским <из «славянского». — Ю. Л., Б. У.>, для того что уже он начал принимать слова варяжския, то есть Российския, каковы, может быть, лоб вместо чела, вор вместо татя, глаз вместо ока, рот вместо уст, губы вместо устне, изба вместо клеть, крик вместо вопль, и прочия премногия, так как он же ныне примешал, приняв прежде многия и татарския слова, в себя ж от сообщения токмо многияж из всех почитай Европейских...» (В. К. Тредиаковский, Мнение о диссертации господина профессора Миллера, в изд.: П. Пекарский, История имп. Академии наук в Петербурге, т. II, СПб., 1873, стр. 246). Ср. отсюда у Татищева характеристику

иначе говоря, европеизмы, постольку, поскольку они осмысляются как таковые, — характеризуют именно русский гражданский (литературный) язык, отличая его от языка церковнославянского⁴².

Соответственно, противопоставление «церковнославянской» и «русской» языковой стихии может восприниматься как противопоставление «своего» (исконного) и «чужого» (заимствованного). Изолированность церковнославянского языка от западноевропейского влияния заставляет воспринимать церковнославянскую традицию в качестве национальной традиции, т. е. осмыслять церковнославяно-русское двуязычие в плане противопоставления: «национальное — интернациональное» (resp.: «национальное — европейское», «восточное — западное»). Книжная церковнославянская норма из абсолютно значимой, какой она была при диглоссии, становится культурно значимой.

Именно поэтому борьба с иноязычным влиянием ведется с позиций церковнославянского языка; этому в большой степени способствует и функциональная соотнесенность церковнославянизмов и европеизмов, о чем подробно говорилось выше. Все вместе взятое объясняет повышение роли книжной церковнославянской языковой стихии во второй пол. XVIII — начале XIX вв. При этом высокий (церковнославянский) слог воспринимается теперь не через призму собственно церковнославянской традиции, — а в перспективе русского разговорного языка. Отсюда следует искусственная архаизация литературного языка на псевдо-церковнославянский манер и, в конечном счете, дальнейшее размежевание церковнославянского (в собственном смысле) и русского литературного языков.

Представление о том, что русский литературный язык происходит из церковнославянского (обусловленное прежде всего пережитками диглоссии, но, вместе с тем, и отпочкованием высокого слога от церковнославянского языка), — обуславливает возможность объединения в языковом сознании церковнославянизмов и архаических русизмов. Начинаются знаменательные поиски «коренных российских слов» и вообще «коренного» — в иной терминологии «первообразного», «первобытного» — облика русского языка. (Ср. в этой связи упоминание Боброва о «коренном и существенном образе нашего слова», о «коренном основании языка» и т. п. в «Происшествии в

таких собственно русских (а не «славенских») слов, как *это, вот, чють, очюнь, зво, чорт, пужаю*, как «сарматских», то есть неисконных, иноязычных по своему происхождению [см. его письмо к Тредиаковскому от 18 февраля 1736 г. (Архив АН, разр. И, оп. 1, № 206, л. 94 об.), а также В. Н. Татищев, Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ, М., 1887, стр. 91]; перспектива церковнославянского языка выступает в подобных суждениях особенно наглядно.

⁴² Укажем в этой связи, что еще Симеон Полоцкий видел свою заслугу в том, что обогатил «славенский» язык «странными идиоматы», т. е. иноязычными речениями. Он так писал о себе: «Аз, многогрешный раб Божий, Его Божественною благодатию сподобившись странных идиомат преребогатов цветных вертограды видети, посетити и тех пресладостными и душеполезными цветы услаждения душеживительного, вкусити, тщание положих многое и труд немалый, да и в домашний ми язык славенский, яко во оплот или ограждение церкви Российския, оттуду пресаждение корней и пренесение семен богодухновенно-цветородных содею, — не скудость убо исполняя, но богатому богатство прилагая, занеже имущему дается» (из предисловия к «Вертограду многоцветному», см. изд.: Симеон Полоцкий, Избранные сочинения, под ред. И. П. Еремина, М.—Л., 1953, стр. 206). Характерно, между тем, отношение современников к языку Симеона Полоцкого; они отказывались видеть в нем чистый церковнославянский язык, но воспринимали его, скорее, как «славенороссийский», т. е. специфический русский литературный язык, отличающийся от церковнославянского. Попутно отметим, что уже на этой стадии заимствованные формы коррелируют с высоким слогом.

царстве теней»⁴³ или о «коренном, матернем языке славенском» в предисловии к «Херсониде»⁴⁴).

Необходимо заметить, что уже Ломоносов намечал составление «Лексикона русских примитивов», т. е. «коренных» или «первообразных» слов; позднее в одном из отчетов он писал, что «собрал лексикон первообразных слов российских» (сам лексикон при этом до нас не дошел)⁴⁵; ср. еще статью Сумарокова «О коренных словах русского языка» (1759 г.), представляющую собой как бы логическое продолжение непосредственно перед тем опубликованной статьи того же автора «О истреблении чужих слов из русского языка»⁴⁶; ближайшее отношение к данной проблематике имеют и этимологические разыскания Тредиаковского. Но интерес к «коренным словам» и к «коренному облику» языка, вообще говоря, отнюдь не ограничивается этимологией в собственном смысле, охватывая буквально все, что относится к национальной культуре. Так, например, Капнист пишет (в 1790-х гг.) статью «о коренном российском стихосложении», Шишков призывает к чтению «коренных книг», и т. д. и т. п.⁴⁷. Слово *коренной* осмысляется прежде всего как «первичный», «исконный» (хотя спорадически может пониматься также и как «простой», «морфологически элементарный»).

Этот интерес к «коренным российским словам», более или менее спонтанно возникающий в сер. XVIII в., уже сам по себе достаточно характерен. Еще более знаменательно, однако, что на определенном этапе развития подлинные «русские» слова могут не только отыскиваться, но и сочиняться — в соответствии с субъективным представлением носителя языка о «коренном» русском (resp.: славянском) языке⁴⁸. Непосредственным стимулом для подобного словотворчества является, опять-таки, столкновение с западноевропейской языковой стихией, обуславливающее стремление выразить автохтонными средствами понятия, пришедшие из европейских языков. Так, на одном из заседаний Российской Академии (16 декабря 1783 г.) было «определено сколько возможно избегать иностранных слов и стараться заменять их: или старинными словами, хотя бы они были и обветшала, ибо в сем случае частое употребление удобно может паки приучить к оным; или словами, находящимися в языках, от славенского корня произшедших; или же вновь, по свойству славенороссийского языка, составленными»⁴⁹. Полутно заметим, что и здесь, по существу, может

⁴³ Ср. Комментарий, примеч. 2, 70, 149, а также примеч. 36, 221, 222.

⁴⁴ С. Бобров, Херсонида, СПб., 1804, стр. 13.

⁴⁵ См.: В. Н. Макеева, М. В. Ломоносов — составитель, редактор и рецензент лексикографических работ, ВЯ, 1961, № 5, стр. 109—110. Ср.: М. В. Ломоносов, Полное собрание сочинений, т. VII, М., 1952, стр. 688—689; т. X, М., 1957, стр. 400.

⁴⁶ Обе статьи Сумарокова опубликованы в январском и февральском выпусках «Трудолюбивой пчелы» за 1759 г.

⁴⁷ В. В. Капнист, Краткое изыскание о Гипербореанах, о коренном российском стихосложении, «Чтения в Беседе любителей русского слова», XVIII, СПб., 1815; А. С. Шишков, Опыт Славенского словаря..., в изд.: Шишков, Собрание сочинений и переводов, ч. V, СПб., 1825, стр. 94.

⁴⁸ См., например, анонимный «Опыт о языке...» («Собрание новостей», 1775, октябрь). Предлагая к употреблению выдуманый им глагол *сослущать*, автор замечает: «Равным образом многие другие первобытные глаголы могут составляться по приличности в языке и войти в обыкновение» (стр. 68).

⁴⁹ См.: М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. VIII, СПб., 1888, стр. 127—128. Ср.: В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 65—66.

сказываться влияние немецкой языковой ситуации⁵⁰, т. е. может усматриваться отражение немецкого языкового строительства⁵¹ — с тою, однако же, разницей, что на русской почве обращение к «коренным» словам так или иначе, прямо или косвенно, связано с обращением к церковнославянской языковой стихии.

В этих условиях представление носителя языка о «коренном», исконном облике языка — приобретает особую актуальность, непосредственно отражаясь на создаваемом или отбираемом языковом материале. Носитель языка (не исключая и самого законодателя стилистической нормы), естественно, исходит при этом не из каких-либо строгих или четко определенных критериев⁵², а именно из творческого ощущения того, что соответствует, а что — не соответствует духу языка. Речь идет, по существу, о критерии вкуса (или языкового чутья), хотя этот критерий наполняется существенно различным содержанием в зависимости от общей культурно-языковой ориентации — например, у «архаистов», типа Боброва, и у «новаторов», типа Карамзина. Вполне закономерно поэтому, что Бобров в предисловии к «Херсониде» ратует за «точный национальный вкус»⁵³; критерий вкуса играет достаточно важную роль и в «Происхождении в царстве теней» Боброва⁵⁴.

В результате искусственной архаизации языка, обусловленной указанными выше процессами, в принципе возможной становится такая ситуация (ранее совершенно невероятная!), когда архаическое русское слово имеет специфический поэтический оттенок, а соответствующий церковнославянизм воспринимается как нейтральный (ср., например, в современном языке пары: *шлем* — *шолом*, *плен* — *полон*, *между* — *меж*, *совершать* — *свершать*, *сбирать* — *сбирать* и т. п.). Церковнославянский язык сближается в языковом сознании со специфическим фольклорным языком и осмысливается таким образом в национально-этническом плане или же вообще в плане национальной культурной традиции⁵⁵. Отсюда поня-

⁵⁰ Ср. замечания о влиянии немецкой языковой ситуации выше, стр. 197. наст. работы.

⁵¹ Ср. в этой связи в «Кошельке» (1774, л. I) обсуждение возможности «с крайнею только осторожностью употреблять иностранные речения», а вместо этого «отыскивать коренные слова российские и сочинять вновь у нас имевшихся, по примеру немцев» (ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», под ред. П. Н. Беркова, М.—Л., 1951, стр. 478—479). В свете сказанного представляет интерес публикация книги: «Собрание немецких и иностранных в немецком языке принятых первообразных слов» (СПб., 1792).

⁵² Попытку, так сказать, научного подхода к проблеме можно наблюдать у Тредиаковского, который, например, логически выводил ударение *вѣсну* (форма вин. падежа), исходя из закономерностей перетяжки ударения на предлог. Расценивая эти закономерности как исконные для русского языка (в иных терминах — как относящиеся к «коренному» состоянию языка), Тредиаковский признает ударение *вѣсну* за «правое и нашему языку природное» (см.: В. К. Тредиаковский, Ответ <А. П. Сумарокову. — Ю. Л., Б. У.> на письмо о сафической и горацанской строфах», в изд.: П. Пекарский, История имп. Академии наук в Петербурге, т. II, СПб., 1873, стр. 255).

⁵³ С. Бобров, Херсониде, СПб., 1804, стр. 13.

⁵⁴ См. специально об этом в Комментарий, примеч. 60.

⁵⁵ Это переосмысление, между прочим, отражается — с известным запаздыванием — на семантической эволюции слова *славянофил*, первоначальное значение которого связано прежде всего с лингвистической установкой (ориентацией на церковнославянскую языковую стихию) и которое лишь впоследствии ассоциируется с национально-романтической идеологией (ср.

тен, в частности, тот интерес к народной поэзии, который характерен, между прочим, и для рассматриваемого произведения Боброва⁵⁶. Этот интерес к русскому фольклору и мифологии с течением времени распространяется вообще на славянскую народную культуру.

Знаменательно, что прилагательное *славенский*, означавшее ранее «церковнославянский», начинает употребляться в значении «славянский», т. е. становится культурно-этническим термином⁵⁷: это проявилось, в частности, уже в «Славенских сказках» М. Д. Чулкова⁵⁸.

Значение церковнославянского языка, т. е. языка церковных книг, усматривается прежде всего в том, что это «славянский коренной язык», от которого происходят новые славянские языки⁵⁹; иначе говоря, церковно-

П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VIII, СПб., 1883, стр. 483—484). В своих истоках славянофильство вовсе не имело того оттенка «почвенничества», которое оно получает позже. Возрождение первоначального смысла славянофильства в какой-то степени можно усмотреть, по видимому, в евразийском движении, по крайней мере у некоторых его представителей. См. особенно: Н. С. Трубецкой, Общеславянский элемент в русской культуре, в его книге «К проблеме русского самопознания. Собрание статей» (Париж, 1927).

Фасмер считает, что слово *славянофил* употребляется в русском языке с 1811 г., приписывая его создание В. Л. Пушкину (имеется в виду, конечно, «Опасный сосед»), см.: М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, т. III, М., 1971, стр. 666. Между тем, оно употреблялось и раньше: в частности, С. Т. Аксаков свидетельствует, что оно было в ходу в 1808 г. (см. его «Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове» в изд.: С. Т. Аксаков, Собрание сочинений в четырех томах, т. II, М., 1955, стр. 270). Вместе с тем, это слово можно встретить уже в 1804 г. в письмах И. И. Дмитриева к Д. И. Языкову, где речь идет о книге Шишкова (см. письма от 15 сентября и 31 октября 1804 г. в изд.: И. И. Дмитриев, Сочинения, т. II, СПб., 1893, стр. 188 и 190). Таким образом, есть основания связывать появление данного слова с выходом «Рассуждения о старом и новом слоге...»; надо полагать, что оно было создано литературными противниками Шишкова, но постепенно вошло в общее употребление.

⁵⁶ См. об этом выше, стр. 188 наст. изд., а также ниже, в Комментариях, примеч. 51 и 147.

⁵⁷ Что касается формы *славянский*, то она первоначально выступает как дублетный вариант к форме *славенский*, разделяя все значения этой последней формы. См., например, употребление формы *славянский* в лингвистическом, а не в этнографическом смысле в «Письме к Ломоносову 1784 года» О. П. Козодавлева («Собеседник любителей российского слова», 1784, ч. XIII, стр. 167—171), где дается следующий отзыв о современных автору стихотворцах:

Иной летит на верх и бредит по славянски,

Другой ползет вниз и шутит по крестьянски.

Ср. регулярное употребление формы *славянский* при обозначении церковнославянского языка уже в сочинении (А. А. Ржевского?) «О московском наречии» («Свободные часы», 1763, февраль), а также у Ф. Г. Карина в «Письме к Николаю Петровичу Николеву о преобразителях Российского языка...» (М., 1778). В дальнейшем форма *славянский* вытесняет форму *славенский*, причем основным значением этой формы становится значение этнического термина.

⁵⁸ См.: <М. Чулков>, Пересмешник или Славенские сказки, СПб., 1766—1768 (ср. переиздания 1770—1789 гг.).

⁵⁹ См. об этом в «Рассуждении о вычищении, удобрении и обогащении российского языка» (М., 1786), автором которого считают неромонаха Моисея Гумилевского (известного проповедника и преподавателя Московской славяно-греко-латинской академии, будущего епископа). Вполне последовательно с этой точки зрения автор «Рассуждения...» распространяет борьбу с за-

славянский язык понимается как славянский праязык. Отсюда в принципе возможным становится восстанавливать этот «коренной славянский язык» в более полном виде, не только исходя из языка церковных книг, но и сопоставляя данные живых славянских языков с помощью своеобразных сравнительно-исторических методов⁶⁰. В дальнейшем церковный язык может даже противопоставляться «коренному славянскому» или «коренному русскому». Так, Карамзин заявляет в 1803 г., что «авторы или переводчики наших духовных книг образовали язык их совершенно по греческому, наставили везде предлогов, растащили, соединили многие слова, и сею химическою операциею изменили первобытную чистоту древняго славянскаго»⁶¹; точно также и Каченовский может противопоставлять «коренной славянский» язык «церковному», утверждая, что «нынешний церковный наш язык есть старинное Сербское наречие, а «древний коренный Славянский язык нам неизвестен»⁶², а В. В. Капнист — считать,

имствованными словами и на грецизмы, предлагая, например, употреблять вместо *литургия* — *служба*, вместо *кафедра* — *проповедалище*. В устах духовного лица эти предложения особенно знаменательны. [Что касается замены *кафедра* на *проповедалище*, то это предложение, кажется, не ограничивается индивидуальной точкой зрения автора «Рассуждения...»: так, например, в книге «Иерусалимово творение о немецком языке и учении...» (СПб., 1783; перевод с немецкого А. Мейера) после слова *кафедра* дается в скобках русский эквивалент — *проповедалище* (стр. 16)].

⁶⁰ Ср. в этой связи проект «Сравнительного словаря славянских наречий» А. С. Кайсарова, обусловленный именно стремлением к воскрешению «славянской» языковой стихии (см. Ю. М. Лотман, Рукопись А. Кайсарова «Сравнительный словарь славянских наречий», Уч. зап. ТГУ», вып. 65, Тарту, 1958), или аналогичное предложение Шишкова в «Записках Российской академии» (Собрание 21 января 1822 г., ст. II, приложение; см. М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. VIII, СПб., 1888, стр. 216—217). О необходимости такого словаря писал и Анастасий в предисловии к публикации «Взгляда на Богемскую словесность и на связь между собою отраслей Словенского языка» Иоанна Коссаковского [«Улей», 1811, т. II, № 8; см.: Н. К. Замков, «Улей». Журнал В. Г. Анастасевича (1811—1812 гг.), в кн.: «Sertum bibliologicum». В честь президента Русского библиологического общества проф. А. И. Малеина, Пб., 1922, стр. 61, примеч. 2].

⁶¹ Н. М. Карамзин, О русской грамматике француза Модрю, «Вестник Европы», 1803, ч. 10, № 15, стр. 210 (или: Карамзин, Сочинения, т. III, М., 1848, стр. 604).

⁶² М. Т. Каченовский, О славянском языке вообще и в особенности о церковном, «Вестник Европы», 1816, ч. 89, № 19, стр. 257. Ранее Каченовский отождествлял церковнославянский и праславянский языки (например, в статье «Об источниках для русской истории», «Вестник Европы», 1809, ч. 43, 44, 46). Ср.: С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, т. I, СПб., 1904, стр. 725, 775; Н. И. Мордовченко, Русская критика первой четверти XIX века, М.—Л., 1959, стр. 96—97.

Очень характерен отклик Батюшкова на доклад Каченовского, прочитанный в 1816 г. в Московском Обществе любителей российской словесности (и напечатанный затем в «Трудах» этого общества, ч. VII, 1817 г.). В письме к Гнедичу от 28—29 октября 1816 г. Батюшков пишет: «Каченовский читал *рассуждение о славянских диалектах*. Я не критик, я невежда, но кажется, он режет истину. Он утверждает, что Библия писана на сербском диалекте; то же, думаю, говорит и Карамзин. А славенский язык вовсе исчез; он чистый и не существовал, может быть, ибо под именем Славен мы разумели все поколения славенския, говорившия разными наречиями, весьма отличными одно от другаго. Он разбудит славенофилов. Если правду говорит Каченовский, то каков Шишков с партией! Они влюб-

что именно русский, а не церковнославянский язык является «коренным или первоначальнейшим» славянским диалектом, в виду его «простоты и кратко-правильности»⁶³. Ранее, конечно, подобное противопоставление было абсолютно невозможно⁶⁴.

В результате указанного переосмысления существенно расширяется сфера действия церковнославянской языковой стихии, которая связывается теперь не непосредственно с религиозным (церковным) началом, но прежде всего с национальной культурой⁶⁵ или вообще с определенной культурной традицией. В частности, если в свое время церковнославянский язык обслуживал ту область, которая была прямо противоположна язычеству, то теперь церковнославянская языковая стихия может ассоциироваться, между

лены были в Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они изказили язык наш славенщиною! Нет, никогда я не имел такой ненависти к этому мандаринному, рабскому, татарско-славенскому языку, как теперь! Чем более вникаю в язык наш, чем более пишу и размышляю, тем более удостаиваюсь, что язык наш не терпит славенизмов, что верх искусства — похищать древния слова и давать им место в нашем языке, котораго грамматика, синтаксис, одним словом, все — противно сербскому наречию. Когда переведут Священное Писание на язык человеческий? Дай Боже! Желаю этого» (см. изд.: К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 409—410). — Соответственно, в наброске статьи о русской словесности 1817 г. Батюшков пишет: «Библия, которую мы по привычке зовем славенскою» (Сочинения, т. II, СПб., 1885, стр. 336). Ср. затем противопоставление церковно-книжного языка Библии и народного «славянского» языка у А. А. Бестужева, Н. А. Полевого (см. цитаты у В. В. Виноградова, Язык Пушкина, стр. 24).

⁶³ См. письмо Капниста в «Трудах Общества любителей российской словесности», ч. III, М., 1823, стр. 338.

⁶⁴ Позднее, отвечая на критику Полевого (см.: «Московский Телеграф», 1833, № 8, апрель, стр. 563—567), Катенин писал о славянофилах: «Они не почитают 'язык церковнославянский древним русским'; знают не хуже других, что Библия переведена людьми не русскими; но уверены, что с тех пор, как приняла ее Россия, ею дополнился и обогатился язык русский, скудное дотоле наречие народа полудикого» («Московский Телеграф», 1833, № 11, июнь, стр. 457—458; цит. по: М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. VIII, СПб., 1888, стр. 350). Это противопоставление церковнославянского и «коренного русского» (древнерусского) языка в конечном итоге заставляет представителей данного направления «отказаться от историко-лингвистического обоснования высокого слога и опереться исключительно на функциональное значение церковнославянизмов и архаизмов вообще» (Ю. Н. Тынянов, Архаисты и новаторы, Л., 1929, стр. 125—126). Такая позиция знаменует новый этап литературной полемики, который приводит к окончательной стабилизации литературного языка, характеризующейся органическим сплавом церковнославянской и русской языковой стихии (ср. ниже, стр. 252—254 наст. работы).

⁶⁵ Такое понимание соотношения между «славенским» и «русским» языком становится характерным и общераспространенным лишь к концу XVIII в., но зачатки его можно обнаружить уже и в первой пол. этого столетия. Особенно показательны в этом отношении филологические рассуждения В. Н. Татищева; анализ того, что Татищев считает «славенским» а что — «русским», позволил бы, по-видимому, установить очень большую близость его подхода к общепринятым филологическим концепциям конца XVIII — нач. XIX вв.; не случайно как для Татищева, так и для этого времени характерна борьба с иностранным влиянием на русский язык (ср. Комментарий, примеч. 1).

прочим, и с языческой мифологией — славянской, так же как и античной⁶⁶. Очень характерно в этом смысле, что бобровский Боян, который должен, видимо, олицетворять в «Происшествии в царстве теней» славянское языческое начало, может говорить не только с церковнославянизмами, но даже и с библеизмами (например, «Я не уповаю, чтобы Ломоносов как истинный судья, услыша столь странное Галлобесие, поставил его одесную» или: «Первенствуй во веки между нами и суди праведно...»)⁶⁷. Попутно следует заметить, что Боян называется у Боброва «Скандинавским Бардом», т. е. считается варягом; таким образом, «славянская» традиция ассоциируется у Боброва — как и у других «архаистов» этого периода — прежде всего с культурным, а не с чисто этническим началом. Именно поэтому «славенороссы» могли называться своими литературными противниками *варягороссами*⁶⁸.

⁶⁶ Ср., вместе с тем, позднейший протест Пушкина (уже совершенно с иных позиций) против соединения церковнославянской стихии и античной мифологии: «Читал стихи и прозу Кюхельбекера. Что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, великолепную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышет мифологией и героизмом, славянорусскими стихами, целиком взятыми из Иеремия. Что бы сказал Гомер и Пиндар?» (из письма к брату от 4 сентября 1822 г.). Для понимания этой цитаты следует иметь в виду, что для Пушкина в этот период церковнославянская языковая струя может связываться (через Ветхий Завет) с еврейским культурным началом (в другой связи он писал в те же годы, что «желал бы оставить рускому языку некоторую библейскую похабность» — см. письмо к Вяземскому между 1 и 8 декабря 1823 г., ср. полный текст цитаты на стр. 230 наст. издания, примеч. 118). Это, несомненно, связано с изменившимся к тому времени представлением о соотношении церковнославянского и «коренного славянского» языков, обусловившими самое возможность противопоставления этих языков (ср. выше ссылку на мнения Каченовского, Карамзина, Капниста и особенно Катенина). Ср. в этом плане вывод В. В. Виноградова, что для Пушкина в начальный период «понятие церковнославянизма сводилось к «церковнобиблеизму», т. е. к стилистическим и экспрессивным формам церковно-библейского выражения. Морфологические приметы сначала в стихотворном языке Пушкина не имели решающего значения» (В. В. Виноградов, *Язык Пушкина*, стр. 77).

Существенно, во всяком случае, подчеркнуть, что и для Пушкина церковнославянская стихия связывается именно с некоторой культурной традицией (в данном случае — древнееврейской), но отнюдь не с религиозным началом.

⁶⁷ См. Комментарий, примеч. 91, 102, ср. также примеч. 32.

⁶⁸ По свидетельству Вигеля, это название появилось около 1810 г. (см. Ф. Ф. Вигель, *Записки*, т. I, М., 1928, стр. 358). Едва ли не первым его употребляет Батюшков в «Видении на берегах Леты», где он говорит о поэтах-«архаистах»:

Стихи их хоть немного жестки, —
Но истинно Варяго-Росски.

Ср. затем перефразировку этой цитаты Гнедичем в его критике катенинской «Ольги» (<Н. И. Гнедич>, О вольном переводе Бюргеровой баллады: Ленора, «Сын Отечества», ч. 31, 1816, № 27, стр. 13): «Такие стихи, — пишет Гнедич, —

Хоть и Варяго-Росски,
Но истинно — немного жестки»;

напротив, Грибоедов, противопоставляя удачному, с его точки зрения, переводу Катенина «Людмилу» Жуковского (в статье: „О разборе вольного

Итак, во второй пол. XVIII — нач. XIX в. ключевая для истории русского литературного языка оппозиция «церковнославянское — русское» превращается в противопоставление «русское — европейское». Генетическая связь того и другого противопоставления представляется в общем достаточно очевидной (см. выше). При этом под разными углами зрения — в зависимости от той или иной культурно-языковой ориентации — это последнее противопоставление может, в свою очередь, осмысляться либо как «национальное — иностранное», либо как «цивилизованное (культурное) — первобытное (невежественное)».

Вместе с тем, происходит поляризация понятий, и данное противопоставление может пониматься как антитеза: «славянское — француз-

перевода Бюргеровой баллады: Ленора, «Сын Отечества», ч. 32, 1816, № 30, стр. 158), пишет относительно последнего произведения, что «такие стихи

Хотя и не Варяго-Росски,
Но истинно немного плоски».

(Относительно эпитета *жесткий* в приведенных цитатах см. специально ниже, стр. 224 наст. изд.). Ср. еще слово *Варяго-Росс* у Батюшкова в письме к Гнедичу от 1 апреля 1810 г., между тем как в письме к нему от апреля 1811 г. Батюшков восклицает: «О Варяго-Славяне! О скоты!» (см.: К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 86 и 117). Аналогичные наименования можно встретить у В. Л. Пушкина в послании «К Д. В. Дашкову» 1811 г.:

Кто тщится жизнь свою наукам посвящать,
Раскольников-славян дерзает уличать,
Кто пишет правильно и не варяжским слогом,
Не любит русских тот и виноват пред Богом!

или же в «Опасном соседе», где автор так пишет относительно слова *двоица* при описании пары коней, употребленного незадолго перед тем Ширинским-Шихматовым в стихотворении «Возвращение в отечество...» (СПб., 1810) и высмеянного Каченовским в рецензии на это произведение («Вестник Европы», 1810, № 19, стр. 222):

Позволь, Варяго-Росс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец.

Точно так же и Дашков готов согласиться, чтобы русский литературный язык называли «славенороссийским, варягороссским, или как бы то ни было», если бы шишковисты «довольствовались сими названиями и не выводили из оных весьма пагубных для языка последствий» (О легчайшем способе возражать на критики, СПб., 1811, стр. 14—15), а Катенин, со своей стороны, пишет: «Знаю все насмешки новой школы над *славянофилами, варягороссами* и пр.» («Сын Отечества», 1822, ч. 76, № 13, стр. 252).

Итак, *варягоросс*, *варягороссский* выступают как стилистически окрашенные синонимы по отношению к *славеноросс*, *славенороссский*. В соответствующих наименованиях слышится скрытое обвинение «славенороссов» в норманизме. Примечательно, что именно карамзинисты с их ярко выраженной «западнической» (европейской) ориентацией упрекают «архаистов» в том, что те отказываются от собственно русского национального начала. Вопреки распространенному мнению, норманская гипотеза генетически совсем не связана с «западничеством».

ское»⁶⁹. Эта поляризация понятий чрезвычайно характерна для культурно-языковой полемики конца XVIII — нач. XIX в. Она очень ярко выражена, например, у Батюшкова в «Певце в "Беседе любителей русского слова"» (1813 г.):

Наш каждый писарь — Славянин,
Галиматьею дышет,
Бежит предатель сих дружин,
И галлицизмы пишет!^{69а}

Возможны вообще как бы только две позиции — «славянорусская» или «галлорусская»: *tertium pop datur*. Тот, кто не употребляет славянизмы, — «галлицизмы пишет»; и те и другие выполняют, таким образом, в общем адекватную функцию.

Точно так же Шишков может называть язык карамзинистов *французско-русским*; это название, конечно, образовано по аналогии с прилагательным *славянорусский*⁷⁰. Совершенно аналогично, наконец, и название *Галлорусс* в рассматриваемой сатире Боброва явно образовано по той же модели, что и *Славеноросс*⁷¹. Слово *галлорусс* при этом отнюдь не должно пониматься в буквальном смысле и связываться исключительно с французским влиянием: позиция галлорусса символизирует вообще ориентированность на западную — или даже шире — на чужую, не славянорусскую культуру⁷².

⁶⁹ Ср. в словаре Даля: «*французское платье*, немецкое, общеевропейское, нерусское» (В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV, СПб., М., 1882, стр. 538). Можно было бы сослаться и на случаи современного жаргонного употребления слов *француз*, *французский* в значении «не-русский» (с возможной при этом конкретизацией значений). Можно полагать, что подобное употребление и восходит в конечном счете к употреблению конца XVIII — нач. XIX в.

^{69а} Любопытно отметить, что указанной антитезе языковых позиций в данном четверостишии соответствует и чередование «галлорусских» и «славенорусских» выражений. Если слова *писарь* (вместо *автор*), *си*, *дружина* могут быть расценены как «славянорусизмы», то выражение *галиматьею дышет* явно ощущалось как «галлорусское» (относительно *галиматья* см. ниже, Комментарий, примеч. 38; для слова *дышет* ср. у Батюшкова в письме к Гнедичу от 29 мая 1811 г. «Нега древних, эта милая небрежность, дышет в его стихах», причем слову *дышет* сопутствует сносок: «Галлицизм, не показывай Шишкову!»; см. изд. К. Н. Батюшкова, Сочинения, т. III, СПб., 1888, стр. 128, курсив оригинала). Если присоединить сюда еще такой очевидный европеизм, как *галлицизм*, то окажется, что нечетные строки приведенного четверостишия стилистически перекликаются со «старым слогом», а четные строки — с «новым».

⁷⁰ Ср. у Горчакова в «Послании кн. С. И. Долгорукову» (см. изд.: «Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в.», Л., 1959, стр. 158):

К словесности на час мы нашей обратимся;
Произведениями ее не восхитимся ...

В ней модных авторов французско-русский лик
Стремится исказить отеческий язык.

⁷¹ Ср. Комментарий, примеч. 5, а также примеч. 95.

⁷² Ср. в этой связи у Кюхельбекера объединение «Германо-Россов и Русских Французов», которые противопоставляются «Славянам». См.: В. К. Кюхельбекер, Обзорение Российской словесности 1824 года (публикация Б. В. Томашевского), в изд.: «Литературные портфели», I, Л., 1923, стр. 74 (ср. выражение *русские французы* регулярно у А. А. Палицына в «Послании к Привете» 1807 г., см.: «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 747, 749, 765). В другом месте Кюхельбекер писал: «Ныне благоговейно

Это отождествление французской и европейской культуры характерно главным образом для полемически настроенных «славянофилов» (Шишкова, Боброва и их окружения), но может иметь принципиальный смысл и для самих западников-карамзинистов. П. А. Вяземский специально подчеркивал это тождество; в статье об И. И. Дмитриеве 1823 г. он писал: «Сие раскрытие, сии применения к нему <русскому литературному языку. — Ю. Л., Б. У.> понятий новых, сии вводимые обороты называли галлицизмами, и может быть не без справедливости, если слово *галлицизм* принять в смысле *европеизма*, т. е. если принять язык французский за язык, который преимущественнее может быть представителем общей образованности европейской»⁷³.

Соответственно, борьба против иноязычного влияния на определенном этапе фактически сводится к борьбе с галлицизмами. Так и в памфлете Боброва весь пафос протеста против иноязычных стихии направлен, по существу, не против заимствований, как таковых, но именно против галлицизмов. Ярким примером может служить слово *жени*, которое противостоит в качестве типичного «галлорусского» слова слову *гений*, выступающему как нейтральное⁷⁴. В других случаях европеизмы осмыслиются как чужеродные элементы лишь тогда, когда они меняют свое значение под влиянием французского языка (в «щегольском наречии» или же в языке «нового слога»), т. е., выражаясь языком Вяземского, выступают как «галлицизмы понятий». Так, слова *интересный*, *автор*, *литература*, представляющие собой заимствования более ранней эпохи и уже в общем освоенные русским языком, могут вызывать протест в «Происшествии в царстве теней» именно постольку, поскольку они употребляются в новом значении — в соответствии с их французскими эквивалентами⁷⁵. Итак, защита национальных форм выражения сводится у Боброва главным образом к борьбе с галлицизмами, причем как с галлицизмами формальными (такими, как *жени*, *этикет*, *эложь* и т. п.), так и с галлицизмами семантическими, т. е. «галлицизмами понятий» (такими, например, как *интересный*, *автор*, *литература*). Галлицизмы как бы олицетворяют в глазах Боброва все чужеродное. Между тем, заимствования, например, петровского времени или более ранней эпохи (такие, как *монополия*, *гений*, *гармония*⁷⁶ и др.) принимаются как нейтральные и в общем могут оставаться без внимания.

Но очень характерно, что и в борьбе с галлицизмами Бобров не обнаруживает, вообще говоря, абсолютной последовательности. В самом деле, даже в языке «резонеров» Бояна и Ломоносова, которые призваны демонстрировать в «Происшествии в царстве теней» наиболее правильный и чистый язык, можно обнаружить ряд галлицизмов. Так, например, Боян у Боброва употребляет слово *вкус* в значении фр. *goût*, *очаровательный* — в значении фр. *charmant*, *блистательный* — в значении фр. *brillant*, воскли-

перед всяким немцем или англичанином, как скоро он переведен на французский язык: ибо французы и по сию пору не перестали быть нашими законодателями» (В. К. Кюхельбекер, О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие, «Мнемозина», ч. II, 1824, стр. 42).

⁷³ П. А. Вяземский, Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева, в изд.: П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. I, СПб., 1878, стр. 126. Ср. позднее у Вяземского в предисловии к переводу «Адольфа» Бенжамена Константа, выполненному им же (1831 г.): Вяземский пишет, что здесь «допущены галлицизмы понятий <...>, потому что они уже европеизмы».

⁷⁴ См. ниже Комментарий, примеч. 116, а также примеч. 127, 173, 179, 186, 192, 226. Ср. еще выше, стр. 195 наст. изд., примеч. 4.

⁷⁵ См. Комментарий, примеч. 150, 23 и 216.

⁷⁶ Ср. Комментарий, примеч. 193, 116, 100.

дает *небо!* в соответствии с фр. *o ciel!*⁷⁷; точно так же употребление слов *трогательный, блистательный, блистательность, приятный, приятность, прелесть* в устах бобровского Ломоносова может в конечном итоге отражать значение фр. *touchant, brillant, élégant, élégance, charme*⁷⁸. Таким образом, даже и галлицизмы вызывают реакцию совсем не во всех случаях; понятие галлицизма, — а, следовательно, и вообще европеизма, — осмысливается главным образом через полемику с языком «нового слога» или салонного разговора (а не непосредственно через сопоставление с лексикой соответствующих европейских языков). Галлицизмом (resp.: европеизмом) является прежде всего то, что характерно для «галлорусского наречия».

Надо полагать, что определенное значение здесь имел характер проникновения соответствующего слова в русский язык. Несомненно, книжные заимствования, усвоенные через письменную традицию, не вызывали столь резкой реакции, как устные заимствования, характерные для салонной речи (что касается языка «нового слога», то он принципиально опирался не на письменную традицию, а на разговорную речь)⁷⁹. С другой стороны, заимствования непосредственно из французского, по-видимому, вызывали более сильную оппозицию, чем галлицизмы, пришедшие, например, через посредничество немецкого языка⁸⁰ (если только это посредничество не осуществлялось через язык немецких «модников»-петиметров). Понятно, что устные заимствования непосредственно из французского языка должны были характеризовать прежде всего салонную речь дворянской элиты, т. е. «галлорусское наречие». Галлицизмы (как и вообще европеизмы) и осмыслиются Бобровым именно через призму «галлорусского наречия».

Можно сказать, таким образом, что понятие галлицизма — и вообще заимствования — имеет у Боброва скорее полемический, чем непосредственно терминологический смысл. Иначе говоря, понятие галлицизма наполняется актуальным — для данной эпохи и соответствующей идеологической установки — содержанием, неизбежно отличаясь от галлицизма в собственном смысле.

Произведение Боброва отнюдь не составляет в этом отношении исключения в ряду других произведений этого времени, содержащих пуристический протест против иноязычного влияния. Точно так же, например, целый ряд европеизмов, в том числе и галлицизмов, может быть обнаружен и в произведениях Шишкова⁸¹. П. И. Макаров мог с полным основанием заявить,

⁷⁷ См. специальное рассмотрение этих слов в Комментарий, примеч. 60 (ср. также примеч. 45), 62, 63 (ср. примеч. 46), 32. Ср. еще примеч. 59 об употреблении Бояном слова *изящный* в новом значении, которое непосредственно восходит к «новому слогу» и в конечном счете также обусловлено, видимо, контактом с западноевропейскими языками.

⁷⁸ См. Комментарий, примеч. 152 (ср. примеч. 115), 129, 229 (ср. примеч. 46), 124, 203, 158 (ср. примеч. 103). Ср. еще отмечаемый в примеч. 87 галлицизм в речи бобровского Меркурия (если только не усматривать в данном случае специального стилистического обыгрывания) а также примеч. 98 о возможном галлицизме в авторской речи самого Боброва (слово *восхищение* в соответствии с фр. *ravissement*).

⁷⁹ См. ниже, стр. 237 и сл. наст. изд.

⁸⁰ См. о такой возможности на стр. 197 наст. изд.

⁸¹ Дашков в своей критике на «Перевод двух статей из Лагарпа...» Шишкова указывает на такие заимствования у самого Шишкова, как *проза, поэма, дактили, ямбы, эпизода* и т. п., отмечая также фразеологические галлицизмы вроде *выразить себя* (вместо *выражаться*), *нашли короче говорить* (см.: «Цветник», 1810, ч. VIII, № 12, стр. 423, 445, 449). Ср. аналогичные замечания П. И. Макарова в рецензии на «Рассуждение о старом и новом слоге...» Шишкова («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 166—167 и 195): Макаров выписывает европеизмы типа *текст, метафо-*

что «Антагонисты новой школы, которые без *дондеже* и *бяху* не могут жить, как рыба без воды, охотно позволяют галлицизмы, германизмы, барбаризмы, что угодно»^{81а}. Практическая неизбежность заимствований была совершенно очевидна, между прочим, для Я. Галинковского, который писал в примечании к своему роману «Глафира»: «Я старался по возможности избегать иностранных слов, введенных по большей части между людьми воспитанными, и таких именно, без которых мы никогда не обходимся в наших разговорах. Сочиняя роман, я хотел думать по руски; и естли вкрадутся сюда неисправныя речения, не руския, то сие верно произойдет по неволе, или по закоренелой привычке нашей к французскому языку. Это общее наше несчастье (как писателей, так и всех вообще), что мы вырастаем на руках у французоз; учимся по их книгам, говорим одним их языком, наполняем свои библиотеки одними французскими книгами, и наконец, чрез беспрестанное знакомство наше с французским языком так привыкаем к галлицизмам, так часто переводим их мысли, их обороты, что поневоле иногда делаем ошибки в русском»⁸².

Мы можем заключить, что «галлорусское наречие» в широком смысле и, в частности, «новый слог» оказали уже заметное влияние на русский литературный язык — влияние, которого не смогли избежать его противники. Поэтому протест против карамзинистской и вообще «галлорусской» литературы, субъективно осмысляясь в плане альтернативы «славянское — французское», — на самом деле ведется в перспективе уже изменившегося русского литературного языка. Соответственно, противники «нового слога» нередко можно уличить в карамзинистской («галлорусской») лексике и фразеологии.

Но точно так же и славянофилы оказывают несомненное влияние на развитие литературного языка, и это влияние в конечном счете сказывается и на языке их литературных противников. Подобно тому как славянофилов можно уличить в галлицизмах, западников, напротив, нетрудно поймать на славянизмах. Действительно, в языке карамзинистской литературы, в том числе и у самого Карамзина (на всех этапах его творчества), можно обнаружить в общем достаточно представительный слой славянизмов⁸³, явно диссонирующих с хорошо известными программными про-

рической, прозаической, технических, едиоцентричны и констатирует синтаксический галлицизм в предложении «Есть ли что безобразнее, *как* слово сцена».

^{81а} См. рецензию Макарова на перевод романа Жанлис «Матери-соперницы, или Клевета» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, ноябрь, стр. 123—124).

⁸² «Русский вестник», 1808, № 6, стр. 354, ср. Ю. М. Лотман, Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский, «XVIII век», сб. IV, М.—Л., 1959, стр. 256.

⁸³ См. о славянизмах у Карамзина: В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 245, 255 сл., 295 сл., ср. также стр. 315—316; Е. Г. Ковалевская, Славянизмы и русская архаическая лексика в произведениях Н. М. Карамзина, «Уч. зап. ЛГПИ им. Герцена», т. 173, Л., 1958.

Показательно, что молодой Карамзин может апеллировать к церковным книгам, оправдывая ударение в своих стихах. См. его примечание к слову *ветрил* в стихотворении «Волга» в «Аглае», 1794, I, стр. 25; стихам

Уже без ветрил, без кормила,
По безднам буря нас носила —

сопутствует следующий комментарий: «Некоторые из наших стихотворцев в слове *ветрила* делают ударение на среднем слоге; но я ссылаюсь на все церковныя книги». Ср.: Е. Ф. Будде, Очерк истории современного русского литературного языка (XVII—XIX вв.), «Энциклопедия славянской филологии», вып. 12, СПб., 1908, стр. 128.

тестами карамзинистов (например, самого Карамзина, Макарова, Батюшкова и т. п.) против церковнославянской языковой стихии.

В итоге понятие заимствования на каждом этапе наполняется различным содержанием — так же как в противостоящее ему понятие славянизма⁸⁴. Борьба «старого» и «нового» слога отражает их динамическое взаимодействие.

Итак, декларативные заявления полемизирующих сторон — «славянофилов» и «галлоруссов» — лишь очень приблизительно отражают действительное положение вещей. А. Ф. Воейков в рецензии на сочинения Е. Станевича очень точно писал об архаизмах типа *колико*, *наипаче*, *поелику*, *купно*: «сии слова в русской литературе то же, что орлы, драконы, лилии, изображаемые на знаменах войск; они показывают, к какой стороне принадлежит автор»⁸⁵. Совершенно то же самое может быть сказано и об определенных галлицизмах (типа *жени* и т. п.). Действительно, языковая полемика протекала именно под знаменем борьбы «славянской» и «галлорусской» языковой стихии. Когда В. Л. Пушкин пишет, например, в послании «К В. А. Жуковскому» 1810 г.

Не ставлю я нигде ни *се*мо, ни *ова*мо

или в послании «К Д. В. Дашкову» 1811 г.:

Свободно я могу и мыслить и дышать

И даже *абие* и *аще* не писать,

то это, в сущности, имеет символический характер, так сказать, боевого вызова, т. к. как раз эти слова не встречаются, в общем, и у его литературных противников: это ни что иное как слова-символы или, если угодно, слова-жупелы. Вместе с тем, у карамзинистов столь же легко найти церковнославянизмы, сколько у беседчиков — галлицизмы.

В результате самый факт борьбы в значительной степени отодвигает на второй план ее исходные причины и конкретное содержание. Позиции спорящих сторон меняются, но их антагонизм остается^{85а}.

⁸⁴ См. об эволюции понятия славянизма во второй пол. XVIII — нач. XIX вв.: В. В. Замкова, Славянизм как термин стилистики, «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию члена-корреспондента АН СССР С. Г. Бархударова», М., 1974.

⁸⁵ <А. Ф.> Воейков, Мнение беспристрастного о «Способе сочинять книги и судить о них», «Вестник Европы», 1808, ч. 61, № 18, стр. 118.

^{85а} Примечателен сам мотив военного сражения, отчетливо звучащий как в приведенной выше цитате, так и в целом ряде высказываний других авторов, касающихся языковой проблемы. Так, откликаясь на определение в министры просвещения Шишкова — «великого славянофила, поборника Фита и Ужицы и мощного карателя оборотного Э и беззаконного Е с двумя точками», — Г. С. Батеньков писал А. А. и А. П. Елагиным в письме от 24 мая 1824 г.: «Итак, наконец, судьба романтической поэзии решена. Сие изчадие модных лет, сей баловень безбородых пестунов, обязан обратиться в первобытное свое небытие. Седый кластицизм возмет принадлежащие ему права и из русского лексикона хлынут эмигранты, принадлежащие к шайке инсургентов новой школы. *Влияние* уступит *навождению*, *гений* заменится *розмыслом*, *уважению* явится на смену *говенство* и *соображение* запишит под тяжелою пятою *умоклочения*. *Быша* и *убо* всплывут наверх, яко елей на источнике водном; имена займут принадлежащее им место на правом, а все глаголы на левом фланге периодов — и, таким образом, устроится боевой порядок против нечистой силы карамзинизмов, жуковскоизмов, пушкинизмов, греченизмов, дмитризов, богдановичизмов, и проч., и проч., и проч.

Но — воля его высокопревосходительства господина министра, адмирала и кавалера, — я никак не согласен ни *оного*, ни *секового* употреблять в письмах к вам, потому что мне не хочется ничего переменять относительно вас и потому что мы живем и движемся вне настоящего, просвещенного

Можно сказать, вообще, что на каждом этапе эволюции литературного языка, обусловленной исходным дуализмом языковых стихий, т. е. восходящей в конечном счете к антитезе «книжной» и «некнижной» (resp.: «церковнославянской» — «русской» и т. п.) стихий и связанной с периодической переориентацией то на один, то на другой полюс, — объективно всякий раз представлена привативная оппозиция, т. е. противопоставление типа «церковнославянское — нецерковнославянское», «русское — нерусское», «культурное — некультурное», «национальное — ненациональное» и т. д. и т. п. Однако в языковом сознании эта оппозиция неизбежно конкретизируется (наполняется актуальным содержанием) и субъективно осмысливается как эквиполентная, т. е. как противопоставление полярно противоположных понятий типа «славенское — французское».

То, что с одной позиции (позиции карамзинистов) осмысливается вообще как европейское и связывается с понятиями культуры и цивилизации — с противоположной точки зрения воспринимается именно как французское. И наоборот: то, что в перспективе «архаистов» самоосознается как «славянское», «исконное», «национальное» и т. п., в другой перспективе может осмысливаться как «искусственное», «грубое» и т. д. В полемическом отталкивании борьба «старого» и «нового» слога может представлять как борьба «ахиней» и «галиматъи».

Сказанное можно выразить и иначе: противопоставление языковых стихий, осмысляясь как (эквиполентная) оппозиция полярно противоположных понятий, — объективно обуславливает не столько позитивные, сколько негативные тенденции; не столько притяжение к тому полюсу, на который ориентируется соответствующая языковая позиция, сколько отталкивание от противоположного полюса. Иначе говоря, независимо от субъективного самоосмысления, «архаисты» в действительности не столько стремятся восстановить в своих правах церковнославянскую языковую стихию, сколько освободить язык от всего того, что воспринимается ими как привносное, «французское»⁸⁶; столь же полемична в общем и установка противоположной группировки. В свете антитезы «славянорусское — галлорусское», позиция галлорусса — это прежде всего позиции не-славеноросса, а позиция славеноросса, в свою очередь, — это прежде всего позиция не-галлорусса: обе позиции негативно (полемически) ориентированы одна на другую^{86а}.

Каждая сторона фактически осмысляет себя, конституируя свою позицию, через противоположный языковой полюс. Это осмысление практически опирается на конкретный языковой опыт — опыт собственно русской речи, а не французской или церковнославянской, — в гораздо большей степени, чем на какие-либо теоретические предпосылки. Так, понятие галлицизма осмысливается славянофилами через призму «галлорусского наречия» (а не

круга» (см. изд.: «Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пущина и Э. Г. Толля», М., 1936, стр. 144).

Со своей стороны, Катенин в те же годы писал об арзамасцах, что «они без всякой совести хотят силой оружия завладеть Парнасом» (см. изд.: «Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину», СПб., 1911, стр. 65).

⁸⁶ Очень характерно в этом смысле замечание Вигеля, что «в языке Шаховского <...> никогда славянского ничего не было» (Ф. Ф. Вигель, Записки, т. I, М., 1928, стр. 200); это вовсе не мешало Шаховскому быть убежденным славянофилом и воинствующим членом «Беседы». (При этом историческая обусловленность понятия «славянизм» дает оценке Вигеля значение свидетельского показания.)

^{86а} Отсюда в целом ряде случаев полемические высказывания того или иного автора имели больше значения, чем его позитивные утверждения. Ср. отзыв Крылова о Шишкове: «следовать примерам его не должно, а пользоваться иными критиками его может быть полезно» (см. П. Вяземский, Старая записная книжка, Л., 1929, стр. 143).

через соотнесение соответствующих лексем или фразеологизмов непосредственно с французским языком) — и точно так же противоположная группировка осмысляет понятие славянизма через призму архаизированного «славяно-русского» языка, т. е. языка «старого слога» (но не непосредственно через церковнославянский язык). В результате обе позиции оказываются зависимыми друг от друга, и понятия галлицизма и славянизма претерпевают эволюцию в соответствии с динамическим взаимодействием «славяно-русского» и «галлорусского» языка.

Именно поэтому для речи Галлоруса в сатире Боброва характерны отнюдь не одни только галлицизмы, но и полонизмы и, вместе с тем, определенные вульгаризмы⁸⁷: и те, и другие, и третьи выделены (подчеркнуты) автором как отклонения от норм правильной речи и в общем почти что на равных правах выступают как признаки языковой позиции Галлоруса. Дело в том, что все эти выражения характерны для «галлорусского наречия», т. е. для салонной «шегольской речи», и, соответственно, воспринимаются если и не как галлицизмы, то во всяком случае как «галлорусизмы». Понятие галлицизма и сводится, по существу, к «галлорусизму» — подобно тому как понятие славянизма может сводиться к «славянорусизму».

Подобно тому как отталкивание от церковнославянской языковой стихии способствует проникновению заимствований и консолидации русских и европейских элементов, точно так же и отстранение от западноевропейского влияния способствует консолидации церковнославянского и русской национальной стихии, объединения их в одну стилистическую систему. Обе тенденции, таким образом, оказываются очень значимыми для судьбы русского литературного языка, в котором им и суждено было оставить глубокий след.

* * *

Итак, самая консолидация русской и церковнославянской стихии — ранее антитетически противопоставленных в языковом сознании — обязана в конечном счете западноевропейскому языковому влиянию. Если на определенном этапе эволюции русского литературного языка заимствования объединяются носителем языка с русизмами по признаку их противопоставленности книжному церковнославянскому языку, то в дальнейшем церковнославянизмы и русизмы объединяются в антагонистическом противопоставлении западноевропейской языковой стихии.

Можно сказать, что в первом случае представлена перспектива церковнославянского языка, который и выступает в качестве точки отсчета и, соответственно, имеет место противопоставление по признаку: «книжное — не книжное»; между тем, во втором случае представлена перспектива западноевропейской языковой стихии и имеет место противопоставление по признаку: «свое — чужое». Подобно тому как с позиции книжного церковнославянского языка все, что не церковнославянское, — то «русское» (с естественным включением в эту общую категорию также заимствований и калек), точно так же с противоположной позиции все, что не может быть квалифицировано как «европейское», заимствованное, — то «славянское». Следствием этого является объединение церковнославянского языка с народным русским языком в языковом сознании — по существу, включение церковнославянского в русский национальный язык.

⁸⁷ Ср. Комментарий, примеч. 16, 19, 41а; относительно полонизмов см. примеч. 52.

Характерны слова А. С. Кайсарова: «Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски, а по-русски только молимся Богу или браним наших служителей»⁸⁸; итак, язык церковной службы и разговора со слугами для Кайсарова один и тот же — «русский». Не менее показательны протесты Шишкова против того, что в отчетах Библейских Обществ тексты Св. Писания на русском языке именуются «переводом на природный русский язык, словно, как бы тот <церковнославянский. — Ю. Л., Б. У.> был для нас чужой; отселе, — заключает Шишков, — презрение к коренным, самым знаменательнейшим, словам, отселе несвойственность многих выражений, отселе неразумение сильного краткого слога и введение, на место оного, почерпнутой из чужих языков бестолковицы»⁸⁹.

Между тем, литературные противники Шишкова, наоборот, почитают церковнославянский язык — чужим, а заимствованные слова, поскольку они вошли в употребление русского общества, считают принадлежащими к русскому языку. Так, для П. И. Макарова церковнославянский язык — это «особливый язык книжной, которому надобно учиться как чужестранному»⁹⁰. Соответственно в программном арзамасском памфлете Д. Н. Блудова встречаем следующий иронический призыв к Шаховскому: «И хвали ироев русских, и усыпи их своими хвалами, и тверди о славе России, и будь для русской сцены бесславию, и русский язык прославляя стихами не русскими!»⁹¹. Ср. также противопоставление «славянского» и «русского» у Пушкина в письме к Вяземскому от 27 марта 1816 г.:

И над Славенскими глупцами
Смеется рускими стихами.

Можно сказать, таким образом, что противопоставление по признаку «свое — чужое» может объединять обе полемизирующие партии, т. е. «славянофилов» и «западников» при том, что конкретная интерпретация данного противопоставления оказывается у них прямо противоположной.

Чрезвычайно показательно, наконец, в том же плане — т. е. в плане консолидации церковнославянской и русской языковой стихии — и очень характерное для второй пол. XVIII — нач. XIX вв. сближение в языковом сознании церковнославянского языка и делового «приказного» языка: оба языка объединяются по признаку архаичности, и борьба с церковнославянскими может вестись под знаком борьбы с «подьяческим языком» (так, у Карамзина, но отчасти уже у Сумарокова)⁹². Ведь еще не так давно деловой («приказной») язык воспринимался как нечто прямо противоположное языку церковнославянскому: не далее как полвека назад Петр специально

⁸⁸ Курсив оригинала. См. ЧОИДР, 1858, кн. 3, стр. 143. Ср. Ю. М. Лотман, Рукопись А. Кайсарова «Сравнительный словарь славянских наречий», «Уч. зап. ТГУ», вып. 65, Тарту, 1958, стр. 195.

⁸⁹ Записки Адмирала Александра Семеновича Шишкова с мая 1824 по декабрь 1826 года (публикация О. Бодянского), ЧОИДР, 1868, кн. 3, стр. 57, примеч.

⁹⁰ <П. И. Макаров>, Критика на книгу под названием «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка», напечатанную в Петербурге, 1803 года, «Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 179—180.

⁹¹ См. <Д. Н. Блудов>, Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых людей, в изд.: Е. Бобров, Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки, т. IV, Казань, 1903, стр. 271.

⁹² См. В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 85—89, 158—159, В. В. Виноградов, Язык Пушкина, стр. 45.

предписывал Федору Поликарпову вместо «высоких слов словенских» употребить «посольского приказу слова»⁹³.

Симптоматично, в свете сказанного, что к церковнославянизмам и к специфическим русизмам с известного момента могут прилагаться совершенно одинаковые оценочные характеристики, что красноречиво свидетельствует о возможности объединения обеих языковых стихий в языковом сознании. Так, с позиции представителей европеизированного языка как церковнославянизмы, так и элементы народной речи могут характеризоваться эпитетом *грубый*⁹⁴ — в противоположность *приятному* слогу новой (например, карамзинистской) литературы. Антитеза «грубого» и «приятного» применительно к противопоставлению языковых стихий, столь характерная для карамзинизма⁹⁵, непосредственно восходит при этом к выполняющей аналогичную функцию оппозиции «жест(о)кий — нежный», которая появляется с 30-х гг. XVIII в. (впервые — у Адогурова и Тредиаковского) и с тех пор прочно входит в сознание носителя языка⁹⁶.

Первоначально церковнославянские формы характеризуются как *жест(о)кие*, а противопоставленные им русские — как *нежные* (достаточно напомнить хорошо известное признание Тредиаковского в предисловии к «Езде в остров любви»: «Язык славенской ныне жесток моим ушам слышится», дословно соответствующее свидетельству Адогурова, что «ныне всякий славянизм... изгоняется из русского языка и жесток современным ушам слышится»⁹⁷. Подобное словоупотребление, вообще говоря, еще вполне актуально и в первой четверти XIX в., особенно в кругу карамзи-

⁹³ См. письмо И. А. Мусина-Пушкина Ф. Поликарпову от 2 июня 1717 г. («Русский архив», 1868, № 7—9, стр. 1054).

⁹⁴ Например, у Батюшкова в сцене «Вечер у Кантемира» Кантемир говорит: «Я первый изгнал из языка нашего грубые слова славянския, чужестранные, несвойственные языку русскому» (К. Н. Батюшков, Сочинения, т. II, СПб., 1885, стр. 235). Ср. также в «Стихах на сочиненные Карамзиным, Захаровым и Храповицким похвальные слова императрице Екатерине Второй» А. П. Брежневского (1802 г.) следующую характеристику архаизированного «славено-российского» слога И. С. Захарова:

Тяжелым, грубым, древним тоном
Тебе псалом свой прохрипел,
Твои деяния, щедроты,
И кротость, разум и доброты
Славянщиной нашипигвал,
И, *сице*, *абие* и *убо*,
И *аще*, *дондеже*, *сугубо*
Твердя, оригиналом стал.

(см. изд.: «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 490; автор имеет в виду сочинение: И. С. Захаров, Похвала Екатерине Второй, СПб., 1802).

⁹⁵ См., например, В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 122—123. Ср. также Комментарий, примеч. 124.

⁹⁶ См.: Б. А. Успенский, Доломоновский период отечественной русистики: Адогуров и Тредиаковский, ВЯ, 1974, № 2, стр. 28—29. — Характерно в этой связи определение семантики слова *жесткий* у Кантемира: «свойство неприятное, недающее никакой забавы» (см. Б. А. Успенский, указ. соч., стр. 28, примеч.). Итак, *грубый* и *жесткий* объединяются по своей противопоставленности *приятному*; одновременно они выступают как антонимы по отношению к слову *нежный*.

⁹⁷ <П. Гальман>, Езда в остров любви, СПб., 1730 (из предисловия переводчика «К читателю»); Anfangs-Gründe der Rußischen Sprache, в изд.: Deutsch-Lateinisch- und Rußisches Lexicon..., СПб., 1731, стр. 26. Ср. Б. А. Успенский, указ. соч., стр. 28.

нистов⁹⁸. Так, между прочим, и Макаров называет архаический славянизированный слог Шишкова *жестким*, причем подчеркивает, что употребляет этот эпитет не в пейоративном, а как бы в терминологическом значении⁹⁹.

Вместе с тем, уже у Сумарокова появляется противопоставление «грубый — приятный»¹⁰⁰, причем на первых порах это противопоставление соответствует более раннему противопоставлению «жест(о)кий — нежный», т. е. церковнославянизмы расцениваются как *грубые*, а соответствующие русизмы — как *приятные*. «... Я употреблению с таким же следую рачением как и правилам: — пишет Сумароков, отвечая на критику Тредиаковского, — правильные слова делают чистоту, а употребительные слова из склада грубость выгоняют: *Я люблю сего, а ты любишь другого*, есть правильно; но *грубо*. *Я люблю етова, а ты другова*. — От употребления и от изгнания трех слогов *го* и *гаго* слышится приятнее»¹⁰¹. Итак, жесткие, грубые правила противопоставляются приятному, нежному употреблению — а, соответственно, и грубый, жесткий слог противостоит приятному, нежному. При этом у самого Сумарокова можно встретить как то, так и другое словоупотребление, т. е. соответствующие пары (*жесткий* — *нежный* и *грубый* — *приятный*) выступают

⁹⁸ Это соответствие оценочных характеристик становится особенно знаменательным, если иметь в виду несомненное сходство концепции литературного языка у Адодурова и Тредиаковского в этот период с позднейшей программой карамзинизма.

⁹⁹ «Некоторые замечания Сочинителя <Шишкова. — Ю. Л., Б. У.> довольно справедливы, и даже слог его вообще можно назвать *жестким* <курсив Макарова. — Ю. Л., Б. У.>, а не дурным. Приметно, что он действительно занимался чтением наших старинных книг» (<П. И. Макаров>, Критика на книгу..., «Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 197). Очень характерно в этой связи автобиографическое признание Катенина:

Жестким и грубым казалось им пенье Евдора
(«Элегия», 1828 г.; об автобиографическом характере этого произведения см.: Ю. Н. Тынянов, Архаисты и новаторы, Л., 1929, стр. 161), ср. также употребление прилагательного *жесткий* в цитатах из Батюшкова и Гнедича, приводимых на стр. 214—215 наст. работы (примеч. 68).

Ср., вместе с тем, обыгрывание данного эпитета в пушкинской эпиграмме (на Александра I) «Ты и я», 1817—1820 гг.:

Афедрон ты жирный свой
Подтираешь коленкором;
Я же грешную дыру
Не балую детской модой
И Хвостова жесткой одой,
Хоть и морщуся, да тру.

Оды Хвостова, как известно, славились своим напыщенным псевдославянским штилем.

¹⁰⁰ Это обстоятельство тем более заслуживает внимания, что оно соответствует целому ряду других признаков, позволяющих вообще в той или иной степени усматривать отношение преемственности между карамзинистами и Сумароковым.

¹⁰¹ А. П. Сумароков, Ответ на критику, в изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений..., изд. 2-е, ч. X, М., 1787, стр. 97—98. Точно так же в «Эпистоле о стихотворстве» читаем:

как синонимичные. Однако, уже сам прецедент подобной замены весьма значим, поскольку эпитет *грубый* в принципе может относиться и к «подлому» (народному) языку¹⁰². Можно сказать, таким образом, что замена эпитета *жест(о)кий* на *грубый* свидетельствует о возможности объединения (в перспективе нового — социально окрашенного¹⁰³ — языка) церковнославянского и «подлого» (диалектного, фольклорного и т. п.) языка. Действительно, с течением времени эпитет *грубый* может распространяться на русский национальный язык в широком смысле (что прямо связано с переосмыслением термина *славенский* в национально-этническом ключе, о чем см. выше¹⁰⁴). (Отсюда, в свою очередь, и характеристики *жест(о)кий* и *нежный* подчиняются этому новому распределению, продолжая оставаться синонимами по отношению к эпитетам *грубый* и *приятный*). Одновременно *грубый вкус* выступает в противопоставлении к *нежному* (или

Слог песен должен быть приятен, прост и ясен,
Витийств не надобно; он сам собой прекрасен.

Любопытно, что в примечании к своему переводу IV-й олимпийской оды Пиндара (1774 г.) Сумароков может противопоставлять «приятность» и «некоторую нежность» Пиндара — «грубым» и «пухлым» (т. е. надутым, напыщенным, высокопарным) стихам Ломоносова. Таким образом, язык Пиндара как бы приравнивается в свете альтернативы «церковнославянское — русское» именно к «русскому» полюсу, т. е. к языковой стихии, связанной с естественностью выражения (см. изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание..., ч. II, М., 1787, стр. 193—195, примеч.).

Ср. в этой связи в безымянном трактате «О Московском наречии» («Свободные часы», 1763, февраль), написанном, видимо, кем-то из учеников Сумарокова — может быть, А. А. Ржевским — противопоставление «грубости древнего языка» и «приятности» «нынешнего Московского наречия» (стр. 67—75). Говоря о характерном для разговорной речи переходе ударного [е] в [о] автор, например, замечает: «Сие превращение Е. в Ю. нимало не повреждая силы и важности слов Российских, делает их нежными и приятными, в самом деле тотчас можно услышать некоторую сладость в языке нынешняго века, на пример: не лутчели сказать вместо: *орелъ несетъ елку*, — *аріолъ несіотъ їолку*» (стр. 70).

Таким же образом, выражение *грубый язык* может рассматриваться как своеобразный эквивалент к выражению *lingua rustica* (ср. в Вейсманновом лексиконе 1731 г.: «*homo rusticus* — грубыи, простыи человек, деревенский мужик», см. *Deutsch-Lateinisch- und Rußisches Lexicon...*, СПб., 1731, стр. 513); ср. также в «Кратком российском лексиконе...» Х. Целлария, СПб., 1746, стр. 27, соответствие: *грубый* — *barbarus*. Соответственно, употребление данного эпитета по отношению к церковнославянской языковой стихии придает ей в точности противоположный смысл, по сравнению с тем, как она характеризовалась прежде, когда церковнославянский язык выступал на правах языка литературного.

¹⁰² О связи эпитетов *грубый* и *подлый* могут свидетельствовать хотя бы авторские исправления в рукописном оригинале «Разговора об ортографии...» Тредиаковского (1748 г.) (Архив АН, разр. II, оп. 1, № 137). Тредиаковский исправляет здесь выражение *грубым языком на подлым языком*, ср. также исправление *грубаго выговора на неисправнаго выговора* (ср. соответствующие места в исправленном виде в изд.: Тредиаковский, Сочинения, СПб., 1849, т. II, стр. 197, 200).

¹⁰³ Ср. ниже (стр. 242—247 наст. изд.) о социолингвистической дифференциации в этот период.

¹⁰⁴ Стр. 210—211 наст. изд.

тонкому) вкусу¹⁰⁵, причем сочетание *нежный вкус* может рассматриваться как прямая калька с фр. *un goût délicat* (ср. *un goût fin*)¹⁰⁶.

Во второй пол. XVIII в. подобные оценки очень характерны для представителей «щегольской» культуры (петиметров). Ср., например, в комедии Княжнина «Чудаки» противопоставление «прегубого нашего языка» — «преlestному» французскому языку в устах щеголихи Лентягиной¹⁰⁷. Точно так же в «Сатире на употребляющих французские слова в русских разговорах» Баркова говорится, что петиметрам-галломанам

Природный свой язык неважен и некусен;
Груб всяк им кажется в речах и некусен,
Кто точно мысль свою изображает так,
Чтоб общества в словах народного был смак;

в свою очередь петиметры «показать в речах приятный вкус хотят»

Но не пленяется приятностью сей слух,
На нежность слов таких весьма разумный глух¹⁰⁸.

Ср. у М. Д. Чулкова: «Должен я извиниться в том, что в таком простом слого моею сочинения есть несколько чужих слов. Оные клал я иногда для лучшего приятства слуху*, иногда для того, что мне они надобны были; или для того, чтоб над другими посмеяться, или для той причины, чтобы посмеялся тем <sic!> надо мною»¹⁰⁹. По сообщению новиковского «Живописца» молодые дворяне в Полтаве «иначе не разговаривали, как новым петербургским щегольским наречием и притом пришепетывали и картавили, говоря, так, де, нежнее»¹¹⁰.

¹⁰⁵ Ср. соответствующее противопоставление у Державина («Любителю художеств», 1791 г.):

Боги взор свой отвращают
От нелюбящего муз,
Фурии ему влагают
В сердце черство грубый вкус <...>
Напротив того, взирают
Боги на любимца муз.
Сердце нежное влагают
И изящный нежный вкус.

Ср. также апелляцию к «нежному слуху», характерную для Сумарокова (Полное собрание..., ч. X, М., 1787, стр. 45, 71).

¹⁰⁶ Ср. ниже, стр. 228, примеч. 112.

¹⁰⁷ См. изд.: Я. Б. Княжнин, Избранные произведения, Л., 1961, стр. 459.

¹⁰⁸ См. Г. Н. Моисеева, Из истории русского литературного языка XVIII в. («Сатира на употребляющих французские слова в русских разговорах»), «Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова», Л., 1971, стр. 73. Перепечатано в изд.: «Поэты XVIII века», Л., 1972, т. II, стр. 394—395. В примечаниях к последнему изданию выражается сомнение в авторстве Баркова — имя которого значится на наиболее раннем из известных списков данного стихотворения (1750-х гг.), — поскольку это стихотворение, по мнению автора примечаний, написано единомышленником Елагина и противником Ломоносова; однако «Сатира...», кажется, не дает оснований для такого вывода: она могла быть написана и безотносительно к полемике Ломоносова и Елагина.

* Многие уже наши граждане привыкли к щеголеватому Французскому наречию и тем произвели во многих и неряхах к тому привычку <примеч. Чулкова>.

¹⁰⁹ <М. Чулков>, Пересмешник или Славенские сказки, ч. I, СПб., 1766, из предисловия (не имеющего пагинации).

¹¹⁰ «Живописец», 1772, ч. II, л. 12, ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», под ред. П. Н. Беркова, М.—Л., 1951, стр. 418. Точно так же и Тредиаковский мог говорить о «нынешнем нашем нежном вы» (см. П. Пекарский, История имп. Академии наук в Петербурге, т. II, СПб.,

Итак, — в соответствии с тем, что было сказано выше, — если на первом этапе сохраняется перспектива церковнославянского языка, который и служит точкой отсчета (церковнославянский — «жесток», все, что не является церковнославянским — «нежно»), то затем усваивается перспектива «галлорусского» или вообще европеизированного языка, который объявляется «приятным», тогда как все остальное может расцениваться как «грубое»¹¹¹.

Именно в подобном значении и усваивают затем соответствующие эпитеты карамзинисты (что легко объяснимо ввиду генетической связи карамзинизма с «щегольским наречием», о которой будет сказано ниже)¹¹².

Вполне закономерно поэтому, что язык Бояна представляется бобровскому Галлоруссу «диким и как бы грубым телом мыслей»¹¹³. Употребление эпитета *грубый* здесь имеет не только оценочный, но почти терминологический смысл.

1873, стр. 104) — при том, что обращение на *вы* могло ассоциироваться, видимо, с «щегольским наречием» (ср. в этой связи Комментарий, примеч. 213).

¹¹¹ Продолжая неоднократно уже затрагивавшуюся в настоящей работе тему о связи немецкой и русской языковой ситуации (см. стр. 197, 210, 218 наст. изд.), мы можем обратить внимание на регулярное противопоставление «грубого» или «приятного» (или «нежного») языка в книге Фридриха Второго «О немецких словесных науках», вышедший в русском переводе (А. Мейера) в Москве в 1781 г. В частности, говоря о французском языке, автор противопоставляет «грубый и приятности лишенный писания» Маро, Рабле и Монтеня — «мягкому и нежному» языку новых французских стихотворцев (стр. 35 и 38). Немецкий язык в общем оценивается как «грубый»; чтобы сделать его приятнее, автор рекомендует добавлять гласный к словам, оканчивающимся на согласный звук («...имеем мы множество <...> глаголов, последние буквы которых глухи и неприятны, как *sagen*, *geben*, *nehmen*. Приставтеж на конце ко всякому слову, букву *a*, и сделайте из них *sagena*, *gebena*, *nehmena*, *zagena*, *gebena*, *nehmena*, то сие произношение обольстит слух», стр. 43—44). Очень близкие по духу рекомендации насчет искусственного улучшения языка можно встретить в упоминавшемся уже сочинении «Опыт о языке...» (1775 г.) неизвестного русского автора-галломана.

¹¹² Отметим, что слово *нежный* выступает как в «щегольском наречии», так и у карамзинистов как эквивалент слова *деликатный*. Так, Сумароков в статье «О истреблении чужих слов из русского языка» («Трудолюбивая пчела», 1759, январь) высмеивает тех, кто говорит *деликатно* вместо *нежно*; точно так же в словарики иностранных слов, помещенном в журнале «И то и сию» (1769, неделя 26 и 27), указывается соответствие *деликатно* — *нежно* и рекомендуется употреблять русское слово вместо иностранного; ср., вместе с тем, в письме Карамзина к Дмитриеву от 13 июня 1814 г.: «Знаю твою нежность (сказал бы *деликатность*, да боюсь Шишкова)» («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, стр. 183).

Что же касается характеристики *приятный*, то она выступает как в том, так и в другом случае в значении «элегантный», «изысканный». Ср. известное определение Карамзина в «Пантеоне российских авторов» 1801 г.: «приятность слога, называемая Французами «*élégance*»; вместе с тем, в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении», противопоставляя «полезные искусства» и «изысканные искусства», Карамзин связывает первые со свойственным человеку стремлением «жить покойно», а вторые — с желанием «жить приятно» (см. «Аглая», кн. I, 1794, стр. 44); характерно в этой связи, что Татищев в свое время передавал «изысканные искусства» как *щегольские науки* (см. В. Н. Татищев, Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ, М., 1887, стр. 82). Понятия *приятный*, *изысканный*, *элегантный* (и эвентуально *щегольской*) выступают, таким образом, в одном семантическом ряду.

¹¹³ Ср. Комментарий, примеч. 224.

Отсюда, между прочим, открывается возможность романтизации как церковнославянского, так и русского национального языка¹¹⁴. Ведь само слово *romantic* (появившееся в английском языке в сер. XVII в.) первоначально означало «дикий», «невероятный»¹¹⁵ и относилось к описанию природы. (Позднее оно ассоциируется со средневековым, что также не противоречит представлению о церковнославянской культурной среде)¹¹⁶.

В условиях отчетливого противопоставления Природы и Культуры и явного предпочтения Природы как органического, исходного начала — как это характерно, например, для Боброва и других «архаистов»¹¹⁷ — вполне закономерным является предпочтение естественного «грубого» языка цивилизованному «нежному» или «приятному».

Можно сказать, что оппозиция «природа — культура» может переосмыслиться постольку, поскольку она распространяется на интерпретацию языковой эволюции. В свое время (в ситуации церковнославянско-русской диглоссии) церковнославянский язык ассоциировался с культурным влиянием, т. е. с христианской (а иногда даже и непосредственно с византийской) культурой, тогда как ненормированный русский язык мог пониматься как своего рода первобытный хаос, источник, так сказать, лингвистической энтропии (ср. характерное для средневековья представление о языковой эволюции как о порче правильного — нормированного — языка в процессе употребления); то обстоятельство, что материнским языком (*Muttersprache, langue maternelle*) является «неправильный» русский язык, а не «правильный», сакральный язык церковнославянский, видимо, могло связываться средневековым носителем языка с первородным грехом.

В XVIII в. под влиянием западных идей происходит переоценка ценностей и положительным полюсом становится Природа, а не Культура. С одной стороны, это может определять ценность русской языковой стихии в глазах носителя языка, обуславливая в процессе разрушения церковнославянско-русской диглоссии апелляцию к «общему употреблению» (как к естественному, природному началу) и появление литературных текстов на живом языке. С другой же стороны, положительная характеристика может сохраняться как атрибут церковнославянского языка (и вообще церковнославянской языковой стихии), но в этом случае его достоинства усматриваются теперь в том, что он является предком современного русского языка, т. е. представляет собой «первобытный», «коренной» язык. Понятие культуры связывается на этом этапе исключительно с влиянием западной цивилизации, и отсюда церковнославянская языковая стихия закономерно ассоциируется с Природой, а не Культурой.

Итак, «грубость и простота» языка становятся романтическими характе-

¹¹⁴ Знаменательно отношение к Шишкову уже отступающего от карамзинизма Пушкина, который полушутливо «посылает ему лобзание, не яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбойник-Романтик» (имеется в виду евангельский Благоразумный Разбойник, раскаявшийся и обратившийся на кресте). См. письмо к брату от 13 июня 1824 г.

¹¹⁵ См. Л. В. Крестова, Древнерусская повесть как один из источников повестей Н. М. Карамзина «Райская птичка», «Остров Борнгольм», «Марфа Посадница» (Из истории раннего русского романтизма), в кн.: «Исследования и материалы по древнерусской литературе», М., 1961, стр. 194—195; там же и указания на литературу вопроса.

¹¹⁶ Ср. в этой связи замечания на стр. 177 наст. работы о связи поэтики «Беседы» с предромантизмом.

¹¹⁷ Ср. выше, стр. 182 наст. изд., а также Комментарий, примеч. 60 и 132. Не менее характерны, с другой стороны, выступления Карамзина в защиту приличий, направленные против руссоистского отрицания цивилизации (в статьях «Об учтивости и хорошем тоне» 1803 г., и «О легкой одежде модных красавиц девятаго-надесять века», 1802 г.).

ристиками — в противоположность манерности, жеманности, изнеженности¹¹⁸. Ср. цитировавшиеся уже слова Рылеева о том, что русские — это «изнеженное племя переродившихся славян»; слово *изнеженный* при этом может пониматься не только в обычном своем словарном значении, но также и в специальном лингвистическом смысле. С другой стороны, например, Катенин выступает против авторитета Горация (очень ценимого карамзинистами), поскольку видит в нем «какое-то светское педанство, самодовольное пренебрежение к грубой старине»¹¹⁹.

Вместе с тем, эпитет *нежный* соотносит «переродившийся» русский язык с «нежным полом». Характерно, например, что Тредиаковский может говорить о «нежном дамском выговоре», — при том что эпитет *нежный*, как уже говорилось, регулярно относится у Тредиаковского к явлениям собственно русского языка, отличающим его от церковнославянского, ср. совершенно одинаковые оценочные характеристики в его «Разговоре об орфографии» 1748 г.: «нежный дамский выговор» и «нежнейший московский выговор»¹²⁰. Аналогично и анонимный автор статьи «О Московском наречии» (1763 г.) говорит как вообще о «нежности женского пола», так, в частности, и о том, что «прекрасному полу <...> и нежность языка свойственнее», причем именно влиянием женского разговора объясняется «нежность» москов-

¹¹⁸ Ср. у Пушкина в письме к Вяземскому 1823 г. (между 1 и 8-м декабря): «Хладного скопца уничтожаю <речь идет о «Бахчисарайском фонтане». — Ю. Л., Б. У.> <...> Меня ввел во искушение Бобров; он говорит в своей Тавриде: *Под стражею скопцев Гарема*. Мне хотелось что-нибудь у него украсть а к тому же я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похвальность. Я не люблю видеть в первобытном <в черновом варианте: гордом первобытном. — Ю. Л., Б. У.> нашем языке следы Европейского жеманства и Французской> утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе». Важно отметить, что эпитет *библейский* в этой цитате так или иначе соотносится с церковнославянской языковой стихией; что библейское (resp.: церковнославянское) начало связывается с «гордым первобытным нашим языком»; что слова «грубость и простота» относятся как к Библии, так и к этому «первобытному» языку.

Точно так же позднее Пушкин восхваляет «простоту и даже грубость выражений» катенинской «Леноры», подчеркивая, что «Катенин <...> вздумал показать нам «Леонору» в энергической красоте ее первобытного создания» («Сочинения и переводы в стихах Павла», 1833 г.).

О романтизации церковнославянского языка у Пушкина см. также: В. В. Виноградов, *Язык Пушкина*, стр. 138.

¹¹⁹ П. А. Катенин, *Размышления и разборы*, «Литературная газета», 1830, № 21, стр. 168. Ср., вместе с тем, отзыв молодого Пушкина о катенинских стихах: «В ее устах <Семеновой. — Ю. Л., Б. У.> понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией» («Мои замечания об русском театре», 1820 г.).

¹²⁰ См. изд.: Тредиаковский, *Сочинения*, т. III, СПб., 1849, стр. 285 и 207. Ср., вместе с тем, более позднее заявление Тредиаковского — уже пересмотревшего свое представление о литературном языке — во второй редакции статьи о правописании прилагательных (написанной, вероятно, в 1755 г. и во всяком случае не ранее этого времени): «... у нас дружеский разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение <так Тредиаковский, видимо, выражает идею belles-lettres, ср. Комментарий, примеч. 216. — Ю. Л., Б. У.> есть иное изряднейшее употребление, отменное от простого разговора, и подобное больше книжному Славенскому, о котором-можно-праведно сказать, что-оно-есть-важное, приятное, дельное, сильное,

ского наречия (например, аканья и т. п.)¹²¹. Не менее знаменательны, с другой стороны, протесты против языка женщин в журналах Н. И. Новикова: женщины рассматриваются здесь как виновницы порчи языка.

Следует иметь в виду, в этой связи, что в условиях церковнославянской русской диглоссии именно мужчины являлись преимущественными носителями книжного (церковнославянского) языка, тогда как речь женщин была относительно свободна от церковнославянского влияния: естественно, что в условиях борьбы с церковнославянской языковой стихией женская речь должна ассоциироваться с противоположным полюсом.

Между тем, соотношение «нежного языка» и «нежного пола» заставляет соотвествующим образом воспринимать как травестированное поведение петиметров¹²², так и ориентацию карамзинистов на язык и вкус светской дамы¹²³ и вообще характерную для карамзинизма феминизацию литературы¹²⁴. Под определенным углом зрения противопоставление русской и церковнославянской языковой стихии даже может выступать как противо-

философическое, приличетствующее больше высоким наукам, нежели нежным, для того что Славенский язык есть мужественный» (В. Т<редиakovский>, Об окончании прилагательных..., в изд.: П. Пекарский, Дополнительные известия для биографии Ломоносова, СПб., 1865, стр. 109).

¹²¹ «Свободные часы», 1763, февраль, стр. 67—68, ср. также стр. 70, 74.

¹²² Очень характерны слова мужчины-петиметра в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4): «Необходимо <...> должен я <...> говорить нынешним щегольским женским наречием, ибо в наше время почитается это за одно не из последних достоинств в любовном упражнении» (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 293). Женщины (щеголихи) выступали, таким образом, законодательницами «щегольского наречия».

Речевой травестизм отвечает при этом общему травестизму щегольского поведения. Ср. воспоминания Вигеля о щеголях рубежа XVIII и XIX вв.: «Жеманство, которое встречалось тогда в литературе, можно было также найти в манерах <...>. Женоподобие не совсем почиталось стыдом, и ужимки, которые противно было бы видеть и в женщинах, казались утонченностями светского образования. Те, которые этим промышляли, выказывали какую-то изнеженность, неприличную нашему полу, не скрывали никакой боязни и, что всего удивительнее, не совсем были смешны. Между нами <«архивными юношами». — Ю. Л., Б. У.» были также два молодца, или лучше сказать, две девочки, которые в этом роде дошли до совершенства, Колычев и Ижорин <...>. Истребляя между нашими молодыми людьми наружные формы, столь поносные, особенно для русских, — пишет далее Вигель, — нынешний век перенес их в другую крайность и мужественности их часто придает мужиковатость» (Ф. Ф. Вигель, Записки, т. I, М., 1928, стр. 110). Показательна уже сама устойчивость этой черты, позволяющей видеть в ней определенную традицию щегольского поведения.

¹²³ См. В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 129—130, В. В. Виноградова, Язык Пушкина, стр. 209—220. Ср. Комментарий, примеч. 197.

¹²⁴ Ср. у Пушкина в письме к Бестужеву от 13 июня 1823 г. упоминание о «нежных ушах читательниц», которые могут испугать «отечественные звуки: *харчевня, кнут, острог*»; ср., между тем, противоположную позицию, например, у Дмитриева, который писал в статье «О русских комедиях» («Вестник Европы», 1802, № 7, стр. 232—233): «Какое же удовольствие найдет благовоспитанная девица, слушая ссору однодворца с его женою, брань дурака с дурюю, которых каждое слово несносно для нежного слуха» [ср. почти дословное повторение этой мысли у Н. Брусилова в «Письме к приятелю о русском театре»: «Что за удовольствие модным дамам слушать целой час разговор деревенских баб и девок» («Журнал российской словесности», 1805, № 2, стр. 60)]. О борьбе Пушкина с феминизацией языка и

поставление «женского» слога — «подьяческому»¹²⁵. Ср. характерный упрек издателю «Трутня» от лица сочинительницы-щеголихи: «из женскава слога сделал ты подьяческой, наставил ни к чему: *обабе, иначе, дондеже, паче*»¹²⁶. Почти с тех же позиций Батюшков позднее советует Гнедичу (в письме от 19 сентября 1809 г.): «Излишний славянизм не нужен, а тебе будет и пагубен. Стихи твои <...> будут читать женщины, а с ними худо говорить непонятным языком»¹²⁷, а Макаров «для соглашения книжного нашего языка с языком хорошего общества» призывает к тому, чтобы «женщины занимались Литературою»¹²⁸; при этом дамская речь отличалась своим откровенно макароническим, «галлорусским», характером (ср. известный отзыв Пушкина в письме к брату от 24 января 1822 г. о «полу-русском, полу-французском» языке «московских кузин»¹²⁹). Надо сказать вообще, что эпитет *грубый*, применительно к характеристике русского национального языка, непосредственно соответствует фразеологической и идеологической позиции светской дамы. См., например, замечание Карамзина, что светские женщины обыкновенно «не имеют терпения слушать или читать» русских писателей, «находя, что так не говорят люди со вкусом»; если же спросить у них: «как же говорить должно? то всякая из них отвечает: не знаю, но это грубо, несносно»¹³⁰. В другом месте Карамзин говорит: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что русский язык груб и не приятен»¹³¹. Отвечая Карамзину на первую из цитированных сейчас статей, Шишков пишет в своей «Рассуждении о старом и новом слоге...»: «Милые дамы, или по нашему грубому языку женщины, барыни, барышники, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят, как хотят»¹³². Впечатление такое, что славянофилы как бы полемически принимают обвинение в «грубости», которое им бросают их противники-карамзинисты. При этом позиция «архаистов» в данном случае очень близка к штюрмерской идеологии: критерию изящества и дамского вкуса противостоит критерий силы и энергии, как это характерно для штюрмерства; соответственно, антитеза «галлорусского» и «славенорусского» языка может выступать и как антитеза салонного языка и языка «бурного гения»¹³³.

литературы см. Ю. Н. Тынянов, Архаисты и новаторы, стр. 148—149, В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 211—220, Б. В. Томашевский, Вопросы языка в творчестве Пушкина, в изд.: Б. В. Томашевский, Стих и язык, М.—Л., 1959, стр. 389—392.

¹²⁵ О сближении в языковом сознании церковнославянского и «подьяческого» языка — которые объединяются на этом этапе под знаком «славенщины» — мы специально говорили выше (стр. 223 наст. изд.).

¹²⁶ «Трутень», 1770, л. XIV, ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 233—234.

¹²⁷ К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 47.

¹²⁸ <П. И. Макаров>, Некоторые мысли издателей Меркурия, «Московский Меркурий», 1803, ч. I, январь, стр. 10.

¹²⁹ См. также высказывания В. Измайлова и П. Макарова о предубеждении женщин против русского языка и предпочтении ими языков иностранных, приводимые у В. Д. Левина (Очерк стилистики..., стр. 128—130), или аналогичные свидетельства Ф. Ф. Вигеля (Записки, т. I, М., 1928, стр. 275, 329).

¹³⁰ Н. М. Карамзин, Отчего в России мало авторских талантов? (1802 г.), в изд.: Карамзин, Сочинения, т. III, СПб., 1848, стр. 529.

¹³¹ Н. М. Карамзин, О любви к отечеству и народной гордости (1802 г.), в изд.: Карамзин, Сочинения, т. III, СПб., 1848, стр. 474.

¹³² А. С. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка, СПб., 1818, стр. 150.

¹³³ Ср. в этой связи сказанное выше (стр. 197 наст. работы) о возможном влиянии на Боброва со стороны Я. Ленца. Ср. ещё стр. 187 наст. изд.

Одновременно «нежный» русский язык ассоциируется с «нежным вкусом» и «нежными чувствами» и, соответственно, с лирическим и т. п. жанром¹³⁴; так устанавливается корреляция между языком и жанром и вообще

¹³⁴ Очень характерна в этом отношении «Эпистола к творцу сатиры на петиметров» неизвестного автора (1750-х гг.; опубликована в изд.: «Поэты XVIII века», Л., 1972, т. II, стр. 380—384). Сумароков — «нежностей писатель» — противопоставляется здесь Буало как автору сатир: Он <Сумароков. — Ю. Л., Б. У.> нежностей писатель, сатиром не бывал, Стихов же опять нежных не писал Боал. В авторском примечании объясняется, что «Николай Боал, господин Деспро, знатный французский сатирик, <...> в жизнь свою ничего нежного не писал» (стр. 380). Это отнюдь не означает плохого отношения к Буало: напротив, в других своих примечаниях автор, например, замечает: «Господин Боал был человеком таким, который без достоинства никого не хваливал» и называет его «писцом знатным во всем роде» (стр. 381). Слова *нежный*, *нежность* имеют здесь прежде всего терминологический, а не оценочный смысл: «нежные стихи» — это лирика, а Буало лирики не писал. Таким образом эпитет *нежный* объединяет лирику как литературный жанр и русский язык в его противопоставлении церковнославянскому. Лирика возможна только на русском языке и отсюда на нее переносится качество нежности.

Ср. еще соотносительную характеристику лирики и сатиры в другом месте того же произведения (стр. 382):

Недавно нам к Парнасу прилежно слух открыл
Тот, кто в тебя <Елагина. — Ю. Л., Б. У.> охоту к стихам
такую влил <т. е. Сумароков. — Ю. Л., Б. У.>;
Читая нежны мысли, всяк к нежности привык,
Так голос и в порядке сатиров еще дик.

Если здесь и есть элемент оценки, то он относится прежде всего к иерархии жанров, а не непосредственно к оценке стихов.

Не менее показательно, вместе с тем, что сам Сумароков протестует против характеристики его как «нежного» автора, ссылаясь на то, что его творчество не исчерпывается одною лирикой; равным образом возражает он и против эпитета *громкий* применительно к творчеству Ломоносова на том основании, что у Ломоносова есть и лирические стихи; при этом слово *громкий*, как и *нежный*, может относиться и к языку, и к жанру, обозначая прежде всего насыщенный славянизмами высокий слог (ср. Комментарий, примеч. 141), но также и торжественные жанры, соотносимые с этим слогом. Сопоставляя свои и ломоносовские стихи, Сумароков писал: «Слово *громкая ода* <так принято было характеризовать оды Ломоносова. — Ю. Л., Б. У.> к чести автора служить не может: да сие же изъяснение значит галиматю а не великолепие. Мне приписывают нежность: и сие изъяснение трагическому автору чести не приносит. Может ли лирический автор составить честь имени своему громом! и может ли представленный во драме Геркулес быти нежною Сильвиею и Амариллою воздыхающими у Тасса и Гвариния! Во стихах Г. Ломоносова многое для почерпания лирическим авторам сыщется: а я им советую взирати на ево лирическая красоты и отделяти хорошее от худова. Г. Ломоносов со мною несколько лет имел короткое знакомство и ежедневное обхождение, и не редко слышал я от него, что он сам часто гнушался, что некоторые ево громким называли. Ево достоинство в одах не громкость» [А. П. Сумароков, Некоторые строфы двух авторов (1774 г.), в изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание..., ч. IX, М., 1787, стр. 219]. Можно сказать, что Сумароков интерпретирует здесь лингвистилистические характеристики как жанровые: оба плана органически сливаются в его трактовке.

между выражением и содержанием. Ср. у Н. А. Львова:

Он чувства нежные родит,
Жестоки умягчает страсти¹³⁵ —

показательно, что эмоции характеризуются теми же эпитетами, что церковно-славянский и русский языки. Эта связь между языком и чувством явственно выражена и в упоминавшихся уже стихах А. П. Брежинского 1802 г.:

От славенщизны удалился
И нежностью не прослезился;¹³⁶

слово *нежность* относится здесь к языку, обозначая, вместе со *славенщизной*, противопоставленные друг другу языковые полюсы, но «нежный» язык как бы необходимо предполагает и «нежные» чувства¹³⁷. Между тем, могут быть и такие случаи употребления соответствующих эпитетов, где принципиально невозможно вообще провести различие между характеристикой плана выражения и плана содержания, как, например, в следующей фразе Сумарокова: «Прилично ли положить в рот девице семнадцатилет, когда она в крайней с любовником разговаривает страсти, между нежных слов *паки?*»¹³⁸; совершенно очевидно, что слово *нежный* органически объединяет в данном случае значения, относящиеся к языку и к чувству — к выражению и к содержанию. Отсюда вполне закономерны рекомендации В. С. Подшивалова: «Хороший стилист употребляет слова по различию: нежные, когда говорит о материях нежных, и жесткие, когда говорит о войне, о кровопролитии <...> и тому подобное, на пр. как *вихрь в ярости своей рвет из корня деревья, и безобразит лице земли: тако рука гневливаго рас-*

Ср. у Державина («К Каллиопе», 1792 г.):

Сойди, бессмертная, с небес
Царица песней, Каллиопа!
И громкую трубу твою
Иль лучше лиру нежно-звучну
Иль, если хочешь, голос твой
Ты согласи со мной.

Противопоставление *громкой трубы* и *нежно-звучной* лиры может иметь здесь и лингвостилистическое и жанровое наполнение; вместе с тем, оно может соответствовать поэтическим традициям ломоносовской и сумароковской школы (ср., например, у Княжнина в «эпической поэме» «Бой стихотворцев» 1765 г.: «громкий лирик наш <Ломоносов. — Ю. Л., Б. У.> и Сумароков нежный», см. изд.: «Поэты XVIII века», т. II, Л., 1972, стр. 404).

¹³⁵ Н. А. Львов, Музыка или Семитония, «Аонида», кн. I, М., 1796, стр. 32.

¹³⁶ См. изд.: «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 490. Речь идет о стиле «Слова похвального Екатерине Второй» М. В. Храповицкого (СПб., 1802).

¹³⁷ Точно так же и в записках Вигеля слова *нежный*, *нежничать* и т. п. выступают в качестве атрибутов карамзинизма как литературного направления, характеризую одновременно и стиль, и содержание карамзинистской литературы. Так, по словам Вигеля, сподвижник Шишкова Гераков «вечно ругал нежных своих московских соперников. Этим угодил он Шишкову и заслуживал от него самые лестные отзывы» (Ф. Ф. Вигель, Записки, т. I, М., 1928, стр. 355); в свою очередь карамзинисты, «как бы смотря с презрением на варваров, хотели отличить себя от них любезностью и нежностью» (стр. 357). Аналогично о Шаликове Вигель пишет, что в павловское время он «почти один любезничал и нежничал» (стр. 344).

¹³⁸ А. П. Сумароков, Ответ на критику, в изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание..., ч. X, М., 1787, стр. 97—98.

*пространяет окрест себя опустошение и гибель*¹³⁹ (эпитеты *жесткий* и *нежный* употребляются у Подшивалова параллельно с синонимичными эпитетами *грубый* и *приятный* — в одинаковом с ними значениями).

Тем самым, противопоставление «грубого, жесткого» языка — языку «приятному, нежному» может соответствовать по своему семантическому наполнению как оппозиции «естественное, природное — искусственное, привнесенное цивилизацией», так и антитезе «старого» и «нового», «мужественного» и «женственного» начала и т. п. Все это отвечает противопоставлению «славенороссов» и «галлороссов», открывая, вместе с тем, возможность сближения романтизма и народности (например, у Кюхельбекера¹⁴⁰) в прямом соответствии с демократической ориентацией «славенороссов»¹⁴¹.

В свою очередь, естественным следствием романтизации русской национальной языковой стихии, органически объединяющей церковнославянское и народное начало, является возможность ее «остраннения», поэтического отчуждения, т. е. возможность ощущения ее как не-нейтрального речевого материала, выступающего предметом эстетического восприятия (так особенно в перспективе «галлорусского» — в широком смысле — языкового сознания). Стремление романтиков к народности может сочетаться с интересом к этнографии (как это характерно, например, для А. А. Бестужева¹⁴²); народность вообще может осознаваться как национальный колорит, как экзотичность¹⁴³; «народность» и «местность» могут выступать как синонимы^{143а}. Соответственно, «живая странность» «простонародного слога» может

¹³⁹ См. <В. С. Подшивалов>, Сокращенный курс русского слога, М., 1796, стр. 47. — По существу то же самое, хотя и в менее четкой форме, имеет в виду и Карамзин, когда, протестуя в предисловии ко второй книжке «Аонид» против «излишней высокопарности», «грома слов не у места», он противопоставляет «надутую описанию ужасных сцен натуры» — изображение «нежных красот природы»: иначе говоря, нежным материям, по мысли Карамзина, должен соответствовать нежный язык (см. «Аониды», кн. II, М., 1797, стр. V сл.); непосредственным поводом для этого замечания послужила, видимо, поэзия Боброва (см. выше, стр. 184).

¹⁴⁰ См. Ю. Н. Тынянов, Архаисты и новаторы, стр. 196. Ср. в этой связи мнение Боратынского о связи романтизма с народным языком: «... я почти уверен, что французы не могут иметь истинной Романтической трагедии. Не правила Аристотеля налагают на них оковы — легко от них освободиться — но они лишены важнейшего способа к успеху: изящного языка простонародного. Я уважаю Французских классиков: они знали свой язык, занимались теми родами поэзии которые ему свойственны и произвели много прекрасного. Мне жалки их новейшие романтики: мне кажется что они садятся в чужия сани» (из письма к Пушкину 1825 г., см. изд.: Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, 1937, стр. 253). Это мнение Боратынского (противопоставляющего здесь французскую и английскую трагедию) следует сопоставить со словами А. А. Бестужева, который писал в рецензии на «Русскую антологию» Джона Боуринга, что «английский язык своею силою и простотою ближе всех подходит к нашему» («Литературные листки», 1824, № 19—20, стр. 33—34).

¹⁴¹ Ср. выше, стр. 187—188 и ниже, стр. 236 наст. работы.

¹⁴² См. Н. И. Мордовченко, Русская критика первой четверти XIX века, М.—Л., 1959, стр. 366—367.

¹⁴³ См. статью О. Сомова «О романтической поэзии» («Соревнователь просвещения и благотворения», 1823, ч. 23, кн. I), см. о ней: Н. И. Мордовченко, указ. соч., стр. 188—195.

^{143а} О проблеме народности в связи с фольклоризмом, этнографическими интересами и «местным колоритом» в литературе первой четверти XIX в. см.: М. К. Азадовский, История русской фольклористики, <I>, М., 1958, стр. 190—200, его же, Декабристская фольклористика, в кн.:

осмысляться как поэтическая ценность. Характерны слова Пушкина, которыми он начинает свою статью «О поэтическом слог» (1828 г.): «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному»; далее знаменательно упоминание Катенина¹⁴⁴. В некотором смысле призыв Пушкина следовать языку «московских просвирен» может быть сопоставим, например, с призывом Кюхельбекера читать восточных поэтов, поскольку тяготение к «своей» и «близкой» языковой и этнографической стихии приобретает принципиально новый смысл, пройдя через романтическую стадию погружения в чужое. В этом случае возможен взгляд на «свое» не как на нейтральную, немаркированную антитезу маркированному чужому миру, а как на нечто столь же характеристическое и отмеченное. Только в этих условиях «свое» может стать таким же объектом стилизации, как «чужое». В этом же плане, по-видимому, можно интерпретировать и цитированные выше отзывы Пушкина о церковнославянизмах (1822—1823 гг.)¹⁴⁵. Подобно тому, как для А. А. Бестужева даже «Евангелие есть тип романтизма»¹⁴⁶, и церковнославянский язык может в принципе восприниматься через призму романтического мировоззрения.

М. К. Азадовский, Статьи о литературе и фольклоре, М.—Л., 1960, его же, Пушкин и фольклор, в кн.: М. Азадовский, Литература и фольклор. Очерки и этюды, Л., 1938, Г. А. Гуковский, Пушкин и русские романтики, М., 1965, гл. II. — Слово *народность* было создано теоретиком русского романтизма Вяземским; в письме к А. И. Тургеневу от 22 ноября 1819 г. Вяземский спрашивал: «Зачем не перевести *nationalité* — *народность*? Польки сказали же *narodowość*!» («Остафьевский архив», т. I, СПб., 1899, стр. 357; о непосредственном литературном источнике Вяземского — польской статье К. Бродзинского «O *klasyczności i romantyczności*» — см. М. К. Азадовский, История русской фольклористики, <I>, стр. 192). Для семантической истории термина *народность* очень важно следующее замечание Вяземского (1824 г.): «Всякий грамотный знает, что слово *национальный* не существует в нашем языке; что у нас слово *народный* отвечает одно двум французским словам — *populaire* и *national*; что мы говорим: *песни народные* и *дух народный*, там, где французы сказали бы: *chanson populaire* и *esprit national*» (см. его полемику с М. Дмитриевым в «Дамском журнале», 1824, № 8, стр. 76—77). При этом Вяземский в значительной степени переосмысляет слово *народный*, придавая ему значение фр. *national*, тогда как раньше это слово соответствовало скорее фр. *populaire*; карамзинист Вяземский как бы следует призыву Карамзина давать «старым словам <...> новый смысл». Романтизм предполагает, по мнению Вяземского, «национальную самобытность, отпечаток народности».

¹⁴⁴ Следует при этом иметь в виду, что «простонародное» и «славянское» объединяются для Пушкина. Отвечая на придирки критики к стилю «Полтавы», он писал: «Слова *усы, визжать, вставай, рассветает, ого, пора* казались критикам *низкими, бурлацкими*; но никогда не пожертвую искренностью и точностию выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным, славянофилом и тому под.» (ср. в этой связи замечание в аналогичном контексте о «щекотливости мещанской журнальных чопорных суждений» в набросках к «Евгению Онегину», см. цитату на стр. 242 наст. работы, примеч. 169). Ср. в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного; но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей».

¹⁴⁵ Стр. 214 наст. работы, примеч. 66, и стр. 230, примеч. 118.

¹⁴⁶ Н. И. Мордовченко, указ. соч., стр. 369—370.

Таким образом мы убеждаемся, что одновременно с тенденцией к антигонистическому размежеванию карамзинизма и архаизма в вопросах языка существовала противоположенная тенденция: имманентные импульсы каждой из этих систем вели их к сближению, подготавливая исторический синтез. В этом отношении деятельность Пушкина как бы выявляла глубинные возможности языкового процесса как такового.

* *
*

Наконец, необходимо остановиться еще на одном аспекте языковой полемики XVIII — нач. XIX в. Борьба языковых стихий, восходящая к анти-тезе церковнославянского и русского языка, естественно выступает в этот период как борьба книжного и разговорного, письменного и устного начала. Соответственно, это последнее противопоставление может служить практически основанием для размежевания «славенских» и «русских» элементов в языке. Шишков констатирует, например, что карамзинисты основываются «на том мечтательном правиле, что которое слово употребляется в обыкновенных разговорах, так то Руское, а которое не употребляется, так то Славенское»¹⁴⁷. Вполне естественно, что для карамзинистов актуальна именно перспектива разговорной речи, которая и выступает в данном случае в качестве точки отсчета¹⁴⁸; между тем, Шишков, напротив, пытается в той или иной степени исходить в своих суждениях из перспективы церковнославянского языка, как он его себе представляет. Для карамзинизма, как известно, вообще характерна принципиальная ориентация на разговорную стилистику, ср. программное требование Карамзина «писать как говорят»¹⁴⁹.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что то, что самими карамзинистами осмыслялось как сближение литературного языка с разговорной речью, языком общества (при этом светского общества, о чем см. специально ниже), — неизбежно понималось их противниками как отказ от национальной литературной традиции. Для Шишкова, в частности, язык общества вообще «не имел никакого отношения к языку литературы. Сама постановка вопроса об их взаимовлиянии лишена была для него смысла»¹⁵⁰. Такой же подход характерен в общем и для других «архаистов».

Понятно, что эта установка на разговорную речь — идущая еще от первых опытов кодификации русской речи 30-х гг. XVIII в. (Адодуров, ранний Тредиаковский)¹⁵¹ — находится в самой непосредственной связи с западным культурным влиянием: она обусловлена именно стремлением организовать русский литературный язык по подобию литературных языков За-

¹⁴⁷ А. С. Шишков, Рассуждение о красноречии Священного Писания..., в изд.: Шишков, Собрание сочинений и переводов, ч. IV, СПб., 1825, стр. 58.

¹⁴⁸ Ср. в этой связи подчеркнутые коллоквиализмы в речи бобровского Галлоруса. См. Комментарий, примеч. 8, 16, 26, 29, 19, 41а, 167.

¹⁴⁹ См. Н. М. Карамзин, Отчего в России мало авторских талантов?, в изд.: Карамзин, Сочинения, т. III, СПб., 1848, стр. 529. По мысли карамзинистов, хорошим автором является тот,

Кто пишет так, как говорит,
Кого читают дамы.

(Батюшков, Певец в Беседе...)

¹⁵⁰ В. Д. Левин, Традиции высокого стиля в лексике русского литературного языка первой половины XIX века, «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», т. V, М., 1962, стр. 187. Ср. замечания Шишкова о принципиальном отличии книжного (литературного) языка от языка разговорного (см. А. С. Шишков, Примечания на критику, изданную в «Московском Меркурии»..., в изд.: Шишков, Собрание сочинений и переводов, ч. II, СПб., 1824, стр. 432—435).

¹⁵¹ См. выше, стр. 199 наст. работы.

падной Европы, сделать из русского литературного языка язык того же типа, что западноевропейские — иначе говоря, перенести на русскую почву западноевропейскую языковую (как и литературную) ситуацию¹⁵². Карамзин прямо ссылается на «французов», т. е. на пример французского литературного языка, в связи с требованием «писать как говорят». Отсюда ориентирование литературного языка на разговорную речь естественно связывается с европеизацией этой последней, т. е. с употреблением заимствованных слов (которые, как уже отмечалось выше, закономерно относятся в языковом сознании к «русскому», а не к «славенскому» полюсу).

Во второй пол. XVIII в. славянизмы и коррелирующие с ними европеизмы начинают противопоставляться по признаку «книжное — разговорное». Это в значительной степени обусловлено более или менее искусственным приспособлением церковнославянских лексических и словообразовательных средств для выражения заимствуемых понятий, в результате которого славянизмы — как унаследованные, так и специально создаваемые — заменяют европеизмы в книжном (литературном) языке¹⁵³; между тем, европеизмы остаются достоянием разговорной речи. В «Рассуждениях двух индийцев Калана и Ибрагима о человеческом познании» Я. Козельского Калан упрекает Ибрагима в употреблении иностранных слов, между прочим, слова

¹⁵² Ср. очень точную характеристику принципиального различия между русским и западноевропейскими литературными языками у Тредиаковского в эпиграмме «Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбодный...» 1750-х гг. (см. изд.: «Поэты XVIII века», Л., 1972, т. II, стр. 392—393). Критикуя лингвистические позиции Сумарокова, Тредиаковский пишет:

За образец ему в письме пирожный ряд,
На площади берет прегнусный свой наряд,
Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
А просто говорить по-дружески — другое;
.....
У немцев то не так, ни у французов тож;
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, ниже и грубый деревенский.

Более подробно Тредиаковский говорит об этом в уже упоминавшейся второй редакции статьи о правописании прилагательных (видимо, совпадающей по времени написания с только что цитированными стихами). Здесь читаем: «Ведомо, что во-французском языке, дружеский разговор есть правило красным сочинениям (*de la conversation a la tribune*), для того что у них нет другого. Но у нас дружеский разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение есть иное изряднейшее употребление, отменное от простого разговора, и подобное больше книжному Славенскому <...> Никто не пишет ни письма о домашнем деле, чтоб он не тисался его написать отменнее от простого разговора: так что сие всеобщим у нас правилом названо быть может, что «кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому языку, или, кто-больше славенских обыкновенных и всех ведомых слов употребляет, тот у нас и не подло пишет, и есть лучший писец». Не дружеский разговор (*la conversation*) у нас правилом писания; но книжный церковный язык (*la tribune*), который равно в духовном обществе есть живущим, как-и-беседный в гражданстве. Великое наше счастье в сем, пред многими Европейскими народами!» (В. Тредиаковский, Об окончании прилагательных..., в изд.: П. Пекарский, Дополнительные известия для биографии Ломоносова, СПб., 1865, стр. 109).

¹⁵³ См. выше, стр. 200—206, 209 наст. работы.

натура, которое «переводится у нас *естеством*». Ибрагим возражает на это: «Я знаю, что *натура* переводится на индийской <читай: русский. — Ю. Л., Б. У.> язык *естеством*, но знаю и то, что это слово прилично разве в таком самом важном, как священном штиле; а ежели употребить его в разговоре, и вместо этой речи: *из разных вещей каждая имеет особливую свою натуру*, сказать: *из разных вещей каждая имеет особливое свое естество*, то вы подымете <sic!> хохот <...> *Натуру* назвать *естеством* не смею, чтоб не назвали этого слова преучным ученьем»¹⁵⁴. При этом следует иметь в виду, что слово *естество* в разговорном употреблении получило специальный семантический оттенок скабрёзности (отсутствующий, понятно, в книжном языке)¹⁵⁵; напротив, слово *натура* и другие европеизмы (поскольку они ощущаются как таковые) могут придавать разговорной речи некоторую «литературность» (если и не в смысле книжности то, например, в смысле образованности, начитанности и т. п.) или светскость. Вообще: насыщенность речи европеизмами и прежде всего галлицизмами обуславливает особый стилистический нюанс, придавая ей (в глазах определенного социума) изысканность и делая ее как бы речью высокого стиля: европеизмы в разговорной речи играют, можно сказать, ту же функциональную роль, что славянизмы — в письменной¹⁵⁶. Книжная и разговорная речь образуют в этот период как бы две равноправные стилистические системы, отчасти корреспондирующие друг с другом.

Вместе с тем, в конце XVIII в. ориентация литературного языка на разговорную речь образованного общества, выражающаяся требованием «писать, как говорят», обуславливает сознательное включение соответствующих европеизмов в стилистический диапазон литературного языка. В предисловии к переведенному им роману Ж. де Мемье «Граф Сент-Меран» П. И. Макаров писал: «В сем же первом томе найдет читатель: *Графу хочется, чтоб воспитанник приобрел несколько побольше света*... — Говорят: галлисизм! — нет, не галлисизм... Не употребительно писать слово *свет* в сем смысле. — Но употребительно говорить; для чего же хотят, чтоб Графиня Момпаль говорила как учитель языков в классе с своими учениками?»¹⁵⁷. Связь литературного языка с разговорным языком столичного дворянства выступает здесь со всей очевидностью.

Если ранее разговорная речь вообще не входила в систему литературного языка, то теперь (с конца XVIII в.) в пределах литературного языка появляется противопоставление книжного и разговорного¹⁵⁸. (Соответ-

¹⁵⁴ Я. Козельский, Рассуждения двух индийцев Калана и Ибрагима о человеческом познании, т. I, СПб., 1788, стр. 21, 23; ср. В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 68—69. В последнем замечании усматривается намек на сугубо книжный стиль Тредиаковского.

¹⁵⁵ Свидетельство об этом можно найти у Сумарокова, который с негодованием писал: «Нужное слово и почтеннейшее под Богом, *Естество*, потому только, что говорится, *мужское* и *женское естество*, приемлется словом противным благорастойности хотя оно только слуху малоумных людей гадко кажется: а инова на сие место и взять негде, хотя в нем невежам и нужды нет; ибо они ни человеческих понятий, ни воображений не имеют» (А. П. Сумароков, О правописании <1771—1773 гг.>, в изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание..., ч. X, М., 1787, стр. 28—29).

¹⁵⁶ Эта ситуация в какой-то мере обыгрывается в фонвизинском «Бригадире», ср. слова Бригадирши: «Я церковновата-о языка столько же мало смышлю, как и францускова» (акт II, явл. 3).

¹⁵⁷ <Ж. де Мемье>, Граф Сент-Меран, или Новые заблуждения сердца и ума, ч. I, СПб., 1795, стр. XII—XIII.

¹⁵⁸ См. В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 12. Ср. в этой связи мнение Вигеля, что Карамзин «создал и разговорный у нас язык»

ственно, понятия «книжное» и «литературное», в свое время совершенно равнозначные, начинают различаться и даже противопоставляться по своему значению — см. ниже).

Для понимания этого процесса следует иметь в виду, что литературный язык, по представлению карамзинистов, должен ориентироваться на разговорную речь не непосредственно, а через книги, т. е. через литературу. Напомним еще раз слова Карамзина (1802 г.): «Французский язык весь в книгах <...>, а русской только отчасти: французы пишут как говорят, а русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом»¹⁵⁹. Итак, разговорная речь должна быть освящена литературным употреблением для того, чтобы стать достоянием литературного языка. По существу это требование не только «писать, как говорят», но и «говорить, как пишут» — именно так и формулирует программу карамзинизма П. И. Макаров (отмежевываясь при этом от следования книжному языку)¹⁶⁰. Литература, согласно этой программе, ориентируется на разговорную речь (производя при этом необходимый отбор с помощью критерия вкуса), а литературный язык ориентируется на литературу, т. е. уже на литературное употребление¹⁶¹.

Надо сказать, что эта ориентация литературного языка на литературу знаменует принципиально новое соотношение между тем и другим понятием — соотношение, которое определяет вообще последующее развитие русского литературного языка. Ранее имела место прямо противоположная ситуация. В условиях церковнославянско-русской диглоссии, когда литературным или книжным языком был церковнославянский, именно применение (строго нормированного) литературного языка могло служить критерием для суждения о принадлежности памятника письменности к кругу «литературных» (с точки зрения соответствующей эпохи) произведений. С конца XVIII в.

(Ф. Ф. Вигель, Записки, т. I, М., 1928, стр. 130). Очень характерен, вместе с тем, протест Шишкова в ответе на критику П. И. Макарова против стилистического нормирования разговорной речи: Макаров, пишет Шишков, «думает, что мы разговариваем между собою простым, средним и высоким языком. Признаться, что я о таком разделении разговоров наших на различные слоги отроду в первый раз слышу» (А. С. Шишков Примечания на критику..., цит. изд., стр. 432). Как отмечает В. В. Виноградов (Очерки..., стр. 199), «Шишков склонен относиться к устной стихии как к некоторому субстанциональному единству, которое строится на принципиально иных основах, чем язык литературы».

¹⁵⁹ Н. М. Карамзин, Отчего в России мало авторских талантов?, в изд.: Карамзин, Сочинения, т. III, СПб., 1848, стр. 529. Нетрудно усмотреть идейную связь этой концепции литературного языка с характерным для Карамзина пониманием «натуры» как «изящной украшенной природы».

¹⁶⁰ <П. Макаров>, Критика на книгу..., «Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 180.

¹⁶¹ Ср. еще ремарку Макарова в рецензии на перевод романа Жанлис «Матери-соперницы, или Клевета» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, ноябрь): «Господин Переводчик весьма старался применяться к языку, употребительному в обыкновенном разговоре. Только надлежало бы ему подражать людям, которые говорят *хорошо*, а не тем, которые говорят *дурно*. Выражения престопаходных не должны Писателю служить правилом. У нас язык общества еще не образовался, потому что люди, которые могли бы образовать его, а особливо *женщины*, занимаются предпочтительно языками иностранными. И для того надобно иногда писать так, как должно бы говорить, а не так, как говорят» (стр. 121—122; курсив оригинала, разрядка наша).

ситуация резко меняется: понятие «литературы» становится первичным по отношению к «литературному языку», литературным языком — на котором теперь должны не только писать, но и говорить — признается тот язык, который употребляется в литературе, т. е. изящной словесности.

Именно поэтому языковая полемика, восходящая к антитезе церковно-славянского и русского языков, на рубеже XVIII и XIX вв. становится полемикой не о «языке», а о «слоге»: языковая норма стала ориентироваться на литературный слог, т. е. вообще на литературу; соответственно, языковая полемика постепенно сводится к полемике о стилях. То обстоятельство, что полемика о слоге объединяет и карамзинистов и их противников славянофилов, чрезвычайно знаменательно и свидетельствует о том, что речь идет уже не о программе одного направления, а вообще о качественно новом этапе в судьбе литературного языка¹⁶².

Сама апелляция к «вкусу», столь важная для языковой концепции карамзинистов, но постепенно усваиваемая и их литературными противниками¹⁶³, в значительной степени обусловлена именно тем, что литературный язык ориентируется теперь на некий (четко не определяемый и потенциально открытый) текст, — а не на систему нормативных правил. Отсюда вообще на первый план закономерно выдвигаются проблемы стилистики — при этом стилистики речи, а не стилистики языка — и прежде всего лексической стилистики, поскольку норма литературного языка не дана как системное целое, а ориентирована на речь (на «текст» в широком смысле); между тем слово, как элементарная единица речи, осмысливается как единица речевого стиля¹⁶⁴.

Указанное переосмысление знаменует не только коренную перестройку литературного языка, но и изменение самой языковой ситуации; меняется сам тип литературного языка, т. е. его типологические характеристики¹⁶⁵. Одновременно претерпевает изменение и понимание «литературы», ее объема и задач; если ранее *литература* означала (в соответствии с этимологией) «письменность» вообще, а также «образованность», «ученость» и т. п., то теперь *литература* начинает пониматься как «изящная словесность» (*belles-lettres*)¹⁶⁶. Тем самым, если ранее «литература» не была противопоставлена, скажем, «науке» — «литературные» тексты включали в себя научные — то постепенно эти понятия приобретают почти антагонистический смысл.

Соответственно «книжный» язык приобретает новое — более узкое — значение по сравнению с «литературным» языком (ранее, как уже говорилось, эти понятия полностью совпадали), что обусловлено включением разговорной речи в стилистический диапазон литературного языка. «Книжное» начинает пониматься как то, что относится к литературному языку,

¹⁶² С этого времени история литературного языка становится практически равнозначной истории языка литературы. Вообще же это глубоко различные явления, поскольку история литературного языка представляет собой историю (языковой) нормы, тогда как история языка литературы — есть история отклонений от нормы.

¹⁶³ См. выше, стр. 210, а также Комментарий, примеч. 60.

¹⁶⁴ Ср. слова Шишкова о карамзинистах, что «они не о том рассуждают, что такое-то слово в таком-то слоге высоко или низко; таковое суждение было бы справедливо; но нет, они о каждом слове особенно, не в составе речи <т. е. о слове как о словарной единице. — Ю. Л., Б. У.>, говорят: это Славенское, а это Руское» (А. С. Шишков, Рассуждение о красноречии Священного Писания..., в изд.: Шишков, Собрание сочинений и переводов, ч. IV, СПб., 1825, стр. 58).

¹⁶⁵ Ср. выше, стр. 198 наст. работы.

¹⁶⁶ См. Комментарий, примеч. 216.

но при этом невозможно в разговорной речи¹⁶⁷. В этом именно смысле карамзинисты борются с книжным языком: так, Макаров призывает «писать как говорят, и говорить как пишут, <...> чтобы совершенно уничтожить язык книжной»¹⁶⁸. Речь идет при этом, по существу, не столько о борьбе непосредственно с церковнославянской языковой стихией, сколько вообще — о борьбе с теми языковыми средствами, которые нельзя применять в разговорной речи. Поскольку, однако, в точности таким же образом карамзинисты могут понимать и «славянизмы» — а именно, как слова, невозможные в «обыкновенных разговорах» (см. выше), — постольку понятия «книжного» и «славянского» для них совпадают. В результате борьба «разговорного» и «книжного» соответствует борьбе «русского» и «славянского».

* * *

Итак, борьба церковнославянской и русской языковой стихии претворяется в борьбу книжного и разговорного языка. Отсюда языковая полемика приобретает вполне определенный социолингвистический характер и может осмыслиться, под известным углом зрения, в плане противопоставления «общее — элитарное», «общественное — салонное, камерное» и даже «демократическое — кастовое (аристократическое)».

Необходимо констатировать, что (отчасти это видно уже и из приведенных выше свидетельств) карамзинистский подход к литературному языку имеет явно означенный социальный аспект. «Новый слог» ориентирован не вообще на разговорную речь, а на разговорную речь светского общества, т. е. дворянской элиты¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Отсюда книжный (письменный) язык, в отличие от языка литературного, в дальнейшем будет оттеснен на периферию языкового сознания, оставаясь характерным прежде всего для научного (или канцелярского) стиля. Это непосредственно связано, конечно, с переосмыслением понятия «литература».

¹⁶⁸ <П. Макаров>, Критика на книгу..., «Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 180.

¹⁶⁹ Ср. позднее у Пушкина, пытающегося освободиться от социолингвистической ограниченности подобного подхода, предпочтение «высшему обществу (high life, haute société)» — «хорошего общества (bonne société)» (наброски к статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»). По словам Пушкина, в «лучшем обществе жеманство и напыщенность еще нестерпимее, чем простонародность (vulgarité) и <...> оно-то именно и обличает незнание света». В частности, «откровенные, оригинальные выражения простодушию повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха<...> Хорошее общество может существовать и не в высшем кругу, а везде, где есть люди честные, умные и образованные» («О новейших блюстителях нравственности»).

Соответственно, в «Евгении Онегине» (в набросках к VIII главе) —

В гостиной истинно дворянской
Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей.

В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей.

Ср. оценку Карамзина в записках Вигеля: «До него не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного; он изобрел новый, благородный и простой»¹⁷⁰. Эпитет *благородный* явно относится к речи дворянского социума; слово *простой* знаменует в данном случае ориентацию на разговорную стихию; итак, имеется в виду разговорная речь дворянской элиты, которая противопоставит как «высокопарному», т. е. славянизированному слогу, так и «площадной», т. е. простонародной речи¹⁷¹.

Социолингвистическая платформа карамзинизма со всей очевидностью проявляется и в его полемических установках. Когда карамзинисты ведут борьбу с церковнославянской языковой стихией под знаменем борьбы с «подьяческим» языком (см. выше), они именно переводят языковую полемику в социолингвистический план. Характерно, что в это же время начинают говорить и об особом «семинарском» языке, причем само понятие, опять-таки, идет едва ли не от карамзинистов¹⁷². Старый книжный язык осмысливается в социальной (социолингвистической) перспективе — через «семинарскую» и «подьяческую» речь¹⁷³, чуть ли не как сословный жаргон.

¹⁷⁰ Ф. Ф. Вигель, Записки, т. I, М., 1928, стр. 130, (ср. в точности такую же характеристику и у И. И. Дмитриева в письме к П. П. Свиньину от 18 апреля 1832 г.: он говорит здесь о «языке правильном, простом, но благородном, каков Карамзинский», см.: И. И. Дмитриев, Сочинения, т. II, СПб., 1893 стр. 303). — Характерно также следующее замечание Полевого о карамзинистах: «Эта школа не так многочисленна печатно, как словесно, и не столько действует она в литературе, сколько в так называемом лучшем обществе» («Московский Телеграф», 1833, № 8, апрель, стр. 563—657; цит. по: М. И. Сухомлинов, История Российской Академии, вып. VIII, СПб., 1888, стр. 348).

¹⁷¹ Знаменательно, что в нач. XIX в. отдельные славянофилы могут мечтать о том, чтобы церковнославянский язык был «языком так называемого большого света» (Д. Воронов, Краткое начертание о славянах и славянском языке, «Чтение в Беседе любителей русского слова», XV, СПб., 1816, стр. 37), нормой речи «знатных и почтенных людей» (Г. П. Успенский, Опыт повествования о древностях российских, чч. I—II, Харьков, 1811—1812); см. В. В. Виноградов, Язык Пушкина, стр. 34—35. Представление о функции литературного языка явно обусловлено в данном случае влиянием карамзинистов. Сохраняя общее для «архаистов» отношение к церковнославянскому языку, эти славянофилы заимствуют у своих литературных противников саму концепцию литературного языка.

Подобный подход, впрочем, никем образом не может считаться характерным для «архаистов» и представляет интерес именно в виду исключительности ситуации. Напротив, Шишков специально подчеркивал недопустимость употребления церковнославянских оборотов и выражений в разговорной речи (А. С. Шишков, Примечание на критику, изданную в «Московском Меркурии»..., в изд.: Шишков, Собрание сочинений и переводов, ч. II, СПб., 1824, стр. 433—434).

¹⁷² Ср., между прочим, отзыв В. Л. Пушкина о своем племяннике: «Александровы стихи не пахнут латынью и не носят на себе ни одного пятнышка семинарского» (М. А. Цявловский, Книга воспоминаний о Пушкине, М., 1931, с. 35).

¹⁷³ Ср. о связи «подьяческого» и «семинарского» сословия в записках Ф. Ф. Вигеля: «Молодые дворяне<...> при Екатерине и до нее<...> собственно званием канцелярского гнушались, и оно оставлено было детям священно- и церковно-служителей и разночинцев» (цит. по изд.: Ф. Ф. Вигель, Воспоминания, ч. I, М., 1864, стр. 172; в изд. 1928 г. это место выпущено). (В этом смысле характерно, между прочим, демонстративное нарушение традиции Рылеевым и Пушным — уход из армии и поступление в презираемое сословие судейских. Необычность этого шага была отмечена Пушкиным в наброске к «19 октября»:

Показательно, наконец, что одни и те же оценочные характеристики имеют у «арханстов» — славянофилов и у «новаторов» — карамзинистов существенно различный смысл: если у первых они фигурируют безотносительно к социальному расслоению общества, то у вторых они очень часто выступают именно как социолингвистические оценки. Эта разница отчетливо видна, например, в полемике Катенина и А. А. Бестужева о книге Греча «Опыт краткой истории русской литературы». Катенин пишет: «Знаю все насмешки новой школы над *славянофилами*, *варягороссами* и проч.; но охотно спрошу у самих насмешников: каким же языком нам писать эпопею, трагедию, или даже важную, благородную прозу?» Отвечая на эти слова, Бестужев возражает: «... для редкости, я бы желал взглянуть на поэму или трагедию, в наше время писанную на славянском языке, хэтя бы не стихами, но в *благородной* (т. е. не *мещанской*) прозе!»¹⁷⁴. Совершенно очевидно, что, заимствуя (в качестве «чужого слова») у Катенина эпитет *благородный* (курсив в приведенной цитате соответствует кавычкам в современном употреблении), Бестужев придает слову *благородный* существенно иной — и именно социолингвистический — смысл: для Катенина *благородный* равнозначен «важному», для Бестужева *благородный* — это «не мещанский»^{174а}. Аналогичное различие может быть прослежено и в употреблении эпитета *подлый*. Так, карамзинист В. Измайлов, критикуя драму Н. И. Ильина «Великодушие, или Рекрутский набор», писал об авторе этой пьесы: «Можно ли было ему, рожденному с добрым сердцем и благородными чувствами, приятно заниматься подлым языком бурмистров, подьячих...». Между тем, «Северный вестник» изображал Измайлова: «Выражение *подлый язык*, есть остаток несправедливости того времени, когда говорили и писали *подлый народ*; но ныне, благодаря человеколюбию и законам, *подлаго народа* и *подлаго языка* нет у нас! а есть, как и у всех народов, *подлая мысль*, *подлые дела*. Какова бы состояния человек ни выражал сии мысли, это будет *подлый язык*, как на пр: *подлый язык дворянина*, *купца*, *подъячего*, *бурмистра* и т. далее»¹⁷⁵. Совершенно такое же различие

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мнения
Завоевал почтение граждан.

Ср. Б. Томашевский, Из пушкинских рукописей, «Литературное наследство», т. 16—18, М., 1934, стр. 291).

¹⁷⁴ «Сын отечества», 1822, № 13, стр. 252—253, и № 20, стр. 263. Курсив оригинала, разрядка наша.

^{174а} Ср. противопоставление «*благородного театра*» — «*народному театру*» в «Письме к приятелю о русском театре» Н. Брусилова («Журнал российской словесности», 1805, № 2, стр. 66).

¹⁷⁵ «Патриот», 1804, май, стр. 237; «Северный вестник», 1804, ч. III, № 7, стр. 35—36 (статья за подписью «И. Г.»). См. Н. И. Мордовченко, Русская критика первой четверти XIX века, М.—Л., 1959, стр. 101—102. Ср. протесты против сословного употребления слова *подлый* в журналах Н. И. Новикова (см.: А. Н. Афанасьев, Русские сатирические журналы 1769—1774 годов, М., 1859, стр. 250—251), в «Опыте Российского сословника» Д. И. Фонвизина (см.: Д. И. Фонвизин, Собрание сочинений в двух томах, т. I, М.—Л., 1959, стр. 226—227), а также острые дискуссии вокруг употребления этого слова как социальной или этической категории в «Комиссии по выработке нового уложения» 1767 г. (спор между кн. М. Щербатовым, с одной стороны, и Я. Козельским, И. Чупровым, с другой).

Характерно, что и у Тредиаковского (во всяком случае во второй период его творчества) слово *подлый* не имеет социолингвистического смысла, а квалифицирует вообще разговорную (некнижную) языковую стихию, в том числе и разговорную речь дворян; так, например, выражение *писать подло* означает «писать как говорят» (ср. цитату выше, стр. 238, примеч. 152), аналогичный смысл имеет *подлое употребление* и т. п. Между тем, для Сума-

имеет место и в отношении характеристики *простонародный* как стилистической оценки: в отличие от карамзинистов, которые обозначают этим словом все то, что противостоит речи хорошего общества, для «архаистов» *простонародное* может относиться вообще к разговорному началу, характеризуя разговорную речь всех слоев общества. Так, когда Шишков возражает против введения в «благородный язык» «простонародного произношения», соответствующего букве *ѣ*¹⁷⁶, то оппозиция, выражающаяся определениями *благородный* и *простонародный*, относится вовсе не к социолингвистическому противопоставлению дворянской речи и речи простого народа, а к противопоставлению книжного и разговорного языка (живая разговорная речь дворян не отличалась по данному признаку от речи простолюдинов): эпитет *благородный* означает здесь «высокий», «книжный», а *простонародный* соответствует «разговорному». Между тем, карамзинисты вкладывают в эти термины именно социолингвистическое содержание: *простонародное* равнозначно у них «подлому», т. е. «мужицкому», а также «мещанскому», «подьяческому» и т. п.¹⁷⁷.

Социолингвистическая ограниченность карамзинистской концепции литературного языка непосредственно связана с установкой на разговорную речь.

Ведь различие между письменным и разговорным языком состоит между прочим, и в том, что первый имеет принципиально над-диалектный характер, тогда как второму свойственно диалектное дробление (на географические или социальные диалекты): первый стремится к единообразию, второй — к дифференциации. Совершенно естественно поэтому, что ориентация литературного языка на разговорную речь связана с речевыми навыками определенного социума.

Следует иметь в виду, в то же время, что социолингвистическое расхождение общества в сколько-нибудь широких масштабах представляет собой относительно недавнее явление в России и прямо обусловлено ликвидацией церковнославянско-русской диглоссии. В частности, в ситуации диглоссии разговорная речь дворянского общества в принципе не отличается от речи иных социальных групп. Одни и те же нормы правильной речи (в данном случае — церковнославянские языковые нормы) объединяют при диглоссии самые разные слои общества (хотя бы эти слои и различались по степени владения соответствующими нормами). По выражению Тредиаковского, «нашей чистоте вся мера есть славенский» — и это, действительно, единствен-

рокова *подлое* — это «простонародное» (ср., например, критику выражения *Нептун чудился* в оде Ломоносова: «Чудился слово самое подлое и так подло как *дивовался*. Нептун не чудился, удивлялся», см. А. П. Сумароков, Критика на Оду, в изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание..., М., 1787, ч. X, стр. 84). Таким образом отмеченное различие в употреблении данного слова как бы соответствует разнице позиций Сумарокова и Тредиаковского.

¹⁷⁶ См. цитаты в кн.: В. В. Виноградов, Язык Пушкина, стр. 416; аналогичные выражения по тому же поводу можно встретить у Каченовского (см. там же). Ср. Комментарий, примеч. 15.

¹⁷⁷ Так, например, призывая ориентировать литературный язык на разговорную речь, П. И. Макаров предупреждает, как мы видели, против следования «выражениям простонародным» (см. стр. 240, примеч. 161). — Этот социолингвистический аспект очень отчетлив, между прочим, и у Сумарокова, который оправдывает употребление в литературных текстах местоимений «*етот, ета, ето, за сей, сия, сие*», ссылаясь на то, что «они слова не чужестранные и не простонародныя»: иначе говоря на их употребляемость в речи хорошего общества (А. П. Сумароков, Ответ на критику, в изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание..., ч. X, М., 1787, стр. 97). Между тем, для Шишкова и других архаистов эти местоимения, несомненно, являются именно «простонародными» элементами.

ный в этих условиях критерий правильной речи; естественно, что при этом и разговорная речь разных социальных групп оказывается более или менее единообразной, в принципе недифференцированной. Вместе с тем, с разрушением диглоссии исчезают единые критерии языковой правильности (объединяющие все общество в целом) и, соответственно, возникает проблема социального престижа тех или иных речевых навыков; социальная норма выступает при этом как субститут книжной — в условиях ликвидации диглоссии.

Вполне понятно, что главную роль играет в этот период речь дворянского социума, которая и оказывает наибольшее влияние на русский литературный язык. Именно на речь социальных верхов («изрядной компании») ориентируются первые кодификаторы русской речи (Тредиаковский и др.). Достаточно показательно, что и московский диалект на первых порах выделяется не как язык культурного (национального) центра, а именно как «главный при дворе и в дворянстве употребительной» (Ломоносов).

Между тем, речь дворянской элиты отличается от речи всех других слоев общества прежде всего своей гетерогенностью, обусловленной влиянием со стороны западноевропейских языков (причем здесь в значительной степени имеет место перенесение немецкой языковой ситуации, ср. выше): именно европеизмы и создают наиболее очевидный социолингвистический барьер между речью дворян и речью остальных слоев общества.

Поэтому «славянизация» языка (архаизация, насыщение славянизмами и т. п.) — прямо связанная, как было показано выше, с борьбой с западноевропейским влиянием, — может в принципе осмысляться как демократизация русской литературной речи. Не случайно славянизмы и архаизмы играют впоследствии столь большую роль в языке декабристской литературы^{177а}. Хотя Шишков и усматривал в «новом слоге» карамзинистов революционную опасность (ср. отношение Павла к галлицизмам как признакам идеологии французской революции), в действительности революционные идеи могли быть связаны, в виду только что сказанного, как раз со «старым слогом»: целый ряд писателей декабристского круга (Катенин, Кюхельбекер, Грибоедов) примыкают по своей лингвистической ориентации именно к шишковистам, а не к карамзинистам¹⁷⁸.

^{177а} Ср. замечания Г. А. Гуковского о соответствующей функции славянизмов в языке Радищева. См. Г. Гуковский, Радищев как писатель, в кн.: А. Н. Радищев. Материалы и исследования, М.—Л., 1936, стр. 189.

¹⁷⁸ Ср. реформу военной и административной терминологии, предложенную Пестелем в его «Записке о государственном правлении» и в «Записке о составе войск»: *армия* заменяется на *рать*, *офицер* на *чиновник*, *кирасир* на *латник*, *солдат* на *ратник*, *капральство* на *уряд*, *колонна* на *толпник*, *корпус* на *ополчение*, *дивизия* на *воерод*, *батальон* на *сразин*, *артиллерия* на *воемер*, *бронюет*, *линия* на *рядобой*, *каре* на *всебронь*, *пост* на *став*, *штаб* на *управа*, *кавалерия* на *конница*, *иррегулярная* на *бесстройная*, *ефрейторство* на *десяток*, *дирекция* на *равнение*, *диспозиция* на *боевой указ*, *экзекутор* на *исполнитель*, *штандарт* на *знамя*, *детаachment* на *отряд* и т. д. (см. изд.: «Восстание декабристов. Документы», т. VII, <М.>, 1958, стр. 219—267, 407—409, 609—610, 687—688). Ср. в этой связи также «Письмо к генералу NN о переводе воинских выражений на русский язык» Ф. Н. Глинки («Сын отечества», 1816, ч. 28, № 8, стр. 41 сл.). (Любопытно отметить совпадение этих предложений декабристов с идеями Юрия Крижанича, объясняемое, конечно, не исторически, но типологически: Крижанич также выступал против «употребления чужих слов в воинском деле», предлагая, между прочим, такие замены, как *рейтар* — *конник*, *солдат* — *пехотинец*, *мушкетер* — *пищальник* и т. п., см. Юрий Крижанич, Политика, М., 1965, стр. 86—87 и 440—441.)

Характерна, вместе с тем, идея славянского единения, свойственная некоторым декабристским кругам, ср. особенно «Общество Соединенных Сла-

Этот социальный аспект славянизации литературного языка со всей отчетливостью звучит, например, в следующих словах Кюхельбекера о карамзинистах: «Из слова <...> русского, богатого и мощного сияется извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих язык, un petit jargon de coterie. Без пощады изгоняя из него все речения и обороты Славянские и обогащая его *архитравами, колоннами, баронами, траурами*, Германизмами, Галлицизмами и Барбаризмами. В самой прозе стараются заменить причастия и деепричастия бесконечными местоимениями и союзами»¹⁷⁹.

Точно так же и филологические рассуждения в «Происшествии в царстве теней» С. Боброва имеют совершенно определенную демократическую направленность. Знаменательно, что в те же годы Бобров выступает со статьей «Патриоты и Герои, везде, всегда и во всяком, где доказывается, что истинный патриотизм присущ не только дворянству, а всем слоям населения (статья эта наполнена шпильками против дворян)»¹⁸⁰.

*
*
*

Языковая установка карамзинизма, как она охарактеризована выше, делает особенно актуальным вопрос о разговорной речи светского общества, т. е. социальном жаргоне дворянской элиты¹⁸¹. Этот жаргон лишь отчасти можно проследить по литературным текстам, поскольку литература, даже и в условиях ориентации на разговорную языковую стихию, предполагает определенный отбор средств выражения (с помощью критерия вкуса) — и, соответственно, разговорная речь подвергается здесь известной фильтрации.

В этой связи самый непосредственный интерес представляют многочисленные указания в «Происшествии в царстве теней» Боброва на соответствие «галлорусского наречия» карамзинистов — «щегольскому наречию» петиметров второй пол. XVIII в., как оно отражено в полемических произведениях этого времени¹⁸². Ведь «щегольское наречие», по существу, и может рассматриваться как дворянский социальный жаргон в его специфических формах, иначе говоря, речь дворянства постольку, поскольку она не нейтральна, социально маркирована, т. е. противостоит (и в известных случаях сознательно противопоставляется) речи всего остального

вян», название которого связано, возможно, отношением преемственности с масонской «Ложей Соединенных Славян» (действовавшей в Киеве в 1818—1822 гг.); ср., между тем, сказанное выше (стр. 211 наст. работы) о связи этнографического и лингвистического содержания слова *славянский*.

¹⁷⁹ В. К. Кюхельбекер, О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие, «Мнемозина», ч. II, 1824, стр. 38; курсив оригинала. Выражение для немногих представляет собой цитату, соответствующую названию придворного издания Жуковского («Für Wenige. Для немногих», М., 1818 г.).

¹⁸⁰ «Лицей», 1806, ч. II, № 1. Ср. еще стихотворение Боброва «К патриотам везде и во всяком. На случай Маниф<еста> от 30 ноября зего года», опубликованное в том же томе («Лицей», 1806, ч. IV, № 3).

¹⁸¹ Ср. любопытное свидетельство Вигеля о существовании такого жаргона: «В Петербурге жил он <М. А. Обрезков. — Ю. Л., Б. У.> в самом аристократическом кругу и (еще раз прошу позволения заимствовать у французского языка, чего нет в нашем), владея в совершенстве жаргоном большого света, постоянно в нем удерживался» (Ф. Ф. Вигель, Записки, т. I, М., 1928, стр. 215—216).

¹⁸² См. специально в Комментариях примеч. 8, 9, 13, 17, 19, 20, 28, 30, 37, 44, 45, 52, 59, 67, 71, 83, 103, 116, 124, 150, 168, 177, 185, 213, 231.

русского общества; естественно, что эти специфические формы общения в первую очередь характерны для столичных салонов¹⁸³. Нас не должно смущать то обстоятельство, что о «щегольском наречии» мы должны судить главным образом по карикатурным изображениям в полемической литературе; разумеется, следует делать скидки на сатирическое утрирование, которое обычно если и искажает действительную картину, то не делает ее вовсе невосстановимой.

Совпадения «галлорусского наречия» карамзинистов с «щегольским наречием» петиметров второй пол. XVIII в. в памфлете Боброва невозможно объяснить исключительно насчет жанровых особенностей сатирической литературы (хотя и влияние жанра, несомненно, также может играть известную роль) уже потому, что влияние «щегольского наречия» прослеживается и в современном русском литературном языке¹⁸⁴. Можно, таким образом, констатировать определенную разговорную традицию, которая первоначально была характерна для дворянского *beau monde'a*, а затем стала общим достоянием — в значительной мере под влиянием карамзинистов, деятельность которых и обусловила включение соответствующих выражений в литературный язык. Если такие, например, слова, как *интересный* (в значении «любопытный», «занимательный»), *серьезный* или *развязный* — в свое время одиозные (социолингвистически маркированные) и характерные для стилизованной речи галломанов¹⁸⁵ — вошли в русский литературный язык как нейтральные выражения, т. е. совсем не ощущаются здесь как гетерогенные элементы, то мы обязаны этим именно традиции разговорной речи, идущей от «галлорусского (resp.: щегольского) наречия» и в определенной степени легитимированной карамзинистами. То же самое относится, по-видимому, к таким словам, как *ах* как семантической кальки с фр. *ah* (ранее это междометие выражало лишь ужас, горе и т. п.), *преlestный*, *очаровательный* как семантических калек с фр. *charmant*, *séduisant* и т. п. (ранее эти слова связывались со злым, колдовским началом)¹⁸⁶, *обожать*

¹⁸³ В. В. Виноградов справедливо писал по этому поводу: «Изучение «наречия» «щеголей» и «щеголих» конца XVIII века нельзя отделять от вопроса о светском языке русской дворянской интеллигенции (столичной и находившейся под влиянием столиц — провинциальной), которая, разрывая связи с традициями церковной книжности, питалась французской «культурой». И далее: «Не будет парадоксальным утверждение, что диалект «щеголей» и «щеголих» XVIII века стал одной из социально-бытовых опор литературной речи русского дворянства конца XVIII — начала XIX веков» (см. В. В. Виноградов, *Язык Пушкина*, стр. 195—196).

¹⁸⁴ Понятно, вместе с тем, что нельзя ожидать абсолютного совпадения в условиях изменчивости живой речи (усугубляемой, к тому же, непостоянством моды). Можно сказать, что соответствия в данном случае более значимы, чем отличия.

¹⁸⁵ См. специально Комментарий, примеч. 150, 20 и 28.

¹⁸⁶ Ср. Комментарий, примеч. 13, 62, 103. — Калайдович констатирует в статье «О словах, изменивших свое значение»: «*Прелесть*, теперь берется в хорошем смысле, в каком Французское слово *les charmes* <...> А в церковных книгах в дурном, и означает прельщение, соблазн» («Труды Общества любителей российской словесности», ч. 18, М., 1820, стр. 89—90). Очень знаменательно следующее наблюдение Кюхельбекера: «Сегодня, когда прохаживался, матрос, из стоящих на карауле, взглянул на небо и воскликнул: «Какое *преlestное* небо!» Лет за десять назад любой матрос в нашем флоте, вероятно, даже не понял бы, если бы при нем кто назвал небо прелестным <...> Как после этого еще сомневаться, что наш век идет вперед?» (из неопубликованной части дневника, запись в Свеаборгской крепости от 23 апреля 1835 г., цит. по: Ю. Тынянов, В. К. Кюхельбекер, в изд.: В. К. Кюхельбекер, *Лирика и поэмы*, т. I, Л., 1939, стр. LIII—

как семантической кальки с фр. *idolâtrer*¹⁸⁷, *боже мой* в соответствии с фр. *mon dieu*¹⁸⁸, *мой ангел* (фр. *mon ange*), *чорт возьми* (ср. *diable m'emporte*)¹⁸⁹ и т. д. и т. п. В других случаях можно, кажется, проследить и непосредственную (а не через литературный язык) связь между этой разговорной традицией и разговорными навыками современного общества, которая объясняется влиянием разговорной речи дворянского общества на речь других сословий (прежде всего, городского мещанства)¹⁹⁰ и в конечном

LIV). Изолированное положение Кюхельбекера делало для него особенно заметным изменение языка, придавая ему как бы дискретный характер.

¹⁸⁷ Н. П. Николев в предисловии к пьесе «Розана и Любим» (1781) приводит *обожаю* как пример петиметрского слова (ср. Комментарий, примеч. 67); ср. еще этот глагол в стилизованной речи Щеголихи в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4, ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 292). Точно так же Шишков (Разговоры о словесности ..., СПб., 1811, стр. 116) констатирует, что раньше не могли сказать любовники: *я тебя обожаю*, замечая: «Все это чужое, не наше русское»; ср. у И. М. Долгорукова в стихотворении «Я» (см. изд.: «Поэты начала XIX века», Л., 1961, стр. 141):

Лет триста, например, назад тому, я чаю,
Любовник не певал: «Ах! я вас обожаю!»

Любопытно в этом же смысле шутивное толкование слова *обожать* в «Светском словаре», помещенном в «Вестнике Европы» за 1825 г.: «почесть принадлежащая Творцу, но весьма часто воздаваемая твари» (цит. по В. Д. Левину, Очерк..., стр. 361). — Ср. в этой связи характерное для «щегольского наречия» XVIII в. слово *болванчик* как перевод с фр. (*petite idole* (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 319—320, *passim*)).

¹⁸⁸ Ср. ремарку В. Пласина в его «Замечаниях на сочинение А. С. Пушкина: Борис Годунов» («Сын отечества», 1831, т. XX, ч. 142, № 25—26, стр. 289): «...о *боже мой!* Это голос не русского народа. Русский один не скажет о Боге: *мой*, а говорит обыкновенно: *наш*; и притом русские любят сложные восклицания и воззвания, как например: *Ах, господи, боже наш! О пресвятая богородица!*; знаменательно, что это восклицание ассоциируется с французским выражением и совершенно не связывается с соответствующим обращением в Псалтыри (например, в VII-м псалме и др.). Ср. в этой связи Комментарий, примеч. 32, о выражении *О небо* как кальке с фр. *o ciel!*

¹⁸⁹ Ср. эти выражения в примерах речи петиметров в «Бригадире» Фонвизина (акт II, явл. 4, 5, 6) и в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4, ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 203, 292).

¹⁹⁰ Так, уже Шишков констатирует, что «обветшалы иностранные слова, как например: *авантажиться, манериться, компанию водить, куры строить, комедь играть* и проч. <...> прогнаны уже из большого света и переселились к купцам и купчихам» (А. С. Шишков, Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка, СПб., 1818, стр. 23, примеч.). Между тем, эти выражения в свое время принадлежали, по-видимому, к «щегольскому наречию». Ср., например, выражение *строить дворики* в образах щегольской речи в «Живописце» (ч. I, 1772, л. 4), представляющее собой дословный перевод с фр. *faire la cour*; ср. там же (л. 17) отзыв мужа о своей жене: «Разговор ее ни в чем другом, по большей части, не состоит, как только рассказывает и делает заключения, кто кому творит какой-то *кур*, слово, которого я до женитьбы моей не знал» (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 294, 342). Ср. еще выражения *сделать компанию, сойтись с компаниею* в стилизованной петиметрской речи в «Бригадире» Фонвизина (см. изд.: Н. С. Тихонравов, Материалы для полного собрания сочинений Д. Н. Фонвизина, СПб., 1894, стр. 149, 140).

счете на разговорное койне. Сюда с вероятностью могут быть отнесены такие, например, выражения, как *быть не в своей тарелке, быть на хорошей ноге*¹⁹¹, *выкинуть вздор из головы, шутки прочь, отвязаться от кого, шутить, отцепись, бесподобно, уморительно* и т. п.¹⁹².

Связь карамзинизма с «щегольской» культурой проявляется вообще в целом ряде аспектов. Если даже не говорить специально об отношении к французской культуре и к национальной традиции, об общем оттенке манерности, жеманности, «изнеженности» и т. п., о чем более или менее подробно шла речь выше, очень показательной представляется такая хотя бы черта общности, как ориентация языкового поведения на женскую речь¹⁹³. Точно так же и эпатирующее поведение карамзинистов — очень заметное, например, в выступлениях П. И. Макарова — в известном смысле соответствует поведению щеголей второй пол. XVIII в.; это проявляется, между прочим, и в отношении к моде (ср. выше о демонстративных заявлениях Макарова на этот счет¹⁹⁴).

Несомненно, некоторые карамзинисты — такие, например, как П. И. Шаликов, В. Л. Пушкин или П. И. Макаров — должны были ассоциироваться с обликом петиметра¹⁹⁵. Необходимо подчеркнуть при этом, что и сам Карамзин с молодости мог восприниматься таким образом. Так, А. М. Кутузов в 1791 г. пишет карикатуру на Карамзина, где выводит его в образе петиметра Попугая Обезьянинова, который говорит о себе: «Мое воспитание не отличалось ничем от прочаго нашего дворянства воспитания: научили меня болтать по-французски и немецки; на сих двух языках имел я счастье читать множество *романов*, — на грубом российском языке *сказка* <...> Наставники мои были чужестранцы...» и т. п.¹⁹⁶. Об устойчивости

¹⁹¹ Ср. Комментарий, примеч. 9, 30.

¹⁹² Эти и подобные выражения специально квалифицируются как «щегольские» в новиковских журналах, см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 190, 312—313, 317. Конечно, не все эти выражения могут быть отнесены непосредственно насчет французского языкового влияния.

¹⁹³ См. стр. 230—232 наст. работы.

¹⁹⁴ Стр. 190—192 наст. работы.

¹⁹⁵ См. характеристику В. Л. Пушкина в «Записках» Ф. Ф. Вигеля (т. I, М., 1928, стр. 131, 133, 341) как типичного щеголя и модника: «Сибарит, франт, светский человек, он имел великое достоинство приучать ушеса щеголих, княгинь и графинь к звукам отечественной лиры» (стр. 341); ср. еще П. Вяземский, Старая записная книжка, Л., 1929, стр. 330. Об облике Макарова см. Г. Геннади, П. И. Макаров и его журнал «Московский Меркурий», — «Современник», 1854, т. 14, № 10. О Шаликове см. очерк В. Саитова в кн.: К. Н. Батюшков, Сочинения, т. I, СПб., 1887, стр. 434—437. — Ср. в этой связи уподобление «прежних петиметров» и «франтов нынешних», под которыми понимаются карамзинисты, у А. А. Палицына в «Послании к Привете», 1807 г. (см. изд.: «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 765).

¹⁹⁶ См.: Я. Л. Барсков, Переписка московских масонов XVIII-го века. 1780—1792 гг., Пг., 1915, стр. 70—73.

Следует иметь в виду, что *попугай* и *обезьяна* представляют собой стереотипные обозначения щеголя в сатирической литературе второй пол. XVIII в. [так, например, у Княжнина в комедии «Чудаки» (см. изд.: Я. Б. Княжнин, Избранные произведения, Л., 1961, стр. 516) или у Н. А. Львова в поэме «Русский 1791 год» и в «богатырской песни» «Добрыня» (см. изд.: «Поэты XVIII века», т. II, Л., 1972, стр. 208 и 228)]. Ср., в частности, такую же фразеологию и у самого Карамзина в «Письмах русского путешественника»: «В нашем так называемом *хорошем обществе* без французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? За чем быть попугаями и обезьянами вместе?» (Карамзин, Со-

данного представления можно судить хотя бы по следующей характеристике во второй редакции «Дома сумасшедших» А. Ф. Воейкова:

Карамзин, Тит Ливий русский,
Ты, как Шаликов, стонал,
Щеголял, как шут французский...
Ах, кто молод не бывал?¹⁹⁷

Особенно же важно для нашей темы, что и обиходная речь Карамзина в этот период, по-видимому, находилась под влиянием «щегольского наречия»¹⁹⁸. Ср. в этой связи отзыв Г. П. Каменева (1800 г.) о бытовой речи Карамзина: «Карамзин употребляет французских слов очень много. В десяти русских верно есть одно французское. *Имажинация, сентименты, tourment, energie, epithete, экспрессия, эксцеллировать* и проч: повторяет очень часто»¹⁹⁹.

Точно так же отпечаток «щегольского наречия» характерен, по-видимому, — в большей или меньшей степени — и для разговорной речи последователей Карамзина, насколько о ней можно судить по их письмам²⁰⁰. Так и для П. И. Макарова «щегольские фразы, остроумие и вкус» выступают как синонимы и, соответственно, выражение *щегольской слог* предстает в его критических статьях как положительная характеристика²⁰¹.

Таким образом, при желании можно было усмотреть прямую связь и отношения преемственности между петиметрской культурой и карамзинизмом: маска петиметра закономерно становилась маской карамзиниста — как это и наблюдается в памфлете Боброва.

Само собой разумеется, что все сказанное сейчас о карамзинизме приложимо прежде всего к раннему карамзинизму и в первую очередь — к эпигонам Карамзина (поскольку вообще «периферия», где все утрировано и откровенно, гораздо более показательна для изучения процессов развития, чем «центр» направления). В дальнейшем карамзинизм во многом отходит от своих первоначальных позиций и фактически в значительной степени сближается с противостоящим ему направлением. Показателен известный отзыв Катенина 20-х гг. о Карамзине и карамзинистах: в письме к

чинения, т. V, М., 1814, стр. 198). Точно так же в статье «Странность» Карамзин называет русских галломанов «французскими обезьянами и попу-гаями» («Вестник Европы», 1802, ч. I, № 2, стр. 55—57).

¹⁹⁷ См. Ю. М. Лотман, Сатира Воейкова «Дом сумасшедших», «Труды по русской и славянской филологии», XXI, Тарту, 1973 (Уч. зап. ТГУ, вып. 306), стр. 14. Вторая редакция сатиры Воейкова относится к 1818—1822 гг.

¹⁹⁸ См. анализ бытовой речи Карамзина в этом плане в кн.: В. В. Виноградова, Язык Пушкина, стр. 196—197. См. также Комментарий, примеч. 46, 150.

¹⁹⁹ См. письмо Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову от 10 октября 1800 г. в изд.: Е. Бобров, Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки, т. III, Казань, 1902, стр. 130 (ср. также: Н. И. Второв, Г. П. Каменев, в изд.: «Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный В. А. Соллогубом», кн. I, СПб., 1845, стр. 49—50).

²⁰⁰ Ср., например, у Батюшкова в письме к Гнедичу от 1 ноября 1809 г. такие типичные выражения, как *дурачество, бесподобное слово* и т. п. (К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 52). Соответствующие выражения отмечаются как специфические для щегольского жаргона второй пол. XVIII в. в целом ряде источников (относительно эпитета *бесподобный* см. некоторые примеры в Комментарий, примеч. 67; в отношении слова *дурачество* см. хотя бы в «Живописце», ч. I, 1772, лл. 4, 9, ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 294, 313).

²⁰¹ См. «Московский Меркурий», 1803, ч. II, май, стр. 140, ч. III, июль, стр. 57.

Бахтину от 9 марта 1823 г. Катенин писал, что «новый слог» претерпел существенные изменения со времени выступлений молодого Карамзина — автора «Писем русского путешественника»: «Этот слог не только в прозе очистился, но равномерно и в стихах, это действие времени необходимое; собственный же слог Карамзина путешественника и прочих ему подобных исчез, над ним смеются, сам Карамзин его переменял; не другие к нему приноровились, а напротив он сообразился с общим вкусом: это ясно и неоспоримо»²⁰². Точно так же и Шишков говорил, что Карамзин в своей «Истории государства Российского» хотя и «не образовал язык, но возвратился к нему, и умно сделал»²⁰³.

Это вполне закономерно: подобно тому как славянофилы, как было показано выше, испытывают заметное влияние карамзинистов, точно так же и карамзинисты подвержены влиянию со стороны противоположного направления. Фактически дело идет о динамическом взаимодействии обоих направлений, которое и обуславливает их постепенное сближение (при возможности сохранения субъективного антагонизма между той и другой группировкой)²⁰⁴; в этом, собственно, и состоит историческая роль и значение каждого из них для последующего развития русского литературного языка.

Это сближение обоих направлений ярче и полнее всего ознаменовано, конечно, в творчестве Пушкина. С Пушкина начинается эпоха стабилизации русского литературного языка, бурно развивающегося в течение всего XVIII в. в результате ликвидации церковнославянско-русской диглоссии: его творчество как бы подводит итоги борьбе языковых стихий, восходящей к антитезе церковнославянского и русского языков, и открывает, тем самым, новую эру в истории русского литературного языка²⁰⁵. Пушкину удастся ликвидировать антагонизм между этими стихиями, который на данном этапе проявляется прежде всего в противопоставлении «славенорусского» и «галлорусского» слога. Он освобождается от тех негативных (полемических) установок, которые свойственны как «славенороссам», так и «галлоруссам» и которые в значительной степени определяют собственную

²⁰² Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, СПб., 1911, стр. 39. — Ср., однако, бескомпромиссную позицию Кюхельбекера по отношению к творчеству Пушкина (см. ниже, стр. 253, примеч. 208).

²⁰³ А. С. Шишков, Сравнение Сумарокова с Лафонтеном..., в изд.: Шишков, Собрание сочинений и переводов, ч. XII, СПб., 1828, стр. 168. Характерен также аналогичный отзыв В. Плаксына об этом произведении: «Карамзин, частью убежденный некоторыми дельными замечаниями противной партии в ошибках своих относительно языка, частью начитавшись старинных летописей и вникнув в характер русского языка и в средство оного с славенским, умел выбрать средину между формами иноязычными и между славянским; а сим сродством он примирился с враждующею партией» (В. Плаксын, Руководство к познанию истории литературы, СПб., 1833, стр. 327—328; цит. по кн.: В. В. Виноградов, Язык Пушкина, стр. 95). Ср. еще отзывы критики 30-х гг., приведенные у Виноградова (указ. соч., стр. 38, примеч. 1, и стр. 54), а также В. Д. Левин, Очерк стилистики..., стр. 295—296, 315—316.

Ср. в этой связи мнение Ю. Н. Тынянова, что победа в языковой борьбе первых десятилетий XIX в. осталась за славянофилами, а не за карамзинистами (Ю. Н. Тынянов, Архаисты и новаторы, стр. 293, *passim*).

²⁰⁴ См. выше, стр. 215—222 наст. работы.

²⁰⁵ Значение Пушкина для истории литературного языка обусловлено характерной для этого периода ориентацией литературного языка на литературу. См. специально выше, стр. 240—241 наст. изд.

их позицию²⁰⁶: в период зрелости Пушкин так же далек от отрицательного отношения к славянизмам, характерного для карамзинистов, как и от пуризма славянофилов. Соответственно, обе стихии сближаются в его творчестве, органически вливаясь в общее русло русского литературного языка. В творчестве Пушкина осуществляется нейтрализация стилистических контрастов, тогда как ранее сочетание разнотильных элементов, если и было возможно в художественном тексте, то служило специальным целям поэтического обыгрывания^{206а}.

Самый путь Пушкина очень знаменателен и, вместе с тем, необычайно важен для последующей судьбы русского литературного языка. Пушкин начинает как убежденный карамзинист, но затем во многом отступает со своих первоначальных позиций, в какой-то степени сближаясь с «архаистами»²⁰⁷, причем это сближение имеет характер сознательной установки (см., например, взгляд на историю русского литературного языка в статье «О Предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» 1825 г.).

Соответственно, в творчестве Пушкина явно прослеживается «галлорусский» (если пользоваться терминологией Боброва) субстрат, и это обстоятельство определяет характер сближения «церковнославянской» и «русской» (в широком смысле) языковой стихии²⁰⁸. Очень характерен в этом плане отзыв Мериме о языке «Пиковой дамы» в письме к Соболевскому: «Я нахожу, что фраза Пушкина звучит совсем по-французски <...> Иногда я спрашиваю себя, а что, в самом деле, перед тем, как писать по-русски, не думаете ли вы все *Бояре* по-французски?»²⁰⁹. Вместе с тем, разговорная речь Пушкина и его окружения несет на себе более или менее явный отпечаток «щегольского» («галлорусского») жаргона²¹⁰. «Галлорус-

²⁰⁶ См. выше, стр. 221—222 наст. работы.

^{206а} См. Б. В. Томашевский, Вопросы языка в творчестве Пушкина, в кн.: Б. В. Томашевский, Стих и язык. Филологические очерки, М.—Л., 1959, стр. 427—428.

²⁰⁷ См. Ю. Н. Тынянов, Архаисты и Пушкин, в его кн.: «Архаисты и новаторы», В. В. Виноградов, Язык Пушкина, *passim*.

²⁰⁸ Отсюда, видимо, объясняется отрицательное в каком-то смысле отношение к творчеству Пушкина Кюхельбекера: отдавая должное таланту Пушкина, Кюхельбекер не принимает результатов его творчества. См. запись в дневнике Кюхельбекера под 17 января 1833 г.: «Перечитывая сегодня поутру начало третьей песни своей поэмы <«Юрий и Ксения» — Ю. Л., Б. У.>, — я заметил в механизме стихов и в слоге что-то пушкинское. Люблю и уважаю прекрасный талант Пушкина, но, признаться, мне бы не хотелось быть в числе его подражателей. Впрочем, никак, не могу понять, от чего это сходство могло произойти: мы, кажется, шли с 1820 года совершенно различными дорогами, он всегда выдавал себя (искренно ли или нет — это иное дело!) за приверженца школы так называемых очистителей языка, а я вот уже 12 лет служу в дружине славян под знаменем Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова» («Дневник В. К. Кюхельбекера», Л., 1929, стр. 88). Эти слова, может быть, нагляднее других демонстрируют, насколько актуальны были вопросы языка для литературной борьбы.

²⁰⁹ А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Соболевскому, М., 1928, стр. 99—100. Ср. нередкие у Пушкина — особенно в письмах — случаи пояснения значения русского слова соответствующим французским эквивалентом (приводимым в скобках), как бы обогащающим французский языковый субстрат; точно так же в критических заметках, «оценивая и определяя значение слова, Пушкин прибегал почти всегда к сопоставлению с французским языком» (В. В. Виноградов, Очерки..., стр. 239—240, ср. его же, Язык Пушкина, стр. 262—266).

²¹⁰ Ср., например, регулярное в письмах Пушкина и к Пушкину обращение *радость*, которое в сатирических журналах Н. И. Новикова фигурирует как специфическое «щегольское» слово (ср. также *моя прелесть*, *мой ангел*

ская» перспектива проявляется у Пушкина и в характере сближения — и поэтизации — церковнославянской и просторечной языковой стихии²¹¹.

При этом, однако, Пушкин заявляет себя противником отождествления письменного (литературного) и разговорного языка — его позиция в этом отношении обнаруживает известную близость к позиции «архаистов»²¹² — и это обуславливает особый стилистический оттенок как славянизмов, так и галлицизмов в его творчестве: если славянизмы рассматриваются им как стилистическая возможность, как сознательный поэтический прием то галлицизмы могут восприниматься как нейтральные элементы речи. Тем самым языковое своеобразие зрелого Пушкина с известным огрублением может быть выражено формулой: галлорусский субстрат + славянорусский суперстрат. Эта формула, думается, и определяет вообще последующее развитие русского литературного языка.

и т. п.). (Ср. к этому еще Комментарий, примеч. 28). Замечательно, однако, что, употребляя в переписке «щегольское» выражение, Пушкин в ряде случаев дает параллельный к нему вариант. Ср. письма Пушкина к Вяземскому (начала и концовки). Так, письмо от 15 июля 1824 г. заканчивается словами: «Прощай, моя радость. Благослови, Преосвященный Владыко Асмодей», а письмо от 1 декабря 1826 г. начинается обращением: «Ангел мой Вяземской, или пряник мой Вяземской». В обоих случаях Пушкин как бы переводит с «щегольского» (светского) слога на славянский или на просторечный (которые противопоставлены ему в языковом сознании).

²¹¹ См. выше, стр. 235—236 наст. работы.

²¹² Ср. в его «Письме к издателю» (журнала «Современник») 1836 г. «Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения *сей* и *оний*, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: *каре́та скачу́щая по мосту, слуга мету́щий комнату*; мы говорим: *которая скачет, который метет* и пр., — заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено <...> Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка».

ПРОИЗШЕСТВІЕ
ВЪ ЦАРСТВѢ ТѢНЕЙ,
или
СУДЬБИНА РОССІЙСКАГО ЯЗЫКА

1805 года
Ноября дня
Санктпетербургъ

Его
превосходительству
Господину Тайному Советнику,
Сенатору,
Товарищу Министра
народнаго просвѣщенія
Императорскаго Московскаго университета
Попечителю

и
Разныхъ орденовъ
Кавалеру,
Михаилу Никитичу
МУРАВЬЕВУ,
Милостивому Государю

Съ истинными чувствованіями
признательности, глубокопочита-
нія и преданности посвящаетъ
Семень Бобровъ

Utile dulci....
Hor. —

- И нынѣ, кромѣ прехожденія [т. е. преселенія], а паче отъ неразсудныхъ и не хранящихъ чести народа и языка своего безъ нужды отъ самохвальства чужие слова, да иногда и неправо вносятъ, мня, яко бы тѣмъ свой языкъ украшаютъ. —

Татищевъ въ ист. Росс.
Гл. 31. стр. 390.

- Самохвалы вредъ въ языкѣ наносятъ, мня странными рѣченіи ихъ разговоры и письма украсить, что токмо въ голову придесть эи тѣмъ... в недоумѣніе или странное мнѣніе приводятъ. —

Тамъ же стр. 494.

*Слова еще въ первой половинѣ
прошедшаго столѣтія съ жалобою
на порчу языка сказаны.¹*

Дѣствіе происходитъ между Галлоруссомъ, Бояномъ, Ломоносовымъ и Меркуріемъ на той сторонѣ рѣки Стикса.

Въ прежніе времена смѣшеніе народовъ и ихъ языковъ бывало по случаю преселеній, или завоеваній; тогда имъ необходимо надобно было вступить въ нѣкоторое родство съ инокровными жителями какъ по образу слова, такъ и по образу чувствованій. Во времена *Рюрика* чрезъ преселеніе Варяговъ въ Новгородскую область сіе легко могло статься. Но нынѣ такое смѣшеніе происходитъ со всѣмъ иначе. Безъ всякаго преселенія, безъ всякаго завоеванія, и безъ всякой нужды *Гальская* *стать*, обычай и наряды вкрадываются даже и въ руской языкъ, такъ что на коренной и существенной образъ нашего слова² какъ будто наложено запрещеніе или амбарго,³ и видно, что безъ боя трудно будетъ намъ отъ себя выпроводить сихъ гостей. Что я говорю! — Не только *Вельшскія* поговорки,⁴ но и нѣкоторые умствованія, которые, правду сказать, не очень, . . . подобно выходцамъ, кажется, пріѣхали токмо препроводить время, или погостить подъ рускимъ небомъ; а вмѣсто того они уже вздумали совершенно водвориться. — Лестное сближеніе и родство! — Изъ сей то смѣси языка родились не давно полуроссы и полугаллы, или однимъ именемъ назвать, *Галлоруссы*.⁵ Число ихъ въ нашемъ отечествѣ нынѣ довольно; но никто изъ нихъ по образу мыслей и разговоровъ не заслужилъ такого общаго вниманія, какъ сей избранный мною теперь рыцаремъ произшествія. Онъ напоенъ бывъ чрезъ мѣру *Гальскимъ* духомъ, старался влить его и въ самые чувства соотечественниковъ, старался влить и въ самый образъ ихъ слова. Мнимый блескъ его ослѣпилъ многихъ слабодушныхъ; но къ щастію и радости истинныхъ любителей всякаго отечественнаго блага вдругъ онъ преселился на другой берегъ *Стикса*.⁶ Испивъ воды изъ рѣки Забвенія, забываетъ все прошедшее, но не забываетъ токмо любимыхъ своихъ выраженій. Въ такомъ мрачномъ состояніи будучи по выходѣ изъ Хароновой лодки, на конецъ какъ бы пробоужается, собираетъ въ памяти все прежнее, изумляется отъ настоящаго,⁷ оглядываетъ всѣ предметы, страшится, — ободряется, изъявляетъ удивленіе свое въ полурускихъ словахъ, и между тѣмъ видитъ нѣкоторыя тѣни старыхъ русскихъ. Одна изъ нихъ ходитъ съ важнымъ видомъ; Меркурій подлѣ нее. —

* * *

«Какая странность?»⁸ — сказалъ онъ; — Гдѣ я теперь? откуда и куда меня занесло? а! — къ старымъ рускимъ! — я *не на хорошей ногѣ*;⁹ — такъ; — я вижу сѣдаго бородача съ какимъ то свиткомъ и сквозными гуслими!¹⁰ — Не это ли *Филомела Рюриковыхъ*, или *Олеговыхъ дней*? — Повидаться съ нимъ. — [*узнаетъ его*] Здравствуй, старина! — возможно ли? — Я лично честь имѣю видѣть здѣсь *Бояна*, котораго в Россіи не давно и по слуху узнали! — на какой ты здѣсь *ногѣ*?¹¹ не *ретушируешь*¹² ли старыя свои погудки? . . .»

* *
*

Такова была первая встрѣча и привѣтствіе *Галлорускаго* переселенца. *Боянъ* сколь ни извѣстенъ былъ около девятаго или десятого вѣка въ древней Россіи, такъ какъ и всѣ одноплеменные съ нимъ Скандинавские Барды; но имя его подлинно еще недавно открыто. — При переправѣ *Галлорусса* чрезъ Стиксъ онъ спокойно прохаживался по берегу; но увидя его приближающагося, съ нѣкоторымъ удивленіемъ говоритъ про себя: — «Кто бы это такой былъ? — Не одноземецъ ли, не потомокъ ли мой? — нѣтъ; — онъ нимало не сходствуетъ съ моими современными; надобно полагать, что онъ и говоритъ на иномъ языкѣ. — [*къ нему*] Добро пожаловать, дорогой гость! благодарю за привѣтствіе твое, могу ли спросить, коея ты страны? твоя одежда, поступь и чуждое мнѣ нарѣчіе показываютъ тебя иноплеменникомъ; не изъ *Далмаціи* ли? или изъ *Истріи*, или изъ *Вандалиі*?

Галлоруссъ

Какъ иноплеменникомъ? — Какъ изъ *Вандалиі*? [*въ сторону*] ахъ!¹³ какъ это всё *пахнетъ стариной*?¹⁴ — даже не сносно; — будто мой языкъ чужой ему! — [*къ нему*] не ужъ ли ты не видишь во мнѣ россиянина? Знаешь ли, что нынѣ у насъ *всѣ*¹⁵ *перемѣнившись*?¹⁶ — Я тебѣ расскажу: — на мѣсто неуклюжаго вашего платья, вашихъ жупановъ носятъ послѣдней моды фракы, какъ видишь на мнѣ; — прическа на головѣ славная¹⁷ *a la Tite*,¹⁸ — бороды брѣютъ; — старыхъ упрямецъ обычаи брошены; всѣ *ихныя* морщины разправлены; — *ихняя* грубость, *ихняя*¹⁹ *серьезность*, или по вашему степенность,²⁰ какъ ветхія и поношенныя вещи, презрѣны; нынѣ все моложе, все *освѣженнѣе*; все улыбается; — чувства утонченнѣе;²¹ — языкъ русской *очищеннѣе*;²² кисть нашихъ Авторовъ²³ не по прежнему *сентиментальнѣе*,²⁴ живѣе, рѣзвѣе; вотъ какая во всемъ *реформировка*!²⁵ по чести скажу: прежняя Россія была подлинно *покрившись*²⁶ какимъ то ночнымъ мерцаніемъ; все было тогда

заблудительно,²⁷ не развязано,²⁸ не ныяснено; а нынѣ, — ты видишь и судишь по мнѣ, — вездѣ ужъ *разсвѣтавши*;²⁹ — однимъ словомъ, все въ своей тарелкѣ.^{30*}

Боянъ въ сторону.

Праведное небо!³² что я слышу? — какой языкъ? — [обратясь къ нему] Государь мой! не уже ли нынѣ въ Россіи всѣ изыясняютъ мысли свои такъ, какъ ты? — Естли бы ты не предувѣдомилъ о себѣ: то ей! ей! не зналъ бы я, что ты россіянинъ, потомокъ Славянъ и мой единоземецъ. — Горе языку! — Лучше подлинно со всѣмъ забыть его, и употреблять чужестранный, нежели говорить на немъ такимъ образомъ, какъ ты. Я видался съ *Богомиломъ*,³³ *Іакимомъ*, *Несторомъ*, *Могилою*, *Тупталомъ*,³⁵ *Прокоповичемъ*, *Яворскимъ*, *Кантемиромъ*, *Ломоносовымъ*, и со всѣми ими говорилъ; но бесѣда всѣхъ сихъ вѣтій, писателей и пѣвцовъ не такова, какъ твоя. — Правда; — и въ ихъ языкѣ ощутилъ я многую перемѣну, но безъ преступленія предѣловъ, и въ немъ не забыты основанія древняго слова.³⁶

Галлоруссъ.

Ты меня еще не можешь разумѣть, Г. Боянъ; надобно, что бѣ ты перевоспиталъ, и *перечистилъ* себя, *чтобъ*^{37а} меня понимать. Брось лучше эту старинную *галиматью*!³⁸ ахъ! — ты бы всема *щастливъ былъ*, *чтобъ*³⁹ учиться въ нашихъ *пансіонахъ*;⁴⁰ а естли бѣ при томъ узналъ всѣ наши *этикеты*;⁴¹ и естли бѣ, такъ сказать, ты былъ нарядясь^{41а} подобно намъ; *то* бы ей! во всемъ былъ развязаннѣе;⁴² *то* бы многіе *были*⁴³ тобою *плѣняющіеся*.⁴⁴ — На вѣрное въ твои времена не было такихъ училищъ, не было и *утонченнаго вкуса*;⁴⁵ а безъ вкуса можно ли писать, говорить, и *блистать*⁴⁶ въ жизни? Когда бы *льзя было*, что бѣ⁴⁷ ты опять возвратился на землю; то бы россіянъ *засталъ играть*⁴⁸ славную *роль*⁴⁹ — не по прежнему. Герои дерутся бойко, а *поэты поютъ браво*,⁵⁰ — не всѣ правда, но не такъ, какъ твоихъ временъ виршесплетатели похожие, какъ видно, на ханжей, или слѣпыхъ старцовъ бродящихъ по Украинскимъ ярморкамъ.⁵¹ — Ну! сыграй на пробу что нибудь на своихъ гусяхъ! и я *наиболѣе*⁵² въ себѣ увѣренъ буду.

Меркурій

Ты опять, братъ, сталъ видно по прежнему умничать, и чуху городить,⁵³ да еще и заставляешь старика играть. Пора тебѣ

* Во всѣхъ разговорахъ *Галлорусса* проведенныя линии для курсивныхъ буквъ означаютъ употребленныя имъ выраженія противъ свойства истиннаго языка, или по своенравію.³¹

къ *Вельшскимъ* красавицамъ, вѣдьмамъ! ⁵⁴ Тамъ наслушаешься пѣсней; ⁵⁵ пора, пора!

Боянъ

Не возбрани, сынъ Перуна! ⁵⁶ [*съ негодованіемъ Галлоруссу*] Какое пустословіе? — Галлоруссъ! Какъ ты ни странно, какъ ни смѣшно говоришь; но я сквозь сумятицу твоихъ словъ понимаю твою цѣль, и чувствую, что ты бы очень радъ былъ наставленіями своими развратить образъ чувствъ и словъ моихъ. Но тщетно. Вижу, что скромность тебѣ со всѣмъ чужда; ты съ чрезмѣрностію и неистовствомъ спѣшишь предо мною хвалиться собою; — безстыдное рвеніе! — конечно: въ мои времена не было вашихъ такъ называемыхъ *пансіоновъ*, ⁵⁷ гдѣ, сказываютъ, русская сорока прибавляетъ себѣ чужей пестроты, бѣснуетъ, и какъ бы хмѣлѣетъ отъ нѣкихъ *Секванскихъ* ⁵⁸ паровъ, становится болтливѣе и щекотливѣе, забываетъ родное, и на конецъ — себя не узнаетъ. Въ моемъ вѣкѣ болѣе Природа была училищемъ; но за то чада ея умѣли выпрашивать у нее, какъ у чадолюбивой Матери, преизящныя тайны, ⁵⁹ и ими пользоваться. Наши Пѣвцы почитали также долгомъ слѣдовать на брань за своими витязями и храбрыми князьями, видѣть собственными очами ратные ихъ подвиги, воспѣвать при ихъ торжествахъ, или пиршествахъ, словомъ: быть душою всѣхъ ихъ празднествъ и увеселеній, каковой чести едва ли ваши пѣвцы удостоиваются! — Тогда военная труба была ихъ языкомъ; мужественное велерѣчіе, котораго въ новыхъ писаніяхъ, говорятъ, мало уже находится, сопровождало ихъ пѣсни; любезная простота вдыхаемая природою была ихъ управляющею душою; — вотъ былъ нашъ вкусъ, и кажется, довлѣлъ нашему пѣснопѣнію. ⁶⁰ Всѣ тѣ Древніе Пѣвцы, которые не столь къ *большому свѣту*, ⁶¹ сколь къ природѣ ближе были, чрезъ сіе одно учинились дивными и очаровательными. ⁶² Знай, что *Омиръ*, *Оссіанъ*, *Боянъ* и *Природа* всегда были между собою друзья!

Галлоруссъ

Да вѣдь и мы, Г. *Боянъ*, не прочь отъ природы; она также водить нашею кистию; да разница во вкусѣ.

Боянъ

Великая разница; — въ новыхъ книгахъ вездѣ либо ложная блистательность, ⁶³ непомѣрная пестрота, напыщеніе, и нѣкая при томъ ухищренная гибкость пера, либо на противъ излишняя разнѣженность, — притворная какая то чувствительность, влюбчивость, слезливость, страшливость — даже до обмороковъ. —

Не спорю, что писать страстнымъ слогомъ, или по вашему, — *патетически*⁶⁴ очень похвально, особливо, когда самъ писатель чувствуетъ силу и достоинство предмета; но всему свое мѣсто и время. — Шествіе по стезямъ природы хотя бъ и не ограничивалось правилами искусства; но тогда и самое заблужденіе не безъ пріятности. Я испыталъ сіе. И такъ что мнѣ нужды въ вашихъ *пансіонахъ*, въ вашихъ *этикетахъ*, или ученіи въ *большомъ свѣтѣ*?⁶⁵ Мнѣ всегда пріятнѣе и полезнѣе было играть на лонѣ великой матери моей, нежели на шагъ отъ нее отступить, и своевольствовать. Довольно того, что я писалъ, и пѣлъ подъ однимъ ея руководствомъ, — и такимъ же образомъ жилъ. — *Меркурій!* Пусть онъ докончитъ рѣчь свою! Это для меня, да и для тебя, думаю, также, ново и забавно.

Меркурій

Ну, *Галлоруссъ*, мѣли! — а то скоро, скоро въ объятія твоихъ подругъ, — *Вельшскихъ* фурий!⁶⁶

Галлоруссъ

Что ты, *Боянъ*, толкуешь? Возьми только трудъ прочесть что-нибудь! — ты тогда увидишь . . .

Боянъ

Избав меня *Торъ* отъ сей тягости! — Когда я мало понимаю тебя: то колыми паче на бумагѣ писателей твоихъ временъ; въ нихъ, думаю, еще больше мудрости. Но ты, *Г. Галлоруссъ*, и самъ, видно изъ числа ихъ.

Галлоруссъ

Конечно; — и жалѣю до *безконечности*,⁶⁷ что я не способенъ переспорить, и убѣдить теперь тебя въ моихъ началахъ. Ты, старикъ, кажется, весьма увѣренъ о себѣ, и очень *упрямъ*, *чтобъ*⁶⁸ оставить⁶⁹ закоренѣлыя⁷⁰ свои пустяки,⁷¹ и *чтобъ* подлинно увидѣть свѣтъ. Надобно, *чтобъ* теперь между нами былъ кто нибудь третій, которой бы рѣшилъ, кто лучше; — ваши, или наши? — безъ того же коса на камень. — Ахъ, старовѣры, старовѣры! —

Боянъ

А я думаю, и увѣренъ, что ты наполня тощій свой черепъ *Секванскими* парами не хочешь, да и конечно не можешь увидѣть истиннаго свѣта; это непремѣнный жребій *нововѣровъ*,⁷²

галлизированныхъ несѣкомыхъ,⁷³ изчадіи отечества.⁷⁴ Нещастная тѣнь! Ты трогашь честь моихъ добрыхъ современниковъ, и побуждаешь отвѣчать тебѣ равною мѣрою. Ты безпокойнаго, вижу, духа; и такъ естли теперь уже до того дошло, что нуженъ для тебя посредникъ: то призови безпристрастнаго и знающаго какъ обычай, и языкъ моего вѣка, такъ и твоихъ времянь мудрованія!

Галлоруссъ

Всего лучше автора первой половины осьмнатцатаго вѣка; — слышишь ли, старикъ? — но кого жъ? — *Прокоповича!* — нѣтъ, онъ, говорятъ, съ лишкомъ славянируетъ;⁷⁵ — *Кантемира!* — то же. — Всего складнѣе *Ломоносова*;^{75a} это феноменъ⁷⁶ нашихъ времянь; слышишь ли? Онъ много *начитанъ*⁷⁷ въ старыхъ и новыхъ книгахъ, и *довольно силенъ, чтобъ*⁷⁸ рѣшить насъ. Въ немъ кромѣ того найдешь⁷⁹ француза и нѣмца, латыньщика и грека; онъ химикъ, физикъ, ораторъ, поэтъ, и всё... Онъ то будетъ судьей стоящимъ на средней точкѣ⁸⁰ между древностію и новостію рускаго просвѣщенія. Этотъ славной человекъ⁸¹ много трудовъ положилъ; за то теперь отдыхаетъ; при мнѣ еще Музы унесли его въ Елисейскія бесѣдки,⁸² и говорятъ, ему *здѣлали постѣль*⁸³ для вѣчнаго спокойствія, а можетъ быть также произвели его здѣсь въ судьи всѣхъ русскихъ авторовъ. О! Естли такъ; вѣрно онъ не смѣетъ опрокинуться на меня;⁸⁴ я буду правъ въ моихъ *бютахъ*,⁸⁵ и дѣло выиграю. — Попросить Меркурія, чтобъ онъ пригласилъ его сюда! — Эй, Г. Меркурій! *Здѣлай, чтобъ*⁸⁶ пришелъ сюда *Ломонос*...

Меркурій съ хохотаньемъ прерываетъ его:

Ха, ха, ха! — Онъ мнѣ ужъ и повелѣніе даетъ, да еще французскимъ манеромъ!⁸⁷ — право, ты, забавенъ, Г. Красномѣля; — не думаешь ли по дару слова своего заступить мое мѣсто? нѣтъ, пріятель, не доросъ еще; — ну! какого ты спрашиваешь судью? мнѣ слышалось, *Миноса*; да я и безъ спросу сей часъ отведу тебя къ нему; онъ знаетъ, куда тебя приговорить.

Галлоруссъ

Ахъ, Меркурій! Повремени не много! Намъ надобенъ *Ломоносовъ*, а не *Миносъ*. *Здѣлай* только, *чтобъ*⁸⁸ онъ пришелъ сюда, и разсудилъ меня съ *Бояномъ*! Мы *положили* его *быть*⁸⁹ нашимъ судьей.

Боянъ

Божественный вѣстникъ! пусть сей юноша самъ себѣ приготовитъ должное истязаніе! Онъ съ лишкомъ рыанъ. Я не упо-

ваю, чтобы *Ломоносовъ*, какъ истинный судья, услыша столь странное Галлобѣсіе,⁹⁰ поставилъ его одесную.⁹¹ Сказываютъ, что онъ часто прогуливается съ священнѣйшими тѣнями, слушааетъ бесѣды *Омира*, *Исїода*,⁹² *Пиндара*, *Анакреона*, *Демосѳена*, *Цицерона*, *Виргилія*, и ему также внимаютъ вмѣстѣ съ ними *Малербъ*, *Жанъ-Батистъ Руссо*, и *Гинтеръ*.⁹³ Теперь онъ безъ сумнѣнія съ ними; пригласи сего знаменитаго мужа!⁹⁴

Меркурій

А! — развѣ для того, чтобы приготовить Галлобѣса⁹⁵ къ тому воздаянію, какое опредѣлено будетъ остроумнымъ Холмогорцемъ! Я знаю его; онъ не проронитъ, что надобно;⁹⁶ а послѣ я

* *
*

Сказавъ сіе, *Меркурій* летитъ, и тотчасъ возвращается съ *Ломоносовымъ*, который подходя, вдругъ слышитъ неожиданную гармонию, приходитъ въ восхищеніе, и останавливается. — *Боянъ* между тѣмъ по усмотрѣніи *Ломоносова* взявъ арфу,⁹⁷ играетъ торжественную пѣснь, какую онъ нѣкогда возглашалъ при срѣтеніи *Рюрика* изъ *Галліи* возвращавшагося; а *Галлоруссъ* приходитъ въ крайнее изумленіе,⁹⁸ отскакиваетъ шаговъ на пять, и хранитъ молчаніе.

Галлоруссъ про себя:

Я не ожидалъ этаго; — Онъ еще замысловать; изрядно выигрываетъ.⁹⁹ — Вот и *Ломоносовъ*! Онъ что то хочетъ говорить; — не обо мнѣ ли? —

Ломоносовъ

Какое слышу божественное согласіе?¹⁰⁰ Сія стройная и очаровательная пѣснь¹⁰¹ выше человѣческой; это пѣснь какого нибудь пророка! — Но кому я нуженъ здѣсь? для какой разправы? скажите мнѣ, друзья мои! — А! — Ты здѣсь, почтенный *Боянъ*! — съ кѣмъ занимаешься разговоромъ? — не напрасно ли я призванъ сюда? — Ты самъ столько знаменитъ и совершенъ, что едва ли могу быть полезенъ къ приращенію славы твоихъ дарованій!

Боянъ переставъ играть

Радуюсь прибытію твоему, великій пѣвецъ Славы российской! — Первенствуй во вѣки между нами, и суди праведно¹⁰²

челомъбьющихъ тебѣ Бардовъ! — Не я, но паче сей юноша ищетъ нѣкоего уряда; онъ въ краткое время бесѣды успѣлъ поразить буесловіемъ своимъ, издѣваясь надъ праотеческимъ обычаемъ, языкомъ и правилами, а превознося токмо свои и сверстническіе непонятные мнѣ писанія. Ты самъ услышишь отъ него.

Ломоносовъ обратясь къ *Галлор*.

Тѣнь безпокойная! о чемъ ты здѣсь споришь, и шумишь?

Галлоруссъ съ почительностію, но и не безъ надмѣннаго вида.

Вообразите! — Этотъ старикъ, — правда, онъ какъ видно, не безъ таланта, — но ахъ! — презираетъ все, что вы ни ввели въ русской языкъ. — Мы всѣ кромѣ его также слѣдуемъ вамъ, а можетъ быть — и далѣе, чѣмъ вы. — Презрѣніе его мнѣ не сносно; я вступаюсь, какъ должно, съ горячністію; представляю ему прелести новаго;¹⁰³ но *Боянъ*, какъ деревянная стѣна, не чувствуетъ, — и всё ладить по своему; упрямъ до безконечности.¹⁰⁴ — Не думайте, чтобъ я хотѣлъ¹⁰⁵ браниться съ нимъ! — нѣтъ; я съ лишкомъ *женерозъ*;¹⁰⁶ съ лишкомъ *далекъ отъ*¹⁰⁷ того, *чтобъ*¹⁰⁸ *заниматься*^{108a} съ нимъ; мнѣ больно лишь то, что онъ беретъ мѣсто¹⁰⁹ между нашими поэтами, и перехватываетъ у нихъ вѣнки. Ветошка, — всё ветошка;¹¹⁰ и старая мудрость — всё пометъ, всё не дѣльна, и не достойна памяти нашей. Вотъ, въ чемъ все дѣло! и я *безъ того* не рѣшился съ нимъ, *что бѣ*¹¹¹ вы были нашимъ судьбою.

Ломоносовъ

Много говорено, да мало сказано добраго.^{111a} Я примѣчаю въ твоихъ словахъ больше ложнаго предубѣжденія и клеветы, нежели разсудка. Вспомни, гдѣ ты теперь! Ты еще не очистился отъ земныхъ примѣсей; образъ мыслей и рѣчей твоихъ сіе доказываетъ. Скажи, другъ мой, у какого ты профессора учился такъ хорошо разсуждать, и говорить? — у *Адама Адамыча*,¹¹² или у какого *Мусье*. — Видно, что ты читалъ много моихъ правилъ и сочиненій. Я это вижу изъ чистаго твоего нарѣчія, и правильныхъ выраженій, — *безъ того не рѣшился, чтобъ*; — *очень далекъ отъ того, чтобъ*...¹¹³ какое прекрасное изъясненіе? — и ты хвалишь все сему подобное! — Докажи же мнѣ достоинство новыхъ своихъ введеній, вкусъ и доброту своей словесности!¹¹⁴

Галлоруссъ

Сей часть, сей часть; — я въ доказательство прочту вамъ довольно собственныхъ и чужихъ сочиненій. — Нѣтъ, — коль

скоро уже *Боянъ* игрою своею разтрогалъ ¹¹⁵ мой *жени*; ¹¹⁶ такъ я и самъ для васъ пропою сперва свою арію, а потомъ чужіе; — вы *найдете насъ очень далекими* въ новой *методѣ изливать* краснорѣчіе чувствъ. ¹¹⁷

Ломоносовъ

Пожалуй избавь меня отъ многого! — Изъ словъ твоихъ вижу, сколь пріятно будетъ слушать новостатейныхъ мудрагелей ¹¹⁸ и отщепенцовъ. Ну! прочти! — или запой, что упомянешь, — да только отборное!

Галлоруссъ

Самое, — самое отборное! [*поетъ арію на разлуку съ любовницей*]

Разставаяся съ тобою
чистымъ сердцемъ я *кленусь*,
не забвенна будешь мною,
пока жизни не лишусь.

Ломоносовъ

Что это, *пока жизни*? — Гдѣ удареніе? Это оборотни стопъ! — или, — *чистымъ сердцемъ* я клянусь; тутъ правильнѣе говорить: *съ чистымъ*, а не просто, *чистымъ* сердцемъ. — Отборная пѣсенка, видно!

Галлоруссъ

Возьмите терпѣніе, ¹¹⁹ и дайте мнѣ продолжать! Я теперь въ *духъ пѣть*. ¹²⁰ [*поетъ далѣе*]

Пусть судьбы ожесточатся!
Пусть сугубятъ свой ударъ!
Въ насъ сердца не премѣнятся,
не загаснетъ *любви* жаръ.
Уступая гнѣвну року,
любовь вѣчно сохранимъ,
бездну чтя *судебъ* глубоко,
въ волю ихъ сердца вручимъ. —

Ломоносовъ

Опять потеряно удареніе: *любви жаръ*, или *любовь вѣчно*. — Въ мое время словоудареніе не было въ такомъ небреженіи,

какъ у васъ, Господа *Галлоруссы*. — О прочемъ уже не говорю, а замѣчу: — Что за мысль въ послѣднихъ куплетахъ? Въ первомъ ты общаешься, кажется, чрезъ постоянство любви быть выше самаго рока, а въ послѣднемъ уступаешь оному, подтверждая между тѣмъ вѣчность любви; — презирать судьбу, и вдругъ уступать, — это значить, что вещь или мало обдумана, или на удачу сплетена. — Что такое опять? — *бездну чтя судьбъ глубоко*; т. е. уважая пропасть судьбъ! — нарядно! ¹²¹ — къ *судьбѣ*, или къ *судьбамъ* мало, кажется, идетъ *бездна*, а къ *безднѣ* прилаг. — *глубокій*. Лучше къ *судьбѣ* примѣняется не проницаемый *мракъ*, *покровъ* или *завѣса*, такъ какъ и къ *безднѣ* лучше прилагается слово: *необъятный*, *непостижимый*, *безпрѣдельный*; что бездонно; то и необъятно, безмѣрно, безпрѣдѣльно; а глубина, сколь бы ни ужасна была, имѣетъ еще дно, мѣру и предѣлъ. — Да ты, вижу, хороший *импровизаторъ*! ^{121a} — очень весело; а еще веселѣе, если бы ты со всѣмъ за сіе ремесло не принимался, и замолчалъ. Напрасно ты и трудился. Жаль только тратить время на строгой разборъ такихъ пустословій! — Въ небольшомъ отрывкѣ столько погрѣшностей! — Что же сказать о большихъ? Не всѣ ли послѣ меня такимъ образомъ сочиняютъ? — Я ужасаюсь. — Ну! нѣтъ ли у тебя еще чего новаго? — да что за тетрадь подъ твоей мышкой? одолжи, пожалуй! можетъ быть лучше пѣсней твоихъ мы съ *Бояномъ* что нибудь тутъ прочтемъ, и позабавимся, а тебя — увольняемъ отъ пѣнія. — А! Это записная книга наполненная стихами!

Галлоруссъ

[*съ довольнымъ и тщеславнымъ видомъ подаетъ.*]

Это выписки изъ лучшихъ авторовъ; извольте полюбопытствовать! вы тамъ откроете печать чистаго вкуса. — ¹²²

Ломоносовъ —

[*читаетъ на первомъ листѣ*]

Вижу; — это выписка изъ хора!

Мы *ликуемъ* славы *звуки*,
чтобъ враги могли *то зрѣть*,
что свои готовы руки
въ край вселенной мы *простерть*. ¹²³

Въ четырехъ стихахъ сочинитель, кажется, боролся съ языкомъ, и не смогъ. Если бъ онъ нелѣпое выраженіе, *ликуемъ звуки*, гдѣ средній глаголъ худо управляетъ, — близкое стеченіе слоговъ, *чтобъ, то, что*, и бѣдность рیمъ, *зрѣть, простерть*, — потрудился исправить: то бы сіи четыре строки были правильнѣе и пріятнѣе. ¹²⁴ — Посмотримъ другія выписки! Вотъ, какъ любовница желая быть птичкою, говоритъ о любовникѣ! — Это, видно, одна изъ новыѣхъ пѣсней. —

Онъ сталъ бы *меня* нѣжа
ласкать, и цѣловать;
я бѣ ласки *ему* тѣ же
старалась повторять. —

Вотъ, какъ еще любовникъ даетъ сильное наставленіе посылаемой отъ него къ любовницѣ пѣсенкѣ!

Внуши сердечны муки
небеснымъ *красотамъ*!

• • • • •
Когда бѣ всѣ свѣта троны
въ мою давали власть;
не презрилъ бы *короны*,
чтобъ въ ней предъ нею пасть

• • • • •
Напоминай всечасно,
что жизнь безъ ней мнѣ адъ,
и все, что есть *прекрасно*,
Ея одинъ лишь *взглядъ*. —

Такого же разбора; только отъ лица любовницы:

Ах, онъ того *достоенъ*,
чтобъ храмъ ему создать,
духъ въкъ *будетъ спокоенъ*
его лишь обожать. —

Помилуйте! — долго ли ушамъ моимъ мучиться отъ несносныхъ противо-удареній, меня, — ему, — будетъ? — также слышать искаженные для риѣмы слова: *нѣжа*, *тѣ же*, — *достоенъ*, *спокоенъ*; или на оборотъ, какъ я у многихъ читывалъ: *достойнъ*, *спокойнъ*, — *строинъ*?¹²⁵ Положимъ, что стихотворцамъ дана вольность и право; однако не на порчу языка; въ противномъ случаѣ лучше писать безъ риѣмы,¹²⁶ и во многихъ отношеніяхъ сохранить пользу Генія,¹²⁷ нежели для риѣмы исказить слова. — Глаголь, *внуши*, употребленъ со всѣмъ не къ стати; я слышалъ что въ такомъ же ложномъ понятіи у многихъ употребляется. *Внушить*, — значить точно, *внимать*, *слушать*, а не *объявить*, или *возвѣстить*, какъ здѣсь употреблено.¹²⁸ Иначе, *внуши сердечны муки небеснымъ красотамъ*, — будетъ значить: *внемли* вмѣсто, *объяви*, *мученія моего сердца небеснымъ красотамъ*, т. е. красотѣ, или божественной красавицѣ! Это выраженіе безъ всякаго знанія языка, безъ толку, и смѣшной тропѣ. — Мысль, — *не презрилъ бы*, вмѣсто, *не презрѣлъ бы*, *короны*, *чтобъ въ ней предъ нею пасть*, — такъ сказать, уже терта и

перетерта. Сколько она съ начала по своей пышности была блистательна и пріятна; ¹²⁹ столько теперь по не умѣренному и частому ея примѣненію ко всякой безъ разбору *Прелестѣ*, или *Пастушкѣ* затымилась, и опостылѣла. — Какъ не возвышаютъ *Прелестѣ*? Онѣ выше царей; онѣ Богини; — еще больше; — повелительницы самаго царя Боговъ. Какъ тогда не падать смертнымъ? Какое перо въ состояніи изобразить ихъ чувствованія? можетъ ли простое воображеніе тутъ дѣйствовать? Оно должно быть наполнено коронами, престолами, скипетрами, чтобъ дарить ими пастушекъ, напыщать слогъ, и не рѣдко между тѣмъ портить языкъ. — Опять сказано въ стихахъ: *И все, что есть прекрасно, одинъ ея лишь взгляды*; — Помилуйте! русской ли человѣкъ это говорить? Кажется, сочинитель хотѣлъ сказать: *и все, что ни есть в свѣтѣ прекраснаго, я нахожу въ одномъ ея взгляды*; или, *все, на что она ни взглянетъ, прекрасно*. — Какъ бы то ни было; но выраженіе и темно, и не выработано; надобно всегда догадываться. А слова: *Духъ въкъ будетъ спокоенъ его лишь обожать*, — похожи почти на твою, Галлоруссъ, милую поговорку, напр. *очень далека отъ того, чтобъ заниматься* и пр; ¹³⁰ помнишь ли ее? развѣ послѣ слова, *спокоенъ*, поставлена будетъ запятая; тогда найдется нѣкоторой толкъ, но въ чтеніи останется непонятнымъ; вездѣ должно только угадывать. — Стыдно вамъ изъясняться столь страннымъ образомъ. Как ни мудри въ стихахъ! но ихъ темнота то же, что чадъ для головы. — Посмотримъ далѣе!

Вотъ еще, как изнуренный тоскою бѣдный любовникъ вооружается противъ насилія смерти! —

Душу, что во мнѣ питало,
смерть не въ силахъ то сразить;
сердцу, что тебя вмѣщало,
льзя ли не безсмертну быть?
Нѣтъ, — нельзя тому быть мертву,
что дышало божествомъ, и пр. ¹³¹

Здѣсь хотя нѣтъ такихъ грубыхъ ошибокъ, какъ въ прежнихъ отрывкахъ, и языкъ чище; притомъ видно тутъ какъ бы дѣльное напряженіе мысли; ¹³² но въ первыхъ двухъ, во вторыхъ двухъ, и даже въ третьихъ двухъ одно и то же твердится съ нѣкоторою только перемѣною; къ чему это? развѣ сочинитель обращаясь около одной милой точки, не могъ изобрѣсти другихъ нужныхъ идей, и сообразя ихъ наполнить пустоту сего круга? — Онѣ еще доказываютъ, что сердце вмѣщавшее образъ любовницы, или дышавшее симъ тлѣннымъ Божествомъ не премѣнно будетъ безсмертно. — Новый доводъ безсмертія! — но не время ли закрыть записную твою книжку?

Галлоруссѣ.

Ахъ, почтенный *Ломоносовъ*! Здѣлайте честь ¹³³ моимъ выпи-
скамъ! прочтите еще далѣе! — Ей! много найдете плѣнитель-
наго. ¹³⁴

Ломоносовъ

[развертываетъ опять книжку.]

А! — Еще любовная пѣсня! — Я бы хотѣлъ поважнѣе что
нибудь; видно, ты только и замѣшанъ на аріяхъ. ¹³⁵ — Посмот-
римъ хотя ихъ!

Одна ты мнѣ мила
Есть, будешь, и была. ¹³⁶

Вотъ, какова красота! Что подлинно приличнѣе одной *вѣч-*
ности, то смѣло также идетъ и къ смертной милой. ¹³⁷ — Далѣе.

Начну то пѣть съ зарею,
день стану продолжать,
встрѣчаяся съ луною,
то жъ стану воспѣвать. ¹³⁸

Кажется, не лзя встрѣчаться съ луною, которая освѣщаетъ
весь земный шаръ; она не ходить, такъ какъ мы, по улицѣ для
разныхъ встрѣчъ. Для чего бы не сказать, *при возходѣ*, или
при возсіяніи луны? — Далѣе.

Тогда лишь позабуду
припѣвъ я сей *возпѣть*,
когда въ объятяхъ буду
себя твоихъ *имѣть*. ¹³⁹

Сей куплетъ все дѣло скрасилъ. Какъ хорошо и ловко ска-
зано, *припѣвъ воспѣть*, и *въ объятяхъ себя имѣть*? — и смѣш-
но, и не по руски. ¹⁴⁰ — Вотъ, еще что то начинается громко! ¹⁴¹

Дрожащею рукою
за лиру *днесь* берусь;
хочу воспѣти Хлою,
но въ сердцѣ я мятусь. ¹⁴²

Смѣсь Славенскаго с Новорускимъ, ¹⁴³ великолѣпнаго съ бѣд-
нымъ — да еще въ любовной пѣсни! — Какая пристойность и
сообразность въ слогъ? Что далѣе?

О несчастная минута!
вредной взоръ очамъ моимъ,
какъ принудила страсть люта
быть *мя* плѣнникомъ твоимъ

Подобно предыдущему; тамъ, *днесь, воспѣти*,¹⁴⁴ а здѣсь, *мя*, между простыми словами, какъ жемчугъ между голышемъ. Одинъ изъ моихъ современниковъ даже въ идилліяхъ, эклогахъ и драмахъ любилъ также употреблять подобные симъ слова.¹⁴⁵ — Что такое опять, *вредной взоръ очамъ*, т. е. *вредной взоръ взору!* — не лучше ли *опасной, ослѣпляющій?* — Какъ опять отработано выраженіе *принудила страсть люта быть мя плѣнникомъ?* — Далѣе.

Жажду зрѣть тебя, мой свѣтъ;
хотя вижу *тя*, драгая,
но въ свиданѣ пользы нѣтъ.

Опять, *тя*,¹⁴⁶ да еще не подалеку отъ, *хотя*, надъ коимъ и удареніе потеряно! — изрядная музыка! — Что то еще любовникъ говорить даже съ бѣшенствомъ? —

Сердце, *рвися, изрывайся!*
нѣтъ конца бѣдамъ твоимъ;

всѣ бѣды мнѣ ясны стали и пр.

Тфу! Какая бѣда? — нѣтъ подлинно. конца ни выпи́скамъ, ни ошибкамъ, какъ будто тѣмъ же бѣдамъ! — Довольно было сказать, *сердце, рвися!* — нѣтъ, надобно еще на закрѣпу прибавить дикой глаголь, *изрывайся!* — также, — *всѣ бѣды мнѣ ясны стали*, вмѣсто, *явны стали*, или *открылись, видимо, явно возстали*, — все сіе показываетъ недостатокъ въ знаніи языка. — [*Ломоносовъ перевертываетъ листы*] О! да еще множество выписано! и все одно и то же, — ошибки за ошибками въ разныхъ родахъ и уборахъ! — Кажется, ты, Г. Галлоруссъ, нарочно выписалъ такіа только статьи, гдѣ необходимо надобно рядомъ встрѣчать грубыхъ погрѣшности, особливо въ сихъ аріяхъ. Простота и естественность древнихъ нашихъ общенародныхъ пѣсней всегда плѣняла меня;¹⁴⁷ въ нихъ я не находилъ ни чужеземнаго щегольства, ни грубыхъ погрѣшностей, ни лишняго напряженія¹⁴⁸ по неволѣ доводящаго до оныхъ. Онѣ съ *Гальскихъ*, или *Авзонскихъ* образцовъ не списаны. Собственное чувство, а не рабское и буквальное подражаніе водило перомъ; но онѣ вмѣстѣ съ кореннымъ основаніемъ языка¹⁴⁹ презрѣны; — жалю. — Г. *Боянъ!* Какъ тебѣ кажется? — Понятна ли тебѣ красота нынѣшнихъ произведеній? не пострадалъ ли твой слухъ отъ нее? —

Боянъ

Какъ пострадать моему слуху, когда я мало могу разумѣть образъ такой красоты; мнѣ кажется, что я будто сквозь туманъ вижу едва мелькающее нѣчто *руское*.

Ломоносовъ

Нѣтъ ли, *Галлоруссѣ*, между твоими выписками что нибудь поважнѣе? — можетъ быть найдемъ и ошибки сообразныя важности предметовъ; за то есть, чѣмъ заняться.

Галлоруссѣ.

Переверните нѣсколько страницъ къ концу! вы тамъ точно увидите и важное, и занимательное, — подлинно самое *интересное*.¹⁵⁰

Ломоносовъ

[*находитъ отрывокъ въ самомъ дѣлѣ хорошихъ стиховъ.*]

А! — Это другаго покроя! — Виденъ соколъ по полету; — посмотримъ со вниманіемъ!

Кто рукой *бѣло-атласной*
арфы звучной, сладко-гласной
стрункамъ нѣжнымъ тонъ даетъ,
и гармоніей ліетъ
въ душу сладость, — *въ сердце вздохъ?*¹⁵¹

Алебастровыя груди, мраморные плечи, или шеи, и бѣло-атласныя руки, также снѣжныя, или молочныя тѣла нынѣшними метафористами употребляются очень часто и смѣло; но римляне и греки осторожнѣе и скромнѣе примѣняли женскія прелести къ безчувственнымъ камнямъ и другимъ хладнымъ вещамъ, дабы не обидѣть ихъ нѣжнаго и живаго сердца. Далѣе; — *и гармоніей ліетъ въ душу сладость, въ сердце вздохъ*. — Это для меня ново: *въ сердце вздохъ*. Посредствомъ трогательной музыки¹⁵² можно вливать въ сердце сладость, или пріятное чувствованіе, но не вздохъ. Приличнѣе сказать: *пѣвица* или *арфистка гармоническимъ пѣніемъ*, или *игрою заставляетъ вздыхать*, — или ближе сказать, — *изторгаетъ, извлекаетъ изъ сердца вздохъ*, а не *ліетъ его въ оное*. — Что еще? отрывокъ изъ какой то *Хер.....!*¹⁵³ прочтемъ!...

Кто тамъ сидитъ на бѣломъ камнѣ
подлѣ младаго человѣка,
на тисовый опершись посохъ,
въ печально вретѣще одѣянъ,
съ главою открытой предъ возходомъ? и пр.¹⁵⁴

Писано безъ риѣмъ; — но всё лучше, нежели безобразить слова¹⁵⁵ такими риѣмами, каковы напр: *достоенъ, спокоенъ — румяность, пріятность*, — или *зрѣть, простерть*, — *нѣжа, тѣ*

жа.¹⁵⁶ При всемъ томъ ежели здѣсь сочинитель успѣлъ избѣгнуть ошибокъ въ языкѣ; то не успѣлъ остеречься отъ погрѣшностей въ вещи, въ мысляхъ и картинахъ, напр. говоря о *шерифѣ: съ главой открытой предъ возходомъ*; — это ошибка историческая. — *Турки, Персіане и Арабы* никогда, и ни предъ кѣмъ не снимаютъ съ головы чалмы, или турбана, особливо подъ открытымъ небомъ. — [*читаетъ далѣе.*] А! — Это выписка изъ 57 страницы!¹⁵⁷ Тутъ описывается утесистый хребетъ раздѣляющій *Ялтовскую долину отъ Бейдарской*. — Видно, что сочинитель знакомъ съ прелестями природы;¹⁵⁸ но какъ сообразить слѣдующее его представленіе? Онъ сперва изображаетъ путешественника стоящимъ на вершинѣ сего приморскаго хребта; спрашиваетъ его, взбирался ли онъ, или спускался ли съ нее по выбитой горной лѣсницѣ въ долину? — и потомъ вдругъ говорить: *но коль спустился ты щастливо*, — какъ будто уже путешественникъ при глазахъ автора сошелъ съ горы въ низъ. — Значитъ ли это исправность въ картинѣ? Естли бъ сказано было: *но коль ты спускался когда нибудь съ горы*; то бы дѣло было лучше. — [*читаетъ еще другіе отрывки изъ того же.*] — Такъ, — довольно разноцвѣтно;¹⁵⁹ но сочинитель, кажется, индѣ занимается съ лишкомъ *виднымъ* подражаніемъ,¹⁶⁰ а индѣ для любимыхъ словъ и выражений растягиваетъ періоды; или для нихъ повторяетъ однѣ и тѣ же мысли, хотя и въ переменномъ образѣ; но тѣмъ самымъ либо ослабляетъ силу вещи; либо возмущаетъ, и затмѣваетъ смыслъ, чѣмъ очень много утомляется вниманіе читателя. Также я замѣтилъ у него, что онъ иногда выражаетъ высокими словами то, что можно по приличію слога изъяснить просто.¹⁶¹

Галлоруссъ

Это сочиненіе по частямъ было уже подъ судомъ раза три;¹⁶² но судьи съ лишкомъ ошадливы. О! — когда бы они *Лагарповыми глазами*¹⁶³ разсматривали; — критика была бы на *другой ногѣ*.¹⁶⁴

Ломоносовъ

Ты уже и радъ нападать, ничего не разбирая; а я думаю, что не худо самому писателю послѣ какихъ нибудь чужихъ сужденій всегда пересмотрѣть, и исправить свое произведеніе.¹⁶⁵

Галлоруссъ.

Оставьте это, Г. Ломоносовъ! а лучше прочтите отрывокъ изъ трагедіи! Тутъ пишетъ лучший *жени*,¹⁶⁶ онъ не давно *прославившись*;¹⁶⁷ щегольской драматистъ,¹⁶⁸ — знатокъ языка;

въ немъ уже не найдете, ошибокъ, хотя *Сѣверный вѣстникъ* и разсматривалъ.¹⁶⁹

Ломоносовъ

Ой! ты жени! прославившись!^{169a} — [оборачиваетъ листъ, и читаетъ большой отрывокъ изъ трагедіи.] — правда; — мастерски писано; сочинитель имѣлъ, видно, хорошаго проводника; но и тутъ примѣчается небреженіе; и тутъ надобно остановиться при нѣкоторыхъ мѣстахъ. — Прочтемъ на пр:

На нихъ вѣсы изъ змѣй возстали, и взвились;
съ ихъ факеловъ огни къ намъ искрами лились.¹⁷⁰

Когда пламени дается въ словахъ нѣкое теченіе: тогда огонь не льется искрами, а пламенными струями; естли жъ надобно, чтобъ пламень производилъ искры: то лучше сказать: отъ пламенниковъ искры сыпались,¹⁷¹ а не лились; ибо свойственнѣе имъ первое, нежели второе. Но въ означенномъ стихѣ лучше съ факеловъ литься огнямъ пламенными токами, или струями, нежели сыпаться искрами, а еще меньше литься ими. Далѣе:

— и страх, и леть, и смерть

Грозящую на насъ *кѣсѹ* свою *простерть*. —¹⁷²

Даже въ хвалимыхъ вашихъ Геніяхъ¹⁷³ всегда найдешь, какъ найдешь досадной проступокъ либо въ слоудудареніи, такъ, какъ здѣсь, *кѣсѹ*^{173a} вмѣсто *кѣсѹ*, либо своенравную перемѣну въ окончаніяхъ падежей, какъ напр: *чувствы, искусства, существы, торжества*, вмѣсто, *чувства, искусства*, и на такой же выворотъ: *опредѣлений, намѣреній*, вмѣсто, *опредѣленія, намѣренія*; а оттуда род. мн. *опредѣленіевъ, намѣреніевъ* вмѣсто *опредѣлений, намѣреній*,¹⁷⁴ яко бы все это для различенія отъ род. падежа единственнаго числа;^{174a} либо такую же нетерпимую погрѣшность въ склоненіи, какая въ сихъ стихахъ:

Отъ крови царскія та жертва быть должна;
тогда *по бѣдствіямъ* наступить тишина.

Или

По страшнымъ *симъ* словамъ умолкли Эвмениды,
сомкнулась алчна дверь, и проч. —¹⁷⁵

Въ словахъ, *по бѣдствіямъ*, — *по страшнымъ симъ* словамъ, по смыслу требовался предложной падежъ; но онъ или пренебрежень, или по какому нибудь злоупотребленію дано ему не то измѣненіе, какое надлежало; на противъ того они вмѣсто предложнаго положены въ дательномъ падежѣ множ. числа, якобы предлогъ *по*, въ семъ случаѣ того требовалъ; но чрезъ то здѣсь вышла со всѣмъ другая мысль. *По бѣдствіямъ наступитъ* — сіе значитъ будетъ или то, что тишина начнетъ ступать по бѣдствіямъ, будто по полямъ; или то, что наступитъ тишина *смотря на бѣдствія*, или *касательно бѣдствій*, *для бѣдствій*, *согласно съ бѣдствіями*; но все сіе очень не складно и противно смыслу.

Также и въ другомъ стихѣ, по страшнымъ симъ словамъ, для тѣхъ же самыхъ причинъ будетъ другой смыслъ; потому что падежъ сихъ именъ не получилъ надлежащаго измѣненія. Умѣй только склонить такимъ образомъ: по бѣдствіяхъ, — по страшныхъ сихъ словахъ! — тогда и мысль яснѣе, и языкъ чище.^{175a} Что же на это сказалъ Сѣверной вѣстникъ? Я бы хотель знать.

Галлоруссъ.

Ничего; — онъ только судилъ о нѣкоторыхъ лицахъ, характерахъ и ихъ разговорахъ вообще. Послѣ же сихъ стиховъ, которые вы теперь *рецензируете*,¹⁷⁶ тотчасъ слѣдуетъ сочинителю пышной эложь: ¹⁷⁷ *какая гармонія стиховъ и чистота языка? нѣтъ ни одного стиха, которому можно было не удивляться.* Вотъ что въ честь ему сказано! —

Ломоносовъ

Право! — Это подлинно лестная похвала; но я думаю, что она не совсѣмъ правильна. Сіе уже доказано мною. — Гладкость стиховъ, или легкое теченіе слова не составляетъ еще точной гармоніи. Я нашелъ стихи, которымъ не могу удивляться;¹⁷⁸ чистота языка не вездѣ. Въ прочемъ тутъ вижу перо не *Галлорусса*, вашего брата, а хорошаго послѣдователя образцовымъ. Геніямъ;¹⁷⁹ ошибки хотя у него и есть, но рѣдки, и то, какъ видно, по нѣкоторой нуждѣ. — Ну! нѣтъ ли еще изъ другихъ именитыхъ писателей отрывковъ? О! сего *Лукана* чуть помню...¹⁸⁰ Онъ, думаю, на учился довольно; — посмотримъ!

Онѣ [нимфы] кружась, рѣзвясь летали,
шумѣли, говорили вздоръ,
въ зеркала водъ себя казали...

а тутъ оставя караводы,
верхомъ скакали на коняхъ,
иль въ лодкахъ разсѣкая воды,
въ жемчужныхъ плавали струяхъ.

Киприда тутъ средь митръ сидѣла,
смѣялась глядя на дѣтей,
на возклицающихъ смотрѣла
поднявшихъ крылья лебедей...¹⁸¹

Далѣе — — оттуда же; — вотъ, какъ описывается теремъ русской Киприды!

Въ семь теремѣ Олимпу равномѣ

Горѣли ночью *тучи звѣздѣ*. — 182

Тотъ же авторъ говоритъ о соловѣѣ, и дѣйствию его пѣнія:

Молчить пустыня изумленна,
и *ловитъ громъ* твой жадный слухъ;
на крыльяхъ эха раздробленна
плѣняетъ пѣснь твоя всѣхъ духъ;

тобой цвѣтушій лугъ смѣется,
дремучій лѣсъ пускаетъ, и проч. 183

Галлоруссѣ

Каково же это *выказано?* 184 *браво, очень браво!* 185 —

Ломоносовѣ

Не твое дѣло давать мнѣніе; ты слушай, и молчи! Краснорѣчіемъ своимъ только не тревожь моего слуха! — Правда, въ семь сочинителѣ виденъ Геній 186 спорящій съ *Гораціемъ* и со мною; картины его отмѣнны и изящны, 187 особливо въ стихахъ: *Киприда тутъ средѣ митрѣ сидѣла*. — Это, кажется *Рубенсъ* въ стихотвореніи; — но — *въ зеркала водѣ себя казали*, — слова, *зѣркалы*, и *себя казали*, — похожи на вышесказанные, кѣсѣ, *будетъ*, или — *въ объятіяхъ себя имѣтъ*; 188 — по руски такъ не говорятъ. 189 — Далѣе: — *въ лодкахъ разсѣкая воды*, — какъ будто въ самыхъ лодкахъ вода, которую разсѣкаютъ. — Также в стихахъ, *глядя*, — *возклицающихъ смотрѣла*, — странная смѣсь низкихъ словъ съ высокими; 190 — да и во многихъ мѣстахъ слогъ то возвышенной, то такъ называемый у французовъ, *burlesque*, или смѣшенной съ тѣмъ и другимъ. Не новой ли это вкусъ? 191 Однако все сіе по истиннымъ правиламъ мало терпимо, хотя бѣ и обеспечено было свободою и именемъ Генія, 192 какъ будто нѣкоей *монополіей*. 193 Можно ли также сказать точно по руски, — *ловитъ громъ твой*, т. е. соловья, *жадный слухъ*? Можно съ жадностію слушать лучшія и возхитительнѣйшія перемѣны его пѣсней; но что бѣ слухъ *ловилъ* съ *жадностію громъ соловья*? Это съ лишкомъ поразительно, и едва ли совмѣстно какъ для птичьяго горлышка, такъ и для слуха, и притомъ съ жадностію ловящаго; — или опять: — *тобой цвѣтушій лугъ смѣется*; — *тобой смѣется*; — очень дико; а говорятъ: при тебѣ, чрезъ тебя; или — *горѣли ночью тучи звѣздѣ*; *тучи звѣздѣ*; — здѣсь уподобленіе яркихъ свѣтилъ мрачному соборищу тусклыхъ паровъ, т. е. тучѣ, и притомъ горѣтъ ей — не умѣстно, хотя *туча* и взята вмѣсто множества, или *сонма*. И

такъ въ соединенныхъ словахъ, *тучи звѣздъ*, понятіе о темнотѣ первыхъ ни мало не отвращается, или не уничтожается понятіемъ о свѣтлости вторыхъ. — Въ прочемъ я нахожу въ семъ сочинителѣ особливую смѣлость духа, довольно соли, и нерѣдко желчи; но желалъ бы я, что бъ онъ ограничилъ свою страсть къ *тропологическимъ пересоламъ* и *эмфастическимъ* изреченіямъ.¹⁹⁵ Напряженіе ума и вообразительной силы, равно какъ и отважность въ выраженіяхъ конечно иногда нужны и похвальны; но должны имѣть свои предѣлы.¹⁹⁶ О теченіи слова и чистотѣ созвучій, какъ о мало значущихъ здѣсь предметахъ, говорить было бы дѣло не нужное. — Нѣтъ, Галлоруссъ! я уже утомляюсь отъ чтенія твоихъ выписокъ; время кончить, и тебѣ дать разрѣшеніе. —

Галлоруссъ.

Послѣднюю, — послѣднюю прочтите! Вы увидите прекраснаго жени, *милаго* писателя въ новомъ вкусѣ, уважаемаго въ чужихъ земляхъ, любимаго въ отечествѣ всѣми людьми съ *чувствомъ*, дамами, нимфами и учеными со вкусомъ.¹⁹⁷ — *Коронуйте* имъ!¹⁹⁸

Ломоносовъ

[*перевертываетъ листъ съ видомъ нѣкотораго небреженія.*]

Быть такъ; — заключимъ дѣло все хвалимыми тобою отрывками милаго пера:¹⁹⁹ я желаю, чтобъ *короновать*, какъ ты говоришь, самымъ лучшимъ.^{199a} [*читаетъ*]

Законы осуждаютъ
предметъ моей любви;
но кто, о сердце, можетъ
противиться тебѣ?

.
.

какой законъ *святѣ*
твоихъ врожденныхъ *чувствъ*?

.

далѣе:

Священная Природа!
Твой нѣжный другъ и сынъ
невиненъ предъ тобою;
ты *сердце* мне дала.

.

Природа! ты хотѣла,
чтобъ *Лилу* я любилъ;

.

Твой *громъ гремѣлъ* надъ нами,
но насъ не поражалъ,
когда мы наслаждались
въ объятіяхъ любви;
о Борнг²⁰⁰

Галлоруссъ

Какъ вы это находите?²⁰¹ — Здѣлайте милость, читайте далѣе! — ахъ! какія тутъ сіяющія мысли? —²⁰²

Ломоносовъ.

Опять на тебя находить; ну! выписки твои дѣлають тебѣ много чести! — Подлинно нѣтъ ошибокъ ни въ языкѣ, ни въ правилахъ поэзіи; на противъ того вездѣ чистота, легкость и пріятность.²⁰³ Но знаешь ли, что надобно тутъ замѣтить? — не въ языкѣ, а въ самыхъ чувствованіяхъ заблужденіе. Я вижу въ сихъ стихахъ чрезмѣрнаго поблажателя чувственности и не позволенной слабости. Онъ при заманчивомъ слогѣ вперяетъ хорошее наставленіе въ сердца молодыхъ дѣтей въ нынѣшнемъ состояніи вселенной. — Беззаконную любовь брата къ родной сестрѣ, *Лилѣ*, которая въ другихъ стихахъ того же самого содержанія описывается прямѣе и яснѣе, какъ то: *любовница, сестрица*, — *супруга, вѣрной другъ*, — и съ сею то сестрицею ужасное брата сладострастіе оправдывать законами природы, какъ будто въ первые годы золотого вѣка! — Спасительная пища для молодаго слуха и сердца! Сладкая отравѣ подѣ пріятными цвѣтами и красками! — Сверхъ того еще представлять, что громъ природы въ минуты сладострастныхъ объятій преступниковъ ни мало не поражалъ; и чрезъ то преступники ободрены, и будто стали правы! — Довольно искусное усыпленіе совѣсти! изрядное поощреніе къ законной любви! — Ежели въ сихъ стихахъ и представляется *быль*: то къ чему съ толь живымъ участіемъ обнаруживать сію *быль* противъ правилъ цѣломудрія? не лучше ли было бы скрыть, — или — по крайней мѣрѣ представить ее съ обличеніемъ заблужденія любовниковъ. Естли жъ это вымыслъ: то къ чему забавлять такимъ вымысломъ на щотъ добродѣтели и невинности? — ни то, ни другое не оправдываетъ здѣсь намѣренія живописателя,²⁰⁴ и не приращаетъ славы талантовъ. — Праведное небо!²⁰⁵ до какой степени уничижается духъ новыхъ пѣвцовъ? вотъ утонченной вкусъ!²⁰⁶ — Ступайте, *Галлоруссы*, ступайте далѣе! утончайте чувства!²⁰⁷ вы много одолжите нашу нравственность своими *софизмами*. — *Боянъ!* Слыхалъ ли ты такія пѣсни во времена мужественныхъ, благородныхъ и цѣломудренныхъ современниковъ своихъ? — Ей! для меня сносиѣ бы было видѣть ошибки въ слогѣ, нежели

въ красотѣ онаго кроющіеся ложные правила и опасные умствованія.²⁰⁸ Вотъ, *Галлоруссъ*, чѣмъ ты увѣнчиваешь²⁰⁹ мое посрѣдничество! ну! что еще далѣе? — надобно докончить...

Пѣсенка! — можно бы оставить; — но видно того же пера...

Вот Аглая! — взоръ *небесной*;
русы кудри по плечамъ
вьются съ прелестью *небрежной*,
и по бѣленькимъ щекамъ
разливается *румянность*
майской утренней зари;
въ ней *стыдливая ружанность*²¹⁰
дерзко говоритъ: люби!^{210а}

Слава Богу! Здѣсь по крайней мѣрѣ нѣтъ умствованій на шотъ нравственности. Но не упоминая, что въ такомъ маломъ числѣ стиховъ не соблюдена чистота рѣчѣ, какъ то: *небесной*, *небрежной*, — *румянность*, *пріятность*, — *зари*, *любѣ*; что въ словѣ, *плѣчѣмъ*, долгое удареніе замѣнено короткимъ, и что *румянность*, сколь ни дика по новости, ради рѣчѣ заступила мѣсто природнаго румянца, — скажемъ только вообще: это писано легкимъ перомъ; изображено живо, близко къ натурѣ, и довольно просто; — но *стыдливая пріятность*, или просто, стыдливость или дѣвическая скромность можетъ ли дерзко, нагло говорить *любѣ*? Слова . . . хороши; но разстроиваютъ надлежащую сообразность мыслей; я въ нихъ не вижу ее. Къ стыдливости всегда идетъ больше нѣкоторая робость, нежели дерзость; слѣдственно ей предлагать о любви съ отважностію не прилично. Кажется, свойственнѣе сказать: *стыдливость*, или *красота стыдливости противъ воли вдыхаетъ, вселяетъ любовь*, — или какъ бы насильно заставляетъ любить, — и все сіе тихо, тайно, а не съ дерзостію. —

Нѣтъ, *Галлоруссъ*! все обличаетъ твою суету, пустую надмѣнность и нечестіе, а особливо *любовница*, *сестрица*, — не Аглая, но *Лила* въ предыдущемъ отрывкѣ, которая столько поразила чувства мои. — Закроемъ на всегда твою записную книжку! я займу тебя лучшими выписками. — Ну! теперь ты слышалъ мой судъ. Ты хвалился доказать достоинство своего языка и современныхъ произведеній; — доказалъ ли? — Что же ты думаешь о тѣхъ господахъ, которымъ вѣкъ твой сталъ долженъ толь изящными плодами,²¹¹ а особливо аріями и другими имъ подобными?

Галлоруссъ.

Упусти мнѣ, Г. Ломоносовъ!²¹² можно ли доказывать тогда, когда столь сильный судья, какъ вы,²¹³ самъ опровергаетъ со

всѣхъ сторонъ? но я не смѣю дать малой цѣны моимъ современнымъ *женіямъ*.²¹⁴ Всѣ доказательно говорятъ, что они *улучшаютъ*²¹⁵ нашъ языкъ, и стараются о достоинствѣ его. Я самъ нашель въ нихъ весь тотъ вкусъ, съ какимъ писывалъ *Расинъ*, *Волтеръ*, *Мармонтель*, *Лагарпъ* и прочіе *герои литературы*,²¹⁶ — вкусъ подлинно новой, чистой,²¹⁷ какой быть можетъ, — безъ всякаго стариннаго духа. —²¹⁸

Ломоносовъ

[повторяя съ негодованіемъ слова его.]

Упусти! — безъ стариннаго духа;^{218a} — *Волтеръ*, *Мармонтель*; — полуумной! ты только знаешь *Расина*, *Волтера* и *Лагарпа* по однимъ именамъ; они никогда не *англизировали*²¹⁹ своего языка, такъ какъ ты и тебѣ подобные своими переводами *офранцузили*²²⁰ свой. — Я стараясь очищать его, не только не опровергъ основаній Славенскаго языка, но еще въ оныхъ, какъ въ органическихъ законахъ, показалъ всю необходимость и существенность, и тѣмъ положилъ предѣлы²²¹ всякому вводу иноязычныхъ *нарѣчій*, какъ примѣси чужей крови. Но вы перелѣзли сіи предѣлы,²²² изказили языкъ, и сему изкаженію дали еще имя: *новой вкусъ, чистое, блестящее, сладкое перо, утонченная кисть*.²²³ — И ты еще осмѣлился оскорблять сего почтеннаго старца, которому долженствовалъ бы изъяснить всякую признательность и справедливость! — *Ветрогонъ!* Слышалъ ли ты теперь изкуство игры его? Вотъ прямой орелъ парящій подъ облаками! Слава его очень поздно пробудилась; но за то послѣ сего никогда не уснетъ, и съ лихвою будетъ жить въ слѣдующихъ вѣкахъ. Можетъ быть до него никому не были отперты двери въ храмъ *Свѣтовиды*, или *Аполлона*; но онъ родился; и Природа отворила заключенныя двери, и ввела перваго его туда. — Положимъ, что важный языкъ его для тебя кажется дикимъ, и какъ бы грубымъ тѣломъ мыслей;²²⁴ но знай, что въ семъ твердомъ и маститомъ тѣлѣ душа прекрасна и молода. По тогдашнему времени оно для нее было довольно удобнымъ и всякаго пріятія достойнымъ жилищемъ. Твой же на противъ того языкъ вмѣсто, чтобы по руководству моему²²⁵ возвышался, отъ часу болѣе чрезъ васъ упадаетъ, не имѣя другой души, кромѣ такой, которая находитъ вкусъ въ *Секванской водѣ*, не рѣдко вредной даже нравственности; Да и трудно ли упасть ему, когда мнимые твои *Геніи*²²⁶ надлежащимъ образомъ не вытвердя органическихъ правилъ языка,²²⁷ и не повинуваясь основательному разбору истинныхъ судителей, но слѣдуя только тщеславію, вольнодумству и самоугожденію безъ любви къ отечественному, вдругъ принимаются за перо, и похищаютъ блестящее имя²²⁸ какихъ то писателей? — *Боянъ* всегда будетъ слыть соловьемъ не только девятаго или десятаго вѣка, но съ сего времени станетъ почи-

таться честію и украшеніемъ послѣднихъ вѣковъ; а твоя и тебѣ подобныхъ блистательность²²⁹ останется погребенною въ одной могилѣ съ тобою; повѣрь мнѣ!

Галлоруссъ

Г. Ломоносовъ! ты судья съ лишкомъ или строгой, или пристрастной къ старинѣ. Я не ожидалъ себѣ такого колкаго приговора.²³⁰ Но какъ угодно; я не могу не поставить на своей ногѣ²³¹ того, въ чемъ наиболѣе²³² увѣренъ. На отрѣзъ скажу, что мои современные, любезные сочинители, сочинительницы, рускіе *Мармонтелы*, рускія *Элизы*, *Штали*, рускіе *Мерсьеры*, *Стерны*, *Буфлеры*, *Сегюры* пишутъ божественно, браво,²³³ отменно; вотъ все мое признаніе! Послѣ нихъ можно ли слушать *славенскихъ трубадуровъ*, *Бояновы* сказки, или *Игоревъ* походъ, или другіе какіе древніе стихотворенія, либо читать погудки *Кантемира* или рѣчи *Прокоповича*. Въ тѣхъ *любезность*²³⁴ и новостъ кисти привлекательна, волшебна, а въ сихъ угрюмая и старобразная степенность²³⁵ отвратительна и скучна*. Развѣ ты сердишься за то, что самъ далъ поводъ къ *реформированію* языка,²³⁷ и заставилъ насъ итти далѣе тебя самаго! — сказать ли тебѣ правду? — ты и самъ нынѣ подъ судомъ,²³⁸ не погнѣвайся!

Ломоносовъ

Легкомысленной! Я также былъ человѣкъ; слабости столько же существенны въ человѣческой природѣ, какъ и лучшіе дары души. Судь для нихъ необходимъ; только былъ бы правиленъ безъ пристрастія. Знай, что я не оправдывая себя въ погрѣшностяхъ, никогда не ослабѣю въ оправданіи всего древняго въ отечествѣ нашемъ; — и сильно трогаюсь²³⁹ тѣмъ, что ты по высокомѣрію и упорству не перестаешь подъ знаменами новыхъ своихъ *бойкихъ умовъ*,²⁴⁰ новыхъ *Буфлеровъ*, *Сегюровъ*,²⁴¹ госпожъ *Шталей* вооружаться противъ памяти предковъ, тѣмъ еще паче, что ненаказанность подкрѣпляетъ твою дерзость и необузданность. Слушай же, молодая тѣнь! Тебя ни что не защититъ, ни *Мерсье*, ни *Стернъ*, ни мадамъ *Шталь*, ни *Буфлеръ*. Ты не съ тѣмъ сюда привезена чрезъ черную рѣчку, чтобъ учить праотцовъ, но что бѣ получить отъ нихъ приговоръ. Теперь время уже объявить оной. *Боянъ!* Куда бы ты присудилъ его.

* *Примѣч.* — Даже звукъ иностранныхъ словъ многимъ нравится больше, нежели согласіе отечественныхъ;²³⁶ а почему? — примѣръ виденъ; — не часто ли голосъ въ устахъ постронней, въ прочемъ набѣленной и нарумяненной прелестницы плѣняетъ слухъ волокиты; а на противъ того разговоръ доброй жены его кажется ему противенъ, и иногда несносенъ, хотя бы сія послѣдняя въ красотѣ лица, пріятности рѣчей, нѣжности пѣнія и добротѣ души подлинно была превосходнѣе первой? — Не ужь ли правъ Г. Галлоруссъ? —

Боянъ

Я прощаю его; — вотъ мой голосъ! Здѣсь нѣтъ ни страстей, ни тяжebъ; ты судья; ты и знаешь, какое опредѣлить ему возмездіе. Я сердечно благодарю тебя за все твое ко мнѣ уваженіе и участваніе; ты во вѣки будешь воспѣваемъ Бардами.

Меркурій

Знаете ли какое возмездіе? — отвести его въ черныя излучистыя пещеры, гдѣ *Вельшскія вѣдьмы*²⁴² сидятъ, и прядутъ; что ни выпрядутъ, то разсучится само собою, и тамъ его

Ломоносовъ

Хорошо; — однако надобно еще нѣчто къ сему прибавить. — Когда ты отведешь сего вольнодумца въ темное ихъ логовище: то не забудь посадить его между двумя изъ нихъ, и заставь безъ перемѣжки читать *Тилемахиду*,²⁴³ которая тебѣ извѣстна! но съ тѣмъ, что бъ онъ по прочтеніи въ ней cadaго періода раздроблялъ его по всѣмъ правиламъ *грамматики, логики, риторики и поэзіи*; и это на всегда. Я буду каждое утро навѣдываться о томъ. Хорошо ли? Кажется, не надобно лучше сего приговора. — Ступай, *Меркурій*, и веди его! — а я съ *Бояномъ* пойду теперь на островъ пальмовъ и кедровъ къ *Оссіану* и *Богомилу*.* [*уходятъ*]

Меркурій

Тилемахиду, Тилемахиду! — о ладно, ладно! очень хорошо! Сей же часъ закабалу его. Я знаю, какъ это чтеніе пріятно и занимательно. — Изчезни отсюда, Галской феноменъ!²⁴⁴

* *

*

Такимъ образомъ въ царствѣ тѣней происходилъ судъ надъ *Галлоруссомъ*, и кончился тѣмъ, что бъ ему вѣчно читать такое сочиненіе, которое извѣстно по утомительному слогу. — Меркурій отводитъ его въ пещеру *Вельшскихъ фурій*,²⁴⁵ кои увидѣвъ любезную тѣнь, тотчасъ обнимаютъ ее, — достаетъ книгу *in quarto* называемую *Тилемахидою*, и сажаетъ его за нее между двумя страшными женскими тѣнями. — Изумленный *Галлоруссъ*²⁴⁶ проклиная день новаго рожденія своего, безсмертіе и мнимую славу свою, садится на дерновую рухлую скамью, и противъ воли открываетъ тяжкую книгу.

* *Богомилъ* былъ языческой первосвященникъ и краснорѣчивѣйшій вѣтїа до времени Владиміра I.

КОММЕНТАРИИ

«Происшествие в царстве теней или Судьбина Российского языка» Семена Боброва публикуется по рукописи (парадный подносной экземпляр писарским почерком), хранящейся в библиотеке Московского университета под шифром: 9Ео8. При воспроизведении сохраняется орфография и пунктуация оригинала. Курсив в издании соответствует подчеркиванию в подлиннике. Квадратные скобки в издании не обозначают зачеркнутый текст, как это принято в литературоведческих публикациях, но соответствуют квадратным скобкам в воспроизводимой рукописи. Авторы благодарят О. Я. Лейбман за помощь в работе над рукописью и М. П. Алексеева, Л. И. Вольперт, А. А. Зализняка, Ю. Д. Левина, к которым они обращались в связи с комментированием некоторых выражений текста.

¹ [К ссылке на Татищева в эпиграфе]. Татищев был едва ли не первым деятелем русского просвещения, активно выступавшим против иностранного влияния на русский язык [см., в частности, его письмо В. К. Тредиаковскому от 18 февраля 1736 г. из Екатеринбурга — Архив АН, разр. II, оп. 1, № 206, лл. 94—97 (неполную и не всегда точную публикацию этого письма см. в изд.: С. П. Обнорский и С. Г. Бархударов, Хрестоматия по истории русского языка, ч. II, вып. 2, М., 1948, стр. 86—92) или «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ» (М., 1887, стр. 12, 80, 93, 95, 96)]. Ссылка на Татищева подчеркивает преемственность культурно-языковой позиции Боброва.

² **коренной и существенной образ нашего слова.** Ср. внимание Боброва и близких по направлению авторов к «коренным» (или «первообразным») словам, к «коренному основанию русского языка» (откуда понятна, между прочим, и высокая оценка народной поэзии — см. ниже, примеч. 147). См. подробнее во вступительной статье к данной публикации (стр. 208—210 наст. изд.); ср. также ниже, примеч. 70 и 149.

³ **запрещение или амбарго** — любопытно, что сам Бобров в авторском тексте считает необходимым привести иноязычный эквивалент русского слова, видимо, как более точный или более привычный в данном контексте.

⁴ **Вельшские поговорки** (ср. в дальнейшем: *вельшские ведьмы, вельшские фурии*, см. примеч. 54, 66, 242, 245) — эпитет *вельшские* означает здесь «галльские» или «кельтские», от *velche* — племенного названия, которое в исторической литературе эпохи Просвещения XVIII в. употреблялось для определения дофранкского населения Галлии. Ближайшим источником Боброва, видимо, был Вольтер, автор «Discours aux Velches», опубликованного под псевдонимом Antoine Vadé (см. изд. Voltaire, Oeuvres complètes, t. 67, 1792), и «Supplément du discours aux Velches» (ibidem), где, в частности, говорится: «Le résultat de cette savante conversation fut qu'on devait donner le nom de *francs* au pillards, le nom de *velches* aux pillés et aux sots, et celui de *français* à tous les gens aimables» (стр. 236). Упоминание *velches* неоднократно встречается в произведениях позднего Вольтера, в основном в его квази-исторических памфлетах. Ср.: В. С. Люблинский, Неизвестный автограф Вольтера в бумагах Пушкина, «Пушкин. Временник пушкинской комиссии», 2, М.—Л., 1936, стр. 264. У Вольтера Бобров мог заимствовать и иронический тон по отношению к *velches*, грубость и невежество которых автор статьи о Галлии в «Философском словаре» подчеркнул чрезвычайно резко. Идея Вольтера: противопоставление диких и провинциальных галлов (*velches*) и цивилизующего воздействия римской культуры в контексте Боброва получала новый смысл: антитеты галломании и традиции античной культуры. Напомним, что в культурных кругах, близких Боброву (Гнедич, Востоков, Мерзляков, Галенковский), античная традиция воспринималась как органически близкая к русской национальной культуре. — Замечательно, что Батюшков в письме

к Гнедичу от апреля 1811 г. может, напротив, называть *вельхами* (ср. *velches*) членов «Беседы любителей русского слова»: «О Велхи! О Варяги-Славяне! О скоты!» (см. К. В. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 117). Надо полагать, что слово *вельхи* у Батюшкова восходит к тому же литературному источнику, но при этом на первый план выступает не этническая их принадлежность, а грубость и дикость.

⁵ **Галлоруссы** — слово *галлорусс* образовано, несомненно, по аналогии со *славеноросс*; ср. анонимную сатиру *Галлоруссия* 1813 г. (см. изд.: «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 781—790). Ср. в этой связи слово *галломан* (см. в нем ниже, примеч. 95), а также слово *галлицизм*, отмечаемое в русском языке с 50-х гг. и входящее в широкое употребление с 90-х гг. XVIII в. (подбор материала, относящегося к этому последнему слову, см. в кн.: Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина, Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования, Л., 1972, стр. 162).

⁶ **преселился на другой берег Стикса** — Петр Иванович Макаров скончался в октябре 1804 г., т. е. примерно за год до окончания «Происшествия в царстве теней».

⁷ **изумляется от настоящего.** Показательно, что слово *изумляться* и производные от него (*изумление*, *изумленный*) употребляются в памфлете Боброва исключительно при описании состояния Галлорусса; ср. ниже примеч. 98, 246. Надо полагать, что в этих словах еще чувствуется отрицательный оттенок, связанный с их первичным значением («лишаться ума»), которое сохраняется в церковнославянском языке. Ср. дефиниции в «Словаре Академии Российской»: *изумляться* — 1) приходить в крайнее удивление, недоумение, 2) В слав.: лишаться ума, рассудка.

⁸ [К речи Галлорусса]. Речевая манера Галлорусса как здесь, так и в дальнейшем, по своей синтаксической организации пародирует художественную манеру представителей «нового слога». Ср. в этой связи, например, заявление В. Подшивалова в «Сокращенном курсе русского слога» (М., 1796, стр. 29): «В старину употребляемы были в речи периоды долгие, и потому союзы были необходимы; но ныне опущение их, т. е. союзов соединительных, особливо составляет приятность; а особливо стиль французской, от всех ныне принимаемой, не мало заимствует от сего красоты своей». Ср., с другой стороны, характеристику речевой манеры шеголей второй пол. XVIII в.: им свойственно «говорить живо, — например, начинать речь и не оканчивать, перебивать слова других» и т. п. (см.: М. Чулков, Русские сказки, IV, стр. 95—96, ср.: В. В. Сиповский, Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 1, СПб., 1909, стр. 203—204; ср. еще: Н. П. Николев, Сатира на обычаи и нравы развращенных людей нынешнего века, М., 1777, где также говорится о том, что для петиметров характерно «не конча одну речь, другую начинать»). Как та, так и другая характеристика в общем приложима к речи бобровского Галлорусса.

⁹ **на хорошей ноге** (аналогичное выражение встречается в речи Галлорусса и ниже, ср. примеч. 11, 164, 231) — калька с фр. *sur un bon pied* (или *sur le bon pied*). Во второй пол. XVIII в. это выражение было очень характерно для жаргона петиметров, ср., например, речь шеголихи Безстыды в «Почте духов», 1789, 1, стр. 276—282: «Я сама будучи поставлена на такой ноге моею надзирательницею, с терпеливостью сносила скучные годы моего девичества» (ср. изд.: В. Покровский, Шеголихи в сатирической литературе XVIII века, М., 1903, прилож., стр. 47) или шеголя Ветромаха в комедии Княжнина «Чудаки»: «На дружеской ноге с Сибудем быть стараюсь и очень poliment всегда я с ним встречаюсь» (см. изд.: Я. Б. Княжнин, Избранные произведения, Л., 1961, стр. 475); ср. еще в числе образцов петиметрской речи в сумароковской сатире «О французском языке», написанной между 1771 и 1774 гг.: «Не на такой ноге я вижу это дело» (см. изд.: А. П. Сумароков, Избранные произведения, Л., 1957, стр. 192). Соответственно, и Моисей (Гумилевский), осуж-

дая в своем пурификаторском «Рассуждении о вычищении, удобрении и обогащении Российского языка» (М., 1786, стр. 27) различные «в словах нелепости», в качестве иллюстрации приводит пример: «*на такой ноге, вместо в таком состоянии, или степени*». Замечательно, между тем, что данное выражение дважды встречается у Пушкина (в письмах и в «Исторических анекдотах» — см.: «Словарь языка Пушкина», т. II, М., 1957, стр. 879). Ср. также обсуждение фразеологизма *обходиться на короткой ноге* в письме, опубликованном в «Трудах Общества любителей российской словесности при имп. Московском университете», ч. 17, М., 1820, стр. 153; показательно, что этот оборот уже не воспринимается здесь как галлицизм.

¹⁰ **сквозными гуслими** — так Галлорусс называет арфу (ср. ниже, примеч. 97). Ср. в «Лексисе» Лаврентия Зизания соответствие: *гусли — арфа*, причем первое слово трактуется как «словенское», а второе как «простое русское» (см. изд.: «Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская», Київ, 1964, стр. 40). Выражение это вряд ли может считаться типичным для «галлорусского» жаргона; то, что оно встречается в речи Галлорусса, свидетельствует, скорее, о малой употребительности слова *арфа* в разговорном языке (ср. словарный материал, относящийся к употреблению слова *арфа* в кн.: G. Hüttl-Worth, *Foreign words in Russian*, Berkeley and Los Angeles, 1963, стр. 60). Соответственно, данное выражение может быть, видимо, отнесено к числу коллоквиализмов, которые вообще характерны для Галлорусса (ср. ниже примеч. 19, а также 16).

¹¹ **на . какой ты здесь ноге?** — см. выше, примеч. 9.

¹² **ретушируешь** — ср. фр. *retoucher* (букв.: «подновлять»).

¹³ **ах!** — употребление этого междометия характерно для речи Галлорусса (см. еще на стр. 261, 263, 268, 276 наст. изд.) и отличает ее от речи всех остальных действующих лиц. Надо полагать, что при этом пародируется стиль Карамзина и вообще карамзинистов: не случайно литературные противники Карамзина именовали его «Ахалкиным» (например, Марин, см.: С. Н. Марин, *Полное собрание сочинений*, М., 1948, стр. 119 и 179, ср. цитату ниже, примеч. 197). В свою очередь употребление междометия *ах* в литературе «нового слога» сближает ее с «шегольским наречием» второй пол. XVIII в., для которого данное восклицание в высшей степени характерно: в «Опыте модного словаря Щегольского наречия», помещенном в «Живописце» Н. И. Новикова (1772, ч. I, л. 10), междометию *ах* посвящена специальная словарная статья (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», М.—Л., 1951, стр. 315—317); ср. употребление этого слова в образцах разговора петиметров, как они представлены в сатирической публицистике или в комедиях (см., например, «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 226, В. Покровский, Щеголи в сатирической литературе XVIII века, М., 1903, прилож., стр. 11, 79; и т. п.). Следует иметь в виду, что именно в салонном языке второй пол. XVIII в., т. е. в «шегольском наречии», расширилась семантика данного междометия, которое ранее употреблялось исключительно для обозначения отрицательных эмоций — прежде всего таких, как печаль, ужас и т. п. (ср. в «Рукописном лексиконе первой половины XVIII века», Л., 1964, стр. 33: «*аг* — междометие ужаса *ах*, р<уское> *баа*»; см. также противопоставление старого и нового значения этого слова в вышеупомянутой статье «Опыта модного словаря Щегольского наречия»). Это расширение значения обусловлено, конечно, влиянием со стороны французского языка (ср. семантику фр. *ah*). Именно в новом — широком — значении и выступает данное междометие в речи Галлорусса (см. например, на стр. 268, 276 наст. изд.).

Отмеченное влияние со стороны французского языка могло быть непосредственным или же осуществляться через немецкое посредничество. В немецком языке могут различаться — как по значению, так и по произношению — междометная форма *ach* [ax], выражающая боль, горе, жалобу, сожаление, тоску и т. п., и форма *ah* [a:], выражающая приятные ощущения, ср.: *Wörterbuch der deutschen Aussprache*, Leipzig, 1964, s. v., *Der große*

Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Bd. IV, Mannheim, 1959, S. 325; поскольку можно полагать, что последняя форма заимствована из французского в «эпоху модников», постольку не исключено, в принципе, что русские петиметры фактически исходили в данном случае из немецкой языковой ситуации, ср. в этой связи стр. 197 наст. изд. Характерно в этом плане, что «Трутень», 1769, лл. III, IV, XVII высмеивает В. И. Лукина, который употребляет галлизированную форму *a!* вместо *ax!*, констатируя, в частности, что «*A!* на месте *Ax!* успеха не имело», см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 60, 54, 55 (следует *ax!*, констатируя, в частности, что «*A!* на месте *Ax!* успеха не имело», как петиметр). При этом междометие *a!*, опять-таки, могло быть заимствовано как из французского, так и из немецкого.

Старое, исконное значение русского *ax* сохранилось в народном *axти*, выражающем исключительно отрицательные эмоции. Любопытны, в то же время, формы *axтителный* «очень хороший, прекрасный», *axтително* «восхитительно» (см. «Словарь русских народных говоров», I, М.—Л., 1965, стр. 298, В. Даль, Толковый словарь..., I, 1880, стр. 31), которые можно объяснить как результат контаминации *ax* и *восхитительный* в новом значении как того, так и другого слова (о изменении значения слова *восхитительный* см. ниже, примеч. 98), иначе говоря, как своеобразную имитацию новых литературных форм в народной речи.

¹⁴ *пахнет стариной* — калька с фр. оборота: *il sent de...* Любопытно отметить, что этот галлицизм мог вызывать возражения даже у Вяземского. Критикуя стихотворение Полевого «Поэтический анахронизм или стихи вроде Василия Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева», где, между прочим, имеются строки:

Паркет и зала с позолотой
Так пахнут скукой и зевотой, —

Вяземский замечает в «Старой записной книжке»: «Паркет *пахнет зевотой!* Что за галиматья! А какое отсутствие вкуса и приличия, литературное бесстыдство в глумлении подобными стихами над изящными образцовыми стихами Дмитриева!» (см. изд.: П. Вяземский, Старая записная книжка, Л., 1929, стр. 136). Между тем, данное выражение у Полевого, может быть, пародирует стиль карамзинистов, тогда как то обстоятельство, что Вяземский не замечает пародийного смысла в употреблении этого выражения, может объясняться тем, что Вяземский сам принадлежит к карамзинистам.

¹⁵ *всё* — характерно, что при передаче речи Галлорусса может участвовать, хотя бы и непоследовательно, буква *ё* (практически эта буква появляется в воспроизводимом списке только в случае местоимения *всё*: ср. соответствующее написание этой местоименной формы еще на стр. 261 и 263 — всего шесть случаев; ср., однако, написание этой же формы через *e* на стр. 257—258, 263 наст. изд.). Между тем, при передаче речи других персонажей, как и в авторской речи, буква *ё* не фигурирует (см., в частности написание местоимения *всё* как *все* на стр. 256, 266, 267, 269, 274, 280 — всего девять случаев; единственное исключение представляет форма *ваё* в речи Ломоносова на стр. 270). Как известно, буква *ё* была введена Карамзиным (впервые в изд.: «Аониды», кн. 2, М., 1797, стр. 176) и могла вызывать резко отрицательную реакцию со стороны его литературных противников; показательно, что эта буква настолько раздражала Шишкова, что он выскабливал точки над ней в принадлежащих ему книгах (см. письмо Шишкова к Дмитриеву от 13 сентября 1821 г. в изд.: «Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмитриеву. 1816—1837», М., 1867, стр. 5—10, 12—13, 16, а также А. С. Шишков, Разговоры о словесности..., СПб., 1811, стр. 24—28).

¹⁶ *ныне у нас всё переменяишсь* — подобные выражения выделяются здесь и далее так типично «галлорусские» (см. ниже примеч. 26, 29, 167, ср. также примеч. 41а, 77; соответственно, Ломоносов у Боброва высмеивает

ниже обороты такого рода, см. примеч. 169а). Специфические коллоквиализмы использованы в речи Галлорусса для выражения перфектности — иными словами, соответствующие фразы, используя русские средства, построены по модели французской грамматики и предстают как буквальный перевод с французского (*chez nous tout s'est changé*). Возможно, цитата — перевод реплики Сганареля из «Лекаря поневоле» Мольера (II, 6): «*Nous avons changé tout cela*». Относительно просторечных элементов в галлорусском жаргоне см. специально ниже, примеч. 19.

¹⁷ **прическа... славная.** Эпитет *славный* характерен для речи Галлорусса (ср. ниже примеч. 49 и 81). Не исключено, что в подобном контексте он мог ассоциироваться с жаргоном петиметров. Ср. в новиковском «Живописце» (1772, ч. I, лл. 4, 9, 10) в образцах «щегольского наречия»: «наука твоя беспримерно *славна*», «все у тебя *славно*», «*беспримерно как славна*» и т. п., где слово *славный* каждый раз подчеркнуто в тексте как «щегольское» (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 292, 294, 311, 312, 317); здесь же регулярно трактуется таким же образом и наречие *славно*. Аналогичные примеры можно найти и в речи щеголей в комедии Екатерины «Именины госпожи Варчалкиной»; ср. здесь, например: «Как славен беспримерно» (акт I, явл. 1), «Ха, ха, ха! куда как ты славен!..», «Нельзя статься, чтоб я безприкладно не был славен для вас», «...будто я не славен», «Очень смешон и не славен» (акт IV, явл. 4, 5) (ср. выдержки у Покровского. Щеголихи..., прилож., стр. 31—34). Ср. в комедии Екатерины «О время!» (акт I, явл. 12) реплику служанки Мавры: ... барышня моя <...> не новосветская госпожа; <...> а по тому и языка Рускаго не портит: но, говоря по Руски, брата называет братцем, а не mon frère, сестру сестрицею, а не ma sœur; не знает и других вытверженных, подобно попугану, слов, ни кривлянья, ни презрения к людям, почтения достойным. Не кстате не хохочет, похабства не имеет; кушанья за столом не называет блюдом *славным*: словом, она не знает того языка, которого и я, когда молодые боярыни говорят, не разумею, хотя я и весьма долго в доме новомодной Француженки служила; показательно, что употребление слова *славный* в новом значении входит здесь в перечень признаков «щегольской речи». Соответственно и в стихах И. И. Дмитриева («Ответ Филлиде <А. Г. Севериной>...», 1794 г.):

Наши нимфы, зная плавность
И красу лишь Гальских Муз,
Фи, картавят, что за *славность*
Une chanson écrite en russe.

(«И мои безделки», М., 1795, стр. 158; курсив оригинала). Между тем, слово *славный* еще совсем недавно могло вообще не иметь оценочного смысла. Так, в анонимном ответе И. П. Елагину — «Эпистоле к творцу сатиры на петиметров» (1750-х гг.) — Елагин именует: «творец преслабых и славных сатир» (см. изд.: «Поэты XVIII века», т. II, Л., 1792, стр. 380). Употребление прилагательного *славный* в значении «отличный, превосходный», а не «известный, пользующийся славой» относительно редко еще даже у Пушкина, причем встречается у него преимущественно в прямой речи (см., «Словарь языка Пушкина», т. IV, М., 1961, стр. 168). Вместе с тем, новое значение данного слова санкционировано уже в «Словаре Академии Российской», но только применительно к характеристике лица (ср. дефиницию: «*славный* — 1) знаменитый; 2) в отношении к лицу: отличившийся от других каким изыщством»). Не исключено, что на семантическое развитие слова *славный* («известный» > «отличный») оказали влияние его иноязычные корреляты (типа польск. *znakomity* и т. п. — если не непосредственно фр. *célèbre*).

¹⁸ **прическа... a la Tite** — *прическа à la Titus*, запрещенная при Павле, была модной новостью в начале XIX в. и связывалась с француз-

ской модой эпохи Директории. Ср. в «Московском Меркурии»: «Волосы à la Titus, завитые и поднятые наперед назад очень коротки» (1803, ч. I, январь, стр. 75). «Вышла новая стрижка вместо называемой à la Titus: оставляют длинные волосы на верхушке головы вершка на два, или на два с половиною, остальные за ушами и над затылком стригут почти до корня. Выходит из того на верхушке головы очень приметной хохол или *грива*» (там же, стр. 76, курсив оригинала). «В среднем классе щеголей из 50 человек молодых людей увидишь по крайней мере 48 с остриженными головами. — Даже к полному наряду, и при шпаге, не употребляют пудры» (там же, ч. I, февраль, стр. 173).

¹⁹ **ихняя... ихняя... ихняя** — эти слова подчеркнуты в тексте как типичные коллоквиализмы. Ср. замечание Ф. И. Буслаева: «Притяжательное *ихний*, столь употребительное в речи разговорной и столь необходимое, еще довольно туго входит в язык книжный» (Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка. М., 1959, стр. 118). Между тем, соответствующие формы были, видимо, свойственны жаргону большого света (*beau monde'a*), ср. любопытное свидетельство И. И. Дмитриева в письме Жуковскому от 13 марта 1835 г.: «Я право иногда боюсь, чтобы мужики наши не заговорили по-французски, а мы по *ихному*»; последнее слово выделено в тексте и сопровождается следующим примечанием: «Это выражение употребляется не только в большом свете, но уже найдено мною в двух книгах: в Иориковом коране и в Путешествии академика Зуева» (см. И. И. Дмитриев, Сочинения, т. II, СПб., 1893, стр. 315, ср. еще об этом слове на стр. 308). Ср. употребление коллоквиализмов разного рода в жаргоне петиметров второй пол. XVIII в.; ср. в этой связи наблюдения П. Бицилли (К вопросу о характере русского языкового и литературного развития в новое время, «Годишникъ на Софийския университетъ», Историко-филологически факултетъ, кн. XXXII, 4, София, 1936, стр. 6) о близости «щегольского» языка к народному просторечию: «в сущности, оба эти <...> языка были одним и тем же языком: «щегольской» отличался от «деревенского» только примесью «варваризмов» (ср. еще аналогичные наблюдения у В. В. Виноградова, Язык Пушкина, М.—Л., 1935, стр. 382—383, В. Д. Левина, Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в., М., 1964, стр. 367). Вместе с тем, употребление соответствующих лексических элементов (коллоквиализмов, вульгаризмов и т. п.) было, по-видимому, характерно для стиля прототипа бобровского Галлорусса — П. И. Макарова. Критикуя одну из рецензий последнего, И. Мартынов писал: «Как здесь, так и в других местах рецензии, можно заметить весьма низкия слова. На пример: *чепуха, волочиться, любиться, девки, площадная мораль* и проч». (см.: <И. Мартынов>, Рассмотрение всех рецензий, помещенных в ежемесячном издании под названием: «Московский Меркурий», издаваемый на 1803 год, «Северный вестник», 1804, ч. III, № 9, стр. 299).

²⁰ **серьезность** или по вашему **степенность**. Слово *серьезность* противопоставляется как новое — «галлорусское» — слово слову *степенность*. Прилагательное *серьезный* входит в обиход лишь во второй пол. XVIII в. (см.: Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина, Очерки..., стр. 170). В словари оно попадает лишь в XIX в. (см. там же); есть основание думать, что это слово было первоначально свойственно прежде всего разговорному языку столичных дворян, в частности «щегольскому наречию» (показательно, например, что это слово дважды встречается в речи щеголихи Советницы в фонвизинском «Бригадире» (см. изд.: Н. С. Тихонравов, Материалы для полного собрания сочинения Д. И. Фонвизина, СПб., 1894, стр. 135, 163). Курганов (Письмовник..., 4-е изд., СПб., 1790, ч. II, стр. 275), перечисляя слова, которых в словаре его нет, ибо «какая нужда их употреблять», упоминает и слово *сурьозно* (приравнивая его к *постоянно*). В начале XIX в. слово *серьозно* могло выделяться в тексте курсивом, что подчеркивало его стилистическую гетерогенность (см., на-

пример, «Северный вестник», 1804, ч. I, № 1, стр. 27: «скажу *серьозно*»). Еще в 20-е гг. XIX в. слово это могло обыгрываться Н. И. Гречем (см. на этот счет: Левин, Очерк стилистики..., стр. 317). «Частое употребление исковерканного французского слова — *серьезно* и даже, *пресерьезно*» составляло предмет возмущения И. И. Дмитриева, см. его письмо к П. П. Свиньину от 11 февраля 1834 г. (в изд.: И. И. Дмитриев, Сочинения, т. II, СПб., 1893, стр. 308); точно так же в письме Жуковскому от 13 марта 1835 г. Дмитриев сетовал на то, что «большая часть наших писателей», забыв слог Карамзина, «украшают вялые и запутанные периоды свои площадными словами <...> с примесью французских: *серьезно* и *наивно*» (там же, стр. 315); ср. в этой связи более позднее замечание Вяземского в «Старой записной книжке»: «Как <...> выразить по-русски понятия, которые возбуждают в нас слова *naïf* и *sérieux*, *un homme naïf*, *un esprit sérieux*? Чистосердечный, просто сердечный, откровенный, все это не выражает значения первого слова; важный, степенный не выражают понятия свойственного другому; а потому и должны мы поневоле говорить *наивный*, *серьозный*. Последнее слово вошло в общее употребление» (П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VIII, СПб., 1883, стр. 38). — Тем более необычным должно было казаться производное слово *серьёзность*, ср. возражения Шишкова (Собрание сочинений и переводов, V, СПб., 1825, стр. 29—31) против новообразований с суффиксом *-ость*, распространившихся в конце XVIII — нач. XIX вв.; ср. Виноградов, Язык Пушкина, стр. 279.

²¹ *чувства утонченнее* — выражение *утонченные чувства* (равно как и *тонкий вкус*, и т. п.) типично для «нового слога» (ср. ниже, примеч. 45); ср. ниже иронический призыв бобровского Ломоносова: «Ступайте, Галлоруссы, ступайте далее! утончайайте чувства» (см. примеч. 207). Прилагательные *тонкий*, *утонченный* в подобном употреблении представляют собой кальку с фр. *fin*, *raffiné* (ср. контексты, относящиеся к употреблению этих слов у В. В. Веселитского, Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в., М., 1972, стр. 151; ср. также: И. М. Мальцева, Из наблюдений над словообразованием в языке XVIII в., «Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до Карамзина)», М.—Л., 1966, стр. 279—281). О слове *утонченный* как о семантической кальке писал А. С. Шишков в своем «Рассуждении о старом и новом слоге Российского языка» (СПб., 1818, стр. 25, 27); между тем, П. И. Макаров в своем критическом рассмотрении книги Шишкова защищал слова *утонченный* и *трогательно* как слова, которые «включены в Словарь Академии, приняты всеми, и употребительны равно в слоге высоком и в обыкновенном разговоре» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 168).

²² *освеженнее*... *утонченнее*... *очищеннее* (ср. ниже еще форму *развязаннее*, см. примеч. 42). Можно полагать, что формы сравнительной степени от причастий фигурируют здесь как грамматические галлицизмы (ср. фр. конструкции: *plus raffaîchi*, *plus raffiné*, *plus épuré*). Ср. замечания Н. И. Греча: «Имеют ли причастия степени сравнения, то есть: можно ли сказать: *любящее*, *влюбленнее*, *живущее*? Нет! Имея значение времени, они не могут в то же время означать степень качества» (Н. И. Греч, Чтения о русском языке, II, СПб., 1840, стр. 43). Ср., между тем, подобную форму у П. А. Вяземского в письме к А. И. Тургеневу от 13 августа 1824 г.: по словам Вяземского, Карамзин «всех живущее у нас» («Остафьевский архив», III, СПб., 1899, стр. 73). Отметим также возражения Шишкова («Рассуждение...», стр. 350) против слишком свободного образования форм сравнительной степени в карамзинских переводах. — Относительно выражения *очищенный язык* ср. примеч. 37а, 122, 217, 223.

²³ *кисть наших Авторов*. Слово *автор* может, по-видимому, считаться характерным для Галлорусса: он употребляет его и ниже (см. стр. 261, 265, наст. изд.: *автора первой половины осьмнадцатого века, судьбы всех*

русских авторов, выписки из лучших авторов), тогда как в речи Ломоносова соответствующее понятие, как правило, передается словами *сочинитель* (см. стр. 265, 267, 271, 272, 274, 275) или *писатель* (стр. 271, 273) (но, однако, *автор* на стр. 271, 274), а Боян говорит о «ветях, списателях и певцах» (стр. 258). Слово *автор* в значении «писатель, сочинитель» — относительно недавнее приобретение в русском языке, которое, соответственно, и могло расцениваться как европеизм. (В XVI—XVII вв. это слово преимущественно употреблялось, в соответствии с этимологией, в значении «творец», «деятель», «работник», см. материал у Hüttel-Worth, Foreign Words..., стр. 55; показательно, вместе с тем, что это слово вообще не значится в «Словаре Академии Российской».) Неслучайно Щеголиха в новиковском «Живописце» (1772, I, л. 9) начинает свое письмо словами: «Ты, радость, беспримерной автор...»; впрочем, это слово встречается и у самого Новикова, в ряде случаев, может быть, иронически (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 311, 284—288). Для оценки того, как могло восприниматься данное слово в последней четверти XVIII в., показательно следующее примечание переводчика (А. Мейера) к выражению «степенные писатели», в изд.: «Иерусалимово творение о немецком языке и учености...», СПб., 1783, стр. 14: «Издателям Санктпетербургского Вестника, в известии о новых книгах, в последнем месяце, не полубилось, не знаю для чего, переведенное мною слово *Классических Авторов*, то я в удовлетворение онаго переменял их в *степенные писатели*, умаливая о безосновательном опорочивании сих слов и обнаруживании при том имени переводчика». В книгах конца XVIII в. это слово могло выделяться в тексте курсивом (см., например: Н. П. Николев, Творения, ч. IV, М., 1797, стр. 170). Это слово было окончательно канонизировано карамзинистами, что могло придавать ему особый оттенок в глазах их литературных противников. Ср., в частности, характерное употребление прилагательного *авторский*, например, в письмах Дмитриева: «не привыкши писать о таких расчетах, чувствую сам, что написал все письмо не по-авторски, а по-подъячески» (письмо к Жуковскому от 30 мая 1806 г.), «перечитывая письмо, я сам почувствовал, как оно писано нескладно и вяло; словом, совсем не по-авторски» (письмо к А. И. Тургеневу от 17 октября 1818 г.), см. И. И. Дмитриев, Сочинения, т. II, СПб., 1893, стр. 205, 235; или в письме Карамзина к Дмитриеву от 12 октября 1798 г.: «Умирая авторски, восклицаю: да здравствует, Российская Литтература!» («Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, стр. 104; курсив Карамзина), ср. также реплику в его письме от 27 июля 1798 г.: «Я умею по крайней мере соблюдать Десогит автора» (там же, стр. 97). Ср. возражение Шишкова: «Вольно нам <...> называть <...> писателя *автором*» («Рассуждение...», стр. 309 ср. также стр. 57); знаменательно, что сам Шишков фактически может пользоваться данным словом. Слово *автор* входит и в «Новый словотолкователь...», содержащий разныя в Российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины» Н. М. Яновского (СПб., 1803—1806), что свидетельствует о его ограниченном употреблении. Достойно внимания, что еще в 1804 г. в «Северном вестнике» высказывается предложение устранить из русского языка слово *автор* (вместе с рядом других иностранных слов), заменив его словами *сочинитель*, *творец* (см.: В. В. Виноградов, Язык Пушкина, М.—Л., 1935, стр. 246).

²⁴ *сентиментальнее* — ср. фр. sentimental. Ср. определение слова *сантимантальность* у Я. Галинковского: «сантимантальность значит: тонкая, нежная и подлинная чувствительность» (см. <Я. Галинковский>, Красоты Стерна... М., 1801, стр. II, примеч.).

²⁵ *реформировка* — рус. образование от заимствованного слова, ср. фр. réformer, нем. reformieren. Ср. ниже у Галлорусса другое отглагольное существительное от того же глагола: *реформированье* (см. примеч. 237).

²⁶ *была... покрывшись* — см. выше, примеч. 16. Ср.: Russie s'était véritablement couverte.

²⁷ было... *заблудительно*. Слово *заблудительно* здесь калька с фр. *égarant*. Суффикс *-тельн-* становится особенно продуктивным во второй пол. XVIII в. (см. В. В. Веселитский, Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в., М., 1972, стр. 90—91); в этот период появляется масса новых слов, образованных при помощи этого суффикса, которые и становятся характерными для «нового слога». Следует при этом иметь в виду, что семантика слов на *-тельн-* первоначально имеет процессуальный, причастный характер, в дальнейшем постепенно утрачиваемый (см. И. С. Ильинская. К истории словарного состава русского литературного языка XIX в., «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», т. III, М., 1953, стр. 166—175); знаменательно в этой связи, что в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (М., 1648, лл. 312—312 об.) прилагательные на *-тельн-* определяются как «причаствовения» и рассматриваются в отделе, посвященном глагольному спряжению. Поскольку, вместе с тем, на образование причастий в русском языке могли накладываться определенные стилистические ограничения (см. об этом, например, в Ломоносовской «Российской грамматике» 1755 г., §§ 343, 440, 444, 453), отглагольные прилагательные на *-тельн-* могли выступать в качестве закономерного субститута причастных форм при калькировании французских причастий — что и способствует активизации суффикса *-тельн-*. Ср. в этой связи характерное для второй пол. XVIII в. вытеснение причастной формы *блестящий* прилагательным *блестательный* (в соответствии с фр. *brillant*), причастной формы *трогающий* прилагательным *трогательный* (в соответствии с фр. *touchant*) и т. п.; см. ниже, примеч. 46 и 152, а также примеч. 134, 150.

²⁸ *не развязано* (ср. еще ниже у Галлорусса форму *развязаннее*, см. примеч. 42). Слово *развязано* — семантическая калька с фр. *délié*, ср.: *être délié*, а также *avoir l'esprit délié*. Это слово очень характерно для «шегольского наречия» второй пол. XVIII в.; ср. выражения *быть совсем развязану*, *развязан в уме*, которые специально отмечаются в «Живописце» Н. И. Новикова (1772, ч. I, лл. 4, 9, 10) как характерные для речи пегиметров (ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова» (стр. 293, 313, 319); ср., вместе с тем, реплику шеголихи Советницы в фонвизинском «Бригадире»: «Для меня нет ничево comodнее свободы. Я знаю, что всё равно, иметь ли мужа, или быть связанной» (см. цит. изд., стр. 149) — или фразу Шеголихи у Новикова: «Сказать ли чем я *отвязываюсь* от этого несносного человека?» («Живописец», ч. I, л. 9, см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 313; подчеркнуто в оригинале). Не исключено, что соответствующее употребление отразилось и в следующем месте из «Фелицы» Державина:

Развязывая ум и руки,
Велит любить торги, науки
И счастье дома находить.

К форме *развязанный* как кальке с фр. *délié*, восходит, видимо, и прилагательное *развязный*, которое входит в литературное употребление, кажется, начиная с Пушкина (относительно употребления данного слова в пушкинских текстах см. данные в «Словаре языка Пушкина», т. III, М., 1959, стр. 929), и впервые фиксируется только в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г. — Для этимологии слова *развязный*, так же, как и для понимания происхождения цитированных оборотов пегиметрского жаргона, существенно иметь в виду, что во французском языке имеются два слова (омонима) *délié* разного происхождения — прилагательное, восходящее к лат. *delicatus*, и причастие от глагола *délirer* (ср. лат. причастную форму *deligatus* от *deligo*). На русской почве эти два слова были осмыслены как одно; при этом «шегольское наречие» XVIII в. калькирует форму французского причастия, но отражает семантику соответствующего прилагательного. В свою очередь, форма *развязный* выступает, можно

думать, как вторичное образование от *развязанный* в этом специфическом значении, обусловленное стремлением обособить форму прилагательного от формы причастия, т. е. воссоздать специальную форму прилагательного в соответствии с французским прилагательным *délié*.

²⁹ *везде уж расцветавши* — ср. выше, примеч. 16. Можно предположить, что здесь калькируется фр. *il a point*; то обстоятельство, что деепричастная форма в данном случае образована от глагола несовершенного вида, может быть обусловлено невозможностью образовать соответствующую форму от параллельного глагола совершенного вида.

³⁰ в своей *тарелке* — калька с фр. *dans son assiette*. Соответствующее выражение (*я не в своей сажу тарелке*) отмечается в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4) как типичное для «щегольского наречия» (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 294); ср. еще в речи щеголихи Жеманихи в комедии Хвостова «Русский парижанец»: *Ах! как я не в своей тарелке!*... («Российский феатр», ч. XV, СПб., 1787, стр. 170; цит. по: Е. Э. Биржакова, Описание фразеологического состава русского литературного языка XVIII века в «Словаре Академии Российской» 1789—1794 гг., «Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века», М.—Л., 1965, стр. 268). Против этого выражения протестовал Шишков, который писал в своем «Прибавлении к сочинению, называемому Разсуждение о старом и новом слоге...» (СПб., 1804, стр. 62) «Часто хотя не в книгах, однако в разговорах, Французскую речь: *il n'est pas dans son assiette*, переводят у нас: *он не в своей тарелке*, не зная того, что ежели бы Французы под словом *assiette* разумели здесь *тарелку*, так никогда бы речь сия им в голову не пришла, потому что она не составляла бы никакой мысли» (далее автор поясняет, что *assiette* — положение морских судов, от которого зависит успешность плавания). Ср. еще специальное замечание Пушкина относительно данного фразеологизма в заметке «Множество слов и выражений...»

³¹ употребленные им выражения против свойства истинного языка или по своенравию. В публикуемом списке — вероятно, по вине переписчика — подчеркивания проведены не вполне последовательно: целый ряд явных галлицизмов (функционирующих как таковые) и вообще характерных элементов «галлорусского наречия» остается неподчеркнутым. Поэтому настоящий комментарий в своей лингвостилистической части относится как к подчеркнутым, так и к специально не выделенным в тексте выражениям.

³² *Праведное небо!* (ср. ниже такое же восклицание в устах бобровского Ломоносова, см. примеч. 205). Можно полагать, что это восклицание, как и вообще обращение к небу, отражает западноевропейское влияние (ср. фр. *o ciel!* и т. п.), хотя и не воспринимается уже как европеизм; *праведное небо* может рассматриваться как прямой перевод французского восклицания: *juste ciel!* (которое можно встретить, например, у Расина). Ср., вместе с тем, обычное в литургических текстах выражение *праведное солнце*, выступающее как наименование Иисуса Христа; восклицание *О, праведное солнце!*, по свидетельству Г. Теплова, было свойственно речи Тредиаковского (см.: П. Пекарский, История имп. Академии наук в Петербурге, т. II, СПб., 1873, стр. 190). Если усматривать какую-либо связь между рассматриваемым восклицанием Бояна и этим последним выражением, следует констатировать отражение в речи Бояна специфической христианской фразеологии (ср. в этой связи библеизмы у Бояна, см. ниже, примеч. 91 и 102).

³³ *Богомил* — ср. специальное примечание автора о Богомиле на стр. 280 наст. изд.

³⁵ *Тупталом* — так именуется Димитрий Ростовский.

³⁶ *без преступления пределов... основания древнего слова*. Ср. ниже высказываемое от лица Ломоносова рассуждение о пределах изменения языка, не нарушающего его органических оснований. См. примеч. 221 и 222, а также примеч. 2, 149.

³⁷ **надобно, что б...** — здесь и далее (см. примеч. 37а, 39, 47, 68, 78, 86, 88, 105, 108, 111) отмечаются новые синтаксические конструкции с союзом *чтоб(ы)*, появление которых в русском языке отмечается главным образом с конца XVIII в. и обусловлено прямым влиянием западноевропейских языков. См. о конструкциях такого рода специально у Ф. И. Буслаева (Историческая грамматика..., стр. 533—534) и В. В. Виноградова (Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., М., 1938, стр. 172). В отношении того, как воспринимались подобные конструкции в конце XVIII в., показательны, между прочим слова Павла (в бытность его еще великим князем), зафиксированные в записках Семена Порошина. Возражая вообще против употребления французских слов в русских разговорах, Павел замечал, в частности, что «иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестранного от слова до слова переводят и в речах и в письме, например: «*Vous avez trop de pénétration pour ne pas l'entrevoir — вы очень много имеете проникания, чтоб этого не видеть*» (см. изд.: С. Порошин, Записки..., СПб., 1881, стр. 13). Подобные конструкции очень характерны для «щегольского» разговора второй пол. XVIII в. и, соответственно, нередко обыгрываются в сатирической литературе этого времени. См., например, в речи Деламиды в комедии Сумарокова «Пустая ссора» (явл. 17): «Я етой пансе не имею, чтоб я и впрям в ваших глазах емабль была», «Я б не чаяла, чтоб вы так не резонабельны были»; в речи Олимпиады в комедии Екатерины «Именины госпожи Варчалкиной» (акт IV, явл. 4): «Уж подлинно беспримерно б это было, чтоб я пошла за такого дурака»; или в записках щеголихи в «Сатирическом вестнике» (1790, XI, стр. 74—85): «*De-вица М. a sauté par dessus une muraille штоп s'enfuir съафицерам и aller с ним se marier*» и т. д. и т. п. (см. изд.: В. Покровский, Щеголи..., прилож., стр. 17; В. Покровский, Щеголихи..., прилож., стр. 33, 109—110). Соответственно конструкции с *чтобы* могут расцениваться как коллоквиализмы: разбирая язык трагедии Озерова «Димитрий Донской», Шишков писал по поводу фразы «Чтоб битву возвестил воинский трубный глас»: «Сие *чтоб, чтобы* хорошо в простых выражениях, но в возвышенных не годится» (см.: Л. П. Сидорова, Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской», «Записки Отдела рукописей <ГБЛ>», вып. 18, М., 1956, стр. 167). — Для оценки последующей судьбы конструкций такого рода представляется любопытной следующая характеристика речевой манеры А. Блока, которую приводит в своих воспоминаниях Андрей Белый: «короткая фраза; построена просто, но с частыми 'чтоб' и 'чтобы', опускаемыми в просторечии; так: 'Я пойду, *чтоб* купить' — не 'пойду *купить*'; или: 'несу пиво, *чтоб* выпить'» (Андрей Белый, Начало века, М.—Л., 1933, стр. 293, ср. также стр. 297).

^{37а} **перечистил себя, чтоб** — ср. выше примеч. 37. Выражение *перечистить себя* соотносится с характерными для галлорусской речи выражениями *чистый вкус, очищенный язык* и т. п. (ср. примеч. 22, 122, 217, 223) и восходит в конечном счете к употреблению фр. *épurer, purifier* и т. п.

³⁸ **галиматью** (ср. фр. *galimatias*) — это слово еще ощущалось как новое в русском языке. По данным Биржаковой, Войновой, Кутиной (Очерки..., стр. 352) первая фиксация данного слова относится к 1788 г.; это не вполне точно, т. к. оно встречается уже у Сумарокова (в статьях «Некоторые строфы двух авторов» 1774 г. и «О стопосложении», см. изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений..., изд. 2-е, М., 1877, ч. IX, стр. 219, ч. X, стр. 76); ср. также «Галиматью пиндарическую» Д. И. Хвостова (перевод из Вольтера), написанную в 1786 г. (см. «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 877). Любопытно отметить, что И. Мартынов в цитированной выше рецензии (см. примеч. 19) специально критиковал П. И. Макарова за употребление слова *галиматья* вместо *вздору, безмыслия* (см.: «Северный вестник», 1804, ч. III, № 9, стр. 306). Ср. популярность слова *галиматья* в кругах «Арзамаса» (этим словом Жуковский опре-

делял жанр своих шуточных стихотворений). Об отношении к «галиматье» как определенному идейно-поэтическому водоразделу писал Жуковскому Милонов, разрывая прежние приятельские отношения:

... начал чепуху ты врать уж не путем.

Итак, останемся мы каждый при своем —

С галиматьею ты, а я с парнасским жалом...

(«Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 537)

Подробнее о «галиматье» как полемическом определении некоторого типа текстов в культуре начала XIX в. см.: «Поэты 1790—1810-х годов», стр. 24—26.

³⁹ ты бы весьма *щастлив был, чтоб* — см. выше, примеч. 37.

⁴⁰ *пансионах* — ср. фр. pension. Ср. примеч. 57, 65.

⁴¹ *этикеты* — ср. фр. étiquette. По данным Биржаковой, Войновой, Кутиной (Очерки..., стр. 408), первая фиксация этого слова в русском языке относится к 1745 г.

^{41a} *был наряясь* — ср. выше аналогичные конструкции в речи Галлорусса (см. примеч. 16). Ср. фр. tu t'étais paré.

⁴² *развязаннее* — см. выше примеч. 28, 22. Ср. фр. plus délié.

⁴³ *если б... то бы... были* — синтаксическая конструкция с союзом *если... то* в сочетании с глаголами в сослагательном наклонении воспринимается как галлицизм.

⁴⁴ *были тобою пленяющиеся* — синтаксический галлицизм. Ср. близкую синтаксическую конструкцию (употребление причастной формы в предикативной конструкции) в письме Щеголихи в «Живописце» (1772, ч. I, л. 9), специально отмеченную как характерную для «щегольского наречия»: «Как все у тебя *славно*: слог *растеган*, мысли *прыгаючи*» (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 312; подчеркнуто в оригинале). Все предложение Галлорусса построено по модели французской грамматики и представляет собой буквальный перевод с фр.: Si tu t'étais paré comme nous... beaucoup de monde se seraient captivé de toi. — Что касается переносного употребления глагола *пленить*, то оно не чуждо и самому Боброву (см. его перевод французской песни в «Северном вестнике», 1805, ч. VIII, № 10, стр. 75).

⁴⁵ *утонченного вкуса*. Относительно влияния на значение этих слов со стороны западноевропейских языков см.: Веселитский, Отвлеченная лексика..., стр. 148—151. G. Hüttl-Worth, Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert, Wien, 1956, стр. 86, 212: оба слова представляют собой кальки с французского, причем слово *вкус* как семантическая калька с французского было введено в русский литературный язык, как полагают, Тредиаковским (ср. G. H<üttl> Worth, Thoughts on the turning point in the history of literary Russian: the eighteenth century, «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics», vol. XIII, 1970, стр. 133); об элите *утонченный* см. специально выше (примеч. 21). Сочетание *утонченный вкус* (или *тонкий вкус*) соответствует фр. un goût raffiné (resp.: un goût fin, ср. также: un goût délicat). Это выражение — так же как и вообще сама апелляция к вкусу как к эстетической категории — очень типично для карамзинистов, ср., например, у Карамзина: «вкус нежный, утонченный искусством» (Записки старого московского жителя, в изд.: Карамзин, Сочинения, т. III, СПб., 1848, стр. 334) и т. п. Ср. полемические возражения А. С. Шишкова в «Рассуждении...», стр. 193—200. Подобное употребление характерно, по-видимому, и для щегольской культуры XVIII в.; ср.: «Без французов разве могли мы назваться людьми? Умели ли мы порядочно одеться и знали ли все правила нежного, учтивого и приятного обхождения, тонкими и вкусами утвержденные?» (см.: «Кошелек», 1774, л. 5, ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 493). Ср. в этой связи в сталистически обыгранном письме некоего галломана, помещенном в качестве приложения к шишковскому «Рассуждению...»: «Недавно случилось мне быть в Соснете с нашими нынешними утонченнаго

вкуса авторами» (стр. 425). Уже Кантемир сообщает в примечаниях ко II-й сатире (первая редакция), что слово *вкус* как калька с французского характерно именно для речи щеголей: «*Вкус в платьях*. Вкус только в кушаньях говорят; а тут кажется для того употреблено слово сие, что щеголям оно ordinarily с французского языка, в котором если хотят похвалить, что платье какое искусно выдумано и прибрано хорошо, то говорят: это платье хорошева вкусу» (см. изд.: А. Д. Кантемир, Сочинения, письма и избранные переводы, I, СПб., 1867, стр. 224, ср.: В. В. Веселитский, Антох Кантемир и развитие русского литературного языка, М., 1974, стр. 48).

Необходимо подчеркнуть, что апелляция к вкусу, вызвавшая разкие нападки Шишкова — что дало повод Воейкову называть шишковистов *вкусоборцами* («Вестник Европы», 1806, ч. 36, № 6, стр. 118), — не чужда Боброву, также как и некоторым другим «архаистам» (например, Е. Станевичу — см. его «Способ рассматривать книги и судить о них», СПб., 1808, стр. 19; ср. Виноградов, Очерки..., стр. 161); слово *вкус* в дальнейшем фигурирует не только в речи Галлорусса, но и в речи таких персонажей «Происшествия в царстве теней», как Боян или Ломоносов. Позиции Боброва и Шишкова не тождественны в этом отношении. Ср. в этой связи ниже примеч. 60.

⁴⁶ **блистать** — в данном употреблении, по-видимому, семантическая калька с фр. *briller*, нем. *brillieren*. Ср. в бытовой речи Карамзина по записи Г. П. Каменева 1800 г.: «Этот автор <...> ничем не *блещет*» (запись речи Карамзина приведена в письме Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову от 10 октября 1800 г., см. изд.: Е. Бобров, Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки, т. III, Казань, 1902, стр. 130); ср. затем у П. И. Макарова в рецензии на книгу Шишкова «Ныне уже не лзя блистать одним набором громких слов, гиперболами, или периодами циркулем размеренными» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 180); подобное употребление достаточно обычно, между прочим, у Пушкина (см.: «Словарь языка Пушкина», т. I, М., 1956, стр. 136). Ср. в этой связи полемику по поводу глагола *блистать* между Г. Р. Державиным и П. С. Батуриным (выступающим под именем Невежды на страницах «Собеседника любителей Российского слова», 1783, ч. IV, стр. 12—15 (см.: И. М. Белоруссов, Зачатки русской литературной критики, вып. I, Воронеж, 1890, стр. 58; псевдоним Батурина раскрывается у П. Н. Беркова, История русской журналистики XVIII века, М.—Л., 1952, стр. 333, примеч. 1). Словари второй пол. XVIII в. сообщают, как правило, только буквальное значение слова *блистать* (см. «Словарь Академии Российской» или «Российской с немецким и французским переводами словарь» И. Нордстета 1780 г.); ср. ниже выражения *блестящее перо*, *блестящее имя*, относящиеся к фразеологии карамзинистов (см. примеч. 223 и 228), где эпитет *блестящий* представляет собой кальку с фр. *brillant*. Вместе с тем, слова *блистательный*, *блистательность* в переносном употреблении встречаются затем в речах Бояна (см. примеч. 63) и Ломоносова (см. примеч. 129, 229); отметим в этой связи, что в «Словаре Академии Российской» зафиксированы лишь прямые, но не переносные значения данных слов. Показательно, что даже «архаист» Евстафий Станевич оправдывает переносное употребление слова *блистательный*, сопоставляя его с фр. *brillant* (Е. Станевич, Способ рассматривать книги и судить о них, СПб., 1808, стр. 22, цит. у Виноградова, Очерки..., стр. 171). Ср., однако, нападки на выражение «блистательный слог» у Шишкова, Рассуждение..., стр. 69, примеч. Надо полагать, что прилагательное *блистательный* как эквивалент фр. *brillant* вытесняет причастие *блестящий*, первоначально выступающее в этом значении и формально соответствующее исходному французскому слову (ср. ниже об аналогичном процессе в случае форм *трогающий* — *трогательный* в соответствии с фр. *touchant*, см. примеч. 152; ср. в этой связи также примеч. 27). В результате этого процесса {замены причастных форм формами прилагательных} соотношение слов

блистательный и *brillant* может восприниматься не как калька, а как простое лексическое соответствие; это обстоятельство, в свою очередь, может объяснить относительно терпимое отношение к употреблению слов *блистательный*, *блистательность* и т. п. в переносном значении у таких авторов, как Бобров или Станевич.

⁴⁷ *льзя было, что б* — ср. выше, примеч. 37.

⁴⁸ *застал играть* (ср. еще аналогичный оборот ниже у Галлорусса, см. примеч. 89). Ср. у Шишкова (Рассуждение . . . , стр. 171—172): «многие ныне, вместо *я видѣлъ какъ вы шли или я видѣлъ васъ идущихъ*, говорят и пишут: *я видѣлъ васъ идти*, переводя сие с Французскаго: *je vous ai vu passer*, или *я слышалъ его играть*, *j'ai l'entendu jouer*». В. Ф. Одоевский («Вестник Европы», 1823, июнь, № 11) и Н. А. Полевой («Новый живописец общества и литературы», ч. II, 1832) приводят выражения *слышал ее петь* и *я его слышал говорить* как примеры галлицизмов, характерных для светской речи (см. у Виноградова, Очерки . . . , стр. 190; Язык Пушкина, стр. 330). Возражение против подобных синтаксических конструкций (с некоторыми оговорками) можно встретить уже в «Российской грамматике» А. А. Барсова, 80-х гг. XVIII в. (см. Ф. И. Буслаев, Историческая грамматика русского языка, М., 1959, стр. 538).

⁴⁹ *играть славную роль* — ср. фр. *jouer un rôle*. В отношении эпитета *славный* см. выше примеч. 17. Форма *роль* представляет собой заимствование непосредственно из французского, однако женский род здесь обусловлен контаминацией с более ранним заимствованием *роля* из немецкого (ср. нем. *die Rolle*): по данным Биржаковой, Войновой, Кутинной (Очерки . . . , стр. 392) *роль* в женском роде отмечается с 1784 г., в мужском роде — с 1764 г., *роля* — с 1727—1729 гг. Выражение *играть роль* встречается в «Письмах русского путешественника» Карамзина, ср. здесь (под 2 июля 1789 г.): «Г. Флек играет ролю мужа . . .» (см. изд.: Карамзин, Сочинения, т. II, М., 1803, стр. 130).

⁵⁰ *поэты поют браво* (ср. еще аналогичный оборот ниже у Галлорусса, см. примеч. 233). Наречие *браво*, образованное от прилагательного *бравый* (из фр. *brave*) употреблено здесь не в значении, соотносящемся с исходной атрибутивной формой, а в ином значении — соотносящемся с возгласом одобрения *bravo*. Ср. в этой связи ниже восклицание *очень браво!* в речи Галлорусса (см. примеч. 185).

⁵¹ *твоих времен виршесплетатели похожие . . . на слепых старцов бросающих по Украинским ярморкам*. С этим пренебрежительным мнением Галлорусса о народной поэзии следует сопоставить высокий отзыв о ней Ломоносова, явно выражающего точку зрения самого Боброва. См. ниже, примеч. 147.

⁵² *наиболее* (ср. эту форму у Галлорусса и ниже, см. примеч. 232). В этом слове специально подчеркнут префикс *наи-*, который в XVIII в. воспринимался как иноязычный элемент (полонизм). В «Российской грамматике» Ломоносова (СПб., 1755, § 216) говорится, что «новые превосходные, с польского языка взятые, с приложением *наи* < . . . > российскому слуху неприятны», ср. в «Кратких правилах российской грамматики» А. А. Барсова (М., 1773, стр. 25, § 63): «с Польскаго языка новые принятые превосходные с приложением *наи*, Российскому слуху весьма досадны: *наилучший*, *наичистый*». См. еще аналогичное замечание некоего Любослова в «Собеседнике любителей российского слова» 1783, ч. II, стр. 111; критикуя встретившиеся ему в поэтических текстах слова *наиприятнейший*, *наисладчайший*, Любослов писал: «*Наи* взято из Польскаго языка, а у нас для соделания степени превосходительной прилагается вместо *наи*, *самый*»; ср., однако, возражение издателя «Собеседника»: «*Наи* хотя употребляется в Польском языке, но из Рускаго не исключается» (там же, стр. 104). — С другой стороны, подобные образования были, по-видимому, возможны в жаргоне петиметров XVIII в.; ср. в этой связи эпитет *наисовершенный* среди типич-

ных эпитетов «щегольского наречия», перечисляемых в письме Боттин (т. е. Ботинков) в «Переписке моды» Н. И. Страхова (М., 1791, стр. 64—71): «нас называют <петиметры. — Ю. Л., Б. У.> безподобными, безпримерными, редкими, прекрасными, милыми и наисовершенными» (ср. изд.: В. Покровский, Щеголи..., прилож., стр. 102); необходимо подчеркнуть, что и прочие эпитеты в этом перечне могут считаться в большей или меньшей степени характерными для «щегольского наречия» (ср. в этой связи специально об эпитетах *безподобный* и *милый* в примеч. 67 и 197).

⁵³ **чуху городить.** *Чуха* — просторечн. «вздор, чепуха». Для речи Меркурия характерны вообще специфические коллоквиализмы.

⁵⁴ **Вельшским красавицам, ведьмам** — см. выше, примеч. 4.

⁵⁵ **Там наслушаешься песней** — форма *песней* род. падежа мн. числа (ср. еще такую же форму ниже, на стр. 265, 269) не может считаться коллоквиализмом: она достаточно обычна в литературном языке XVIII — нач. XIX вв.; см. материал у С. П. Обнорского (Именное склонение в современном русском языке, вып. 2, Л., 1931, стр. 186—187).

⁵⁶ **сын Перуна.** Боян отождествляет Перуна и Зевса по функции громовержца, присущей как тому, так и другому. Ср. затем обращение его к Тору, выполняющему соответствующую роль в скандинавской мифологии (стр. 260).

⁵⁷ **пансионов.** Боян заимствует это слово из языка Галлорусса (ср. выше примеч. 40), употребляя его как «чужое слово».

⁵⁸ **Секванских** — «сенских» (от *Секвана* — «Сена»).

⁵⁹ **преизящныя тайны.** Слово *изящный*, по-видимому, употреблено Бояном в новом смысле, относящемся специально к интеллектуальной и эстетической сфере (ср.: *изящные искусства, науки* и т. п.); ср. подобное употребление и ниже (см. примеч. 187 и 211). Ранее это слово обозначало вообще: «превосходный, отличный, изрядный, отменно хороший» (только такое значение показано в «Словаре Академии Российской»). См.: В. В. Виноградов, История слова *изящный* (в связи с образованием выражения *изящная словесность, изящные искусства*), в сб. «Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры» (= «XVIII век», сб. 7), М.—Л., 1966; Hüttl-Worth, Die Bereicherung..., стр. 109—111; Веселитский, Отвлеченная лексика..., стр. 164—165. Новое значение слова *изящный* связано прежде всего с Карамзиным и соответствующим литературным направлением (В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 440—442); не исключено влияние фр. *élégant* (см.: В. В. Веселитский, указ. соч., стр. 165—166). Ср. в этой связи примечание Н. Струйского: «Слово Изящность или Изящность от многих приемлется: но у Г. Петиметров, оно есть самое модное и любимое их речение» (авторское примеч. к строке: «Какая пышность в них; изящности! высота», стих. «Наставление хотящим быти петиметрами», в изд.: Н. Струйский, Сочинения, ч. I, СПб., 1790, стр. 187). Вместе с тем, то обстоятельство, что соответствующее значение данного слова выступает в специально арханизированной речи Бояна, с очевидностью указывает на то, что Бобров не воспринимает уже это значение как новое; это, в свою очередь, может служить косвенным подтверждением вывода Биржаковой, Войновой и Кутиной (Очерки..., стр. 307, примеч. 178), что употребление такого рода было принято еще и в новиковском кругу.

⁶⁰ **любезная простота вдыхаемая природою была... управляющею душою; — вот был наш вкус, и кажется, довел нашему песнопению,** ср. ниже упоминание «вкуса» в призыве бобровского Ломоносова: «Докажи же мне... вкус и доброту своей словесности!» (ср. примеч. 114). В отличие от Шишкова (см. выше примеч. 45), Бобров не отвергает понятие «вкуса», но противопоставляет «новому вкусу» (ср. это выражение ниже, см. примеч. 191) — подлинный вкус, жидущийся на «коренных основаниях языка» и на осознании органических законов его развития (ср. в этой связи примеч. 2, 36, 149, 221, 222). Термин *вкус*, таким образом, хотя и соответствует фразеологии карамзинистов понимается существенно отличным от них образом,

а именно как дух языка. Соответственно, в предисловии к «Херсониде» Бобров ратует за «точный национальный вкус» и упрекает тех, кто пренебрегает «драгоценным вкусом нашей древности, по крайней мере вырывающимся из под развалин старобытных песен, или народных повестей и особенных поговорок» (см. изд.: С. Бобров, Херсонида, СПб, 1804, стр. 12); закономерным следствием отсюда является пристальное внимание и интерес Боброва к народной позиции (ср. в этой связи примеч. 147). Тем самым, «вкус» выступает у Боброва как явление Природы, а не Культуры: если Карамзин, говоря о вкусе, ориентируется на просвещенное употребление, то Бобров ориентируется на проникновение в Гений языка и нации (ср. упоминание «гениев России» в полном заглавии его собрания: «Рассвет полноты...», СПб., 1804) т. е. на нечто идеальное и по существу своему противостоящее реальному употреблению (в том же предисловии к «Херсониде» Бобров писал, что «употребление, равно как и приученный к чемунибудь слух, подобен тирану», см. стр. 10 цит. изд.). Позиция Боброва, таким образом, хорошо выражается словами поэта из «Санкт-Петербургского Меркурия» (1793, IV, стр. 45) (А. И. Бухарского):

Вкус древний — ближе быть к природе;
Вкус новый — дале быть от ней.

⁶¹ к **большому свету** — «галлорусское» выражение, калька с фр. *le grand monde*.

⁶² **дивными и очаровательными**. Замечательно, что слово *очаровательный* Боян употребляет в слове — положительное — смысле. Так же затем будет употреблять его и Ломоносов (см. ниже, примеч. 101). Ранее это слово имело безусловно отрицательное значение и связывалось со злым, колдовским началом. Новое значение появляется во второй пол. XVIII в. и отражает, видимо, связь значений фр. *charmer*: 1) колдовать, 2) пленить, обольстить. См.: Г. Хютль-Ворт, Проблема межславянских и славяно-неславянских лексических отношений, "American contributions to the Fifth International Congress of Slavists", The Hague, 1963, стр. 145; Hüttl-Worth, Die Bereicherung..., стр. 144—145. Ср. ниже примеч. 103.

⁶³ **ложная блистательность** — ср. выше примеч. 46.

⁶⁴ **патетически** — ср. фр. *pathétiquement*. Выражение *писать патетически* в «галлорусском наречии» соответствует выражению *писать страстным слогом* в языке Бояна. Любопытно, что и Тредиаковский передавал в своих переводах фр. *pathétique* через *пристрастное* [но также и *сладостное, умиленное* — см. переведенное им: «Сокращение философии канцлера Бакона» (СПб., 1760), ср.: Виноградов, Очерки..., стр. 151]. Слово *патетический* проникает в русский язык лишь во второй пол. XVIII в.: см. в «Собрании новостей» за ноябрь 1775 г. «Артикулы из Энциклопедии кои предлагаются для перевода на российский язык», где предлагается соответствие «*Pathétique* — Пафетичный» (стр. 99); ср. в «Корифее» Галинковского (1803, ч. I, кн. 2): «*pathétique* — патетический, страстный, нежный, умильный, привлекающий, трогательный, чувствительный» (ср. в этой связи название сборника Стерна в переводе Галинковского: «Красоты Стерна, или Собрание лучших его патетических повестей <...> Для чувствительных сердец. М., 1801»). Точно так же М. Н. Муравьев в «Рассуждении о различии словгов...» («Опыт трудов Вольного Российского собрания», ч. VI, М., 1783, стр. 17) говорит о «трогательном или патетическом слоге». Следует иметь в виду, что эпитет *патетический* ассоциировался с карамзинизмом: Карамзина называли «патетическим» писателем и П. Шаликов писал в статье «О слоге г-на Карамзина» («Аглая», 1808, ч. II, кн. 2) о «трогательной, неизъяснимой, очаровательной прелести слога, называемого патетическим, прелести, которая царствует в сочинениях г-на Карамзина» (см.: Левин, Очерк..., стр. 239—240, примеч. 267).

⁶⁵ **пансионах... этикетах... в большом свете** — «галлорусские» выражения, см. о них выше, примеч. 40, 41, 61.

⁶⁶ **Вельшских фурий** — см. выше, примеч. 4.

⁶⁷ **до безконечности** — это выражение, представляющее собой кальку с фр. à l'infini, по всей вероятности, ассоциировалось с жаргоном петиметров; характерно, что Галлорусс употребляет его и ниже (см. примеч. 104). Ср. в новиковском «Живописце» (1772, ч. I, лл. 4, 9, 10) последовательное обыгрывание слов *беспримерный* (*беспримерно*), *бесподобный* (*бесподобно*) так типичных слов «щегольских наречия» (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 292, 294, 311—313, 315—319); аналогичные формы (*беспримерно*, *бесприкладно*) постоянно употребляют и щеголихи в комедии Екатерины «Именины госпожи Варчалкиной» (см. изд. Покровский, Щеголихи..., прилож., стр. 31—35); ср. цитированное выше заявление Боттин в «Переписке моды» Н. И. Страхова, что петиметры называют их *бесподобными*, *беспримерными* (см. полную цитату выше в примеч. 52): наконец, и Н. П. Николев в предисловии к пьесе «Розана и Любим» (М., 1781) заявляет, что его герои «не говоря: *увы, бесподобно, безпримерно, обожаю* и проч., говорят обыкновенно, но просто». Вместе с тем, в «Живописце» аналогичным образом трактуются и выражения типа *до безумия*, *до смерти* и т. п. (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 294, 312—313, 317). — Весьма показательна реакция Тредиаковского на употребление выражений такого рода в применении к простым, а не сакральным материям. Г. Теплов писал о Тредиаковском, что «по его мозгу никакого из сих слов прилагательных употребить нельзя: *совершенный, безконечный, безпредельный, безчисленный, безмерный*, хотя бы такие слова к хлебу, к пище, к народу, ко вкусу и пр. приложены были. Тотчас скажет, когда *безчисленный*, тогда *неограничаемый*, а когда *неограничаемый*, то *безначальный*, а когда *безначальный*, то *всесовершенный*, а когда *всесовершенный*, то *самобытный* и пр. И после таковых глупостей софистических восклицает как бешенный: О, безбожное утверждение!» (см.: П. Пекарский, История имп. Академии наук в Петербурге, II, СПб., 1873, стр. 190).

⁶⁸ **очень упрям, чтоб** — ср. выше, примеч. 37.

⁶⁹ **оставить** — этот глагол выступает здесь как семантическая калька с фр. laisser.

⁷⁰ **закоренелыя** — этот эпитет у Галлорусса соотносится, по всей видимости, с характерной для Боброва (как и для ряда других авторов второй пол. XVIII — нач. XIX вв.) апелляцией к «коренному основанию языка» — «коренному, матернему славенскому языку» и т. п. См. примеч. 2, 149, а также вступительную статью к данной публикации (стр. 208—210 наст. изд.).

⁷¹ **пустяки** — в этом контексте, по-видимому, семантическая калька с фр. futilités или, возможно, bagatelles; соответственно выражения *оставить* *пустяки* может рассматриваться как калька с фр. laisser futilités или laisser bagatelles. Ср. в этой связи примеры употребления слов futilité, futilités в русских текстах сер. XIX в., приводимые в «Словаре иноязычных выражений и слов» А. М. Бабкина и В. В. Шендецова (т. I. М.—Л., 1966, стр. 543). Что касается слова bagatelle, то оно, видимо, было характерно для «щегольского наречия» второй пол. XVIII в. См., например, речь Ветромаха в комедии Княжнина «Чудаки», см. изд.: Я. Б. Княжнин, Избранные произведения, Л., 1961, стр. 476, 551; речь Минодоры в комедии Сумарокова «Мать совестница дочери», см. изд.: Покровский, Щеголихи..., прилож., стр. 3; ср. еще в речи щеголей слово *безделица* как семантическую кальку с bagatelle, например, в макаронической манерной речи, воспроизводимой в «Русских сказках» М. Чулкова (IV, стр. 112; ср.: В. В. Сиповский, Очерки по истории русского романа, т. I, вып. 1, СПб., 1909, стр. 203—204): «Мафуа! Дябль! Аманта моя сделала мне энфедилитацию. Безделица! Бон есперанс у меня в кармане...», а также упоминание «безделок моих» в стилизованном монологе Щеголихи в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4, ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 292); ср. в этой же связи и названия сборников Карамзина и Дмитриева 90-х гг. — «Мои безделки» и «И мои безделки».

⁷² **нововеро́в.** Слово *нововер* — окказионализм, образованный Бояном по аналогии со словом *старовер*, непосредственно перед тем употребленным Галлоруссом.

⁷³ **галлизированных несекомах.** Слово *галлизированный* — явный европеизм. Вместе с тем, и форма *несекомое*, как и *насекомое*, представляет собой кальку с *insectum*. Дублетные формы обусловлены разной трактовкой префикса *in-*, который может иметь негативное значение (*не сечь*) и значение места (*сечь на*, ср. *насечка*, *насекать*), ср.: В. О. Unbegaun, La calque dans les langues slaves, в кн.: В. О. Unbegaun, Selected papers on Russian and Slavonic philology, Oxford, 1969, стр. 47. Иногда утверждают, что форму *несекомое* изобрел Бобров (см.: <М. Мазаев>, Бобров, в изд.: С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь, т. IV, отд. 1. СПб., 1895, стр. 61). Это неверно, поскольку данная форма встречается уже с 20-х гг. XVIII в., см. примеры у Биржаковой, Войновой, Кутиной, Очерки..., стр. 309—310, а также у В. И. Чернышева, Несколько словарных разысканий, «Статьи по славянской и русской филологии. Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского» (Сб. ОРЯС, т. CI. № 3). Л., 1928, стр. 26. Как бы то ни было, Боян явно использует калькированную форму (что, впрочем, в принципе может быть истолковано как специальный с его стороны прием: ср. цсл. *гады*).

⁷⁴ **изча́дий отече́ства.** Выражение *изча́дь отече́ства* явно противостоит хорошо известному выражению *сын отече́ства* (выступающего как синоним к слову *патриот*), представляя собой, собственно, перефразировку этого выражения в устах Бояна. (Относительно выражения *сын отече́ства* см., например, у Веселитского, Отвлеченная лексика..., стр. 137—139; добавим, что по своему происхождению оно восходит к выражению *Отец отече́ства* как наименованию русских императоров.)

⁷⁵ **славянирует** — морфологический германизм (ср. *slavonieren*). Ср. примеч. 219, а также примеч. 73.

^{75а} **Прокоповича... Кантемира... Ломоносова.** Ср. у Макарова в его критике на книгу Шишкова: «Должно ли винить Феофана, Кантемира и Ломоносова, что они первые удалились от своих предшественников» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 163). Эти имена упоминает выше и Боян, перечисляя авторов, в языке которых он ощутил «многую перемену».

⁷⁶ **фено́мен** — типичный европеизм. Регулярным русским соответствием к этому слову выступает *явление*. См. материал по употреблению данного слова у Биржаковой, Войновой, Кутиной (Очерки..., стр. 152, также стр. 225, 294). Ср. ниже ироническое обыгрывание этого слова в речи Меркурия (см. примеч. 244).

⁷⁷ **Он мно́го нача́тан** — Эта фраза, по всей видимости, ни что иное, как точная калька с фр. *il a beaucoup lu*, то есть слово *начитан* выступает здесь не как прилагательное (адъективация соответствующего причастия вообще происходит позже), а как причастная форма, которая не имеет при этом значения страдательного залога, но используется для выражения перфектности. Таким образом, и в этом случае Галлорусс передает русскими языковыми средствами грамматическое значение фр. перфекта (ср. выше, примеч. 16), но если обычно он использует для этого деепричастные формы, то здесь он пользуется формой страдательного причастия.

⁷⁸ **довольно силен, что́б** — ср. выше примеч. 37.

⁷⁹ **в нем... найдешь** — глагол *находить* довольно регулярно выступает у Галлорусса как семантическая калька с фр. *trouver* (ср. ниже примеч. 117, 134, 201).

⁸⁰ **на сре́дней то́чке** — т. е. посреди, в центре. Вероятно, это калька с нем. *Mittelpunkt*, которая отмечается уже в первой пол. XVIII в. Ср. слово *средоточие* — впервые у Кантемира, который и явился, возможно, его создателем, определив это слово как «средняя точка, центр». Ср. также глагол *сосредоточить*, созданный, по-видимому, Карамзиным. См.: Веселит-

ский, Отвлеченная лексика..., стр. 141, Hüttl-Worth, Die Bereicherung..., стр. 195, Г. Хютль-Ворт, Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений, "American contributions to the Fifth International Congress of Slavists", The Hague, 1963, стр. 135—136.

Характеристика промежуточной позиции Ломоносова как арбитра, «стоящего на средней точке» между Бояном и Галлоруссом, обусловлена, видимо, тем обстоятельством, что к авторитету Ломоносова могли апеллировать как «архаисты», так и «новаторы»: так, например, на Ломоносова ссылается как Шишков, так и Макаров, который считает его предшественником Карамзина (см. стр. 187 наст. изд.). Точно так же, если Катенин видел в деятельности Ломоносова «приближение русского языка к славянскому», то А. А. Бестужев усматривал в ней, напротив, ограничение славянской стихии в русском литературном языке, и т. п. (см.: Левин, Очерк..., стр. 118).

⁸¹ **славной человек**. Это выражение двусмысленно, т. к. эпитет *славной* может означать как «известный», «знаменитый», так и «милый», как это свойственно прежде всего «шегольской» речи (см. примеч. 17, а также примеч. 94).

⁸² **при мне еще Музы унесли его в Елисейския беседки** — Макаров родился в 1765 г., Ломоносов умер в 1766 г.

⁸³ **зделали постель** — калька с фр. faire le lit. Обороты с глаголом *сделать*, калькирующим фр. faire, характерны для «галлорусского наречия» (ср. ниже примеч. 133); ср. в разговорах петиметров второй пол. XVIII в.: «сделала distraction и <...> грусть», «сделает ей грубость палкою» и т. п. (из письма Шеголихи в «Живописце», 1772, ч. I, л. 9, см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 312), «сделает компанию», «сделать партию» (из разговора Советницы в «Бригадире» Фонвизина, см. цит. изд., стр. 139—140, 192) и т. п.

⁸⁴ **опрокинуться на меня** — вероятно, калька с фр. tomber sur (ср. современный оборот: *накинуться на...*). Ср. пример, приводимый под этим словом в «Словаре Академии Российской»: *На всѣхъ былъ сердитъ, а на меня одного опрокинулъ*. Ср., вместе с тем, *опровергать* — «возражать» (это значение фигурирует в «Словаре Академии Российской»).

⁸⁵ **бютах** — ср. фр. le but.

⁸⁶ **зделай, чтоб** — см. о подобных оборотах выше, примеч. 37. Характерно, что Меркурий оценивает это выражение как повеление, данное «французским манером».

⁸⁷ **французским манером** — европензм в речи Меркурия (ср.: à la manière française).

⁸⁸ **зделай..., чтоб** — см. выше примеч. 37 и 86.

⁸⁹ **положили его быть** — см. выше примеч. 48.

⁹⁰ **странное Галлобесие**. Компонент *-бесие* выступает как продуктивный словообразовательный элемент в языке XIX в. (показателен, между прочим, окказионализм *чтеньебесие* в письме Пушкина к брату от 27 марта 1825 г.). Активизации его способствовали французские слова на *-manie*: формы на *-бесие* представляют собой результат каламбурного перевода фр. *-manie*, ср. греч. *-mania* (см.: В. В. Виноградов, Из истории русской литературной лексики, I. *Мракобесие*, *мракобес*, «Доклады и сообщения Института русского языка <АН СССР>», вып. 2, М.—Л., 1948, стр. 3—18; Виноградов полагает, что этот процесс начинается с 10—20-х гг. XIX в., но памфлет Боброва позволяет отодвинуть его к самому началу XIX в., если не к концу XVIII-го; перед нами, видимо, одно из первых образований такого рода). Таким образом *галлобесие* представляет собой своеобразную кальку с *gallomania* ~ *gallomanie* (ср. более позднюю кальку с этого слова — термин *франкобесие* у М. М. Стасюлевича, ср. еще *итальянобесие* у М. И. Глинки, см. В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 17 и 11). Между тем, слово *галломания* появляется, кажется, позже (см. ниже примеч. 95). Ср. в этой связи слово *славянобесие* в дневнике Герцена (В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 11) и, с другой стороны, *славеномания* в письме Евгения

Болховитинова Д. И. Хвостову от января 1815 г. (Сб. ОРЯС, т. V, вып. 1, СПб., 1868, стр. 159). — Любопытно отметить, что задолго до того, как стали возможны галлицизмы этого типа, могли иметь место аналогичные грецизмы. Так, Юрий Крижанич в главе «Ob czużeběsiu» своего трактата «Политика» писал: «Ksenomanija Grékot, nam Czużeběsie, iest bēszenaia lyubōw czūżich weśēu i parōdow» (Юрий Крижанич, Политика, М., 1965, стр. 146), прямо указывая на греческую модель образованного им неологизма *чужебесие*.

Эпитет *странный* в выражении Бояна *странное галлобесие* объединяет старое и новое значение данного прилагательного: «чужой, иностранный» и «чудной», «необычный».

⁹¹ поставил его одесную — это выражение в речи Бояна представляет собой явный библеизм (см., например, Псалтырь, XLIV, 10, CVIII, 6, 31, Деяния, VII, 55 и др. примеры). Ср. другие библеизмы у Бояна (см. ниже примеч. 102, ср. также примеч. 32).

⁹² *Омира, Исиода* — показательно, что имена Гомера и Гесиода даются Бояном в восточном (рейхлиновом) произношении (ср. еще форму *Омир* на стр. 259). Соответствующее произношение грецизмов ассоциировалось (начиная со второй четверти XVIII в.) по преимуществу с церковнославянским языком, см. об этом: Б. А. Успенский, Доломоновский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский, ВЯ, 1974, № 2, стр. 19—20. Между тем, имя Демосфен Боян произносит менее последовательно (ожидалось бы *Димосфен*, ср. греч. Δημοσθένης).

⁹³ *Пиндара... Гюнтер*. Имена Пиндара, Малерба, Гюнтера могли ассоциироваться в сознании читателя с именем Ломоносова. Ср. известные стихи Сумарокова о Ломоносове (в «Эпистоле о стихотворстве» 1747 г.): «Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен», ср. также в «Послании к Привете» А. А. Палицына, 1807 г.: «Есть Пиндар свой у нас, бессмертный Ломоносов» («Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 747). Влияние Гюнтера на Ломоносова хорошо известно.

⁹⁴ *сего знаменитого мужа*. Выражение *сей знаменитый муж* применительно к Ломоносову, противостоит в речи Бояна выражению *этот славной человек*, употребленному Галлоруссом (см. выше, примеч. 81). Ср. в этой связи ремарку Батюшкова в письме к Гнедичу от 28—29 октября 1816 г. «В прозе исправь эпитет: *славный* Мерзляков; напиши *знаменитый*, если хочешь, или *добрый*» (см. К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб. 1886, стр. 408).

⁹⁵ *Галлобеса*. Слово *галлобес* представляет собой вторичное образование от *галлобесие* (ср. выше примеч. 90) и, вместе с тем, соотносится со словом *галломан*, ср. фр. *gallomane*, которое входит в широкое употребление, по-видимому, в 1812 г. [см. последнее слово в очерке Батюшкова «Прогулка по Москве», 1812 г., ср. также «пагубная *галломания*» в статье Каченовского того же времени («Вестник Европы», 1812, № 7, стр. 217); пуристические настороженные противники галломании, как свидетельствует Вяземский в «Старой записной книжке», с легкой руки Сергея Глинки могли называть галломанов — *французолобцами*, ср., между тем, у самого Вяземского: «галлолюбие или французомания» (П. А. Вяземский, Полное собрание сочинений, т. VIII, СПб., 1883, стр. 163 и 487): ср. вместе с тем, выражение *славяноманы* в послании П. И. Шаликова «К В. Л. Пушкину» того же 1812-го года (см. изд. «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 643), явно образованное под влиянием слова *галломан*]. Употребление слова *галлобес* в рассматриваемой сатире Боброва вносит некоторые коррективы в точку зрения В. В. Виноградова, который полагал, что слово *мракобес* представляет собой единственный вторичное образование от сложных слов на *бесие*, и делал отсюда вывод об относительно позднем (по сравнению с *мракобесием*) возникновении этого слова: «очевидно, оно возникло тогда, когда все другие сложные слова на *-бесие* уже были утрачены, вымерли, или, во всяком случае, уже выветривались. Иначе естественно было бы ожидать таких образований, как *стихо-бес*, *кнутобес*, *славянобес*, *москвобес* и т. п. Только к слову *мракобесие*

<...> было создано соответствующее обозначение лица» (В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 17).

⁹⁶ **не проронит, что надобно.** Употребление глагола *проронить* соответствует следующей дефиниции в «Словаре Академии Российской»: «пропустить, не досмотреть, не воспользоваться чем: *проронить в щель <...> проронил случай*». Возможно, это коллоквиализм, что, как уже говорилось, вообще характерно для речи Меркурия.

⁹⁷ **взяв арфу.** Слово *арфа* в авторской речи соответствует выражению *сквозные гусли* в речи Галлорусса, см. выше, примеч. 10.

⁹⁸ **Галлорусс приходит в... изумление.** Это выражение противостоит выражению *приходит в восхищение*, употребленному непосредственно перед тем при описании состояния Ломоносова. В отношении слова *изумление* ср. выше, примеч. 7. Что же касается слова *восхищение*, то любопытно отметить, что представленное здесь новое — собственно русское, а не церковнославянское — значение этого церковнославянизма («восторг» — ср. цсл. *восхищение* «похищение, кража»), возможно, отражает в конечном счете влияние европейских языков (ср. фр. *ravissement*: 1) «кража с насилием»; 2) перен. «энтузиазм»; см.: Г. Хютль Ворт, Роль церковнославянского языка в развитии русского литературного языка, отд. оттиск из: «American contributions to the Sixth International Congress of Slavists», vol. I, The Hague, 1968, стр. 15); характерно в этом плане употребление слов *восхищение*, *восхищаться* и т. п. в соответствующем значении в стилистически обыгранной речи петиметров в комедиях XVIII в. (например, в фонвизинском «Бригадире», см. цит. изд. Н. С. Тихонравова, стр. 146, 177, 178).

⁹⁹ **Он еще замысловат; изрядно выигрывает** — по-видимому, это не специфические «галлорусские», а нормальные для рассматриваемой эпохи обороты. См. определения в «Словаре Академии Российской»: *замысловатой* — о лице: способный на выдумки или изобретения», *выиграть* — выражать песни или другое что на каком-либо мусикийском орудии <например> *выигрывают на рожках разные пьски*.

¹⁰⁰ **Какое слышу божественное согласие** — слово *согласие* у Ломоносова выступает как эквивалент слова *гармония*, непосредственно перед тем употребленного в авторской речи. Здесь, возможно присутствует некоторый стилистический нюанс, причем слово *гармония* выступает, по-видимому, как нейтральное. Позиция Боброва отличается в данном случае от позиции других пуристов, т. к. в начале XIX в. нередко слышались протесты против слова *гармония* (ср. прежде всего у Шишкова в «Рассуждении...», стр. 173, а также в «Послании к Привете» А. А. Палицына, ср. цитату, приводимую ниже, в примеч. 116), причем в ряде случаев предлагается заменить слово *гармония* на *согласие* (см., например, в «Журнале российской словесности», 1805, № 3, стр. 141—142); М. И. Попов в предисловии к переводу (с французского) поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» (ч. I, СПб., 1772, стр. 12) указывает соответствие «*harmonie* — доброгласие». Отметим, что слово *гармония* регулярно передается через *согласие* уже в переводах Тредиаковского (см.: Hüttl-Worth, Die Bereicherung..., стр. 192; Виноградов, Очерки..., стр. 151—152).

¹⁰¹ **очаровательная песнь.** Этитет *очаровательный* употребляется Ломоносовым так же, как и Бояном, — в новом значении. См., выше примеч. 62.

¹⁰² **суди праведно.** Это выражение в речи Бояна может быть расценено как библеизм (ср., в частности, Псалтырь, LXVI, 5; LXXI, 2; XCVII, 9; Деяния, XVII, 31, Апокалипсис, XIX, 11). Ср. выше, примеч. 91.

¹⁰³ **прелести новаго.** Слово *прелесть* в положительном значении было введено в литературный язык лишь во второй пол. XVIII в., главным образом карамзинистами (ср. старое значение этого слова, сохраняющееся в церковнославянском языке: «обман, заблуждение, соблазн»). Не исключено,

что соответствующее употребление восходит к галлорусскому «щегольскому наречию» второй пол. XVIII в., поскольку изменение значений в словах *прелесть* — *прелестный*, *очарование* — *очаровательный*, *обаяние* — *обаятельный* и т. п. отражает, видимо, аналогичный семантический процесс в соответствующих французских лексемах (ср.: «французские ряды *charme, charme, charmer, charmant, enchanter, enchantement* и т. д. подвергались тем же самым семантическим изменениям, как и русские слова, только значительно раньше, и в XVIII веке переносные значения заимствовались из французского в русский литературный язык» — Г. Хютль Ворт, Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений, “American contributions to the Fifth International Congress of Slavists”. The Hague, 1963, стр. 145, здесь же и об аналогичных семантических процессах в других европейских языках, которые объясняются из того же источника; см. также: Г. Хютль Ворт, Роль церковнославянского языка в развитии русского литературного языка, отд. оттиск из изд.: “American contributions to the Sixth International Congress of Slavists”, vol. I, The Hague, 1968, стр. 14—15). Ср. в письме Щеголихи в «Живописце» (1772 г., ч. I, л. 9): «Твои листы *вечно меня прельщают*», где слово *прельщают* выделено в тексте как петиметрское (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 312); ср., с другой стороны, у Карамзина в посвящении к «Аглае» (1795, кн. II, стр. 1): «Ничто не прельщает меня в свете» или в стихотворении «Прости» 1792 г.: «Не знатен я, не славен, — Могу ль кого прельстить» и т. п. (см.: Н. М. Карамзин, Полное собрание стихотворений, М.—Л., 1966, стр. 135, 113). Ср. еще слово *прелестный* в стилизованном разговоре петиметров в «Чудаках» Княжнина (Я. Б. Княжнин, Избранные произведения, Л., 1961, стр. 456, 459). — Характерно, между тем, что Шишков в своем «Рассуждении...» (стр. 277—278, ср. еще стр. 193), различая два значения данного слова — старое и новое, — считает уже основным значением новое, т. е. собственно русское, а не церковнославянское. Точно так же и в «Происшествии в царстве теней» Боброва употребление слова *прелесть* в положительном значении свойственно не только Галлоруссу, но и другим персонажам. Ср. ниже, примеч. 158, а также примеч. 62. Ср. еще стр. 248 наст. изд.

¹⁰⁴ **до бесконечности** — см. выше, примеч. 67.

¹⁰⁵ **Не думайте, чтоб я хотел** — см. выше, примеч. 37.

¹⁰⁶ **женероз** — ср. фр. *généreux*. Заимствование петровского времени, ср. в письме А. П. Вольтерского П. П. Шафирову около 1718 г.: «к чему он<и> на словах все *женерозы*» (см. изд.: «Петровский сборник», СПб., 1872, стр. 155; ср. встречающееся в этот же период *женерозитэ*, см. о нем: Н. А. Смирнов, Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху, СПб., 1910, стр. 114). В XVIII в. это слово характерно прежде всего для «щегольской» речи. Соответственно, Курганов упоминает *женероз* в числе тех слов, которые он сознательно не включил в словарь, поскольку нет нужды их употреблять (см.: Н. Г. Курганов, Письмовник..., 4-е изд., СПб., 1790, ч. II, стр. 276); тем не менее, в словаре «Письмовника» находим: «*женероз*, податлив, щедр, великодушен» (там же, стр. 233).

¹⁰⁷ **далек от** — калька с фр. *loin de*. Ср. ниже, примеч. 117.

¹⁰⁸ **слишком далек... чтоб** — см. выше примеч. 37. Еще в середине XIX в. подобные конструкции могут восприниматься как чуждые русскому языку (см. у Л. А. Булаховского, Русский литературный язык первой половины XIX века, М., 1954, стр. 271). Так именно и расценивает их бобровский Ломоносов, который высмеивает соответствующее выражение (см. примеч. 113 и 130).

^{108a} **заниматься** — в этом контексте, по-видимому, семантическая калька с фр. *s'occuper*.

¹⁰⁹ **берет место** — калька с фр. *prendre place*.

¹¹⁰ **Ветошка**, — всё ветошка. *Ветошка* — «ветхое, изношенное белье». Это слово достаточно обычно в разговорной речи как XVIII, так и XIX в. и таким образом не может считаться специфическим для речи Галлорусса.

¹¹¹ **без того... что б** — см. выше, примеч. 37.

^{111a} **сказано дорогого**. Первоначально стояло: *дорога сказано*. Писавший переставил слова, обозначив их порядок проставленными над ними цифрами.

¹¹² **у Адама Адамыча** — имеется в виду Вральман, персонаж фонвизинского «Недоросля».

¹¹³ **без того не решился, чтоб;** — *очень далек от того, чтоб* — см. примеч. 108, 111.

¹¹⁴ **Докажи же мне... вкус и доброту своей словесности** — ср. выше примеч. 60.

¹¹⁵ **разтрогал** — глаголы *тронуть*, *растрогать* и т. п. в значении «привести в чувство» представляют собой семантическую кальку с фр. *toucher*, как это отмечал еще Тредиаковский в своем памфлете на Сумарокова 1750 г. («*Тронуть* вместо *привести в жалость* за французское *toucher* толь странно и смешно...» и т. п.); однако Сумароков, отвечая Тредиаковскому, уже тогда утверждал, что «*тронуть сердце* вместо *привести в жалость* говорит весь свет» (см. Веселитский, *Отвлеченная лексика...*, стр. 146—147, ср. еще Hüttl-Worth, *Die Bereicherung...*, стр. 201—202). Полемику, относящуюся к словам *тронуть*, *трогательно*, *трогательный* возобновил Шишков («*Рассуждение...*», стр. 200—202, 143); ему возражал в своей рецензии Макаров который находил обсуждаемые Шишковым примеры неуместными. Вполне закономерно поэтому, что Галлорусс употребляет этот глагол в соответствующем значении. Ср. в этой связи примеч. 152 относительно слова *трогательный*.

¹¹⁶ **жени** — одно из типичных «галлорусских» слов (ср. фр. *génie*). Галлорусс употребляет его и в дальнейшем (ср. примеч. 166, 197, 214), что высмеивается Ломоносовым (см. примеч. 169а). Слово *жени* в «галлорусском наречии» противостоит слову *гений*, неоднократно употребляемому Бобровским Ломоносовым (см. примеч. 127, 173, 179, 186, 192, 226). Таким образом *гений* фактически признается русским словом, т. е. элементом русского литературного языка (это слово фигурирует и в полном названии сборника Боброва «*Рассвет полночи*» 1804 г. и вообще может считаться достаточно характерным для Боброва; ср., однако протест Шишкова против данного слова в «*Рассуждении...*», стр. 160); противопоставление правильного и неправильного строится в данном случае не по принципу «исконное русское — заимствованное», а по принципу «французское — нейтральное». Иначе говоря, несмотря на декларативные заявления о борьбе с иноязычным влиянием, некоторые европеизмы фактически не воспринимаются как таковые: более важно на самом деле не происхождение слова, а его функционирование. Не исключено, что это отражает немецкую языковую ситуацию (ср. стр. 197 наст. работы) и что само противопоставление соответствующих форм пришло из немецкого языка.

Для характеристики семантики слова *жени* ср., между прочим, следующие слова Вольтера, опубликованные в «Северном вестнике» (1804, ч. I, № 3, стр. 307—308): «Римляне, к выражению редких дарований, употребляли не слово *genius*, так как Французы сие делают, но *ingenium*. Французы без разбору употребляют слово *Гений* (*génie*), говорят ли о духе, имевшем под своим охранением какой-нибудь древний город, или о машинисте, либо музыканте». Следует отметить, однако, что и слово *гений* фактически может отражать семантику именно *génie*, а не *genius*; соответственно, и *жени* и *гений* могут употребляться как применительно к обозначению духа или абстрактного свойства, так и при обозначении конкретного лица. В «Новом словотолкователе, расположенном по алфавиту, содержащем разные в рос-

сийском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины» Н. Яновского указывается, что слово *жени* соответствует слову *гений* в его значении: «природное остроумие, высочайший дар природы, дающий разуму самую величайшую проницательность и деятельность; талант соображать идеи новым, великим и поражающим образом, от коего душа получает способность чувствовать и изображать живо силу различных предметов». Яновский отмечает, что *гений* в этом значении «у Французов называется *жени*», при том, что *гений* может иметь еще и другое значение, отличное от *жени*, а именно обозначать духа-охранителя (ч. I, СПб., 1803, стр. 566 и 779). Значение слов *жени* и *гений* в известной степени отразилось, видимо, на употреблении слова *дух*, которое соотносится прежде всего с фр. *esprit*, но, вместе с тем, и с *génie*.

Во второй пол. XVIII в. слово *жени* может проникать в русский литературный язык двумя путями — из разговорного языка салонов и, вместе с тем, под влиянием языка штурмеров. Первое упоминание о данном слове дается у Сумарокова в статье «О истреблении чужих слов из русского языка» («Трудолюбивая пчела», 1759, январь): Сумароков высмеивает здесь тех, кто употребляет, наряду с другими варваризмами, *жени* вместо *остроумие* (следует иметь в виду, что слово *остроумие* могло означать тогда «проницательный ум», «талант» и т. п.); по-видимому, это было характерно для «щегольского наречия» того времени. Позднее слово *жени* становится очень характерным для Карамзина и его окружения, причем здесь может быть усмотрена прямая связь с языком и идеологией штурмерства (слово *génie* в языке немецких штурмеров приобрело специфическое значение «гения» в предромантическом смысле; ср. здесь, в частности, Kraftgenie — «бурный гений», Originalgenie — «истинный поэт», Geniezeit — «период бури и натиска», и т. п.). См. в письмах А. А. Петрова к Карамзину: «Будучи великой *Жени* <подчеркнуто Петровым. — Ю. Л., Б. У.>, ты столько превознесся над малостями, что в трех строках сделал пять ошибок против немецкого языка» (письмо от 11 июня 1785 г.); если здесь можно усмотреть ироническое обыгрывание данного слова, то оно относится не к самому слову как таковому, а к его написанию: в других случаях Петров пишет это слово непосредственно по-французски. Ср.: «Грешно сравнивать натуру Genie с педантскими подражаниями, с натянутыми подделками низких умов <...> Говорят, что Шакеспер <Карамзин исправил эту форму на *Шакеспир* — Ю. М., Б. У> был величайший Genie; но я не знаю, для чего его трагедии не так мне нравятся, как Эмилиа Галлотти» (письмо от 1 августа 1787 г.). (См. архив бр. Тургеневых в Пушкинском доме, ед. хр. № 124, лл. 288, 292, 292, об., ср. не вполне исправную публикацию этих писем в «Русском архиве», 1863, № 5—6; следует отметить, что письма Петрова после его смерти были подвергнуты Карамзиным в рукописи как смысловой, так отчасти и стилистической правке, однако слова *жени* — *genie* исправлены при этом не были). Аналогично в письме Карамзина к Дмитриеву от 14 июня 1792 г. можно встретить следующий отзыв (о Коцебу): «он имеет *жени*, дух и силу» (см. изд.: «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, стр. 26, курсив оригинала); в письмах этого времени Карамзин употребляет и слово *гений*, но в другом значении (ср. «поручаю тебя твоему Гению», «сколько часов в день посвящаешь Гению поэзии» в письмах к Дмитриеву от 17 февраля 1793 г. и 6 августа 1796 г., цит. изд., стр. 34 и 68). Ср. еще в «Опыте о стихотворстве», написанном, возможно, В. Подшиваловым: «Тщетно будут употребляемы все сии наружные части к строению целого, когда недостает врожденной способности (*génie*), ибо сие-то есть душа, дух, которой оживляет целое творение» («Чтение для вкуса, разума и чувствований», М., 1791, ч. IV, стр. 299). Ср., между тем, ироническое использование этого слова у Н. А. Львова в примечаниях к «богатырской песни» «Добрыне» (1796 г.); говоря о инородном происхождении таких произведений, ассоциируемых с русским языком и русской народной культурой, как «Бова»

и т. п., Львов пишет здесь: «Франц и королева Ренцывена» — венецианский роман, при царе Алексее Михайловиче переведенный; после складов и я его переписывал и помню, что в нем есть Жени-дух и Старец Пилигрим» (см. изд.: «Поэты XVIII века», т. II, Л., 1972, стр. 230); сам Львов вызывает в «Добрыне» к «русскому духу».

Показательно, что именно Карамзин попытался ввести слово *жени* в литературный язык: см., в частности, в первом издании «Писем русского путешественника» («Московский журнал», 1791, ч. II, кн. 3, стр. 312): «Он говорил о великом духе или о *жени*. *Жени*, сказал он, не может занимать ничем, кроме важного и великого — кроме натуры и человека в целом». Не менее примечательно, вместе с тем, что уже в следующем издании «Писем...» в 1797 г. Карамзин заменяет эту форму на *гений* (см. изд. 1797 г., ч. II, стр. 41). Тем не менее, слово *жени* ставалось в обиходе карамзинистов. Оно неоднократно встречается, между прочим, и в «Корифее» Я. Галинковского, причем в одном случае это слово сопровождается объяснением: «Génie — жени, гений, лично-особенное-дарование, дух великий, недостигаемый, творец оригинальный <...> Оставляю знатокам и любителям языка своего придумать на русском сие слово, и сообщить оное, когда угодно будет в журнал» («Корифей, или Ключ литературы», ч. I, кн. 2, СПб., 1803, стр. 15; ср.: Левин, Очерк..., стр. 284); здесь же (ч. I, кн. 4, СПб., 1803, стр. 58—59) помещена и специальная статья: «Анализ слова жени, Г-на Зульцера». Ср. его же характеристику Стерна: «Он стоит на ряду с *Попем*, *Свифтом*, *Юмом*, *Томсоном* и другими — как *жени*, как превосходный писатель; но как сантименталист, как *филантроп* (человеколюбивый) — он первой, или лучше начальник своей секты» (<Я. Галинковский>, Красоты Стерна, М., 1801, стр. II, курсив оригинала).

В «Послании к Привете» А. А. Палицына (1807 г.) *женей* названо среди тех слов, которые «вползли в российски письма» (см. изд.: «Поэты 1790—1810-х годов». Л., 1971, стр. 747):

Когда в российски письма
Вползло премножество (как черви или гады)
Моралей, Энергий, Фантомов, Гармоний,
Сцен, Форм, Идей и Фраз, Женей, Монотоний,
Меланхолий и всех подобных им Маний,
И портят наш язык прекрасный без пошады.

¹¹⁷ **вы найдете нас очень далекими** в новой **методе изливать красноречие чувств** — эта фраза Галлорусса представляет собой неуклюжую комбинацию из разного рода фразеологических и синтаксических галлицизмов. Выражение **вы найдете нас... далекими** калькирует употребление глагола *trouver* в сочетании с прилагательным (ср. выше примеч. 79); вместе с тем, выражение *être loin de...* (это выражение уже употреблялось Галлоруссом выше, см. примеч. 107, а также 113), в данном контексте соответствует по смыслу скорее выражению *être avancé dans...*; можно полагать, таким образом, что оба выражения объединились в речи Галлорусса. **Метода изливать** калькирует сочетание типа *la méthode d'exprimer*.

¹¹⁸ **мудрагелей** — слово *мудрагель* (как и *мудрогель*) в словарях не обнаружено.

¹¹⁹ **Возьмите терпение** — калька с фр. *prendre patience*.

¹²⁰ **в духе петь** — ср. фр. *être en humeur à faire qch.* Ср. фразеологизм *être en mauvaise humeur*.

¹²¹ **нарядно** — это слово может означать здесь «красиво», «кудряво», но может отчасти сохранять и старое значение: «фальшиво».

^{121a} **импровизатор** — из ит. *improvvisatore*. Это слово зафиксировано в «Новом словотолкователе...» Н. Яновского (ч. I, СПб., 1803, стр. 820—821) со следующим определением: «Импровизаторы или *импровизанты*. В Италии называется так род площадных стихотворцев, которые одарены

способностью говорить стихами, наскоро выдуманном обо всех предметах важных, смешных, героических».

¹²² **откройте печать чистого вкуса** — буквальный перевод с французского. Ср.: «Vous y découvrirez l'empreinte du pur goût». В статье «Сравнение Сумарокова с Лафонтеном...» Шишков специально протестовал против употребления слов *печать* и *отпечаток* как семантической кальки с *empreinte*, в частности против выражения *носить отпечаток* в соответствии с *porter l'empreinte* (см. изд.: Шишков, Собрание сочинений и переводов, ч. XII, СПб., 1828, стр. 194—195). Относительно выражения *чистый вкус* ср. примеч. 22, 37а, 217, 223.

¹²³ **Мы ликуем славы звуки** и т. д. — отрывок из стихотворения Г. Р. Державина «Гром победы раздавайся» (Две кадрили из двадцати четырех пар состоявшей), («Московский журнал», 1791, июнь, стр. 284).

¹²⁴ **приятнее** — эпитет *приятный* как средство выражения эстетической оценки характерен, вообще говоря, для карамзинистов, где он выступает как синоним к слову *изящный* (см., например, Левин, Очерк..., стр. 122—123; Веселитский, Отвлеченная лексика..., стр. 165—166). Ср. известную карамзинскую характеристику новой русской литературы в «Пантеоне российских авторов» 1801 г.: «приятность слога, называемая французами *élégance*». Для этого подобное употребление было характерно для Сумарокова и его последователей и одновременно для петиметров XVIII в. (см. об этом на стр. 224—228 наст. изд.). — В устах бобровского Ломоносова эпитет *приятный* звучит несколько неожиданно (он встречается здесь и в дальнейшем, ср. примеч. 129 и 203): соответствующее употребление может свидетельствовать в общем об освоении лексики «нового слога» в русском литературном языке. Ср. в этой связи примеч. 46 и 152, а также примеч. 60, 62, 103.

¹²⁵ **нежа, те жа, достоен, спокоен... достоин, спокоин, строин**. Бобров вкладывает здесь в уста Ломоносова протест против заушарного диссонанса; о развитии этого явления в русской рифме второй пол. XVIII в. см.: В. А. Западов, Державин и русская рифма XVIII в., «Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века» (= «XVIII век», кн. 8), Л., 1969. Что касается формы *достоен*, то еще Сумароков в свое время критиковал Ломоносова за употребление этой и тому подобных форм («О правописании» в изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе, изд. 2-е, ч. X, М., 1787, стр. 6). С позицией Боброва любопытно сопоставить портивоположную позицию Н. П. Николева, который заявлял в своем «Рассуждении о стихотворстве российском» (см.: «Новые ежесечные сочинения», 1787, ч. X, стр. 39): «Я переменил иногда *е* в *и* и ставил в рифму *хочит* с *порочит*, *достоин* с *покоин*; что Г. Ломоносов и Г. Сумароков дельвали, не смотря на осуждения некоторых критиков, или лутче сказать самопроизвольных стражей имения для них бесполезного».

¹²⁶ **лучше писать без рифм**. Ср. выступление против рифмы и обоснование необходимости писать белыми стихами в предисловии Боброва к «Херсониде» (см. изд.: С. Бобров, Херсониды, СПб., 1804, стр. 7). Ср. ниже, примеч. 155.

¹²⁷ **сохранить пользу Гения** — слово *гений* в лексиконе Ломоносова противостоит слову *жени* в языке Галлорусса. См. выше, примеч. 116.

¹²⁸ **Внушить**, — значит точно, **внимать, слушать, а не объявить или возвестить**, как здесь употреблено. Здесь противопоставлены два значения глагола *внушить* — церковнославянское и собственно русское. В церковнославянском языке этот глагол означает «внимать, слышать» (Ср.: «Глаголы моя внуши, Господи», Псалтырь, V, 2). Это значение достаточно обычно и в русских поэтических текстах XVIII в., например в поэзии Ломоносова [см.: Н. В. Трунев, Из истории значений слов (Светские оды Ломоносова), «Уч. зап. Омского пед. ин-та», вып. 4, 1949], ср. у Дмитриева в «Духовной песни, извлеченной из 48 псалма»: «Внуши, земля!»; его можно встретить еще у Жуковского (см. Г. О. Винокур, Русский литературный

язык во второй половине XVIII века, в его кн.: Избранные работы по русскому языку. М., 1959, стр. 145). Ср. замечание Кюхельбекера по поводу критики А. А. Бестужева на катенинский перевод трагедии Расина «Эсфирь»: «Бестужев не знает или не хочет знать, что *внуши* на славянском синоним глаголу *внемли*» (Дневник В. К. Кюхельбекера, Л., 1929, стр. 129). Вместе с тем, в русском языке развилось особое — каузативное — значение данного слова; оба значения показаны в «Словаре Академии Российской», причем первое значение не трактуется здесь как специфическое «славянское». Любопытно, что Бобров вообще не считает правомерным употребление данного глагола во втором значении в поэтических текстах, хотя и признает, что фактически он «в таком <...> ложном понятии у многих употребляется»; между тем, уже у Пушкина рассматриваемый глагол встречается исключительно в этом втором значении (см.: «Словарь языка Пушкина», т. I, М., 1956, стр. 310—311).

¹²⁹ блистательна и приятна (о мысли) — эти эпитеты отражают, по-видимому, фразеологню «нового слога», свидетельствуя в общем об усвоении карамзинистской лексики в русском литературном языке. Ср. выше примеч. 46 и 124, а также примеч. 203, 152.

¹³⁰ Слова: *Дух век будет спокоен его лишь обожать*, — похожи почти на твою, Галлорусс, милую поговорку, напр. *очень далеко от того, чтоб заниматься* и пр. Бобровский Ломоносов усматривает в разбираемом стихе синтаксический галлицизм, имея в виду сочетание прилагательного с инфинитивом. Относительно цитируемого им выражения Галлорусса см. примеч. 108 и 108а. В отношении слова *милый* ср. примеч. 197.

¹³¹ Душу, что во мне питало — отрывок из «Песни» Ю. Нелединского-Мелецкого («Московский журнал», 1792, декабрь, стр. 235).

¹³² *дельное напряжение мысли*. О «напряжении ума и вообразительной силы» как эстетическом критерии бобровский Ломоносов говорит и ниже (ср. примеч. 196 и 148). Ср. следующее место у Тредиаковского в цитате из Лукана, приводимой в «Мнении о начале поэзии и стихов вообще»: «Священный и великий всех пиитов труд. И поистинне, нет труда, который бы большею ума силою и сильнеею духа напряжением и стремительством был производим, коль оные высокие пиитов размышления!» (см. изд.: Тредиаковский, Стихотворения, Л., 1935, стр. 407). Слово *напряжение* в подобном употреблении, возможно, отражает семантику фр. *tension* (см. Hüttl-Worth, Die Bereicherung..., стр. 122). «Напряжение мысли» у Боброва — это творческая энергия, осмысляемая в руссоистском ключе, и, вместе с тем, в плане эстетики Лессинга. Апелляция к «напряжению мысли», в свою очередь, открывает возможность рационалистической эстетики, которая находится в прямой связи с языковым пуризмом Боброва (ср. рассуждения Ломоносова у Боброва на стр. 265, 268, 272, 274, 277 наст. изд.; ср. ниже примеч. 208). Вместе с тем, Бобров специально подчеркивает далее, что и «напряжение ума и вообразительной силы» должно иметь свои пределы и что «лишнее напряжение» способно привести к «чужеземному шегольству и грубым погрешностям» (ср. примеч. 148 и 196). Иначе говоря, Бобров протестует против искусственного напряжения мысли; критерий естественности (понимаемой в свете антитезы: Природа — Культура) остается для него на первом месте.

¹³³ *Зделайте честь* — ср. фр. *faire honneur*. Ср. выше, примеч. 83.

¹³⁴ много найдете пленительного. Слово *пленительный* здесь, вероятно, семантическая калька с фр. *captivant* или *ravissant*; ср. выше у Галлорусса причастную форму *пленающийся* (см. примеч. 44). Относительно употребления глагола *находить* см. выше, примеч. 79. Выше уже говорилось о том, что семантика слов на *-тельн-* первоначально имела процессуальный, причастный характер, в силу чего соответствующие прилагательные более или менее регулярно выступали при передаче французских причастных форм (см. примеч. 27, 46, ср. также примеч. 152); в этом смысле *пленительный* представляет вполне закономерное соответствие к *captivant* и т. п. Ср. в при-

мерах «нового слога», фигурирующих в «Рассуждении...» Шишкова (стр. 347): «Поэт сопровождает мораль свою пленительными образами».

¹³⁵ ты только и замешан на ариях — слово *замешан* употреблено, видимо, в значении совр.: «помешан».

¹³⁶ Одна ты мне мила и т. п. — отрывок из песни «Одна ты мне мила» кн. П. Гагарина («Приятное и полезное препровождение времени», ч. I, М., 1794, стр. 211).

¹³⁷ Он <Галлорусс> еще доказывает, что сердце вмещавшее образ любовницы, или дышавшее сим тленным Божеством не пременно будет безсмертно. — Новый довод безсмертия <...> Что подлинно приличнее одной вечности, то смело также идет и к смертной милой. Позиция Боброва очень напоминает здесь пуристические выступления Тредиаковского. Критикуя стих Сумарокова *Отверзлась вечность, все герои предстали во уме моем*, Тредиаковский писал, например: «Автор прорицает о прошедшем <...> и говорит неправо, что ему *отверзлась вечность*: ибо ему отверзлась вместо ея древность, для того что все оныи Герои, коих Автор упоминает, были в древности в рассуждении нас, а не в вечности. Вечность единому токмо Богу свойственна, а не Героям» (см. его «Письмо...», писанное от приятеля к приятелю» 1750 г., в изд.: А. Куник, Сборник материалов для истории имп. Академии наук в XVIII веке, ч. II, СПб., 1865, стр. 461; курсив оригинала).

¹³⁸ Начну то петь с зарею и т. п. — отрывок из той же песни П. П. Гагарина (цит. изд., стр. 211).

¹³⁹ Тогда лишь позабуду и т. п. — отрывок из той же песни П. П. Гагарина. У Боброва неточная цитата — в оригинале (см. цит. изд., стр. 212):

Когда в объятьях буду
Тебя своих иметь.

Наличие такой (искажающей смысл) описки, возможно, свидетельствует, что Бобров в самом деле пользовался каким-то реальным рукописным сборником. В этом случае подбор текстов приобретает дополнительный интерес. Ср. в этой связи ниже примеч. 142, 175а, 189.

¹⁴⁰ в объятьях себя иметь. — И смешно, и не по-русски. Бобров, возможно, усматривает здесь неудачное отражение западноевропейской синтаксической конструкции с возвратным глаголом (типа фр. *se trouver* и т. п.) Между тем, в действительности автор разбираемого произведения (П. П. Гагарин) не заслужил этого упрека (см. примеч. 139).

¹⁴¹ еще что то начинается громко. Эпитет *громкий* в литературе второй пол. XVIII в. — нач. XIX вв. может употребляться для обозначения славянизмов. См., например, выражение *громкие слова* в этом значении у Сумарокова в «Наставлении хотящим быти писателями» (1774 г.) или у П. И. Макарова в его рецензии на книгу Шишкова («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 180), точно так же Карамзин в предисловии к «Аонидам» (кн. II, М., 1797, стр. V) упоминает «гром слов не у места», а Пушкину выражение *неги глас* в стихотворении Батюшкова «Вакханка» кажется «слишком громким словом» («Заметки на полях второй части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова»; это специфическое значение слова *громкий* не учитывается В. Комаровичем в статье «Пометки Пушкина в «Опытах» Батюшкова», что обусловило неверную интерпретацию пушкинской ремарки, см. «Литературное наследство», 16—18, М., 1934, стр. 900). Ср. у В. Л. Пушкина в послании «К В. А. Жуковскому» 1810 г.:

Славянские слова таланта не дают,
И на Парнас они поэта не ведут

Поэма громкая, в которой плана нет,
Не песнопение, но сущий только бред.

¹⁴² Дрожащею рукою и т. п. — отрывок из стихотворения И. И. Дмитриева «К Хлое». Бобров цитирует эту песню по публикации в «Московском

журнале», 1792, VIII, стр. 195. Любопытно, что при перепечатке этой песни в сборнике «И мои безделки» (М., 1796, стр. 124) Дмитриев устраняет отменяемые здесь Бобровым славянизмы, и текст читается так:

За лиру я берусь,
Хочу, хочу петь Хлою.

См. В. В. Виноградов, Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева, «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», т. I, М.—Л., 1949, стр. 235. Ср. аналогичную ситуацию выше (примеч. 139) и ниже (примеч. 175а и 189).

¹⁴³ **Смесь Славенского с Новоруским.** Слово *новоруский* не относится здесь к «новому слогу». Приблизительно с 70-х гг. XVIII в. соответствующий эпитет широко употребляется для обозначения русского литературного языка. См., например, у В. П. Светова в статье «Некоторые общие примечания о языке Российском» («Академические известия», ч. III, 1779, сентябрь, стр. 80—81) разграничение «Славенского», «Славенороссийского» и «Новороссийского» языков, где «Славенской» понимается как этнический термин и соотносится с славянами, «Славенороссийской» соответствует церковнославянскому языку русской редакции, «Новороссийским же <...> почитается тот <язык>, коим ныне говорят и пишут грамотные Россияне, и которой возымел свое начало от времен Обновителя Российского слова». Ср. в этой связи еще замечание о «строителях новороссийского языка» в «Живописце» (1772, ч. II, л. 8; см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 405) и, с другой стороны, возражения Сумарокова в статье «Примечание о правописании» (1771—1773 гг.) против термина «новороссийской язык» (см.: А. П. Сумароков, Полное собрание..., ч. X, М., 1787, стр. 39). — К содержащемуся здесь и далее протесту против жанрово неоправданного употребления славянизмов ср. ниже примеч. 146, 161 и 190. Относительно сходных высказываний Шишкова см. Левин, Очерк..., стр. 134.

¹⁴⁴ **воспети** — это слово отнесено к славянизмам только благодаря окончанию инфинитива, но не из-за приставки *вос-*.

¹⁴⁵ **Один из моих современников даже в идилиях, эклогах и драмах любил также употреблять подобные сим слова** — вероятно, имеется в виду Сумароков.

¹⁴⁶ **мя, между простыми словами, как жемчуг между голышем... Опять, тя...** — В связи с протестом против употребления местоименных форм *мя*, *тя* в разбираемых поэтических текстах ср. следующее заявление Н. П. Николева в «Рассуждении о стихотворстве российском» (см.: «Новые еженедельные сочинения», 1787, ч. X, стр. 90): «*мя*, *тя* и *ся* обезображивают стихотворство <...> по мнению моему (а может быть я в том и ошибаюсь) *мя*, *тя* и *ся* столько противны слуху и такие непростительные в стихотворстве «нужняки», что и тот, кто и с посредственным слухом, от них обезпокоивается» (ср. еще выше у Николева среди примеров исправления стихов замену формы *мя* на *меня* — нарушающую стихотворный размер! — в строке: «Твои ли в верности *мя* речи уверяли»). Подобные протесты начинаются уже в 30-е гг. XVIII в.: так, Ломоносов между 1736 и 1739 гг. подчеркивает в книге Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (СПб., 1735) форму *мя* (в стихе «В преглубокую за что вводишь *мя* унылость» на стр. 54) и помечает: «Socordia» (т. е. «оплошность»), см. П. Н. Берков, Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750—1765, Л., 1936, стр. 62). Между тем, Шишков, напротив, защищал данную форму, считая употребление ее в стихах вполне возможным (см. А. С. Шишков, Сравнение Сумарокова с Лафонтеном..., в изд.: Шишков, Собрание сочинений и переводов, ч. XII, СПб., 1828, стр. 184, примеч.). Что касается Боброва, то он выступает здесь не столько против форм такого рода, сколько против стилистической неоднородности текста.

¹⁴⁷ **Простота и естественность древних наших общенародных песней всегда пленяла меня** — это заявление Ломоносова противопоставит пренебрежительному отношению Галлорусса к народной поэзии (см. выше, примеч.

51). Ср. в этой связи упоминание Боброва о «драгоценном вкусе нашей древности, <...> вырывающемся из под развалин старобытных песен, или народных повестей и особенных поговорок» в предисловии к «Херсониде» (СПб., 1804, стр. 12).

¹⁴⁸ лишнего напряжения — см. выше, примеч. 132, а также примеч. 196.

¹⁴⁹ с коренным основанием языка — см. выше, примеч. 2, 70, а также примеч. 36.

¹⁵⁰ **интересное.** Слова *интерес*, *интересный* и т. п. отмечаются в русском языке с петровской эпохи, будучи первоначально связаны с общим значением пользы, выгоды, прибыли, дохода; «к концу века в слове *интерес* появляется совсем новый круг значений, источником которого является фр. *intérêt* — в 70-е годы значение: внимание, участие по отношению к кому-, чему-либо (заинтересованность), а с 90-х годов — значение: занимательность, увлекательность чего-либо. Прилагательное *интересный* отмечается в русских источниках со второго десятилетия XVIII в. в значении: относящийся к казенным доходам, составляющий прибыль, рост; к 70-м годам относится начало его употребления в значении: занимательный, увлекательный, возбуждающий внимание, любопытство, а в конце 90-х годов формируется значение: приятный, привлекательный» (см.: Биржакова, Войнова, Кутина, Очерки..., стр. 261—262, ср. также стр. 243—244). Важно подчеркнуть, что употребление слов данного круга в новом значении связано с влиянием французского языка и, соответственно, получает широкое распространение в «галлорусском наречии». Ср. замечание М. Чулкова об усвоении подобных слов на псевдо-французский манер: «есть такие у нас сочинители, которые Рускими буквами изображают Французские слова: а малознающие люди, которые учатся только одной грамоте, да и то на медные деньги, увидев их напечатанными, думают, что это красота нашему языку; и так вписывают их в записные книжки, и после затверживают. И я слышал часто сам, как они говорят: вместо *пора мне идти домой* — *время мне интересоваться на квартиру*» (см.: <М. Чулков>, Пересмешник или славенские сказки, ч. I, М., 1766, из предисловия; к слову *интересоваться* Чулков делает при этом следующее примечание: «вместо *ретироваться*, однако и это не хорошо: да нужна не в том; что бы был смысл, а нужна только во Французском слове»). Слово *интересоваться* употребляет щеголиха Советнича в фонизинском «Бригадире» (см. цит. изд., стр. 214). Характерно, вместе с тем, что в словарики иностранных слов, опубликованном в 1791 г. Матвеем Комаровым, слово *интерес* встречается дважды (см.: «Речи иностранных языков, употребляемые в разговорах и писаниях: толк оных на российский язык», в кн. М. Комаров, Разные письменные материи, собранные для удовольствия любопытных читателей, М., 1791) — но только в своем старом значении: «*интерес* — иногда дела, иногда пользу и пользу и пользу, или просто сказать: прибыль, барыш» (стр. 127); «*интерес* — прибыль, польза» (стр. 129); это свидетельствует, по всей видимости, о специальной социолингвистической окраске данного слова в его галлизированном значении. Действительно, в мешанском просторечии устойчиво сохраняется старое значение рассматриваемой группы слов, ср. характерный контекст в «Войтельнице» Лескова: «Да с молодым нешто у нее интерес был какой! С молодым у нее, как это говорится так, — пур-амур любовь шла» (Н. С. Лесков, Собрание сочинений в одиннадцати томах, т. I, М., 1956, стр. 189); соответствующее значение сохраняется и в языке карточного гадания (ср. такие выражения, как *казенный интерес* и т. п.). Напротив, в разговорном языке дворянского общества новое (галлизированное) значение слова *интерес* и производных от него вытесняет старое. Показательно в этом смысле выражение *интересное положение*, которое, будучи связано по своему происхождению со старым значением слова *интерес*, а именно со значением прибыли (ср. в письме Батюшкова к Вяземскому от 9 марта 1817 г.: «Поздравляю тебя, милый друг с прибылью, с новорожденной», см. изд.: К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 435), начинает

восприниматься в соответствии с новым значением данного слова. Знаменательна реакция на это выражение Пушкина, засвидетельствованная в рассказе А. Данилевского: «<Е. А.> Карамзина выразилась о ком-то: «Она в интересном положении». Пушкин стал горячо восставать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения: «Она брюхата», что последнее выражение совершенно прилично, а напротив неприлично говорить: «Она в интересном положении»» (см. В. И. Шенрок, Материалы для биографии Гоголя, т. I, М., 1892, стр. 362—363). Пушкин, очевидно, воспринимает уже слово *интересный* только как галлицизм — в новом значении, то есть понимает *интересное положение* как «пикантное положение».

В конце XVIII в. употребление слов *интерес*, *интересный*, *интересовать*(ся) как семантических галлицизмов, будучи присуще «шегольскому наречию» (ср. выше), очень характерно, вместе с тем, и для Карамзина (см.: Hüttl-Worth, Foreign Words..., стр. 73), причем Карамзин может выделять эти слова в тексте курсивом (см. Левин, Очерк... стр. 275, ср. то же явление в письме Батюшкова к Жуковскому от 3 ноября 1814 г., см. К. Н. Батюшков, Сочинения, т. III, СПб., 1886, стр. 305). Тем более знаменательно, что заменяя в позднейших редакциях «Писем русского путешественника» иностранные слова их русскими эквивалентами, Карамзин заменяет, между прочим, *интересный* — на *занимательный* (см. В. В. Сиповский, Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника», СПб., 1899, стр. 174—176); в свою очередь слово *занимательный*, впервые употребленное, по-видимому, в предисловии Карамзина к «Юлию Цезарю» (М., 1787), может рассматриваться как калька с фр. *intéressant* (см.: Hüttl-Worth, Die Bereicherung..., стр. 106, ср. также выше примеч. 27; Шишков трактует это слово как карамзинизм и соответственно нападает на него в «Рассуждении...», стр. 25, 22; ср. защиту его в «Северном вестнике», 1804, ч. I, № 3, стр. 26). Слова *интересный*, *интересовать* и т. п. в соответствии с фр. *intéressant*, *intéresser* неоднократно встречаются в письмах Карамзина (см., например, «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, стр. 11, 35, 39, 98) и, видимо, были свойственны его бытовой речи. Соответственно, употребление слова *интересный* пародируется в комедии Шаховского «Новый Стерн» (1805 г.), представляющей собой драматургический памфлет на карамзинизм (см. А. А. Шаховской, Комедии. Стихотворения, Л., 1961, стр. 736—740, *passim*).

Протест против слова *интерес*, наряду с протестом против других заимствованных слов, можно встретить в «Цветнике», ч. VII, 1810, стр. 157 (ср. Виноградов, Очерки..., стр. 203), а также в «Рассуждении...» Шишкова, стр. 342. Применительно к комментируемому сочинению важно отметить, что П. И. Макаров подвергся специальной критике со стороны И. И. Мартынова (см.: «Северный вестник», 1804, ч. III, стр. 307) за выражение *много интереса* (критик рекомендует *много занимательного*).

¹⁵¹ Кто рукой бело-атласной и т. п. — отрывок из стихотворения Д. И. Вельяшева-Волынцева «Приношение Г-же Х...» («Приятное и полезное препровождение времени», ч. 3., М., 1794, стр. 13).

¹⁵² **трогательный музыки.** Слово *трогательный*, соответствующее по смыслу фр. *touchant*, в подобном значении — один из наиболее заметных признаков «нового слога» (ср. выше о глаголе *тронуть* как семантической кальке с фр. *toucher*, см. примеч. 115). Прилагательное *трогательный* отмечается вообще в русском языке с 80-х гг. XVIII в. (впервые — у Новикова, Фонвизина, ср. в 70-е гг. у тех же авторов причастие *трогающий* в соответствии с фр. *touchant*; см.: Hüttl-Worth, Die Bereicherung..., стр. 201—202) и получает широкое распространение в карамзинистской литературе (см. об этом, в частности, у Веселитского, Отвлеченная лексика..., стр. 147), вытесняя в этом значении первоначальную кальку *трогающий* (ср. в этой связи выше, примеч. 27). Соответственно, это слово выступает постоянным объектом возражений со стороны представителей противопо-

ложного литературного направления — таких, как Шишков (Рассуждение..., стр. 22, 25, 27, 200; ср., между тем, возражения П. И. Макарова в его рецензии на книгу Шишкова — см. в изд.: «Московский Меркурий», ч. IV, 1803, декабрь, стр. 168), Е. Станевич (Рассуждение о русском языке, ч. II, стр. 5); ср. позднее у Пушкина в заметке «Множество слов и выражений...»: «Множество слов и выражений, насильственным образом введенных в употребление, остались и укоренились в нашем языке. Например, *трогательный* от слова *touchant* (смотри справедливое о том рассуждение г. Шишкова)». То обстоятельство, что слово *трогательный* оказывается помещенным в публикуемой сатире Боброва в уста Ломоносова, — с очевидностью свидетельствует об освоении лексики «нового слога» в русском литературном языке. Ср. в этой связи выше замечания, относящиеся к усвоению слова *блистательный* как семантической кальки с *brillant* (см. примеч. 46).

¹⁵³ **отрывок из какой-то Хер...** — имеется в виду «Херсониды» С. Боброва. Название *Херсониды* первоначально было написано в рукописи полностью, затем последняя часть слова была стерта и заменена многоточием.

¹⁵⁴ **Кто там сидит на белом камне и т. п.** — отрывок из бобровской «Херсониды».

¹⁵⁵ **Писано без рифм; — но все лучше, нежели безобразить слова** — ср. выше, примеч. 126.

¹⁵⁶ **Достоен, спокоен, — румянность, приятность, — или зреть, простерть, — нежа, те жа.** Ломоносов ссылается на разобранные выше примеры неудачных рифм (см. стр. 265—266 наст. изд.). Что касается рифмы *румянность — приятность*, то этот пример рассматривается ниже в тексте «Происшествия в царстве теней» (см. стр. 277 наст. изд.).

¹⁵⁷ **выписка из 57 страницы** — имеется в виду изд.: С. Бобров, Херсониды, СПб., 1804.

¹⁵⁸ **прелестями природы.** Ломоносов употребляет здесь слово *прелесть* в новом значении этого слова (см. выше, примеч. 103; ср. несколько менее явный случай на стр. 270: *женския прелести*), что можно, опять-таки, отнести насчет влияния «нового слога» на русский литературный язык.

¹⁵⁹ **довольно разноцветно** — с этой оценкой бобровского Ломоносова можно сопоставить критику Шишковым выражений: *слог блистателен... повествование живо; портреты цветны, сильны* («Рассуждение...», стр. 69, примеч.).

¹⁶⁰ **с лишком видным подражанием** — т. е. «очевидным». Неясно, почему слово *видный* подчеркнуто.

¹⁶¹ **он иногда выражает высокими словами то, что можно по приличию слога изъяснить просто.** Ср. выше протест против неоправданного употребления славянизмов (см. примеч. 143, 146, ср. также примеч. 190). — Это замечание, которое имеет по существу характер самокритического признания, представляется чрезвычайно важным для характеристики литературно-языковой программы Боброва: позиция Боброва довольно существенно отличается в данном случае от позиции Шишкова.

¹⁶² **Это сочинение... было уже под судом раза три** — речь идет о трех рецензиях на поэму Боброва в «Северном вестнике» (см. вступительную статью, стр. 184 наст. изд.).

¹⁶³ **Лагарповыми глазами.** Франсуа Лагарп считался непогрешимым авторитетом в кругу сторонников классицизма. В русской литературе начала XIX в. Лагарп как защитник разума и просвещения высоко ценился карамзинистами — его противопоставляли «бессмысленным певцам» из лагеря шишковистов:

Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу

(А. С. Пушкин, «Городок»).

За что ж мы на костер с тобой осуждены?..

.. За то, что мы с тобой Лагарпа понимаем...

(В. Л. Пушкин, «К Д. В. Дашкову»)

Об отношении карамзинистов к разуму и «поэтической бессмыслице» см.: Ю. Лотман, Поэзия 1790—1810-х годов, в кн.: «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 16—21. Одновременно и Шишков обращался к авторитету Лагарпа (см. вышедшую с его предисловием брошюру «Перевод двух статей из Лагарпа», 1808), опираясь на его поздние высказывания против французской революции и на противопоставление богатого и гибкого латинского языка бедному французскому. Шишков, приравнивая латинский церковнославянскому, трактовал Лагарпа как своего единомышленника. Об этом см.: Б. С. Мейлах, Шишков и «Беседа любителей русского слова», в кн.: История русской литературы, т. V, М.—Л., 1941, стр. 187—188. Однако обращение Шишкова к Лагарпу имело явно вторичный и оборонительный характер. Высказывание Боброва интересно как свидетельство полемического отождествления карамзинской культуры не только с галломанией, но и с классицизмом, и выделение в собственной позиции предромантических тенденций.

¹⁶⁴ **на другой ноге** — см. выше примеч. 9.

¹⁶⁵ **исправить свое произведение** — эта фраза свидетельствует, может быть, о намерении Боброва продолжать работу над своей поэмой.

¹⁶⁶ **жени** — см. выше примеч. 116. Это слово вызывает насмешки Ломоносова (см. примеч. 169а).

¹⁶⁷ **он не давно прославившись** — см. о подобных конструкциях выше, примеч. 16. Ср. фр. *il s'est illustré*. Ср. ниже в тексте отношение Ломоносова к этому обороту (см. примеч. 169а).

¹⁶⁸ **щегольской драматист** — эпитет *щегольской* соотносится с фр. *élégant* и, одновременно с петиметрской культурой второй пол. XVIII в. (ср.: «*щегольское* наречие» и т. п.); ср. выше у Ломоносова выражение: «чужеземного щегольства» (стр. 269 наст. изд.). **Драматист** — заимствование из англ. *dramatist*. — Данная характеристика относится, как явствует из дальнейшего, к В. А. Озерову. Ср. в этой связи отрицательное отношение к Озерову «беседчиков», в частности, Державина и Шишкова и, напротив, апологетическую его оценку старшими карамзинистами. Для отношения «архаистов» к Озерову показательны, между прочим, критические замечания Шишкова на его трагедию «Димитрий Донской», 1807 г. (см.: Л. П. Сидорова, Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В. А. Озерова «Димитрий Донской», «Записки Отдела рукописей <ГБЛ>», вып. 18, М., 1956, стр. 164—170, *passim*); критикуя стиль Озерова, Шишков пишет: «Поверьте мне, господа писатели, что ненавистники славянского языка вас совсем с пути сбили. Нельзя важные сочинения писать таким слогом, как мы говорим дома с приятелями» (цит. изд., стр. 171).

¹⁶⁹ **хотя Северный вестник и рассматривал** — речь идет о рецензии Бутырского на драму Озерова «Эдип в Афинах» в «Северном вестнике» (1805, ч. VII, июль, стр. 17—50). Произведение Озерова получило здесь очень высокую оценку.

^{169a} **Ой! ты жени! прославившись!** — Ломоносов выделяет здесь наиболее характерные «галлорусские» выражения.

¹⁷⁰ **На них власы** и т. п. — неточная цитата из «Эдипа в Афинах» Озерова, см. изд.: В. А. Озеров, Эдип в Афинах, СПб., 1805, стр. 33. В подлинном тексте вместо *с их факелов* — *из факел их*

¹⁷¹ **лучше сказать: от пламенников искры сыпались** — пересказывая разбираемый стих, бобровский Ломоносов употребляет не заимствованное слово *факелы*, а исконное («коренное») русское слово *пламенники*.

¹⁷² **и страх, и лесь, и смерть** и т. п. — неточная цитата из «Эдипа в Афинах» Озерова, см. цит. изд., стр. 33. У Озерова вместо *лесь* — *месь*, вместо *косу свою* — *свою косу*.

¹⁷³ **в хвалимых ваших Гениях** — Ломоносов здесь явно переводит на

свой язык употребленное выше Галлоруссом слово *жени*. Ср. примеч. 127, а также примеч. 179, 192 и 226.

^{173а} **проступок... в словоударении ...** *косу* — Бобров настаивает на ударении: *косу*. Ср. материал по истории ударения данного слова, представленный в кн.: В. В. Колесов, История русского ударения, Л., 1972, стр. 45.

¹⁷⁴ **своенравную перемену в окончаниях падежей, как напр: *чувствы, искусства...*, вместо *чувства, искусства...* *определениев, намерениев* вместо *определений, намерений*.** Совершенно аналогичные замечания высказывал в свое время Тредиаковский в своей критике произведений Сумарокова (1750 г.), обвиняя последнего в том, что тот «не исправно кончит среднего рода имена во множественном числе, так то... *достоинства* за *достоинствав*, *воздыханци* за *воздыханья*, *братевъ* за *братий*, *подозръниевъ* за *подозръный*,... *слѣдствиевъ* за *слѣдствій*,... *дѣйствии* за *дѣйствиа*, *нещастіевъ* за *нещастій*, *посольства* за *посольствя*, *отсутствіевъ* за *отсутствій*» (см. В. К. Тредиаковский, Письмо... от приятеля к приятелю, в изд.: А. Куник, Сборник материалов..., стр. 476, а также стр. 470—471); соответствующие требования излагаются у Тредиаковского и в «Разговоре об ортографии 1748 г. (см. Тредиаковский, Сочинения, т. III, СПб., 1849, стр. 223). Между тем, Сумароков, отвечая на критику Тредиаковского, признает, что эти формы не вполне правильны, но ссылается на общее употребление, которое он считает не менее важным, чем правила; в другом месте Сумароков утверждает, что в каких-то случаях, хотя бы и редких, формы «*основании, желании*, вместо *основания, желанья*» могут употреблены быть для красоты («Ответ на критику» и «Примечание о Правописании» в изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание..., ч. X, М., 1787, стр. 97—98 и 46). Сумарокову следует Н. П. Николев, который замечает в своем «Рассуждении о стихотворстве российском» («Новые ежемесячные сочинения», 1787, ч. X, стр. 39): «Не почитал я так же за непростительную вольность оканчивать существительныя имена среднего рода во множественном числе на *и* вместо *я*: ибо все такая вольности в стихотворстве извинительны тем, что мы употребляем их обыкновенно в разговоре; как то, мы говорим: *мои желаніи*, а не *мои желанія*; на чужой имея в такой вольности нужду делать себе насилие, и ради единой буквы *я* наставить несколько слов никуда негодных» (соответственно и собрание сочинений Николева носит название: *Твореніи*). Подобные формы (*блаженствы, от молніев, растений*) можно встретить, например, в «Россіяде» Хераскова, а также у Державина и др. авторов (см. С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, вып. 2, Л., 1931, стр. 122 сл., 250 сл.; Г. О. Винокур, Избранные работы по русскому языку, М., 1959, стр. 157). Между тем, они категорически запрещаются нормативными грамматиками, см., например, у П. И. Соколова в «Начальных основаниях российской грамматики» (СПб., 1788, стр. 24): (неправильно пишут *Мученіи* вм. *мученія, странствованіи* вм. *странствованія, мученіевъ* вм. *мученій* и проч. Равным образом против Грамматических правил пишут: *Облаки* вм. *облака*; *сокровищи* вм. *сокровища*; *свойствы* вм. *свойства* и пр.). Аналогичные предупреждения можно найти в грамматиках Ломоносова, Барсова, Светова, Аполлоса Байбакова (см. А. Граннес, Просторечные и диалектные элементы в языке русской комедии XVIII века, Bergen—Oslo—Tromsø, [1974], стр. 176—187); члены «Беседы любителей русского языка» могли находить предосудительным употребление подобных форм даже в комедиях (см. замечания беседчиков на «Расхищенные шубы» Шаховского в изд.: «Литературное наследство», 9—10, М., 1933, стр. 390—391, ср., между тем, материал по употреблению этих форм в комедии XVIII в., собранный в цит. книге Граннеса, стр. 175—190).

^{174а} В своем объяснении данного явления Бобров следует «Российской грамматике» Ломоносова, где говорится, что «сие употребление буквы *и* вместо *я* <в формах мн. числа. — Ю. Л., Б. У.> произошло от безрас-

судного старания, чтобы разделить родительный единственный от именительного множественного, напр., *моего имѣнія* от *мои имѣнія*» (§ 119).

¹⁷⁵ *От крови царския и т. п.* — неточная цитата из «Эдипа в Афинах» Озерова, см. цит. изд., стр. 34. В подлинном тексте у Озерова:

Тогда по бедствиях наступит тишина

По страшных сих словах умолкли Евмениды,
Сомкнулась ада дверь.

^{175a} В словах, по бедствиям, — по страшным сим словам, по смыслу требовался предложной падеж... Умей только склонить таким образом: по бедствиях, — по страшных сих словах! — тогда и мысль яснее, и язык чище. Эти замечания обусловлены неисправностью той копии, которая была в распоряжении Боброва: действительно, в оригинале у Озерова соответствующие строки читаются именно так, как того хочет Бобров (см. примеч. 175). Ср. аналогичную ситуацию выше (см. примеч. 139, 142), а также ниже (ср. примеч. 189).

¹⁷⁶ *рецензируете* — ср. фр. *recenser*, нем. *rezensieren*. По данным Биржаковой, Войновой, Кутиной (Очерки..., стр. 392) это слово отмечается в русском языке с 1797 г. Слова этого корня часто встречаются в произведениях Карамзина (см. Hüttl-Worth, Foreign Words..., стр. 102). Ср. в этой связи нападки Шишкова («Рассуждение...», стр. 343) против тех, кто употребляет слово *рецензия* (вместо *рассматривание книг*).

¹⁷⁷ *пышной эложь* — ср. фр. *éloge*. Варваризм *эложь* отмечает уже Сумароков в статье «О истреблении чужих слов из русского языка» («Трудолюбивая пчела», 1759, январь), очевидно, он был в обиходе петиметров второй пол. XVIII в. Ср. у Пушкина в письме к Вяземскому от 2 января 1831 г.: «Он написал красноречивый *Eloge* Раевского».

¹⁷⁸ *стихи, которым не могу удивляться* — Ломоносов перефразирует здесь цитированное перед тем место из рецензии «Северного вестника»: «нет ни одного стиха, которому можно было не удивляться».

¹⁷⁹ *образцовым Гениям* — см. выше, примеч. 127.

¹⁸⁰ *сего Лукана чуть помню...* — Державин, о котором здесь идет речь, родился в 1743 г., Ломоносов умер в 1765 г.

¹⁸¹ *Оне [нифмы] кружась, резвясь летали и т. п.* — неточная цитата из стихотворения Державина «Развалины» (1797 г.), см. изд.: Г. Р. Державин, Анакреонтическая песни, Пг., 1804, стр. 32. В подлинном тексте вместо *оне* — *они*, вместо *в зеркала* — *в зеркале*, вместо *караводы* — *хороводы*, вместо *конях* — *коньках*, вместо *митр* — *мурт*.

¹⁸² *В сем тереме Олимпу равном и т. п.* — цитата из того же стихотворения, см. цит. изд., стр. 33.

¹⁸³ *Молчит пустыня изумленна и т. п.* — неточная цитата из стихотворения Державина «Соловей», см.: «Приятное и полезное препровождение времени», ч. VI, М., 1795, стр. 381. В подлинном тексте вместо *луг* — *дол*.

¹⁸⁴ *Каково же это выказано* — ср. фр. *comment c'est exprimé*.

¹⁸⁵ *браво, очень bravo!* — ср. ит. *brávo*, фр. *bravó*, нем. *brávo*. Ср. восклицание *bravo* как характерную черту в речи щеголя Ветромаха в комедии Княжнина «Чудаки» (см. изд.: Я. Б. Княжнин. Избранные произведения. Л., 1961, стр. 457—458). Ср. примеч. 50.

¹⁸⁶ *в сем сочинителе виден Гений* — ср. выше примеч. 127.

¹⁸⁷ *картины его отменны и изящны* — для оценки слова *изящный* в этом контексте см. примеч. 59.

¹⁸⁸ *слова, зеркала и себя казали*, — похожи на вышесказанные, *кося* *будет*; или — *в объятиях себя иметь* — Ломоносов ссылается здесь на разобранные им уже выше примеры: см. в этой связи замечания на стр. 272, 266, 268 наст. изд.

¹⁸⁹ *зеркала...* — по руски так не говорят. Бобров протестует здесь против ударения *зеркалы* в разбираемом державинском стихе. Однако в

подлинном тексте у Державина имеем не *в зеркала вод*, но *в зеркале вод*, где ударение (*зерцáле*) соответствует как акцентуационной норме, так и стихотворному размеру. Таким образом Бобров и на этот раз оказался жертвой текстологически неисправного варианта; ср. выше примеч. 139, 142 и 175а.

¹⁹⁰ **глядя**, — **возкликающих смотрела**, — странная смесь низких слов с высокими. Ср. протест против стилистической неоднородности в художественном тексте выше (см. примеч. 143, 146, 161). — Что касается формы *глядя*, то следует иметь в виду, что деепричастия на -а (-я), в отличие от форм на -в (-вши), могли относиться к просторечию: так считали, например, Тредиаковский, Сумароков, Карамзин (иначе, однако, у Ломоносова), см.: Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века, М., 1964, стр. 179–181.

¹⁹¹ **Не новой ли это вкус?** — намек на стилистическую пестроту лексики «нового слога».

¹⁹² **хотя б и обезпечено было... именем Гения**. Здесь, опять-таки, достаточно наглядно проявляется словарное соответствие слова *жени* в «галло-русском наречии» — слову *гений* в языке бобровского Ломоносова и, очевидно, самого Боброва. См. выше примеч. 173, а также примеч. 226.

¹⁹³ **монополий** — заимствование еще петровской эпохи (ср. нем. польск. *monopolia*, фр. *monopole* — из лат. *monopolium*, греч. *μονοπώλιον*).

¹⁹⁵ **страсть к тропологическим пересолам и эмфатическим изречениям**. Ср. выше (стр. 270) замечание Ломоносова об особенностях стиля «нынешних метафористов».

¹⁹⁶ **Напряжение ума и воображительной силы... должны иметь свои пределы** — см. выше, примеч. 132 и 148.

¹⁹⁷ **Вы увидите прекрасного жени, милого писателя в новом вкусе, уважаемого в чужих землях, любимого в отечестве всеми людьми с чувством, дамами, нимфами и учеными со вкусом** — эта характеристика, как видно из дальнейшего, относится к Карамзину.

Относительно слова *жени* см. специально выше, примеч. 116; показательно, в частности, что в 1780-х гг. Карамзина могут полуиронически именовать таким образом (см. цитированное выше письмо Петрова к Карамзину).

Прилагательное *милый* в подобном контексте ассоциируется со слогом карамзинистов; для стилистической оценки данного сочетания существенно, например, следующее замечание Шишкова в «Рассуждении...» (в частности, по поводу сочетания *милые богини* в «Припошении грациям» Карамзина 1793 г.): «Можно <...> сказать: *милые глазки, милой ротик*; но весьма не хорошо *милые нежные глаза! милой нежной рот!*» (стр. 129); там же Шишков указывает, что прилагательное *милый* «употребляется в любовных и дружеских объяснениях, и сколько свойственно среднему или простому, столько неприлично высокому и пышному слогу. Весьма пристойно говорить: *милой друг, милое личико*; напротив того весьма странно и дико слышать: *милая богиня, милая надежда бессмертия!* Сколь бы какое слово ни было прекрасно и знаменательно, однако естли оное безпрестанно повторять и ставить без всякого разбора, где нипопало, как то в нынешних книгах употребляют слово *милая*, то не будет оно украшением слога, а токмо одним модным словом, каковыя по временам проявляются иногда в столицах...» (стр. 176). Соответственно, в том же сочинении Шишков неоднократно употребляет это слово, пародируя стиль карамзинистов: «Возможно ли, скажут они <карамзинисты. — Ю. Л., Б. У.> с насмешкою и презрением, возможно ли *трогательную* Заиру, *замательного* Кандида, *милую* Орлеанскую девку, променять на скучный Пролог, на непонятный Несторов Летописец?» (стр. 22, курсив Шишкова; о характерности эпитетов *замательный* и *трогательный* для «нового слога» см. выше, примеч. 150 и 152); ср. еще выражение *милая богиня* в стилистически обыгранной Элегии, «написанной нынешним просвещенным слогом в котором сохранен весь Французский элеганс», которой

заканчивается книга Шишкова (см. стр. 434). Точно так же, разбирая в другом месте трагедию Озерова «Димитрий Донской», Шишков критикует фразу «О мила Ксения», замечая: «Худое выражение. Не только *мила Ксения*, но и *милая Ксения* в трагедии не годится» (см. Л. П. Сидорова, Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В. А. Озерова..., «Записки Отдела рукописей <ГБЛ>», вып. 18, М., 1956, стр. 166). Ср. у А. Кайсарова в предисловии к «Сравнительному словарю славянских наречий»: «Но наш язык не так приятен, не так силен, как французский», — скажет мне какая-нибудь *милая* девушка. Чем докажете вы ей противное? <...> Сколько вредило нашему языку несчастное предубеждение молодых людей из так называемого *большого света*, всякому русскому довольно известно» (цит. по: Ю. М. Лотман, Рукопись А. Кайсарова..., «Уч. зап. ТГУ», вып. 65, Тарту, 1958, стр. 200; курсив Кайсарова); слово *милая* фигурирует в этом контексте как типичное выражение великосветского жаргона. Аналогично и А. П. Брежинский в «Стихах на сочиненные Карамзиным, Захаровым и Храповицким похвальные слова императрице Екатерине Второй» (1802 г.) высмеивал Карамзина за то, что тот в своем «Историческом похвальном слове императрице Екатерине Второй» (М., 1802)

К романам, к пасторальну слогу
Имея страсть, скроил эклогу,
И слово *милая* вклеил

(см. изд.: «Поэты 1790—1810-х годов», Л., 1971, стр. 490); так же писал о Карамзине и Марин в послании к Милонову 1811 г.:

Пуškai наш «Ахалкин» стремится в новый путь,
И, вздохами свою наполнив томну грудь,
Опишет свойства плакс, дав Игорю и Кию
И добреньких славян и милую Россию

(см.: С. Н. Марин, Полное собрание сочинений, М., 1948, стр. 179, ср. варианты на стр. 405). Ср. еще в «Записках» Ф. Ф. Вигеля (т. I, М., 1928, стр. 358): «В Твери <...> Карамзин читал императору Александру несколько глав своей истории, этой истории, где, по словам их <шишковистов — Ю. Л., Б. У.> должны были встречаться все одни милые Святополки и нежные Мстиславы». — Между тем, П. И. Шаликов, отзываясь на перевод Пиндара, выполненный П. Голенищевым-Кутузовым, напротив, замечал: «С каким удовольствием находим слово *мила* в Пиндаре, или Переводчике его — нет нужды! Ненавистники *милаго*, вопреки всему тому, что они говорят и пишут против сего слова, признаются, может быть, что дозволено употребить его во всяком роде сочинениях» (П. И. Шаликов, О творениях Пиндара, переведенных Павлом Голенищевым-Кутузовым, в изд.: Шаликов, Сочинения, ч. I, М., 1819, стр. 98). Ср. также «Журнал для милых», издававшийся эпигоном Карамзина М. Н. Макаровым в 1804 г.

Относительно выражения *писатель в новом вкусе* ср. возражение Шишкова («Рассуждение...», стр. 197—198) против фразеологизма (кальки с французского) *писать во вкусе*.

людьми с чувством... учеными со вкусом — типичные для карамзинистов обороты.

любимаго... дамами, нимфами — намек на характерную для Карамзина и его последователей апелляцию ко вкусу светских дам. См. выше, стр. 231—232 наст. изд.

¹⁹⁸ **Коронуйте** им (т. е. Карамзиным) — глагол *короновать* употреблен здесь Галлоруссом в значении «завершать, заканчивать» в соответствии с известным выражением *La fin couronne l'œuvre* — нем. *Das Ende krönt das Werk* (ср. русское соответствие: *Конец венчает дело или Конец — делу венец*). Ср. непосредственно ниже в тексте отношение к этому обороту бобровского Ломоносова: в речи Ломоносова данному глаголу соответствует глагол *увенчивать* (см. ниже, примеч. 209).

¹⁹⁹ отрывками милого пера — Ломоносов пародирует стиль Галлорусса, ср. примеч. 197.

^{199a} я желаю, чтоб *короновать*, как ты говоришь, самым лучшим — здесь пародируется, по-видимому, не только употребление глагола *короновать* (см. примеч. 198), но и синтаксическая конструкция с *чтобы*, характерная для речи Галлорусса (см. примеч. 37).

²⁰⁰ Законы осуждают и т. п. — песня из повести Карамзина «Остров Борнгольм». См.: «Аглая», кн. I, М., 1794, стр. 92. — Эта песня приобрела большую популярность в начале XIX в. и, можно сказать, вошла в русский музыкальный быт. Так, например, ее исполняли в 1827 г. на народных гуляниях в Твери, наряду с такими песнями, как «Молчите, струйки чисты» и «Стонет сизый голубочек». Показательна реакция на этот выбор А. Е. Измайлова, бывшего тогда тверским вице-губернатором: «Ну уж и певцы! С каким чувством пели то, чего вовсе не понимали, как коверкали слова! Смех да и только. Стыдятся петь простые национальные песни, а поют так называемые модные» (см.: И. А. Кубасов, Вицегубернаторство баснописца Измайлова в Твери и Архангельске, в сб.: «Памяти Леонида Николаевича Майкова», СПб., 1902, стр. 241). Другие указания насчет популярности данной песни см. в изд.: Н. М. Карамзин, Полное собрание стихотворений, М.—Л., 1966, стр. 388.

²⁰¹ Как вы это находите? — ср. выше, примеч. 79.

²⁰² сияющие мысли — возможно, калька с фр. *idées rayonnantes* (или *brillantes*).

²⁰³ приятность — см. выше примеч. 124.

²⁰⁴ живописателя. Ср. нападки Шишкова («Рассуждение...», стр. 68—69, примеч.) на употребление соответствующих эпитетов применительно к характеристике слога — в сочетаниях типа: *живописательная история, живописное выражение* (также *живое повествование*). Ср. в этой связи: Hüttl-Worth, *Die Bereicherung...*, стр. 103—104 (здесь же и о эпитете *живой* в значении «выразительный» как кальке с фр. *viif*). Ср., вместе с тем слова Карамзина о необходимости «писать чище и живее», цитируемые ниже, примеч. 224.

²⁰⁵ Праведное небо! — см. выше примеч. 32.

²⁰⁶ вот утонченной вкус! — см. выше, примеч. 45. В устах Ломоносова это типичное для карамзинистов сочетание звучит пародийно.

²⁰⁷ утончайте чувства! — ср. выше примеч. 21.

²⁰⁸ Ей! для меня сноснее бы было видеть ошибки в слоге, нежели в красоте онаго кроющиеся ложные правила и опасные умствования. — Ср. декларативное заявление Шишкова в его «Рассуждении о красноречии Священного Писания...»: «Мы последовали употреблению там, где разсудок одобрял его, или по крайней мере не противился оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них» (см. изд.: Шишков. Собрание сочинений и переводов, ч. IV, СПб., 1825, стр. 86); ср. еще стр. 188 наст. изд. об аналогичных высказываниях Андрея Тургенева. Эта позиция, оправдывающая языковой пуризм, базирующийся на рационалистической эстетике (ср. выше, примеч. 132), прямо противостоит позиции карамзинистов, которые провозглашают, напротив, критерий «вкуса, неизъяснимого для ума» (см.: Н. М. Карамзин, Речь, произнесенная в Торжественном собрании имп. Российской Академии 5 декабря 1818 года, в изд.: Карамзин, Сочинения, т. III, СПб., 1848, стр. 646). Позиция карамзинистов в свою очередь соответствует эстетической программе Сумарокова, который желал, «чтобы более говорило во стихотворстве чувство, нежели умствование» [см. примечание к переводу оды Пиндара (1774 г.) в изд.: А. П. Сумароков, Полное собрание..., ч. II, М., 1787, стр. 195]; ср. в письме А. А. Петрова к Карамзину от 1 августа 1787 г.: «Простота чувствования — превыше всякого умничанья» («Русский архив», 1863, № 5—6, стр. 482).

²⁰⁹ Вот, Галлорусс, чем ты увенчаешь — глагол *увенчивать* у Ломоносова соответствует здесь глаголу *короновать*, употребленному ранее Галлоруссом (см. выше, примеч. 198).

²¹⁰ **румяность** — в рукописи ошибка, должно быть: *приятность*.

^{210a} **Вот Аглая!** — **взор небесной** и т. п. — Бобров ошибается, приписывая эти стихи Карамзину.

²¹¹ **изящными плодами** — см. выше, примеч. 59.

²¹² **Упусти мне. Г. Ломоносов!** — глагол *упустить* выступает здесь как калька фр. *laisser* (ср. в современном языке: *оставь!*). Ср. отношение Ломоносова к этому выражению ниже в тексте (см. примеч. 218a).

²¹³ **Упусти... как вы.** Представляет интерес чередование местоименных форм *ты* и *вы* в речи Галлорусса. До сих пор Галлорусс обращался к Ломоносову на *вы*, тогда как Ломоносов говорил ему *ты* (при обращении к остальным действующим лицам — Бояну и Меркурию — Галлорусс последовательно употребляет местоимение *ты*). Ср., между тем, обращение к Ломоносову на *ты* в следующей ниже — заключительной — реплике Галлорусса. Во второй пол. XVIII в. обращение на *вы* могло осмысляться, видимо, как один из признаков шегольского наречия (ср. протесты Сумарокова, Курганова, Фонвизина). Вместе с тем, употребление местоимений *ты* и *вы* при обращении еще недостаточно стабилизировалось в разговорном языке; ср., между прочим, обывражение этого различия в фонвизинском «Бригадире» (цит. изд., стр. 140—141, 180), а также в «Грутне» (1769, л. IV, 1770, лл. XI, XII, ср. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 55, 224—225). Следует отметить, что такое же смешение наблюдается и в ранних письмах Карамзина (см. его письмо к Дмитриеву от 1787 г. в изд.: «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву», СПб., 1866, стр. 1). Ср. в связи со сказанным: П. Я. Черных, Заметки об употреблении местоимения *вы* вместо *ты* в качестве формы вежливости в русском литературном языке XVIII—XIX веков, «Уч. зап. МГУ», вып. 137 (Труды кафедры русского языка, кн. 2), М., 1948.

²¹⁴ **жениям** — см. выше, примеч. 116.

²¹⁵ **улучшивают** — данный глагол в этом контексте, видимо, воспринимается как калька с фр. *améliorer*.

²¹⁶ **герои литературы.** Слово *лит(т)ература* в значении «(изящная) словесность» — соответствующее фр. (*belles*) *lettres* — появляется в русском языке в 80-х гг. XVIII в. Полагают, что наиболее ранний пример употребления слова *литература* в этом значении представлен в эпиграмме Хвостова «Послание к творцу посланий» 1781 г., где автор (А. С. Хвостов) так обращается к Фонвизину:

Не надобно на перелом натуры

Считать за старосту себя в литературе

(см.: П. Берков, Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке, «Язык и литература», V, Л., 1930, стр. 108, примеч. 1); ср. уже и у Моисея Гумилевского в «Рассуждении о вычищении, удобрении и обогащении Российского языка» (М., 1786, стр. 10): «Литтература или Чистословие». Под влиянием карамзинистов постепенно вытесняется старое значение данного слова, когда «литература» не противопоставляется «науке», а понимается вообще как «образованность», «ученость», «письменность» в широком смысле, сохраняя связь с *littera* (ср. *homo litteratus* — «грамотный, образованный человек»); одновременно слово *литература*, оказываясь равнозначным слову *словесность*, вытесняет у карамзинистов это последнее (ср. попытки передачи на русском языке фр. *belles-lettres* в до-карамзинский период: *красные Словесности* у Тредиаковского в «Тилемахиде», *изящные письма* в «Академических Известиях», 1779 г. — см. Hüttl-Worth, Die Bereicherung..., стр. 110). Соответственно слово *литература* начинает восприниматься как галлицизм (ср. фр. *littérature* < лат. *litteratura*) и вызывает нападки литературных противников Карамзина. См., например, у Шишкова в «Рассуждении...» (стр. 296—297, примеч.) «Французское с Латинского языка взятое ими слово *литтература*, происходящее от имени *littere* < sic! т. е. *litterae*>, письменна или буквы, изображает в их языке тож самое понятие, какое в нашем языке изображаем мы названием словесность: на что же нам чужое слово, когда у

нас есть свое?» Ср., с другой стороны, в «Новостях русской литературы» за 1802 г., II, стр. 201: «Без всякой нужды употребили вы Литературу вместо Словесности» — и примечание издателей: «Новости Русской Словесности! Мы не хотели так обижать слуха. *Изд.*». (Ср.: Биржакова, Войнова, Кутина, Очерки..., стр. 161—162; Веселитский, Отвлеченная лексика..., стр. 221—224).

²¹⁷ **вкус подлинно новой, чистой** — типичные карамзинистские выражения. Ср. ниже у Ломоносова: «вы... изказили язык, и сему изказению дали еще имя: *новой вкус, чистое... перо*» (см. ниже, примеч. 223). Ср. примеч. 122, а также примеч. 22 и 37а.

²¹⁸ **старинного духа** — слово *дух* в подобном контексте выступает как семантическая калька с фр. *esprit*; подобное употребление характерно прежде всего для карамзинистов (см. материал, относящийся к этому слову; Hüttl-Worth, *Die Bereicherung...*, стр. 99; Веселитский, *Отвлеченная лексика...*, стр. 160—162). Ср. далее реакцию Ломоносова на это выражение (см. примеч. 218а).

^{218а} **Упусти!** — без *старинного духа* — характерно, что эти выражения Галлорусса вызывают особенное негодование Ломоносова.

²¹⁹ **англизировали** — ср. нем. *anglisieren*. Ср. примеч. 75.

²²⁰ **офранцузили** — вероятно, калька с фр. *franciser*.

²²¹ **оснований Славенского языка... положил пределы** — см. выше, примеч. 2, 36, 149.

²²² **вы перелезли сии пределы** — глагол *перелезть*, по-видимому, выступает здесь как экспрессивный вариант к нейтральному в данном контексте слову *преступить*. Ср. выше выражение *преступление пределов* (см. примеч. 36) или в современном языке фразеологизм *преступить границы*. Специфический русизм, поскольку он противостоит нейтральной книжной форме, используется для создания экспрессии.

²²³ **новой вкус, чистое, блестящее, сладкое перо, утонченная кисть** — о соответствующих эпитетах см. выше примеч. 217, 46, 21.

²²⁴ **важный язык его для тебя кажется диким, и как бы грубым телом мыслей.** Эпитет *грубый* по отношению к «славенскому» языку и «старому слогу» противостоит у карамзинистов и их последователей эпитету *приятный* применительно к характеристике «нового слога». См. специально об этом на стр. 224—236 наст. изд. Что касается эпитета *дикий*, то можно сослаться на употребление его в аналогичном значении в анонимном памфлете («Разговоре в царстве мертвых») на «славянофилов» Геракова и П. Львова, где о Львове говорится, что он

Писал похвальные слова мужам великим,
Высоким слогом, но — надутым, пухлым, диким,
Предлинные слова в шесть, семь слогов ковал,
И в Академию Российскую попал

(цит. по изд.: К. Н. Батюшков, *Сочинения*, М.—Л., 1934, стр. 588). Так же и Карамзин мог расценивать в свое время стиль Ломоносова как «дикий» и «варварский»: «...отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я заметить штиль его *дикой варварской*, во все не свойственной нынешнему вкусу; и старался писать чище и живее» (см. письмо Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову от ноября 1800 г. с цитированием этих слов Карамзина, в изд.: Е. Бобров, *Литература и просвещение в России XIX в.*, т. III, Казань, 1902, стр. 142—143; курсив оригинала).

²²⁵ **по руководству моему.** Имеются в виду филологические труды Ломоносова — в первую очередь такие, как «Российская грамматика», «Риторика», «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке».

²²⁶ **мнимые твои Гении** — здесь, так же как и выше (см. примеч. 173), слово *гений* выступает как результат перевода галлорусского слова *жени* на язык Ломоносова (и самого Боброва). Ср. примеч. 192.

²²⁷ органических правил языка — см. выше, примеч. 221.

²²⁸ похищают блестящее имя — эпитет *блестящий*, может быть, употреблен Ломоносовым иронически — как «чужое» слово, заимствованное из обихода представителей «нового слога». Ср. выше, примеч. 46 и 223.

²²⁹ твоя и тебе подобных блистательность — ср. выше, примеч. 46.

²³⁰ колкаго приговора — может быть, калька с фр. *sentence piquante* (или *jugement piquant*). Ср. у Кантемира в примечаниях к VII-й сатире описательное выражение *острый судия*, соответствующее понятию «критик» (фр. *un critique*). См. изд.: А. Д. Кантемир, Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1867, т. I, стр. 167.

²³¹ на своей ноге — см. выше примеч. 9.

²³² наиболее — см. выше примеч. 52.

²³³ пишут... браво — см. выше, примеч. 50.

²³⁴ любезность — о характерности этого слова для Карамзина см. Hüttl-Worth, Die Bereicherung..., стр. 117.

²³⁵ угрюмая и старообразная степенность. Ср. выше у Галлорусса: «серьезность или по вашему степенность» (см. примеч. 20). Галлорусс, возможно, специально прибегает в данном случае к лексике «старого слога», употребляя ее как средство отрицательной характеристики.

²³⁶ Даже звук иностранных слов многим нравится больше, нежели согласие отечественных. Ср. свидетельство о социолингвистической функции и об особом престиже иностранного акцента в «Разговоре об ортографии» Тредиаковского: «Чужестранный человек» здесь отказывается от возможности научиться правильному русскому выговору именно с тем, чтобы не потерять престиж иноземца («Ибо ежели найдутся извесныя правила на ваши ударения; то мы все хорошо научимся выговаривать ваши слова: но сим совершенством потеряем право чужестранства, которое поистинне мне лучше правильного вашего выговора» — см. изд.: Сочинения Тредьяковского, т. III, СПб., 1849, стр. 164). Ср. свидетельства о специальном шегольском произношении на иноязычный манер (грассировании и манерном пришепывании) в «Живописце», 1772, ч. II, л. 12, в «Сатирическом вестнике», 1790, IV, стр. 101—102 (см. изд.: «Сатирические журналы Н. И. Новикова», стр. 418; Покровский, Щеголихи..., прилож., стр. 60). К «щегольскому языку» и к «галлорусскому наречию» восходит, можно думать, дошедшее почти до наших дней манерное произношение иностранных слов с элементами иностранной фонетики, например к[ō]курс, фин[ā]сы, ш[ā]сы с носовыми гласными и т. п.

²³⁷ реформированью языка — ср. выше примеч. 25.

²³⁸ ты и сам ныне под судом. В своей рецензии на шишковское «Рассуждение...» Макаров, высоко оценив Ломоносова, как новатора, который «предал имя свое бессмертию», реформировав русский язык, замечал, однако: «язык Ломоносова так же сделался недостаточным», «языком Ломоносова мы не можем и не должны говорить, хотя бы умели: вышедшия из употребления слова покажутся странными: ни у кого не станет терпения дослушать период до конца» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, стр. 160, 162, 181; курсив Макарова). Те отрывки из Ломоносова, которые были с похвалой процитированы Шишковым, Макаров осудил: «Имеем почтение к отцу российского стихотворства, но почтение беспристрастное:

И в солнце, и в луне есть темные места!

сказал бессмертный творец «Россиады». Здесь Макаров совпал с критиком «Северного вестника», который по поводу тех же цитат Шишкова из Ломоносова писал: «Я имею уважение к великому нашему Лирику; но признаюсь, никогда не думал, чтобы стихи сии были слишком хороши: они всегда казались мне слишком посредственными, и я не узнавал в них Ломоносова» («Северный вестник», 1804, ч. I, № 1, с. 22). Для оценки Ломоносова Карамзиным ср., между прочим, запись Г. П. Каменева 1800 г., цитируемую выше, примеч. 224.

²³⁹ трогаюсь — здесь: гневаюсь, сержусь.

²⁴⁰ *бойких умов* — ср. фр. esprits hardis.

²⁴¹ *Сегюров* — имя Ж. А. де Сегюра было значимо для П. И. Макарова: в одном из номеров «Московского Меркурия» (1803, ч. III, июль) была помещена переведенная им «Критика на Сегюрову книгу о женщинах».

²⁴² *Вельшския ведъмы* — см. выше примеч. 4.

²⁴³ *без перемежки читать Тилемахиду*. Чтение «Тилемахиды», как известно, было введено в качестве шуточного наказания при дворе Екатерины Второй. Об отношении к Тредиаковскому в литературе конце XVIII — начала XIX вв. см. А. С. Орлов, «Тилемахида» В. К. Тредиаковского, сб. «XVIII век», М.—Л., 1935, стр. 22 и след., а также стихотворение В. Г. Анастасевича «О 'Тилемахиде'» и примеч. к нему в кн.: «Поэты 1790-х—1810-х годов», Л., 1971, стр. 566 и 858. — Насмешки над Тредиаковским в устах Боброва звучат неожиданно. В. П. Семенников в кн. «Радищев. Очерки и исследования» М.—Пг., 1923, стр. 304, высказал предположение, что в статье Радищева «Памятник дактилохореическому витязю» под видом одного из собеседников (обозначенного инициалом Б) изображен Бобров. Поскольку Б — апологет Тредиаковского, комментируемый текст противоречит этому предположению.

²⁴⁴ *Галской феномен* — ироническое употребление «галлорусского» слова в речи Меркурия. Ср. выше, примеч. 76.

²⁴⁵ *Вельшских фурий* — см. выше примеч. 4.

²⁴⁶ *Изумленный Галлорусс* — ср. выше примеч. 7.

ИЗ ИСТОРИИ ЖУРНАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ БОРЬБЫ 1860-х гг.
(М. Л. Михайлов и Д. И. Писарев о произведениях Н. П. Макарова)

П. С. Рейфман

Н. П. Макаров (1810—1890) — лексикограф, составитель многочисленных словарей — личность весьма колоритная. Он занимался не только лексикографией. Непосредственно связанный с III Отделением, и за плату, и по собственному побуждению, Макаров рьяно выступал с обличениями «нигилизма», издал две сатиры («Кровавый призрак» и «Пиф-паф»), в которых, по его собственным словам, «огненными чертами изображал я опасность всему цивилизованному миру от коммунизма и интернационализма»¹. Аналогичные взгляды высказывались Макаровым в брошюрах «Противоядие Социализма» и «Против царевуиц и нигилизма вообще». После убийства Александра II Макаров напоминал, что он уже давно «предвидел и предсказывал ужасы анархических стремлений, предсказывал в печати <...> и еще — в докладных записках»².

Обличая «козни» «нигилизма», браня Парижскую коммуну, Макаров предлагал создать газету, поддерживающую правительство, мешающую интернационализму «проползти змеею в мое отечество»³. В пылу усердия он живописал будущие заслуги такой газеты, забывая даже о правилах грамматики. Цель подобного издания, по словам Макарова, — «бичевать, громить, т. е. беспощадно и смело осмеивать все уродливое, неблагонамеренное, зловерное; срывать маски, прикрывающие лже-прогрессистов — писак, прокаженных и зараженных ядом тлетворных и всенизвергающих теорий и учений запада, и которые писак, не смотря на предостережения и запрещения, продолжающих с иезуитским коварством и хитростию свое подземное и богопротивное дело»⁴.

Газету, основанную на тех началах, которые пропагандировал Макаров, пытался позднее, в 1880 г., издавать П. П. Цитович — «ретирадный» литератор, зло высмеянный Салтыковым-Щедриным в цикле «Круглый год». Эта газета, «Берег», поддерживаемая правительством, не имела успеха, ее издание вскоре пришлось прекратить. Макаров выражал сожаление по этому поводу, находя, что редакция «Берега» действовала неуклюже и из-за того общество не оценило газету⁵.

¹ Н. Макаров. Противоядие Социализма. СПб., 1874, с. 1. О Н. П. Макарове см. интересную книгу Б. М. Эйхенбаума «Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова», М., 1933. Далее: Эйхенбаум.

² Н. Макаров. Против царевуиц и нигилизма вообще. СПб., <1881 ?>, с. 1.

³ Противоядие Социализма, с. 1.

⁴ Там же, с. 2—3.

⁵ Против царевуиц и нигилизма вообще.

В конце 1850 — начале 1860-х гг. качества Макарова, которые столь отчетливо отразились позднее в его антинигилистических заявлениях, и печатных, и доведенных келейно до сведения начальства, еще не проявились. Но уже тогда в его произведениях сказывалась болезненная самолюбивость, маниакальная обидчивость, ущемленность, уверенность в том, что вся литература и журналистика только и заботится, как бы побольше уязвить его.

В № 11 некрасовского «Современника» за 1859 г. было опубликовано произведение Макарова «Задушевная исповедь». Назидательная быль с вариациями на тему «точки зрения». Оно открывало отдел «Словесности, наук и художеств», более чем на две трети заполняя его (214 стр. из 322), и сопровождалось заметкой «Несколько слов от редакции по поводу предыдущей статьи».⁶ Автор заметки, Добролюбов, выражал надежду, что публика с удовольствием заметит «Задушевную исповедь», отличающуюся от большинства обличительных статей: в последних, обычно, обличение дается с точки зрения людей посторонних, у Макарова же «сам больной рассказывает нам свою болезнь» (219).^{6а} По мнению Добролюбова, читатель может делать любые выводы о взаимоотношениях двух основных лиц, о которых говорится в «Задушевной исповеди», самого рассказчика и его противника, откупщика Штукарева; но, независимо от того, кто из них прав, произведение Макарова сохраняет интерес «верного изображения русской жизни» (220), помогая решить вопрос об источниках успехов или неудач различных деятелей современности.

В заметке Добролюбова ощущалась известная симпатия к Макарову. Но главным в ней было стремление ограничить позицию редакции от мнений автора «Задушевной исповеди», «остаться в стороне», предоставить судить об изображенном читателям. Редакция как бы заявляла, что она вовсе не намерена вмешиваться в тяжбу Макарова и его врага. Заметка предостерегала также от выводов в духе либерального обличительства, к которым подводило объективно произведение Макарова.

Руководители «Современника» имели веские основания и печатать «Задушевную исповедь», и отмечиваться от ее автора. Произведение Макарова, не говоря уже о том, что оно не отмечено печатью таланта, не выходило за рамки либеральных обличений и должно было произвести на читателей некрасовского журнала странное впечатление. С какой-то болезненной запальчивостью Макаров рассказывал историю своей дружбы, а затем вражды с Василием Андроновичем Штукаревым, в котором без труда можно было узнать известного откупщика В. А. Кокорева. Большая часть «Задушевной исповеди» состояла из горестных сетований на козны Штукарева, коварного и лицемерного злодея, обманувшего и разорившего автора, лишившего его надежд на откупные барыши. Ругань в адрес Штукарева перемежалась сведениями об интимных эпизодах биографии Макарова, о пылкости его натуры, самолюбивости, вспыльчивости, об его любви к первой и второй женам, о музыкальных талантах, виртуозной игре на гитаре и т. п. Раздраженная брань, самохвальство, амбициозность, стиль описания подробностей семейной жизни — все это создает впечатление, что автор не вполне нормален, что, в лучшем случае, он человек крайне неуравновешенный, страдающий манией преследования. И, тем не менее, редакция «Современника» была, видимо, права, печатая «Задушевную исповедь». Произведение Макарова превратилось в некрасовском журнале в одно из выступлений, направленных против откупа, как важной характерологической черты русской дореформенной действительности. Оно объективно давало материал для выводов и о разложении дворянства, и о хищнической бур-

⁶ См. Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 тт. Т. 5, М.—Л., 1962. Далее: Добролюбов.

^{6а} Заметка Добролюбова цитируется по «Современнику», как и статья Чернышевского «Откупная система», о которой пойдет речь далее.

жуазной морали, носителем которой являлся Штукарев-Кокорев⁷. Но дело этим не ограничивалось.

Об откупе в периодике второй половины 1850-х гг. писали немало. Критика злоупотреблений откупщиков, как и обличения взяточников, — один из постоянных атрибутов либеральной «гласности». Откуп обычно трактовался как уходящее в прошлое зло, искоряемое благотворными действиями правительства. Естественно, что революционные демократы едко высмеивали подобный подход. Они критиковали откуп совсем с иных позиций, как закономерное порождение всей системы отношений, не изменивших своей сути и в настоящее время. В № 10 «Современника» за 1858 г., за подписью Л. Панкратьев, была опубликована статья Чернышевского «Откупная система», направленная и против откупа, и против либеральных обличений его.⁸ Автор с иронией писал о том, что в литературе вдруг все «накидываются с обличениями» на какой-либо предмет, «который вчера был совершенно таков же, как ныне, и совершенно таким же останется завтра» (211). К подобным предметам Чернышевский относил и взяточничество, и откуп — любимые темы либеральных словопроерий. Критик «Современника», конечно, далек от всякой идеализации откупа. Он отлично понимает, что откуп — «вещь очень не прекрасная». Но либеральные противники откупа кажутся Чернышевскому похожими на человека, который двадцать лет мирно встречался с шулером и вдруг начал его порочить без всяких новых видимых причин. Такому человеку хочется сказать: «Друг мой, ваше негодование справедливо, но зачем же оно так долго молчало? <...> Вы представляетесь мне человеком, который не смел дурного слова сказать об Иване, пока Ивана кто-нибудь защищал, и осыпает чрезвычайно благородными и отважными укоризнами того же самого Ивана, увидев, что от Ивана отступились все. Ваше геройство представляется мне усердием вломиться в отворенную уже дверь» (212—213).⁹

Через всю статью проводится мысль, что откуп — система, порожденная определенными социально-общественными причинами, что его нельзя улучшить, а можно лишь уничтожить, что он «представляется нам только частью целого», так как «разные явления частной или общественной жизни находятся между собою в тесной связи», что «дерево достигает роскошного роста только на удобной для того почве» (229).

С подобной позиции критиковалась откупная система и в статье В. А. Федоровского «Подольско-витебский откуп» («Современник», 1859, № 3), в которой говорилось непосредственно о Кокореве, об его откупной деятельности. Кокорев, задетый Федоровским, начал всячески порочить «Современник», распустил слух, что автор статьи «Подольско-Витебский откуп» — Добролюбов, который якобы получил за нее 80 тыс. руб. от соперника Кокорева, откупщика Бенардаки.¹⁰ Не довольствуясь этим, Кокорев напечатал в «С.-Петербургских ведомостях» четыре огромных статьи «Обличительное дело» (1859, №№ 79, 104, 120, 129), где он подробнейшим образом, по пунктам старался доказать, что Федоровский оклеветал его, исказил истину. Возражая «Современнику», Кокорев выступал с позиций сторонника гласности; он патетически восклицал, прекрасно владея терминологией либерального обличительства, что гласность — «воздух, освежающий понятия», «контроль общественной непорочности» (№ 79); он лицемерно благодарил Федоровского за его статью и в то же время не соглашался ни с одним ее

⁷ См. Добролюбов, с. 598.

⁸ См. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. Т. V, М., 1950, с. 318—334. См. также публикацию В. Э. Богграда «Доцензурная редакция статьи Н. Г. Чернышевского «Откупная система»» в сб.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, вып. 3, Саратов, 1962, с. 233—248.

⁹ Ср. со «школьным анекдотом», приведенным Добролюбовым в его статье «Новые стихотворения В. Бенедиктова».

¹⁰ Эйхенбаум, с. 193—195.

пунктом, утверждая, что «такая гласность только разъединяет общество, лишая его силы, нужной на дело общего добра» (№ 129).

Не желая, видимо, быть уличенным в передержках и грозя вместе с тем новыми опровержениями, Кокорев в конце последней статьи сообщал, что отвечал Федоровскому по памяти, не заглядывая в личный архив. Он обещал позднее сделать детальную сверку и опубликовать осенью возражения «Современнику», документально подтвержденные. Сулил Кокорев напечатать и оправдательную статью в ответ на критику Подольско-Витебского винного откупа.¹¹ Свои обещания он выполнять не торопился, но у читателей могло создаться впечатление, что доводы его в достаточной мере обоснованы, что последнее слово в полемике осталось за ним, что он опроверг Федоровского, а редакция «Современника» предоставила страницы своего журнала для голословных, не соответствующих действительности обвинений.

Создавшаяся ситуация, вызванные ею тактические соображения делают понятной публикацию в «Современнике» «Задуманной исповеди» как своеобразного ответа на оправдания Кокорева, написанного человеком, близко знающим откупщика, как прежним другом и соратником. Не случайно в начале «Задуманной исповеди» Макаров прямо ссылаясь на статью Федоровского, на возражения Кокорева в «С.-Петербургских ведомостях».

Появление «Задуманной исповеди» в печати было встречено отдельными сочувственными откликами, из которых однако следовало, что читатели не всегда улавливали разницу между выводами Макарова и точкой зрения редакции. В. Я. Стоюнин в газете «Русский мир» (1860, № 2) верно истолковал «Задуманную исповедь» как произведение объективно антибуржуазное. Он писал о том, «как отвратительна и пошла французская буржуазия, которая нисколько не хуже возникающей русской». И в то же время Стоюнин выражал уверенность, выдержанную несколько в либерально-прекраснодушном тоне, что отныне «каждый благородномыслящий человек станет на сторону г. Макарова и потому может составить себе самое твердое мнение о г. Штукаре, не подверженное теперь, несмотря на все уловки, никакому сомнению». Стоюнин очевидно имеет в виду весь ход полемики между «Современником» и Кокоревым, но он слишком уж решительно становится на сторону Н. П. Макарова.

Большинство же откликов на «Задуманную исповедь», несмотря на авторитет «Современника», было явно ироническим. Так, например, в «Заметке провинциала о взяточничестве», появившейся в «Северной пчеле» (1859, № 272) за подписью: Провинциал, весьма насмешливо говорилось и о Макарове, и о журнале, напечатавшем его произведение. По мнению автора заметки, «Задуманная исповедь» свидетельствует, насколько Штукарев, каким бы он ни был, умнее Макарова, подвергшего себя полному саморазоблачению. Публикация творения подобного рода в некрасовском журнале, по словам «Провинциала», может заставить думать, «что «Современнику» печатать больше нечего. Сохрани его Бог!»

Довольно иронически о распри между Штукаревым и Макаровым писал и автор «Критического обозрения» журнала «Светоч» (1860, № 2, с. 51—60). Мимоходом упоминала о «Задуманной исповеди» и «Искра». В статье Z (В. С. Курочкина) «Диспут абиссинского маэстро с жрецами Ваала» (1860, № 15, с. 162) речь шла о гербе, в одной части которого изображен на «брусничном поле набитый соломою тюлень, играющий на гитаре сочинения г. Макарова (Зри «Задуманную исповедь»)».

С решительным отпором Макарову выступил на страницах «Русского слова» писатель-демократ М. Л. Михайлов. В № 1 за 1860 г. появилась за

¹¹ В защиту Кокорева написана и заметка некоего В. П. «К «обличительному делу». Письмо в редакцию», помещенная в № 92 «С.-Петербургских ведомостей» за 1859 г.

подписью: М. Л. его рецензия на «Задуманную исповедь»¹², злая и беспощадная. Едко высмеивая Макарова, Михайлов отнюдь не собирался оправдывать Штукарева-Кокорева и тем более откупную систему. Его статья — резкое неприятие как самого откупа, так и его «обличителей» типа Макарова, взывающих к благотельной «гласности». Именно подобное «обличительство» неоднократно высмеивали ведущие сотрудники «Современника», например, Чернышевский в упоминаемой выше статье «Откупная система» или Добролюбов в стихотворении «Мысли помощника винного пристава». Михайлов по сути дела солидарен с ними. Он наносит удар сразу в двух направлениях, осуждая одновременно и существующее положение как производное системы, его порождающей, и либеральное «обличительство», вызванное «веяниями времени», личными обидами, осуждающее частности, не затрагивающее «основ». Такая направленность «в два адреса» вообще была характерна для революционно-демократической критики.

Пользуясь тем, что Макаров в том же 1859 г. перепечатал «Задуманную исповедь» отдельным изданием, Михайлов анализировал последнее, ни словом не упоминая о публикации «Современника», в котором критик сам в эти годы активно сотрудничал. Тем не менее его выступление превращалось отчасти в полемику с «Современником». Михайлов, вероятно, понимал причины, побудившие редакцию напечатать «Задуманную исповедь». Понимал он и то, что некрасовский журнал отнюдь не склонен к либеральным обличениям откупного дела. И все же Михайлов счел необходимым выступить против Макарова. Появление «Задуманной исповеди» в «Современнике» могло истолковываться читателями как солидарность редакции с Макаровым, с либеральным обличительством. Авторитет «Современника» в данном случае послужил бы прикрытием того, чего он не должен был прикрывать. Поэтому рецензия Михайлова звучала упреком; в ней проглядывало убеждение, что публикация «Задуманной исповеди» в «Современнике» — тактическая ошибка. Такое убеждение являлось не совсем правомерным, но в нем имелось рациональное зерно.

В то же время Михайлов по сути дела обращал внимание читателей на те объективно ценные выводы, которые следует извлечь из текста «Задуманной исповеди». Он истолковывал книгу как независимое от воли автора саморазоблачение, как свидетельство проникновения в дворянскую среду «интереса денежного», буржуазных отношений, ставших «пружиной всех действий». Тем самым рецензент в какой-то степени оправдывал публикацию романа Макарова в «Современнике», помогая понять причины, которыми могла руководствоваться редакция некрасовского журнала.

В 1861 г. в Петербурге вышел роман, на титульном листе которого значилось: «Победа над самодурами и страдальческий крест. Сатирическая бивальщина. Написана Гермогеном Трехзвездочкинм. Издано Н. Макаровым». На самом деле Макаров — не только издатель, но и автор романа. В «Победе над самодурами», как и в «Задуманной исповеди», будущий лексикограф и обличитель «нигилизма» непрерывно жалуется на свои горести. Более половины романа (к ней относится вторая часть названия: «страдальческий крест») занята описанием треволений и невзгод героя без страха и упрека, Владимира Васильевича Громилова, под именем которого Макаров изображает самого себя. Подробно повествуется о вражде к Громилову прохожих-предпринимателя Шельменко, о повести «Откровенное сознание» (т. е. о «Задуманной исповеди»), написанной Громиловым и на-

¹² См. «Библиографию сочинений М. Л. Михайлова» П. В. Быкова в Полн. собр. соч. М. Л. Михайлова. Т. I, СПб., 1914, с. 365. О «Задуманной исповеди» упоминается в примечаниях к кн.: М. Л. Михайлов. Соч. в 3 тт. Т. 3, М., 1958, с. 623, в диссертации А. М. Штейнгольда. Михайлов — литературный критик. Л., 1971, с. 76—78.

правленной против Шельменко, о ругани этой повести «бездарными писателями», готовыми забросать грязью любой талант. Макаров уверяет, что Громилов, т. е. он сам, написал несколько «превосходных повестей, рассказов и фельетонных статей»¹³. Он перечисляет, под вымышленными, но довольно прозрачными, названиями, всех своих журнальных недоброжелателей, не жалея ругани при их характеристике.

Громилов изображен противником самодурства, но предлагаемые им средства борьбы со злом крайне наивны. Все плохое, по его мнению, происходит от недостатка образования, поэтому главная задача — найти способ более дешевого печатания книг.

Название романа Макарова, содержание I-го тома ориентированы во многом на творчество Островского. Автор неоднократно подчеркивает, что он описывает Замоскворечье; в изобилии рассыпаны в книге пословицы, поговорки; Макаров щеголяет просторечными словечками, колоритными именами героев-купцов (Псой Вафусевич, Нунехия Псоевна, Феопистия Паксикахьевна). На Островского ориентировано и изображение купцов-самодуров, и образ промотавшегося дворянина Шугарова, ищущего богатой невесты, напоминающего одновременно, по словам Писарева, и Хлестакова, и Вихорева. Макаров прямо называет Островского «лучшим нашим драматургом» (т. I, с. 35) и ссылается на него, рисуя самодуров.

Однако, произведение, созданное Макаровым, не столько подражание Островскому, пусть даже бесталанное и эпигонское, сколько полемика с автор пьес о «темном царстве», сознательная идеализация действительности. Купец-самодур Сермяжников оказывается по своей сути хорошим человеком. Он, при всех своих недостатках, умен, добр, честен, добыл богатство собственным трудом. Многими достоинствами наделена и его дочь, смешная и нелепая при первых встречах с Шугаровым. Постепенно в ней обнаруживаются и любящее сердце, и сострадание к ближним, и здравомыслие, и человечность. Да и сам Шугаров, женившись на богатой невесте, внезапно преобразается. Он становится любящим мужем, рачительным хозяином, заботливым и гуманным помещиком. В сусальном-сентиментальных тонах описана и аристократка княгиня Зарецкая, дающая Сермяжникову благодетельные советы. В итоге получается слащавая идиллия, которая, по замыслу Макарова, свидетельствует о том, как просто решаются все жизненные проблемы, как легко «перевоспитываются» и купцы — самодуры, и «копители неба» — легкомысленные дворяне. Роман сводится к поверхностной и пошлой морали, что дескать дело не в бороде и не в кафтане, а в уме и в поведении, к рассуждениям о вреде кастовых предрассудков, о пользе межсословных браков и т. п.

Новое произведение Макарова вызвало резкую отповедь Писарева, напечатавшего в № 11 «Русского слова» за 1861 г. библиографическую заметку о книге Трехзвездочкина. Особенно иронически Писарев отнесся к «наивному оптимизму» Макарова, уверяющего, что победить самодурство столь просто: «Тут он решает такую задачу, перед которой отступали величайшие деятели нашей литературы: деятели эти, к сожалению, все были более или менее пессимистами и никак не могли возвыситься до той умоулыбательной наивности воззрений, на которую с первого раза отважился Трехзвездочкин. В произведениях наших деятелей случалось всегда так, что одолевали самодуры и что под их тяжелыми стопами задыхалось и вымирало возникшее движение жизни. У г. Трехзвездочкина выходит совсем наоборот, и даже вторая часть его бывальщины украшена заманчивым заглавием: «Победа над первым самодуром». Я, признаюсь, приступил к замещению сердца к чтению этой второй части. Что, если, думал я <...> если действительно г. Трехзвездочкин укажет нам средство радикально

¹³ «Победа над самодурами», т. 2, с. 201. В дальнейшем ссылки на роман в скобках, в тексте.

излечивать людей, одержимых бесом самодурства: ведь это будет рай земной, блаженство, а не жизнь»¹⁴.

В конце заметки Писарев намекал на цензурные обстоятельства, заставляющие заниматься разбором пустяковых книг, мешающие высказаться с полной ясностью мыслью о невозможности плодотворных изменений в рамках существующего строя: «Что нам велят писать, то мы пишем; чего не велят писать, того не пишем; бьемся, как рыба об лед, пляшем, как карась на сковороде, смеемся, когда кошки на сердце скребутся... Эх, уж и не говорил бы! Ну их совсем!»¹⁵

Слова Писарева о «плясках на сковороде» переключали заметку из иронической тональности в план серьезных и невеселых размышлений о современном положении литературы. За эти-то слова и ухватился Макаров, обвиняя Писарева в беспринципности. В «Листке ответов и возражений» «Русского инвалида» (1861, № 285, от 22 декабря) Макаров напечатал «Письмо к редактору «Русского инвалида», за подписью «Редактор литературных опытов Г. Трехзвездочкина», где называл Писарева «*плясуном на сковороде*», который, по собственному признанию, пишет не по убеждению, а «по приказанию своего начальника». Макаров обвинял Писарева в недобросовестности, в искажении фактов, в том, что его заметка — «не критика, а грубая, желчная брань».

Писарев поместил в № 12 «Русского слова» ответ на письмо Макарова, состоящий почти целиком из цитат, взятых из 2-го тома «Победы над самодурами», вышедшего уже после появления первой заметки о Трехзвездочкине. Приведенные цитаты, лучше любых других доводов, свидетельствовали о правомерности насмешек Писарева. Не довольствуясь этим, критик «Русского слова» напечатал в «Русском инвалиде» (1862, Прибавление к № 6, от 10 января) заметку, адресованную «редактору литературных опытов Г. Трехзвездочкина», публикуемую нами ниже. Продолжая в ней иронизировать над Трехзвездочкиным, критик обращает внимание на то, что редактор «литературных опытов» не понял, или сделал вид, что не понял, смысла рассуждений о «пляске на сковороде»¹⁶.

В заключение следует отметить, что Макаров, пытаясь возражать Писареву, выступил в «Русском инвалиде» еще с двумя письмами, вернее с одним письмом, дважды напечатанным в слегка измененных вариантах (см. 1862, Прибавление к № 15, от 20 января, «Еще об аккредитованной пляске на сковороде» и № 16, от 21 января, «Последний ответ аккредитованному плясуну»).

Выступления Михайлова и Писарева против Макарова — один из эпизодов борьбы демократической критики с либеральным «обличительством», с сусально-идиллическим приукрашиванием действительности, за литературу, правдиво изображающую жизнь.

* * *

*

¹⁴ Сочинения Д. И. Писарева. Полн. собр. в шести тт., 5-е изд. Ф. Павленкова. Т. I, СПб., 1909, с. 554.

¹⁵ Там же, с. 557.

¹⁶ О романе «Победа над самодурами», о критике Трехзвездочкина в «Русском слове», о полемике по этому поводу в «Русском инвалиде» см. Эйхенбаум, с. 202—213. Однако, хотя в книге «Маршрут в бессмертие» полемика освещена достаточно подробно, в ней приводятся лишь отдельные цитаты из заметки Писарева в «Русском инвалиде». Да и весь материал, содержание романа интересуют исследователя, главным образом, в биографическом плане, как иллюстрация тех средств, при помощи которых Макаров стремился «обличить» своих недоброжелателей.

«Задушевная исповедь. Назидательная быль. С вариациями на тему «Точки зрения». Н. Макарова. Спб. 1859. В 8-ю д. л. 218 стр.

Во все продолжение чтения «назидательной были» г. Макарова мы колебались между двумя предположениями. Что такое эта книга? думали мы: действительно ли это «быль» из жизни господина, именующегося Н. Макаровым? или это одна из тех вымышленных автобиографий, какие мы сплошь и рядом встречаем между романами и повестями? Ничего не решило вполне наших сомнений, когда мы дочитали книгу до самого конца. Одна страница утверждала нас в первом предположении, другая разом обращала нас на предположение второе. Когда г. Макаров (мы будем называть так автора, хотя это может-быть псевдоним), когда г. Макаров рассказывает о нежных чувствах своих к двум своим женам (почти одним и теми же словами об обеих), мы, вероятно по непривычке к таким публичным излияниям, принимаем книгу за вымысел. Тем более, что и сам г. Макаров постоянно толкует о своем уважении к «святине своего домашнего очага». Наоборот, когда мы встречаем в книге г. Макарова имена общеизвестные, преимущественно из музыкального мира, мы никак не можем предположить, чтобы «задушевная исповедь» была произведением фантазии. Большая часть этих имен принадлежит лицам живым; стало-быть, г. Макаров не имел в виду сочинять исторический роман. Но, как уже мы сказали, чрез страницу — две наша уверенность в действительном существовании г. Макарова, а стало-быть и в подлинности его автобиографии, опять разлетается вдребезги. Мы до сих пор думали, опять таки, может быть, по старой рутине, что странно как-то и неловко говорить во всеулышание о своих достоинствах; а между тем г. Макаров, теми или другими словами, беспрестанно говорит о своем великом музыкальном таланте, о пылком благородстве своей души и т. под. Что мы до сих пор не слышали ничего о громкой музыкальной карьере г. Макарова и узнали о ней только из его «исповеди», это мы относим к нашему плохому музыкальному образованию. Вследствие этого плохого образования, разумеется, мы считали и инструмент, на котором г. Макаров, по собственному его рассказу, производил фурор и имел громадный успех в просвещенной Европе, а именно гитару — инструментом времен патриархальных, наравне с русской балалайкой и киргизскою чибызгой. Что же касается до благородства души г. Макарова, то, хотя из его же книги мы впервые узнали о нем, однако готовы отдать ему полную справедливость. Отраднo было нам видеть и пылкость чувств вообще г. Макарова, за которую сестрица его дала ему столь характеристическое название «Амалата Везувиеча», название, составленное по всему вероятию из имени героя Марлинского и из имени огнедышащей горы Везувия. Действительно, расправа с нянькой, описанная г. Макаровым в начале его повести, похожа на извержение Везувия. За то, что эта нянька решилась высказать подозрение, будто г. Макаров имеет слабость к прекрасному полу, он поступил с ней возмутительнейшим образом, и повествует о своем отвратительном поступке с еще более возмутительным чувством своей правоты. «Я схватил немку за плечо (рассказывает г. Макаров), повернул ее лицом к двери и в то же самое мгновенное хлыст взвизжал в воздухе и два перекрестные и полновесные удара упали на жирные плечи Марьи Ивановны и обозначились пучковыми полосами. После четырех моих пинков, она из залы очутилась в сенях, где и произведено было мною продолжение назидательного поучения. Опасения мои насчет непрочности хлыста оказались справедливыми: он не выдержал и, после пятнадцати или шестнадцати ударов, изломался, и я окончил положенное число ударов рукояткою хлыста. Не стану описывать визг немки: он походил на все остальные визги — немецкие, французские, татарские и всех прочих народов. Последний, двадцатый удар был отсчитан Марье Ивановне уже на дворе, куда выбежала она в чаянии избавиться от заслуженной расправы. Толпа дворовых людей стояла и смотрела с замиранием сердца на казнь визжавшей нем-

ки...» * По этим строкам уже достаточно видно, какого покроя человек г. Макаров. Но история с немкой Марьей Ивановной только незначительный эпизод в «Задумшевой исповеди»; главная цель этого произведения — предать посредством гласности каре общественного мнения откупщика Василия Андроновича Штукарева, коварного друга г. Макарова.

Увы! этой-то главной цели г. Макаров и не достигает. Разумеется, вы видите, что г. Штукарев человек очень таки сомнительной чистоты; но каких же чистых и благородных побуждений можно ждать от господ, посвящающих себя делу распространения кабачной деятельности? Это только г. Макаров мог увлечься по пылкости своей натуры благородством и нежностью чувств г. Штукарева. Итак г. Макаров ничего не прибавил к характеристике этого ловкого пройдохи, который, как говорит автор «исповеди», был изображен в полемической статье «Современника» ** под заглавием «Подольско-Витебский откуп». Этой статьи не дополняет ничем существенным рассказ г. Макарова, который желает раскрыть злокозненные поступки с ним самим г. Штукарева. Именно этой-то злокозненности мы и не видим в книге г. Макарова.

Сгорая жаждой деятельности, г. Макаров поступил сначала в военную службу (войны тогда не было), но, вероятно, не удовлетворившись этим поприщем, снова поселился у себя в деревне. Из этого видно, что г. Макаров обладал настолько хорошим состоянием, чтобы жить без всякой деятельности. Игру на гитаре шести или семиструнной нельзя же считать делом. Семья г. Макарова была так незначительна, что нечего было, кажется, хлопотать об увеличении своего состояния, если к этому не представляется чистых и прямых путей. Но человеческим желаниям закон не писан, а г. Макаров притом человек увлекающийся. Таким образом он увлекся *очень выгодным* предложением г. Штукарева, вступить в откупную и питейную деятельность. Не смотря на пробудившееся в нем с первого разу отвращение к кабачной расправе управляющих питейными откупами, он несколько лет остался в атмосфере полугара. Оно, разумеется, гадко, дышать этим воздухом, и г. Макаров на каждой почти странице вопиет против кабаков; но — своя рубашка к телу ближе, и он посвящает кабакам все свои способности, пишет статьи (*дельные*, как сам говорит) о преобразованиях по откупам, о выгодах откупа, о лучшем устройстве откупа и т. д. Штукарев, действительно, словно по увлечению дружбы, благодетельствовал г. Макарова, и с точки зрения везувийской пылкости мы понимаем восторг г. Макарова от великодушия г. Штукарева. При некотором хладнокровии становится, однакож, до яркой краски стыда неловко, когда читаешь пламенные страницы, обращенные г. Макаровым к своему благодетелю и другу. «*Благодарная* и юношески-огненная душа» г. Макарова дошла в своем пафосе до того, что видит в г. Штукареве «человека, осуществившего долго ненаходимый и недосягаемый идеал высокой дружбы и всего прекрасного и благородного». Вследствие такого пылко взгляда, г. Макаров предлагает г. Штукареву дружеское и братское *ты*, которое г. Штукарев и принимает, *до поры, до времени*. В книге г. Макарова находится не мало писем с обеих сторон, и от г. Макарова к своему благодетелю, и от благодетеля к самому г. Макарову. Из хладнокровного чтения этой корреспонденции оказывается одно: что г. Макаров, на основании своей идеальной дружбы, предается преимущественно сердечным излияниям, г. же Штукарев говорит преимущественно о делах положительных, практических. Из этого ясно, что отношения между двумя сторонами какие-то неестественные; мало-помалу они становятся все страннее. «Юношески-огненная» душа г. Макарова, погружаясь в омут кабацкой деятельности, видно не могла сразу понять, что в этих благовонных сферах дружеские

* Расправа с немкой описана на с. 28—29 книги Макарова — П. Р.

** Макаров лишь намекает на это, хотя и довольно недвусмысленно — П. Р.

излияния становятся далеко ниже наполненных цифрами счетов, и никакие фразы «о прекрасном, о высоком» не заменяют граф о расходе и приходе. Коснея в своем благородном заблуждении относительно откупного мира, г. Макаров не понимает, каким образом г. Штукарев, облагодетельствовавший уже его двадцатую пятую паями, не исполняет своего обещания, дать ему, вместо их, пятьдесят паев. Г. Макаров имеет, как вы уже видели, очень аркадское понятие о дружбе. Совсем иное понятие имеет г. Штукарев, как о дружбе, так и о ведении откупных дел. Он не раз в письмах своих высказывает недовольство неровностью характера своего *protégé*. В одном письме его прямо говорится: «Появившаяся в тебе ровность в действиях подает мне большие надежды и дает возможность рассчитывать на тебя *гораздо более и совсем по-другому*». Ясно, что г. Штукарева не удовлетворяли взгляды на откупные дела г. Макарова. Следовало бы, кажется, отстать от них и остаться другом г. Штукарева, если г. Макарову уж так дорого священное чувство дружбы. Но г. Макаров, несмотря на полное несогласие нравственное, по крайней мере внешнее, с г. Штукаревым, продолжает им одолажаться, и дожидается от своего патрона очень горьких и неделикатных замечаний. Сначала г. Штукарев говорит еще уклончиво, а именно вот как: «Доверяя тебе все, что угодно, извини, дорогой друг Николай, если до времени не совсем доверяю то, в чем нужна полная стройность, потому что боюсь твоего излишнего и порывистого усердия». Но вскоре являются уже и такие строки в письмах г. Штукарева: «Письма твои от 15-го и 17-го ноября и *впечатления*, изложенные в *особой записке*, я получил по возвращении из Пскова, куда ездил на неделю. Прочитав все твои *писания*, я сделался полон самой тяжелой грусти, потому что из них вынес свежее, сильное и верное убеждение о том, что ты никогда не будешь ровен и предусмотрителен... Не буду говорить о твоей непомерной восторженности, которая ни к чему не ведет, ибо в век разума истинное счастье создается на тишине и на господстве разума над всеми чувствами, что справедливо заметил тебе в этом роде твоя Софи (тогдашняя невеста г. Макарова). Не возражай того, что излияния твои относятся к одному мне, ибо я знаю, что и *другие* получают их в *достаточном* количестве». Далее идет перечисление пунктов, которыми г. Штукарев недоволен в действиях г. Макарова. «Напоминание об обязанностях, — заключает он, — есть, по-моему, вступление в совершенный разрыв со мною. Это вступление с твоей стороны уже зашло далеко. В оправдание свое ты, может быть, приведешь две причины, то есть, дружбу и женитьбу. На первое скажу, что дружба дружбой, а служба службой. Чем крепче дружба, тем тщательнее должна быть высказана любовь к делу, с засвидетельствованием ее результатами в чистых рублях». Последнюю фразу, как очень характеристическую, г. Макаров подчеркивает и не раз приводит ее в книге, вероятно, думая, что от такого господина, как Штукарев, нельзя было всегда ожидать ее. Фраза, действительно, характеристическая; но не менее характеристичен и образ действий г. Макарова. Несмотря на возникшие уже в нем сомнения в высоких нравственных качествах г. Штукарева, он послал ему упомянутую в письме *особую записку* с впечатлениями своими о помолвленной им тогда невесте. Записки этой мы не знаем, но можем судить о ней отчасти по восторженным возгласам о любви, попадающимся в книге, отчасти по критике г. Штукарева. Письмо, из коего мы привели последние отрывки, оканчивается такими строками: «Чувства мои окончательно пострадали от прочтения записки о Софи в трех периодах, начинающихся со слова: *Если*. Боже мой! какая дерзость и какая глупость, превосходящая даже персидскую поэзию! Я убежден в том, что твоя разумная Софи (какою я разумею ее в замечании ее о неуместных восторгах) устыдилась бы этого сочинения. Что касается меня, то я более не друг твой, а просто знающий тебя человек... Обращаясь к второй части и хороню навсегда слово *ты*». Вы думаете, конечно, что г. Макаров, при своей везувийской пылкости, наплевал на г. Штукарева и на его дружбу и на его паи; но очень ошибетесь. Г. Макаров является Амалатом Везувиевичем более

на словах, чем на деле, по крайней мере, когда дело идет о паях. Он выносит всевозможные названия со стороны г. Штукарева, только бы не потерять драгоценного участия в возвышающем душу занятии рассиропливания вина и проч. Единственным проявлением оскорбленного собственного достоинства в г. Макарове следует назвать требование его, чтобы г. Штукарев выслал ему обратно тетрадь впечатлений, о которой отозвался так цинически неделикатно. Г. Штукарев отвечал ему: «Требуемые вами в возврат *писания* ваши я вам вышлю, но те из них, где речь идет об архангелах и т. д., я говорю вам, как честный человек, что я уничтожил, и их никто не увидит, потому что они сгорели в камине». Обращение с собой г. Штукарева г. Макаров сам называет *поруганиями* (так!); а между тем, несмотря на них, все-таки не отстает от него. Какое же гуманное основание такому странному постоянству? Г. Макаров, громя перунами своего витийства г. Штукарева, забывает объяснить нам это обстоятельство. Он рисует себя каким-то страдальцем, жертвою адского коварства и т. д., говорит о тяжелых испытаниях, о горьких минутах и проч. Но какие же высокие побуждения заставляют его подвергать себя всему этому и оставаться в столь ненавистой ему, как можно заключить из его слов, «губительной струе акцизно-юпитеровской углекислоты». С крайним огорчением мы должны произнести слово, о котором он задушевно умолчал в своей «задушевной исповеди». Слово это — пружина всех действий, корень всех бедствий, поруганий и проч. — слово это: интерес, интерес денежный. Мы простили бы еще такую терпимость, или лучше сказать, поняли бы ее в г. Макарове, если б он был человек, обремененный семьей, неимущий, обиженный и судьбой и природой. Напрасно будете вы искать в книге г. Макарова слов, что ему нечего есть и нечего есть его детям. Таких слов вы в ней не найдете. Напротив, вот что он говорит на стр. 96: «Собственно мое состояние было *очень невелико*. У Софи тоже было *немного, самый маленький капитал*. Но когда я сделал ей предложение, у меня были *блестящие надежды, оправдываемые тесною дружбой* с одним из сильных откупного мира». Из дальнейших страниц оказывается, что г. Макаров разъезжал по Европе, отыскивая там лучших гитаристов, назначал конкурсы с премиями в восемьсот франков. Кажется, не из чего было унижаться перед каким-нибудь г. Штукаревым и питать надежды на на свои способности, не на свою деятельность ради общественной пользы, а на тесную дружбу с сильным откупного мира. Этот образ действий диаметрально противоположен тем высоким принципам, которые г. Макаров старается вывести из него в своем посвящении. Книгу свою г. Макаров начинает троекратным возгласом: «Гласность! гласность! гласность!» В последнее время часто слышали мы фразу, что гласность есть орудие обоюдоострое. Чуть ли даже фразы этой нет где-нибудь и у г. Макарова. Она как нельзя удобнее может быть приложена к нему самому. Обличение его, повторяем, не прибавило ничего к тому понятию, которое уже окончательно сформировалось у всех порядочных людей о господах Штукаревых. Зато сам автор явился перед публикою в таком странном свете, какого, разумеется, и сам не ожидал. Мы жалеем, что у г. Макарова не нашлось другого столь же хладнокровного друга, как г. Штукарев, чтобы посоветовать оставить под спудом «Задушевную исповедь» или по крайней мере не посвящать ее ребенку, *который, по достижении им совершеннолетия, станет краснеть за эту исповедь*»

<<«Русское слово», 1860, № 1, Библиография, с. 67—73>

* *
*

Г. Редактор литературных опытов г. Трехзвездочкина пришел в негодование от небольшой критической статьи, помещенной в ноябрьской книжке «Русского слова», и разобрал эту статью в одном из №№ «Рус<ского> Инвалида». Как автор этой статьи, как человек, дорожающий своим честным

именем, я считаю нужным, не пускаясь в бесплодные перебранки, защитить себя от тех обвинений, которые возводит на меня г. Редактор литературных опытов г. Трехзвездочкина.

1) Г. Ред... обвиняет меня в способности выдумывать небывалые факты и основывает это обвинение на следующей фразе моей статьи: «Автор импровизации в продолжение тридцати лет питал постоянную дружбу к Алексею Алексеевичу Одинцову, которому и посвящается вся книга, написанная даже вследствие его совета». Г. Ред. говорит, что о совете написать книгу нет и помню, и что этот факт я почерпнул из своей досужей головы. «Да ведь такая выдумка называется ложью», — прибавляет мой обличитель.

В книге г. Трехзвездочкина, в посвящении, автор говорит, что он, по совету своего друга, оставил Петербург, уединился в деревню, вздохнул свободно и ожил. «Тогда, — продолжает он, — я взялся за перо и в четыре недели написал то, что посвящено тебе теперь». Я не присутствовал при разговоре г. Трехзвездочкина с г. Одинцовым и потому решительно не знаю, что именно г. Одинцов советовал своему другу, оставить Петербург и уединиться в деревню, или же, еще кроме того, вздохнуть свободно и ожить, или же, наконец, сделав все это, взяться за перо и в четыре недели написать сатирическую бывальщину. Я не знаю, но думаю, что всякое введение, вступление, предисловие или посвящение должно иметь некоторую связь с тою книгою, к которой оно прилагается. Читая посвящение г. Трехзвездочкина, я думал, что оно приложено для того, чтобы объяснить происхождение книги; если я в этом случае ошибся, то пусть г. Трехзвездочкин или г. Ред. его литературных опытов объяснит мне с какою целью оно напечатано. Если совет г. Одинцова не находится в связи с написанием сатирической бывальщины, то зачем же упоминать о нем? Кому интересно знать, куда и зачем советовали ехать г. Трехзвездочкину? Посвящать публику в интимные подробности своего домашнего быта даже невежливо. Что г. Ред... обвиняет меня во лжи, этому я несколько не удивляюсь; я даже не сержусь на него за это; такого рода выходки свойственны необразованным людям, одаренным щекотливым самолюбием; выходками таких людей не обижаются, их только опровергают.

2) Объявление, будто я желал осмеять г. Одинцова, не имеет никакого смысла. Ни я г. Одинцова не знаю, ни он меня не знает; с какой же стати я стану осмеивать его печатно; я всегда осмею литературную бездарность, неосмысленную заносчивость, мелочное и ничем не оправданное самолюбие; посмеяться над человеком, которого имя я только что узнал, благодаря г. Трехзвездочкину, на это я не способен, потому что для этого надо быть сумасшедшим.

3) Г. Ред... оправдывает книгу г. Трехзвездочкина, говоря что все события, рассказанные в ней, действительно случились и что все выведенные в ней лица по сие время здравствуют и живут. Это обстоятельство еще больше доказывает бездарность г. Трехзвездочкина: если под его пером действительный случай становится неправдоподобным и живые люди превращаются в куклы, это значит, что творчество ему не далось и что ему надо положить перо, — тем более, что Ред... его литературных опытов так сильно обижаются отзывами критики и так неудачно защищает своего клиента.

4) Г. Ред. еще раз обвиняет меня во лжи и на этот раз сам ошибается; он говорит, что я сказал, будто цена за 244 страницы романа назначена 2 р. 50 к., между тем, как есть еще вторая часть в 366 страниц. Пусть г. обвинитель укажет это место в моей статье. На стр. 84-й я говорю: «но воля ваша, чтобы в месяц написать целую книгу в 244 стр., надо обладать значительною беглостью пера», а на стр. 85-й: «и все это (т. е. средство побеждать самодуров) найти за 2 р. 50 к. в книге совершенно неизвестного писателя, согласитесь, что это такое счастье, от которого может закружиться голова». Далее, во всей рецензии, нет ни слова о цене и величине книги. В одном месте я удивляюсь быстроте, с которою г. Трехзвездочкин написал

свою книгу, в другом радуюсь тому, что он открыл средство побеждать самодуrow. И вдруг из сопоставления этих двух мест выводят заключение, что я встаю против дороговизны книги и отвергаю существование второй части романа. И на основании такого заключения меня обвиняют во лжи.

5) Желая уничтожить меня вконец, г. Ред... приводит «как венец вполне достойный г. критика» (т. е. меня) следующую выписку:

«Я сам это сознаю, и пишу только потому, что я сам лицо подначальное; что нам велят писать, то мы и пишем, чего не велят писать, того не пишем, бьемся, как рыба об лед, пляшем, как карась на сковороде, смеемся, когда кошки на сердце скребут».

Г. Ред... не понял смысла моих слов, хотя они написаны по-русски и вследствие этого пустил в меня и в «Русское слово» очень желчную и очень неприятную диатрибу. Он, кажется, не знает, что есть «обстоятельства, от редакции не зависящие», и что в отношении к этим обстоятельствам все пишущие люди — лица подначальные.

Дальнейшие объяснения по моей рецензии г. Ред... может получить от меня лично, в главной конторе «Русского слова», на Гагаринской, в доме графа Г. А. Кушелева-Безбородко, по вторникам, от 1 до 3 час. пополудня. Я с своей стороны от души прощаю ему его грубые выходки. Он — человек раздраженный; это надо принять в соображение.

Дмитрий Писарев

NB. Редакция «Русского слова» уполномочивает меня прибавить, что моя статья нисколько не пятнает журнала, в следующей книжке она с удовольствием поместит мою рецензию на второй том романа г. Трехзвездочкина. Критики, стоящие, по словам г. редактора литературных опытов, ниже презрения, будут появляться в наших журналах до тех пор, пока в книжной торговле будут появляться произведения, стоящие ниже посредственности.

<«Русский инвалид», 1862, прибавление к № 6, от 10 января, «Листок ответов и возражений»>.

ПИСЬМА Ап. ГРИГОРЬЕВА к М. П. ПОГОДИНУ 1857—1863 гг.

Публикация и примечания Б. Ф. Егорова

Продолжаем публикацию писем Григорьева к Погодину, начатую в предшествующем томе (Уч. зап. ТГУ, вып. 306, 1973, стр. 353—388). Во вступительной заметке были оговорены принципы издания. Нумерацию писем продолжаем. Даты даются, как правило, по старому стилю.

43.

1857. Сент<ября> 18. Сан-Панкратио.

Достопочтеннейший Михаил Петрович!¹
Б<еки>й, если бы Вы знали только, какая это гнусная гнида с неприличных мест грыжи Закревского²!.. Вот, если когда-нибудь душа моя способна к ненависти, так это в отношении к подобным мерзавцам. Хамство, ханжество, нравственный и, кажется, даже физический онанизм, подлое своекорыстие, тупоумие и вместе проницательность — вот элементы подобных натур. Православие (т. е. лучше католицизм) Андрея Муравьева³ в соединении с фамусовским взглядом на просвещение⁴.

Ваш всегда А. Григорьев.

Адрес теперь во Флоренцию.
Княгиня Вам сама пишет.

¹ Дальнейший текст письма опубликован с искажениями: К, 172 (письмо № 62) — 173, строка 11 св.; вместо «благоденствие великому» (172,1 св.) следует читать «благоденствие и преуспеяние нашему великому»; вместо «Бецкий» (173,2 св.) — «Б<екий>»; вместо «страха...» (173,2 св.) — «страха (экая подлая, гнусная и хамская ракалия!)»; вместо «на дело» (173,7 св.) — «на долю».

² Закревский Арсений Андреевич, граф (1783—1865), военный генерал-губернатор Москвы (1848—1859), один из самых ретроградных деятелей Николаевской эпохи, яростный противник реформ Александра II.

³ Муравьев Андрей Николаевич (1806—1874), поэт и реакционный религиозный деятель.

⁴ Последнее предложение опубликовано в К, 173 с искажениями. В дальнейшем тексте письма также содержатся ошибки и пропуски. Вместо «жить тут...» (173,16 св.) следует читать «жить тут и пакостить без усталости и без цели»; вместо «в жизни» (173,17—18 св.) — «я в жизни»; вместо «смотреть на то» (173,27 св.) — «смотреть и на то»; вместо «чем лучше» (173,28 св.) — «чем больше»; вместо «Москвитянина» (173,29 св.) — «будущего „Москвитянина“»; вместо «читаю» (173,30 св.) — «читаю с лексиконом Макьявелли „<Delle> storie Fiorentine“».

Флоренция. 1857 г. (Окт<ября> 27 (Преподобного Нестора)⁵.

Представьте Вы себе, что он один день поразит меня способностью понять серьезное в науке и в жизни, сочувствием высокому и прекрасному — другой день мне приходится толковать с ним буквально как Чичиков с Коробочкой, до поту лица, до желчи — на третий день он опять поразит меня добровольным, искренним отречением от пошлости и глупости, которую накануне никак не хотел признавать за пошлость и глупость, а на четвертый — в его мышлении или чувстве выскочит новая пошлость или глупость, с которой опять борись и так usque ad infinitum⁶. Да! поистине «удобнее есть вельбуду сквозь уши иглиные проити, неже богату внити в царствие небесное»⁷....

Отчасти княгиня — честнейшая из итальянских кухарок, исключительно преданная идее узенького домашнего долга, отчасти Бель, честнейший человек, или, лучше сказать, дядька. Любопытно, что два этих честнейших существ <так!> всеми мерами друг друга ненавидят и при всяком удобном и неудобном случае сцепляются ругаться⁸.

Ваш вес и всегда Ап. Григорьев.

Ноября 8. 1857 года. Флоренция.

<Дальнейший текст письма опубликован с искажениями: К, 180 (письмо 66) — 183; вместо «иногда» (180, 11 сн.) следует читать «иногда запоем»; вместо «написать» (180, 11 сн.) — «писать»; вместо «полной» (180, 1 сн.) — «полной»; вместо «исполнило» (181, 2 св.) — «наполнило»; вместо «Герцен» (181, 10 св.) — «Г.»; вместо «этих» (181, 20 св.) — «эпохи»; вместо «боком» (182, 8 св.) — «боком „дадеса ми пакостник иже пакости ми деет“»; вместо «многоопытного» (182, 11—12 св.) — «многохитростного»; слово «Крылов» (182, 1 сн.) в рукописи отсутствует; после «дороги.» (183, 5 св.) следует «А писать всего лучше *poste restante* — ибо я сам хожу на почту за своими письмами»; перед «Вот еще» (183, 6 св.) должно быть «Р. S.»>.

⁵ Дальнейший текст опубликован с искажениями: К, 177—178, строка 13 св. (до слова «Нет!» включительно). Вместо «сентября» в дате следует читать «октября»; вместо «с ним» (177, 2 сн.) — «я с ним».

⁶ до самой бесконечности (лат.).

⁷ Евангелие от Матфея, XIX, 24. Далее следует текст К, 178, строка 13 св. (от слов «Но не даром») — 20 св. (до слова «взглядах?»).

⁸ Дальнейший текст опубликован с искажениями: К, 178, строка 21 св. (от слов «Бель посмотрел») — 180 (до конца письма № 65). Вместо «маленькое тщеславие и т. п.» (178, 13 сн.) — следует читать: «меленькое тщеславие и т. п. — но все это постепенно разрослось до размеров ужасающих»; вместо «с кем нельзя» (179, 2 св.) — «с чем нельзя»; вместо «но потому, что» (179, 6 св.) — «но понял, что»; вместо «ни *изленился*» (179, 11 св.) — «ни *измениться*»; вместо «„Путь» (179, 18 св.) — «по „Пути»; вместо «или даром расточающаяся» (179, 19—20 св.) — «и даром расточающая»; вместо «наивное детство» (179, 21 св.) — «наивное и вредное детство»; вместо «Мы» (179, 7 сн.) — «Мы» (т. е. славенофилы); вместо «принципессы» (179, 2 сн.) — «принципессы»; вместо «деревенской» (180, 1 св.) — «деревянной»; вместо «живее, растительнее», «поросло», «будет» (180, 9—11 св.) — «живое, растительное», «поросшее», «будем»; вместо «поднимайтесь» (180, 20 св.) — «поднимитесь»; вместо «1851 и 1852» (180, 21 св.) — «1850 и 1851»; вместо «И Вы», «и мы», «наше», «сильнее» (180, 21—23 св.) — «И Вы», «и мы», «наше», «сильнее нас».

1857 г. Ноября 18 (дек<абря> 1).

<Дальнейший текст письма опубликован с ошибками: К, 192 (письмо 70); вместо ««Nord'e» от» (192, 9 св.) следует читать «Норде»; вместо «помирила меня с жизнью» (192, 10 св.) — «опять помирила меня с жизнью»; вместо «выслал» (192, 19 св.) — «выслал»; после текста письма 70 следует:>

В том, чтобы забыть Россию на время и забыть вопросы, волновавшие меня там — я Вас, несмотря на усердные старания, не мог и не могу послушаться. О России, о литературе доносятся вести.

<Далее следует текст письма 69 (К, 189—192) с искажениями: слово «Эдельсон» (189, 5 св.) в рукописи отсутствует; вместо «вопрос» (190, 2 св.) следует читать «и вопрос»; вместо «надо» (190, 3 св.) — «надобно»; вместо «ломкою» (190, 8—9 св.) — «лямякою»; вместо «разрешены. Что вы мне» (190, 11 св.) — «разрушены. Что Вы о сем»; вместо «но не» (190, 14 св.) — «не»; вместо «Я делаю» (190, 12 св.) — «Я все делаю»; вместо «Это ему» (190, 10 св.) — «Это и ему»; вместо «получается» (190, 1 св.) — «покупается»; вместо «Он» (191, 1 св.) — «Он»; вместо «данными» (191, 2 св.) — «данными мне»; вместо «Закревский, Беринг» (191, 5—6 св.) — «Закр., Бер.»; вместо «Если я» (191, 14 св.) — «Если я и»; вместо «меньшее дело» (191, 18 св.) — «меньше дела»; вместо «Русского Вестника» (191, 19 св.) — «Вестника»; вместо «употребить» (191, 7 св.) — «употреблять»; вместо «с... м...» (191, 4 св.) — «свишская морда»; в конце письма подпись: «Ваш всегда А. Григорьев»>.

47.

Флоренция. 1858 янв<аря> 26.

Достопочтеннейший Михаил Петрович.

Опять письмо Ваше оживило несколько меня, начинавшего было уже приходить в отчаяние от Вашего молчания. Прежде всего поздравляю Вас с Вашею домашнею теперь уже вероятно окончательно совершившейся радостью.⁹ За сим, перехожу а l'ordre du jour¹⁰.

Здесь с этими натурами сделать ничего нельзя. Ни одной человеческой мысли не привить во внутрь. Все — один лоск, тщеславие, мелочность души флорентийца с дубовым упрямством русского барича. Если б Вы знали, сколько желчи и тоски доставляет мне каждый урок — Вы бы подивились моему донкихотскому одушевлению в оные минуты.

2. Домашняя жизнь. Подчинившись безобразию порядка и с другой стороны сохранившись <так> гордую отчужденность от домашнего мира, я избавлен от прямых *наездов* на мою личность. Но тем не менее я эти дни физически — заболел от крика, который я слышу, от духа нестерпимого, бабьего, бессмысленного деспотизма. Истинно по таким бабам палка плачет!... Нужно подробное, художественное изображение всей этой богохульной бессмыслицы. Когда-нибудь я его сделаю — и потешу Вас длинным посланием собственно об этом предмете... А между тем¹¹. — от этого хаоса невежества, пошлости, деспотизма и дразгов. Не думайте, чтобы краски, употребляемые мною, были желты от желчи. Для этого нет

⁹ 19 января 1858 г. была свадьба дочери Погодина Александры и Зедергольма (сына пастора К. А. Зедергольма?).

¹⁰ Этот абзац в сокращенном и искаженном виде был напечатан: К. 220 (письмо 81). Далее следует текст К (с ошибочным напечатанием «много» — 220, 3 св. — вместо «моего») до слов «со мной» (220, 1 св.); вместо дальнейшего многоточия следует текст нашей публикации.

¹¹ Далее следует текст К с пропуском слова «(младшая)» после «Юрьевна» (221, 7 св.), до слов «поближе к себе» (221, 8 св.).

красок достаточных. Собачий лай княгини, подлость Бецкого, тщеславие и капризы моего воспитанника, в сущности повелевающего матерью, идиотство старшей княжны, честная, но дикая мораль мистера Бэла — и столкновение, происходящее из этих элементов...¹²

48.

1858 г. Февр<аля> 9. Флоренция.

Достопочтеннейший Михаил Петрович!¹³

В другой раз, когда она, облаявши весь дом, вздумала обратить лай на меня, — я в высшей степени вежливо и тихо попросил позволения съехать —¹⁴

ибо иначе эта баба дойдет до того, что будет наказывать (это ей-богу не шутя), как Бецкого, оставлением без обеда — а Бецким я не хотел бы быть даже за царство небесное. И — *viva il popolo!* — везде, даже в расгленной Италии,¹⁵

Ваш всегда Ап. Григорьев.

49.

1858 г. Марта 7.

<Дальнейший текст письма опубликован с ошибками: К, 225—227 (письмо № 83); вместо «Современник» (225, 3 св.) следует читать «XII № Современника за прошлый год»; вместо «Долго ль же» (225, 17 св.) — «Долго

¹² Далее следует текст К с искажениями: вместо «Написавши книжку» (221, 17—18 св.) следует читать «Написавши книжицу»; вместо «изменилось» (221, 22 св.) — «изжилося»; вместо «уже не» (221, 22—23 св.) — «ужасная»; вместо «раскается» (221, 11 св.) — «рассмеется»; вместо «Так ли!» (221, 10 св.) — «?..».

Далее следует не последний абзац с. 221, а 222, 14—17 св., с искажением: начало абзаца следует читать: «Но что такое мы-то (собираательно), эти мы, которыми...».

После строки 17 следует текст: «Объясните христа ради — хоть одним словом, но Вашим, т. е. метким. II»; далее идет текст 221, 9—1 св., заканчивающийся не многоточием, а точкой.

Далее следует текст 222, 18—20 св., затем текст, начиная с 222, 1 св., с ошибками: вместо «по истинному» (222, 11—12 св.) следует читать «по инстинкту»; вместо «не в» (222, 12 св.) — «в»; вместо «да с его экстравагантностью нужно примириться...» (222, 4—3 св.) — «до его экстравагантностей нужно помириться».

В конце письма подпись: «Ваш весь А. Григорьев».

¹³ Далее следует текст К, 223 (письмо № 82) до «съеду» (223, 15 св.), с искажением: вместо «посердились» (3 св.) нужно читать «посердитесь».

¹⁴ Далее следует текст 223, 15—17 св.

¹⁵ Далее следует текст письма от 223, 18 св. до конца, с ошибками: вместо «услуги...» (223, 19 св.) нужно читать «услуги, за что были, как следственно, обруганы барынею...»; вместо «в эту» (223, 14 св.) — «в эту раг excellence»; вместо «сформируют» (223, 13 св.) — «сформируют»; вместо «вполне даровитого, но мальчика —» (223, 12 св.) — «внешне даровитого, но мелочного»; вместо «последних упражнений» (223, 8 св.) — «последнего упражнения»; вместо «pos» (223, 3 св.) — «mes»; вместо «и теперь» (224, 11 св.) — «а теперь»; вместо «фельетончик» (224, 9 св.) — «либеральный и развязный фельетончик»; вместо «Закревский... Строганова» (224, 7 и 5 св.) — «З**... С**».

ль же это»; вместо многоточий (225, 3 и 2 сн.) — точка; вместо «народности» (225, 2 сн.) — «народностей»; вместо «Иннокентия» (226, 21 сн.) — «Иннокентия и какого-нибудь раскольникового архиерея Андриюшки»; вместо «примыкаешься» (226, 12 сн.) — «примыкаешь»; вместо «Герцена» (226, 9 сн.) — «Г*»; вместо «да и выйти» (227, 3 св.) — «и выйти»; вместо «передовые» (227, 6 св.) — «первые»; вместо «„Современником”» (227, 7 св.) — «„Современником” в клане кума „Атеней”»; вместо «жалко и узко все, что носили другие мы» (227, 15 св.) — «мелко и узко все, что носили другие — мы»>.

50.

Марта 10 <1858>

<Дальнейший текст письма опубликован с ошибками: К, 227—228 (письмо № 84); вместо многоточия (227, 4 сн.) нужно читать «т. е. есть не теория, не поставленная вперед тема, а философия и жизнь»; вместо «повторять» (227, 4 сн.) — «повторяться»; вместо «делать» (228, 3 св.) — «сделать»; вместо «беспорядочность» (228, 7 св.) — «беспорядочность и распушенность»; вместо «развит» (228, 15 св.) — «развит философски»; вместо «кровные» (228, 15 св.) — «кровяные»; вместо многоточия (228, 20 св.) — «и притом пьяная»; вместо «началом» (228, 24 св.) — «началом как началом»; слово «Эдельсон» (228, 29 св.) в рукописи отсутствует; «мещанством» (228, 30 св.) выделено курсивом>.

51.

Рим. 1858 г. Апр<еля> 28 (15)¹⁶

А подлая флорентийская жизнь в богомерзком кругу, называемом *светским*, уже так глубоко его развратила, что, кажется, за него опасаться нечего. Все слилось для нравственной гибели этого малого — и его собственная страшно эгоистическая и внешняя даровитость, и безумная гордость матери, и ужасная английская система Бея¹⁷.

Ваш всегда А. Григорьев.

52.

Флоренция. 1858 г. Мая 11.

<Далее следует текст К, 236—237 (письмо № 88) с искажениями: вместо «как гражданину» (236, 3 св.) — «как к гражданину»; вместо «всегда остаться» (236, 12 св.) — «остаться всегда»; вместо «одобрительное и приветственное» (236, 18 сн.) — «ободрительное и приветливое»; вместо «в этой»

¹⁶ В датировке явное несоответствие: должно быть или 28 (16), или 27 (15) апреля.

Далее следует текст К, 231 (письмо № 86) до слова «развращает» ... (231, 19 сн.). Вместо «Князь Иван» (231, 20 сн.) следует читать «Наилучшее доказательство *безобразия* этой бабищи то, что князь Иван».

¹⁷ Далее следует текст от «Никакие» (231, 19—18 сн.) до конца письма, с ошибками: вместо «условия» (231, 18 сн.) следует читать «усилия»; вместо «все свои утра» (231, 13—12 сн.) — «все свое утро»; вместо многоточия и «Провидение пришло ко мне» (231, 10—9 сн.) — «Но лично ко мне провидение пришло»; вместо «какая мечта. А Кушелевского» (231, 5 сн.) — «как мечта. А у Кушелевского»; вместо многоточия (232, 3 св.) — «Не думаю, чтобы человек, как Вы, меня за это упрекнули»; вместо «самой доли» (232, 4 св.) — «сотой доли»; вместо «верю» (232, 7 св.) — «верую».

(236, 14 сн.) — «в той»; вместо «и в нашем» (236, 13 сн.) — «и нашем»; вместо «и имею» (236, 8 сн.) — «я имею»; вместо «У меня» (236, 4 сн.) — «У меня и в том»; вместо многоточия (237, 2—3 св.) — «Может быть, все это от отсутствия земли под ногами»; вместо «но в» (237, 3 св.) — «но»; вместо «имя княгини» (237, 4 св.) — «княгиню»>.

Все-таки Ваш Ап. Григорьев.

- 53.

, СПбург. 1859 г. Мая 11.

Достопочтеннейший Михайло Петрович!

Письмо г. Мамонтова¹⁸, переданное Вами моему отцу, подает мне повод писать к Вам — и вот почему: если бы Вы просто прислали письмо г. Мамонтова и он просто подал бы ко взысканию — мне нечего было бы и писать к Вам. Я знаю, что продажей дома г. Мамонтов выручит свои деньги с процентами — *quod erat demonstrandum*¹⁹. Но — Вы призвали моего отца для словесного объяснения — стало быть, Вы сердитесь на меня и не равнодушны ко мне, *quod, тоже, erat demonstrandum*.

Вы вправе на меня сердиться — но по старому обычаю Вашему Вы не берете в расчет *circonstances atténuantes*.²⁰ Я написал к Вам из града Флоренска письмо, которое Вас оскорбило²¹. Но, право, оно было больше горько, чем дерзко. Все темное, что у меня на душе накопилось, в нем вылилось... А темного было много, так много, что даже *загул* парижской жизни не мог залить той канинской тоски, которою я терзался. Но об этом — когда-нибудь, если Вам будет угодно, после и подробнее.

Теперь я²²

Что касается до г. Мамонтова, то я прошу Вас передать ему вот что.

Нынешний год я не могу беспокоить более Кушелева. У меня и так много дел денежных и своих, и чужих, ибо я не для одного себя старался извлечь добро из попавшегося мне клада. Если ему угодно будет продлить еще на год и принять в октябре за истекший год 10 или 12 даже процентов с капитала — к 1 октября контора журнала вышлет их на имя его, и я заочно останусь ему признательным глубоко, за то, что не обеспокоют моего старика. А нет — так в старике моем, который знает, что я все возможное делал и делаю — станет довольно мужества.

А главное, перестаньте сердиться на меня, а руководите лучше по-старому Вашими советами в деле, которое все на моих руках.

Ваш душевно и неизменно Ап. Григорьев.

¹⁸ Вероятно, Иван Федорович Мамонтов (ум. 1869), купец, отец знаменитого Саввы.

¹⁹ что и требовалось доказать (*лат.*).

²⁰ смягчающие обстоятельства (*франц.*).

²¹ Имеется в виду предыдущее письмо.

²² Далее следует текст К, 243 (письмо № 94) до слов «Вам письмами» (243, 3 сн.), с искажениями: вместо «еще будет» (243, 11 св.) нужно читать «еще это будет»; вместо «великий банкир и покровитель» (243, 12 св.) — «Великий Банкир и Покровитель» (т. е. бог); вместо «дела?» (243, 13 св.) — «дел»; вместо «хвалить и» (243, 14 св.) — «хвалить»; вместо «все-таки же» (243, 15 сн.) — «все тот же»; вместо «противоположность» (243, 10 сн.) — «противуположность»; вместо «брошюрок Святейшего Синода» (243, 9 сн.) — «богопротивных брошюрок Святейшего Синода, церкви, *иже о Христе жандармствующих*»; вместо «буду» (243, 3 сн.) — «опять буду»; вместо «письмами»; (243, 3 сн.) — «письмами!».

Петербург. 1859 года. Августа 4.
Достопочтеннейший Михаил Петрович!²³

Ваш всегда Ап. Григорьев.

Адрес мой: в Полюстрове, близ дома графа Кушелева-Безбородко, на даче бывшей Бибикова.

55.

Петербург. 1859 г. Авг<уста> 21.

Достопочтеннейший Михаил Петрович!

Никакого письма от Вас я не получал — иначе отвечал бы с такою же поспешностью, с каковою отвечаю на только что полученное, конм Вы меня ужасно обрадовали.

А Вы опять-таки неправы и теперь в Ваших предположениях, как были неправы в них по делу с Трубецкой. Потрудитесь сличить печатную статью с присланной Вам письменной и Вы убедитесь, что если я не получу от Кушелева удовлетворения — то буду должен протестовать и бросить журнал. Я 15-ть лет писал то, что — хорошо ли, дурно ли — но *искренне* думал и чувствовал — не стану же я вилить на 16-м²⁴.

Весь и всегда Ваш Аполлон.

56.

Авг<уста> 26 <— 7 октября 1859 г.> Полюстрово.²⁵

— перед которым верования официальной церкви иже о Христе жандармствующих стали мне положительно скверны (тем более, что у меня вер-

²³ Далее следует текст К, 244—245 (письмо № 96) с искажениями: слова «искажения», «г. Хмельницким», «протестую» (244, 7, 6, 4 сн.) должны быть выделены курсивом; многоточие (245, 6 св.) должно быть снято; вместо «верен» (245, 9 св.) следует читать «я верен»; вместо «Новгородского» (245, 21 св.) — «Новгородского»; вместо «Вам» (245, 6 сн.) — «у Вас».

После слова «примечание» (245, 25 св.) должен следовать текст письма № 93 (К, 242) со следующими исправлениями: вместо «... Иван Дмитриевич Беляев» (242, 9 сн.) нужно читать «Иван Дмитрич»; вместо «статьи» (242, 9 сн.) — «статей»; вместо «напечатал» (242, 7 сн.) — «печатаю»; вместо «о Соловьеве» (242, 6 сн.) — «о труде Соловьева».

²⁴ Далее следует текст К, 245—246 (письмо № 97); многоточие (245, 1 сн.) должно быть снято.

Конфликт, о котором говорит Григорьев, — возмущение его тем, что заведующий редакцией «Русского слова» Хмельницкий «вымарывал» в его статьях «имена Хомякова, Киреевского, Аксакова, Погодина, Шевырева» (К, 306). Жалобы Григорьева издателю графу Г. А. Кушелеву-Безбородко успеха не имели и критик покинул журнал. Статья, присланная Погодину, — очевидно, о «Московском обозрении» (см. о ней К, 244).

²⁵ Далее следует текст К, 246—247 (письмо № 99), до «простым верованием» (247, 9 св.), с пропусками и искажениями: слово «обязательных» (246, 23 сн.) выделено курсивом; вместо «точностью» (246, 22—21 сн.) нужно читать «полностью»; вместо многоточия (246, 9 сн.) — «жеребца: кончилось тем, что я равнодушно не мог уже видеть даже моей прислужницы квартирной, своры Линды, хоть она была и грязна, и нехороша»; вместо «Православия» (247, 1 св.) — «Православия (у comptant <считая — *франц.*> и раскол официальный)»; вместо «разумел» (247, 2 св.) — «разумею»; вместо многоточия (247, 9 св.) — дальнейший публикуемый текст.

тится перед глазами такой милый экземпляр их, как Бецкий, — этот пакостный экстракт холопствующей, шпионничающей и надувающей церкви) —²⁶

Страстность развивалась в нем ужасно — и я не без оснований опасался онанизма, о чем тонко, но ясно давал знать княгине Терезе. Тут она являлась истинно умной и простой, здоровой женщиной. Вообще я с ней примирился как с типом цельным, здоровым, самобытным. Она тоже видела, что я не худа желаю и только уже шутила над моей безалаберностью.²⁷

Второй раз увидел я красавицу Genova²⁸ — но с той разницей, что в первый раз я видел ее как свинья²⁹ — а в этот с упоением артиста, — бегая по ней целый день, высуня язык, отыскивал сокровищ по ее галереям. В своих розысках я держался всегда одной методы: никогда не брать с собой указателей, стало быть, отдаваться собственному чутью... Ну да не об этом покамест речь.³⁰

— факт точно так же, как факт то, что некогда, в 1844 году я вызывал на распутии дьявола и получил его на другой же день на Невском проспекте в особе Милановского...³¹

Время свадьбы сближало меня с Трубецкими все более и более. План старухи Терезы оставить Ивана Юрьича флорентийским князьком высказывался яснее. Кстати — старшая дочь Софья, и так уже идиотка, дове-

²⁶ Далее следует текст от «верования же» (247, 9 св.) до «Печорнна» (248, 12 св.); вместо «История» (247, 15 св.) нужно читать «теория»; вместо «в католичестве и» (247, 22 св.) — «в католичестве и в»; вместо «воочию» (247, 10 св.) — «воочью»; вместо «Готовимся к отъезду в Питер» (247, 2 св.) — «Готовились к отъезду в Париж»; вместо «тоскою» (247, 1 св.) — «тоской»; вместо «пустой [?]» (248, 4 св.) — «путной»; вместо «загоречившуюся» (248, 6 св.) — «закоренившуюся»; вместо «златого» (248, 10 св.) — «знатного»; вместо «отчался» (248, 13 св.) — «отдался»; вместо «мне нравилось» (248, 14 св.) — «мне и нравилось»; многоточие (248, 12 св.) отсутствует.

²⁷ Далее следует текст от «Рука устала» (248, 11 св.) до «регалнях...» (249, 6 св.); вместо «удивительно» (248, 5 св.) — «удивительное»; вместо «Станищев» (249, 2 св.) — «Станишников, или, как прозвал я его, — Штанишников»; вместо «проходить» (249, 5 св.) — «проходить по Диото».

²⁸ Генуя (итал.).

²⁹ Первый раз в Генуе Григорьев был в конце июля 1857 г. по пути в Ливорно и Флоренцию.

³⁰ Далее следует текст от «Я Вам не путешествие» (249, 7 св.) до «это факт» (250, 7 св.); вместо «доброе» (249, 14 св.) — «доброе, но весьма слабоумного»; вместо «Ивановича» (249, 14 св.) — «Ив.»; вместо «Повторяю» (249, 10 св.) — «Повторю»; вместо «в случае» (250, 3 св.) — «на случай»; вместо многоточия (250, 10 св.) — «— о том, как пьет, распутствует моя благоверная...»; вместо «Вы знали» (250, 12 св.) — «знали Вы»; вместо «номере» (250, 21 св.) — «№»; многоточие (250, 7 св.) отсутствует.

³¹ К. С. Милановский — загадочная фигура в русской общественной жизни 1840-х гг.; был как-то связан с масонскими организациями. Сводку сведений о нем см. Б. Ф. Егоров. Ап. Григорьев, К. С. Милановский и неизвестные стихи Н. А. Некрасова. «Уч. зап. ТГУ», вып. 139, 1963, с. 343—344.

Далее следует текст от «Кстати замечу» (250, 6 св.) до «рассказу» (251, 1 св.).

денная еще до последних степеней идиотства Бецким — от зависти ли, от нимфомании ли — начала впадать в помешательство.³²

Сергей Петрович Геркен, муж Настасьи Юрьевны — отличнейший малой, но истинный российский гвардеец (а впрочем он тут был прав!) — без церемонии гнал его к девкам...³³

пока добрый приятель не дал денег.

[Денег стало только до Берлина. В Берлине я написал Кушелеву о высылке мне денег и там пробыл три недели, в продолжение которых Берлин мне положительно огадился.]

Окт<ября> 6-го.

Я зачеркиваю не потому, чтобы что-либо хотел скрыть, а потому, что решаю развить более подробности.³⁴

Окт<ября> 7.

Писать эту исповедь сделалось для меня какою-то горькою отрадою. Продолжаю.

В *ученом* городе Берлине *либеральный* книгопродавец Шнейдер дал мне — ни дать, ни взять, как бы сделал какой-нибудь Матюшин на Шуккином дворе — только двадцать талеров под вещи, стоящие вчетверо более.

С двадцатью талерами недалеко уедешь, а ведь кое-как надо было прожить от вторника до субботы, т. е. до дня отправления Черного...³⁵

³² Далее следует текст от «Князек давно» (251, 2 св.) до «адски тяжелое!» (251, 8 св.). Многозначие после «тяжелое!» отсутствует.

³³ Далее следует текст от «Ужасные результаты» (251, 9 св.) до «недели две» (254, 15 св.); вместо «часто» (251, 11 св.) — «гнета»; вместо «Boulogne» (251, 16 св.) — «Fontainebleau»; вместо «отличный» (251, 16—17 св.) — «отчаянный»; вместо «Ивановича» (251, 15 св.) — «Иваныча»; вместо «франков» (251, 15 св.) — «франков, которым весьма скоро, как говорится, *наварил ухо*»; вместо «de Mabilles» (251, 14 св.) — «Mabilles»; вместо «как ничего» (251, 7 св.) — «как вообще ничего»; вместо «прошедшее» (252, 3—4 св.) — «прошедшее-то»; вместо «часть» (252, 12 св.) — «часть моей»; вместо «Афанасьева» (252, 15 св.) — «Аф. et consortes»; вместо «слова. В» (252, 11 св.) — «слова, в»; вместо «[...]» (252, 9 св.) — «*выблядок*»; вместо «покончить» (253, 1 св.) — «кончить»; вместо «хотя» (253, 15 св.) — «хоть»; вместо «известные» (253, 16 св.) — «*известные*» (т. е. издания Герцена); вместо «Орловым... «Орлова» (253, 16 и 14 св.) — «О** ... О.»; вместо «est» (253, 13 св.) — «et»; вместо «Пале-Рояле» (253, 7 св.) — «Пале-Рояле у Frères provençaux —»; вместо «30» (254, 1 св.) — «30-го»; вместо «в душе» (254, 2 св.) — «во рту, с отвратительным соседством на постели цинически бесстыдной жрицы Венеры Милосской...»; вместо «Островского» (254, 3 св.) — «Остр»; вместо «сходством» (254, 4 св.) — «единством»; дата «Окт. 5» должна быть снята как ошибочная.

³⁴ Далее следует текст от «Денег у меня» (254, 21 св.) до «жаждою жизни!» (255, 1 св.); вместо «догадываться» (254, 13 св.) — «догадаться»; вместо «городе» (254, 2 св.) — «граде»; вместо «grande» (255, 10 св.) — «grands»; вместо «нашего» (255, 11 св.) — «вследствие нашего»; вместо «крепкой» (255, 14 св.) — «Спиглазовской крепкой»; вместо «я только» (255, 13 св.) — «я только и».

³⁵ Следующие листы письма утеряны. В конце, очевидно, идет речь о пароходе «Черный принц».

<Середина марта 1860 г.³⁶>

Вы здесь уже несколько дней, достопочтеннейший Михаил Петрович, — и между тем я не могу решиться идти к Вам. Мне это больно и глубоко прискорбно — а не могу. Судите меня, как хотите³⁷.

Михайло Петрович!

Я теперь так сошелся с редактором «Отечественных» записок» Дудышкиным и сам Андрей Краевский поэт теперь такую бесцветную песню, — что стань я только бесцветен, как они, — личные дела мои, несмотря на всю запутанность, еще могут поправиться в течение нескольких лет³⁸.

Адрес мой: на Невском проспекте, между Владимирской и Грязной (Николаевской), дом каретника Логинова³⁹.

Ваш всегда Аполлон Г.

58.

Сент<ября> 28 <1860 г.⁴⁰>

Еще пишу к Вам потому что факты приходят в ясность. Дом мой продается за *шесть* тысяч — ерго, я квит с Вами или с Мамонтовым или с Герьевым — не знаю, право, с кем.

Но дело не в этом. Дело в том, что и Вам и мне нужна *деятельность*. Мне нужна она так, что либо в петлю, либо в Лондон, либо *что-нибудь* делать...

Из остатка суммы я могу употребить на дело *тысячу* рублей и годового свой труд. *Может быть* еще, с некоторым трудом — добуду у Каткова и

³⁶ Благодаря упоминанию в письме цели приезда Погодина в Петербург («биться за своих норманнов» — К, 256), восстанавливается приблизительная дата: приехал Погодин 6 марта 1860 г., 19 марта в Петербургском университете состоялся публичный диспут Погодина и Н. И. Костомарова о происхождении Руси, 23 марта Погодин выехал в Москву.

³⁷ Далее следует текст К, 256 (письмо № 100) — до «старое дело» (258, 17—18 св.); вместо «предпочитает» (256, 14 св.) нужно читать «предпочесть»; вместо «у нас» (257, 11 св.) — «у нас из рук»; вместо «деле, и» (257, 19 св.) — «деле, а»; вместо «хоть это» (257, 20 св.) — «хоть это и»; вместо «В. А. Кокорев» (257, 21—22 св.) — «В. А.»; вместо «ввел» (257, 24 св.) — «я ввел»; вместо «шайка!» (257, 25 св.) — «шайка (кроме моей собственной распущенности: это у *compris*)»; вместо «которою» (257, 13—12 св.) — «которой»; вместо «начиная» (257, 6 св.) — «начнись»; вместо «Евгении Адельсоне» (258, 9 св.) — «Евгении»; многоточие (258, 18 св.) отсутствует.

³⁸ Далее следует текст К., 258 от «Но за что же» (258, 18 св.) до конца письма. Вместо «тетради» (258, 23 св.) — «тетрадки».

³⁹ Григорьев жил в этом доме с конца 1858 или начала 1859 г. до 20 мая 1861 г., когда он выехал в Оренбург. Поселился он в «квартире Дубровской», будущей своей гражданской жены. Дом не сохранился, он был расположен на нечетной стороне Невского проспекта; между Владимирским проспектом и Николаевской-Грязной (ныне ул. Марата) располагалось 12 домов, дом Логинова был шестым, считая от ул. Марата.

⁴⁰ Письмо датируется по связи со следующим. В отрывках и с ошибками письмо опубликовано: К, 260 (письмо № 103).

Леонтьева⁴¹ типографию, по крайней мере на полгода. Что газету Вам не разрешат, это — почти верно. Мой проект вот какой: 1) Или взять «Московский вестник», который, кажется, провалится...⁴² Условия предложить — наше издание и вознаграждение их убытков из будущих выгод. Испросить на заднем листке карикатуры. Если можно, втянуть в наше издание кого-либо из музыкальных торговцев и давать музыкальные приложения. 2) Или начать маленькое издание в формате «Домашней беседы» Аскоченского (но не во вкусе ее)⁴³. Я с Аскоченским говаривал о его издании: он мне говорил, что издание стоит ему до шести тысяч.

Есть одна — откуда взять *пять*?

Пожертвуйте *тремя* способом отрицательным, т. е. употребивши на дело те деньги, которые получатся за мой дом в уплату, т. е. около *трех*. Типографии у К<аткова> и Л<еонтьева> избегнуть бы лучше, ибо, взявши типографию у них, мы не можем взять уже Сергея Колошина⁴⁴, а он *сила*. Еще не достанет ли он? Я еще и не видался с ним и не увижусь, пока с Вами не столкнусь. Выгоды и убытки на основаниях *акций*.

Я вношу трудом и капиталом 2200 рублей. Вы — *три*. Колошин — трудом и капиталом остальное и т. д.

Если — «Вестник», то из него (я не говорю о направлении) надобно сделать, насчет удобств, дешевизны и проч. — московский «Сын отечества»⁴⁵.

Жду Ваших решений.

Ваш всегда Аполлон.

59.

<20 октября 1860 г.⁴⁶>

Я во вторник у Вас не был, да и не буду всю эту неделю, потому что занят окончательной продажей дома.

Был в Комитете и видел бумагу, при коей отправлена просьба. По тону бумаги — трудно отказать⁴⁷. Если Вы послали письма, то это еще более будет содействовать успеху.

Между прочим — *пишу*.

1860

Окт<ября> 20.

Ваш всегда Аполлон.

⁴¹ Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874) — московский педагог и журналист, соредактор М. Н. Каткова по изданию журнала «Русский вестник» и совладелец (с Катковым же) типографии.

⁴² «Московский вестник» (1859—1861) — восторженная московская газета (еженедельная), издававшаяся И. В. Павловым.

⁴³ «Домашняя беседа» (1858—1877) — реакционная петербургская газета, издававшаяся В. И. Аскоченским.

⁴⁴ Колошин Сергей Павлович (1822—1869) — московский писатель и журналист, близкий к кругу «Москвитянина».

⁴⁵ «Сын отечества» (1856—1861) — новый тип популярного еженедельного («тонкого») журнала. Издавался в Петербурге А. В. Старчевским. Громадные по тому времени тиражи журнала (свыше 15000) были предметом удивления и зависти литераторов.

⁴⁶ Помимо датировки Григорьева, на письме почтовый штампель: «Москва. 20 окт. 1860». На обороте письма адрес рукою Григорьева: «Его Превосходительству м. г. Михаилу Петровичу Погодину. На Девичьем Поле, в приходе Саввы Священного, в собственном доме».

⁴⁷ Речь идет о возобновлении попыток Ап. Григорьева добиться разрешения на возрождение журнала «Москвитянин». Для этого ему через Мо-

<30 октября 1860 г.>

Видно, без Вас, мой добрый, хотя часто сердитый (и иногда понапрасну) Михаил Петрович, не обойдется у меня никакое дело.

Впрочем то, о чем я теперь хочу просить Вас, так резонно и просто, что я уверен, Вы не откажете в содействии.

Наивернейший покупатель для дома моего, дающий за оный *шесть* тысяч, не может заплатить всего чистыми. Ежели Теряев по записке от Вас согласится получить *проценты* и снова сейчас же, вместе с совершением купчей написать закладную в 2400 р. на год, никак не более (да если б и более, то он не в накладе) — мы *с праздником*. Проценты по 6-ти, как и в 1857 году условливались — будут ему выплачены тотчас же за все истекшее время при свершении купчей. Прошу Вас об этом, вполне резонном деле, единственно потому, что, хотя и нетрудно заложить дом, стоящий 6000, за 2400, но с Теряевым скорее ⁴⁸.

Сегодня приходили ко мне от Вас фактор Бахметевской типографии и Смирнов. Дорого просят, 20 р. сер. за завод и 3 надбавки за другой. Во вторник я у них буду — и надобно устроить по 17 за завод с надбавкой 1 1/2 рубля за 1/2 завода. Бумагу по 2 р. 75 к. у братьев Кошеваровых доставим отличную.

Ради бога, отвечайте мне с сим посланным насчет моей просьбы, чтобы я заранее мог принять меры до завтра.

Завтра, т. е. в понедельник, я во всяком случае постараюсь прибыть на Девичье Поле.

Ваш до мозга костей

Аполлон.

1860. г.

Окт<ября> [29] 30.

[Суббота]

Воскресенье.

<30—31 октября 1860 г.⁴⁹>

Как будто знал я, что у меня столько приятелей, которые пускают про меня, буквально сидящего в берлоге, нехорошие слухи!.. Какие? 1) В рот я не беру хмельного, и если уж не беру, то совсем. 2) С женой я не могу

сковский цензурный комитет нужно было обратиться с просьбой в Главное управление цензуры. 16 ноября 1860 г. Главное управление отказало Григорьеву в его просьбе на том основании, что с мая месяца он уже числится редактором-издателем «Драматического сборника». Наиболее подробно этот эпизод изложен в публикации: А. Марчик. Неизвестные письма Ап. Григорьева. — «Вопросы литературы», 1965, № 7, с. 254—256.

⁴⁸ Далее следует текст К, 260 (письмо № 104, от начала до слов «вероятно, догадывается» — 260, 10 сн.). После «на врагов» (16 сн.) пропущено: «и надежд на «Москвитянин»,—». Слово «искушение» (11 сн.) подчеркнуто курсивом.

⁴⁹ Это письмо написано вскоре после письма 60; вероятно, в ответ на какое-то послание Погодина по поводу письма 60. Отрывки письма слиты с предыдущим письмом в К, 260—261. Однако, хотя и бумага, и чернила, и почерк в письмах совпадают, но из текста настоящего письма видно, что между 60 и 61 лежит какое-то неизвестное нам письмо Погодина.

жить под одной крышей⁵⁰, потому что нельзя же жить с женщиной, которая только и делает, что награждает меня детьми, мне не принадлежащими, и которую не далее как вчера вечером подняли у суконных бань и привезли мертвую-пьяную какие-то *милосердые* души.

Понятно, что *подлая* и *бесчестная* семья Коршей чернит меня всячески — ибо знает, что тотчас же по продаже дома я выживу гнусную тварь из дома моего отца. Еще что же? Т. е. что *такого*, о чем бы я заранее Вас не предупредил, даже письменно? Да и каким образом мои *семейные* дела или мои отношения с женщинами вообще относятся к нашему *делу*? Кроме Коршей — да разве г. Боруцкого⁵¹, успевшего поссорить меня на время с редакцией «Вестника», — я не знаю никого, кому бы была охота про меня вздор говорить. Разве из друзей кто не пустил ли, *юмора* ради, слух, что я загулял.

Насчет дела, о котором я Вас просил, я уж, право, и не знаю, как яснее написать. Попробую.

1) За дом дают *шесть тысяч*.

2) Заложено он за *две тысячи четыреста*. С процентами (не за 5 лет, а с июля 1857 года — значит, за 3½ года), следует отдать 2904 р. (по 6-ти процентов).

3) Проценты будут при самом совершении купчей внесены сполна — и покупатель просит только оставить на год дом в закладе, т. е. перезаложить его за те же 2400 р.

4) Этой несложной и нехитрой операцией спасается у меня 400 р. без малейшего вреда Мамонтову, ибо с другим покупщиком, покупающим на чистые деньги, надобно кончить дело на 5600 р. — с этим же на 6000. Впрочем, если этого и нельзя, то ничего. Ради бога, не будьте так вспыльчивы, добрейший Михайло Петрович, а главное еще: положите конец гнусным сплетням — не слушая их. Вы ведь одно знаете, что я слишком горд для того, чтобы скрывать в себе даже *мерзости* — и особенно от Вас! Завтра я приеду к Вам.

62.

⟨5 ноября 1860 г.⟩

Боюсь, чтобы Вы, достопочтеннейший Михаил Петрович, опять не заподозрили какого-нибудь загула.

Неудачи сыплются на меня за неудачами, с каким-то остервенением. Самое верное меня обманывает. Покупщик отказался, и приходится отдавать другому за 5500 р. — что для меня расчет весьма чувствительный.

Право, уж я наконец начинаю твердо верить ⟨в⟩ один «Москвитин»⁵². С получением дозволения — я другой человек и нет мне тогда дела ни до чего, кроме журнала.

Ваш всей душой

1860 г.
Ноября 5.

Аполлон.

⁵⁰ Жена Григорьева Лидия Федоровна (1828—1883) — сестра известных литераторов середины XIX века Евгения и Валентина Коршей. Она вышла замуж за Григорьева в 1847 г.; через несколько лет семья фактически распалась, т. к. характеры супругов были слишком различны. Лидия Федоровна однако настойчиво требовала от Григорьева денег. В чем-то Григорьев был несправедливо пристрастен к жене, но жизнь она вела явно беспутную (см. также письма 65, 66). По словам Е. М. Феокистова, Лидия Федоровна погибла страшным образом: «она сгорела, заснув в пьяном виде с зажженной папиросой, от которой вспыхнул пожар в ее комнате» («Атеней», Л., 1926, с. 90).

⁵¹ Очевидно, имеется в виду Дезидерий Иванович Боруцкий, помощник правителя канцелярии Московского учебного округа. О какой ссоре (с редакцией «Русского вестника?») идет речь, неясно.

⁵² См. письмо 59, прим. 47.

<Ноябрь 1860 г.>

<Письмо опубликовано: К, 261—262, с некоторыми неточностями. «Нет» (261, строка 24 сн.) в подлиннике выделено курсивом. Вместо «воочию» (там же) следует читать «воочью»; вместо «попов» (261, 8 сн.) — «попами»; вместо «пяти тысяч» (262, 9 св.; 14 сн.; 13 сн.) — «5000».

В конце письма: «Ваш Аполлон.

Р. С. Во вторник я к Вам приду утром».>

<30 декабря 1860 г.>

Ваше превосходительство милостивый государь Михаил Петрович! Позвольте просить Вас передать подателю сего письма г. Ленгольду находящуюся у Вас мою рукопись «Записки ненужного человека».⁵³

С глубоким уважением имею честь быть Ваш, милостивый государь, покорнейший слуга

Аполлон Григорьев.

1860 г.

Дек<абр> 30.

С. Петербург.

Означенную рукопись получил
января 4 дня 1861 года Н. Сушков.⁵⁴

СПбург.

1861 г.

Янв<аря> 30 — фев<аля> 13.⁵⁵

Там Евгений Корш имеет право и должать и менять тысячу мест,⁵⁶ не лишаясь ни доверия, ни имени порядочного человека: там друзья Огарева не брали никогда сторону его распутной жены,⁵⁷ там Некрасов безнаказанно и напоказ имеет право жить с женой приятеля под одной кровлей.⁵⁸

⁵³ Очевидно, статья «О постепенном, но быстром и повсеместном распространении невежества и безграмотности в российской словесности (из заметок ненужного человека)», опубликованная за подписью «Один из многих ненужных людей» в журнале «Время», 1861, № 3.

Кто Ленгольд — неясно. Из служащих лиц в Москве был Александр Карлович Ленгольд, старший врач больницы при фельдшерской школе.

⁵⁴ Неясно, был ли это известный литератор Николай Васильевич Сушков.

⁵⁵ Дальнейший текст опубликован: К, 263—264, от начала письма № 109 до слов «живет блудно» (264, 16 сн.), с неточностями. Вместо «законные, так» (264, 6 св.) следует читать «законные. Так»; вместо «не выдаст» (264, 19 сн.) — «не выдает».

⁵⁶ Корш Евгений Федорович (1810—1897) — брат жены Ап. Григорьева, типичный западник; в 1840-х гг. — член кружка Герцена-Грановского, затем журналист, часто менявший издания и даже места жительства (с 1849 по 1857 гг. жил в Петербурге).

⁵⁷ Идет речь о Марии Львовне Огаревой (1817—1853), урожденной Рославлевой; Огарев вскоре после женитьбы (1836) понял совершенную отдаленность жены от его быта и идеалов и в 1844 г. расстался с ней при полной поддержке западнического кружка.

⁵⁸ Намек на жизнь Н. А. Некрасова в одной квартире с Панаевыми; Авдотья Яковлевна с середины 1840-х по 1863 гг. была гражданской женой Некрасова.

Все вы знали — что жить с таким чудовищем, как моя жена, невозможно даже, я полагаю, и святому — да не только Вы это знали, а, вероятно, и те будочники, которые таскали ее, пьяную из банек. Все вы знали тоже, что я далеко не святой, — и еще то знали, что мои привязанности — все без изъятия, слепы, упорны и сильны.⁵⁹

И мне кажется, что я был бы правее Эдельсона, который являлся прошлый год ко мне, в ужасную по обстоятельствам пору моей жизни, — когда у меня больна была женщина, мною страстно любимая⁶⁰, умирал мой собственный ребенок — с семейственными упреками, за отца, которому сколько ни посылай, все как в бездонную бочку, по безалаберности жизни с проклятой и обладающей им дворней — да за жену, которая в то время была беременна от учителя ее собственных детей... Заметьте, что пока я был в силе у Кушелева и получал довольно денег⁶¹, все мои друзья не считали мое сожитие с другою женщиной чем-либо ненормальным. Стало быть — и для тех, кого я бог знает как любил, вся сила — в деньгах. Да вразумит же их когда-нибудь тот, кто не отверг блудницу и жену Самарянина, как суд их надо мною был жесток — но не дай им бог перестрадать те адские муки, какие вынес я в последние 10 дней моего пребывания в Москве⁶², когда я — и то, слава богу, спяну, иначе бы я себе не простил этого — решился было пожертвовать отвлеченной (для меня лично, по моим обстоятельствам) идее семейного долга, а главное — отцу и друзьям — тем, что, может быть, сам бог, сжалившись над моим душевным адом, послал мне, чтобы легче нес я жизнь.

Все вы знали, с другой стороны, как запутаны мои дела — но мерзость всех отношений наших дошла до того, что — с Вами я и не заикнулся бы тогда сказать, что каких-нибудь *ста* рублей на поездку в Петербург достаточно для распутания дел по изданию «Драматического сборника»⁶³, и, стало быть, для позволения «Москвитянина» — что Эдельсон, собственно для того, чтобы *потешиться* своей силою, приезжал напоминать мне о долге, что отец, который знал очень хорошо по всем предшествовавшим многократным опытам мою всегдашнюю готовность делиться с ним всем, что я приобретал — тянул дело о продаже дома, дело, которое кончить мне самому, юридически — единственному хозяину дома — запрещало чувство почтения и любви к нему. Между тем, вследствие обманов с его стороны и доверенности с моей — разрыв мой с Катковым принимал в городских слухах колоссальные размеры⁶⁴. Разрыв же этот буквально воспоследовал,

Далее следует текст К, 264, от слов «Там вообще...» (15 сн.) до «... в последнее время» (9 сн.). После слова «нравственности» (11 сн.) идут многоточие и абзац.

⁵⁹ Далее следует текст К от слов «Прямая обязанность...» (264, 9 сн.) до «...его, а не ее» (265, 14 св.). Слово «Алмазова» (264, 7 сн.) отсутствует; после «Эдельсона», (264, 3 сн.) следует «некогда, со всеми друзьями (в 1852 и до 1857 г.) признававшего все права мои на разрыв».

⁶⁰ Вскоре после переезда в Петербург, в конце 1858 — начале 1859 гг. Григорьев сблизился с Марией Федоровной Дубровской (см. о ней К, 392; «Уч. зап. ТГУ», в 139, 1963, с. 348—349); в декабре 1859 г. у М. Ф. родился и вскоре умер ребенок. О визите Эдельсона см. письмом Григорьева к нему от конца 1859 — начала 1860 гг. («Лит. мысль», 2, Пг., 1923, с. 145—146); см. также художественное воплощение этого эпизода в поэме Г. «Вверх по Волге», гл. 8.

⁶¹ В 1858 г. граф Г. А. Кушелев-Безбородко пригласил Григорьева в качестве помощника главного редактора во вновь создаваемый журнал «Русское слово»; на деньги Кушелева Г. вернулся из-за границы в Петербург; в июле 1859 г. Г. порвал с редакцией «Русского слова».

⁶² Идет речь о ноябре 1860 г.

⁶³ См. прим. 47 к письму 59.

⁶⁴ В середине 1860 г. Григорьев был приглашен М. Н. Катковым сотрудничать в журнале «Русский вестник»; после того, как Катков системати-

как я Вам рассказывал. Если бы я имел возможность, продавши дом в сентябре, прийти к Каткову и возратить ему *деньгами* 400 р. на том основании, что мы не сходимся в наших понятиях о достоинстве литературных произведений — я бы утвердил только за собою мою репутацию человека с упорными и непреклонными убеждениями.

И посмотрите, как все это легко могло обделаться... Кто же этого не хотел? Вы? Я? Эдельсон?.. Увы! может быть, ни тот, ни другой, ни третий. Сделалось все это *так*, через пособие таких низких органов, как городские сплетни, действовавшие на Вас, — сводничество моей жены, вовлекшее в симпатию к ней Эдельсона, — дармоедство челяди, окружающей моего отца и т. д. и т. д. Весьма поучительно, — а главное, напоминает то, что Вы сами писали во вступлении к статье о Хомякове — о тьме и о взаимном толкании ⁶⁵.

Ведь того, конечно, что, при вере в дело, я некогда был и мог быть опять сильным двигателем дела — равно как и того, что кроме имен: Вашего и Островского в прошлой борьбе — одно мое имя всплыло на поверхность — Вы, конечно, не отвергнете. Не отвергнете также Вы и того — это сто раз уже толковано и перетолковано — что только одно наше бывалое дело было совсем чистое и правое. А какие же, в действительности, вышли результаты этих посылок? ⁶⁶

Ваш всегда Аполлон.

Адрес мой: «На углу Малой Мещанской и Екатерининского канала, в доме Остафьева, в редакции журнала «Время». Михайлу Михайловичу Достоевскому, для передачи А. А. Григорьеву».

66.

1861 г.
Сент<ября> 16<—17>.
Оренбург ⁶⁷.

Из детей моих ⁶⁸ — одного, т. е. крестника Драшусова ⁶⁹, я положительно своим считать не могу. Он рожден, когда мать его была во француз-

чески отказывался печатать статьи Г., а сам Г. растратил деньги, отпущенные ему Катковым для вербовки петербургских сотрудников, произошел разрыв.

⁶⁵ Имеется в виду статья Погодина «Воспоминание об А. С. Хомякове» («Русская беседа», 1860, кн. II, отд. VI, с. 3).

⁶⁶ Далее следует текст К, 265 от слов «Повторю в заключение...» (15 св.) до конца письма. Последний лист письма — оборот черновика начала статьи «Знаменитые европейские писатели перед судом русской критики» («Время», 1861, № 3); этот черновик, автограф Григорьева, окончательно подтверждает принадлежность Г. данной статьи (см. «Уч. зап. ТГУ», в. 98, 1960, с. 236, № 240).

⁶⁷ Дальнейший текст опубликован: К, 276—277, от начала письма № 115 до слов «...примет она?» (277, 16 св.), с ошибками и пропусками. Вместо «так сказать» (276, 25 св.) следует читать «и так сказать»; вместо «Сначала» (276, 13 св.) — «Сначала (еще не очень давно — лет 18 назад)»; вместо «эпоху» (277, 1 св.) — «эпоху (денежно)»; вместо «последствие» (277, 13 св.) — «последствия»; после «насильственно» (276, 6—5 св.) стоит запятая.

⁶⁸ Дети Григорьева: Петр (1850- середина 1890-х гг.), крестник Драшусова, и Александр (1852—1898); см. о них в статье: В. Григорьев. Потрвоженные тени. — Ап. Григорьев. Полн. собр. соч., т. I, Пг., 1918, с. XX—XXII. Упоминаемый ниже третий сын умер младенцем.

⁶⁹ Драшусов Владимир Николаевич (ум. 1883) — издатель газеты «Московский городской листок» (1847) и директор Московского воспитательного дома.

ской болезни от Бородин⁷⁰. В другом я сомневаюсь и не без основания. Вот вам хронологический ряд:

1. *Бородин*. 1848—1849.

2. Сергей *Островский*⁷¹ (1851 — т. е. год рождения Александра⁷²).

3. *Корюлин*⁷³, 1853.

4. *Страхов*⁷⁴, 1855, 1856, 1857.

5. *NN* (бог с ним — он не виноват, ибо завлечен как юноша). 1859 и 1860, производитель *третьего* моего сына.

Я исчислил только несомненных. Отец же мой, который воспевал их в матерных идилиях — насчитает и более.

В отношении к Александру я сомневаюсь только потому, что верю в Сергея Островского и в его слова мне в пьяном виде.

Знаю, что теперь все на меня, все, которые еще в 1851 году говорили, что по всяким божеским и человеческим правам я могу считать себя развязанным нравственно с этой женщиной... да бог-то не на меня. Он казнит меня моим внутренним адским миром (у меня истинно нет ни одной минуты спокойной в душе) за мою явно незаконную жизнь, за нарушение Его закона — а не за это, т. е. не за жену мою.

Итак, и по отношению к отцу, и по отношению к детям все дело в деньгах.

Рассмотрим теперь хладнокровно и этот вопрос⁷⁵.

Доверенность вышлется с этим же письмом.

Билет барыне — весьма скоро.

Что возможно, а именно по 20 р. в месяц с января 1862 года я буду высылать на Ваше имя для Александра. Возьмите его *Христа ради*!

Доверенность не высылал я потому, что был слишком озлоблен... Ведь в прошлом октябре и ноябре — собаку бы так не бросили, как меня!

А ведь пока можно было — я же не бросал. Ведь в этот несчастный для меня 1860 год — отцу переслано 1) одновременно 500 р.; 2) по приезде в Москву — передано в разные времена до 300 р. (от Каткова в июне 100, в июле 80, — да в июле же от Кокорева 80...).

Кстати о Кокореве⁷⁶. Он хотел сделать мне добро — а у меня вышла *скверность*. Эту скверность я желаю поправить. Для этого нужно, чтобы мне возвращена была черновая рукопись для отделки...⁷⁷

⁷⁰ Какой именно Бородин, выяснить не удалось, но только не известный Александр Порфирьевич, петербургский житель.

⁷¹ Островский Сергей Николаевич (1829—1868) — брат драматурга.

⁷² По данным книги «Аполлон Григорьев. Биография и путеводитель по выставке в залах Пушкинского Дома», Пг., 1922, с. 48, взятым у внука Ап. Григорьева, В. А. Григорьева (сына Александра), Александр родился 2 января 1852 г. (старого стиля!).

⁷³ Лицо неустановленное и даже сомнительное в написании.

⁷⁴ Возможно, известный педагог Николай Алексеевич Страхов (1833—1892); не путать с Н. Н. Страховым.

⁷⁵ Далее следует текст К от слов «Ваша несправедливость...» (277, 17 св.) до «...бесполезный рабочий» (278, 16 св.), с ошибками и пропусками. Вместо «*принципах*» (277, 12 св.) следует читать «*принципах* (т. е. православно-христианских)»; вместо «*преклонити*» (277, 7 св.) — «*приклонити*» (и читата в подлиннике никак не выделена, ни разрядкой, ни кавычками); вместо «*подумали*» (277, 4 св.) — «*только подумали*»; вместо «*космнадцати*» (277, 2 св.) — «*18-ти*».

⁷⁶ Кокорев Василий Александрович (1817—1889) — известный откупщик.

⁷⁷ Далее следует текст К, 278 от слов «С. В. В. Григорьевым...» (17 св.) до «*деятельности*» (8 св.), с неточностями. Вместо «*Оренбург*» (18 св.) следует читать «*Петербург*» (однако по смыслу должно быть «*Оренбург*»); вместо «*октября*» (19 св.) — «*октябрю*»; вместо «*пятидесяти семи*»

Доверенность я посылаю без письма к отцу. Не могу — еще слишком цельно во мне раздражение!

Ваш всегда Аполлон.

Р. S. 17 сент<ября>⁷⁸.

Ради бога и создателя, черкните, правда ли слух, пущенный «Сев<ерной> пчелою», что Островский кончил «Минина» и притом в стихах?⁷⁹

67.

<1863?⁸⁰>

Ваше превосходительство, Михаил Петрович!

Прежде чем *говорить* с Вами, считаю долгом изложить Вам наше дело письменно.

Я достиг своей цели. У меня в руках человек энергический и к *нашему* делу способный. Он пойдет с *нами* на всякий риск и ни перед чем не остановится. *Нужно* поддержать этого господина — и этим внушить доверие к *нам*, к *нашему делу*.

Неужели же Вы, т. е. старый вождь, остановитесь тут в недоумении, остановитесь там, где Ваш раб не остановился?

Наше дело — единственное *святое* и *честное* дело. Оно одно должно победить. Помогите же! Ведь я теперь «не на вольнодумней химере <одно слово нрзрб.>» его основываю, а на капитале.

Сын Ваш Аполлон.

68.

<10 мая⁸¹>

Ради бога, прочтите *внимательно* все здесь написанное, не так, как читают Ваши письма разные сильные мира сего.

(18 сн.) — «57 р.»; вместо «двадцать пять» (15 сн.) — «25»; вместо «городе» (9 сн.) — «граде».

⁷⁸ Далее следует конец письма № 115 (К, 278—279), с неточностями. Вместо «Вспомнив» (278, 8 сн.) следует читать «вспомнил»; вместо «директор и инспектор» (278, 4 сн.) — «дир. и инсп.»; вместо «хотя» (278, 4 сн.) — «хоть»; вместо «заведениям. Есть» (278, 3—2 сн.) — «заведениям — и есть»; вместо «плохо» (279, 7 св.) — «я плохо»; вместо «а Вы-то» (279, 8 св.) — «но Вы-то».

⁷⁹ На самом деле Островский закончил пьесу «Козьма Захарьич Минин, Сухорук» лишь 9 декабря 1861 г., да и «слух» был иной: «Новая народная драма г. Островского «Минин» и комедия «Дело» г. Сухова-Кобылина<...> на сцену поставлены не будут, хотя скоро появятся в печати» (анонимное «Петербургское обозрение» — «Сев. пчела», 1861, 11 сентября, № 200, с. 820).

⁸⁰ Дата поставлена неизвестной рукой, поэтому мы ее сопровождаем вопросительным знаком.

⁸¹ Внизу чернилами, похожими на чернила Ап. Григорьева, проставлено «Май 10»; затем другой рукой написано «1857». Содержание настолько неопределенно, что точная датировка невозможна.

«Сильные мира сего» — намек на пренебрежительное отношение царя и его приближенных к публицистическим статьям и письмам Погодина.

СПбург.
1857 г.
Марта 25.

Ваше превосходительство, Михаил Петрович!

С чего начать донесение о моем странствии? Начну с собственного дела. Надобно Вам сказать, что для него, как оказывается, совсем не было нужды ездить — да признаться, я и поехал-то не для того. Мне хотелось взглянуть созревшему на тот город, в котором отвратительно и беспутно прошла первая, скверная и бессмысленная половина моей молодости, — хотелось узнать покороче на месте всю эту литературную жизнь и деятельность, столь отличные от нашей. Многими соображениями обогатила меня эта поездка — но выскажу их все при скором личном свидании с Вами.

Что касается собственно до моего дела, то как только вошел я в канцелярию Министерства, как только повеяло на меня этим противным запахом формализма и казенщины — я очень ясно увидел, что ходить туда незачем. Пусть делается все само собою. Отпуска не дать мне не могут — а жалованья я и сам теперь не хочу. Пора поставить себе правилом, что надобно быть до педантизма *честным общественно*: иначе все наши убеждения — пустые фразы. Страшно, что я это здесь особенно почувствовал.

Литература приняла меня истинно по-братски и даже с таким почетом, что будь я моложе, я бы много возмечтал о значении своей деятельности. А разгадка-то проста: я один человек с каким бы то ни было, но с крепким и горячим убеждением между ними, людьми без всяких убеждений. — Царь между всеми ими все-таки наш *Писемский*, с его пьянством, цинизмом и безобразием — но и с его огромным талантом и не менее огромной головой.

Слухи здесь — столь противоречивые, что не знаешь, какому духу верить. Колебание и слабость — вот, кажется, разгадка всего ⁸³.

Сколько блестящих предложений мне делают — не говорю Дружинин, — но и другие! Как это понять? Ведь они знают, что я пишу и как я пишу! Положительно, они не имеют убеждений.

Григорович путается в Москве. Дементьева ⁸⁴ нет и следов: справлялся в адресном столе — и там не отыскали.

Ждал от вас «Петра» тщетно ⁸⁵. Пробуду здесь до понедельника Страстной ⁸⁶.

1857

Марта 25.

Ваш душевно
А. Григорьев.

⁸² Из-за ошибочно прочтенного года (семерка была принята за единицу) это письмо попало в пачку писем 1851 г. и до сих пор хранится там; я обнаружил эту ошибку сотрудников рукописного отдела ЛБ уже после опубликования окрестных писем, поэтому помещаю его в конце настоящей подборки.

⁸³ Речь идет о слухах по поводу освобождения крестьян.

⁸⁴ Дементьев Василий А. — писатель, сотрудник «Москвитянина».

⁸⁵ Непонятно, о чем идет речь. Может быть, о трагедии Погодина «Петр I» (1831)?

⁸⁶ Понедельник Страстной недели в 1857 г. приходился на 1 апреля.

БУНИН В РИГЕ

(Из воспоминаний журналиста)

А. К. Перов

Публикация и вступительная заметка С. Г. Исакова

Автор публикуемого мемуарного очерка Анатолий Кузьмич Перов родился 30 ноября 1907 г. в Риге в семье учителя. В 1926 г. он закончил Ломоносовскую гимназию в Риге и поступил на медицинский факультет Латвийского университета. Еще в школьные годы А. К. Перов редактировал машинописный журнал «Юность», а с 1927 г. сотрудничал в периодической печати (в газете «Слово», издававшейся Н. С. Белоцветовым). С 1931 г. он стал работать в газетах «Сегодня» и «Сегодня вечером» журналистом-репортером, освещавшим жизнь русской общественности Риги и Латвии. Журналистская деятельность дала А. К. Перову возможность широко познакомиться и близко изучить жизнь различных кругов тогдашнего русского населения Латвии. Он встречался со многими представителями науки и искусства, проживавшими в Риге или бывавшими в ней: художниками Н. П. Богдановым-Бельским, С. А. Виноградовым и К. С. Высоцким, писателями И. А. Буниным, И. С. Шмелевым, С. Р. Минцловым, Вас. Ив. Немировичем-Данченко, Иваном Лукашем, поэтом Виктором Третьяковым, критиком Петром Пильским и многими другими. В 1930-е гг. А. К. Перов совместно с Р. Г. Рубинштейном и Анри Гри (Гарри Гиришфельдом) издавал и редактировал популярный журнал «Для вас», занимался переводами с латышского (ему принадлежат переводы романа В. Лациса «Сын рыбака», ряда пьес латышских авторов, поставленных в рижском Русском театре, в том числе драм классика латышской литературы Р. Блаумана «Индраны» и «Блудный сын»), выпускал однодневные газеты, посвященные Дням русской культуры. В 1940—1950-е гг. А. К. Перов работал преимущественно в области практической медицины, изредка выступая в местной прессе.

Публикуемый ниже с некоторыми сокращениями мемуарный очерк А. К. Перова представляет собой лишь часть задуманных им воспоминаний о культурной жизни Риги 1920—1930-х гг. Очерк освещает малоизвестную страницу в биографии И. А. Бунина — пребывание писателя в Риге в 1938 г. Если поездка замечательного русского писателя в Литву и Эстонию описана довольно подробно в мемуарных очерках К. Корсакаса и Ю. Шумакова,¹ то пребывание И. А. Бунина в Риге до сих пор не было предметом специаль-

¹ К. Корсакас. Бунин в Каунасе. — «Советская Литва». Альманах. Кн. 9. Вильнюс, 1963, с. 63—73; J. Šumakov. Ivan Bunin Tartus. — «Keel ja Kirjandus» 1963, nr. 9, lk. 558—560; Ю. Шумаков. Иван Бунин в Тарту. — «Москва», 1964, № 11, с. 201—202. К сожалению, в мемуарных очерках Ю. Шумакова много неточностей (см. А. Sibul, A. H. Tammsaare ise sõidust Tartusse ja I. Buninist. — «Keel ja Kirjandus», 1973, nr. 12, lk. 753). См. также: В. В. Шмидт. Встречи в Тарту. — Литературное наследство. Т. 84, кн. 2. М., 1973, с. 331—338.

ного рассмотрения ни в исследовательской,² ни в мемуарной литературе. О нем лишь попутно упомянуто в книге А. Бабореко.³

Воспоминания А. К. Перова помогают нам восполнить этот пробел в биографии И. А. Бунина и дают несколько дополнительных штрихов к характеристике его как человека и писателя.

В публикуемых мемуарах хорошо показано отношение буржуазных правителей Латвии к русскому писателю.

Любопытна предыстория посещения И. А. Буниным Латвии и Эстонии. Еще в 1933 г. в одном интервью писатель говорил: «Поеду я 5-го декабря в Стокгольм. Очень хотелось бы проехать через Ревель, побывать в Риге, в нашей родной обстановке».⁴ Видимо, пограничные с Советской Россией Латвия и Эстония, к тому же еще недавно входившие в состав Российской империи, из французского «далека» казались писателю, стосковавшемуся по родине, чем-то родным, близким, напоминающим потерянную отчизну. Его тянуло сюда, ближе к России. Этим и объясняется, что престарелый писатель решился в 1938 г. предпринять столь нелегкое и утомительное путешествие по Прибалтике. Но И. А. Бунину пришлось разочароваться в своих нескольких наивных надеждах: посещение Латвии и других прибалтийских республик, при всем том теплом приеме, который был в них оказан писателю, естественно, не могло дать ему того, о чем писатель мечтал, не могло заменить ему родины. Этому способствовало, в частности, и настороженное отношение к нему, которое продемонстрировали буржуазные власти Латвии.

Для нас сейчас не столь важно, что инициатором поездки И. А. Бунина в Ригу, если верить воспоминаниям А. К. Перова, была редакция газеты «Сегодня», в течение многих лет занимавшей открыто антисоветскую позицию. Значительно важнее объективные последствия пребывания писателя в столице Латвии — то, что Бунин, сам того не желая, по признанию автора мемуаров, «сыграл роль политического катализатора в самосознании тогдашних русских рижан. Они почувствовали свою кровную связь с близкой, но тогда еще и далекой Великой Родиной», т. е. с Советским Союзом.

Публикуемый материал интересен для нас и тем, что вводит в научный оборот новые, небезынтересные данные о литературных воззрениях И. А. Бунина, его суждения о писателях, в частности об А. Толстом, о драме и принципиальной недраматургичности его собственных прозаических произведений, об элементах автобиографичности в «Жизни Арсеньева» (хотя об этом И. А. Бунин писал и говорил неоднократно). Наконец, мемуары

² Так, об этом ничего не говорится в статье: Л. В. Котляр. Жизнь и творчество И. Бунина после Великой Октябрьской революции (1917—1953 гг.). — Уч. зап. Кабардино-Балкарского гос. университета. Вып. 32, 1966, с. 179—218.

³ А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М., «Худ. лит.», 1967, с. 221. Справедливости ради, надо заметить, что подробное изложение биографии И. А. Бунина после 1917 г. и не входило в задачу автора. А. Бабореко в отрывках использовал в своей книге отдельные материалы из газеты «Сегодня», посвященные поездке И. А. Бунина в Литву и Латвию, в частности его интервью с П. Пильским, см. цит. соч., с. 218, 294, 298.

⁴ «Последние новости» (Париж), 1933, № 4621, 16 ноября. Об этом много писалось и в русской прибалтийской прессе (см. Андрей Седы х. И. А. Бунин хочет посетить Ригу и Ревель. — «Сегодня», 1933, № 320, 20 ноября; Андрей Седы х. И. А. Бунин перед отъездом в Стокгольм. — «Сегодня», 1933, № 328, 28 ноября). И. А. Бунин намеревался посетить прибалтийские страны на обратном пути из Стокгольма, где ему в начале декабря должна была быть вручена Нобелевская премия. Вопрос об этой поездке был решен отрицательно лишь перед самым возвращением из Стокгольма в Париж (см. И. А. Бунин в Ригу не приедет. — «Сегодня», 1933, № 337, 6 декабря).

А. К. Перова вносят несколько дополнений к старой, но все же еще не до конца разрешенной проблеме «Бунини толстовство». В этой же связи безусловный интерес имеют и включенные в текст воспоминаний большие отрывки из публикаций в газете «Сегодня», которые до сих пор практически были недоступны большинству исследователей, поскольку полный комплект газеты, представляющий ныне большую библиографическую редкость, отсутствует в центральных библиотеках нашей страны.

Всё это и объясняет ценность мемуаров А. К. Перова.

БУНИН В РИГЕ

(Из воспоминаний журналиста)

А. К. Перов

Как-то весной 1938 года меня, тогдашнего сотрудника выходившей в Риге газеты «Сегодня»¹, вызвали в редакторский кабинет.

— В Ригу скоро должен приехать Бунин, — сказал главный редактор М. С. Мильруд², — и мы хотим, чтобы вы встретили его и сопровождали все время его пребывания в Риге.

— Редакция прикомандировывает вас к Бунину, и вам предстоит сопровождать его по официальным учреждениям и быть его чичероне, — пояснил Я. И. Брамс, один из издателей газеты «Сегодня»³.

— Когда он будет у нас? — спросил я.

— Мы получили разрешение на его приезд, и об этом уже сообщено Бунину. Можно ожидать, что он долго тянуть не будет.

Мне было известно, что редакция давно уже добивалась разрешения на въезд Бунина и что правительство Латвии все время его не давало. На этот раз хлопоты, как видно, удались, и Нобелевскому лауреату, всемирно известному писателю Ивану Алексеевичу Бунину путь в Латвию был открыт.

*

Что я знал о Бунине в то время? Я знал только, что он постоянно проживал во Франции, в Грассе, что он автор многих замечательных стихотворений и рассказов, что он великолепно перевел «Песнь о Гайявате» Лонгфелло. Как автор он всегда нравился мне. Но самого главного, т. е. «Жизни Арсеньева», — произведения, за которое Бунин получил Нобелевскую премию, я как раз и не читал.

Вообще я заметил, что журналисты, «горящие» на ежедневной работе в газете, мало читают художественную литературу. Им не до того. Думаю, что в течение года до начала своей работы журналистом я прочитал гораздо больше, чем за все девять лет работы в газете. Конечно, я говорю только о себе и имею в виду художественную литературу.

Итак, Бунин! Неудобным казалось быть представленным писателю и не знать его произведений, и я в тот же вечер засел за «Современные Записки», в книжках которых был напечатан роман «Жизнь Арсеньева»⁴.

Через два дня я «заболел» Буниным, и припадки этой болезни время от времени рецидивно вспыхивают во мне. Я «проглотил» «Жизнь Арсеньева» залпом и помню до сих пор то состояние благодарного и радостного изумления, которое я тогда испытал.

Мне предстояло встретиться с выдающимся русским писателем, равного которому я еще не видел, и это наполняло меня гордостью, радостью, однако некоторыми опасениями. Шмелевской простоты я от Бунина не

ожидал, — с Иваном Сергеевичем Шмелевым⁵ я встречался уже раньше и удивительно быстро сошелся с ним. Не ожидал я и очаровательной любезности и прекраснотуши Василия Ивановича Немировича-Данченко⁶, у которого я был в гостях в Праге вместе с журналистом Константином Бельговским⁷. Я знал со слов Петра Пильского⁸, который был литературным критиком газеты «Сегодня», что Бунин — «дворянская косточка и себе цену знает».

Но опасения мои в связи с приездом Бунина были связаны не с какой-либо робостью перед большим писателем, а с той совершенно специфической обстановкой, которая сложилась к этому времени для русских в тогдашней буржуазной Латвии.

*

Бунин действительно не заставил себя долго ждать. Со стороны Литвы и Эстонии, где тоже хотел побывать писатель, не было возражений, и вот он уже в Литве. «Для встречи Бунина на литовско-германской границе выехали представители каунасской и заграничной печати. Со стороны литовских властей И. А. Бунину было оказано большое внимание как на границе, так и в Каунасе. Его приветствовал председатель Союза литовских писателей Грушас».

Таково было сообщение из Каунаса, напечатанное в «Сегодня» 22 апреля 1938 года.⁹ Еще раньше было сообщено, что «русские и литовские литературные организации разработали программу достойного приема в Каунасе крупнейшего современного русского писателя. Представители Союза литовских писателей намерены чествовать Нобелевского лауреата по литературе».¹⁰

Среди встречавших Бунина на литовско-германской границе был также каунасский корреспондент «Сегодня» Борис Семенович Оречкин,¹¹ талантливый и разносторонний журналист, хорошо образованный человек. В 1918—19 гг. в Одессе выходила газета «Южное слово» под редакцией И. А. Бунина. В ней работал также еще совсем тогда молодой Б. С. Оречкин. И хотя прошло уже почти двадцать лет, Бунин сразу же узнал в толпе встречавших своего бывшего сотрудника и тепло его приветствовал.

— Я вспоминаю то в достаточной мере странное время, когда под моим, можно сказать, начальством находились выдающиеся мастера русской журналистики, — сказал Бунин в беседе с Оречкиным, напечатанной в «Сегодня».¹²

— А какой же я журналист и какой же я политик!.. Фактическим руководителем был Ганфман.¹³

Далее Бунин поделился впечатлениями о последних днях, проведенных в Париже под знаком скорби, вызванной кончиной Шалаяпина (5 апреля 1938 года).

«— Вспоминаю свое последнее с ним свидание у его постели. Припадок глубокого сердечного кашля захватил больного, который, однако, и в эти минуты сохранил долю своего, так сказать, шалаяпинского, подхода к тому, что переживал.

— Я кашляю как американский каторжник, — с горькой перекоsnвшей его лицо улыбкой встретил меня Шалаяпин... Почему «американский каторжник» должен кашлять — это осталось непонятым, но в этом сравнении проявилась сочность шалаяпинского слова, своеобразие его мышления».

В связи с недавним возвращением А. И. Куприна на родину Бунин сказал:

«— Трудно русским литераторам в эмиграции — негде печататься, трудно творить в обстановке полуголодного бытия, вечной озабоченности не о завтрашнем, а о сегодняшнем дне. И все-таки люди работают».

О современных русских советских писателях Бунин заметил:

«— <...> Алексей Толстой — большой литературный талант <...> Вот Валентин Катаев, мой, так сказать, крестник. Помню, как много лет

тому назад он принес мне на даче под Одессой тетрадку со своими первыми писательскими опытами. Он показался мне талантливым и я его благословил».¹⁴

«— Я горд, конечно, тем, что в моем лице шведская академия отметила русскую литературу, тем более, что, ведь, кроме меня Нобелевскую премию получил из русских один только Мечников, да и то — не по литературе».¹⁵ <...>

И. А. рассказывает о процессе награждения Нобелевской премией, мягко иронизирует над тем, как растратил эту премию на обезьян Мечников, и с сокрушенной улыбкой добавляет:

— Все это, конечно, очень хорошо... И честь, и 200 000 крон... Но вот в чем несовершенство Нобелевской премии: ее никогда не присуждают вторично...»

В Прибалтике Бунин впервые, и в его вопросах — большой интерес к национальной культуре, быту и литературе литовцев, латышей, эстонцев. Он «вспоминает своих старых друзей, вышедших из рядов этих народностей, говорит о своем старом друге литовском поэте Ю. Балтрушайтисе, занимающем уже много лет пост литовского посланника в Москве, вспоминает своих латвийских и эстонских друзей и знакомых.

— Да ведь я и сам, собственно говоря, по происхождению не то литовец, не то поляк. По крайней мере, один из моих далеких предков был еще при Василии Темном выходцем не то из Литвы, не то из Польши, и фамилия наша была не Бунины, а Бунковичи или Буйновские. И только Иван Грозный переименовал нас — не знаю, уже за какие грехи — в Буниных. Где уж нам теперь взysкивать за это с Ивана Грозного!...»¹⁶

К чему сказал это Бунин? Подозревать его в корысти или в искренности было бы глупо, не таков был Бунин. Думаю, что в этом проявилась даже некоторая его «русскость». Мало ли было русских, особенно из знати, которые любили подчеркнуть свою родовитость каплей иноземной крови. И пошло то это, наверно, еще с Рюриковичей!

28 апреля мы встречали Бунина уже на литовско-латвийской границе, на станции Мейтене. Мы — это главный редактор «Сегодня» Михаил Семенович Мильруд, литературный критик Петр Пильский (Петр Моссевиич, а не Моисеевич, как любил поправлять сам Пильский) и автор этих строк. И больше никого.

Беседу в основном вел Пильский.

«— Когда вы получили премию, я подумал, что вы предадитесь своей старой страсти: опять начнете путешествовать!

— Легко сказать, — возразил Бунин, — но как только я получил премию, мне пришлось раздать около 120 тыс. франков (Бунин имел в виду ту помощь, которую он оказал русским литераторам — А. П.). Да я вообще с деньгами не умею обращаться. Теперь это особенно трудно. Знаете ли вы, сколько писем я получил с просьбами о вспомоществовании? За самый короткий срок пришло до 2000 таких посланий <...>

— Но вас же перевели чуть ли не на все языки.

— Перевели-то перевели, да вот...

Но я уже понимаю: переводили, да не платили. Конечно, такие страны, как Америка и Англия, дают хорошие гонорары. К сожалению, все контракты с английскими и американскими издательствами были заключены давно, еще до получения премии. Книги, таким образом, были запроданы навсегда — теперь об этом можно только сожалеть».¹⁷

Перед встречей Бунина я поставил себе задачу постараться запомнить все как можно лучше и точнее, стараясь не пользоваться блокнотом и, по возможности, проверить те чувства опасения, которые то гасли, то с новой силой возникали во мне по мере того, как я вглядывался в Бунина и наблюдал за его холодно-джентельменской учтивостью и моментальной реактивностью в вопросах и ответах.

Уже подъезжая к Риге, мы наскоро обсудили программу пребывания

Бунина в столице Латвии и, хотя впоследствии уже не возвращались к этому, Бунин ясно и четко, в правильной последовательности, запомнил все, о чем мы его проинформировали и проинструктировали, и был в выполнении этой программы, достаточно насыщенной и полиморфной, очень точен, ни разу не заставил себя ждать и не проявил ни малейшего неудовольствия. Большой писатель, он не только знал людей, но и умел уважать их!

*

В Риге, на вокзале, Бунина встречали представители только русской общественности. Приветствовал его директор Театра русской драмы В. И. Снегирев, ему преподнесли цветы. Было утро. Бунин выглядел усталым, но был любезен и «сказал, что будет счастлив познакомиться с Ригой, о которой слышал много интересного и хорошего.»¹⁸ В тот же вечер состоялось первое выступление Бунина и, после него, чествование.

Послушать Бунина собралась вся Рига. Так писалось тогда в газетах. Фактически же в зале Ремесленного общества, где находился тогда Русский театр (дом на углу улиц Вальню и Аудею), собрались главным образом русские да, пожалуй, евреи, по крайней мере, те из них, которые исповедовали русскую культуру.

Из латышских писателей в первом ряду сидел лишь Карл Скалбе,¹⁹ рядом с ним директор Национального театра Я. Грин²⁰, критик А. Берзинь²¹ и некоторые другие.

Приведу несколько мест из моей статьи в «Сегодня».

«— Бунин — превосходный чтец. Его глубокий, вибрирующий на баритональных нотах, голос импонирует, проникает глубоко и трогает самые сокровенные струнки и чувства. Плавный жест, иногда сопровождающий и подчеркивающий какое-либо место, красив и точен. Бунин-чтец не менее интересен, чем Бунин-писатель.»²²

Отмечу попутно, что в газете «Яунакас зиняс» («Новейшие известия»), единственной латышской газете, отозвавшейся на приезд Бунина в Ригу, мастерство Бунина, как чтеца, было приравнено к мастерству Диккенса, «о котором его современники утверждали, что трудно сказать, в чем Диккенс ярче — как писатель или как интерпретатор своих произведений.»²³

Далее о Ф. И. Шалапине из моей же статьи:

«И в рассказе писателя о великом певце облик этого непревзойденного артиста встал, овеянный нежной дымкой любви. Острый глаз писателя многое подсмотрел, и его наблюдения и замечания впоследствии станут необыкновенно ценным материалом для тех, кто уже по книгам и воспоминаниям захочет познакомиться с гениальным певцом и художником. Бунин критически относится к модной в свое время тенденции гордиться низким происхождением и щеголять родством с «низами».

— Как-то Шалапин показал мне фотографическую карточку своего отца, — рассказывает Бунин. — На карточке был изображен рослый мужчина в крахмальной сорочке с отложным воротником и галстуком в енотовой шубе нараспашку. Служил отец Шалапина в земской управе. Сказать, чтобы эта фотография говорила о том, что Шалапин поднялся с самого дна, — нельзя!

Затем Бунин говорил об Айседоре Дункан, танцовщице нового направления, бывшей одно время женой поэта Сергея Есенина,²⁴ а заключительная часть была посвящена Льву Толстому. Бунин хорошо знал его, «рано начал мечтать о счастье видеть Толстого». Портреты Черткова, Софьи Андреевны и многих других из окружения Толстого и, наконец, самого Льва Николаевича были набросаны Буниным с такой яркостью и жизненностью, что, казалось, видишь живых людей перед собой, разговариваешь с ними, дышишь с ними одним воздухом.

Особенной силы и выразительности достигли те места доклада, когда он говорил о своем давно минувшем увлечении толстовством, о том, как писа-

тель, в стремлении к опрощению, работал подмастерьем бочара и торговал книгами.

Смотря сейчас на Бунина, конечно, нельзя представить себе его в ролях бочара или торговца.

Бунина долго не отпускали со сцены, было много цветов. Он был тронут.

В тот же вечер состоялось чествование писателя.

Собралось человек сто, организаторы постарались подобрать в качестве соседа Бунина более или менее привлекательных дам, еще не окончательно уяввших. В какой мере они были приятными собеседницами для Бунина, не знаю. Я наблюдал со стороны и несколько раз мне показалось, что на утомленное лицо Бунина ложилась тень отчужденности и скуки.

Директор русского театра В. И. Снегирев сказал, что «как работа русских писателей, так и работа русского театра, в значительной степени протекает в условиях, близких к подвижничеству».²⁵ Кончил он тем, чем и должен был кончить директор театра, то есть жалобами на репертуарный голод и слезной просьбой к писателю написать пьесу для театра.

Затем писателя приветствовали председатель Русского учительского союза Н. Н. Кузьминский²⁶, представитель Русского просветительного общества Н. Н. Бордонос²⁷ и от редакции «Сегодня» Петр Пильский. Хорошо и сердечно говорил старейший артист русского театра Иван Федорович Булатов²⁸: «Вы принадлежите к числу людей, отмеченных божьим перстом, которые призваны будить лучшие мысли и чувства. Мы будем жить верою, что еще долго-долго будем видеть в вашем лице прекрасного писателя, с надеждою, что отпущенные вам божьи дары еще долго будут источником нашего наслаждения».

Бунин отвечал скромно и сдержанно, благодарил, ничего не обещал.

Поздно ночью я провожал его домой. Бунин был сосредоточен и молчалив.

Я спросил у него, как он себя чувствует. Он отвечал, что завтра будет в «полной форме», беспокоиться не стоит.

Я смутился. Что завтра он будет «в полной форме», у меня и сомнений не возникало.

Предстоял день официальных визитов.

*

Приезд русского писателя в Ригу, да еще для публичных выступлений, в то время был делом очень не простым. Условия пребывания Бунина в Риге были весьма своеобразными и диктовались в значительной мере той внутренней политикой, которую проводило тогда правительство буржуазной Латвии. Тут необходимо некоторое отступление.

Читатели, вероятно, заметили, что до сих пор, как, впрочем, и впоследствии, латышские официальные круги никак не проявили своего отношения к приезду всемирно известного писателя и Нобелевского лауреата, или, вернее, проявили его полнейшим игнорированием. Это явилось отражением официальной точки зрения. Президент Ульманис,²⁹ или «вождь народа», как его провозгласили после 15 мая 1934 года,³⁰ неоднократно высказывался в том смысле, что «все русское, приходит ли оно с востока или запада, нам не нужно». Конечно, слова эти нигде не были напечатаны, потому что свой «Мейн Кампф» Ульманис еще не удосужился написать, но о них знали не только в близком окружении «вождя».

Сам Ульманис России не знал, бывал в России не дальше Пскова, точнее, псковской тюрьмы, где просидел месяца полтора, русского народа не понимал и не любил.

Придя к власти, разогнав Сейм и многочисленные партии, Ульманис

объявил единство народа краеугольным камнем своей политики. Действовал он по уже апробированным рецептам: «Единый вождь, единый народ, единое государство». Конечно, сразу же была введена система национального протекционизма, что больше всего на себе почувствовали русские.

Бунин был осведомлен, что из двух десятков существовавших в Риге до Ульманиса различных русских средних учебных заведений осталось только одно, что Русский театр, едва ли не самый значительный постоянный русский театр вне пределов России, влечит жалкое существование, потому что правительство Ульманиса лишило его ежегодных дотаций из сумм Культурного фонда, которые театр получал по закону в размере, пропорциональном количеству русского населения в стране.³¹

Бунин знал, конечно, что официально русский язык был полностью изгнан из всех учреждений, что в школах изучался английский и немецкий, а не русский, что полиция, почтовым, железнодорожным и другим служащим было запрещено отвечать по-русски. Бунин знал также, что и самый его приезд не мог осуществиться раньше, потому что власти не давали визы на въезд писателя, считая, по-видимому, что приезд и выступления Бунина всколыхнут русское общество и стимулируют национальную гордость и самознание. Власти этого, конечно, не могли желать.

Повторяю, все это хотя бы в общем плане Бунину было известно.

Конечно, эти обстоятельства не вызывали у него энтузиазма и, если он согласился на официальные визиты, то единственно с целью проявить официальную вежливость, без чего организаторы его приезда в Латвию, они же поручители, были бы поставлены в более чем неловкое положение.

Итак первый визит к министру образования профессору Августу Тентелису.³²

— Кто он больше, министр или профессор? — задал мне вопрос Бунин, когда мы были по пути в министерство. — Если он творит науку, то ему не до министирования (Бунин так и сказал «министрирования»), если же он управляет министерством, то ему не до науки. Кстати, преподает ли он в университете и что именно?

Я сказал, что профессор Тентелис — историк, читает в университете историю Рима и средних веков, большой сторонник и пропагандист авторитарной власти, поклонник Октавиана Августа, в прошлом, т. е. с 1916 по 1920 год, — доцент Петроградского университета.

Нас пропустили в кабинет. В глубине большой комнаты, за огромным столом сидел крупный человек с нависшими седыми усами.

Я представил Бунина.

Приподнявшись и протянув через стол руку, Тентелис заговорил... по-латышски.

Мне не оставалось ничего другого, как перевести Бунину слова Тентелиса: «Заграницей мало знают Латвию и еще меньше латышский народ и его литературу, в то время как молодой и стремительно развивающийся в условиях суверенности народ таит в себе большие возможности и сейчас, когда для него созданы все условия, очень скоро внесет и свой заметный и весомый вклад в общую сокровищницу культуры европейских народов».

Тентелис говорил медленно, несколько монотонно, но речь его была академически чистой, без примеси лишних слов.

Пока я переводил его, чуть было не запутавшись на каком-то длинном периоде, он, откинувшись на спинку кресла с добродушной или как мне показалось, хитрой улыбкой рассматривал своего гостя. Начиная опять, он склонялся к столу, пытаясь рассмотреть нас близорукими глазами.

Но впереди меня ждала еще одна неожиданность. На этот раз она исходила от Бунина. Он вдруг заговорил по-французски, «в расчете, — как он тогда галантно выразился, — на экономию времени, такого дорогого для господина министра».

На этот раз на лице Тентелиса улыбка сменилась растерянностью.

Я принялся переводить с французского на латышский, на этот раз для

Тентелиса. «Не хватает, — мелькнула у меня мысль — чтобы Тентелис перешел на немецкий, опять придется переводить». Но этого не произошло.

Тентелис вдруг рассмеялся и заговорил на чистом, без малейшего акцента, русском языке, сказал, что русский язык еще не забыл, хотя в последние годы имеет с ним мало дела, и сообщил не без гордости, что его первые научные работы, в частности, о философии блаженного Августина, были написаны и напечатаны по-русски.³³

Однако лицо Бунина продолжало оставаться каменным, и, когда Тентелис начал рассказывать о своем посещении Швеции и об исторической миссии латышского народа на берегах Балтийского моря, Бунин вдруг встал и, протянув руку министру, сказал:

— Не смею больше задерживать вас, господин министр! Спасибо за приятную беседу и любезный прием, — и пожав руку оторопевшему министру, быстрыми шагами вышел из кабинета.

Когда мы вышли на улицу, Бунин был фраппирован, как любили говорить наши предки. Нервно закулив, он сказал мне полувопросительно, полутверительно:

— А не послать ли все эти визиты к чертям, а?!

— Иван Алексеевич, — взмолился я, — *le vin est tiré...*

— Или назвался груздем, полезай в кузов, — подхватил И. А. Тут он снова повеселел, вернее, как-то приободрился, и мы отправились дальше.

Министр общественных дел А. Берзинь³⁴ принял нас сразу же, говорил с нами просто, без обиняков, по-русски, и, пожелав писателю приятного времяпрепровождения в Риге, выразил надежду, что он увезет отсюда хорошие впечатления.

От него мы отправились к Ю. Друве.³⁵ Этот учитель, ставший главным редактором официоза «Брива Земе» («Свободная страна») и председателем общества печати, т. е. объединения писателей и журналистов, считался правой рукой «вождя» по вопросам идеологии и был помешан на идее собственного величия.

Бунина он принял как учитель, назидательно. Он сразу посоветовал ему познакомиться с латышской литературой, в частности с такими писателями, как Эдвард Вирза (придворный поэт при Ульманисе)³⁶, заявив, что его произведения достойны Нобелевской премии, а также с Александром Грином, этим «латышским Вальтером Скоттом»,³⁷ как заявил тогда Друва, и с произведением братьев КAUDZIT «Времена землемеров»,³⁸ которое Друва сравнил с «Мертвыми душами» Гоголя.

И. А. вежливо соглашался и пообещал Друве непременно прочесть все эти произведения, как только они будут переведены на русский или другие европейские языки.

При прощании Друва, расчувствовавшийся под влиянием необычайной любезности и податливости Бунина, вручил своему гостю в подарок книжечку Александра Грина «Три столетия и три вождя».³⁹ Бунин горячо благодарил Друву, они долго трясли друг другу руки уже в дверях кабинета и даже напомнили мне в какой-то момент Чичикова и Манилова.

*

Выйдя от Друвы, И. А. оживился, с него слетела сосредоточенность, и, заметив на себе мой вопросительный взгляд, он сказал:

— Все они, в конечном счете, прекрасные и, что еще важнее, вполне счастливые люди, — и чуточку помолчав, добавил, — в своей ограниченности и самоупоении! Вера, в чем бы она не проявлялась, всегда хороша, она наполняет жизнь содержанием и даже счастьем. Дай же боже, что бы они подольше оставались при своем, но упаси бог, если они примутся заставлять инакомыслящих молиться только своему богу, нетерпимость всегда ужасна!

Книжечка Александра Грина «Три столетия и три вождя» осталась на память у меня. В ней доказывалась историческая преемственность идеи вождизма от герцога Якова⁴⁰ через Кришьяниса Вальдемара⁴¹ до Карла Ульманиса.

*

В последующие дни Бунин отдыхал, побывав на Рижском взморье и в Кемери, где его приветствовал директор курорта доктор Либиегис⁴², чрезвычайно тепло принявший писателя в великолепном здании Кемерской гостиницы, ставшей в наше время главным корпусом Кемерского санатория.

А вечером 1 мая Бунин был на ужине, устроенном в его честь русскими студентами корпорации «Фратернитас Арктика».⁴³ На ужине присутствовали также известный художник академик Николай Петрович Богданов-Бельский⁴⁴, профессор Василий Иванович Синайский⁴⁵, директор русского театра Василий Иванович Снегирев (юрист по образованию, общественник по призванию).

Инженер М. Д. Кривошапкин⁴⁶ приветствовал Бунина.

Бунин проявил большой интерес к студенческой жизни. Он подчеркнул, что ему впервые приходится видеть, что студенты имеют свой собственный дом, свою библиотеку (сейчас в этом доме помещается хореографическое училище). Он охотно слушал студенческие песни, даже несколько растрогавшись, когда спели старинную песню «Что ты замолк и сидишь одиноко». И. А. держал себя непринужденно, явно чувствовал себя в родной и близкой ему стихии, оживленно переговаривался с Богдановым-Бельским и другими, был прост, много улыбался.

На другой день он много ходил по Риге, побывал в соборе и в мастерской Богданова-Бельского, на его квартире. Был ненасытен и жаден в вопросах о Риге, задавал самые неожиданные вопросы. Интересовало его все: от Петра I до Лескова и Боборыкина, когда-то посетивших Ригу⁴⁷, от губернатора Лизандера⁴⁸ до архиепископа Агафангела⁴⁹ от ордена меченосцев до рижских старообрядцев. Я убедился тогда, что для Бунина еще в Париже Рига не была «terra incognita».

Вечером 2 мая Бунин вторично выступил перед рижской аудиторией. Вечер чтения своих произведений он назвал «О любви». Опять зал был полон до отказа. Бунин прочел свои рассказы: «Сын», «Кавказ», «Про обезьяну». Некоторые слушатели были разочарованы, так как ожидали от Бунина новых, еще не публиковавшихся произведений. Тем не менее успех был колоссальный. С особой силой выражали Бунину свои симпатии русская Рига. Его было за что благодарить. Невольно, конечно, Бунин сыграл роль политического катализатора в самосознании тогдашних русских рижан. Они почувствовали свою кровную связь с близкой, но тогда еще и далекой Великой Родиной.

На другой день, после закрытого прощального ужина на квартире издателя «Сегодня» доктор Б. Ю. Полякова⁵⁰, Бунин уехал в Даугавпилс⁵¹, а оттуда в Эстонию.

*

В день отъезда я пришел к нему заранее в тайной надежде услышать что-нибудь от него специально для себя. Показывать ему свои литературные опусы я не хотел, так как знал, что в Риге ему не до них, а давать с собой не считал удобным. У меня было смутное предчувствие, что я никогда больше не увижу Бунина.

Европа конвульсировала тогда в припадках избежать неизбежное, беснующийся ефрейтор набирал силу, во Франции с ее традиционной, на этот раз гипертрофированной, вследствие линии Мажино, безопасностью, уже открыто толковали о том, на кого в первую очередь обрушится бронированный кулак Гитлера. В Англии готовились к очередному предательству

в Мюнхене, фюрер и дуче, в сопровождении жалкого короля, наблюдали какие-то необыкновенные морские маневры; чехи, скрипя зубами, пытались уступками судетским немцам спасти свою страну. Все чувствовали, что приближается что-то страшное, все боялись, все не желали его, но «оно» надвигалось стремительно, неотвратно и фатально.

Я поделился своими мыслями с Буниным. Он задумался, а потом сказал:

— Вот и Милюков тоже, читали, он готов все простить Сталину, лишь бы он спас Россию⁵².

И, помолчав, добавил иронически:

— Нужно Сталину милюковское прощение — пусть старик потешит себя — но, если что и случится, то мы, конечно, все будем держать кулаки за свой народ!

И тут же перешел на другое.

— Я знаю, что ваше поколение знает меня мало, тем более, что в Латвии, в Риге, не печатались мои произведения, исключая нескольких случаев в периодике⁵³. Но если вас интересует что-нибудь услышать от меня, то я с большой радостью постараюсь ответить вам на все, тем более, что я у вас в долгу.

Тут он наговорил мне комплиментов, чем несколько смутил меня и сбил тот деловой, сбалансированный настрой, который уже было установился во мне.

Я поспешил заверить его, что читал многие из его рассказов и стихов (даже часть из них процитировал), что я без ума от «Жизни Арсеньева», и тут же задал ему весьма глупый вопрос, который еще накануне, собираясь к И. А., в мыслях своих полностью отвергал. Я спросил его, насколько автобиографичны его произведения, в частности «Жизнь Арсеньева».

Бунин улыбнулся:

— Всякое произведение у любого писателя автобиографично в той или иной мере. Если писатель не вкладывает часть своей души, своих мыслей, своего сердца в свою работу, то он не творец, а ремесленник, хотя и в каждом, даже самом гениальном труде, при желании можно найти и кое-что от ремесленничества.

— Мне кажется, чем писатель субъективнее, тем он интереснее, а чем субъективнее, тем больше он отдает себя, тем больше он, следовательно, автобиографичен.

— Правда, и автобиографичность-то надо понимать не как использование своего прошлого в качестве канвы произведения, а, именно, как использование своего, только мне присущего, видения мира и вызванных в связи с этим своих мыслей, раздумий и переживаний. Если без этого немислим писатель, то немислим он и без автобиографичности. Ведь каждое произведение — это детище, и редко бывают такие отцы, которые не усмотрят в своем детище ничего своего.

— Что же касается поставленного вами вопроса о «Жизни Арсеньева», то я уже об этом писал, и скажу еще раз совершенно определенно, что Арсеньев это не Бунин, а Бунин — не Арсеньев. Если бы это был Бунин, то это была бы автобиография, а не роман. Что в нем создано творческой фантазией и что имело место в действительности, мне, порой, и самому не разобраться, да и какое это имеет значение.

— Иван Алексеевич, а как вы расцениваете просьбу написать пьесу для театра? — спросил я.

— Вот, вы читали «Жизнь Арсеньева», там и найдете ответ на это.

— Да ведь Арсеньев — не Бунин, какой же ответ искать у Арсеньева за Бунина, — возразил я.

Бунин засмеялся:

— Это вы меня ловко поймали! И все же ответ там!

— Ну как все же понять?

— Сцена всегда манила и пугала меня, но я не хочу на старости лет обжигаться огнями рампы — тьфу, черт возьми, какая невозможная краси-

вость получилась, — и он засмеялся. — Друг мой, я думаю, что те, кто просит меня о пьесах, совсем не знают меня как писателя! Ну, какой я драматург, это не моя сфера, мне ближе всего созерцание, а не действие. Начать писать пьесы — это полностью настроить свою лиру на другой лад, полностью переключиться на другие законы жанра, а я этого не хочу, и это не для меня!

Мы много говорили о театре. Почему-то о Метерлинке и Ростане, конечно, о Льве Толстом и его «Плодах просвещения», о горьковских и чеховских пьесах. Бунин на многое смотрел скептически, сусальности, надрывности, фальши не терпел.

*

Бунин давно нет в живых. Он прожил долгую жизнь. Я помню его, когда ему шел 68 год. Первое, что я почувствовал в нем, это его нравственное и физическое здоровье. В нем не было надрыва, не было позы, не было никаких психопатий, слава не оказала на него дурного влияния, не было в нем издерганности, злобы, желчности, провалов и взлетов настроений.

Ясность в словах и делах характерна для Бунина.

Он был сдержан по воспитанию и культуре, по натуре же легко зажигался и мог реагировать резко и недвусмысленно.

Я заметил, что в разговоре с русскими И. А. иногда проявлял нетерпеливость и некоторую настороженность, будто все время ожидал, что его собеседник попросит у него взаймы. В обращении с нерусскими он проявлял подлинный европеизм и любезность. Однако некоторая настороженность никогда не покидала его.

Он был, конечно, индивидуалист, но не затворник и, если частенько предпочитал уединение, то только в том случае, когда вокруг себя не видел настоящих собеседников. В обращении с незнакомыми людьми он был полнейшая корректность, но и некоторая суховатость. Ни о какой фамильярности или скатывания в сторону амикошонства, которое, увы, так часто бывает уделом даже очень интеллигентных русских людей, не было и речи.

Он очень быстро определял интеллектуальный и воспитательный «ранг» своего собеседника и в каждом случае умел установить между собой и им совершенно точную дистанцию.

Чтобы сблизиться с ним, конечно, нужны были особые качества и, пожалуй, немало времени. Этого нам было не дано.

Комментарии

¹ «Сегодня» — рижская русская «беспартийная» газета. Возникла (под первоначальным названием «Народ») в результате коллективной отставки редакции газеты «Рижское слово» (издатель — М. Эляшов), летом 1919 г. Первый номер вышел 26 августа. Носившая ярко выраженный коммерческий характер, газета «Сегодня» отличалась явной политической беспринципностью. Ее программные установки лишены были какой-либо определенности. Единственным устойчивым политическим лозунгом была защита культурно-общественных интересов национальных меньшинств в условиях буржуазной Латвии. Пропагандировавший «надклассовую» и «внепартийную» позицию и верность либеральным традициям предреволюционной буржуазной русской журналистики (свою генеалогию «Сегодня» возводило к кадетским органам «Русское слово» и «Речь») издательский концерн «Сегодня» сумел обеспечить себе солидный коммерческий успех: с 1 декабря 1924 г. был налажен вечерний выпуск — «Сегодня вечером», предпринято литовское и эстонское издания газеты, а также «Сегодня в Латгалии», к 1934 г. газета распространялась в 2500 населенных пунктах Европы, Америки и Азии; в середине 20-х годов был начат выпуск дочерних органов на латыш-

ском («Pēdējā brīdī»), еврейском, немецком и польском языках, закрытых после переворота Ульманиса в 1934 г. Успех издания вызвал недовольство у правительства буржуазной Латвии, проводившего националистическую политику: на протяжении 1920-х гг. газета пять раз закрывалась властями (в этих случаях она выходила под новыми названиями — «Торгово-промышленная газета» и «Рижский день»), а после переворота 1934 г. «Сегодня» была поставлена под строгий цензурный контроль. Политические воззрения и симпатии части сотрудников газеты и регулярный правительственный нажим обусловил отрицательное отношение к Октябрьской революции и Советской власти, однако угроза германского фашизма вынудила газету с середины 1930-х гг. в значительной мере изменить свою позицию, она выступила в поддержку ориентации на СССР, характерной для демократических слоев латвийского общества и в эти годы усилившейся.

«Сегодня» и «Сегодня вечером» выходили до 27 июня 1940 г., когда были преобразованы в «Русскую газету» (под редакцией Ю. С. Ржевского), имевшую утренний и вечерний выпуск и позднее, в свою очередь, сменяющуюся «Пролетарской правдой». Материалы, опубликованные в «Сегодня» и «Сегодня вечером» в 1925—1936 гг., расписаны в национальной библиографии «Latvijas zinātne un literatūra», Rīgā, Valsts bibliotēkas izdevums, 1928—1942.

Основное руководящее ядро «Сегодня» составляли владельцы издательского концерна Я. И. Брамс и Б. Ю. Поляк, а также М. И. Ганфман (редактировавший политические статьи), М. С. Мильруд (редактор утреннего выпуска), Б. О. Харитон (редактор вечернего издания), Б. С. Оречкин.

Значительный интерес представляет литературный отдел «Сегодня», возглавлявшийся П. М. Пильским. Крупные материальные возможности и широкие старые литературные связи сотрудников редакции привлекли к газете влиятельные литературные и журналистские силы — И. Бунина, А. Куприна, И. Шмелева, И. Северянина, К. Бальмонта, А. Кизеветтера, С. Р. Минцлова и др. Вместе с тем «Сегодня» уделяла большое внимание новостям советской культурной жизни; в газете были опубликованы произведения М. Шолохова, Б. Пильняка, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Зощенко, В. Каверина, Ю. Тынянова, Л. Сейфуллиной, И. Сельвинского, Л. Гроссмана, Я. Смелякова и многих других. Активно печатался в «Сегодня» крупнейший латышский писатель Ян Судрабкали (псевдонимы Я. С., Я. Срб., Оливеретти), ныне Народный поэт Латвии, освещавший новинки латышской литературы и театра с демократических позиций.

² Михаил Семенович Мильруд — известный в предреволюционные годы киевский журналист, редактировавший «Киевскую мысль» и активно сотрудничавший в московской газете «Русское слово» и журнале «Русская мысль». С 1924 г. — редактор утреннего выпуска «Сегодня».

³ Яков Иосифович Брамс (род. в 1898 г.) — журналист (печатался, в частности, под псевдонимом Эм. Брананов). Систематическую газетную работу начал в 1918 г. в рижской газете «Наши дни» (см. «Литература и жизнь», [1928], № 2—3, с. 41). Перед началом Второй мировой войны эмигрировал в США.

⁴ См. «Современные записки», 1928, кн. 34—37, 1929, кн. 40, 1933, кн. 52—53.

⁵ И. С. Шмелев (1875—1950) — известный русский писатель.

⁶ Василий Иванович Немирович-Данченко (1844 или 1845—1936) — русский писатель, брат Влад. Ив. Немирович-Данченко, известного режисера МХТ.

⁷ К. П. Бельговский — пражский корреспондент «Сегодня».

⁸ П. М. Пильский (1880—1941) — известный литературный и театральный критик, высоко ценимый Буниным, Блоком, Куприным, беллетрист. Литературную деятельность начал в 1901 г. в петербургской газете «Курьер». В 1917 г. основал первую в России школу журналистики. В 1921 г. вместе с женой, актрисой Е. С. Кузнецовой, приглашенной в рижский Театр

русской драмы, приехал в Ригу и стал работать в «Сегодня». В 1922—1927 гг. жил в Таллине, где сотрудничал в газете «Последние известия», а затем снова вернулся в Ригу. Печатался в газетах «Сегодня» и «Яунакас Зиняс». Издавал вместе с В. Гадалиным критико-библиографический журнал «Литература и жизнь» (1928). Псевдонимы: П. Трубников, П. Хрушов, Р. Вельский, -иль-, П. П-ий, Ф. Стогов, П., Р. В.

⁹ Вечера И. А. Бунина в Балтийских странах. — «Сегодня», 1938, № 111, 22 апреля.

¹⁰ См. «Сегодня», 1938, № 107, 17 апреля.

¹¹ Б. С. Оречкин (ум. в 1943 г. в каунасском гетто) родился в семье известного врача, редактора журнала «Домашний врач». В 1910-е гг. был помощником редактора петербургской газеты «Биржевые ведомости». Входил в состав редакции берлинской газеты «Руль», где заведывал информационным отделом. В 1926 г. переехал из Берлина в Ригу и вошел в редакцию «Сегодня». С 1936 г. — каунасский корреспондент газеты.

¹² См. Бор. Оречкин. Два часа с И. А. Буниным (Письмо из Каунаса). — «Сегодня», 1938, № 113, 24 апреля. Здесь и далее А. К. Перов пересказывает содержание беседы Б. С. Оречкина с И. А. Буниным.

¹³ М. И. Ганфман — общественный деятель, юрист, журналист. Родился в 1873 г. в Литве, в 1891 г. поступил на юридический факультет Петербургского университета, но вскоре был отчислен из университета и подвергся аресту и тюремному заключению за участие в революционной деятельности. В 1895 г. был принят в Казанский университет, сотрудничал в газетах «Волжский вестник» и «Камско-Волжский край». С начала 1900-х гг. поселяется в Петербурге, работает в журналах «Право», «Вестник права», «Вестник Европы», в газете «Сын отечества» (1905). Был членом редакции газеты «Речь» в течение всего периода ее существования (1906—1918). Добился свободы книгопечатания на литовском языке. В 1919 г. писал в газете «Южное слово», возглавлявшейся И. А. Буниным и акад. Н. И. Кондаковым. В 1921 г. вернулся на родину, в Литву. С 1922 г. до самой смерти (15 XI 1934) был политическим руководителем «Сегодня». Печатался в «Сегодня» под псевдонимами М. Ип., Сениор, Г., М. Г., М. Г-н, МИГ.

¹⁴ См. Валентин Катаев. Трава забвения. М., 1967, с. 12—33.

¹⁵ Из русских ученых до И. И. Мечникова (1908) Нобелевской премии был удостоен И. П. Павлов (1904).

¹⁶ О происхождении рода Буниных см.: письмо И. А. Бунина к А. Н. Сальникову от 2 марта 1901 г., «Новый мир», 1965, № 10, с. 222—223; Ю. Гончаров. Предки И. А. Бунина. — «Подъем» (Воронеж), 1971, № 1, с. 124—147; А. Бабореко. И. А. Бунин. Материалы для биографии (с 1870 по 1917). М., 1967, с. 5—8.

¹⁷ Петр Пильский. В вагоне с Буниным. — «Сегодня», 1938, № 113, 29 апреля.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Карлис Скалбе (1879—1945) — выдающийся латышский писатель. Янис Грин (1890—1966) — писатель, журналист, в 1937—1940 гг. директор Национального театра, брат писателя Александра Грина (см. примеч. 38).

²¹ Артур Берзинь (род. 1882) — театральный критик, журналист, драматург, переводчик, историк театра. В 1937—1940 гг. — редактор газеты «Яунакас Зиняс».

²² А. Перов. Бунин о встречах с Шаляпиным и Толстым. Первое публичное выступление И. А. Бунина в Риге. — «Сегодня», 1938, № 120, 1 мая.

²³ Ivans Buņins stāsta savas atmiņas. — «Jaunākās ziņas», 1938, Nr. 96, 30. aprīlī. Ср. статью Карла Эгле в № 93 газеты, а также интересное интервью с Буниным, помещенное в елгавской газете «Земгалес балсс»: J. M. I. Buņina atsauksme par Latviju. — «Zemgales balss», 1938, Nr. 100, 5. maijā.

- ²⁴ А. Дункан (1878—1927) — американская танцовщица, родоначальница «Свободного танца».
- ²⁵ См. «Сегодня», 1938, № 119, 30 апреля.
- ²⁶ Николай Николаевич Кузьминский (1881—1945) — учитель-естественник.
- ²⁷ Николай Николаевич Бордонос (1866—1945) — учитель, видный рижский русский общественный деятель, в 1922—1924 гг. один из издателей рижской газеты «Маяк».
- ²⁸ И. Ф. Булатов — с 1922 г. артист Рижского театра русской драмы; председатель Общества русских артистов в Риге. Театральную карьеру начал в 1896 г. в «Киевском Драматическом обществе», затем работал в антрепризе Н. Н. Синельникова в Ростове на Дону и в московском театре Корша.
- ²⁹ Карл Ульманис (1877—1942) — президент Латвии, лидер «Крестьянского Союза».
- ³⁰ В результате переворота, совершенного в ночь с 15 на 16 мая 1934 г., в Латвии был установлен авторитарный режим, распущен сейм, разогнаны политические партии и закрыты их печатные органы.
- ³¹ Театр русской драмы был основан в 1921 г. М. Я. Муратовым и А. И. Гришиным. См.: Пятилетие Русского театра в Латвии. 1921—1926, <Рига, 1926>. О реорганизации театра, связанной с лишением его государственных дотаций, см.: В. И. Снегирев. Русский театр в Латвии. — «Для Вас», 1935, № 40, 28 сентября, с. 3.
- ³² Август Тентелис (1876—1942) — историк, профессор римской и средневековой истории Латвийского университета, в 1928 и в 1935—38 гг. министр просвещения.
- ³³ См. А. Тентелис. К вопросу об обращении блаженного Августина. — В сб.: К двадцатипятилетию учено-педагогической деятельности Ивана Михайловича Гревса. Сборник статей его учеников. 1884—1909. СПб., 1909.
- ³⁴ Алфред Берзинь (род. 1899) — один из организаторов переворота 1934 г., главарь айзсаргов, в 1934—1937 гг. министр внутренних дел, в 1937—1940 гг. министр общественных дел; после Второй мировой войны — эмигрант.
- ³⁵ Юлиус Друва (1882—1950) — журналист и политический деятель, ближайший сотрудник Ульманиса.
- ³⁶ Эдвард Вирза (1883—1940) — известный буржуазный писатель и переводчик, консультант Министерства просвещения по вопросам культуры.
- ³⁷ Александр (Екаб) Грин (1895—?) — автор исторических романов и повестей, переводчик. Учился (в 1918 г.) на медицинском факультете Тартуского университета.
- ³⁸ Роман «Времена землемеров» братьев Матиса (1848—1926) и Рейниса (1839—1920) Каудзит принадлежит к классическим произведениям латышской литературы.
- ³⁹ A. Grīns. Trīs gadsimti un trīs vadoņi. R., 1937.
- ⁴⁰ Яков (1610—1682) — курляндский герцог в 1642—1682 гг. Основал курляндские колонии в Западной Африке (в Гамбии) и Вест-Индии (остров Тобаго); поощрял развитие промышленности, торговли, новых методов ведения сельского хозяйства. Его жизнь богата всевозможными приключениями и происшествиями.
- ⁴¹ Кришьянис Вальдемар (1825—1891) — вожь латышского национального движения второй половины XIX в.
- ⁴² Янис Либиетис (1885—1946) — известный врач.
- ⁴³ Корпорация «Фратернитас Арктика», основанная в 1880 г., объединяла студентов Рижского политехникума, а с 1919 г. — Латвийского университета.
- ⁴⁴ Н. П. Богданов-Бельский (1868—1945) — художник, академик живописи, с 1921 г. жил в Риге.

⁴⁵ В. И. Синайский (1876—?) — профессор права Юрьевского, Варшавского, Киевского и Латвийского университетов, основатель (1917) и директор Юридического института в Киеве, почетный член ряда международных научных обществ, один из участников Комиссии по выработке кодекса латвийских гражданских законов, автор многочисленных трудов по русскому гражданскому праву, истории римского права, методологии науки, фольклору и мифологии.

⁴⁶ Михаил Дмитриевич Кривошапкин (1888—1943) — инженер-местовик, русский общественный деятель, гласный городской думы, секретарь Общества друзей Русского театра, председатель Общества филлистов корпорации «Фратернитас Арктика».

⁴⁷ О посещении Н. С. Лесковым и П. Д. Боборыкиным Риги см.: А. П. <еров>. Н. С. Лесков и П. Д. Боборыкин о рижских старообрядцах. — «Сегодня», 1935, № 328, 29 ноября.

⁴⁸ Губернатор Лизандер известен проведением русификаторской политики в Прибалтике в конце XIX — начале XX в.

⁴⁹ Агафангел (1850—1928; в миру Александр Лаврентьевич Преображенский), в 1897—1910 гг. архиепископ Рижский и Митавский, противник баронских привилегий в Прибалтике и сторонник умеренно-русификаторского курса. Прославился защитой перед светскими властями приговоренных к смертной казни в период первой русской революции.

⁵⁰ Борис Юльевич Поляк (Поллак) — врач, работавший в рижской еврейской больнице, журналист (печатался под псевдонимом Б. Поляков), один из владельцев акционерного общества «Сегодня». В 1939 г. эмигрировал из Латвии.

⁵¹ О пребывании И. А. Бунина в Даугавпилсе см.: А. <А. Форманов> Пребывание Ив. А. Бунина. — Газ. «Наш даугавпилский голос», 1938, № 36 (496), 6 мая; АИФ <А. Форманов>. С И. А. Буниным. На чествовании Бунина. Впечатления. — Газ. «Наш даугавпилский голос», 1938, № 37 (497), 10 мая.

⁵² См.: П. Н. Милуков приветствует франко-советский договор. — «Сегодня», 1936, № 64, 4 марта.

⁵³ И. А. Бунин имел в виду русские издательства в Латвии. Латышские переводы его произведений публиковались неоднократно, они выходили и отдельными изданиями (так, напр., в 1933 г. вышел перевод «Жизни Арсеньева»).

ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ ВЛ. СОЛОВЬЕВА-ПОЭТА

Публикация З. Г. Минц

Структура поэтической личности и текстология

Вопросы текстологии того или иного автора чаще всего изучаются в связи с эдичионными задачами, в аспектах творческой истории и психологии творчества. Между тем, многое в принципиальном подходе художника к коренным текстологическим проблемам (понятие текста и вариантов, понимание функций и условий бытования произведения и т. д.) связано с его общей «картиной мира», с типом практического поведения и мироотношения. Творчество Вл. Соловьева дает в этом смысле интересный материал для наблюдений.

Как известно, довольно обширное и весьма многогранное поэтическое наследие Вл. Соловьева до сих пор не исследовано с удовлетворительной полнотой. Первоочередными задачами все еще остаются издание «Полного собрания стихотворений» Соловьева и публикация произведений, разбросанных по фондам государственных архивохранилищ и частным собраниям.¹

Одной (хотя отнюдь не единственной) из причин того, что значительная часть соловьевских произведений по сей день не увидела света, являлось особое отношение философа к собственному поэтическому творчеству. Впервые, Соловьев, всегда фанатически уверенный в правоте своих теоретических построений, никогда ничего не менявший в статьях под влиянием критики или дружеских советов, к стихотворным опытам относился совершенно иначе. Он постоянно сомневается в художественном достоинстве своих произведений, в письмах к друзьям и знакомым (М. М. Стасюлевичу, В. Л. Величко и мн. др.) часто спрашивает, не следует ли внести в текст те или иные изменения (и, получив утвердительный ответ, всегда вносит их), испытывает сильные колебания в необходимости печатать свои стихи. В предисловии к 1 изданию «Стихотворений» Соловьев писал, что выпускает их в свет лишь «по желанию некоторых друзей, которым они нравятся более», чем ему самому.^{1а} В прижизненных изданиях стихов Соловьева увидело свет поэтому не более половины написанного им.

Однако дело не только и не столько в строгости отношения к себе Соловьева-поэта. Все создаваемое им поэт четко делит на предназначенное

¹ Задача эта, к сожалению, не решена и в издании: Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Вступительная статья, составление и примечания З. Г. Минц, Л., СП, 1974 (ниже: Вл. Соловьев, 1974). В издание по некоторым обстоятельствам не вошли публикуемые в настоящем сообщении тексты, а также публиковавшиеся ранее стихотворения «В Землю Обетованную» и «Миша Потрошитель».

^{1а} Стихотворения Владимира Соловьева. М., 1891, с. 3. Показательно, что этот первый поэтический сборник Соловьева появился почти через 15 лет после того, как были написаны первые дошедшие до нас стихи философа.

к опубликованию и написанное «не для печати». К первой группе он относит по преимуществу произведения философской, пейзажной и отчасти интимной лирики, ко второй — в основном, так называемые «шуточные» стихотворения (хотя не только их).² Такое деление, имевшее, как увидим ниже, очень сложные побудительные причины, было истолковано издателями посмертных сборников «Стихотворений» Вл. Соловьева — братом поэта М. С. Соловьевым, а затем сыном Михаила Сергеевича, Сергеем Михайловичем Соловьевым — довольно примитивно. Отказавшись от публикации «шуточных стихов» Вл. Соловьева, они руководствовались, с одной стороны, боязнью «снизить» высокий образ поэта-идеалиста, пророка Вечной Женственности, с другой, — истолкованием этих произведений как «неприличных», долженствующих быть скрытыми как своего рода семейная тайна. Поэтому хотя юмористические и сатирические произведения Соловьева были хорошо известны его родственникам и друзьям и, безусловно, собирались ими, в IV—VI издания стихотворений (1901—1915 гг.) они не вошли.³ Когда же Э. Радлов в конце 1900—1910-х гг., собирая материал для редактируемых им «Писем» Вл. Соловьева (т. I — СПб., 1908; т. II — 1909; т. III — 1911; т. IV — Пб., 1923), стал широко включать в них «шуточные» стихи и послания, С. Соловьев в письме к Э. Л. Радлову от 22 января 1914 г. подверг издание резкой критике: «В трех первых томах, — писал он, — были напечатаны письма, задевающие многих почтенных лиц; такие выражения, как «сивый мерин, скопец тамбовских палестин», в применении к Чичерину,⁴ при существовании родственников Чичерина, не <1 нрзб.> в печати, а Вы понимаете, что я, как единственный наследник В. С. <оловьева>, отвечаю перед публикою за все, что обнародывается за подписью В. Соловьева. Некоторые вольные стихотворения, напечатанные в письмах, также не способствовали уважению к памяти В. С. <оловьева> среди публики и критики <...>. Для всякого постороннего читателя автор таких стихов кажется кощунствующим сквернословом.

Во избежание таких инцидентов, я считаю себя обязанным по отношению к памяти В. С. <оловьева> все печатаемое из него и о нем пропускать через самую строгую цензуру».⁵ И дальше, в недатированном, но более позднем письме к Э. Радлову: «А насчет шуточных стихов я все колеблюсь, издавать ли их или нет. Несомненно, к ним прицелятся Антоний <так! — З. М.> Волинский и К^о и возопиют: вот он, ваш аскет, что писал!»⁶. И хотя впоследствии С. Соловьев, придя к выводу, «что с осторожностью можно напечатать небольшой сборник»,⁷ включает «шуточные» стихи в VII

² Из так называемых «шуточных» произведений Вл. Соловьева в прижизненные издания вошли только «Там, под липой, у решетки...» (ок. 1891) и «Из письма» (1892). На наличие в творчестве Соловьева этой группы стихов намекало и вошедшее во все прижизненные сборники «Посвящение к неизданной комедии» (1880). Сама эта комедия — знаменитая «Белая лилия» — была опубликована позже (1893) и без «Посвящения».

³ В 1902 г. М. С. Соловьев предложил своему сыну С. Соловьеву и двоюродному племяннику Ал. Блоку заняться собиранием этих стихов, однако, позже, по-видимому, отказался от своей просьбы (см.: З. Г. Миниц. К генезису комического у Блока (Вл. Соловьев и А. Блок). — «Уч. записки Тартуского ун-та», вып. 266. Труды по русской и славянской филологии. XVIII. Литературоведение. Тарту, 1971, сс. 126—127).

⁴ Речь идет о стихотворении «Не болен я и не печален...», включенном в письмо к М. М. Стасюлевичу от 5 октября 1897 г. (см.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 5, с. 402; Вл. Соловьев, 1974, с. 171), и рассказывающем о полемике Вл. Соловьева с юристом и историком, проф. Б. Н. Чичериним.

⁵ РО ИРЛИ (Пушкинский Дом), ф. 252, оп. 2, № 1484, лл. 11 об. — 12.

⁶ Там же, лл. 32—33.

⁷ Там же, л. 33.

издание «Стихотворений» (М., 1921) и выпускает в свет. «Шуточные пьесы Владимира Соловьева» (М., 1922), однако, он не перепечатывает очень многие из уже опубликованных произведений⁸. В результате, во-первых, «шуточные» стихи до сих пор не собраны вместе, и этим решительно затрудняется их анализ, оценка их удельного веса и роли в соловьевском наследии. Во-вторых, именно среди «шуточных» произведений особенно многое осталось неопубликованным.

Самое же любопытное — в том, что подобная установка соответствовала скорее букве, чем духу отношения Соловьева к своему наследию. Любопытный парадокс заключался в том, что стихотворения, обозначаемые как вещи «не для печати», Соловьев вовсе не предназначал «für sich allein»: он, как правило, широко распространял их в кругу друзей и знакомых. Большинство авторских чистовых списков произведений Соловьева, входивших в состав писем, запесенных в альбомы или просто переписанных и подаренных на память, составляли именно «шуточные» стихи. В сознании многих современников Соловьев был, в первую очередь, автор произведений в «прутковском» духе.⁹ Здесь, следовательно, речь идет не об утаивании какой-то части своего творчества (как получилось у составителей посмертных изданий «Стихотворений» Соловьева), а о том, что различные произведения предназначаются для бытования в разных (порой близких, порой весьма далеких друг другу) кругах. Различие это — не только количественное (хотя, конечно, у опубликованных стихотворений читателей было больше, чем у расхоронившихся в списках). Так, стихи, посылавшиеся Соловьевым М. М. Стасюлевичу и адресованные «невским скептикам» — либералам «Вестника Европы», очень редко дублировались в письмах к философским единомышленникам поэта (Л. Лопатину, Н. Гроту и др.); круг стихотворений, содержащийся в переписке с С. Трубецким, не вполне совпадает с рассылаемыми остальным друзьям поэта; одни «вещицы» Вл. Соловьев дает читать преимущественно дамам, другие — только знакомым мужчинам и т. д., и т. п. При этом речь идет вовсе не о единичных случаях, а о последовательно проводимой установке. Вл. Соловьев как бы говорит с разными читателями на разных поэтических языках.¹⁰

В результате принципы деления Соловьевым своих произведений на две указанные выше группы оказываются сложными и неоднородными. Лишь изредка отказ от публикации диктуется причинами художественного отбора.¹¹ Чаще он определен мотивами идейно-тактическими, например, ориентацией на цензуру (ср. такие политически острые произведения, как «Признание», «Привет министрам», «Своевременное воспоминание», «Миша-потрошитель (Посвящается Главному управлению по делам печати)», пьеса «Дворянский бунт» и др.).¹² В подавляющем же большинстве случаев речь

⁸ Кроме четырехтомника «Писем», см. прежде всего письма к М. М. Стасюлевичу в кн.: «М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», под ред. М. К. Лемке. Т. 5, СПб., 1913.

⁹ См.: З. Г. Минц. Ук. соч., с. 126.

¹⁰ В этом смысле эстетика «шуточных» и написанных «на случай» стихотворений Вл. Соловьева близка к принципам построения письма. В письмах почти каждого адресанта можно выделить как общее для всей его эпистолярной продукции содержательно-стилевое ядро, так и те резко несовпадающие компоненты, которые определены авторской моделью данного адресата (или группы адресатов).

¹¹ Ср., например, длительные колебания в необходимости публикации такого значимого для Соловьева стихотворения, как «Воскрешемому».

¹² Ср. также стихотворения, подвергнутые «автоцензуре нравов» (например, «Ах, Лида, Лида, что с тобою...» — ЦГАЛИ, ф. 446, оп. I, ед. хр. 13, лл. 80—80 об. — и др.). Наличие подобных стихотворений у Соловьева также, по-видимому, должно быть учтено исследователем.

идет об ином — о том, что стихотворение уже в момент создания имеет четко очерченный (отнюдь не всегда узкий!) круг адресатов, которым и отправляется. Таковы эпистолярные стихи и стихопроза, произведения интимного характера, а также написанные «на случай» и такие, смысл и причина появления которых понятны лишь в контексте быта и личных взаимоотношений поэта. Среди всех этих произведений есть и вовсе не «шуточные». Точнее говоря, здесь преобладает типичное для Вл. Соловьева соединение лирики и иронии, серьезного и «игры».

С ориентацией всей (а не только эпистолярной) поэзии Вл. Соловьева на четкий круг адресатов связано и создание определенного типа вариантов поэтических текстов. Редакции и варианты его стихов бывают двух типов. Одни создаются в процессе оформления или совершенствования одного текста — так, что каждый последующий его вариант отменяет предыдущие. Другие ориентированы на создание нескольких произведений, текстually порой очень близких, но подразумевающих разную сферу и способы бытования. Так, например, создаются два варианта известного стихотворения «Кумир Небукаднечара», написанного на сюжет библейской легенды. Один, входивший в прижизненные (II и III) издания, не имел посвящения, начинался со слов: «Он был велик, тяжел и страшен...» — и кончался картиной гибели Небукаднечара (Навуходоносора): «Он пал в падении великом...». Второй, не рассчитанный на цензуру, имел ироническое посвящение «К. П. П<обедоносцеву>», иной порядок начальных строк (начинался со строфы: «Он кликнул клич: «Мои народы!...») и отсутствующую в первом варианте сатирическую концовку:

Где был вчера владыка мира,
Я нынче видел пастухов:
Они творца того кумира
Пасли среди его скотов.¹³

Разумеется, само по себе приспособление текста к цензуре не представляет совершенно ничего уникального и свойственно достаточно широкому кругу авторов. Здесь дело в ином: создаются два текста, с разным содержанием (переложение библейского мифа, исполненное этического пафоса, — и резкая политическая сатира), но равно органичные для поэзии Вл. Соловьева.

Очень часто, таким образом, наличие двух вариантов свидетельствует об ориентации одного из них — на письменное, а другого — на устное бытование. Но еще чаще имеются в виду разные адресаты при том, что оба варианта не рассчитаны на печать. Например, 11 января 1887 г. Вл. Соловьев посылает в письме Н. Н. Страхову стихотворение «Ах, далеко за снежным Гималаем...», а 18 сентября того же года в письме М. М. Стасюлевичу — его вариант «Ах, далеко в Тибетском плоскогорьи...».¹⁴ Первое — стихотворение, соединяющее нонсенс в духе Козьмы Пруtkова (вплоть до создания шуточных подстрочных примечаний с «вариантами к основному тексту»: «Горячим чаем» — «Собачьим лаем» и т. д.) и черты довольно яркой антиклерикальной сатиры на «монахов иступленных». В письме к М. М. Стасюлевичу, либералу-западнику, который был весьма далек от перипетий отношений Вл. Соловьева с православной церковью, вся эта тема снята, и стихотворение приобрело черты шуточного дружеского послания. Предельным случаем здесь будет написание стихотворного письма с общим текстовым ядром и вариантами, предназначенными для отправки его разным адресатам (группам адресатов).

¹³ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 5, СПб., 1913, с. 362.

¹⁴ См.: Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. I, с. 25; М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. V. 1-ый текст при жизни Вл. Соловьева не увидел света, 2-ой вошел в комедию «Белая лилия» (действ. III, явл. 7).

Создание такого рода вариантов делает рассматриваемые стихотворения неотделимыми от быта, от бытовой культуры, имевшей, в значительной мере, игровой облик. Последнее проявляется и в круге их тем и образов (значительная часть подобных текстов носит, как указывалось, «шуточный» характер), и в способах их создания и функционирования. В частности, следует выделить особый «игровой» подход Соловьева к вопросам авторства. Подвижными оказываются не только тексты стихотворений, но и соотношение «автор — текст»: по поводу многих произведений Соловьев то утверждает, что они написаны им, то отрицает свое авторство (причем большинство таких случаев нельзя объяснить ошибками памяти!). С этим же связаны и многообразные мистификации Соловьева.

С одной стороны, Вл. Соловьев не раз выдавал свои стихотворения за чужие. Такова, к примеру, история публикации первых появившихся в печати поэтических опытов Соловьева — шуточных стихов в «Новом времени». Приехав в 1886 г. по делам в Петербург, Соловьев посылает несколько стихотворений В. П. Буренину со следующим сопроводительным текстом: «... Прилагаемые стихотворения мне поручено переслать Вам, во-первых, как знатоку и мастеру этого дела, а, во-вторых, как постоянному сотруднику «Нового времени» — для напечатания там, буде возможно. Автор, мой хороший знакомый, не имеет никакого сношения с так называемыми юмористическими журналами. Между тем, он лишен почти всяких средств к существованию, и несколько десятков рублей гонорара были бы ему весьма кстати. Посылаемые пьесы я записал с его слов, и другого списка он не имеет: поэтому в случае ненапечатанья прошу Вас очень возвратить рукопись на мое имя — Европейская гостиница, № 133, Влад<имиру> Соловьеву».¹⁵

Далее Соловьев просит Буренина придумать для его «друга» псевдоним: «Если стихи Вам понравятся, не придумаете ли подписи? Он просил меня, но я на этот счет совершенно не изобретателен».¹⁶

Вл. Соловьев продолжал игру и после появления своих «шуток» в «Новом времени». В следующем (как и первое, недатированном) письме он сообщает: «Мой приятель (автор напечатанных Вами в воскресенье стихотворений), уезжая сегодня в Москву, поручил мне поблагодарить Вас за внимание к грехам его юности», — и высказывает ряд весьма определенных суждений относительно придуманного Бурениным псевдонима, заботливо оберегая «друга» от нежелательных ассоциаций, которые могут быть этим псевдонимом вызваны: «Избранный Вами для него псевдоним <Князь Эспер Гелиотропов. — З. М.> сам по себе хорош, но имеет то маленькое неудобство, что может быть принят за аллюзию на одного юного поэта, князя Эспера Ухтомского. Мой друг (так же, как и я) большой любитель Ваших «Стрел», но сам стрелять боится. Поэтому если Вы найдете возможным напечатать что-нибудь из вновь посылаемого или из посланного прежде, то пусть это будет подписано короче: К. Гелиотропов. Таким образом, и тождество подписи сохранится, и опасность «личности» уничтожится».¹⁷ И, наконец, в последнем (тоже без даты) письме к Бунину Соловьев заботится о гонораре для «друга» и подводит итог его сотрудничества в «Новом времени»: «Так как в конторе «Нового времени» не обязательно знать ни моего почерка, ни того, что кн<язь> Гелиотропов есть мой клиент, то будьте добры дайте посланному записку, по которой он мог бы сегодня получить, что следует. Если он Вас не застанет, то оставит это письмо, а Вы уже будьте столь великодушны, распорядитесь как-нибудь, чтобы мне прислали гонорар в Европейскую гостиницу № 133.

¹⁵ РО ИРЛИ, ф. 36, оп. 2, ед. хр. 437, лл. 4—6.

¹⁶ Там же, л. 6.

¹⁷ Там же, лл. 9—10.

Напечатано было 16 февраля 3 стихотворения, 9 марта — также три и 16 марта — опять три».¹⁸

Поскольку авторство Вл. Соловьева устанавливается относительно всех нововременских публикаций с абсолютной достоверностью,¹⁹ то перед нами — яркий и вместе с тем типичный для Соловьева пример мистификации. И хотя нельзя полностью исключить и некоторых практических мотивировок поведения молодого поэта (нужда в деньгах и, вместе с тем, нежелание, чтобы его имя ассоциировалось с юмористами «Нового времени»), однако, в основном, перед нами те «игры» своим творчеством, в которые Вл. Соловьев вовлекался не раз и впоследствии.

Мистификации Соловьева носили и иной характер: часто он выдавал чужие стихи за свои.²⁰ Эту возможность следует особенно учитывать текстологам поэта; так, все еще точно не установлена степень участия его в создании стихотворений «Сановный блюститель духовного здравия...»,²¹ «Затеплю я свою лампаду...»,²² пьесы «Дворянский бунт»²³ и некот. др.

¹⁸ РО ИРЛИ, ф. 36, оп. 2, ед. хр. 437, лл. 8—9. Вл. Соловьев весьма точно учел все публикации «друга»: 16 февраля 1886 г. в «Новом времени» появились за подп. «Князь Эспер Гелиотропов» стихотворения «Пророк будущего», «Мудрый, осенью» и «Там, под липой, у решетки...», затем, за той же подписью, — «Видение», «Скептик» и «Признание даме...», и в последнем номере, уже под псевдонимом «Князь Гелиотропов», — «Таинственный пономарь», «Осенняя прогулка рыцаря Ральфа» и «Полигам и пчелы».

¹⁹ Доказательства авторства:

а) Упоминание стихов, публикуемых в «Новом времени», как *своих*, в письмах к родным и друзьям (ср. в письме матери от начала марта 1886 г.: «Я стал печатать свои шутовские стихи в «Новом времени» под именем князя Гелиотропова». — Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Т. 2, с. 40).

б) Наличие многочисленных авторских списков, в том числе и носящих следы авторской правки (см.: РО ИРЛИ, ф. 252 (Радлов), оп. 3, ед. 11 <«Таинственный пономарь»>; собрание Ф. А. Петровского — то же; РО ИРЛИ, ф. 252, оп. 2, ед. 149 <«Ответ даме...»>; ЦГАЛИ, ф. 453 (гр. Соллогубы), лл. 8—8 об. — то же и др.).

с) Наличие черновых автографов, которыми располагали М. С. и С. М. Соловьевы (ср., например, письмо С. М. Соловьева к Э. Л. Радлову);

д) Включение ряда стихотворений из «Нового времени» в текст комедии «Белая лилия» («Раздумье скептика», «Признание даме...»).

²⁰ Ср.: «С юмористическими стихами Соловьева много недоразумений. По-видимому, он любил ими мистифицировать публику <...> Одна смешная баллада, ходившая по рукам под именем Владимира Соловьева <вероятно, «Пан Зноско» — З. М.>, оказалась впоследствии произведением А. А. Столыпина» (А. Амфитеатров, Литературный альбом. СПб., изд. «Общественная польза», 1904, с. 262).

²¹ Например, к списку этого стихотворения, хранящемуся в РО ИРЛИ (15. 679. СХVI. 6. 4), имеется помета составителя списка: «Что касается до оды <Полное название стихотворения — «Ода на ограбление благородной дамы Александры Николаевны Бахметьевой Его высокопревосходительством г. обер-прокурором Святейшего Синода Константином Петровичем Победоносцевым» — З. М.>, то кто-то говорил мне, что она составлена С. Н. Трубецким сообща с Соловьевым», — хотя есть свидетельства, что Вл. Соловьев читал эту «оду» как чужое стихотворение.

²² А. Амфитеатров («Литературный альбом». СПб., 1904, с. 261) писал об этой эпиграмме: «Потом меня уверяли, что эпиграмма эта — кн<язя> Трубецкого <...>. Я помню, что В. С. Соловьев говорил мне о ней, как о своей».

²³ Вл. Соловьев рассылал эту пьесу друзьям как свое произведение (см.: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. V, СПб., 1913,

Все эти и многочисленные подобные примеры живо напоминают отношение к художественному творчеству в кругу создателей Козьмы Пруtkова. К этому следует добавить уже рассматривавшийся в науке факт художественных воздействий «поэта из Пробирной палатки» на ранние «шуточные» произведения Соловьева. Думается, однако, что речь идет о явлении, имеющем более широкие генетические связи и предполагающем более широкие типологические параллели.

В молодости Вл. Соловьев был тесно связан с несколькими кружками дворянской молодежи. Связи эти имели разную степень важности для начинающего философа, но многие из них сыграли значительную роль в его жизни. Это, во-первых, так называемый «кружок шекспиристов» — выпускников Поливановской гимназии, во главе которого стоял известный педагог Л. И. Поливанов.²⁴ Это, далее, приятель В. С. Соловьева гр. Ф. Л. Соллогуб, поэт «прутковской» традиции и талантливый художник,²⁵ в доме которого часто бывал Соловьев. Это, наконец, кружок поклонников и продолжателей традиций А. К. Толстого, собиравшийся летом в имениях Красный Рог (под Брянском) и Пустынька (под Петербургом) у вдовы А. К. Толстого Софии Андреевны и ее племянницы С. П. Хитрово. В С. П. Хитрово Вл. Соловьев был долго и трагически влюблен, и с конца 1870-х гг. в продолжение более десяти лет он часто и подолгу жил в ее имениях.

Интеллигентски-дворянская культура, во 2-ой половине XIX в. уже переживавшая глубочайший кризис, чем дальше — тем больше могла существовать только как культура «домашняя», как культура отдельных микромиров — островков во враждебных морях государственности, бюрократии, буржуазности, страшного в своей загадочности народа и неотвратимо надвигавшегося краха старого мира. Основным средством сохранения «своего» мирка становились опора на семейные или дружеские культурные традиции и установка на создание и поддержание своей культуры — особой, индивидуальной, имеющей свои языки общения и поведения. А. Блок, тонко подметивший эту черту в воспитавшем его Бекетовском доме:

*Свои словечки и привычки,
Над всем чужим — всегда кавычки
И даже иногда — испуг,²⁶ —*

указал и на ее вторую сторону: только наличие индивидуальной культуры могло стать средством сближения этих дворянски-интеллигентских микромиров друг с другом.²⁷

«Домашний» характер этой культуры придавал ей ярко выраженный неофициальный вид. Такая неофициальность, с одной стороны, почти всегда была связана с той или иной долей скептицизма в отношении к государству,

с. 357). Авторство Вл. Соловьева не подвергалось сомнению и в издании С. М. Соловьева («Шуточные пьесы Владимира Соловьева», М., 1922, с. 10; в распоряжении С. Соловьева был автограф пьесы). Однако, Э. Л. Радлов писал, что пьеса была написана им, а Вл. Соловьев только правил текст. Произведения, упомянутые в примеч. 20—22, особенно пьеса «Дворянский бунт», все же, по всей вероятности, написаны в значительной их части Вл. Соловьевым (см.: Вл. Соловьев, 1974, сс. 177, 179, 255; комм. сс. 324, 325, 331).

²⁴ См.: С. Соловьев. Биография Владимира Сергеевича Соловьева. — В кн.: Владимир Соловьев. Стихотворения. Изд. 7-ое. М., изд. «Русский книжник», 1921, с. 5—6.

²⁵ См. там же. Большой, хотя, к сожалению, пока не увидевший света материал по биографии и творчеству Ф. Л. Соллогуба собран в настоящее время проф. Ф. А. Петровским (Москва).

²⁶ Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3, М—Л., ГИХЛ, 1960, с. 314 (курсив мой. — З. Г.).

²⁷ Там же, с. 313.

со свободой обсуждения вопросов религии, философии и культуры. С другой стороны, она могла проявляться и как скептическое отношение к нормам «гражданского» (демократического) миропонимания и поведения. Двойное отталкивание, боязнь «обих воль» (Блок; речь идет «о воле царской и народной») ²⁸ создавали предпосылки для связи такого мироотношения с «романтической пронией», снимавшей или отодвигавшей на задний план любые «высокие ценности» и «идеалы».

Искусство и, в частности, литература играли здесь особую роль. С одной стороны, в таком быту безусловно подразумевалось активное владение традициями русской и европейской культуры; он был насыщен «читателем» и по «словечкам», и по «привычкам». Активной формой освоения традиции были широко распространенные импровизации. Широкое вхождение искусства в повседневное поведение придавало быту артистический, «игровой» характер, высокую степень художественной организованности, которая должна была противостоять хаосу «большого» мира. В значительной степени именно эти особенности «домашнего» — дворянского — быта навели Блоку 1910-х гг. (уже давно порвавшему с сословностью, испытывавшему мощное воздействие демократических идей) мысль о том, что уходящая в прошлое дворянская культура еще должна будет сыграть роль в формировании облика гармонического человека будущего.

С другой стороны, входящее в быт искусство само становилось «бытовым». «Домашняя» (или кружковая) тематика и семантика образов (своего искусства или переосмысленной «большой» традиции) дополнялись тем, что тексты приобретали черты своеобразного фольклоризма (связанного в целом не с ориентацией на фольклор, а с условиями бытования): они передавались как «местные предания», обростали вариантами, менявшимися в зависимости от фактов жизни членов «микромира», и т. д. Хотя они часто записывались на память и пересылались в письмах, главная жизнь этих текстов была связана не с тем, что их знали, а с тем, что их читали (друг другу, гостям, себе). Патриархальная замкнутость интеллигентско-дворянских кружков определяла и то, что тексты здесь функционировали, прежде всего, как тексты *этого круга*, а уже потом — как сочиненные кем-то (хотя автор в принципе чаще всего был известен). Отграниченность и культурная насыщенность жизни способствовали складыванию текстов как «микромифов»; мифологизировались типовые ситуации, обстоятельства жизни; поведение и качества каждого из членов коллектива осмыслились в свете уже сложившегося или возникшего в данный момент «мифа» о нем. Что касается содержания текстов кружкового искусства, то они, как уже говорилось, чаще всего представляли собой тематически — отклики на конкретные события микро- и макромира, осмысленные в свете «кружковой мифологии», стилистически — шутку, пародию, а функционально всегда были связаны с бытом, обрядом или игрой.

Словесные тексты этого искусства были, по преимуществу, поэзией или драмой (ср. основной корпус произведений «поэта Пробирной палатки»): в кружке «шекспиристов» сочинялись и ставились шуточные пьесы (вроде комедии «Альсим», III акт которой был написан Вл. Соловьевым); Ф. Л. Соллогуб сочинял «басни» и комедии («Соловьев в Фиваиде») ²⁹; стихами был заполнен быт обитателей Красного Рога и Пустыньки.

Таково было культурное окружение Вл. Соловьева в годы его молодости (а отчасти и позже). Но, погружаясь в этот мир, Вл. Соловьев никогда не растворялся в нем. Как бы ни привлекали его тонкость «домашней культуры», ее уют и артистичность, ее отгороженность от пугающей философа «злобы дня», ее ирония и игра самого Соловьева многое отделяло от нее, — и, прежде всего, черты демократизма, «плебейства»,

²⁸ Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3, М—Л., ГИХЛ, 1960, с. 314.

²⁹ См.: С. М. Лукьянов. О Вл. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Кн. третья. Выпуск I. Пг., 1922, с. 283—307.

в облике, поведении и — отчасти — мировоззрении поэта. Любя уют «дворянских гнезд», он всегда оставался неприкаянным, безытным плебеем, зачастую в самом прямом смысле слова не имеющим, где приклонить голову. Цена высокой культурную организацию мира «хороших манер», сам он, однако, мог играть в нем лишь роль талантливого *enfant terrible*.³⁰ Внук разночинца-священника и сын профессора, он был не светским *dandy*, а ученым, лектором, готовящимся к профессорской карьере, и философом-идеалистом, наивно и пламенно верившим в свою пророческую миссию. Но и это еще не был весь Соловьев. Тонко чувствующий неповторимо-индивидуальные черты личности В. В. Розанов писал о Соловьеве: «Из-за священника и профессора у него вырывалась личность журналиста <...>». В образе мыслей его, а особенно в приемах его жизни и деятельности, была *бездна «шестидесятых годов»*.³¹ Наконец, и туманный «мистический радикализм» молодого Соловьева, с ужасом и тайной радостью ожидавшего катаклизмов «страшного суда» и конца земного бытия, имел, по существу, очень мало общего с ироническим пессимизмом и еще меньше — со светским снобизмом его друзей.

Все эти социально-психологические отличия определили сходства и несходства в отношении к искусству вообще и к собственному творчеству, в частности, у Соловьева и в кружках, о которых идет речь. Соловьев уже в 1870 — нач. 1880-х гг. создает и произведения, как бы полностью вышедшие из мира «домашней культуры», и произведения, с нею решительно несозвучные (причем иногда здесь можно говорить об эволюции,³² но очень часто совершенно различные тексты создаются одновременно). Накал неприятия «злой жизни», определивший звучание сатиры Соловьева и пророчеств «Панмонголизма», идеологически совершенно несовместим с мировоззрением друзей его молодости, а кощунства, цинизм и гиньоль — с изящной, хотя порой и отходящей от чопорных норм «хорошего тона», стилистикой «домашней поэзии».

Глубокие противоречия творчества и личности Вл. Соловьева проявились в создании трех групп произведений: 1) философской, интимной и пейзажной лирики мистического содержания; 2) резких сатирических произведений конца 1880-х — начала 1890-х гг. и 3) шуточной (по преимуществу) «домашней» поэзии. Нетрудно показать, что взгляды, лежащие в основе текстов каждой из этих групп, действительно мало совместимы³³. Выделенным группам соответствуют и три разных типа культурного поведения, и три разных концепции художественного текста, и три разных подхода к творчеству. Поэт-мистик творит в расчете на силу своих пророчеств, создает произведения для печати, подолгу работает над текстами, изменяя

³⁰ Совершенно «плебейским», например, было отношение Соловьева к изучению языков. Полиглот, он свободно читал и писал по-французски, однако, его французский язык был мало приспособлен для светских бесед и приводил в отчаяние благосклонных к поэту «дам».

³¹ В. В. Розанов. На панихиде по Вл. Соловьеву. — В кн. В. Р.: Около церковных стен. Т. 1, СПб., 1906, с. 241—242 (*Курсив мой* — З. М.).

³² См.: З. Г. Минц. К генезису комического у Блока (Вл. Соловьев и Ал. Блок). Уч. зап. ТГУ. Вып 206, Тарту, 1971.

³³ Первая группа произведений противопоставлена двум другим содержательно-идеологически: религиозно-мистические настроения на одном полюсе — и «богоульства», скептицизм или игнорирование «высоких» проблем на другом. Произведения двух первых групп противопоставлены третьей по масштабу темы («большая» жизнь — жизнь «домашняя») и по подходу к творчеству (пророчества и «высокие» инвективы — ироническое снятие «больших» проблем). Наконец, во второй группе произведений отчетливо проявились воздействия на Соловьева демократических (как либеральных, так и радикальных) идей, в то время как стихотворения лирические и «шуточные» имеют иной генезис.

их от издания к изданию. Сатирик 1880-х — нач. 1890-х гг. пишет ярко злободневные стихи «не для печати», активно рассылает свои произведения в списках, редко возвращаясь к уже написанному. Автор «шуточных» и близких к ним произведений «домашней культуры» создает множество синхронных вариантов одного текста, приспособленных каждый для бытования в своем микроколлективе; произведения эти, исполненные намеков и «местных мифов», включены в быт и игру.

Несовместимость содержания, стилистики и функций различных групп собственных произведений самим Соловьевым, особенно в конце жизни, воспринималась трагически, как знак краха его миссии. «Синтез» не осуществился ни в жизни, ни в творчестве, ни на уровне личного поведения.

Те, кто считали себя учениками и продолжателями Соловьева, поступили проще: они сочли определенные пласты его наследия как бы не существующими, отказавшись не только от публикаций, но и от упоминаний о них. Лишь изредка в критической и мемуарной литературе прорывались тревожные упоминания о непростоте и неоднозначности личности и взглядов Соловьева.³⁴

Противоречия Вл. Соловьева были совершенно по-новому истолкованы и воскрешены в творчестве зрелого Блока. В статьях «Рыцарь-монах» (1910), «Вл. Соловьев и наши дни» (1920) и ряде других Блок утверждает, что странные контрасты в поведении и в творчестве философа-поэта были отдаленным предвестием нового человека и новой культуры, которые будут открыто антиномичны, как сам космос в его диалектической сущности, в его «противоречиях непримиримых и требовавших примирения». ³⁵ То, что у Соловьева было спонтанным проявлением черт личности и на уровне самосознания воспринималось как странное, долженствующее быть подавленным, то у зрелого Блока становится темой и пафосом творчества.

Публикуемые ниже произведения Вл. Соловьева относятся к разным ответвлениям его поэзии. Найденное нами в архивах и частных собраниях, безусловно, не исчерпывает соловьевского стихотворного наследия, до сих пор не увидевшего света, и должно рассматриваться лишь как первый шаг к его полному собранию.

I. «Что стало вдруг с тобой?...»

Печатается по недатированному беловому автографу (ЦГАЛИ, ф. 446 (Вл. Соловьев), оп. I, ед. хр. 75, л. 1 об.).

Содержательно и по кругу образов примыкает к лирико-философским произведениям, посвященным С. М. Мартыновой, и, скорее всего, написано в начале 1890-х гг., однако, более точных оснований для датировки пока нет.

Что стало вдруг с тобой? В твоих глазах чудесных
Откуда принесла ты этот дивный свет?
Быть может, он зажжен и не в лучах небесных,
Но на земле, у нас, такого тоже нет...

На что ты так глядишь? Что слушаешь так жадно,
Не видя никого и целый мир забыв?
О чем мечтаешь ты то грустно, то отраднo?
Куда тебя унес неведомый призыв?

³⁴ См.: В. Л. Величко. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. СПб., 1902, с. 173—174; А. Амфитеатров. Литературный альбом. СПб., 1904, с. 256—257. Ср. также название статьи Д. С. Мережковского о Соловьеве — «Немой пророк».

³⁵ Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт. Т. 3, с. 296.

Но миг — и свет угас! — привычно и послушно
Вступаешь снова ты в привычный разговор, —
И, будто огонек далекий, равнодушно
Едва мерцает нам твой потускневший взор.

II. Стихи из альбома С. М. Мартыновой.

В частном собрании проф. Ф. А. Петровского, среди ряда писем и автографов стихотворений Вл. Соловьева,¹ имеется тетрадь с надписью, сделанной ныне покойным братом Ф. А. — литературоведом М. А. Петровским. Надпись на обложке: «Вл. Соловьев. Стихотворения из альбома С<офы> М<ихайловны> М<артыновой>. Списаны ночами 7/8 и 8/9 июня 1913 г. Михаилом Петровским». Копия альбома была сделана в именин Мартыновых Знаменском.

Поскольку известная часть «мартыновских» произведений Вл. Соловьева до сих пор не была опубликована, а местонахождение альбома неизвестно, список М. Петровского приобретает особую значимость. Судя по пометам Петровского, большинство текстов было внесено в альбом самим Соловьевым. Приводим полностью оглавление альбома С. М. Мартыновой со всеми воспроизведенными Петровским текстовыми пометками Вл. Соловьева:

I. Пролог (Булавка) 3 января <1892> («Сказочным чем-то повеяло снова...»)²

II. «Слов нездешних шепот странный...»³.

III. Завязка (Японские розы) 15 января <1892> («О, греза милая счастливого японца...»)⁴

IV. «Нет! Так я не любил... Томительней и жгучей...»⁵

V. Воскресное падение из саней 26 января <1892> («Смеялся солнце над нами...»)⁶

VI. В девичьем монастыре 30 января <1892> (Чем люди живы?)⁷

VII. Коллизия [(исключительно нравственные тернии)] 31 января <1892> («Три дня тебя не видеть, ангел милый...»)⁸

VIII. «Я был велик. Толпа земная...»⁹

¹ Отец Ф. А. Петровского был гимназическим одноклассником и приятелем Вл. Соловьева. Среди автографов собрания Петровского — «Эпитафия («Владимир Соловьев...»», «Таинственный пономарь», «Тесно сердце, я вижу, твое для меня...» и неопубликованное стихотворение «Жертва злого лон-тенниса...» (см. стр. 389).

² Впервые: Владимир Соловьев. Стихотворения. Изд. 6-е, изд. С. М. Соловьева, 1915, с. 283.

³ Впервые: Вл. Соловьев. Письма [Т. 4], Пб., 1923, с. 158.

⁴ В сокращенном виде (начиная со второй строфы — «Пусть осень ранняя смеется надо мною...») впервые: «Северный вестник», 1892, № 9, с. 142; полностью: Вл. Соловьев. Письма [Т. 4], Пб., 1923, с. 157.

⁵ В сокращенном виде (начиная со второй строфы — «Был труден долгий путь. Хоть восхищала взоры...») впервые: Стихотворения Владимира Соловьева. Изд. 2-ое, дополненное, СПб., 1895, с. 21; полностью: Вл. Соловьев. Письма [Т. 4], Пб., 1938, с. 157 (с разночтением: «*Мучительной* и жгучей»).

⁶ Впервые: (под назв. «По случаю падения из саней вдвоем»): Владимир Соловьев. Стихотворения. Изд. 6-е, 1915, с. 279.

⁷ Впервые: Владимир Соловьев. Стихотворения. Изд. 6-е, 1915, с. 281.

⁸ Впервые: Вл. Соловьев. Письма [Т. 4], Пб., 1923, с. 159.

⁹ Впервые: там же.

IX. [Развязка] Рези́гнация 3 февраля <1892> («Я смерти не боюсь...»)¹⁰

X. «Милый друг, иль ты не видишь...»¹¹

XI. «Вижу очи твои изумрудные...»¹²

XII. «День прошел с суетой беспощадною...»¹³

XIII. 29 февраля <1892> «Мчи меня, память, крылом нестареющим...»¹⁴

XIV. 11 марта <1892> Имману-Эль (С-Нами-Бог)¹⁵

*XV. 15 марта «Спиртом сначала горел я стоградусным...»¹⁶

XVI. 18 мая «Зной без сияния...»¹⁷

*XVII. «Стройна, как арфа серафима...»

*XVIII. «Стих последний, прошу, не примите буквально...» 21 мая С. Воробьевка.

XIX. «Ветер с западной страны...» 2 июня. Морщик<пно>¹⁸

*XX. «Светом закат моих дней озарившая...» 9 июня. Морщикино.

XXI. «Потому ль, что сердцу надо...» 12 июня Морщ<ихино>¹⁹

XXII. «Владимир Соловьев...» 15 июня, по дороге в Знаменское²⁰.

*XXIII. «Страдная высь бесконечных восторгов...» 21 мая, Воробьевка.

*XXIV. «Сумрачно было в лесу у тебя...» 16 июня. Морщ<ихино>.

*XXV. «Святой когда б тебя узнал...» 16 июня <18>92. Морщ<ихино>

*XXVI. «Страсти любовной огонь сокрушительный...» 17 июня <18>92. Морщ<ихино>

*XXVII. «Скорей я истощу...» 17 июня <1892> Морщ<ихино>.

XXVIII. «Там, где семьей столпились ивы...» 16 июня <18>92, Морщ<ихино>²¹

XXIX. «Нет вопросов давно, и не нужно речей...» 17 июня <18>92. Морщ<ихино>²²

XXX. «Тесно сердце твое для меня...» 22 июня. Москва.²³

*XXXI. «Средь роз твоих на небо ты глядела...»

*XXXII. «Северный ветер, холодный, унылый...» 26 июня <1892> (вместо сентября). Морщ<ихино>

*XXXIII. «Сегодня по тьме я узнал твои очи...» 26 июня. Морщ<ихино>

*XXXIV. «Свет небесных озарений...» 8 июля²⁴

¹⁰ Впервые: Вл. Соловьев. Письма [Т. 4], Пб., 1923, с. 159.

¹¹ Впервые: Стихотворения Владимира Соловьева. Изд. 2-ое, СПб., 1895, с. 23.

¹² Впервые: там же, с. 24.

¹³ Впервые: там же, с. 25.

¹⁴ Впервые: «Северный вестник», 1892, № 10, с. 326, под назв. «Память».

¹⁵ Впервые: «Помочь». Вологодский сборник в пользу пострадавших от неурожая. СПб., 1892, с. 364.

¹⁶ Здесь и ниже звездочкой помечаются тексты, публикующиеся впервые.

¹⁷ Впервые: «Северный вестник», 1892, № 10, с. 236.

¹⁸ Впервые: «Северный вестник», 1892, № 7, с. 218.

¹⁹ Впервые: там же.

²⁰ Впервые: А. Амфитеатров. Литературный альбом. СПб., 1904, с. 260. В альбоме имелся зачеркнутый (Вл. Соловьевым?) прозаический вариант «Эпитафии»: [Под сим камнем || погребен безвременно погибший шкелет || Владимира Соловьева] и «Вариант к последнему двустихию: Познай, прохожий, вновь

Из этого примера

²¹ Впервые: «Вестник Европы», 1892, № 8, с. 752.

²² Впервые: «Северный вестник», 1892, № 9, с. 142.

²³ Впервые: «Вестник Европы», 1892, № 8, с. 753 (в ином метрическом варианте — «Тесно сердце, я вижу, твое для меня...»).

²⁴ Датировка «6 июня», видимо, ошибочна. Исправляем по местонахождению в альбоме.

- XXXV. «Не боюсь я холеры...» Москва 12 сент<ября 1892>²⁵
 XXXVI. «Мы сошлись с тобой не даром...» Москва. 15 сент<ября 1892>²⁶
 XXXVII. «Зачем слова? В безбрежности лазурной...» 16 сент<ября 1892>
 Москва.²⁷
 XXXVIII. «Я добился свободы желанной...» 3 дек<ября 1892> Москва.²⁸
 XXXIX. Скромное пророчество. Москва 10 декабря <1892>²⁹
 XL. «О, что значат все слова и речи...» 12 дек<ября 1892> Москва.³⁰
 XLI. «Милый друг, не верю я нисколько...» 16 дек<ября 18>92. Москва.³¹
 XLII. Предсмертное стихотворение Теннисона (но не мое). 31 дек<ября 18>92. Москва.³²
 *<XLIII> Dépit manqué. Петерб<ург> 26 сент<ября 18>92.³³
 <XLIV> «Сходня, старая дорога...» 21 авг<уста> 1894.³⁴
 *<XLV>. «Свежо предание...»
 *<XLVI>. «Сирени весенней милее...» 26 авг<уста 18>94.³⁵
 *<XLVII>. От имени В. С. Соловьева (лохматого)³⁶
 *<XLVIII>. М. С. Сухотину («Жертва злого лон-тенниса!...») 16 июня
 <?> на жел<езной> дор<оге>.³⁷

Копия альбома С. М. Мартыновой — важный для текстолога документ.

1) Он дает возможность уточнить, а в ряде случаев — изменить датировки многих стихотворений, в том числе и наиболее важных, программных. Так, стихотворение «Скромное пророчество» С. М. Соловьев датировал декабрем 1891 г. (никак не мотивируя свою датировку); местонахождение в альбоме С. М. Мартыновой и ряд особенностей содержания (связанных с перипетиями «лирического романа» поэта) позволяют считать более вероятной дату 10 декабря 1892 г. Стихотворение «Зной без сияния...»

²⁵ Впервые: М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 5, СПб., 1913, с. 370.

²⁶ Впервые: Стихотворения Владимира Соловьева. Изд. 2-ое, дополненное, М., 1895, с. 30.

²⁷ Впервые: «Вестник Европы», 1892, № 10, с. 811.

²⁸ Впервые: Стихотворения Владимира Соловьева. Изд. 2-е. М., 1895, с. 32.

²⁹ Впервые: там же, с. 33.

³⁰ Впервые: «Вестник Европы», 1893, № 2, с. 619.

³¹ Впервые: там же, с. 620.

³² Впервые: Стихотворения Владимира Соловьева. Изд. 2-ое. М., 1895, с. 120, под загл. «Из Теннисона (Памяти О. Н. Смирновой)».

³³ Начиная с этого стихотворения, тексты не нумеровались. Стихотворение сопровождено припиской М. А. Петровского: «Почерк не совсем соловьевский».

³⁴ Приписка М. Петровского: «Тот же почерк» <т. е. тот же, что и в № <XLIII> — 3. М.>. Впервые опубл. вместе с I (см. сноску 2).

³⁵ Слева, около стих. XLV и XLVI — приписки: «17 акр<остих>» и «18 акр<остих>», видимо, принадлежащие М. А. Петровскому, а не владельце альбома и не Вл. Соловьеву.

³⁶ Акrostих, видимо, написан В. Л. Величко (см. стр. 389).

³⁷ Перед стихотворением помета М. А. Петровского, отделяющая стихотворение от остальных текстов: «Пропущено много страниц». М. Петровским списано и несколько других стихотворений, не принадлежащих Вл. Соловьеву, но, возможно, присланных им для С. М. Мартыновой. Они предварены пометой М. А. Петровского о невхождении их в альбом С. М. Мартыновой: «На отдельном листе рукой, лишь напоминающей Соловьева». Это — стих. Ф. И. Тютчева «Я встретил Вас, и все былое...» (без указания автора); а также стихотворения «Не знаю я, коснется ль благодать...» и «Des premiers ans de vorte vie...» с переводом А. А. Фета «О, как люблю я возвращаться...».

С. М. Соловьев датирует 1890 г. (хотя оно не вошло в сборник стихотворений 1891 г. и было опубликовано в «Северном вестнике» в 1892 г.). Местонахождение в альбоме позволяет предположить, что оно было написано между 11 марта и 21 мая 1892 г. — и т. д.

2) В ряде случаев альбом С. М. Мартыновой дает интересные варианты опубликованных ранее стихотворений. Например, стихотворение, в каноническом тексте называющееся «Тесно сердце, я вижу, твое для меня...» и написанное Ам 4—3, здесь представлено в более раннем метрическом варианте Ам 3 с соответствующими изменениями в лексике нечетных стихов.³⁸ Стихотворение «Милый друг, не верю я нисколько...» содержит неопубликованный вариант последней строфы (зачеркнутый Вл. Соловьевым, заменившим его «канонической» концовкой прижизненных изданий, и восстановленный по автографу М. А. Петровским):

И меж тех цветов, в том вечном лете,
Вижу я тебя, какой ты есть,
И давно померкли в звездном свете
Суеты земной обман и лесть.

Есть ряд и более мелких разночтений (например, в эпитафии «Владимир Соловьев...»).

3) Очень интересны альбомные варианты заглавий стихотворений, пометы и комментарии Вл. Соловьева. Большинство из них (см. I, III, V, VI и др.) в печатных вариантах не повторяется.

4) Наконец, как видно из приведенного списка, альбом С. М. Мартыновой включал ряд стихотворений, не опубликованных ни к 1913 г., ни до сих пор.

Интересные данные найдут в альбоме и исследователи биографии Вл. Соловьева: альбом подробно фиксирует все перемещения поэта в 1892 г. (Москва — Воробьевка — Морщино — Москва — Петербург и т. д.), дает представление о перипетиях его взаимоотношений с Мартыновой.

Альбом С. М. Мартыновой содержит самый полный из всех, известных нам, список стихотворений, посвященных последней большой любви поэта. В частности, здесь имеется полный текст цикла акrostихов «Сафо». Об этом цикле акrostихов как о первом упоминается в переписке Вл. Соловьева, а опубликованная в составе писем к С. М. Мартыновой группа акrostихов «Матрена» носит подзаголовок «цикл второй». Известен этот цикл был и С. М. Соловьеву, который, однако, опубликовал всего 2 из 18 акrostихов: «Сказочным чем-то повеяло снова...», и «Сходня, старая дорога...»; еще один акrostих — «Слов нездешних шепот странный...» был опубликован в «Письмах».³⁹

Однако в альбом Мартыновой переписаны не все, адресованные ей или навеянные ею стихи. Невключение некоторых вполне объяснимо психологически (иронический цикл акrostихов «Матрена», горько-насмешливое и свидетельствующее о разрыве «Вы были для меня, прелестное создание...»)⁴⁰, другие (например, письмо в стихах ««Соловьева в Фиванде...»⁴¹), могли быть и просто забыты поэтом. Собрать все «мартыновские» стихо-

³⁸ Вариант этот, сохранившийся в виде отдельного текста в ЦГАЛИ, был известен С. М. Соловьеву (см.: Владимир Соловьев. Стихотворения. Издание 7-е, М., 1921, с. 317—318).

³⁹ См. примеч. 2, 3, 34.

⁴⁰ См.: Вл. Соловьев. 1974, с. 156.

⁴¹ См.: Там же, с. 155.

творения вместе было бы, вероятно, очень интересно. Ниже публикуем лишь все акrostихи «Сафо» и тексты, которые ранее не печатались.

Зафиксированные в альбоме произведения Вл. Соловьева — яркая иллюстрация к рассмотренным выше особенностям его творчества. Соловьев стремился не только придать им некую общность, но и создать из них единый текст, имеющий «Пролог», «Завязку», «Коллизию» и «Развязку» (см. №№ I, III, VII, IX). Гармонического единства, которое входило в замысел, не получилось: его разрушила и сама жизнь (чувство не менялось, и стихи писались более года после «Развязки»), и то сочетание трудно совместимых текстов, о котором уже говорилось (высокая философия платонизма в «Милый друг, иль ты не видишь...» — и двусмысленная светская фамильярность «*Dépit manqué*»; яркое лирическое чувство — стереотипная альбомная галантность «Сирени весенней милее...» и т. д., и т. п.). Тем не менее, исследователи не без оснований говорят о «мартыновском цикле» Вл. Соловьева: его противоречивое единство очевидно хотя бы из сопоставления со стихами, посвященными С. П. Хитрово и в целом имеющими совершенно иной идейно-стилевой облик.

«Мартыновский цикл» создавался в годы растущего философского скептицизма Вл. Соловьева. Возможно, именно этим и объясняется имеющая легкий налет кощунственности попытка объединить «высокую» философско-мистическую лирику и альбомные «безделки» на основе «эстетики альбома». Впрочем, в основном, вероятно, дело обстоит иначе: жанр альбомных записей задавал свой язык, и Соловьев принял условия игры. Стихотворения в целом подчинены эстетике «домашней» поэзии: текст в них строится как компонент быта (например, как письмо; ср. приписки Вл. Соловьева, его комментарии к заглавиям, датировкам и т. д., составляющие единое целое со стихами), а быт воспринимается как построенный по законам искусства (история любви имеет свой сюжет — «пролог», завязку и т. д. — «роман жизни» становится поэтическим произведением).⁴²

Соловьев пробует себя в самых разных видах «домашней» поэзии. Здесь и тривиальные альбомные комплименты в стихах (или пародии на альбомные штампы), и легкая фривольность, и попытка ввести в альбом «высокую» лирику, и пародия, и автопародия. Но, опять-таки, контрасты получаются более разительными, чем допускалось эстетикой жанра, и Соловьев разрывает цикл, публикуя при жизни лишь философско-лирические произведения.

А. <Акrostихи. Цикл первый: «Сафо»>

1.

Сказочным чем-то повеяло снова...
Ангел иль демон мне в сердце стучится?
Форму принять мое чувство боится...
О, как бессильно холодное слово!

3 января 1892

2.

Слов нездешних шепот странный,
Аромат японских роз...
Фантастичный и туманный
Отголосок вешних грез.

Нач. января 1892.

⁴² Совершенно новый смысл получит подобное осмысление действительности в поэтике символизма (ср. восприятие Блоком идейно-эмоциональной динамики текстов в «Стихах о Прекрасной Даме» как сюжета, генетически связанного с «*Vita nuova*» Данте).

3.

Спиртом сначала горел я стоградусным,
 Адское пламя томительно жгло...
 Факелом ныне елейным и радостным
 Около Вас я пылаю светло.

15 марта

4.

Стройна, как арфа серафима,
 Авроры розовой нежней,
 Фонтан блаженств неистощимый,
 Облей водой меня скорей!

Между 11 марта и 21 мая 1892.

5.

Стих последний, прошу, не примите буквально,
 Ангел мой, я и так обливаюсь слезами.
 Фет дивится, зачем я гляжу так чертовски-печально...
 Ох, скорей умереть, лишь бы только увидеться с Вами.

21 мая 1892

6.

Страдная высь бесконечных восторгов,
 Ангельский лик, а в длиннейшем подножье —
 Фета поэзия, рай Сведенборгов,
 О, что пред ней все создания Божьи?

21 мая 1892

7.

Светом закат моих дней озарившая,
 Ангел-хранитель скорбящей души,
 Фея, волшебные сны мне дарившая,
 Огненный пламень во мне потуши.

9 июня 1892

8.

Сумрачно было в лесу у тебя,
 Август в исходе стоял,
 Филин вдали прокричал, как дитя,
 Он мою смерть возвещал.

16 июня 1892

9.

Святой когда б тебя узнал —
 Антоний для примера —
 Фатально в грех душой бы впал
 Он, — не спасла б и вера.

16 июня 1892

10.

Страсти любовной огонь сокрушительный,
Абракадабра в мозгу —
Факт сей, конечно, весьма поучительный,
Острым безумьем назвать я могу.

17 июня 1892

11.

Средь роз твоих на небо ты глядела.
Алел закат, утих и сад и лес.
Фантазия моя укрыться бы хотела
От роковых, всевидящих небес.

Между 22 и 26 июня. 1892.

12.

Северный ветер холодный, унылый,
Астры одни в цветнике.
Флюсом раздуло лицо моей милой
От полосканья в реке.

26 июня 1892

13.

Сегодня во тьме я узнал твои очи.
Астральный огонь в мою душу проник.
Фосфорным сияньем во мгле полуночи
Облитый, стоял надо мною твой лик.

26 июня 1892

14.

Свет небесных озарений,*
Аромат земных цветов,**
Фокус всех моих стремлений,***
Океан**** блаженных снов.

8 июля 1892

15.

Dépit manqué

Сумасбродно-рассудительный
Африканский облезьян!
Формой Вашею пленительно<й>
Очарован я и пьян.

26 сентября 1892

16.

Сходня Старая дорога ...
А в душе как будто ново.
Фон осенний. Как немного
Остается от былого!

* Метеоров? (зд. и ниже примечания под звездочкой Вл. Соловьева. — *Ред.*)

** Табака.

*** Фокус — foyer, а не tour de passe—passe (а впрочем?).

**** Ледовитый.

Finis (а впрочем?) —

Свежо предание,
А верится с трудом...
Финал — молчание...
О чем?

Между 21 и 26 августа 1894

Сирени весенней милее,
Акации белой нежнее,
Фиалки душистой скромнее.
О ком говорю я? О ней!

26 августа 1894

От имени В. С. Соловьева (лохматого)

Страстью, может быть, преступною,
А, вдобавок, и напрасною, —
Филистимлянку прекрасную,
Ох, люблю я, недоступную!
В. В. <еличко?>

Тифлис, 9 ноября <1894?>

Б. Неопубликованные стихотворения из альбома
С. М. Мартыновой.

Скорей я истошу⁴³
Почтовую бумагу,
Чем на стихи свою
Безумную отвагу.
И впрямь почтовой нет,
Но — вот уже на писчей
Строчит тебе привет
Неугомонный⁴⁴ нищий.

М. С. Сухотину⁴⁵

Жертва злого лон-тенниса,
К молодым ты не тянися!
Вот костыль и вот скамейка, —
Успокоиться сумей-ка!

Дополнение:

Пусть игра надежд — обман.
Все ж горит мой пламень дикий
К Вам — таинственный, великий
Ледовитый океан!

7 августа 1894

⁴³ См. оглавление № XXVII (с. 383).

⁴⁴ Зачеркнуто: «Твой полоумный».

⁴⁵ См. оглавление альбома, с. 384. В собрании Ф. А. Петровского имеется также беловой автограф стихотворения.

Свой пример я предлагаю:
За игрой я восседаю,
Без страстей и без тревог
Вижу пару милых ног.
Их спокойно созерцаю,
И своих я не теряю.
Кто же гонится за многим,
Тот останется безногим.

В. Стихотворения к С. М. Мартыновой, не
вошедшие в альбом.

В ЦГАЛИ (ф. 446, оп. 1, ед. хр. 50) хранятся три письма Вл. Соловьева к С. М. Мартыновой, не вошедшие в IV том «Писем». В первое из них включен акrostих «Страсти любовной огонь сокрушительный...» (см. с. 388), во второе — акrostих «Светом закат моих дней озарившая...» (см. с. 387) и стихотворение «Как жалкий нищий подающья...», в третье — акrostихи «Сумрачно было в лесу у тебя...» и «Святой когда б тебя узнал...» (см. с. 387) и стихотворение «Раздетый, как Адам...». Все письма не датированы, но написаны, безусловно, летом 1892 г.

<Из 2-ого письма>

Как жалкий нищий подающья,
Так сердце нищее мое
Ждет хоть минутного свиданья
За все мучение свое.

<Из 3-его письма>

Раздетый, как Адам,
Дрожащий, как осина,
Я к Вам пишу, мадам, —
Печальная картина!

III. Из сатирического наследия Вл. Соловьева.

Сатирические стихотворения Вл. Соловьева, широко ходившие в списках при жизни поэта, не пользовались расположением С. М. Соловьева и, видимо, собирались им без большой увлеченности. Основными их публикаторами стали Э. Л. Радлов (в «Письмах») и М. К. Лемке (в V томе публикаций переписки М. М. Стасюлевича). Однако не все, собранное Радловым, вошло в «Письма». Часть материалов, не увидевших света, сохранилась в составе его архива в РО ИРЛИ. Как правило, это не автографы Вл. Соловьева, а копии с них, аутентичность которых удостоверена Радловым. Перед копиями — указания на собрания, из которых извлечены тексты.

А. <Эпиграмма на И. Н. Дурново>⁴⁶

Всех дворянских вакханалий
Председатель Дурново
Подобрал себе каналов
Неизвестно для чего.

⁴⁶ РО ИРЛИ, ф. 252, оп. 3, № 12, л. 6. Список неизвестной рукой с пометой Радлова об авторстве Вл. Соловьева. Речь идет о реакционном Комитете министров, председателем которого И. Н. Дурново был в 1895—1903 гг. Датировка по содержанию 2-ой половиной 1890-х гг.

Просидевши в комитете
И не сделав ничего,
Разбредлись каналы эти,
Но остался Дурново.

Дива нет тут никакого,
Это дело не ново:
Что и ждать, кроме дурново,
От кретина Дурново?

Б. На новый 1900 год ⁴⁷

Этот год water-closet'ный
Предвещает, может быть,
Что морской войной всесветной
Будет Англия грозить.

Или — знак реформы быстрой —
Два нуля те говорят,
Что Россию два министра
Новым светом озарят.

Кто они? Грядут откуда?
Все недвижно и бело.
Все молчит, — но отовсюду
Вдруг навозом понесло.

В. <Эпиграмма на Ф. Берга> ⁴⁸

На декорации Акрополь,
По сцене бегают осел,
Сам Федор Берг глядит в бинокль
И рад: сотрудника нашел.

IV. Из дружеских посланий и дарственных надписей Вл. Соловьева

Дружеские послания — одна из основных разновидностей «шуточной» поэзии Вл. Соловьева конца 1890-х гг. (сменившая волну сатирических произведений конца 1880 — нач. 1890-х гг.). Дружеские послания Соловьева (в отличие от классических произведений этого жанра нач. XIX в.) — это иронически окрашенные стихотворные письма бытового содержания. Быт, однако, как указывалось выше, подвергнут в них своеобразной мифологизации. Каждому адресату даются устойчивые характеристики в соответствии с приписанным ему «индивидуальным мифом». Например, образ Л. Лопатина, философа-идеалиста, друга детства Вл. Соловьева, обычно дается в ключе, намеченном в стихотворении «Метампсихоза» («Пьет как губка» ⁴⁹. Ср.: «Левон! Ты феномен. Российскому акцизу...» ⁵⁰ и др.).

⁴⁷ РО ИРЛИ, ф. 252 (Радлова), оп. 3, ед. хр. 11, лл. не нумерованы. Перед текстом помета Э. Л. Радлова: «Копия с автографа В. С. Соловьева (Из собр<ания> Ф. Беренштама)». Датируется по содержанию концом 1899 — нач. 1900 гг.

⁴⁸ Там же, л. 2.

⁴⁹ Владимир Соловьев, 1974, с. 158.

⁵⁰ Там же, с. 170. *Левон* — обращение к Л. Лопатину.

К дружеским посланиям близки многочисленные стихотворные дарственные надписи на книгах. Эта часть стихотворного наследия Соловьева до сих пор почти не учитывалась. Не учитывались и (видимо, тоже многочисленные) «метастихи» — стихотворные пометы Соловьева к собственным поэтическим произведениям (автокомментарии, вступления и т. д.).

А. <Л. Лопатину>⁵¹

Левон! Нельзя ль стопы свои благонаправить
В Славянский нам базар,
Чтоб на прощанье там напиться — не беда ведь! —
Вино есть божий дар.

В мешке твоей души (как и в моем, бесспорно)
Не мало дряни есть.
Зальем ее струей забвенья благотворной,
Чтоб святость приобрести.

Кто лишь умом живет, того все черти знают,
В нем к аду путь открыт.
Не даром мудрецы издревле утверждают:
«Кто пьет, тот не грешит».

Итак, Левон, скорей стези благонаправим
К местам прохладным сим,
Там склянки две иль три в беспечности раздавим
И божий дар почтим.

Б. <Надпись Л. Лопатину на «Оправдании добра»>⁵²

С тобой, Левон, знакомы мы давно,*
Пушай наружность изменилась.
Что ж из того? Не все ль равно?
Ведь память сердца сохранилась.

В. <Запись в альбом автографов В. Фидлера>⁵³

Сей Вавилон литературный
Меня довольно долго ждал.
Не спорю с прихотью культурной:
Раскрыл альбом и написал.

⁵¹ Автограф Вл. Соловьева (чистовой список) с подписью, без даты — РО ИРЛИ, ф. 252, оп. 3, № лл. не нумерованы.

⁵² Список с пометой Радлова: «Надпись на «Оправдании добра» Вл. Соловьева Лопатину» — РО ИРЛИ, ф. 252, оп. 3, № 11, лл. не нумерованы. Датируется временем не ранее выхода «Оправдания добра» (1897). *Память сердца* — образ из стихотворения К. Н. Батюшкова «Мой гений».

* 35 лет (прим. В. С. Соловьева. — *Ред.*).

⁵³ Список с пометой Радлова об авторстве Соловьева — РО ИРЛИ, ф. 252, оп. 3, № 11, лл. не нумерованы. После приведенной записи следовало стихотворение «Таинственный пономарь».

В. Из неоконченного, набросков и т. д.

Черновых набросков стихотворений Вл. Соловьева сохранилось не очень много. Некоторые из них внешне имеют вид законченных текстов (переписаны набело), однако, содержание их свидетельствует, что перед нами — куски не дошедшего до нас (или не существующего) целого. Так, отрывок «Мы единственные...», по-видимому, относится к какому-то из ранних вариантов «Белой лилии» (к начальной сцене II действия). В других случаях перед нами действительно первые черновые наброски неоконченных текстов. Таковы отрывки, сохранившиеся в конверте с надписью «Оккультизм». И по содержанию, и по стилю они походят на ранние (конец 1870-х г.) стихотворения Вл. Соловьева, связанные с занятиями в Британском музее и поездкой в Египет. Очень возможно, что перед нами — первые опыты «серьезной» поэзии Вл. Соловьева. Мотивы и образы некоторых из них в перефразированном виде войдут в лирику Соловьева первого периода творчества (см. примеч. 57). Несколько особняком стоит неоконченное стихотворение «Чародейство» — попытка сюжетного раскрытия мифопоэтических основ мировоззрения Соловьева. Образ «пустыни» сближает и это стихотворение с настроениями эпохи «третьего свидания» — похода Соловьева в пустыню близ Каира в конце 1875 г. Сюжет о «Царь-девице» (возможно, восходящий ближайшим образом к Я. П. Полонскому) и о «духе звездной высоты», «обескрыленных» и «превращенных» «за глухое преступленье» в зверей, но живущих тайной надеждой на будущее снятие чар, — это первое, еще очень наивное воплощение мифа о падении и воскрешении «Души мира» и ее «друга». Сюжет этот, в многочисленных его вариантах («царь-девица», «спящая красавица» и т. д., и т. п.), сыграет важнейшую роль в творчестве писателей-символистов.

А. <«Мы единственные...»>⁵⁴

Мы единственные,
Не воинственные
И таинственные,
Как печаль.
Мы сребристые,
Золотистые
И росистые,
Как печаль.
Мы с тобою,
Молодую
И одну,
Как печаль.

Б. <Наброски из конверта с надписью «Оккультизм»>⁵⁵

1.

Тоска давила грудь мою.
Под тучей черных дум,
Как бы с толпой врагов в бою,
Изнемогал мой ум.

⁵⁴ РО ГПБ в Ленинграде, ф. 718 (Вл. Соловьева), ед. хр. 2, л. 1 об. Чистовой автограф. Под текстом подпись неизвестной рукой (карандаш): «Из бумаг Абидурова, Мих. Дм.».

⁵⁵ РО ИРЛИ, ф. 240, оп. 2, № 159. Черновые автографы без даты. Наброски следуют друг за другом в воспроизведенной нами последовательности.

2.

я в сердце берегу
Вдали виднелось там,
Как на пустынном берегу
Давно забытый храм.⁵⁶

3.

И я печально уходила,
Когда, не помня клятв былых,
Ты зажигал свое кадило
У алтаря богов чужих.
Но, под напором знойной выюги
Виденья лучшие забыв,
Не слышал ты своей подруги
Молящий, горестный призыв.⁵⁷

4.

И голос тот в ином краю
Сулит иные дни
И тихо шепчет мне: «Люблю,
Люблю, не измени».⁵⁸

5.

Храмы новые новым богам!
И из праха земли, не руками людей,
Этот новый воздвигнется храм!

И над этим великим крестом,
Над тревогою мыслей и дел,
Мы воздвигнем еще в нашем храме святом
Богу <2 нрзб> предел.

В. Чародейство⁵⁹

Ты — морская Царь-Девница,
Я дух звездной высоты,
Нас обоих превратили,
Не отнявши красоты
.....

⁵⁶ Содержание и метрическая характеристика позволяют предположить, что 1. и 2. — наброски одного текста.

⁵⁷ Ср. стихотворение «Под чуждой властью знойной выюги...» (1882).

⁵⁸ Возможно, относится к наброскам того же текста, что 1. и 2.

⁵⁹ РО ИРЛИ, Р. III, оп. 2, № 1075. Автограф Вл. Соловьева, без даты, текст не окончен.

За глухое преступленье,
Совершенное давно,
Обескрылен я — скитаться
Мне в пустыне суждено.

По волшебной силе вражьей,
Во дворце, что над водой,
Стала ты пантерой белой
(До свидания со мной).

.
Не овечка ты, пантера!
Я не мирный пастушок!
Слышал я твой дикий голос —
Ты узнала ль дикий рог?

Ты лежала с львом и тигром
По болотам меж кустов,
Я бродил в пустыне с шайкой
Парий, нищих и воров.

Черный слон Дельфийский, самый
Умный слон, как говорят
.

ШАХМАТОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА БЕКЕТОВЫХ-БЛОКА

П. А. Журов

Публикация З. Г. Минц и С. С. Лесневского.

Вступительная статья З. Г. Минц

О задачах описания библиотеки Ал. Блока

В 1919 г. Л. Гроссман, составивший описание библиотеки Ф. М. Достоевского, писал: «Философскому истолкованию <творчества Достоевского. — З. М.> <...> должна предшествовать работа кропотливых филологических штудий», в частности, «установление списка его книг и изучение его личной библиотеки».¹ Между тем, констатировал ученый, в действительности среди исследований о Достоевском преобладают работы об основах его мировоззрения — работы, заведомо неполные из-за отсутствия материалов.

Нечто близкое происходит в настоящее время с изучением творчества Блока.² В детальных, порой весьма серьезных монографиях, рассматривающих основы поэтического мирозерцания Блока, многое оказывается субъективным, поверхностно мотивированным или попросту недоказуемым именно потому, что общие выводы не базируются на широком привлечении фактов, добытых в «кропотливых филологических штудиях», — таковых «блоковедение» все еще не имеет. До сих пор нет полной научной биографии Блока, обобщающих работ по текстологии поэта и т. д. Не изучен и круг чтения Блока, не описана его библиотека.

Полное описание библиотеки А. А. Блока — задача не простая, однако в принципе разрешимая. Значительная часть его петербургской библиотеки уцелела и, как известно, хранится в ИРЛИ АН СССР (Пушкинском Доме), т. е. доступна полному научному описанию, включая и такие важные его компоненты, как перечень блоковских помет на книгах и их дешифровка.³

¹ Леонид Гроссман. Библиотека Достоевского. По неизданным материалам. С приложением каталога библиотеки Достоевского. Одесса, книгоиздательство А. А. Ивасенко, 1919, с. 4.

² Возможно, что сходство путей изучения творчества Достоевского и Блока — не случайное совпадение и что познание всякого сложного объекта в гуманитарных науках идет от высказывания наиболее широких гипотез к стремлению делать узкие, частные, но зато «точные» (в том числе опирающиеся на эмпирические данные) выводы — и затем к новым широким обобщениям.

³ Обследование помет Ал. Блока на отдельных книгах из его городской библиотеки см. в работах: Д. Е. Максимов. Материалы из библиотеки Ал. Блока (К вопросу о Блоке и Вл. Соловьеве). — Уч. записки Ленинградского гос. педагогического института. Т. 184. Факультет языка и литературы. Вып. 6. Л., 1958; П. В. Куприяновский. Пометки А. Блока

Несохранившаяся часть блоковских петербургских книг также может быть учтена исследователями: почти все они, по-видимому, вошли в каталог, составленный самим поэтом в 1910-х гг. и пересматривавшийся им в 1921 г.⁴ На основании изучения дневников, записных книжек, писем, мемуаров и ряда других (частично неопубликованных) материалов можно восстановить списки и определить примерное местонахождение многих книг, продававшихся Блоком в 1918—21 гг. Значительная часть этих книг, по-видимому, находится в частных собраниях.⁵

Весьма интересным и в принципе возможным было бы ответить на ряд вопросов, не всегда ставящихся даже в лучших описаниях библиотек русских писателей. Это, во-первых, вопрос об истории формирования блоковской библиотеки: на некоторых книгах рядом с подписью владельца стоит точная или примерная (месяц, год) дата покупки; данные подобного рода содержатся также в дневниках, записных книжках и письмах поэта.⁶

Во-вторых, это постановка широкой проблемы: «Блок-читатель», установление круга публичных и частных библиотек, где работал поэт, и списка книг, взятых из этих библиотек или прочтенных в читальных залах.⁷

Вся эта работа первостепенно важна, но, разумеется, сложна и трудоемка. Поэтому, не дожидаясь ее окончания, мы публикуем ниже ее сравни-

на манифестах поэтов-акмеистов. — Уч. записки Ивановского гос. педагогического института. Т. XII. Филологические науки. Вып. 3. Кафедра русских и зарубежной литературы, 1957; Ю. Д. Левин и М. И. Дикман. Пометки Блока на собраниях стихотворений Некрасова. — Уч. записки Ленинградского гос. университета. № 229. Серия филологических наук. Вып. 30, Л., 1957.

Сложный вопрос о дешифровке условных знаков в книжных пометах Блока поставлен лишь в работе Д. Е. Максимова, но полностью не решен.

⁴ См.: РО ИРЛИ (Пушкинский Дом), ф. 654 (Ал. Блок), оп. 1, ед. хр. 388. Ср. также — там же, ед. хр. 389.

⁵ Так, в воспоминаниях В. И. Стражева говорится, что в 1945 г. автор мемуаров купил у одного из московских букинистов книгу «Fasciculus poematum latinorum ex optimis antiqui et recentioris aevi poetis collectus. Editio II. Anno. MDCCXXVI «1726» (см.: В. И. Стражев. Воспоминания о Блоке. — «Блоковский сборник». [1]. Тарту, 1964, сс. 431 и 436); в воспоминаниях Н. А. Павлович говорится о подаренном ей Блоком томе книги «Добротолюбие» (Н. А. Павлович. Воспоминания об Александре Блоке. — «Блоковский сборник». [1], с. 494 и 506); в частном собрании И. И. Ивича (Москва) хранится сб. К. Фофанова «Тени и тайны» (СПб., 1892) с владельческой подписью Блока и датой покупки книги — «VII. 1918»; не говорим уже о том, что описание таких интересных частных собраний, как коллекции В. Н. Орлова и Н. П. Ильина, должно, по-видимому, дать множество данных по интересующему нас вопросу.

⁶ Небезынтересно знать и состав детской (в годы жизни в «Бекетовском доме») и отроческой библиотек Ал. Блока. Некоторые сведения о них содержатся в известных монографиях М. А. Бекетовой, в письмах матери Блока (частично опубликованы: «Блоковский сборник». II. Тарту, 1972, сс. 434—441), в неопубликованных дневниках М. А. Бекетовой (РО ИРЛИ) и др.

⁷ Интересно и полно реконструирован лишь список книг, которые использовал Ал. Блок в период работы над драмой «Роза и крест» (см.: В. Жирмунский. Драма Александра Блока «Роза и крест». Литературные источники. Л., изд. ЛГУ, 1964). Аналогичная работа уже сейчас может быть сделана по книгам, использованным при составлении А. Блоком комментариев к Венгеровскому Пушкину (1907) и сборника стихотворений Ал. Григорьева. Блок-читателю, конечно, были хорошо известны библиотеки его матери и тетки, М. А. Бекетовой. Их каталоги в 1918—21 гг. составлял сам поэт (см.: РО ИРЛИ, ф. 654, оп. 2, ед. хр. 391 и 392).

тельно небольшую, но существенную часть — описание Шахматовской библиотеки Бекетовых—Блока. По справедливым замечаниям составителя описания П. А. Журова и такого авторитетного свидетеля, как М. А. Бекетова, в этой дачной библиотеке хранилась лишь небольшая часть блоковских книг, специфически — для нужд летних занятий и отдыха — отобранная. Шахматовская библиотека Блока никак не отражает всего круга его чтений, лишь дополняя основное, городское, собрание. Тем не менее, и это описание представляется весьма интересным,⁸ особенно как начало будущего полного исследования.

Судьбы Шахматовской библиотеки долгое время были неизвестны. Довольно широкое хождение имела приведенная В. В. Маяковским в статье «Умер Александр Блок» и в поэме «Хорошо» версия о сожжении библиотеки.⁹ Уже в 1920-х гг. судьбой шахматовских книг заинтересовалась Блокковская ассоциация ГАХН в Москве. Член ее, автор публикуемых ниже статьи и описания библиотеки, П. А. Журов, в 1924 г. побывал в Шахматове, разыскал и обследовал сохранившуюся часть книг. Вместе с прилагаемым к статье П. А. Журова письмом М. А. Бекетовой, тетки и известного биографа Ал. Блока, описание дает довольно полное представление об объеме деревенского книжного собрания Бекетовых—Блока. Описание составлялось П. А. Журовым *de visu*, однако, библиографические сведения не всегда исчерпывающе полны. Описание, составленное 50 лет назад, не вполне соответствует современным правилам библиографирования (не всегда ясно, обозначает ли число томов общее их количество в издании или наличие в шахматовской библиотеке; в последнем случае не указано, какие именно из них имелись; отписки и конволюты описываются как книги). Однако и в таком виде описание представляет собой ценнейший и уникальный документ. Публикуем его без изменений.



П. А. Журов — писатель, литературовед. Род. 14 августа 1885 г. в г. Иваново-Вознесенске, в семье служащего купеческого звания. В 1913 г. окончил СПб университет по славяно-русскому отделению историко-филологического факультета. В 1923—30 гг. работал временным научным сотрудником в ГАХН, а в 1956—69 гг. — в группе по изучению жизни и творчества Л. Н. Толстого при Толстовском музее в Москве. Печатался в журналах «Зритель» (1908), «Свободным художествам» (1910, СПб.), в Сочинских изданиях 1919 г., в журн. «Красная новь» (1923—27), «Русская литература» (1971, № 2), в «Литературном наследстве» (тт. 34—35, псевд. Павловский; т. 69, кн. 1).

Перу П. А. Журова принадлежат и 2 пока неопубликованных работы о Блоке: «Сад Блока» и «Блок в Шахматове».

З. Минц

⁸ Шахматовское собрание, например, довольно полно отражает работу Блока в период подготовки статей о народе и интеллигенции летом 1908 г. (ср.: Александр Блок. Записные книжки. 1901—1920. М., ГИХЛ, 1965, сс. 113—115 и с. 402 настоящего издания).

⁹ См.: Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений. Т. 12. М., ГИХЛ, 1959, с. 21; там же. Т. 8. М., ГИХЛ, 1958, с. 266.

ШАХМАТОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА БЕКЕТОВЫХ — БЛОКА

П. Журов

Любовь Блока к литературе, к книге была наследственной. Он вырос в условиях, исключительно благоприятных для развития литературных симпатий и вкусов. «Здесь <в семье матери — П. Ж.> именно любили и понимали *слово*»,¹ — говорит поэт в автобиографии. Только одно серое пятно на отроческом пути Блока: Введенская гимназия. Зато Петербургский университет, историко-филологический факультет которого вступает в эти годы в пору высокого расцвета, снова открывает юноше широкие ворота в область идеи и образа.

Круг чтения Александра Александровича Блока, изучение ближайшей — его личной — библиотеки, полное описание пометок в его книгах, — это задача будущего. Блок любил читать и обладал искусством пристального чтения, но, надо признаться, читал не ровно и не постоянно. Предмет его чтения часто определялся не систематическим предрасположением, а литературным заказом и артистическим капризом. Но Блок любил, чувствовал, понимал книгу. В дневнике он говорит об искусстве творческого чтения (1911 г.). Книга, хотя бы даже и нечитаемая, сопровождала его всегда. «Человек книги», — так именно определяет его Оскар Норвежский,² хотя это определение еще не было бы для нас компетентно. Но сам поэт оживил свой образ книжника и молчаливника:

А я — склонен над грудой книжной,
Высокий, сгорбленный старик...³

О книжности Блока, об усталости от книжности замечает М. А. Бекетова.⁴

Шахматовская библиотека представляет некоторый интерес для определения литературных влияний, в которых вырастал поэт, для изучения пестрого и быстрого круга его книжной жизни.

Прежде всего, законна ли самая тема Шахматовской библиотеки? Шахматово не было усадьбой в полном смысле этого слова, тем более, родовой Бекетовской усадьбой. Это — «дача», которой только придана внешность, уклад и дух усадьбы. Шахматово — имение благоприобретенное (в начале 70-х годов). Шахматово никогда не было местом постоянной, годовой жизни Бекетовых или Блока. Туда приезжали только на короткие летние месяцы. Однажды — в 1910 году — Блоки задумали прожить в Шахматове целую зиму, но не вытерпели деревенского сиденья даже до ноября.

Но так же, как прадед Блока, Николай Алексеевич Бекетов, уже разорившись, доживал свой век в родной Альферьевке, «до конца дней своих поддерживая, — как рассказывает М. А. Бекетова, — старый порядок с

¹ Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт. Т. 7. М.—Л., ГИХЛ, 1963, с. 12.

² Оскар Норвежский. Литературные силуэты. СПб., 1909.

³ Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт. Т. 2, с. 101.

⁴ См.: М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Второе издание. Л., «Academia», 1930.

многочисленной дворней, тремя поварами и тонкими обедами»,⁵ — так и дед поэта, Андрей Николаевич Бекетов, приобрел маленькую старинную подмосковную усадьбу, чтобы проводить там летние отдыхи в укладе памятной ему поместной старины.

В таких условиях «игрушечного» усадебного быта не могла возникнуть большая и хорошо подобранная библиотека.

Для Александра Александровича Шахматова уже не было пережитком старых усадебных традиций. Он пытался вступить в действенные связи с природой. В хозяйственной деятельности поэта, особенно в момент перестройки старого дома, выступают, хотя и бледно, черты не помещика, а фермера.

Шахматово было для Блока местом отдыха, средством выхода в природу, на землю, в труд на земле, в деревенскую Русь, — незаметным внешне, но незаменимым противовесом отвлеченной книжной петербургской жизни. Недаром же Андрей Белый называет шахматовские поля и дали «настоящими стенами его рабочего кабинета»⁶.

Однако, по той особой настойчивости, с какой Блок стремился стать единоличным владельцем усадьбы, по особой предусмотрительности и заинтересованности, с какой Блок все лето 1910 года и потом в 1911 году занимался переустройством дома и всей усадьбы, придавая всему прочный жилой характер, — из некоторых мелочей в устройстве этого нового очага — можно думать, что Шахматову в тайных планах поэта предназначалось какое-то будущее (в эти годы именно).

Шахматовская библиотека и была устроена А<лександром> А<лександровичем> в 1910 году.

«Над просторной комнатой старой боковой пристройки воздвигли такую же, в виде второго этажа. Все это покрыли новой крышей, а из верхней комнаты, предназначавшейся для самого хозяина, образовался переход в мезонин, где А<лександр> А<лександрович> устроил библиотеку. Все свободные от окон стены покрыли фанерой и полками, куда снесены были все книги из старого дома. В промежутках развесили портреты Леонардо-да-Винчи, Толстого, Пушкина, Достоевского, большую фотографию Джоаконды, привезенную из Парижа, Врубелевскую Царевну-Лебедь. Посреди комнаты — большой стол и мягкие стулья. Сюда привозили груды книг из Петербурга».⁷

Эти замечания Марии Андреевны Бекетовой для нас весьма существенны. Шахматовская библиотека приобретает определенную форму, мы узнаем приблизительно (правда, в самых общих чертах) состав и размер библиотеки.

Довольно большая, но невысокая комната (мезонин) с полками по стенам могла вместить до 1000 и более томов. Создалась библиотека из старых шахматовских, т. е. бекетовских книг, — ибо, по-видимому, от старых владельцев Шахматова ничего в виде книг не осталось (хотя остались мебель и утварь) — и книг, «грудами привозимых из Петербурга», — книг А. А. Блока.

Нас особенно интересуют эти старые шахматовские книги «из старого дома». Они не привозились специально для библиотеки, а накапливались там исподволь. Дело в том, что свободные летние месяцы в школьные и отчасти в студенческие годы Блок проводил здесь, и чтение на досуге при творческой уже возбужденности и исканиях не могло не оставить своего следа.

Некоторый свет на литературную работу взрослого Блока в летние шахматовские месяцы должны бросить эти привезенные из Петербурга кни-

⁵ М. А. Бекетова. Александр Блок, с. 15.

⁶ А. Белый. Воспоминания о А. А. Блоке. — «Эпопея», 1922—1923, № 1—4.

⁷ М. А. Бекетова. Александр Блок, с. 135.

ги. Собыкновенно на летние месяцы отводятся второстепенная подготовительная работа.

Наиболее интенсивное чтение «старых книг» могло осуществляться до 1900 года, когда в Шахматове Блок вступил в полосу творческих свершений (в 1900 г. в Шахматове Блок читает стихи В. Соловьева). В последующие годы наибольшим пребыванием Блока в Шахматове отмечены 1905, 1906, 1909, 1910 (6 месяцев) и 1915 годы.

В последний раз А. А. жил в Шахматове июль, август и часть сентября 1915 г.⁸ В 1916 г. он приезжал на один день. В 1917 г. в последний раз — если не считать неудачного приезда Л. Д. Менделеевой после 1918 г. — приезжали в Шахматово его владельцы (мать поэта Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух, с сестрой своей М. А. Бекетовой). Увезли ли они что-нибудь из книжных накоплений, если уже не были уверены в будущем усадьбы? Вероятно, нет.⁹

В дневнике 1921 г. за 3 января Блок записал: «В маленьком пакете, спасенном Андреем из Шахматовского дома и привезенном Феродем осенью: листки Любиных тетрадей (очень многочисленных). *Ни следа* ее дневника. Листки из записных книжек, куски погибших рукописей моих, куски отцовского архива, повестки, университетские конспекты (юридические и филологические), кое-какие черновики стихов, картинки, бывшие на стене во флигеле».¹⁰ Книг вывезено, по-видимому, не было.

Шахматовская библиотека, или, вернее, то, что от нее осталось при длительном уничтожении и расхищении внутреннего убранства дома, была вывезена в 1918—20 гг. Вертинским Волисполкомом в село Новое, в 10 км от Шахматова. По словам очевидцев, было три подводы, нагруженных книгами и бумагами. Туда же был вывезен старый письменный стол Блока, о котором упоминает Бекетова.

О том, что некоторая часть книг рассеялась по рукам окрестных крестьян, можно судить по тому, что старик-крестьянин дер. Гудино (поблизости с Шахматовым) Ястребов, с которым Александр Александрович поддерживал знакомство, дарит таракановскому учителю А. Н. Михайлову книгу Н. Минского «Религия будущего», принадлежавшую Блоку. Книга дарится, как собственная, с собственноручной подписью Ястребова и сорванной обложкой (на обложке вверху обычно ставилась подпись Блока). Большой фотографический снимок группы профессоров СПб университета, во главе с ректором А. Н. Бекетовым, нам довелось увидеть на стене крестьянского дома; таракановские ребята (по свидетельству очевидца) пользовались рукописями Блока для школьных надобностей.

Но какая часть библиотеки попала до ее вывоза? Можно думать, что небольшая.

В селе Новом бывшая Шахматовская библиотека поступила в ведение местного кооператива, причем книги на иностранных языках были из нее выделены и отправлены в гор. Клин в центральную районную библиотеку. В нашу поездку 1927 г. разыскать эти книги не удалось.

В бывшем помещичьем доме в Новом находился дом отдыха студентов-свердловцев. Они и были первыми библиотекарями и читателями реквизированной библиотеки.

Я нашел бывшую библиотеку уже в селе Мерзлом, в пяти верстах от Нового, где она временно была сложена в сельской школе, в 1924 г., в конце мая — начале июня. Еще не была закончена опись, как книги были

⁸ Письмо А. А. Блока к В. Н. Княжнину от 28. VI и 6. IX. 1915 (Письма Александра Блока. Л., «Колос», 1925, с. 205 и 206).

⁹ Это подтверждается в письме М. А. Бекетовой от 15. II. 1929 г. к автору этой статьи (см. с. 414—416).

¹⁰ См.: Александр Блок. Собр. соч. в 8 тт. Т. 7, с. 389. Андрей и Феликс (Фероль) Кублицкие-Пиоттух—двоюродные братья Ал. Блока.

снова перевезены в Новое и сложены на веранде дома вместе с другими книгами, собранными отовсюду, но совершенно иного характера.

Рассматривая в общих чертах опись уцелевших шахматовских книг, приходим к следующим выводам.

Действительно, Шахматовская библиотека не была настоящей усадебной библиотекой, возникшей в упроченном и наследственном усадебном быту. Скорее, это «дачная» библиотека, приобретающая характер второстепенного книжного архива, от которого, может быть, было необходимо освободить петербургскую квартиру.

Состав ее случаен и не случаен — он определяется просто жизнью и литературными работами обитателей усадьбы, очередными потребностями и событиями обстоятельствами.

Здесь есть старые разрозненные книги деда поэта — Андрея Николаевича Бекетова, профессора СПб университета, ботаника. Здесь и литературное наследие бабушки Елизаветы Григорьевны, тетушек и матери поэта (Софии, Екатерины, Александры, Марии Андреевны Бекетовых): издания Пантелеева и др., журналы «Вестник иностранной литературы», «Северный вестник» и др. Тут новые журналы Бекетовых («Русская мысль») и Блока («Северные записки» и др.). И, наконец, книги А. А. Блока — дешевые издания памятников мирового эпоса, вероятно, нарочно приобретенные для Шахматова, и отобранные издания Универсальной библиотеки, «дешевой библиотеки» Суворина, изд. Сирмунта, или «Пантеон-Шиповника», авторские экземпляры, б<ольшей> ч<астью> — второстепенные книги, завезенные Блоком в связи с очередной работой на лето и оставшиеся в Шахматове до срока или навсегда (около 25 названий).

Из капитальных изданий, принадлежавших именно Блоку, мы нашли здесь только собрание сочинений Пушкина в Суворинском издании 1903 г. (7 книг), Н. А. Добролюбова (изд. Сойкина, в 4 тт.) и Белинского (изд. Маркса), а также — Н. М. Михайловского, А. Ф. Писемского, Я. П. Полонского, О. И. Сенковского, Н. Г. Чернышевского.¹¹

Можно думать, что критическая литература была завезена из Петербурга в связи с журнальной работой Блока. (О Н. А. Добролюбова, например, упоминается в дневнике 1908 г. в Шахматове).

Остальные книги — текущая литература, художественная и критическая россыпь, журнальная современность, старина. Из Бекетовских книг приметны все эти Пантелеевские издания европейских классиков, «144 книги Пантелеева» — бесконечные тома Диккенса, Бальзака, Шпильгагена, Золя, Эберса и др. (22 названия), среди которых, как в причудливом саду фантазий, складывался литературный облик поэта. (Впрочем, к художественной прозе А<лександр> А<лександрович> вкус приобрел уже в совершенные годы). Важен журнал «Вестник иностранной литературы», согретый участием в нем в качестве талантливых переводчиц бабушки Блока Елизаветы Григорьевны, тетушек и матери поэта. В этом журнале появлялись стихи французских символистов, часто как раз в переводах Александры Андреевны, — и эти стихи, как и некоторые статьи, отмечены в оглавлении журнала красным карандашом Блока.

Особенно важным для изучения литературных влияний, испытанных Блоком в период созревания его литературных интересов, надо признать «Северный вестник» за 1896—97 гг., который удалось привезти в Москву. Тут ряд статей хранит интересные пометки поэта.

Из личных книг Блока важны все, связанные с его литературной работой. Их около 26 названий. Особо стоят две книжки, отражающие театраль-

¹¹ Относительно книг последних пяти авторов у меня было сомнение: принадлежат ли эти книги к шахматовским, — настолько они по внешнему виду отличались от прочих шахматовских книг. М. А. Бекетова не признала их шахматовскими. Однако, в силу того, что они находились и были записаны в общем потоке шахматовских книг, они включены нами в список.

ные увлечения поэта. Около двадцати книг — авторские экземпляры, подаренные Блоку, с любопытными порою автографами.

По содержанию книги Блока делятся на литературно-художественные произведения и критические; очень мало книг религиозного содержания или по вопросам религии (2). Нет ни одной книги Льва Толстого, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Гончарова, Некрасова, Чехова. Нет народников, если не считать собрания сочинений Гл. Успенского. Это указывает на случайный, в сущности, подбор авторов.

Книг общественно-экономического, политического, естественно-научного характера почти нет;¹² по философии одна книга — «Этика» Спинозы. Круг чтения Блока был узко и сознательно ограничен.

Опись книг бывшей Шахматовской библиотеки сделана мною летом в 1924 г., тотчас же при отыскании вывезенных из Шахматова книг.

Дальнейшая судьба библиотеки такова.

В 1925 г. было совершено изъятие из нее идеологически неподходящих книг. Изъятые книги, главным образом журналы, были сложены на полу под столом в проходной комнате в Исполкоме. Около 200 книг было взято Институтом Ленина (журналы «Заветы», «Современный Мир» и пр.).

В 1926 г. часть библиотеки, меньшая, главным образом Пантелеевские издания, была выделена для сельской библиотеки, устроенной теперь в селе Вертлинском (где мы видели эти книги в 1927 г.), другая — большая часть — была перевезена в гор. Клин, в районный коллектор. Из Клинского коллектора вскоре большая партия книг была отправлена в МОНО, в числе их были и Шахматовские книги.

Ассоциация по изучению творчества Блока при ГАХН^е была озабочена судьбой библиотеки и предпринимала шаги к тому, чтобы вывезти библиотеку Блока в Москву. Сделать это удалось только в июне 1927 года. Группа членов Ассоциации обследовала остатки библиотеки в селе Вертлинском и в Клинском коллекторе, отобрала наиболее ценное (автографы, книги с пометками Блока, журнал «Северный вестник») и в количестве около 80 экземпляров вывезла в Москву, где по постановлению общего собрания Ассоциации передала книги на хранение в библиотеку ГАХН^а, впоследствии — ГАИС.

¹² Среди бекетовских книг есть несколько названий. Среди журналов Блока — «Полярная Звезда».

ШАХМАТОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

(опись 1924 г. в селе Новом)

- А. Бекетовские книги (подпись на обложке или титульном листе: Елиз. Бекетова, А. Кублицкая-Пиоттух, М. Бекетова, авторские экземпляры).

I. Художественная литература.

- 1) Альтвассер. Граф Лейчестер, трагедия в 5 д. Перев. с немецкого М. Коваленского. СПб, Изд. журн. «Колосья», 1891.

На титульном листе надпись: «Милой тете Соне на память от переводчика 18 $\frac{XI}{8}$ 91».

Это единственная книга в Шахматовской библиотеке, принадлежащая Софье Григорьевне Карелиной, двоюродной бабушке поэта.¹ Надо думать, что часть Шахматовской библиотеки (старой), именно книги С. А. Кублицкой-Пиоттух, были вывезены в ее усадьбу Сафонову при разделе наследия А. Н. Бекетова в 1909 г.

- 2) Айрон. Африканская ферма, перев. Ел. Гр. Бекетовой. Изд. «Вестника Иностранной Литературы».
- 3) Бальзак. Собрание сочинений, 24 тт., СПб., изд. Пантелеева, <1897—> 1898. Книги без переплетов (переводы Е. Г. Бекетовой, А. А. Кублицкой-Пиоттух и М. А. Бекетовой).

Подпись Е. Бекетовой.

- 4) Брет-Гарт. Собрание сочинений. СПб, Изд. Пантелеева; 2 книги без переплета.

Подпись Елиз. Бекетовой.

- 5) Бурже П. Собрание сочинений. СПб., Изд. Пантелеева, Без переплета.

Подпись Елиз. Бекетовой.

- 6) Гаршин. 3-я книжка рассказов. СПб., Изд. Стасюлевича, 1891.

- 7) Гете. Собр. сочин., т. V. «Вильгельм Мейстер». Под ред. Н. Гербеля. СПб., 1878.

Отметки красным карандашом.

- 8) Гофман. Собрание сочинений. Перев. с немецкого, СПб., Изд. Пантелеева [переводы М. А. Бекетовой], 3 тт. без переплета, 1896<—1899>.

- 9) Гюго Виктор. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, 1898. 8 тт., без переплета. (Переводы Е. Г. Бекетовой и А. А. Кублицкой-Пиоттух).

Подпись А. Кублицкой-Пиоттух.

- 10) Джером-Джером. Собрание сочинений. Изд. Пантелеева, СПб., 2 тт., без переплета.

Подпись Е. Бекетовой.

¹ См. письмо М. А. Бекетовой от 15. II. 1929 к автору этой описи (стр. 415).

- 11) Диккенс. Собрание сочинений. 24 тт. СПб., изд. Пантелеева. 1896—99, без переплета.
- 12) Додэ Альфонс. Собрание сочинений. 5 тт. СПб., изд. Пантелеева. 1894—95, без переплета.
- 13) Жип. Собрание сочинений. 2 тт., СПб., изд. Пантелеева, 1901, без переплета.
- 14) Золя. Собрание сочинений. 23 тт., СПб., изд. Пантелеева, 1895—98, без переплета.
- 15) Киплинг. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, I т., без переплета.
- 16) Коппе Фр. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева. 1901, I т., без переплета.
- 17) Маррей. Через морские ворота. Перев. Бекетовой. СПб., 1884.
- 18) Микулич. Мимочка на водах. Мимочка отравилась. (Из журн. «Вестник Европы», 1891—93).
- 19) Одовский. Повести. Изд. А. Суворина «Дешевая библиотека». Подпись Е. Бекетовой.
- 20) Поэ Эдг. Собрание сочинений. 3 тт. СПб., изд. Пантелеева, 1896, без переплета. Подпись: «Елиз. Бекетова».
- 21) Петерсон О. Семейство Бронте. СПб., изд. в пользу О-ва вспомоществования В. Женск. Курсами. 1895.
- 22) Сборник военных рассказов <...> <1877—78 гг.> Изд. Мещерского. Надпись на обложке рукой Блока: «571 стр. солдаты турки отличные».
- 23) Складчина. — Литер. сборник, составленный из трудов русских литераторов, изд. в пользу пострадавших от неурожая в Самарской губ. [Апухтин, Боборыкин, Буренин и др. — 47 авт.]. СПб., 1874.
- 24) «Сборник Русский» <Достоевский «Кроткая» и др.> Ред. Пуциковича, СПб., 1877.
- 25) Сборник худож. произвед. из «Отечественных Записок» <Островский «Горячее сердце», Лонгфелло «Гайавата» и др.> Подпись А. Кублицкой-Пиоттух.
- 26) Сборник статей и худ. произведений из «Русского обозрения» и «Русского вестника».
- 27) Скотт Вальтер. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, 1898. 10 тт. без переплета.
- 28) Стивенсон. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, 1901, 3 тт. без переплета.
- 29) Твен Марк. Собрание сочинений. 2 тт. СПб., изд. Пантелеева, без переплета.
- 30) Теккереи. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, 1894—95. 11 тт. без переплета.
- 31) Уэльс. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, 1901, 3 тт. без переплета.
- 32) Флобер. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, 1896—98. 2 тт. без переплета.
- 33) Шпильгаген. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, 12 тт. без переплета.
- 34) Штинге. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, 1903 <1901?>. 2 тт. без переплета.
- 35) Эберс. Собрание сочинений. СПб., изд. Пантелеева, 6 тт. без переплета.

II. Книги нехудожественного содержания.

- 36) Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. СПб., 1866, 2 тт.
- 37) Бекетов А. Н. География растений. СПб., 1855—56. Статьи из Вестн. Русск. Географ. О-ва. Тт. I, 2, 3.

- 38) Белоголовый Н. А., д-р. Воспоминания. М., 1898.
Подпись Бекетовой. Д-р Белоголовый (сын) лечил А. А. Блока в 1909—10 году. (См.: М. А. Бекетова. «Ал. Блок»).
- 39) Ак. Бэр, К. Человек в естественно-историческом отношении, СПб., 1851.
- 40) Биографический словарь профессоров и преподавателей Петербургского университета. Т. 2, СПб., 1898.
- 41) Вигель. Воспоминания <В том же томе Лермонтов «Княгиня Лиговская»>.
Надпись: «Лермонтов «Кн. Лиговская» — рукой Бекетовой (сбор. из журналов).
- 42) Записки Лоренцо Бенони. Пер. Михайловского. СПб., 1861.
Надпись: «Е. Г. Бекетовой. Васил. Остр., Большой пр. 22».
- 43) Кованский. Дионис Сиракузский. СПб., изд. «Пантеон Литературы», 1894.
- 44) Прескотт. История царствования Филиппа II. [вырезка из журнала].
- 45) Елена Дмитриевна Поленова 1850—1898 гг. М., 1902.
Подпись Бекетовой.
- 46) Сборник памяти императора Александра II. М., изд. «Москов. Вед.», 1884.
Надпись рукой А. А. <Блока>: «Статьи Льва Тихомирова».
- 47) Сысоев Е. Жизнь Гарриет Бичер-Стоу. СПб., 1892.
Надпись: «Память от автора». Е. Г. Бекетова перевела Бичер-Стоу.
- 48) Труды СПб О-ва Естествоиспытателей, т. XXXVI, вып. 1, памяти Андр. Ник. Бекетова.
- 49) Энгельгардт, М. Жорж Кювье. (от автора). Изд. Павленкова. 1893.

В. Книги А. А. Блока.

(надпись на обложке чернилами или цветным карандашом: «Александр Блок», «Ал. Блок», «Блок»).

И. Художественная литература.

- 50) Альманах «Белые ночи». СПб., 1907 (без подписи). Стихи А. Блока и др. Статья Е. Иванова «Всадник».
- 51) Альманах для всех. СПб., Изд. «Нового журнала для всех». 1911, кн. 2. Стихотв. Блока «Нет» («Вновь оснеженные колонны»)*
- 52) Альманах книгоизд. «Шиповник», кн. 1, 2, 4, 8, 10, 15.
На кн. 2-й надпись Блока, в 10-м Альманахе поправка рукой А. А. Блока в цикле стихотворений «На поле Куликовом»:
«Опять с вековой тоскою
Прильнули к земле повили» — (исправлено на «ковыли»).
- 53) Анисимов Ю. Обитель. М., Изд. «Альциона», 1910.
Имя владельца срезано.
- 54) Д'Аннунцио. Корабль. Изд. Универс. Библиотеки.
Подпись Блока. Д'Аннунцио упоминается в статье Блока «О драме» («Золотое Руно», 1907, кн. 7—9). В письме Г. И. Чулкову от 14. VI. 1908 из Шахматова: «Очень советую Вам прочесть «Корабль» Д'Аннунцио». («Письма Блока». «Колос»).
- 55) Арносто Л. Неистовый Роланд. Русская классн. библиотека под ред. Чудинова. СПб., Изд. Глазунова, 1898.
Подпись Блока.
- 56) Ариэль Арнольд. Мрак. Драм. грёза. Обл. Леблан. М., 1905.
- 57) Бальмонт К. Морское свечение. СПб., Изд. Вольфа, 1910.
Подпись: «Александр Блок» и «прислано для отзыва от Вольфа»; отметки в тексте.

* Позднейшее название «На островах».

- 58) Бальмонт К. Белый Зодчий. Изд. «Сирин», 1914. (без подписи).
- 59) Бер М. Сонеты и др. стихотворения. СПб., 1907.
Надпись: «От автора».
- 60) Березин Александр. Одинокий труд. Статья и стихи. М., 1899.
Подпись на обложке: «Ал. Блок».*
- 61) Блок Александр. Стихи о Прекрасной Даме. — М., «Гриф», 1905.
Без подписи. Не разрезана.
- 62) Блок Александр. Собрание стихотворений. «Стихи о Прекрасной Даме». М., «Мусагет», 1911. 2 экз.
(1 экз. не разрезан).
- 63) Блок Александр. Собрание стихотворений. «Нечаянная радость». М., «Мусагет», 1911. 2 экз.
(1 не разрезан).
- 64) Блок Александр. Собрание стихотворений. «Снежная ночь». М., «Мусагет», 1912. 2 экз. 1 не разрез.
- 65) Блок Александр. Стихи о России. М., Изд. «Отечество», 1915.
- 66) Бодлэр Ш. Стихотворения, пер. Эллиса. М., «Мусагет», 1910. Без подписи.
- 67) Брихничев Иона. Молитва Вселенской Церкви. М., 1912.
- 68) Брихничев И. Капля крови. М., Изд. «Новая Земля», 1912.
- 69) Брюсов Валерий. Огненный Ангел. Ч. 2-я. М., Изд. «Скорпион», 1908.
Надпись: «Александр Александрович Блоку дружески Валерий Брюсов».
- 70) Буренин. Стрелы (сатиры, стихотвор., басни и пр.), СПб., Изд. Знаменского, 1889.
- 71) Бхагават-Гита. Перев. Казначеевой. Владимир, 1909.
- 72) Вера. Одна из многих. СПб., Изд. Вольфа, 1903, без обложки.
- 73) Верхарн. Монастырь. Драма. Пер. Эллиса. «Универсальная библиотека» Рецензия А. Блока в «Образовании» (1908, кн. 7).
Без подписи.
- 74) Верховский Юр. Разные стихотворения. М., «Скорпион», 1908.
Без подписи.
- 75) Вилье де Лиль, Адан. Жестокие рассказы. «Пантеон», дешевое издание, Пб.
Без подписи.
- 76) Вознесенский Ал. Страницы жизни. Стихи. СПб.
Без подписи.
- 77) Гауптман Г. Потонувший колокол. СПб., Изд. «Шиповник», 1909.
Надпись: «Am Block mit Liebe».
- 78) Гейне Г. Собрание сочинений. СПб., Изд. Маркса. 1904 (прил. к «Ниве»).
Не разрезано, без подписи.
- 79) Гербель. Немецкие поэты в биографиях и образцах. 1 кн. СПб., 1877.
- 80) Гиппиус З. Suoq Maria. — отгиск из «Нового Пути».
- 81) Годин Яков. Северные дни. СПб., 1909.
Надпись «Чудесной Л. Д. Б<лок> с глубочайшим уважением автор».
- 82) Городецкий С. Кладбище страстей, рассказы.
Надпись: «Дорогим Блокам 8/III—09 г.».
- 83) Горький М. Мещане. СПб., «Знание».
Подпись: «А. Кублицкой-Пиоттух». Ср.: «Первая драма «Мещане» написана всех тщательнее». (Ал. Блок «О драме». «Золотое Руно», 1907, № 9.)
- 84) Горький М. и Мейер В. Землетрясение в Калабрии и Сицилии. СПб., «Знание», 1909.

* Передана в Литературный музей в Москве.

Без подписи; надпись: «Блоку», «для отзыва» и отметки в тексте красным карандашом.

- 85) Гуцков К. Уриэль Акоста. СПб., Изд. Скирмунта. 1905.

Подпись Блока.

- 86) Данте Ал. «Божественная комедия». «Ад» в переводах русских писателей. Рус. классн. библи. под ред. Чудинова, СПб., изд. Глазунова, 1897.

Подпись: «Александр Блок».*

- 87) Данте Ал. «Божественная комедия». «Чистилище» — то же издание.

Подпись на обложке: «Александр Блок»; без подчеркиваний.

- 88) Данте Ал. «Божественная комедия». «Рай» — то же.

Подпись на обложке, без подчеркиваний.

- 89) Достоевский Ф. Собрание сочинений. Изд. Маркса, прил. к «Ниве», 1895, кн. 5 («Преступление и наказание»), 10 и 11 ** («Дневник писателя»).

Переплет вишневого цвета, кожаные корешок и уголки; на корешке золотом: «А. Б.» <книги из Петербургской библиотеки А. А. Блока — П. Ж.>. Ср. в письме к матери в Шахматово от 29/VIII — 1905: «Ведь в Шахматове два тома Достоевского, у меня двух не хватает».

- 90) Зайцев Б. Рассказы, кн. 2-ая, СПб., «Шиповник», 1909.

Без подписи.

- 91) Зеленый сборник. СПб., 1905. (Рецензия Блока в «Вопросах Жизни», 1905, кн. 7.)

- 92) «Земля» — литературный сборник (1). Книгоизд. «Земля», (Моск. кн. Пис.). Стих. Блока «Никто не скажет: я безумен...»

- 93) Зноско-Боровский. Крейсер «Алмаз». Сцены из войны. СПб., 1910.

Дарственная надпись автора: «Дорогому и многоуважаемому Александру Александровичу Блоку в знак глубокого почтения и давней сердечной любви. Евг. Зноско-Боровский».

- 94) Ибсен. Кесарь и Галилеянин. Универс. библиотека «Общая польза».

Надпись рукой Блока на обложке красным карандашом: «Шахматово».

- 95) Ибсен. Доктор Штокман. М., Изд. Скирмунта.

Без подписи. («Последним великим драматургом Европы был Ибсен — А. Блок «О драме». «Золотое Руно», 1907, кн. 7—9.)

- 96) Иванов Георгий. Горница, книга стихов. СПб., Изд-во «Гиперборей», 1914.

Без подписи.

- 97) Калевала. Русск. классн. библи., под ред. Чудинова. СПб., 1902.

- 98) Камюэнс Л. Лузнады. СПб., Изд. то же, 1897. (Не разрезана).

- 99) Карамзин. Письма русского путешественника. Дешевая библиотека Суворина, т. I.

- 100) Красинский. Иридион. Изд. «Знание», СПб., 1904.

- 101) Кречетов. Алая книга, М., Изд. «Гриф», 1907.

Без подписи. («Алая книга» — стихотворения С. Кречетова — почти сплошная риторика». Ал. Блок «О лирике», «З. Р.», 1907, кн. 6.)

- 102) Корона. — Литературный сборник. М., изд. Саблина, год 1908.*** Цикл стихов Александра Блока «Подруга Светлая» (13 стихотворений).

- 103) Ливен. Цезарь Борджиа. Пьеса. СПб., Изд. автора, 1910.

- 104) Лундберг Е. Рассказы. СПб., 1909.

Без подписи.

- 105) Мейснер А. Листья. изд. Загряжского, СПб., 1912.

- 106) Мейснер А. Стихи последних лет. СПб., 1909.

* Передана в Пушкинский Дом.

** Одна из этих книг была мною передана М. А. Бекетовой в основную библиотеку Блока.

*** Книга передана нами в Госуд. Литер. музей в Москве.

- 107) Миропольский. Ведьма. Лествица. Изд. «Гриф», 1905.
(Рецензия А. Блока в «Золотом Руно», 1906, кн. 1-я.)
- 108) Найденов. Пьесы. Изд. «Знание», СПб., 1904.
(«Среди них культурнее других Найденов». — А. Блок «О драме», «З. Р.», 1907, 6—7—9.)
- 109) Новиков Ив. Духу Святому. М., Изд. «Гриф», 1908.
Надпись: «Дорогому Ал. Ал. Блоку автор 24/XII—07 г.»
- 110) Норвежский Оскар. Литературные силуэты. СПб., 1909.
Портрет Блока и очерк Блока, читающего «Незнакомку» (пьесу) в «Кружке Молодых».
- 111) Песнь о Нибелунгах, пер. Кудряшева. Русск. классн. библ. (не вся разрезана).
- 112) Писемский А. Ф. Собр. соч., 9 тт. Синие переплеты с золотым тиснением.
- 113) Полонский Я. Собр. сочинен. 6 тт. Изд. <Ж. А. Полонской> 1885.
Коричневые кол. переплеты с золотым тиснением — «Полонский».
- 114) Поэмы Оссиана. Русск. классн. библ., изд. Глазунова.
- 115) Пушкин А. Собрание сочинений под ред. Ефремова. Изд. Суворина, СПб., 1903. Тт. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8.
Отметки в тт. 1, 2, 7.
- 116) Пушкин А. Собрание сочинений. СПб., 1839, т. V в переплете.
Надпись: «От А. А. Ремизова 27 марта 1912 г.». На переплете слова: «Александру Александровичу Блоку зри т. II в великий четверг 1912 г. А. Ремизов».*
- 117) Панер М. Парус, стихи.
Надпись автора.
- 118) Пшебышевский. Снег. Универс. библ.
Надпись цветным карандашом: «Шахматово».
- 119) Пшебышевский. Заупокойная месса. Изд. «Скорпион», т. IV.
- 120) Радимов Пав. Полевые псалмы. СПб., 1907.
Надпись: «Александру Блоку, любимому поэту, 29 февр. 1912 г.».
- 121) Рафалович С. Светлые песни. СПб., 1905.
От автора. Отметки красным карандашом.
- 122) Ремизов А. Рассказы. СПб., Изд. «Прогресс», 1910.
Без надписи.
- 123) Ремизов А. Пруд, роман. М., Изд. «Скорпион», 1907.
- 124) Сборники «Знания», IX, X, IV, XV.
На обложке подчеркнуты карандашом пьесы Юшкевича, Чирикова, Горького «Враги» — кн. IX. Горький «Варвары» — подчеркивания в тексте. Ср. в статье «О драме»: «Тем меньше можно признать драмой сцены «Враги» — это просто рабочий вопрос, трактованный банально в драматической форме» (Ал. Блок. О драме. «З. Р.»).
- 125) Сборник «Молодая Польша». СПб., 1908.
- 126) Сборник «Белый Камень», под ред. Бурмакина и Н. Русова.
- 127) Сборник «Италия». СПб., в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине, изд. «Шиповник».
Без подписи. Доклад Блока «Стихия и культура» и три стихотворения «Мэри».
- 128) Сборник Юбилейный Литературного фонда. СПб., 1909.
Подпись А. Кублицкой-Пиоттух. Стихотв. Блока «Осенний день».
- 129) Слово о полку Игореве. Русск. классн. библ. под ред. Чудинова, СПб., 1914.
- 130) Соловьев Вл. Стихотворения, 1891.
Надпись на обложке: «Александр Блок, май, 1915 г.».
- 131) Столица Л. Елена Деева, роман в стихах. М., 1915.

* Книга пропала во время перевоза книг из села Мерзлого в с. Новое.

- Без подписи. Надпись.: «Новая жизнь» 1915 г. февраль, март, апрель, май).
- 132) Стриндберг А. Отец, драма. М., Изд. Скирмунта, 1904.
Подпись Блока.
- 133) Суриков, Стихотворения. М., 1871.
- 134) Столешников. Проблески, стих. СПб., 1909. <Столешников — псевдоним Леман — П. Ж.>.
Подпись автора.
- 135) Тарасов Евг. Стихи. СПб., 1906.
- 136) Тетмайер К. Революция и драма. Пер. А. Торского. М., изд. Саблина, 1907.
Рецензия Блока в «Слове» № 503, лит. прилож. № 19.
- 137) Тхоржевский И. Tristia — переводы из новейш. французск. лирики. СПб., 1906.
- 138) Чириков. Пьесы, кн. VIII, изд. «Знание».
- 139) Уальд О. Саломея. СПб., Дешев. изд. «Пантеон».
- 140) Успенский Гл. Собрание сочинений. Изд. Маркса, прил. к «Ниве». СПб., 1908.
- 141) Фет. Собрание сочинений. Изд. Солдатенкова, 2 ч., М., 1863.
Не разрезано.
- 142) Фонвизин. Собрание сочинений. Изд. Маркса, прилож. к «Ниве».
- 143) Фофанов. Стихотворения. СПб., Изд. Суворина, 1899.
- 144) Чулков Г. Весною на севере. СПб., 1908.
- 145) Шолом Аш. Времена Мессии. Пьеса, пер. Троповского. СПб., Изд. Ad astres, 1907.
- 146) Шницлер А. Собрание сочинений. Тт. I—V. М., Изд. Саблина, 1903—06.
Подпись Блока.
- 147) Эврипид. Медея, перев. Буренина. Дешевая библиотека Суворина, СПб., 1892.
- 148) Эленшлэггер А. Ярл Гакон, пьеса, пер. с датского. Изд. Скирмунта, М., 1904.
Подпись Блока.
- 149) Энгельгардт Н. Стихотворения. СПб., 1890.
- 150) Эллис. Stigmata, изд. «Скорпион», 1911.
Отметки в тексте.
- 151) Ягодин. Из древнего мира. М., 1903.
Рецензия Блока в «Новом пути», январь 1904.

Книги нехудожественного содержания (критика, воспоминания и пр.)

- 152) Агриппа Неттесгеймский. М., Изд. Мусaget, 1913.
- 153) Аничков Е. Искусство и социалистический строй. СПб., изд. «Якорь», 1906.
- 154) Байе. Византийское искусство. СПб., Изд. журн. «Вестник иностранной литературы», 1888.
Подпись Блока.
- 155) Белинский В. Избранные сочинения. тт. 1—2. СПб., Изд. О. Поповой.
Подпись Блока, отметки о статье «Литературные мечтания».
- 156) Блок Ал. Льв. Государственная власть в европейском обществе. СПб., 1880.
- 157) Блок Ал. Льв. Политическая литература в России и о России. Варшава, 1884. 4 экз.
- 158) Глаголин Б. Новое в сценическом искусстве. СПб., 1901.
Очень много интенсивных отметок и надписи на полях.
- 159) Генриэта Роланд Рольст. Этюды о социалистической эстетике. М., 1907.
- 160) Де Сиврис. Гибель Германии. Пг., Изд. Попова, 1915.

- 161) Добролюбов Н. Сочинения. В 4 тт. Изд. Сойкина.
На обложке подпись: «А. Блок» (в 3-х томах). Интенсивные пометки, подчеркивания и надписи в статьях: «Темное царство», «Когда же придет настоящий день?», «Луч света в темном царстве», «Черты для характеристики русского простонародья».*
- 162) Лернер Н. Пушкин. Труды и дни <...> М., «Скорпион», 1903.
- 163) Легуве. Чтение как искусство. СПб., изд. Чубинского, 1896.
Отметки в духе Блока.
- 164) Либерсон. Страдания одиночества (статьи). СПб., 1909.
Надпись: «Автор Блоку».**
- 165) Лихтенберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. Перев. Сергея Соловьева, М., 1905.
- 166) Материалы по жизнеописанию Достоевского. СПб., 1888. (В переплете).
- 167) Менделеев Дм. Заветные мысли. СПб., Изд. автора, 1903.
- 168) Мережковский Дм. Гоголь. СПб., «Пантеон», 1909.
Надпись А. Блока на титульном листе: «от Д. С. 12—III—09 г.».
Отметки красн. карандашом на стр. 102, 104, 106.
- 169) Минский Н. Религия будущего. СПб., Изд. Пирожкова, 1905.
Много отметок. Ср. рецензию А. Блока в журн. «Искусство», 1905, № 8***
- 170) Михайловский Н. Собр. соч. 5 т. СПб., 1911. Коричн. перепл. с зол.
- 171) Сергей Андреевич Муромцев. Сборник статей, М., изд. Сабашникова, 1911.
- 172) Нильский А. А. Закулисная хроника <...> СПб., 1897.
Надпись: «Ал. Блок, 1897 г. Ноябрь».
- 173) Ниче. Происхождение трагедии, пер. Полилова, СПб., 1903.
- 174) Нордау М. В поисках за истиной. (Парадоксы). Изд. Павленкова, 1891.
- 175) Перцов П. Первый сборник. СПб., 1902.
- 176) Поярков Н. Поэты наших дней. М., 1907.
Надпись: «Поэту Прекрасной Дамы» от Н. Пояркова 1. 08».
- 177) Против смертной казни. Сб. статей под ред. Гернета. М., 1906. <Вл. Соловьев, Розанов и др.>.
- 178) Русов Н. О нищем, безумном и богодухновенном искусстве. М., 1909.
Надпись: «Дорогому А. А. Блоку с любовью автор».
- 179) Свободная совесть, литературно-философский сборник. Кн. II, М., 1906.
Ср. отзыв Блока в «Зол. Руне», 1906, № 10.
- 180) Сенковский О. Собр. сочинений. 7 тт., Перепл. коричн. с зол.
- 181) Спиноза. Этика. Труды Моск. Псих. Об-ва. М., 1892.
- 182) Чернышевский Н. Г. Собр. сочинен., изд. Чернышевского, СПб., 1906.
В черных перепл. с золот.
- 183) Штейн Вл. Граф Джакомо Леопарди. СПб., Изд. Поповой, 1891.
Отметки Блока.
- 184) Эпиктет. Афоризмы, пер. Алексеева. Дешевая библиотека Суворина.
Подпись Блока.
- 185) Спекторский. А. Л. Блок <государствовед и философ>. Варшава, 1911.
- 186) Спекторский. Очерки по философии общественных наук. Варшава, 1907.
- 187) Спекторский. Белинский и западничество. Варшава, 1912.
- 188) Кичунов. Цветники и партеры. Устройство <ковровых> клумб <...>
Изд. Девриена. СПб., 1912.

Ж у р н а л ы

- 189) «Бодрое слово», 1910, кн. 3—4, февраль (под ред. Бикермана). От Л. Гуревич с подписью. В номере портрет В. Ф. Комиссаржевской и статья Л. Гуревич о ней.

* «О степени участия народности в развитии русской литературы», «Сочинения Пушкина».

** Либерсон упоминается в записных книжках Блока за 1908 г.

*** Книга Минского подарена мною собирателю-блокисту Н. П. Ильину (Москва).

190) «Вестник Европы». 1872, 12 книг. 1877, кн. IX.

Надпись рукой Блока: «кроме «Куй железо» — и в оглавлении против заглавия статьи надпись «Нет».

191) «Вестник иностранной литературы», 1891, кн. I—XII, кроме IX.

Надпись на обложке рукой Блока: «Шахматово», отметки красным карандашом в статье Булгакова «Из эпохи террора. Марат и Шарлотта Корде».

1892 г. кн. 1—12: отметки на обложке — кресты не рукой Блока.

1893 г. кн. 1—12, кроме 4 и 5.

В II-й книге перевод Е. Г. Бекетовой («Африканская ферма»), в VIII кн. — перевод А. А. Кублицкой-Пиоттух (повесть «Айрон»).

Надпись на обложке женской рукой: «Бабушка». 1894 г. кн. 1—12. На обл. 1 кн. зачеркнуто заглавие «Эдип царь» Софокла, перев. Мережковского. Надпись рукой Блока: «есть» и прямой крест.

В 12 кн. в оглавлении зачеркнуто заглавие «Бодлер. Осенняя ночь», пер. Кублицкой-Пиоттух, и лист с текстом стихотворения отсутствует в книге. Два стихотворения Мережковского отмечены в оглавлении прямым крестом.

1895 г. кн. 1—12. 1 кн. — перевод А. Кублицкой-Пиоттух. Из Ришпэна. В оглавлении подчеркнуто — перевод Мережковского «Изречения китайских мудрецов». В 3-й книге перевод стихотворения Кублицкой-Пиоттух — отсутствует. Викт. Гюго «Легенда о Прекрасной Пекопене», перев. А. Кублицкой-Пиоттух — в оглавлении подчеркнуто и отмечено прямым крестом.

5 кн. — стихотв. Сюлли Прюдома «Глаза», перев. А. Кублицкой-Пиоттух, поправки в тексте рукой Блока: «только» вместо «тихо», «зашедшие» вместо «падучие».

Кн. 6. «Жуарская игуменья». Ренана — на обложке в оглавлении два раза рукой Блока: «есть». Переводы Верлена, Бодлэра А. Кублицкой-Пиоттух в книгах VII, VIII, IX, X, XI, XII.

1896 г. кн. 1—12. На 4 и 5 книге на обложке надпись: «Елиз. Бекетовой».

1897 г. кн. 1—12. В 5—6 кн. Прево М. Заветный сад, пер. А. Кублицкой-Пиоттух.

1898 г. кн. 1—12.

1899 г. кн. 1—12.

1900 г. кн. 1—6, 8—11.

1901 г. кн. 1—12. Перев. М. А. Бекетовой — Оржешко «Дым»; Е. Г. Бекетовой — Джером-Джерома в 11 кн.; в оглавл. крестом и подчеркиванием отмечены Ибсен «Призраки» и статья «Франциск Ассизский».

1904 г. кн. 1—12. Перевод Е. Г. Бекетовой «Три друга» Брет-Гарта (кн. 8), «На поприще славы» Сенкевича.

192) «Весы», 1906, кн. 8-я (А. Белый «Одинокие». Аврелий <В. Брюсов> о мистическом анархизме; реценз. Герцык «Верхарн. Стихи о современности» и др.).

193) «Заветы», журн. 1912, кн. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

В 5 кн. стихотворения Блока. В статье Шаликова «Помолись» вложен билет на концерт Раппоф.

В кн. 7 в повести Ропшина «То, чего не было» против слов «да, да, влюбился в террор» подчеркнуто и восклицательный знак.

1914 г. кн. 3, 4, 5.

Отметки в статье Иванова-Разумника «Литература и общественность. Вечные пути (Реализм и романтизм)», стр. 93 синим карандашом на 11 строке подчеркнуто слово «кажется», на полях надпись рукой Блока: «Что за игривость?». Стр. 94 против строк: «И лишь в начале 40-х годов Белинский» — 4 строки черта на полях и восклицательный знак. 36 строк стр. 105—106 подчеркнуто красным на полях

и синим в тексте: «От этого мистицизма бесконечно далек А. Блок...» и «в ирреальной мечте». На стр. 110 против слов «К трехмерному реальному миру» на полях надпись: «Бедняги!».

- 194) «Заграничный вестник», 1882 (учено-научно-литературный журнал под ред. В. Ф. Корша).

Подп. Бекетовой. (Статьи Модестова, Стасова, перев. Минского и др.).

Это уже третий журнал под названием «Вестник». (Ср.: подросток Блок издает с двоюродными братьями рукописный журнал «Вестник»).

- 195) «Маски», театральный журнал, 1914, 3 книги.

- 196) «Новое слово» — ежемесячный журнал. СПб., за 1909, 1910 гг.

Отметок нет. Здесь напечатано стихотворение Блока «Россия» — ранний вариант, отличающийся от общеизвестного текста (перепеч. Н. Ашукиным).

- 197) «Новь», 1885.

- 198) «Отечественные записки» за 1868 и 1869 гг. — 5 книг.

- 199) «Мир Божий», ежем. журн. под ред. Острогорского. 1892 г., кн. 1—12, кроме 8 и 11.

1893 г. кн. 1—11.

Кн. 1 в статье Сиповского «Сократ и его товарищи» отметки и надпись «от метафизики к этике». Стр. 31 слова: «Но и тут заметил он, что каждый из них, будучи искусным и в своем ремесле, считал себя самым мудрым в другой высшей сфере, и вот эта фальшь бросала тень на ту долю мудрости, которой они обладали» — подчеркнуты, черта на полях (нотабене) и прямой крест.

В кн. 4, 5, 8 отметки в оглавлении («есть»).

1894 г. — 7 книг: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12.

- 200) «Полярная звезда», 1905, кн. 1, 3, 6, 8.

Надпись на обл. «Ал. Б.».

- 201) «Путь», ежем. журн., 1912, под ред. И. Белоусова. Кн. 1, 2, 4, 11, 12. (Сотрудн. Горький, Шмелев, Юр. Верховский и др.).

В 11 кн. 1911 г. — рецензия Н. Б. на кн. Блока «Ночные часы».

- 202) «Русский вестник», 1857, кн. VI.

Статья А. Ник. Бекетова «Северо-Уральский край».

- 203) «Русское богатство» — ежем. журн. за 1904 и 1907 гг.

- 204) «Русская мысль» — ежем. журн. за 1892—1914 гг., за некоторые годы в двойном комплекте.

На обложке книг 1914 г. надпись «Бекетовы».

В янв. книге 1910 г. очень интересные отметки полемического характера в статьях Изгоева А. С. «Текущие моменты внутренней жизни», Вас. Голубева «К землеустроительной реформе».

- 205) «Русское обозрение» — ежем. журн., за 1897 г.

- 206) «Северный вестник» за 1896 г., все книги.

На обл. надпись С. Кублицкой-Пиоттух.

Отметки на обл. не Блока. В тексте многочисленные отметки Блока в статьях Радлова «О главных направлениях в современной эстетике», Волинского «Литературные заметки», Рескина «Искусство и действительность» и др., очень ценные для характеристики юношеских интересов Блока и влияний, которые он испытывал.

1897 г., кн. 6—12. Отдельные подчеркивания и пометки в тексте; в кн. 9 в оглавлении зачеркнута статья Мореля «Макиавелли» — надпись рукой Блока «есть». Самая статья вырезана из книги, но вставлена снова, хотя обрезана ниже, чем книга.

- 207) «Современник» — ежем. журн., 1914, 5 книг.

- 208) «Современный мир» — ежем. журн., 1910, 12 кн.

- 209) «Северные записки» — ежем. журн., под ред. Чацкиной, за 1913 г., кн. 1—10.

Отметки в романе Б. Садовского «Побеги жизни» (кн. VII).

Кн. 2 — стих. Блока «Угнетение» — поправлено на «Унижение» и восклицательный знак.* Заглавие в тексте верно. Подчеркнуты карандашом слова «подлеца» и «так» («Разве так суждено»); в строке «В теплом зимнем огромном закате» вычеркнуто «теплом», написано «желтом», внизу надпись: «Прошу исправить в след. №».

Подчеркнуты синим некоторые заглавия (Ремизов «Сказки», Д. Мережковский «Собр. соч.», рецензия Н. Лернера — поставлен восклицательный знак и повторен в тексте против подписи; отмечено стих. Недоброво, отметки в отрывке из стих. Н. Огарева «С утра до ночи» и др.).

Кн. 4 — поправка в цикле стих. «Путник» Блока. 1915 г. кн. 1—8.

210) «Северное сияние» — двухнед. журн., М., 1910, кн. 2-я.

211) «Труд» — вестник литературы и науки. СПб., 1895, т. XXV, № 1. Перевод с польского М. А. Бекетовой рассказа М. Родзевич «Сверх программы».

Приложение: Неопубликованное письмо М. А. Бекетовой П. А. Журову.

15 февраля 1929. Ленинград. ул. Декабристов 57, кв. 24.¹

Многоуважаемый Петр Алексеевич!

Очень благодарю Вас за присылку доклада о Шахматовской библиотеке.² Мое отношение к ней Вы поняли верно. Вижу и по этому, и по многим Вашим замечаниям, что Вы любитель Блока и вообще человек очень чуткий, чего достаточно для того, чтобы я считала Вас в числе своих друзей и людей очень мне симпатичных. Письмо Ваше и дело о библиотеке требует длинного ответа. Поэтому и приступаю к делу. Вы совершенно верно оценили Шах<матовскую> библиотеку, как не серьезную, не систематическую и т. д. Она составлялась только нашей семьей из тех книг, которые были лишние в городе, но не лишние в Ш<ахматов>е, где приятно летом кое-что старое почитать, а иногда и новое. Блок и не собирался, по-моему, собирать или вывозить в Ш<ахматов>е настоящую библиотеку. Устраивал он ее в <19>10-м году, потому что вообще устраивал и обновлял старый дом и очень любил порядок, чтобы все было красиво и уютно. Книги он любил нежно, свою городскую библиотеку держал в блестящем виде, все переплетал в хорошие дорогие переплеты у лучших переплетчиков, особенно заботился о книжных шкафах. Но все же он был прежде всего поэт, а потом уже книжник. И природу любил особенно.

Теперь позвольте исправить некоторые неточности в передаче фактов. В 1917-ом году жила в Ш<ахматове>е не только мать Блока, но также и я (об этом есть в моих книгах).³ Ничего из книжных накоплений, да и других, мы с ней не увезли.

Кузен Блока Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттук, живущий в Москве, сообщал мне, что видел некоторые книги из Ш<ахматовск>ой библиотеки, вероятно, с подписями (Бекетова или Блок) у Сухаревой башни. Если хотите с ним поговорить и точнее узнать, какие именно книги он видел, можете с ним сговориться по телефону, номер которого найдет<е> в телефонной книге в Москве на имя его отца А. Ф. К<ублицкого>-П<иоттук>. Сошлетесь на мою рекомендацию. Этот Ф. А. и есть «Фероль». Я думаю, что он мог бы дать Вам кое-какие сведения, т. к. они с братом не раз ездили в Ш<ахмато>во после революции и сообщали мне о постепенном

* Ср.: «Стихи мои в «Северных записках» с ужасной опечаткой?» (Блок. Дневники. 1913 г.).

его расхищении.⁴ У них бывают почти каждый год в Москве постоянные жители соседнего с Шах<матов>ым имения — сельский учитель Степан Дмитриевич и жена его Марфа Александровна Анкудимовы. В том сезоне они были у Кублицких и сообщили, что белая церковь села Тараканова, где венчался Блок, *назначена к сжиганию*. Церковь эта старая, времен Екатерины II-ой и очень интересная по архитектуре и внутреннему убранству. Очень жаль, что с нее не снята фотография. Я просила Ив. Дм. Менделеева, брата Л<юбови> Дм<итриевны>,⁵ который скоро собирается в бывшее свое имение Боблово,⁶ снять фотографию с церкви, но зимой это далеко не так интересно, как летом, а весной, наверно, начнут ее ломать. Можно попробовать отвоевать церковь у Главнауки как художественную ценность и место венчания Блока. Первое для Главнауки конечно важнее. Не возьмется ли Вы за эти хлопоты? Обращаю этот вопрос ко всей Блок-овской ассоциации.

Ст. Дм. Анкудимов видел у крестьян книги из Ш<ахматовской> библиотеки. Влад. Ястребов был один из краснобаев деревни Гудино,⁷ грамотный, но враль и бахвал. Группа профессоров, кажется, тоже висела в библиотеке, не ручаясь. Если увезено *три подводы*, большая часть библиотеки осталась цела, но ведь и рукописи заняли много места.

Теперь начну отмечать сведения об отдельных книгах. Из книг *религиозного содержания* я помню книгу об иконах Божией Матери — не помню точного названия, но это не книга Кондакова «Иконография Богоматери». Блок собирался одно время писать реферат об иконах Богородицы, но потом оставил эту мысль. Были и, значит, пропали разрозненные тома старых изданий Гоголя (в коричневом переплете, не гладком — 3 тома, четвертый когда-то зачитан), Тургенева (не помню числа томов) в переплете глянцевином черном с зеленым; Льва Толстого был только «Круг Чтения», Гончарова, кажется, «Обрыв» — в переплете черном с красным-глянцевитым — вырезано из «Вестн<ика> Евр<опы>». О Чехове — не помню, Лермонтова не было. Чехова, кажется, привозили и увозили обратно, его очень любили Бекетовы. Успенского было 4 или 5 томов без переплета, в оранжевой обложке. «Этика» Спинозы была. Естеств.-историч<еских>, экономич<еских> и т. д. не было, кроме немногих ботанич<еских>, принадлежавших отцу. Книга «Граф Лейчестер» Альтвассера в переводе М. Коваленского принадлежала не С. А. Кубл<ицкой>-Пиоттух, а Соф<ье> Григ<орьевне> Карелиной, известной у всех родных под именем «тети Соня». С. А. К<ублицкая> даже не была знакома с М. Коваленским, внуком нашей тетки А. Г. Коваленской.

В Шахматове или совсем не было или почти не было книг С. А. Кубл<ицкой>-П<иоттух>. Ее библиотека была в П<е>т<ер>б<ург>е, откуда она и была вывезена в ее имение Сафоново. В приведенной выдержке из автобиографии Блока есть ошибки (его). Моя мать Е. Гр. переводила только примечания к книге Бокля «История цивилизации (в) Англии (?)» (Изд. Тиблена года 60-е), Брэма она не переводила, Дарвина только «Путешествие на корабле «Бигль», Гексли «Человек в ряду живых существ». М<ожет> б<ыть>, выражение Блока *многие* нужно понимать в общем смысле, а не применительно к каждому автору.

В Вашем перечне 3) Бальзак неверно указано имя переводчицы: мать наша перевела только один роман Бальзака («Переписка новобрачных»), другие переводы в том же издании принадлежат сестре Ал<ексandre> Андр<еевне> и мне. 9) Гюго Вик. В этом издании только один перевод матери Блока «Сказка о Прекрасной Пекопене и Болдуре», роман «1793-й год» перевела наша мать. II отдел. 36) Адам Смит. Не помню, чтобы эта книга была в библиотеке Ш<ахматовских> книг.

37) «География растений» не под редакцией, а сочинение А. Н. Бекова. Это его последняя книга, вышедшая в год его семидесятилетия — 1895 год — в переплете с несколькими фототипиями и эпиграфом из Франциска Ассизского. Та ли это книга?⁸

141) Фет. Собран<ие> сочинений изд. Солдатенкова. Не разрезана. Не помню этой книги, и едва ли могла быть она не *разрезана*, если принадлежала Блоку, дело другое — запасные авторские экземпляры стихов самого Блока.⁹

Переводы франц<узских> поэтов матери Блока, вырезанные из книг журнала «В<естник> И<ностранный> Л<итературы>» год 1895 и др. Блок взял для того, чтобы сделать своей матери подарок: он наклеил каждое из стихотворений на толстую бумагу разных цветов, вложил в зеленый конверт из толстой бумаги, украшенный какой-то картинкой, подписал годы печатания стихов, а внутрь вложил оглавление (его рукой) и лист толстой белой бумаги с подходящим рисунком пером: чернильница, перья и книги. Все вместе вышло очень красиво. Хранится у меня в числе писем Блока к родным, его рисунков и т. д.

2. 1901 г. В<естник> И<ностранный> Л<итературы> «На поприще славы» перевод М. А. Бекетовой (кажется?).¹⁰ В журнале «Заграничный Вестник» помещен был перевод сестры Ек. А. Бекетовой. Поэма Эспронсэды «Дон Жуан» (с испанского).¹¹ *Нехватает* разрозненных номеров «Вестника Европы», «Записки Бенвенуто Челлини» (м<ожет> б<ыть>, в каком-нибудь сборнике?). Стихи (сборник) Ек. Бекетовой-Красновой и ее же «Рассказы». *Гнедич* «Рассказы». Не помню названия. На обложке портрет Миниха или кого-то на него похожего. Иностранных было очень мало. Несколько Таухницев,¹² англ. журнал «Once a week»¹³ и отдельные томики Бальзака — для переводов в Ш<ахматов>е. Книги, которые кажутся Вам не шахмат<овск>ими, и точно не наши: Михайловский, Гл. Успенский в переплетах, еще что-то.¹⁴

Вот все, что я нашла нужным Вам сообщить, многоуважаемый Петр Алексеевич. Кажется, я ничего не пропустила. Жду ответа на это письмо. Шлю привет Вам и всем знакомым мне членам Блоковской ассоциации, особенно Евг. Федоровне.¹⁵

С искренним уважением и симпатией

М. Бекетова.

Простите за ужасный почерк, очень неудобно было писать.

Примечания

(к письму М. А. Бекетовой)

1. Мария Андреевна Бекетова (1862—1938) — тетка Ал. Ал. Блока по матери, писательница и переводчица. Она была близка к семье поэта. Ей принадлежат книги: «Александр Блок» П., изд. «Алконост», 1922, (изд. II. Л., 1930), «Александр Блок и его мать», Л.—М., изд. «Петроград», 1925, и многочисленные переводы.
2. Доклад о Шахматовской библиотеке был прочитан в Ассоциации по изучению творчества Блока при ГАХН — в 1927 г. Список с доклада был послан М. А. Бекетовой, ответом на что и является это письмо.
3. Краткое упоминание о возвращении из Шахматова — М. Бекетова, Александр Блок, I-е изд., гл. XIV, стр. 255.
4. В 1929 г. я виделся с Ф. А. Кублицким-Пиоттух, однако, ничего существенного о Шахматовской библиотеке не получил.
5. И. Дм. Менделеев (1883—1936) — старший сын Дм. Менделеева от второй жены.
6. Боблово — имение Д. И. Менделеева в 7 км. от Шахматова.
7. Деревня Гудино по соседству с Шахматовым. Туда, по свидетельству местных жителей, были проданы и перевезены флигель Блока и баня.
8. «География растений» А. Н. Бекетова — не та книга, о которой пишет Мария Андреевна. Эта ранняя работа А. Н. (на материале западных ботаников) была напечатана в Вестнике Русского Географического Общества за 1855—56 гг., тт. 1, 2, 3.
9. Возможно, что Фет в изд. Солдатенкова 1853 г. был приобретен Блоком, как библиографическая редкость, и завезен в Шахматово.
10. Сенкевич Г. «На поприще славы» — историч. повесть из времен Яна Собесского, перевод М. А. Бекетовой. «Вестник Иностранной Литературы», 1904, кн. 3, 6, 7.
11. «Саламанский студент» поэма-сказка Хосе-де-Эспронседа, перевод в стихах с испанского Е. Бекетовой. «Заграничный Вестник», 1881, кн. X—XI.
12. Таухниц — немецкий издатель английской литературы.
13. Английский журнал «Раз в неделю».
14. Относительно собраний сочинений Михайловского и Писемского, Полонского, Сенковского и Чернышевского — см. примеч. в статье «Шахматовская библиотека».
15. Евгения Федоровна Книпович — писательница, близкий друг семьи Блока. Во второй половине 1920-х годов — председатель Ассоциации по изучению творчества Блока при ГАХН. О ней в книгах М. А. Бекетовой «Александр Блок» и «Ал. Блок и его мать».

П. А. Жуков.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статьи

П. С. Рейфман. «Московские ведомости» 1860-х годов и правительственные круги России	3
В. И. Беззубов, С. Г. Исаков. Творчество Леонида Андреева в Эстонии	28
М. И. Марди. Плеханов и Тэн	72
П. А. Руднев. Метрический репертуар Некрасова	93
М. Ю. Лотман. Метрический репертуар И. Анненского	122
И. А. Паперио. О двуязычной переписке пушкинской поры	148
А. Ф. Белоусов. «Колыбельная» из Причудья	157

Публикации и сообщения

Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва). Публикация, вступительная статья и комментарий Ю. Лотмана и Б. Успенского	168
П. С. Рейфман. Из истории журнально-литературной борьбы 1860-х гг.	323
Письма Ап. Григорьева к М. П. Погодину 1857—1863 гг. Публикация и примечания Б. Ф. Егорова	336
А. К. Перов. Бунин в Риге. Публикация и вступительная заметка С. Г. Исакова	355
З. Г. Минц. Из рукописного наследия Вл. Соловьева-поэта	372
П. А. Журов. Шахматовская библиотека Бекетовых — Блока. Публикация З. Г. Минц и С. С. Лесневского. Вступительная статья З. Г. Минц	396

Ученые записки Тартуского
государственного университета
Выпуск 358

ТРУДЫ ПО РУССКОЙ И СЛАВЯНСКОЙ
ФИЛОЛОГИИ
XXIV

Литературоведение
На русском языке
Тартуский государственный
университет. ЭССР, г. Тарту,
ул. Юликооли, 18

Ответственный редактор Б. Гаспаров
Корректор Н. Чикалова

Сдано в набор 30/VII 1974. Подписано к печати
16/V 1975. Бумага типографская № 2. 60 × 90. 1/16.
Печ. листов 26,25. Учетно-издат. листов 37,1.
Тираж 800. МВ 05352. Заказ № 4047.
Типография им. Х. Хейдеманна, ЭССР,
г. Тарту, ул. Юликооли, 17/19. II

Цена 3 руб. 71 коп.

Цена 3 руб. 71 коп.

TÜ RAAMATUKOGU



1 0300 00289879 1